UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00309466 1

ТОМЪ
6

ПОЛНОЕ
СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
М.Е.САЛТЫКОВА-
-(ЩЕДРИНА)

ИЗДАНІЕ
А.Ф.МАРКСА

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Saltykov. Mikhail Evgrafovich

М. Е. САЛТЫКОВА

Polnoe sobranie sochinenii

[Н. ЩЕДРИНА].

ИЗДАНІЕ ПЯТОЕ.

Съ «Матеріалами для біографіи М. Е. Салтыкова», К. К. Арсеньева, и съ двумя портретами М. Е. Салтыкова.

ТОМЪ ШЕСТОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1906 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1906.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА. Измайловскій просп., 29.

PG
3361
S3
1905
v. 6
696851
11.3.59

ПЕСТРЫЯ ПИСЬМА.

(1884—1886 гг.).

Письмо первое.

Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ я совершенно неожиданно лишился употребленія языка. Не то чтобъ даръ слова совсѣмъ оставилъ меня, но языкъ мой сдѣлался способенъ произносить только служительскія слова: «чего изволите?» «какъ прикажете», «не погубите!»—вотъ и все. А прежде я говаривалъ довольно-таки смѣло. Напримѣръ: «коли я ничего не сдѣлалъ, стало-быть и бояться мнѣ нечего»; или: «коли я никого не трогаю, стало-быть и меня никто не тронетъ»... И вдругъ словно съ цѣпи сорвался: «не погубите!»

Сначала я испугался. Ежели простое физическое косноязычіе можетъ отравить человѣку жизнь, то еще болѣе отравляющихъ элементовъ заключаетъ въ себѣ косноязычіе нравственное. Со страхомъ спрашивалъ я себя: ужели изреченія, въ родѣ: «ежели я ничего не сдѣлалъ» и т. д.. заключаютъ въ себѣ такой угрожающій смыслъ, для прекращенія котораго требовались бы натискъ и быстрота? Но ежели это такъ, то кто же можетъ поручиться, что со временемъ и такое изреченіе, какъ «ваше превосходительство, не погубите!»—не будетъ сочтено равносильнымъ призыву къ оружію?

Очевидно, это было новое и совсѣмъ особенное проявленіе внезапности, котораго я еще не испыталъ.

Внезапность не составляетъ для меня новости. Я родился на лонѣ ея, воспитывался подъ ея сѣнью и до такой степени съ ней освоился, что даже никогда не спрашивалъ себя, ушибетъ она меня или помилуетъ. Но я долженъ сказать, что до послѣдняго времени внезапность имѣла несовершенный, переходный характеръ, и это въ значительной мѣрѣ помогало уживаться съ нею. Внезапностей было много, и онѣ постоянно другъ друга побивали. Не-

легко было ориентироваться въ этомъ разнообразіи смѣняющихся внезапностей, но при извѣстномъ навыкѣ все-таки можно было нѣчто угадать. Это называлось: «ловить моментъ». Поймалъ моментъ — пользуйся! Не поймалъ — пеняй на себя! Игра была не весьма нравственная, но настолько замысловатая, что могла заинтересовать. Нынѣ эта переходная форма, очевидно, исчерпала все свое содержаніе. Внезапность окончательно отказалась отъ экскурсій въ сферу случайныхъ вѣяній, которыя своею противорѣчивостью подрывали ее; она сдѣлалась единою, неизмѣнною, сама себѣ довлѣющею. «Моменты» упразднены; ловить больше нечего.

Но это-то именно и пугало меня. Перспектива внезапнаго пріуроченія къ служительскимъ словамъ, безъ надежды, что придетъ другая внезапность и разрушитъ чары колдовства—эта перспектива казалась черезчуръ ужъ суровою. Неясная тревога сжимала сердце мучительными предчувствіями; душа тосковала, мысль безнадежно искала просвѣта...

Однако прошелъ мѣсяцъ, прошелъ другой — и пелена сама собой спала съ моихъ глазъ. Недоразумѣнія исчезли, тревога утихла, а положеніе до такой степени выяснилось, что въ какую сторону ни оглянись—вездѣ лучше не надо быть.

Прежде всего я привыкъ, или, говоря точнѣе, принюхался. Нельзя было не принюхаться, потому что кругомъ вся атмосфера пропахла прочными служительскими словами. Я не утверждаю, что эти запахи сдѣлались мнѣ достолюбезными, но они такой густой, непроницаемой массой заполонили весь мой домашній обиходъ, что незамѣтно для меня самого всѣ факторы моей жизнедѣятельности сами начали работать примѣнительно къ новой атмосферѣ и подчиняясь ея давленію.

Я очень хорошо знаю, что привычка играетъ въ жизни человѣка роль по преимуществу безсознательную и что, слѣдовательно, она, въ большинствѣ случаевъ, служитъ источникомъ безчисленныхъ недомыслій и даже безнравственностей: но вѣдь для того, чтобъ чувствовать себя вполнѣ удобно въ атмосферѣ служительскихъ словъ, именно это и нужно.

Съ безнравственностью нельзя ужиться иначе, какъ съ помощью безнравственности же, съ безсмыслiемъ — иначе, какъ при помощи безсмыслія.

Нужно такое счастливое стеченіе обстоятельствъ, которое отняло бы у человѣка способность отличать добро отъ зла и заглушило бы въ немъ всякое представленіе объ отвѣтственности. Вотъ эту-то именно задачу и выполняетъ привычка. И при этомъ она выполняетъ ее совершеннѣе и съ несравненно меньшей суровостью, нежели другіе факторы, въ томъ же смыслѣ споспѣшествующіе, какъ, напримѣръ, трусость, измѣна, предательство и т. п.

И трусость, и измѣна, и предательство предполагаютъ извѣстную долю насильства и боли, и—что̀ всего важнѣе—нимало не обезпечиваютъ отъ мучительныхъ пробужденій совѣсти, тогда какъ привычка обвиваетъ человѣка бархатной рукой и бережно и ласково погружаетъ его въ мягкое ложе безпечальнаго служительскаго житія...

Любо дремать, зарывшись по̀-уши въ пуховики; любо сознавать, что эти пуховики представляютъ своего рода твердыню. Забравшись въ нее, человѣкъ не только освобождается отъ обязанности относиться критически къ самому себѣ и къ окружающей средѣ, не только становится на недосягаемую высоту патентованной благонамѣренности, но и дѣлается безотвѣтственнымъ передъ судомъ своей собственной совѣсти. Ибо о какомъ же судѣ совѣсти можетъ быть рѣчь, коль скоро сама совѣсть, вмѣстѣ со всѣми прочими опредѣленіями человѣческаго существа, потонула въ омутѣ привычки?..

Но, кромѣ привычки, въ дѣлѣ умиротворенія мнѣ много помогъ и опытъ. Опытъ—это, такъ сказать, консолидированный сводъ привычекъ прошлаго. Всѣ уступки, компромиссы, соглашенія, которыми такъ богата исторія личная и общая, всѣ малодушія, обходы и каверзы—все это складывается, по мѣрѣ осуществленія, въ кучу, надпись на которой гласитъ: опытъ или мудрость вѣковъ. Дѣйствія героическія, подвиги самоотверженія, факты, свидѣтельствующіе о беззавѣтной преданности идеѣ, — все это не болѣе какъ красивыя безумства, отъ которыхъ никакихъ подспорій въ жизни ожидать нельзя. Правда, что эти безумства освѣщаютъ тьму будущаго, и что плодами ихъ несомнѣнно воспользуются грядущія поколѣнія: но вѣдь, съ одной стороны, подвижничество необязательно и не всякій можетъ его вмѣстить, а съ другой стороны—какъ еще на эти красивыя безумства поглядѣть: иное, быть-можетъ, пользительно, а другое, пожалуй, и неблаговременно. Тогда какъ въ той кучѣ, которая именуется мудростью вѣковъ, за что̀

ни возьмись—все пользительно. Трудность только въ томъ развѣ состоитъ, какъ разобраться въ кучѣ, чтобы вытащить именно ту бирюльку, которая какъ разъ впору. Но, во-первыхъ, всѣ бирюльки болѣе или менѣе впору; а во-вторыхъ, въ данномъ случаѣ изъ затрудненія выручаютъ очень простые пріемы, которые тоже освящены опытомъ, напримѣръ: загадъ, навыкъ, наметка, глазомѣръ...

Итакъ, привычка — приготовила мягкое ложе; опытъ — обставилъ его всевозможными подтвержденіями прошлаго. Тѣ боли, которыя чувствовались вначалѣ, очень скоро утратили свою жгучесть въ виду цѣлой массы преданій, фактовъ и анекдотовъ, которые въ одинъ голосъ вопіяли, что искони въ основѣ человѣческаго счастья лежали служительскія мысли и служительскія слова. Сущность этихъ мыслей и словъ формулируется кратко: «спасай себя!» — и человѣкъ, который серьезно посвятилъ себя осуществленію этой задачи и безъ заднихъ мыслей призналъ законность ея, можетъ быть заранѣе увѣренъ, что благополучіе его обезпечено. И — что всего важнѣе — обезпечено безъ особыхъ усилій. Ибо стоитъ только отдать себя во власть вполнѣ современности, и она сама собой устроитъ такую блаженную обстановку, при которой вопистину ничего другого не остается, какъ воскликнуть (не съ мысленными оговорками, какъ бывало нѣкогда, а по сущей совѣсти и отъ полноты душевной): «ежели я ничего не дѣлаю—стало-быть и бояться мнѣ нечего!»

«Ничего не дѣлаю» — это идеалъ; но его все-таки не слѣдуетъ понимать буквально. Всмотримся ближе въ его содержаніе, и мы убѣдимся, что онъ вмѣщаетъ безконечное множество разнообразнѣйшихъ и дѣятельнѣйшихъ подробностей. Сегодня поютъ дѣвки въ «Аркадіи», завтра—будутъ пѣть въ «Ливадіи», послѣзавтра — въ Jardin des familles russes. И у всякой дѣвки особыя примѣты, о которыхъ во всѣ концы гласитъ стоустая молва. Сегодня пьянство у Донона, завтра — у Дюссо, послѣзавтра — у Бореля. Изрѣдка—газетные столбцы, отъ которыхъ несетъ исполнимъ бѣльемъ Чичиковскаго Петрушки...

Вотъ это-то именно и разумѣютъ, когда говорятъ: «ежели я ничего не дѣлаю, стало-быть...»

И совсѣмъ не такъ подла эта жизнь, какъ думаютъ унылые люди. Мудрость вѣковъ самымъ несомнѣннымъ образомъ свидѣтельствуетъ, что съ незапамятныхъ временъ такъ жили люди и не только не считали себя посрамленными,

по даже отъ времени до времени восклицали: «не постыдимся во-вѣкъ!» Воистину обольщаютъ себя тѣ, которые думаютъ, что такъ-называемое общество когда-нибудь волновалось высшими вожделѣніями. Въ сущности, волновались только немногіе, и ужъ, конечно, никто не скажетъ, чтобъ существованіе этихъ немногихъ сколько-нибудь напоминало о благополучіи. Почвенный же и русловой людъ всегда и неизмѣнно имѣлъ въ виду только служительское благополучіе. И онъ былъ по-своему правъ, ибо какая надобность изнывать надъ отыскиваніемъ новыхъ жизненныхъ идеаловъ, рискуя при этомъ прогнѣвить начальство и насмѣшить массу однокорытниковъ, тогда какъ существуютъ идеалы вполнѣ формулированные, ни отъ кого не возбраненные и для всѣхъ однокорытниковъ равно любезные?

Я знаю, что унылые люди все-таки не убѣдятся моими доводами и будутъ продолжать говорить: «стыдно!» Но что такое стыдъ?—спрашиваю я васъ. Предложите этотъ вопросъ любому прихвостню современности, и онъ, не обинуясь, отвѣтитъ: «стыдъ есть вывороченная наизнанку наглость». Или, говоря иными словами: и стыдъ, и наглость—игра словъ, въ которой то или другое выраженіе употребляется глядя по дѣлу. Поэтому, когда до слуха моего доходитъ слово: «стыдъ», то мнѣ всегда кажется, что мимо пролетѣла муха и, никого не обезпокоивъ, исчезла въ пространствѣ.

Итакъ, будемъ благополучны и не постыдимся. Къ этому приглашаютъ насъ привычка и опытъ, а, наконецъ, и разсужденіе... Да хоть и кажется съ перваго взгляда, что въ атмосферѣ служительскихъ словъ для разсужденія нѣтъ мѣста, однако это справедливо лишь отчасти.

Разсужденіе бываетъ большое и среднее (малое, какъ черезчуръ обидное, пускай останется въ сторонѣ). Большое разсужденіе въ служительскомъ дѣлѣ не только не имѣетъ приложенія, но даже прямо препятствуетъ. Собственно говоря, его слѣдуетъ даже предварительно покорить, если хочешь удачно разрѣшить задачу: кто истинно счастливый человѣкъ? Случается, конечно, что и большое разсужденіе можетъ служить источникомъ чистѣйшихъ наслажденій; но тутъ уже предполагаются особенные люди и особенная, споспѣшествующая обстановка. Для людей среднихъ и при средней обстановкѣ потребно разсужденіе среднее. Оно одно укажетъ человѣку въ перспективѣ безопасное слу-

жительское счастье, одно поможетъ примириться съ этимъ счастьемъ и преподастъ средства для его осуществленія.

Это среднее разсужденіе какъ разъ кстати явилось ко мнѣ на помощь. Оно убѣдило меня, что прежде всего слѣдуетъ обезпечить безопасность процесса своего личнаго существованія. Жажда жизни, независимо отъ всякихъ обстановокъ (дурныхъ или хорошихъ), сама по себѣ столь существенна, что ей вполнѣ естественно подчиняются всѣ другія жизненныя стремленія и опредѣленія. Жить надо— вотъ главное, хотя бы слово: «жить» было равносильно выраженію: «маяться». Люди, которые годами изнемогаютъ подъ бременемъ непосильныхъ физическихъ страданій, люди, у которыхъ судьба отняла не только радости, но и самое обыкновенное спокойствіе, — и тѣ омертвѣлыми руками цѣпляются за жизнь и коснѣющимъ языкомъ твердятъ: «жизнь есть ликованіе». Жизнь — это жестокая неизбѣжность, и не всякому дано поднять противъ нея знамя бунта. Поэтому самая простая справедливость требуетъ, чтобы существа, надъ которыми вѣчно виситъ этотъ Дамокловъ мечъ, имѣли, по малой мѣрѣ, возможность принимать его удары безъ особеннаго изумленія.

Услуги средняго разсужденія въ этомъ случаѣ неоцѣненны. Оно съ необыкновенною ясностью убѣждаетъ, что жизнь обязательна, и затѣмъ указываетъ, для соглашенія съ нею, именно на тѣ средства, которыя въ данную минуту благовременны. Оно не поведетъ въ область эмпиреевъ, заблужденій и риска, а прямо предложитъ оголенную отъ всякихъ экскурсій жизнь, не блестящую и не особенно интересную, но зато общепризнанную и вполнѣ защищенную. Но, главное, оно докажетъ, что все старое, колеблющееся, дававшее только кажущійся просторъ, исчезло навсегда! Да-съ, навсегда-съ. Что корабли сожжены и, слѣдовательно, ничего другого не остается, какъ совсѣмъ забыть о томъ, что они когда-то были . . . . . .

. . . . . .

Такимъ образомъ, привычка—воспитываетъ и предрасполагаетъ; опытъ — свидѣтельствуетъ и подтверждаетъ; разсужденіе—убѣждаетъ и преподаетъ нужныя средства. Совокупность всѣхъ этихъ функцій производитъ въ результатѣ— психологическій моментъ.

Именно этотъ психологическій моментъ и выручилъ меня въ трудную минуту.

Во-первыхъ, онъ ввелъ меня въ заколдованный кругъ патентованныхъ русскихъ пословицъ.

Во-вторыхъ, онъ убѣдилъ меня, что жизнь обязательна, и что сохранить и обезпечить спокойное теченіе ея можно только при помощи приспособленій, вполнѣ отвѣчающихъ требованіямъ современности.

Въ-третьихъ, онъ доказалъ, что какія бы усилія я лично ни употреблялъ, какъ бы широко ни захватывалъ, хотя бы даже «жегъ сердца глаголомъ» (на что, впрочемъ, ни малѣйше не претендую)—все-таки изолировать меня можно во всякое время, и никто этого не замѣтитъ.

Таковы три элемента, при помощи которыхъ достигается современное человѣческое благополучіе. Но для того, чтобы послѣднее не оставалось только возможностью, но получило практическое осуществленіе, необходимо, чтобы упомянутые сейчасъ элементы были восприняты не только сознательно но и вполнѣ искренно. «Мало обличать—любить надо»,—прорицали когда-то наши «почвенники», тонко инсинуируя, что обличеніе равносильно отсутствію патріотизма и измѣнѣ. Я же, отъ себя, въ превосходной степени прибавлю: «Мало любить; надо, сверхъ того, представить несомнѣнныя таковой любви доказательства». Разъ эти доказательства представлены—можно смѣло глядѣть въ глаза будущему.

Я не стану говорить здѣсь ни о пользѣ русскихъ пословицъ, въ качествѣ жизненнаго подспорья, ни о томъ, что принципъ самосохраненія искони служилъ главнымъ регуляторомъ поступковъ и дѣйствій почвеннаго человѣка; все это вещи общеизвѣстныя. Но не могу не остановиться нѣсколько подольше на вопросѣ о человѣческой изолированности,—вопросѣ тоже небезызвѣстномъ, но который на нашихъ глазахъ пріобрѣлъ очень рѣшительныя и рѣзкія формы.

Я личнымъ опытомъ основательно и безповоротно убѣдился, что человѣку, который живетъ и дѣйствуетъ внѣ сферы служительскихъ словъ, ни откуда поддержки для себя ждать нечего. Сколько разъ, въ теченіе моей долгой трудовой жизни, я взывалъ: гдѣ ты, русскій читатель, откликнись!—и право, даже сію минуту не знаю, гдѣ онъ, этотъ русскій читатель. По временамъ, правда, мнѣ казалось, что гдѣ-то просвѣчиваютъ какіе-то признаки, свидѣтельствующіе о самосознаніи и движеніи впередъ; но чѣмъ глубже я уходилъ въ ту страну терній, которая называется русской литературой, тѣмъ болѣе и болѣе убѣждался въ

безплодности моихъ чаяній. Нѣтъ тебя, любезный читатель! еще не народился ты на Руси! Нѣтъ тебя, нѣтъ и нѣтъ.

Русскій читатель, очевидно, еще полагаетъ, что онъ самъ по себѣ, а литература—сама по себѣ. Что литераторъ пописываетъ, а онъ, читатель, почитываетъ. Только и всего. Попробуйте сказать ему, что между нимъ и литературной профессіей существуетъ извѣстная солидарность,—онъ взглянетъ на васъ удивленными глазами.—Ахъ, нѣтъ!—скажетъ онъ:—лучше я совсѣмъ не буду «связываться», чѣмъ добровольно наложу на себя какое-то обязательство!

И какъ скажетъ, такъ и сдѣлаетъ. И когда затѣмъ для писателя наступитъ трудная минута, то читатель въ подворотню шмыгнетъ, а писатель увидитъ себя въ пустынѣ, на пространствѣ которой тамъ и сямъ мелькаютъ одинокіе сочувствователи изъ команды слабосильныхъ.

Это не вѣроломство, не предательство и даже, пожалуй, не трусость, но во всякомъ случаѣ несомнѣнно—безсиліе.

Мнѣ скажутъ, быть-можетъ, что у писателя должны быть въ запасѣ свои личныя силы, въ которыхъ онъ обязывается почерпать для себя устойчивость... Да, но какія же это силы, коль скоро самой простой мышеловки достаточно, чтобы обратить ихъ въ прахъ?

Спрашивается теперь: ежели ни изнутри, ни извнѣ нельзя ожидать для жизни защиты—гдѣ же ее искать? . . . .

. . . . . .

Именно такъ я и поступилъ. Сначала испугался, но затѣмъ очень быстро очнулся и безпрекословно погрузился въ пучину служительскихъ словъ.

Теперь я журнрую. Цѣлое лѣто провелъ въ переѣздахъ изъ Аркадіи въ Ливадію и кончилъ тѣмъ, что получилъ флюсъ. Это загнало меня на зимнія квартиры, гдѣ, въ ожиданіи открытія Palais de Cristal, я перехожу отъ Дюссо къ Донону и отъ Донона къ Борелю. И хотя попрежнему «ничего не дѣлаю», но понимаю, что между прежнимъ моимъ ничегонедѣланіемъ и нынѣшнимъ—цѣлая бездна. Прежнее мое «ничегонедѣланье» означало фырканье, фордыбаченье, форсъ, озорство; нынѣшнее—ровно ничего не означаетъ, но зато пользу приноситъ. Ибо ни въ Аркадію, ни къ Дюссо, ни въ Palais de Cristal—никуда я не могу придти безъ кошелька; а разъ кошелекъ при мнѣ, я тутъ же воочію вижу, какъ, благодаря ему, кругомъ расцвѣтаетъ промышленность и оживляется торговля.

И я чувствую, какъ довѣріе, которое совсѣмъ-было утра-

тилъ, вновь постепенно ко мнѣ возвращается. И дружественные мнѣ тайные совѣтники (въ теченіе длинной жизни я ихъ цѣлую сотню наловилъ), которые еще такъ недавно при встрѣчахъ обдавали меня холодомъ и говорили притчами, теперь вновь начинаютъ одобрительно кивать въ мою сторону, какъ бы говоря: еще одно усиліе—и... ничего въ волнахъ не будетъ видно!

Письмо второе.

Такъ какъ вы, вѣроятно, позабыли о происшествіи, которое въ іюлѣ 1883 года взволновало весь петербургскій чиновничій міръ, то постараюсь вкратцѣ возстановить его въ вашей памяти. Пропалъ статскій совѣтникъ Никодимъ Лукичъ Передрягинъ. Жилъ онъ на дачѣ, на Сиверской станціи варшавской желѣзной дороги, и утромъ въ воскресный день пошелъ въ лѣсъ по грибы. Ушелъ и не возвращался. На другой день охотникъ изъ мѣстныхъ крестьянъ нашелъ въ лѣсу трехугольную шляпу и лукошко, до половины наполненное подосиновиками, и представилъ свою находку мѣстному уряднику. Оказалось, что эти вещи принадлежали Передрягину...

Такова голая фабула загадочной драмы, столь неожиданно омрачившей мирное теченіе дачной жизни. Я помню удручающее впечатлѣніе, которое произвело это происшествіе на сиверскихъ дачниковъ. Мѣсто это и сейчасъ довольно дикое. Нѣтъ въ немъ ни Аркадій, ни Ливадій и вообще никакихъ распутствъ, которыми экзаменуетъ себя вступившая въ свои права цивилизація. По всему правому берегу излучистой рѣчки, на далекое пространство тянется сплошной хвойный лѣсъ, и покуда только самая незначительная его часть подверглась захвату подъ дачи. Въ этомъ лѣсу великое изобиліе ягодъ, грибовъ, пернатыхъ и... звѣрей. Звѣрей множество, а ни городовыхъ, ни подчасковъ нѣтъ. Одинъ урядникъ на всю палестину—спрашивается: какую онъ можетъ представить защиту? Стало-быть, ежели даже зайцы составятъ злоумышленное общество съ цѣлью пожиранія статскихъ совѣтниковъ, то и они имѣютъ возможность свое мерзкое намѣреніе привести въ исполненіе безпрепятственно. До тѣхъ поръ никто не сознавалъ возможности такой перспективы, но послѣ исчезновенія Передрягина

она представилась до того явною и въ то же время унизительною, что все лѣто прошло въ неописанной тоскѣ. Ночныя прогулки при лунѣ прекратились; дѣвицы перестали ходить на станцію навстрѣчу женихамъ; дѣтямъ позволяли рѣзвиться только въ виду дачныхъ балконовъ, и тутъ же, по какой-то странной ассоціаціи идей, мясникъ началъ поставлять провизію очень сомнительнаго качества. Но когда, въ довершеніе всего, узнали, что у крестьянъ во ржахъ залегъ бѣглый солдатъ, то наняли по подпискѣ отрядъ калѣкъ, вооружили ихъ дубинами и приказали за восемь желтенькихъ бумажекъ въ мѣсяцъ защищать жизнь и достояніе дачниковъ, такъ точно, какъ въ томъ передъ страшнымъ судомъ отвѣтъ дать надлежитъ. Но и за всѣмъ тѣмъ, какъ только дождались половины августа, такъ тотчасъ же всѣ разомъ потянулись въ городъ.

Въ Петербургѣ, между чиновниками, переполохъ оказался еще рѣшительнѣе. Прежде всего вопросъ ставился принципіально: ежели стали пропадать статскіе совѣтники, то чего же могутъ ожидать совѣтники титулярные и другіе? Очевидно, имъ предстоитъ исчезать поминутно, и притомъ безъ всякой обстановки, открыто, на виду у всѣхъ. Влѣзъ, напримѣръ, титулярный совѣтникъ въ вагонъ конки—и поминай какъ звали! Или: встрѣтился титулярный совѣтникъ на улицѣ, и только-что вы протянули ему руку—глядь, а его ужъ нѣтъ.

Кто же будетъ дѣла вершать? кто будетъ смазывать и пускать въ ходъ эту машину, которая, подобно громадному головоногу, присасывается ко всему, къ чему ни прикоснутся ея всепроникающія щупальцы? Ахъ, господа, господа! куда мы идемъ? гдѣ мы живемъ?

Но помимо принципіальной постановки вопроса, въ чиновническихъ волненіяхъ очень важную роль играла и самая личность пропавшаго статскаго совѣтника. Передрягина любили, потому что онъ былъ малый на всѣ руки и имѣлъ бойкое перо. Когда требовалось мыслить либерально—онъ мыслилъ либерально; когда нужно было мыслить консервативно—онъ мыслилъ консервативно. Однажды онъ, по порученію, написалъ проектъ: «О расширеніи, на случай надобности, области компетенцій», а въ другой разъ, тоже по порученію, написалъ другой проектъ: «Или наоборотъ». А можетъ-быть, и оба проекта разомъ написалъ: какъ вашему превосходительству угодно? Сверхъ того, Никодимъ Лукичъ и въ частной жизни всѣмъ сумѣлъ угодить: былъ

привѣтливъ, гостепріименъ, любилъ угостить. И жена у него была бѣлая и разсыпчатая, и называлась Акулиной Ивановной. Каждое воскресенье утромъ бывали у нихъ пироги, а вечеромъ на шести столахъ играли въ винтъ. На одномъ столѣ—тайные совѣтники, на двухъ—дѣйствительные статскіе, на трехъ—статскіе. Прочіе же чины, собравшись въ гостиной, говорили Акулинѣ Ивановнѣ комплименты. И въ заключеніе: «милости просимъ на дорожку закусить!» Разумѣется, эти jours fixes начинались только съ открытіемъ осенняго сезона, такъ что, собственно говоря, исчезновеніе Передрягина до половины сентября было бы, пожалуй, и не очень чувствительно, но кто же можетъ поручиться, что къ сентябрю онъ отыщется? Въ виду такой невзгоды кровь застыла въ жилахъ чиновниковъ, и они, позабывъ стыдъ, открыто обвиняли начальство въ бездѣйствіи. Такъ что не было во всемъ Петербургѣ того статскаго совѣтника, который бы, при встрѣчѣ съ другимъ статскимъ совѣтникомъ, не вопіялъ во всеуслышаніе: «куда же мы, однако, идемъ?»—и въ отвѣтъ на этотъ вопль не услышалъ бы: «да, батюшка, идемъ! Идемъ, сударь, идемъ».

Съ своей стороны, и публицистъ Скомороховъ не преминулъ подкинуть угольковъ въ разгорѣвшуюся суматоху. Въ длинной передовицѣ: «Куда мы идемъ?» (этотъ вопросъ нынѣ сдѣлался чѣмъ-то въ родѣ кошмара) онъ доводилъ до свѣдѣнія публики о новомъ дерзкомъ подвигѣ враговъ порядка и приписывалъ исчезновеніе Передрягина интригамъ газеты «Чего изволите?». Возникла полемика. Газета «Чего изволите?» на первый разъ отвѣтила довольно игриво. Съ одной стороны, она категорически отрицалась отъ всякаго участія въ столь преступномъ дѣлѣ, но, съ другой стороны, ей видимо было лестно, что на нее взводятъ именно *такую* напраслину. Стало-быть, и она не лыкомъ шита; стало-быть, и она свою ленту... не въ этомъ дѣлѣ, конечно, но вообще... Это малодушное стремленіе за одинъ разъ поймать двухъ зайцевъ очень ловко подмѣтила газета «Нюхайте на здоровье!» и, нимало не медля, обострила формулированное Скомороховымъ обвиненіе, снабдивъ его нѣкоторыми ядовитыми выдержками, изъ которыхъ половину, впрочемъ, выдумала сама. Тогда «Чего изволите?» обидѣлась и сказала, что это, наконецъ, подло; а «Нюхайте на здоровье!» отвѣчала: «И я знаю, что подло,—давно ужъ мнѣ всѣ говорятъ, что я подлая,—да вѣдь это къ дѣлу не относится; а вотъ какъ-то вы насчетъ статскаго совѣтника Передрягина отвѣ-

тите? Кто его предательски выкралъ, и гдѣ онъ въ настоящую минуту находится? Ась?»

Словомъ сказать, полемика приняла обычный по обстоятельствамъ времени характеръ и, быть-можетъ, кончилась бы безвременною гибелью газеты «Чего изволите?», если бы Передрягинъ самъ не выступилъ на сцену, чтобы положить предѣлъ безпокойствамъ, возникшимъ по его поводу.

На-дняхъ онъ возвратился на свою квартиру въ Гусевомъ переулкѣ, проживъ въ безвѣстной отлучкѣ ровно годъ и четыре мѣсяца. Судя по его разсказу, исчезновеніе его произошло самымъ естественнымъ образомъ.

Будучи страстнымъ охотникомъ до грибовъ, рано утромъ въ праздничный день онъ отправился въ лѣсъ. Тамъ онъ до такой степени увлекся своей страстью, что незамѣтно углубился въ самую чащу. И вдругъ, въ то самое время, когда его взору предстало цѣлое море разнообразнѣйшихъ тайнобрачныхъ, онъ почувствовалъ, что кто-то сильно ударилъ его по плечу. И въ то же время чье-то горячее дыханіе обдало его лицо.

То былъ медвѣдь. Натурально, Передрягинъ свѣта не взвидѣлъ. Въ одно мгновеніе передъ нимъ пролетѣла вся его жизнь и тутъ же утонула въ какой-то зіяющей безднѣ. Эта бездна знаменовала смерть. Хотя онъ зналъ, что всѣ люди смертны, а слѣдовательно и Кай смертенъ; хотя, сверхъ того, онъ былъ вполнѣ увѣренъ, что его вдовѣ будетъ назначена пенсія внѣ правилъ,—однако мысль о роковомъ концѣ все-таки нерѣдко заставляла его вздрагивать. Онъ любилъ начальство, любилъ жену, любилъ пироги и понималъ, что pallida mors однимъ прикосновеніемъ своей косы можетъ навсегда обратить въ прахъ и его самого, и предметы его привязанностей. Встрѣтившись теперь со смертью такъ близко, онъ стоялъ какъ окаменѣлый и, ничего не понимая, смотрѣлъ медвѣдю въ глаза. Но прошла минута, другая, и медвѣдь не только не отнималъ у него жизни, но привѣтливо и тихо рычалъ, какъ бы стараясь внушить къ себѣ довѣріе. И въ заключеніе, повернувъ Передрягина лицомъ къ востоку, вполнѣ отчетливо произнесъ: «айда!»

Шли они трое сутокъ сплошнымъ лѣсомъ, и въ теченіе всего времени медвѣдь всячески покоилъ и оберегалъ своего плѣнника. Питалъ онъ его ягодами и дивнымъ медомъ; но когда Передрягинъ жестами объяснилъ, что этого недостаточно, тотъ сбѣгалъ за десять верстъ въ помѣщичью

усадьбу и укралъ съ плиты жаренаго поросенка. Даже спички и папиросы у него за пазухой нашлись, такъ что и эта прихоть была предусмотрѣна и удовлетворена. А для ночлеговъ медвѣдь выбиралъ моховыя болота и, уложивъ Передрягина на мягкомъ ложѣ, самъ, не смыкаючи очей, караулилъ его на случай внезапнаго нападенія. Словомъ сказать, приключеніе получило такую комфортабельную обстановку, что, даже ѣдучи въ вагонѣ второго класса, Никодимъ Лукичъ такъ не жировалъ.

На четвертыя сутки волшебное зрѣлище открылось глазамъ Передрягина. На обширной полянѣ, съ трехъ сторонъ окруженной лѣсомъ, а съ четвертой упирающейся въ озеро, копошилось несмѣтное количество медвѣдей. Повидимому, это былъ народъ веселый, потому что всѣ поголовно находились въ движеніи: рѣзвились, бѣгали взапуски, кувыркались, играли въ чехарду и т. д. Но болѣе всего удивило плѣнника то, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пылали костры. «Ежели есть костры,—весело сказалъ онъ себѣ:—то должны быть и котлы; а ежели есть котлы, то должна быть и кашица». И сердце его окончательно взыграло, когда онъ увидалъ, что изъ толпы отдѣлились два человѣка въ вицмундирахъ и направились къ нему.

О, радость! то были два сослуживца Передрягина, тоже статскіе совѣтники и въ той же мѣрѣ, какъ и онъ, оправдывавшіе довѣріе начальства. Оба завѣдывали отдѣленіями: одинъ—Семенъ Михайловичъ Неослабный — отдѣленіемъ завязыванія узловъ, другой—Петръ Самойлычъ Прелестниковъ—отдѣленіемъ развязыванія таковыхъ. Совмѣстное существованіе обоихъ отдѣленій представлялось чрезвычайно полезнымъ, потому что какъ только, бывало, Семенъ Михайловичъ завяжетъ узелокъ, такъ Петръ Самойлычъ сейчасъ его развяжетъ, а потомъ Семенъ Михайловичъ опять завяжетъ, а Петръ Самойлычъ опять развяжетъ. А покуда они дѣлали свое дѣло, Никодимъ Лукичъ похаживалъ и отмѣчалъ: узелъ первый, узелъ второй и т. д. И когда замѣтокъ накоплялось достаточно, то изъ нихъ составлялась «статистика узловъ, сколько таковыхъ завязано и сколько развязано, а для чего—неизвѣстно». Въ заключеніе же подводился балансъ: приходъ съ расходомъ вѣренъ, и въ кассѣ—ничего.

Всѣ трое жили душа въ душу и всѣ трое были счастливы и къ повышенію достойны. Въ этомъ волшебномъ мірѣ, гдѣ одни пишутъ проекты «Или наоборотъ», другіе—завязываютъ узлы, третьи—развязываютъ ихъ, а четвертые

радостно потираютъ руки, восклицая: «приходъ съ расходомъ вѣренъ!»—въ этомъ мірѣ и Передрягинъ, и Неослабный, и Прелестниковъ не только чувствовали себя какъ рыба въ водѣ, но были серьезно убѣждены, что всякая попытка выйти изъ него есть бунтъ и потрясеніе основъ.

Такъ вотъ съ какими ребятами привелъ Богъ встрѣтиться Передрягину. Оказалось, что Неослабный нанималъ дачу на Суйдѣ и былъ выкраденъ, три недѣли тому назадъ, ночью прямо съ постели. Прелестниковъ же проводилъ лѣто въ окрестностяхъ Луги и назадъ тому съ мѣсяцъ взятъ съ прогулки въ глазахъ урядника и уведенъ въ плѣнъ. Но такъ какъ оба они числились въ отпуску, то въ Петербургѣ до сихъ поръ ихъ исчезновеніе не было извѣстно.

— Здѣшніе медвѣди совсѣмъ особенные,—сказалъ Неослабный послѣ первыхъ радостныхъ изліяній:—много они нашего брата въ плѣну держатъ. А двѣ недѣли тому назадъ даже полковницкую вдову Волшебнову, да не одну, а съ племянницей Клеопатринькой, прямо съ поѣзда сняли и привели.

— Для чего же мы имъ занадобились?—полюбопытствовалъ Передрягинъ.

— Для реформъ. Народъ молодой; на волѣ жить захотѣли—вотъ и скучно показалось въ скотскомъ видѣ оставаться: реформъ захотѣлось. А сами собой совершить не умѣютъ.

— Какія же такія реформы они затѣваютъ.

— Да какъ вамъ сказать... всего хочется! А что именно для нихъ полезнѣе—это ужъ *мы* должны опредѣлить. Вотъ я—полицію реформирую, а коллега мой—по части юстиціи реформы какъ блины печетъ. Помаленьку до понемножку,—можетъ-быть, со временемъ и польза выйдетъ. Три недѣли тому назадъ объ огнѣ въ здѣшнемъ мѣстѣ и не слыхать было, а теперь смотрите, какіе костры горятъ!

— Но какіе же вы имѣете виды... напримѣръ, по части юстиціи?

— Насчетъ юстиціи мнѣнія въ здѣшнемъ лѣсу раздѣлились. Одни говорятъ: «для насъ и палокъ достаточно»; другіе: «надо завести настоящіе суды, какъ на Литейной». Вотъ Петръ Самойлычъ и смекаетъ: палки—само собой, а судъ—само собой. Чтобы всѣмъ было хорошо.

— А по финансовой части они статскаго совѣтника Печатникова залучили,—перебилъ Прелестниковъ:—этотъ имъ деньги съ картинками печатаетъ. И экономистъ у нихъ

есть. Этотъ говоритъ: прежде всего нужно, чтобы торговый балансъ былъ. Да спросъ, да предложеніе, да раздѣленіе труда, да накопленіе богатствъ, а объ распредѣленіи мы въ слѣдующій разъ поговоримъ. Когда все это у васъ будетъ, тогда, молъ, вы будете жить по-благородному!

— Къ сухопутной части они капитана Пѣшедралова приспособили, а къ морской—лейтенанта Жевакина. Жевакинъ надѣнетъ мѣшокъ съ козой, а Пѣшедраловъ въ барабанъ бьетъ, а они представляютъ, какъ малые ребята въ полѣ горохъ воруютъ. Это, изволите видѣть, они до непріятеля ползкомъ добираются, врасплохъ его хотятъ застать.

— И для дамъ у нихъ дѣло нашлось: полковница молодыхъ медвѣдицъ жеманиться учитъ, а Клеопатринька «науку о женихахъ» преподаетъ.

— Ну, а я-то зачѣмъ понадобился?

— Должно полагать, что конституціи писать заставятъ. Давненько они по департаментамъ человѣчка для конституцій ищутъ; сеймъ у нихъ на всякій случай ужъ заведенъ. Сеймъ-то есть, а конституціи нѣтъ—вотъ и выходитъ, что всѣ ихъ рѣшенія какъ будто незаконныя...

Вспомнилъ Никодимъ Лукичъ свои департаментскіе труды по части конституціи и мысленно сказалъ себѣ: «Ну, это еще не ахти что! Дѣло знакомое, я его въ одинъ часъ кругомъ пальца обведу!» Однако дальнѣйшія свѣдѣнія, полученныя отъ друзей, заставили его задуматься. Во-первыхъ, конституцію предстояло писать на-двое: лѣтнюю, какъ медвѣди должны поступать, когда на волѣ по лѣсу ходятъ, и зимнюю, какіе они сны должны видѣть, когда въ берлогѣ лапу сосутъ. Во-вторыхъ, и правительства настоящаго у этихъ новоявленныхъ реформаторовъ не было: ни президента, ни отвѣтственныхъ министровъ. Вмѣсто всего этого существовала какая-то самочинная юнта, состоявшая изъ пяти самыхъ проказливыхъ медвѣдей, которые по вопросу о пользѣ конституціи не только разноголосили, но каждый, съ обдуманнымъ заранѣе намѣреніемъ, наочно мычалъ по-своему, въ пику остальнымъ.

Всю эту разноголосицу предстояло уладить. Однимъ — вторить въ тонъ, другихъ—ловкимъ образомъ провести, остальныхъ—«обломать». Всѣ эти «штуки» были извѣстны Передрягину, по департаментской практикѣ, какъ свои пять пальцевъ; но онъ уже не скрывалъ отъ себя, что труда предстоитъ много, труда серьезнаго, упорнаго.

Я не буду подробно разсказывать о ходѣ занятій статскаго совѣтника Передрягина. Во-первыхъ, это привело бы меня къ оцѣнкѣ конституцій, что, по моему убѣжденію, неблаговременно и щекотливо. Во-вторыхъ, сколько мнѣ извѣстно, Никодимъ Лукичъ самъ приготовляетъ къ выпуску въ свѣтъ обширное сочиненіе подъ названіемъ: «Годъ въ плѣну въ странѣ Топтыгиныхъ», и я не желалъ бы, чтобы этотъ почтенный трудъ, благодаря моей нескромности, утратилъ интересъ новизны.

Тѣмъ не менѣе отъ нѣкоторыхъ позаимствованій я все-таки воздержаться не могу.

Прежде всего я долженъ засвидѣтельствовать, что Передрягинъ велъ свое дѣло крайне осторожно и умно, и подъ конецъ даже проявилъ не совсѣмъ обыкновенную твердость души. Какъ человѣку опытному и проницательному, ему неоднократно представлялся вопросъ: что, въ сущности, означаетъ его внезапное, почти волшебное появленіе въ странѣ Топтыгиныхъ? Игра ли это простого случая, или же тутъ слѣдуетъ видѣть косвенную командировку, устроенную съ вѣдома начальства и даже по иниціативѣ его? Нерѣдко начальство задается цѣлями, опубликованіе которыхъ считается неблаговременнымъ, и потому для достиженія ихъ прибѣгаетъ къ косвеннымъ командировкамъ... Ежели это такъ,—а Передрягинъ все больше и больше склонялся къ убѣжденію, что *именно* такъ,—то, очевидно, ему предстоитъ сообщить своимъ дѣйствіямъ такое направленіе, чтобы впослѣдствіи, давая о нихъ отчетъ, онъ могъ ожидать не порицанія, а одобренія своего начальства. Однимъ словомъ, онъ рѣшился дѣйствовать, *не забывая впередъ, но и не отступая назадъ*. Ни тпру, ни ну.

Въ этихъ видахъ, онъ первоначально внесъ въ сеймъ свой проектъ: «Или наоборотъ», какъ уже бывшій въ разсмотрѣніи и не приведенный въ дѣйствіе лишь за ненаступленіемъ благопріятной минуты. Впечатлѣніе, произведенное проектомъ, было очень хорошее. Онъ приходился какъ разъ впору Топтыгинымъ, такъ что если бы при этомъ еще влѣпить членамъ сейма по десятку горяченькихъ, то навѣрное они приняли бы «Передрягинскую конституцію» par acclamation. Но тутъ вмѣшалась полковница Волшебнова, поддержанная Жевакинымъ, и стала доказывать, что предложеніе Передрягина находится въ прямомъ противорѣчіи съ «наукой о женихахъ»...

Говоря по совѣсти, никакихъ особенныхъ противорѣчій

не было, и оппозиція Волшебновой имѣла совсѣмъ другую подкладку, весьма неказистую. Дѣло въ томъ, что на первыхъ порахъ Передрягинъ имѣлъ неосторожность повздорить съ Жевакинымъ, а Волшебнова между тѣмъ разсчитывала выдать за послѣдняго Клеопатриньку. Въ сущности, пререканіе вышло изъ-за пустяковъ, такъ что если-бъ Никодимъ Лукичъ могъ предвидѣть послѣдствія, то, конечно, сдержалъ бы себя. Рѣчь шла о предстоящей постройкѣ кораблей. Для Топтыгиныхъ это дѣло было совершенно новое, да, признаться сказать, едва ли и нужное: однако, такъ какъ имъ брюхомъ захотѣлось флотовъ, то Жевакину было поручено представить необходимыя къ осуществленію сего предположенія. Но когда Жевакинскій докладъ поступилъ въ сеймъ, то произошли весьма важныя разногласія. Передрягинъ доказывалъ, что корабли, ради прочности, нужно строить изъ картона съ небольшимъ лишь прибавленіемъ хорошей бумаги (докладной); Жевакинъ же, ища популярности и желая какъ можно скорѣе стать во главѣ флота, утверждалъ, что предлагаемый Передрягинымъ способъ слишкомъ медленъ и обременителенъ для казны, и что на первый разъ можно удовольствоваться кораблями изъ старой афишечной бумаги. «Но будутъ ли таковые для супостатовъ вредительны?»—не безъ ядовитости спросилъ Передрягинъ и однимъ этимъ вопросомъ сразу «провалилъ» Жевакинскій проектъ...

Эту неудачу Волшебнова приняла къ сердцу и поклялась отомстить. И въ данную минуту исполнила свою клятву. Съ помощью искусныхъ діалектическихъ пріемовъ и нѣсколькихъ ловкихъ передержекъ она сорвала сеймъ и провалила Передрягинскую затѣю навсегда.

Тогда Никодимъ Лукичъ сдѣлалъ очень ловкій ходъ. До ноября онъ провелъ время въ экивокахъ: но какъ только на землю палъ первый снѣгъ, онъ тотчасъ же изготовилъ «зимнюю конституцію» и внесъ ее въ сеймъ. Конституція заключала только одну статью: «Съ наступленіемъ зимы всякій да заляжетъ въ берлогу и да сосетъ лапу». Разумѣется, интрига и тутъ съ обычною наглостью начала доказывать, что предложенный Передрягинымъ проектъ есть не что иное, какъ подвохъ, пущенный съ цѣлью окончательно похоронить конституціонный вопросъ: но было уже поздно. Берлоги стояли уже совсѣмъ готовыя, и большинство Топтыгиныхъ ходило сонное, мечтая единственно объ удовольствіяхъ предстоящей спячки. Благодаря этому вѣя-

нію, «зимняя конституція» прошла громаднымъ большинствомъ, и принятіе ея ознаменовалось обычными празднествами. Выкатили народу нѣсколько бочекъ краденаго вина и наняли хоръ снѣгирей пѣть пѣсни. Но соловьевъ, за суровымъ временемъ, добыть не могли.

Зима прошла благополучно. Охотничьихъ облавъ въ этой мѣстности не бываетъ, и Топтыгины наслаждаются такою обезпеченностью, какая и людямъ не всегда достается въ удѣлъ. Но что̀ всего замѣчательнѣе—и статскіе совѣтники, увидѣвъ себя среди этого соннаго царства, не выдержали.

«Сначала мнѣ сіе удивительнымъ казалось,—пишетъ по этому поводу Передрягинъ: — какъ это живыя существа почти половину года во снѣ проводятъ; но такъ велико было обаяніе внезапно обступившей насъ тишины, что и мы съ товарищами, какъ ни крѣпились, но недѣли черезъ двѣ тоже вынуждены были общему примѣру послѣдовать. А въ томъ числѣ и госпожа Волшебнова съ родственницею».

Тѣмъ не менѣе, съ наступленіемъ весны, конституціонный вопросъ, силою обстоятельствъ, настойчивѣе прежняго выступилъ на очередь. Топтыгины вышли изъ берлогъ и не знали, какъ поступать. Ибо зимняя конституція предвидѣла только сосаніе лапы, а такой конституціи, которая бы о прочихъ поступкахъ упоминала, припасено не было. Приступили къ Передрягину; но послѣдній, освѣжившись четырехмѣсячнымъ отдыхомъ, понялъ, что почва, на которую ему предстоитъ вступить, далеко не безопасна. Сверхъ того, онъ вспомнилъ, что, будучи уже однажды призванъ къ отвѣту по поводу проекта о расширеніи компетенцій, онъ и тогда избѣгнулъ отвѣтственности единственно потому, что далъ начальству клятву ни о какихъ компетенціяхъ впредь не помышлять. Сообразивъ все это, онъ принялъ безповоротное рѣшеніе. Безъ запальчивости, но твердо онъ заявилъ, что для существъ, которыя для реформъ отыскиваютъ по департаментамъ статскихъ совѣтниковъ, совершенно достаточно одной зимней конституціи. «Есть народы и почище васъ,—сказалъ онъ:—но и тѣ довольствуются зимней конституціей и подъ сѣнію ея благополучно почиваютъ». Словомъ сказать, на всѣ топтыгинскія настоянія отвѣтилъ рѣшительнымъ отказомъ.

Услышавъ это, Топтыгины совсѣмъ ошалѣли. Произошли волненія и даже неистовства, въ которыхъ, къ сожалѣнію, не послѣднюю роль играла полковница Волшебнова. Никодимъ Лукичъ пострадалъ

Нужно прочитать въ подлинникѣ скорбную повѣсть этихъ страданій, чтобы получить понятіе о томъ запасѣ нравственной чистоты, которымъ долженъ былъ обладать безвѣстный статскій совѣтникъ, вознамѣрившійся лучше пожертвовать своею популярностью, нежели нарушить данную клятву. Но пусть читатель узнаетъ объ этомъ изъ сочиненія самого Передрягина. Я же скажу здѣсь кратко: все лѣто прошло въ поступкахъ самаго безумнаго свойства. Топтыгины, не получивъ удовлетворенія въ главномъ своемъ домогательствѣ, и къ прочимъ реформамъ сдѣлались равнодушны; они твердили одно: «зачѣмъ намъ суды, зачѣмъ кутузка, зачѣмъ балансъ, коль скоро мы не понимаемъ, по какой причинѣ и на какой предметъ?»

Вообще я долженъ сознаться, что вся эта исторія представлялась бы очень странною и исполненною всякаго рода загадочностей, если бы Передрягину не удалось, наконецъ, выяснить, въ чемъ собственно заключался ея секретъ. Съ теченіемъ времени, все болѣе и болѣе всматриваясь въ окружающую его среду, онъ сдѣлалъ открытіе чрезвычайной важности. А именно, убѣдился и неопровержимыми фактами доказалъ, что существа, державшія его въ плѣну, совсѣмъ не медвѣди, а особаго рода «братушки», которые еще въ древности самочинно развелись въ глухой мѣстности Лужскаго уѣзда и доднесь тамъ жируютъ, уклоняясь отъ выполненія рекрутской повинности и платежа податей. Многіе вѣка они жили въ дикомъ состояніи, не имѣя прочныхъ жилищъ, не заводя ни полиціи, ни юстиціи, ни народнаго просвѣщенія и не подавая о себѣ ревизскихъ сказокъ, какъ вдругъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, очнулись безъ повода и даже безъ надобности, сами не зная зачѣмъ. И узнавъ, что въ Петербургѣ есть статскіе совѣтники, которые умѣютъ для братушекъ конституціи писать, стали подыскивать и для себя таковыхъ.

Я не буду перечислять здѣсь факты, приводимые Передрягинымъ въ доказательство справедливости сдѣланныхъ имъ открытій. По мнѣнію моему, эта справедливость всего лучше подтверждается катастрофою, которою въ концѣ концовъ разрѣшилась эта суматоха.

Извѣстно, что когда жизнь начинаетъ предъявлять требованія, то вмѣстѣ съ тѣмъ въ обществѣ обнаруживается броженіе. Броженіе это преимущественно выражается въ появленіи безчисленнаго множества разномастныхъ политическихъ партій, которыя не пренебрегаютъ никакими сред-

ствами, чтобы подсидѣть другъ друга. Въ особенности же ожесточенно и даже безчестно дѣйствуетъ въ этихъ случаяхъ партія старыхъ, отживающихъ порядковъ. Составленная изъ людей мелко-самолюбивыхъ, съ потухшими сердцами, воспитанная въ дурныхъ привычкахъ ябеды, своекорыстія и любоначалія, растерявшая, въ теченіе продолжительной и безплодной житейской суматохи, всякій жизненный смыслъ и всѣ человѣческія побужденія, кромѣ одного: злобы,—эта партія на первыхъ порахъ лицемѣрно подлаживается къ заставшему ее врасплохъ движенію и затѣмъ коварно подстерегаетъ всякое колебаніе, всякій ошибочный шагъ, чтобы броситься на своихъ противниковъ и моментально ихъ задушить.

Такого рода старовѣрческая партія существовала и среди братушекъ Лужскаго уѣзда.

Топтыгинское возрожденіе изумило старовѣровъ своею неожиданностью и испугало крайнею живостью своихъ первыхъ проявленій. Тѣмъ не менѣе они притворились подчинившимися и даже старались выказать самихъ себя въ возможно смирномъ и даже презрѣнномъ видѣ. Но въ дѣйствительности они только выжидали благопріятнаго момента и, постепенно переходя отъ одного коварства къ другому, то подстрекая, то сѣя вражду, вошли, наконецъ, въ секретные переговоры съ мѣстнымъ урядникомъ.

И—увы!—я не могу скрыть, что душою и руководителемъ этого предательства былъ статскій совѣтникъ Никодимъ Лукичъ Передрягинъ...

Времена созрѣли.

Въ концѣ минувшаго сентября, ровно черезъ четырнадцать мѣсяцевъ послѣ плѣненія Передрягина, въ ту минуту, когда неурядица среди топтыгинскаго племени достигла размѣровъ поистинѣ нетерпимыхъ, до веселой поляны, обитаемой братушками, донеслись звуки приближающагося колокольчика. Топтыгины тотчасъ же догадались, что эти звуки возвѣщаютъ пріѣздъ изъ Луги начальства...

Переборка пошла очень быстро. Зачинщики сейчасъ же были отдѣлены и препровождены; прочіе братушки — тщательно переписаны и внесены въ ревизскія сказки. Затѣмъ имуществу Топтыгиныхъ была произведена опись и оцѣнка, при чемъ открытъ складъ воровскихъ вещей, изъ коихъ нѣкоторыя, какъ, напримѣръ, двадцать дюжинъ дамскихъ кальсонъ, очевидно, были украдены по недоразумѣнію. Оцѣненъ былъ и громадный запасъ еловыхъ шишекъ, между

которыми оказалось и нѣсколько геморроидальныхъ. Этотъ плодъ многолѣтняго труда цѣлаго племени былъ опечатанъ и сданъ подъ расписку старѣйшинѣ, съ тѣмъ, чтобы впослѣдствіи найти для него сбытъ на иностранныхъ рынкахъ. Что касается до статскихъ совѣтниковъ и прочихъ инструкторовъ, то ихъ съ первымъ же поѣздомъ отправили въ Петербургъ для распредѣленія по подлежащимъ вѣдомствамъ. И въ заключеніе, съ полковницей и ея родственницей было поступлено по произволенію.

Замѣчательно, что при этой переборкѣ всего больше пострадали вожаки изъ партіи старовѣровъ. Хотя нельзя было отрицать, что казенный интересъ, столь продолжительное время поруганный, лишь благодаря ихъ рвенію, вступилъ, наконецъ, въ свои права, но, съ другой стороны, чувство справедливости убѣждало, что старовѣры дѣйствовали въ этомъ случаѣ не столько за совѣсть, сколько за страхъ. Въ сущности, вѣдь они-то, по преимуществу, и поддерживали въ теченіе столѣтій тотъ порядокъ вещей, который помогалъ Топтыгинымъ уклоняться отъ рекрутства и отъ платежа податей. Стало-быть, совсѣмъ не усердіе, а только злоба, вызванная утратой привилегированнаго положенія, сдѣлала ихъ поборниками казеннаго интереса.

— Сегодня вы усердіе и покорность выказываете,—сказалъ имъ урядникъ Справедливый, на котораго были возложены всѣ труды по возсоединенію заблудшихъ братушекъ:—а завтра вы опять начнете кляузничать и отвиливать отъ узаконенныхъ властей!

Однимъ словомъ, воздаяніе было полное и справедливое. А черезъ мѣсяцъ къ братушкамъ была проведена столбовая дорога, и на каждую берлогу выданъ отдѣльный окладной листъ. Такъ что въ настоящее время ни урядникъ, ни сборщикъ податей уже не встрѣчаютъ больше препятствій при исполненіи своихъ обязанностей.

И живутъ-себѣ Топтыгины какъ у Христа за пазушкой. Смирно, благородно, безъ конституцій.

Что же сталось съ Передрягинымъ? получилъ ли онъ за свою твердость соотвѣтственную награду?—спросятъ меня читатели.

Какъ это ни прискорбно, но на послѣдній вопросъ я могу отвѣтить только отрицательно. Почтеннѣйшій Никодимъ Лукичъ не только не получилъ награды, но даже вынужденъ былъ подать въ отставку.

Причиною всему было слово: «конституція».

Хотя и Прелестниковъ, и Неослабный, по совѣсти, засвидѣтельствовали о неуклонной борьбѣ Передрягина съ конституціоналистами, но они не могли скрыть, что въ первое время своего плѣна Никодимъ Лукичъ довольнотаки ходко пошелъ навстрѣчу тонтыгинскимъ затѣямъ, и что во всякомъ случаѣ онъ, а не кто другой, былъ авторомъ пресловутой «зимней конституціи», которая на цѣлыхъ полгода отдалила раскрытіе злонамѣренныхъ укрывательствъ, грозившихъ казнѣ безвременнымъ оскудѣніемъ.

Разумѣется, распоряженіе не замедлило.

Теперь Передрягинъ скромно живетъ съ своею Акулиной Ивановной и довольствуется обществомъ титулярныхъ совѣтниковъ. Статскіе совѣтники его опасаются: дѣйствительные статскіе совѣтники хотя и не выказываютъ явной боязни, но дѣйствуютъ на-двое. Что же касается тайныхъ совѣтниковъ, то они просто-на-просто дразнятся: «конституціоналистъ! конституціоналистъ!»

Тѣмъ не менѣе Передрягинъ не унываетъ и даже, повидимому, совсѣмъ примирился съ своимъ новымъ званіемъ. На-дняхъ я его встрѣтилъ идущимъ въ контору «Полицейскихъ Вѣдомостей», куда онъ несъ, для опубликованія, объявленіе. Объявленіе это гласило:

НОВОСТЬ!! СТАТСКІЙ СОВѢТНИКЪ ПЕРЕДРЯГИНЪ!!!

(Знаменская, Гусевъ переулокъ, 29).

Изготовляетъ КОНСТИТУЦІИ для всѣхъ странъ и во всѣхъ смыслахъ. Проектируетъ реформы судебныя, земскія и иныя, а равно ходатайствуетъ объ упраздненіи таковыхъ. Имѣетъ аттестаты. Вознагражденіе умѣренное. Согласенъ въ отъѣздъ.

И вы увидите, что объявленіе это, чего добраго, возымѣетъ дѣйствіе, и Передрягинъ получитъ заказъ.

Письмо третье.

Чаще и чаще приходится слышать, что жить становится скучно и тяжело. И нельзя сказать, чтобы эти сѣтованія были безосновательны. Не въ смыслѣ сокращенія суммы такъ-называемыхъ развлеченій—ихъ даже черезчуръ достаточно — и не въ смыслѣ увеличивающейся съ каждымъ

днемъ суммы утратъ и несбывшихся надеждъ, а просто потому, что понять ничего нельзя. Самыя противорѣчивыя теченія до такой степени перепутались и загромоздили пути, что человѣкъ чувствуетъ себя какъ бы въ застѣнкѣ, въ которомъ, вдобавокъ, его ударило по темени. Онъ измученъ не столько реальностью настигающихъ его золъ, сколько безплодностью своихъ мечтаній и сознаніемъ, что жизненный процессъ хотя и не прекратился, но въ то же время утерялъ творческую силу. Жизнь утонула въ массѣ подробностей, изъ которыхъ каждая устраивается сама по себѣ, внѣ всякаго соотвѣтствія съ какой бы то ни было руководящей идеей. Нѣоткуда взяться этой идеѣ, нѣоткуда и незачѣмъ. Прошедшее — несостоятельно, будущее—загромождено.

Я знаю, что нѣтъ недостатка въ попыткахъ разобраться въ удручающихъ жизнь противорѣчіяхъ, но, говоря по совѣсти, эти попытки не только ничего не объясняютъ, но даже еще больше запутываютъ пониманіе предстоящихъ задачъ. Всѣ онѣ, какъ бы ни были разнообразны ихъ формы и клейма, свидѣтельствуютъ только объ ощущеніи боли и о томъ, что это ощущеніе въ одинаковой мѣрѣ присуще всѣмъ, которые не однимъ прозябаніемъ, но и работою мысли принимаютъ участіе въ совершающемся жизненномъ процессѣ. Всѣмъ присуще, — начиная отъ самыхъ ядовитыхъ и нагло-торжествующихъ и кончая самыми наивными и пригнетенными.

Въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ выражаются эти попытки? Какія даютъ онѣ разрѣшенія, какія открываютъ перспективы безнадежно-мятущейся массѣ замученныхъ и недоумѣвающихъ людей? Чтобы отвѣтить на эти вопросы, достаточно, не заходя далеко, остановиться на современной русской публицистикѣ.

Съ одной стороны, раздаются голоса, изрыгающіе проклятія, призывающіе къ ябедѣ, человѣконенавистничеству, междоусобію. Нельзя, конечно, отрицать, что эта проповѣдь имѣетъ смыслъ вполнѣ опредѣленный, и что она даже производитъ массу частнаго зла; но самая безсодержательность ея отправныхъ пунктовъ уже свидѣтельствуетъ о ея творческомъ безсиліи. Не проклятіями исправляется жизнь и не человѣконенавистничествомъ насаждается миръ и благоволеніе въ сердцахъ—этого самыя закоснѣлыя личности не могутъ не понимать. Стало-быть, если онѣ упорствуютъ въ человѣконенавистничествѣ, то не потому, чтобы вѣрили

въ зиждительныя свойства его, а потому лишь, что проклятія представляютъ своеобразную формулу, въ которую выливается общій всей современности безсильный вопль противъ массы недодѣлокъ, недомолвокъ и встрѣчныхъ теченій. Но при этомъ очень возможно и то, что проповѣдь ненависти, благодаря сложившимся обстоятельствамъ, сдѣлалась и небезвыгоднымъ ремесломъ...

Съ другой стороны, въ отвѣтъ кляузѣ, слышатся голоса наивныхъ, которые тоже чего-то ищутъ и нѣчто стараются разъяснить. Но, въ сущности, они не разъясняютъ, но лишь уклоняются и оправдываются. Положеніе, поистинѣ, унизительное, хотя, по обстоятельствамъ, совершенно понятное. Существуетъ нѣкоторая загадочная подкладка въ спорахъ, касающихся современности, — подкладка, благодаря которой одна сторона вступаетъ въ состязаніе заранѣе торжествующею, а другая — заранѣе виноватою, хотя и не знаетъ за собой ни одного факта, на который могло бы опереться обвиненіе. Ни для кого не тайна, что въ современныхъ полемикахъ рѣчь идетъ совсѣмъ не о вопросахъ, которые ставитъ жизнь, а о чемъ-то постороннемъ, чему вполнѣ произвольно присвояется названіе «образа мыслей». И такъ какъ «правильный» образъ мыслей сдѣлался какъ бы монополіей кляузы, то понятно, что противная сторона прежде всего обязывается обѣлить себя передъ лицомъ кляузы и только уже по выполненіи этого считаетъ себя вправѣ выложить, въ формѣ рискованнаго предположенія, ту скромную крупинку истины, какая имѣется въ запасѣ. Или, говоря другими словами, чтобы пустить эту крупинку въ обращеніе, необходимо предварительно надѣть Петрушкины (Чичиковскаго Петрушки) порты и уже въ этомъ видѣ дерзать. Спрашивается: какихъ результатовъ можетъ достигнуть разъясненіе, обставленное такими условіями?

Какъ плодъ недодѣлокъ и недомолвокъ, появились на сцену «кризисы». Ни о какихъ кризисахъ въ старые годы не слыхивали, а тутъ вдругъ повалило со всѣхъ сторонъ. То хлѣбный кризисъ, то фабричный, то промышленный, то желѣзнодорожный, наконецъ, денежный, торговый, сахарный, нефтяной, даже пшеничный. Не говоря ужъ о кризисѣ совѣсти, который, повидимому, никому жить не мѣшаетъ. И, очевидно, этотъ новый бичъ — не выдумка такъ-называемыхъ отрицателей и потрясателей, а самая несомнѣнная правда, потому что сами оракулы современности (они же изрыгатели проклятій) только о кризисахъ

и говорятъ. Всѣ, безъ различія партій, на этой почвѣ сошлись; всѣ въ одинъ голосъ вопіютъ: «кризисы! еще кризисы! нѣтъ отбою отъ кризисовъ!» И не только вопіютъ, но даже во всѣ зараженныя мѣста пальцемъ тычутъ (вотъ, дескать, гдѣ, и вотъ, и вотъ!), а исцѣленія все-таки преподать не умѣютъ.

Это напоминаетъ мнѣ провинціалку-барыню, которую я въ старые годы знавалъ и которая тоже безпрерывно страдала кризисами. Всѣ доктора, къ кому она ни обращалась, въ одинъ голосъ говорили: «Это, сударыня, кризисъ!»—но затѣмъ всѣ же, получивъ трехрублевку за визитъ, считали свою задачу выполненною. Да и что̀ другое могли сказать убогіе провинціальные эмпирики, коль скоро и сами они (дѣло происходило въ сороковыхъ годахъ, въ одной изъ самыхъ глухихъ провинцій) никакихъ «средствицъ», кромѣ гофманскихъ капель, бобковой мази да липоваго цвѣта, не знали.

— У кого же вы теперь лѣчитесь, Любовь Ивановна?—спросилъ я однажды, заставъ ее удрученною какимъ-то совсѣмъ новымъ кризисомъ.

— Да что̀, голубчикъ, все перепробовала: и лѣкарей, и знахарей, и колдуновъ — нѣтъ мнѣ облегченья! Теперь... оборотень лѣчитъ!

— Какъ «оборотень»?

— Какіе бываютъ оборотни! Ни-то человѣкъ, ни-то хавронья. Наговорили мнѣ о немъ съ три-короба: сказывали, будто бы духъ отъ него здоровый... Да врядъ ли. Чавкаетъ... ну, роется... воняетъ... это такъ! А чтобы онъ настоящимъ манеромъ облегчить могъ—не вѣрю!

Хорошо, что впослѣдствіи природа Любови Ивановны взяла свое, и добрая женщина освободилась-таки отъ угнетающихъ ее кризисовъ: но скажите по совѣсти, до какой безнадежности она должна была дойти, чтобы довѣрить свою жизнь... оборотню!

Но что̀ всего знаменательнѣе — указывая на кризисы, люди всѣхъ партій непремѣнно прилетаютъ къ нимъ реформы. Всѣ въ одно слово утверждаютъ, что именно въ реформахъ и заключается весь секретъ. Только одни прибавляютъ: «не дореформили!»—а другіе: «перереформили!»

Я не буду останавливаться на людяхъ первой разновидности. Голоса ихъ имѣютъ столь же мало значенія въ общемъ политиканствующемъ концертѣ, какъ и воркотня того «слуги», который на театральной сценѣ, при подня-

ти занавѣса, мететъ комнату (ворчитъ, а все-таки мететъ) и съ негодованіемъ сообщаетъ, что ужъ двѣнадцатый часъ на исходѣ, а господа все еще почиваютъ... И вдругъ справа: «Иванъ! одѣваться!»—слѣва: «Иванъ! чаю!»—изъ глубины: «Иванъ! принесли ли афиши?» И мчится Иванъ, какъ угорѣлый, не только позабывъ о недавней воркотнѣ, но весь, съ верхняго конца до нижняго, проникнутый одною мыслью, что̀ ежели эту воркотню подслушалъ баринъ и ударитъ его за нее по затылку?!

Но люди второй разновидности, тѣ, которые на самое возникновеніе реформаторской дѣятельности (независимо отъ ея содержанія) смотрятъ какъ на катастрофу, породившую всѣ дальнѣйшія злосчастія, эти люди заслуживаютъ того, чтобы побесѣдовать о нихъ подробнѣе, ибо въ настоящее время они — авторитетъ. Каждый день они каркаютъ: погибнемъ! погибнемъ! погибнемъ! — такъ что отъ однихъ этихъ наскудныхъ проклинаній становится жутко жить. Вся улица гремитъ ихъ угрозами; всѣ столбцы пропахли ихъ мудростью, и кто знаетъ, далеко ли время, когда, быть-можетъ, и канцеляристы проникнутся убѣжденіемъ, что кляуза и судаченье представляютъ наилучшее средство если не для того, чтобы выпутаться изъ затруднительныхъ обстоятельствъ, то, по крайней мѣрѣ, для того, чтобы хоть временно «отписаться» отъ нихъ.

Я охотно допускаю, что совершившіяся реформы не для всѣхъ пріятны, и что, слѣдовательно, единомыслія въ ихъ оцѣнкѣ ожидать нельзя. Но для того, чтобы съ успѣхомъ вести по ихъ поводу упразднительную пропаганду, недостаточно ненавидѣть, проклинать и подсиживать, а необходимо ясно и опредѣлительно указать, какъ съ ненавидимымъ предметомъ поступить. Нѣкоторымъ изъ реформъ уже четверть вѣка минуло, а большинство приближается къ концу второго десятилѣтія. Вѣдь это уже въ извѣстномъ смыслѣ храмъ славы, а совсѣмъ не навожденіе, по поводу котораго достаточно сказать: «дунь и плюнь!» — и ничего не будетъ. Но если-бъ даже и возможно было симъ легкимъ способомъ освободиться отъ храма славы, то все-таки надо и самимъ знать, и для другихъ сдѣлать понятнымъ, какой иной храмъ славы предполагается соорудить на мѣсто только-что выстроеннаго и уже предполагаемаго къ упраздненію

Если, какъ можно догадываться, безмятежное житіе, проектируемое кляузниками на мѣсто реформенной жизни,

должно заключаться въ томъ, что люди, причастные ему, будутъ служить безмолвными объектами для всевозможныхъ оздоровительныхъ затѣй, то эта перспектива едва ли кого-нибудь соблазнитъ. Потому что даже простодушнѣйшіе изъ простодушныхъ — и тѣ уже понимаютъ, что, при извѣстной обстановкѣ, выраженія: «оздоровительное предпріятіе» и «битье по темени» имѣютъ значеніе не только равносильное, но даже съ нѣкоторымъ преферансомъ въ пользу второго.

Что битье по темени, точно такъ же, какъ и сѣченіе, никогда не обладало творческой силой — исторія доказала намъ это достаточно. Отъ начала вѣковъ исправникъ сѣкъ мужика, полагая, что черезъ это числящаяся на немъ недоимка полностью поступитъ въ казначейство, а недоимка и до-днесь на мужикѣ числится. Стало-быть, сѣченьемъ нимало интереса казны не соблюли, а только спину мужика понапрасну испортили

Конечно, большинство исправниковъ оправдываетъ себя въ этомъ случаѣ тѣмъ, что мужикъ, при совершеніи экзекуціи, не только не прекословилъ, но даже, по окончаніи ея, благодарилъ за науку. Стало-быть, говорятъ они, онъ самъ чувствовалъ, что сѣченье ему на пользу. Однако едва ли на этотъ разъ можно повѣрить мужику на-слово. Почему онъ молчитъ и даже благодаритъ — это тайна, которую не особенно мудрено разгадать. А именно: онъ молчитъ и благодаритъ потому, что ежели онъ будетъ «разговаривать», то исправникъ, пожалуй, не затруднится и опять его «разложить».

Точно то же безплодное будущее предстоитъ и битью по темени. Ни фабричный, ни даже пшеничный кризисъ не прекратятся оттого, что люди ополоумѣютъ. Очень возможно, что эти ополоумѣвшіе, подобно сейчасъ упомянутому мужику, будутъ кланяться и благодарить; но секретъ этой благодарности будетъ столь же легко объяснимъ, какъ и въ предыдущемъ случаѣ. Стало-быть, кризисы останутся въ своей силѣ, да вдобавокъ получится еще громадная масса проломленныхъ головъ. Неужели это можетъ кого-нибудь утѣшить?

Но кромѣ того, здѣсь является и другой очень важный вопросъ: кого стукать и за что?

Ежели стукать такъ-называемую интеллигенцію, то она не только не виновна въ кризисахъ, но, можно сказать, даже вполнѣ равнодушна къ нимъ. Въ сущности, и са-

харные. и всякіе другіе кризисы задѣваютъ ее такъ мало, что едва ли она даже видитъ нужду въ опредѣленіи тѣхъ убытковъ, которые она несетъ отъ нихъ. Она безпрекословно уплачиваетъ лишній грошъ въ одномъ мѣстѣ и идетъ въ другое мѣсто, чтобъ уплатить другой лишній грошъ. И при этомъ отлично помнитъ, что совать носъ не въ свое дѣло не слѣдуетъ. Конечно, не можетъ она отъ времени до времени не разсуждать (а въ томъ числѣ и о кризисахъ), но въ этомъ уже виновны университеты, гимназіи и кадетскіе корпуса, гдѣ совершенно открыто внушается, что человѣку свойственно разсуждать. Но, кромѣ того, ежели даже о словахъ говорится: verba volant, — то для мыслей у насъ и крыльевъ-то не заведено: гдѣ родятся, тамъ и умираютъ. Вотъ почему, когда, года три тому назадъ, изо всѣхъ щелей выползли кляузники, вооруженные проектами истребленія интеллигенціи, то громадная масса интеллигентовъ даже протестовать не пыталась, а только въ недоумѣніи спрашивала себя: за что?

Ежели стукать мужика, то онъ еще менѣе виноватъ въ появленіи кризисовъ, хотя преемственность ихъ въ особенности живо отдается на его бокахъ. Мужикъ и до сихъ поръ не знаетъ, что въ существованіе его заползли какіе-то кризисы, но для него не тайна, что съ кризисами или безъ оныхъ онъ все-таки повиненъ работѣ. И работаетъ. Мнѣ возразятъ, быть-можетъ, что во вниманіе къ таковымъ похвальнымъ качествамъ ни одинъ кляузникъ и не выступилъ съ проповѣдью объ истребленіи мужика: пускай, дескать, плодится и множится. Согласенъ: дѣйствительно, объ истребленіи мужика проектовъ не было; однако-жъ ни одинъ безпристрастный человѣкъ не будетъ отрицать, что о подкузмленіи его мечтали и мечтаютъ очень многіе. За что?

Существуетъ и еще кляузное мнѣніе: въ самомъ, дескать, правительствѣ накопилось безконечное множество антиправительственныхъ элементовъ, которые, пользуясь своимъ привилегированнымъ положеніемъ, преднамѣренно поддерживаютъ въ странѣ смуту, служащую источникомъ всѣхъ кризисовъ. Но, во-первыхъ, это мнѣніе вполнѣ обстоятельно опровергается существованіемъ знаменитаго 3-го пункта для смѣняемыхъ и кабинетныхъ собесѣдованій — для несмѣняемыхъ. Во-вторыхъ, если бы даже расколъ, о которомъ идетъ рѣчь, и не былъ баснею, то прежде чѣмъ направо и налѣво раздавать клички, слѣдовало бы опредѣлить, откуда этотъ расколъ пришелъ, и не имѣется ли орга-

ческой причины, которая дѣлаетъ его непстребимымъ. И въ-третьихъ, наконецъ, гдѣ найти компетенцію, которая, не будучи посвящена въ тайну правительственныхъ намѣреній, имѣла бы возможность безошибочно установлять признаки правительственности и анти-правительственности? Ужели достаточно заявить себя кляузникомъ, чтобы присвоить себѣ монополію такой компетенціи?

Повторяю: проклятія останутся только проклятіями, человѣконенавистничество пребудетъ только человѣконенавистничествомъ. Не изъ могилъ, разрываемыхъ гіенами, услышится живое слово... нѣтъ, не изъ нихъ!

Ахъ, кляузники, кляузники! Вѣдь дѣло совсѣмъ не въ укорахъ и завиненіяхъ заднимъ числомъ: дѣло не въ ябедахъ и не въ подтасовкахъ, а въ томъ, чтобы жизнь не калѣчила живыхъ. Ежели слово «реформы» до того постыло, что даже слышать его больно, то пусть будетъ замѣнено другимъ... напримѣръ, хоть «регламентаціей». Ежели и «регламентація» окажется подозрительною (она отзывается отчасти соціализмомъ, отчасти аракчеевщиною), то замѣните ее «постепеннымъ, при содѣйствіи околоточныхъ надзирателей, благоноспѣшеніемъ». И это будетъ хорошо. Не въ словахъ сила, и нѣтъ той номенклатуры, съ которою нельзя было бы помириться: но пускай же исчезнетъ то постыдное пустоутробіе, которое выдаетъ камень за хлѣбъ и полоумный доносъ—за содѣйствіе.

Оскудѣніе полное. Тѣмъ не менѣе, такъ какъ мысль не можетъ окончательно умереть, то она и подъ игомъ всевозможныхъ недоумѣній продолжаетъ свою работу. Но, очутившись внѣ живописной струи руководящихъ началъ, она исключительно устремляется къ мелочамъ обыденной жизни и въ нихъ ищетъ утолить присущую ей потребность творчества.

Отсюда—громадная масса проектовъ и проектцевъ, удручающая нашу современность. Я не утверждаю, чтобы между ними не было практически-полезныхъ, снабженныхъ весьма интересными справками и изложенныхъ прекраснѣйшимъ слогомъ, но не могу скрыть, что даже полезнѣйшіе построены на «пескѣ», зависятъ отъ массы случайностей и вслѣдствіе этого осуждены на полную неустойчивость.

Много мы знали полезныхъ выдумокъ и многія изъ нихъ видѣли даже въ дѣйствіи; но польза, которая отъ нихъ ожидалась, прежде всего парализировалась ихъ внутреннею изолированностью. Въ общемъ укладѣ жизни не было для

нихъ ни соотвѣтствія, ни поддержки, и это сказывалось до такой степени рѣзко, что едва ли можно указать хотя на одно явленіе этой категоріи, которое при самомъ рожденіи не стояло бы подъ угрозой ежеминутнаго упраздненія. Мы созидаемъ и вслѣдъ за тѣмъ разрушаемъ, потомъ опять возвращаемся къ разрушенному и, возсоздавъ его, вновь разрушаемъ. Плотина, которая сдерживала бы напоръ пораженнаго паникою произвола, не только не существуетъ, но даже самая мысль о ея необходимости представляется небезопасною.

Тѣмъ не менѣе неустойчивость отнюдь не обезкураживаетъ прожектеровъ. И это вполнѣ понятно, потому что человѣкъ самый простодушный, чувствуя боль во всѣхъ суставахъ, не можетъ не употреблять усилій, чтобы освободиться отъ нея. Но еще болѣе понятно то, что человѣкъ этотъ, игнорируя общіе законы, управляющіе жизнью, останавливается въ недоумѣніи передъ мало-мальски широкой задачей и спѣшитъ отыграться на подробностяхъ.

Простодушіе цѣнитъ только непосредственныя практическія примѣненія, а ничто такъ легко не поддается практической разработкѣ, какъ подробности. Міръ подробностей—міръ простодушныхъ людей, и ежели вы сообразите, какое разнообразіе подробностей представляетъ даже самая бѣдная содержаніемъ жизнь, то убѣдитесь, что прожектеры могутъ черпать изъ этого источника, нимало не опасаясь, что онъ когда-нибудь истощится.

Повторяю: и количество, и разнообразіе ходячихъ проектовъ поистинѣ изумительны. И чѣмъ больше проектъ напоминаетъ принципъ раздѣленія труда, въ силу котораго рабочій на всю жизнь осуждается выдѣлывать одну двадцатую часть булавочной головки, тѣмъ бо́льшую претензію представляетъ онъ на авторитетность. Чѣмъ онъ низменнѣе, тѣмъ благовременнѣе и назойливѣе. Многіе даже утверждаютъ, будто бы въ основѣ большинства современныхъ выдумокъ—прямо или косвенно, но *непремѣнно* лежитъ воровство; но я считаю это мнѣніе черезчуръ уже рискованнымъ. Меня гораздо болѣе поражаетъ и оскорбляетъ то, что всякій одержимый чесоткою празднолюбецъ, не обинуясь, пріурочиваетъ свою личную чесотку къ лику недуговъ общественныхъ и государственныхъ.

Низменность и безсвязность большинства сыплющихся со всѣхъ сторонъ оздоровительныхъ предпріятій таковы, что даже породили мнѣніе о вырожденіи человѣческаг

рода. Старики, по крайней мѣрѣ, положительно утверждаютъ, что въ былыя времена разсуждали обстоятельнѣе, не «растекались мыслью по древу», а начавши долбить стоявшій на очереди сукъ, долбили его во всѣхъ смыслахъ и до конца. И въ примѣръ приводятъ рѣшенія и поступки, которые хотя и сданы въ архивъ, но въ свое время задали-таки коноти. Тогда какъ нынѣ— возьмите любой оздоровительный проектъ, и вы прежде всего убѣдитесь, что содержаніе его напоминаетъ пирогъ, въ которомъ, вмѣсто съѣдобной начинки, затисканы стружки, глина, песокъ и другой строительный матеріалъ. А затѣмъ и внѣшности приличной нѣтъ налицо. Начнетъ человѣкъ: «*такъ какъ*»,— а объ «*то*» позабудетъ: или начнетъ съ «*хотя*», а ни «*тѣмъ не менѣе*», ни «*но*» и въ поминѣ нѣтъ. Даже многоточія въ ходъ пошли—на что похоже!

— Фельетоны такъ писать дозволительно, а не проекты-съ, — негодовалъ на-дняхъ безшабашный совѣтникъ Дыба:—скажите на милость, начали прибѣгать къ многоточію! Вѣдь многоточіе-то, государь мой, волненіе чувствъ означаетъ. А развѣ таковое приличествуетъ въ вопросѣ столь несомнѣнной важности, какъ общественное оздоровленіе?

Я не буду, однако-жъ, разсматривать, насколько правы сѣтующіе старики, хотя вообще думаю, что они многое позабыли и весьма малому научились. Не стану также приводить примѣры полезныхъ оздоровительныхъ проектовъ, въ родѣ обузданія гласности, упраздненія судейской несмѣняемости, неограниченнаго выпуска кредитныхъ билетовъ, учрежденія элеваторовъ и т. п. Не стану, во-первыхъ, потому, что все, что я могу сказать объ этихъ предметахъ, исчерпывается слѣдующими немногими словами: можетъ-быть, хорошо выйдетъ, а можетъ-быть, и не хорошо, и даже зловредно. Я и самъ радъ бы какой-нибудь оздоровительный проектъ написать, но что же я, сидя у себя въ кабинетѣ, знаю? Чѣмъ я могу руководиться, кромѣ цифръ, въ качествѣ отправного пункта, и логики, въ качествѣ орудія для вывода? Допустимъ, что я—человѣкъ вполнѣ добросовѣстный и недюжиннаго ума, что взятая мною цифра вѣрна, и что сдѣланное мною на основаніи ея построеніе вполнѣ согласно съ законами логики; но могу ли я поручиться, что не упустилъ изъ вида тѣхъ примѣсей, которыя при всякомъ практическомъ примѣненіи всплываютъ со дна жизни, вопреки всякимъ цифрамъ и построеніямъ. На-

сколько, напримѣръ, моя выдумка можетъ потерпѣть отъ вмѣшательства воровства, лихоимства, нравственной расшатанности, неряшества или, наконецъ, отъ такой пустой и нелѣпой вещи, какъ провинціальный этикетъ? Я знаю, конечно, что эти дрянныя примѣси вполнѣ устранимы, а можетъ-быть, даже знаю, при какихъ условіяхъ онѣ устранимы (впрочемъ, и тутъ не выдаю своего мнѣнія за непогрѣшимое); но до тѣхъ поръ, пока этихъ условій не существуетъ, ни о чемъ ничего сказать не могу, кромѣ: можетъ-быть, хорошо, а можетъ-быть, такъ нехорошо, что завтра же передѣлывать придется.

А во-вторыхъ, если бы я, даже не останавливаясь передъ этими соображеніями, и началъ вкривь и вкось разсуждать, то навѣрное меня на первыхъ же шагахъ остановятъ люди болѣе меня опытные и компетентные. И хорошо сдѣлаютъ, ибо фортуна поступила со мною жестоко, отдавъ всю мудрость и опытность въ удѣлъ столоначальниковъ, а мнѣ (впрочемъ, быть-можетъ, и вамъ, читатель) предоставивъ бродить на помочахъ и спотыкаться.

Итакъ, область серьезнаго и дѣльнаго для меня недоступна. Я и не стараюсь проникнуть въ нее и, право, безъ зависти взираю на вереницы коллежскихъ регистраторовъ, передъ которыми настежь растворяется запертая для меня дверь. Я знаю, что существуетъ другая область: область нелѣпаго и смѣшного, на воротахъ которой написано: «entrée libre», и въ которую я, вмѣстѣ съ другими профанами, могу входить вполнѣ свободно. Почему свободно?— а потому, во-первыхъ, что смѣшное и несерьезно-нелѣпое предполагается исходящимъ отъ людей мизерныхъ, значенія не имѣющихъ, то-есть вообще такихъ, которыхъ можно «касаться», не рискуя быть обвиненнымъ въ потрясеніи основъ. А во-вторыхъ, и потому, что смѣшное и нелѣпое сами по себѣ настолько невинны, что и спотыкающійся, подобно мнѣ, человѣкъ ничего, кромѣ невиннаго упражненія, извлечь изъ подобной темы не можетъ.

Какъ бы то ни было, но я пользуюсь этой свободой и благодарю.

Изъ числа моихъ школьныхъ сверстниковъ, оставшихся въ живыхъ, ничей удѣлъ не кажется мнѣ столь желательнымъ, какъ тотъ, который выпалъ на долю Ѳедоту Архимедову. И выпалъ, надо сказать правду, совершенно незаслуженно, единственно благодаря счастливо сложившимся обстоятельствамъ

Въ школѣ мы называли Архимедова «Ѳедотъ да не тотъ», и эта кличка удивительно къ нему шла. Что-то несвойственное въ немъ было, какая-то заколдованность, абсентеизмъ. Уроки онъ отбывалъ всегда исправно, но учителямъ почему-то казалось, что не онъ лично отвѣчаетъ урокъ, а какая-то сущая въ немъ чертовщина; велъ онъ себя добропорядочно, но надзирателямъ казалось, что эта добропорядочность въ немъ не то чтобы лицемѣрная, а какъ бы невмѣняемая. Поэтому и баллы ему, какъ въ ученіи, такъ и въ поведеніи, ставились очень умѣренные. И онъ не протестовалъ противъ несправедливости, а только при случаѣ горько улыбался: но эта горькая улыбка была до того беззавѣтно-нелѣпа, что ему тутъ же сбавляли за нее еще баллъ или два въ поведеніи.—какъ будто онъ произвелъ нѣвѣсть какое дебоширство. Ни съ кѣмъ онъ не былъ друженъ и ни къ какому занятію не оказывалъ предпочтенія. Охотнѣе всего игралъ въ свайку: но и тутъ устроится въ-одиночку гдѣ-нибудь въ уголку и самъ себѣ задаетъ рѣдьки. Въ рекреаціонные часы онъ и по залѣ, и по саду ходилъ всегда одинъ.—и непремѣнно задумавшись: но никто не могъ опредѣлить, дѣйствительно ли онъ думаетъ или у него болитъ голова. Нѣкоторые даже утверждали, что у него въ головѣ завелось мышиное гнѣздо, и приставали къ нему, спрашивая, выпросталась ли старая мышь, и не безпокоятъ ли его своей бѣготней молодые мышата. Однако-жъ этотъ вопросъ—только онъ одинъ—приводилъ его почти въ изступленіе. Онъ, какъ бѣшеный, бросался въ толпу обидчиковъ, ничего не разбирая, сыпалъ ударами направо и налѣво, швырялъ чернильницами—и, разумѣется, взаимно украшенный синяками, попадалъ, въ концѣ концовъ, въ карцеръ. Между тѣмъ какъ прочіе товарищи интересовались литературой и втихомолку зачитывались журналами, онъ въ продолженіе всего шестилѣтняго курса читалъ одинъ и тотъ же № «Репертуара» (Песоцкаго), въ которомъ былъ помѣщенъ водевиль: «Отецъ, какихъ мало». Читалъ постоянно и не могъ начитаться. И въ довершеніе всего—лицо у него было похоже на подмалеванный портретъ, въ которомъ художникъ тщетно пытался что-то изобразить и наконецъ бросилъ, подписавъ внизу: «Галиматья».

По выходѣ изъ школы, онъ вмѣстѣ съ другими товарищами обязательно поступилъ на службу. Однако-жъ и новое начальство довольно долго не могло приспособиться къ нему и разгадать: тотъ ли онъ Ѳедотъ, или не тотъ. По-

этому, на первыхъ порахъ, на него возлагались работы самыя легкія, такъ сказать, идіотскія; но даже и въ нихъ онъ не обнаруживалъ ни мастерства, ни виртуозности. Запишетъ, бывало, бумагу во входящій реестръ—и не безпокоится. Всѣ безпокоятся, у всѣхъ сердце болитъ, а ему какъ съ гуся вода! И, можетъ-быть, служебныя дѣла его и до сего дня шли бы тихимъ ходомъ, если бы, на его счастье, въ служебной атмосферѣ не послѣдовало новаго вѣянія. Неизвѣстно почему, но, конечно, не безъ основанія, на Ѳедотовъ явилось въ бюрократическихъ сферахъ усиленное требованіе. Отъ нихъ однихъ ожидалось усердіе не по разуму, а на ихъ непреклонность въ соблюденіи канцелярской тайны возлагались самыя горячія упованія. «Ѳедотовъ нужно! никого, кромѣ Ѳедотовъ!» раздавался кличъ по всему лагерю, и въ согласность этому кличу произошли существенныя перемѣны и въ этомъ вѣдомствѣ, въ которомъ служилъ Архимедовъ. Старый начальникъ былъ смѣненъ и на его мѣсто посаженъ другой—тоже Ѳедотъ да не тотъ. Оба Ѳедота любили сами себѣ сваечныя рѣдьки задавать, оба—ничего не читали, кромѣ водевиля: «Отецъ, какихъ мало», и у обоихъ—подъ портретомъ написано было: «Галиматья». Взглянули они другъ на друга, да такъ и ахнули. И съ той минуты служебная карьера Архимедова была обезпечена.

И точно, съ перваго же абцуга дѣло пошло у нихъ какъ по маслу и въ настоящее время доведено до такого совершенства, какъ дай Богъ всякому. Подчиненный-Ѳедотъ—докладываетъ, а начальникъ-Ѳедотъ—понимаетъ; начальникъ-Ѳедотъ—приказываетъ, а подчиненный-Ѳедотъ—понимаетъ. И не видятъ оба, какъ время летитъ. Всѣ сослуживцы дивятся и говорятъ, что они при дьявольскомъ навожденіи присутствуютъ; а имъ что̀ за дѣло!

И лѣзетъ да лѣзетъ Ѳедотъ Архимедовъ по лѣстницѣ, видѣнной Іаковомъ во снѣ, и навѣрное до чего-нибудь долѣзетъ. Въ послѣднее время онъ почти сряду получилъ три награды: къ Рождеству его сдѣлали дѣлопроизводителемъ комиссіи для разсмотрѣнія предшествующихъ заблужденій, постомъ онъ получилъ дифтеритъ, а къ святой — орденъ Такòва. И живетъ-себѣ припѣваючи въ великолѣпной казенной квартирѣ, и съ-часу-на-часъ ожидаетъ курьера. А нѣкоторые даже присовокупляютъ, что онъ каждое утро казанскимъ мыломъ моется и лоделавандомъ ротъ полощетъ, дабы, въ случаѣ чего, не оплошать. Что-жъ!

казанское мыло не одному Ѳедоту открывало путь къ почестямъ.

Такъ вотъ этотъ самый Ѳедотъ съ чего-то началъ ко мнѣ похаживать. Придетъ, разсядется въ креслѣ, вынетъ платокъ, опрысканный какими-то ни съ чѣмъ несообразными духами, и начнетъ вытирать имъ между пальцевъ. И чтобы я не возмечталъ о себѣ, по поводу его визита, чего-нибудь лишняго, непремѣнно скажетъ:

— Я потому къ тебѣ зашелъ, что нахожу не лишнимъ отъ времени до времени окунуться въ волны общественнаго мнѣнія...

Оговорившись такимъ образомъ, онъ начинаетъ, не торопясь, разматывать предо мной, одинъ за другимъ, нагноившіеся въ его головѣ прожекты. Прожектовъ этихъ у него напасено ровно столько, сколько есть звѣздъ на небѣ, и хоть, по всѣмъ вѣроятіямъ, ни одному изъ нихъ не предстоитъ осуществленія (черезчуръ уже они смѣлы), тѣмъ не менѣе это не мѣшаетъ имъ циркулировать въ сферахъ и даже утруждать вниманіе. Ибо, при всеобщемъ современномъ оголтѣніи, Ѳедоты изображаютъ собой силу, съ которой нельзя не считаться и выслушивать которую—обязательно.

Въ большинствѣ случаевъ, эта «сила» всплываетъ на поверхность случайно (какъ это уже и разсказано мною выше); но, разъ всплывши, она устраивается настолько прочно, что сдвинуть ее съ занятой позиціи представляется дѣломъ весьма не легкимъ. Секретъ заключается въ томъ, что Ѳедоты быстро и издалека угадываютъ другъ друга и, угадавши, составляютъ изъ себя, такъ сказать, ассоціацію взаимнаго страхованія. Во главѣ этой ассоціаціи становится Ѳедотъ первый, который гдѣ-то имѣлъ «руку» и, слѣдовательно, считаетъ себя въ правѣ колобродить, не стѣсняясь ничѣмъ, кромѣ усердія не по разуму. У перваго Ѳедота имѣетъ руку Ѳедотъ второй, у второго Ѳедота—третій и т. д. Всѣ заимствуются свѣтомъ другъ у друга и всѣ колобродятъ. Колобродятъ серьезно, сосредоточенно и сердито, такъ что ежели въ разгаръ этого колобродства подвернется профанъ и попробуетъ высказать не то чтобы несогласіе, а только равнодушіе, то ему навѣрное не сдобровать.

Въ силу такихъ счастливыхъ условій колобродилъ и Ѳедотъ Архимедовъ. Сознавая себя Ѳедотомъ по преимуществу, онъ не ограничивался тѣмъ, что разводилъ свои колобродства въ тѣсномъ кругу подобныхъ ему Ѳедотовъ, но

находилъ наслажденіе угнетать ими и людей совершенно постороннихъ. А въ томъ числѣ и меня.

Всѣ кризисы постепенно прошли черезъ горнило его умопомраченія, всѣ одинаково вызывали на его лицѣ озабоченное выраженіе, и всѣ онъ пріурочивалъ къ одной и той же причинѣ: разнузданности. Долгое время онъ ограничивался, въ разговорахъ со мною, одними общими мѣстами на эту тему, но, наконецъ, не выдержалъ и раскрылъ мнѣ подробности своего плана.

— Ты уже знаешь,—сказалъ онъ мнѣ:—что, по мнѣнію моему, прежде всего необходимо уничтожить разнузданность. Разъ мы успѣемъ въ этомъ, жизнь естественнымъ порядкомъ войдетъ въ надлежащую колею. Внутренніе враги разсѣются, а съ внѣшними мы, съ Божьею помощью, и сами справимся. Надѣюсь, что ты ничего не имѣешь противъ этого результата?

Разумѣется, я не только не имѣлъ ничего, но былъ даже очень радъ. На то враги и существуютъ, чтобы ихъ обуздывать. Но такъ какъ время нынѣ стоитъ загадочное, то и я счелъ нужнымъ отвѣтствовать загадочно. То-есть, не отрицалъ, но и безусловнаго согласія не изъявлялъ.

— Какъ тебѣ сказать, душа моя,—резонировалъ я:—можетъ-быть, оно и хорошо выйдетъ, а можетъ-быть, и нехорошо. Обуздывать, вообще говоря, полезно и даже всегда благовременно; однако не мѣшаетъ при этомъ имѣть въ виду и слѣдующее: а что, если вдругъ понадобится снова разнуздывать?! Кто будетъ тогда виноватъ въ безвременномъ обузданіи? Но, съ другой стороны, можетъ случиться и такъ: ежели мы оставимъ разнузданность необузданною, то какъ бы потомъ не пришлось быть въ отвѣтѣ за то, что мы своевременно ее не обуздали. Словомъ сказать, все въ этомъ предпріятіи сводится къ пословицѣ: и повернешься — бьютъ, и не повернешься — бьютъ. Вотъ чего я боюсь.

Высказавши это мнѣніе, я вдругъ очнулся: что, бишь, такое я сказалъ? Къ счастью, Архимедовъ не только не казался изумленнымъ, но даже понялъ.

— Ты слишкомъ остороженъ,—укорилъ онъ меня.—Завѣсу будущаго приподнимать полезно, но не всегда. Есть вещи, которыя необходимо приводить въ исполненіе сразу, не разсуждая. Разсужденіе—вотъ корень угнетающаго зла. Разсуждая, я, конечно, всегда рискую встрѣтиться съ препятствіями. Сперва придетъ одно препятствіе, потомъ другое, третье, и, наконецъ, накопится такое множество, что для

разборки ихъ потребуется цѣлая комиссія, которая, послѣ десяти лѣтъ неусыпныхъ трудовъ, подобно тебѣ, резюмируетъ свою мысль въ трехъ словахъ: «бабушка на-двое сказала». Но это мы ужъ давно знаемъ: это написано въ видѣ эпиграфа во главѣ всѣхъ нашихъ начинаній. и, къ сожалѣнію, мы нимало не дѣлаемся отъ него благополучны. Намъ нужно совсѣмъ другое, а именно: отзвонилъ — и съ колокольни долой. Правду ли я говорю?

— Какъ тебѣ сказать, мой другъ?.. Быть-можетъ, безъ разсужденія выйдетъ хорошо, но можетъ быть и нехорошо. А равнымъ образомъ — и насчетъ звону. Иной звонарь бухаетъ въ колоколъ зря, а другой—старается попасть въ тонъ... Словомъ сказать—загвоздка.

Но онъ даже не отвѣтилъ на мое возраженіе, а самодовольно выпрямился и сказалъ:

— Ну, ужъ насчетъ звону... можешь не безпокоиться: слишкомъ тридцать пять лѣтъ я звоню, и, кажется... Но не будемъ увлекаться голословными препирательствами, а обратимся къ фактамъ, которые, я надѣюсь, лучше всякихъ разсужденій убѣдятъ тебя въ моей правотѣ.

И тутъ-то вотъ онъ, пунктъ за пунктомъ, развилъ передо мной свой проектъ объ уничтоженіи разнузданности.

По его мнѣнію, наша современность представляла два главныхъ вмѣстилища разнузданности: во-первыхъ, современную молодежь; во-вторыхъ, печать. Онъ не отрицалъ, впрочемъ, что если копнуть, то могутъ открыться и еще два-три вмѣстилища (напримѣръ: земство, судъ, акцизное вѣдомство, контроль), но покуда еще позволялъ себѣ смотрѣть сквозь пальцы на ихъ «недостойную игру». Зато на вопросахъ о молодежи и печати онъ сосредоточилъ все свое вниманіе и изучилъ ихъ до тонкости.

— Относительно нашей молодежи, — началъ онъ: — я полагаю, что прежде всего необходимо упорядочить ея воспроизведеніе..

И, прочитавъ на моемъ лицѣ испугъ, поспѣшилъ успокоить меня.

— Не прекратить — я соглашаюсь, что это было бы черезчуръ радикально, — но «упорядочить». Не пугайся и выслушай меня до конца. Наблюденія свѣдущихъ людей показываютъ намъ съ послѣднею очевидностью, что качества, какъ физическія, такъ и нравственныя, наслѣдственно переходятъ отъ производителей къ производимымъ. Какимъ образомъ это происходитъ — никому неизвѣстно: но таковъ

законъ природы. Отецъ, обладающій большимъ носомъ, передаетъ его по наслѣдству сыну, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ, къ несчастью, и дочери. Точно то же явленіе замѣчается и относительно характера (особенно ежели характеръ строптивъ), и ежели бываютъ исключенія изъ этого общаго правила, то они доказываютъ лишь вмѣшательство постороннихъ факторовъ, котораго никакой законъ ни предотвратить, ни предусмотрѣть не можетъ. Слѣдовательно, дабы получить молодое поколѣніе, вполнѣ соотвѣтствующее требованіямъ благоустройства и благочинія, необходимо, главнѣйшимъ образомъ, упорядочить производительную среду. Но гдѣ мы отыщемъ эту среду? Ежели мы будемъ искать ее среди нашихъ сверстниковъ, то врядъ ли поиски наши приведутъ къ плодотворному результату. Мы, старики, свое дѣло сдѣлали. Что съ возу упало, то пропало. Тщетно стараться объ упорядоченіи того, что самою природою до такой степени упорядочено, что можетъ сказать о себѣ только: на нѣтъ и суда нѣтъ. Конечно, найдутся и среди насъ... между прочимъ, не скрою и о себѣ... но это уже, такъ сказать, особливое благоволеніе природы, на которое законъ смотритъ, какъ на явленіе въ высшей степени пріятное, но не обязательное... Не правда ли, mon vieux, такъ вѣдь я говорю?

— То-есть какъ тебѣ сказать... Конечно, въ такихъ дѣлахъ молодые люди болѣе компетентны, но, съ другой стороны, ежели взглянуть на дѣло съ точки зрѣнія осмотрительности...

— Ну, ну, что ужъ, не оправдывайся, Богъ проститъ! Итакъ, продолжаемъ. Истинная производительная сила, та, которая производитъ обязательно и съ увлеченіемъ, сосредоточивается въ самомъ молодомъ поколѣніи. И вотъ отъ этой-то именно силы, то-есть отъ ея доброкачественности или недоброкачественности, и зависятъ судьбы будущаго. Или, говоря языкомъ науки: «всякій молодой человѣкъ, воспроизводящій въ лицѣ ребенка подобіе самого себя, не только удовлетворяетъ этимъ естественной склонности къ самовоспроизведенію, но въ то же время вліяетъ и на дальнѣйшія судьбы своего отечества». Это аксіома, или, лучше сказать, краеугольный камень, на которомъ долженъ произрасти цвѣтъ будущаго. Заручившись этимъ основаніемъ, я говорю себѣ: такъ какъ составъ и свойство грядущихъ поколѣній находятся въ тѣсной зависимости отъ состава и свойствъ нынѣ дѣйствующаго молодого поколѣ-

нія, то, дабы усовершенствовать первое, необходимо произвести въ послѣднемъ такой подборъ людей, который представлялъ бы несомнѣнное ручательство въ смыслѣ благонадежности. Или, говоря языкомъ науки, необходимо, наряду съ прочими возникшими въ послѣднее время институтами, образовать еще институтъ племенныхъ молодыхъ людей, признавъ чисто-правоспособными только тѣхъ молодыхъ людей, кои добрымъ поведеніемъ и успѣхами въ древнихъ языкахъ (а на первое время хотя бы въ одномъ изъ нихъ.— прибавилъ онъ снисходительно) окажутся того достойными; тѣмъ же, которые подобнаго ручательства не представятъ, доказывать свою правоспособность отъ дѣла сего особо. Такъ ли я говорю?

— Какъ бы тебѣ сказать...

— Позволь. Твоя рѣчь впереди, — перебилъ онъ меня нетерпѣливо. — Прошу замѣтить, что я ни экзаменовъ, ни пробныхъ лекцій, ничего такого не требую. Хорошо велъ себя въ школѣ, знаешь наизустъ двѣ-три басни Федра (но надобно знать ихъ твердо, мой другъ!) — иди и шествуй! Хоть сейчасъ подъ вѣнецъ. Наше вѣдомство не токмо не встрѣтитъ препятствій, но даже окажетъ дѣятельнѣйшее въ семъ смыслѣ содѣйствіе. И еще замѣть: я и строптиваго не обезкураживаю. Я, такъ сказать, только отчисляю его по инфантеріи, но не навѣчно, ибо въ то же время говорю: старайся оправдаться, и ежели представишь подлинное удостовѣреніе—дерзай! И чѣмъ больше будетъ раскаивающихся, тѣмъ полнѣе будетъ наша радость. Одного не могу допустить и не допущу: это—чтобъ элементы неблагонадежные или сомнительные могли проникнуть въ корпорацію правоспособныхъ... Нѣтъ, не допущу!

— Но неужели же тѣ, которые, по упорству или по нерадѣнію, все-таки не выучатъ двухъ-трехъ басенъ Федра, неужели они будутъ навсегда осуждены влачить безотрадное существованіе по инфантеріи?

— Всенепремѣнно; въ этомъ заключается вся экономія предлагаемаго мною проекта. Впрочемъ, не огорчайся: вѣдь это только издали кажется страшно; но какъ только дѣло дойдетъ до практики, то опасенія твои навѣрное дойдутъ до минимума. Инстинктъ самовоспроизведенія настолько силенъ въ человѣкѣ, что даже самые строптивые будутъ прилагать старанія къ скорѣйшему духовному и нравственному возрожденію. А сверхъ того, право, не такъ ужъ трудно выучить двѣ-три басни Федра, чтобъ изъ-за этого

подвергать себя столь существенному лишенію. Немного терпѣнія и очень много твердости со стороны наблюдающихъ — и ты увидишь, что въ самое короткое время за кадрами останутся только закоснѣлые.

— Но ежели...

— Никакихъ «ежели» въ проектѣ моемъ не допускается. Вопросъ поставленъ ясно и категорически, а сверхъ того, чтобы кадры не номинально только, а дѣйствительно оставались замкнутыми, имѣется въ виду неусыпное наблюденіе и строго соображенная система взысканій. Прорваться не будетъ возможности. Сначала, конечно, въ отношеніи къ покушающимся будутъ пущены въ ходъ мѣры кротости и убѣжденія, потомъ—взысканія, постепенно усиливаемыя, наконецъ...

— Ахъ!

— И я знаю, что жестоко, но иначе нельзя. И ты увидишь, что, благодаря содѣйствію племенныхъ молодыхъ людей, слѣдующее же поколѣніе получитъ совсѣмъ другую окраску. О разнузданности не будетъ и въ поминѣ, а ежели и останутся отдѣльные индивидуумы, имѣющіе унылый и недоброкачественный видъ, то они мало-по-малу изноютъ сами собой.

Онъ умолкъ и самонадѣянно смотрѣлъ на меня, выжидая одобренія. Но любопытство мое настолько было задѣто за живое, что я уже и самъ пожелалъ нѣкоторыхъ поясненій.

— Но мужички,—спросилъ я:—неужели и они...

— О, нѣтъ, до нихъ мой проектъ не касается,—разубѣдилъ онъ меня: крестьянское сословіе можетъ плодиться и множиться на прежнихъ основаніяхъ! Для усмиренія крестьянской разнузданности существуютъ спеціальныя установленія: волостная управа, волостные суды, клоповники и наконецъ... чикъ-чикъ! Этого вполнѣ и надолго будетъ достаточно... разумѣется, если какая-нибудь комиссія и тутъ не подпуститъ... Но какъ ты находишь мой проектъ въ цѣломъ? Не правда ли, онъ въ настоящую точку бьетъ?

— Какъ тебѣ сказать? Конечно, можетъ выйти хорошо, но можетъ выйти и не хорошо. Вѣдь Рыковъ думалъ: — дай-ка я оживлю земледѣліе и торговлю, — и, разумѣется, ждалъ, что выйдетъ хорошо. Однако теперь онъ за свою выдумку сидитъ на скамьѣ подсудимыхъ. А почему? — потому, что это была его личная выдумка, которою онъ увлекся, да что-нибудь и упустилъ... А можетъ-быть, и подпустилъ...

— Рыковъ!—какія, однако-жъ, у тебя тривіальныя сравненія!

— Ахъ, нѣтъ, я не объ томъ... Я говорю только: если у тебя все пойдетъ какъ по маслу, то выйдетъ хорошо; если же, напримѣръ, люди, зачисленные по инфантеріи, прорвутся въ дѣйствующіе кадры, хотя бы даже въ качествѣ посторонней стихіи... Ну, не сердись, не сердись! Это я по простотѣ... Навѣрное ты уже все заранѣе предуготовилъ и предусмотрѣлъ, и слѣдовательно... отлично выйдетъ, отлично! Одно только меня интригуетъ: какимъ путемъ ты додумался до такой изумительной комбинаціи? Ужасно это любопытно!

— Какимъ путемъ? Наблюдалъ, размышлялъ, прислушивался, сопоставлялъ... Свои личныя наблюденія провѣрялъ наблюденіями добрыхъ друзей—и наоборотъ. Я, голубчикъ, еще въ то время, когда реформы только-что начались, уже о многомъ думалъ. И многое предусмотрѣлъ и даже предупреждалъ, но... Впрочемъ, оставимъ эти дурныя воспоминанія и обратимся къ предмету нашего собесѣдованія. Теперь мнѣ предстоитъ изложить мои предположенія относительно другого вмѣстилища современной разнузданности — печати.

Ѳедотъ остановился и испытующе взглянулъ на меня. Очевидно, онъ вспомнилъ, что я, до извѣстной степени, не чуждъ печати, и это какъ будто стѣснило его. Разумѣется, я поспѣшилъ его разувѣрить.

— Итакъ, будемъ откровенны! —началъ онъ.—Впрочемъ, это будетъ для меня тѣмъ легче, что, въ сущности, я совсѣмъ не врагъ печати, а только желаю, такъ сказать, оплодотворить ее.

Онъ опять остановился и, какъ бы предвидя, что все-таки нельзя обойтись безъ того, чтобъ не огорчить меня, взялъ мою руку и крѣпко, по-товарищески ее сжалъ.

— Да не стѣсняйся, голубчикъ, говори! — убѣждалъ я, растроганный до глубины души.

— Итакъ, будемъ откровенны,—вновь началъ онъ послѣ нѣкотораго колебанія. — Не безызвѣстно тебѣ, что въ настоящее время печать служитъ предметомъ очень тяжкихъ обвиненій. Я считаю, впрочемъ, излишнимъ излагать здѣсь многообразную сущность этихъ обвиненій: она извѣстна тебѣ, по малой мѣрѣ, столь же подробно, какъ и мнѣ. Нельзя похвалить современную печать, мой другъ, нельзя! И хотя я стараюсь быть безпристрастнымъ, но во всякомъ случаѣ не могу не признать, что дѣло поставлено очень и очень неправильно! И я увѣренъ, что ты самъ внутренно

соглашаешься со мной, хотя, конечно, по чувству солидарности, и не высказываешь... Признайся, вѣдь соглашаешься? а?

— Что-жъ, коли тебѣ все ужъ извѣстно...

— Ну, вотъ видишь, я такъ и зналъ! Есть что-то такое въ этой печати, чего ни подъ какимъ видомъ нельзя допустить. И даже въ самой формѣ. Вызывающее что-то... дерзкое! А притомъ и не всегда понятное. Вотъ почему многіе заявляютъ открыто, что печать слѣдуетъ или совсѣмъ упразднить, или, по малой мѣрѣ, надѣть на нее намордникъ!

— Намордникъ!

— Да, намордникъ. И замѣть, это говорятъ люди, которые въ общежитіи слывутъ за людей обязательныхъ, мягкихъ и вѣжливыхъ. Они мягки и обязательны во всемъ... кромѣ литературы! Какъ только рѣчь коснется литературы... намордникъ! Я, однако-жъ, этого мнѣнія н-не раз-дѣ-ля-ю!

Онъ произнесъ послѣднія слова съ нѣкоторою торжественностью, такъ что я не воздержался и воскликнулъ:

— Ѳедотъ! ты великодушенъ!

— Я только справедливъ,—отвѣтилъ онъ томно.—Тѣмъ не менѣе, не раздѣляя мнѣнія столь крайняго, я въ то же время понимаю, что мѣры необходимы, и мѣры рѣшительныя. И имѣю основаніе думать, что такія мѣры... возможны!

— О!

— Не пугайся, выслушай меня. Вѣроятно, ты ужъ замѣтилъ, что въ основѣ всѣхъ моихъ предположеній лежитъ, главнымъ образомъ, не упраздненіе, а упорядоченіе. Или, лучше сказать, возрожденіе. Такъ поступаю я и въ данномъ случаѣ. Многіе противопоставляютъ моей системѣ спасительный страхъ, но я нахожу, что послѣдній уже въ значительной мѣрѣ утратилъ свое обаяніе. Съ самаго пришествія варяговъ мы живемъ подъ дѣйствіемъ спасительнаго страха, а дурныя страсти, какъ были разнузданы при Гостомыслѣ, такъ и теперь остаются разнузданными. Другъ мой, что̀ пользы въ томъ, что мы, подобно Сатурну, будемъ глотать своихъ дѣтей?! Проглотимъ одного, проглотимъ другого, третьяго, четвертаго... что̀-жъ дальше? Не расточать надобно, а собирать въ житницы—вотъ мой девизъ. Этотъ девизъ, какъ тебѣ извѣстно, я примѣнилъ къ той части моего проекта, которая касается нашей молодежи; его же предполагаю примѣнить и къ печати.

— О!

— Вотъ вкратцѣ содержаніе моихъ предположеній по этому предмету. Печать, говорю я, сама по себѣ не могла бы существовать, если бы не существовало дѣятелей печати. Ежели дѣятели печати хороши, то и печать хороша; ежели дѣятели дурны или вредны, то и печать дурна или вредна. Это... аксіома. А ежели это аксіома, то очевидно, что сущность или, такъ сказать, стрѣла всякаго проекта, написаннаго въ здравомъ умѣ и твердой памяти, должна быть направлена не противъ печати собственно, а противъ ея дѣятелей. Такъ оно у меня и выходитъ. Дѣятелей печати я раздѣляю на два разряда: къ первому отношу современныхъ литераторовъ и публицистовъ; ко второму—публицистовъ и литераторовъ будущаго. Что касается первыхъ, то на ихъ возрожденіе надежда плохая. Они слишкомъ закоснѣли въ дурныхъ привычкахъ, слишкомъ избалованы. Поэтому я полагаю удобнѣйшимъ оставить ихъ подъ дѣйствіемъ спасительнаго страха, подъ коимъ они до-днесь пребывали, не чувствуя оттого для себя отягощенія...

— Ну, не совсѣмъ-таки безъ отягощенія...

— Извини меня, но со стороны господъ писателей это уже прихоть! Все вамъ предоставлено, все! И предостереженія, и предупрежденія, и совѣты! Если же и затѣмъ... согласись со мной, что самая снисходительная система дальше идти не можетъ, не рискуя попасть пальцемъ въ небо. Впрочемъ, повторяю: на нынѣшній составъ литературы я и не полагаю никакихъ надеждъ. Alea jacta est. Что будетъ, то будетъ, а будетъ, что Богъ дастъ. Намордниковъ я не предлагаю, но думаю, что сама природа, наконецъ, возмутится и явится на помощь благонамѣреннымъ людямъ съ естественной развязкой. Уже достаточное количество сошло съ арены; остальные... не замедлятъ! Жалко, но дѣлать нечего—таковъ законъ природы! Ну-съ, а затѣмъ прошу тебя выслушать меня внимательно, потому что я приступаю.

— Съ большимъ удовольствіемъ, хотя я не могу не сказать, что мнѣніе твое насчетъ современной литературы...

— Ни слова объ этомъ. Ежели я не требую намордниковъ, то и идти дальше по пути послабленій нимало не желаю. Словомъ сказать, я возлагаю упованіе на будущее. Въ этихъ видахъ я связываю мои предположенія о возрожденіи печати съ проектомъ объ упорядоченіи молодого поколѣнія вообще. Ты видѣлъ, какъ не трудно и даже легко достигается послѣднее, а по послѣднему можешь су-

дить и о первомъ. Какъ скоро образуется, благодаря содѣйствію племенныхъ молодыхъ людей, молодое поколѣніе, усовершенствованное и очищенное отъ неблагонадежныхъ элементовъ, то вмѣстѣ съ тѣмъ получатся и питательные кадры, изъ которыхъ имѣютъ пополняться ряды дѣятелей печати. Но здѣсь—какъ, впрочемъ, и вездѣ—возникаютъ нѣсколько очень существенныхъ вопросовъ, которые необходимо разрѣшить впередъ. Вопросъ первый: слѣдуетъ ли сдѣлать входъ въ литературную среду общедоступнымъ? Или полезнѣе будетъ ограничить число дѣятелей печати опредѣленнымъ комплектомъ? Я долго колебался между этими двумя системами, но, по обсужденіи доводовъ pro и contra, пришелъ къ такому заключенію: первая хороша—вообще, вторая—въ частности. А такъ какъ наше время—не время широкихъ задачъ, то хотя и съ болью въ сердцѣ, но приходится предпочесть частное общему. Въ этихъ видахъ я полагалъ бы на первыхъ порахъ комплектъ дѣйствующихъ литераторовъ ограничить числомъ 101. Сто—это потребность настоящаго; одинъ—это, такъ сказать, окно, изъ котораго открываются перспективы будущаго. Гдѣ есть одинъ, тамъ есть начало новой сотни, или, по крайней мѣрѣ, надежда на оную—вотъ! Или, говоря точнѣе, я не только не закрываю дверей будущаго, но, напротивъ, приглашаю достойнѣйшихъ: идите! Вотъ этотъ *сто первый* укажетъ вамъ путь къ славѣ!

— Прекрасно! — воскликнулъ я. — Стало-быть, ты все-таки сознаешь, что и литературѣ не чуждъ путь славы!..

Но онъ вмѣсто отвѣта только махнулъ рукою и продолжалъ:

— Второй вопросъ касается организаціи. Не имѣя въ виду прецедентовъ, которые указывали бы, какъ въ данномъ случаѣ поступить, я былъ вынужденъ довольствоваться собственною изобрѣтательностью. И посему полагалъ бы: сто русскихъ литераторовъ раздѣлить на десять отрядовъ, по десяти въ каждомъ, а сто первому литератору предоставить переходить по очереди изъ одного отряда въ другой до тѣхъ поръ, пока время не укажетъ на необходимость образованія новаго, одиннадцатаго отряда, къ которому онъ и примкнетъ. Во главѣ этихъ отрядовъ, на первое время, я предполагаю поставить старѣйшихъ изъ числа дѣятелей современной русской литературы, но исключительно изъ такихъ, которые, по преклонности лѣтъ, уже мышей не ловятъ. При этомъ я отдалъ бы предпочтеніе

составителямъ хрестоматій, которымъ, по свойству ихъ занятій, всѣ роды литературы доступны. Когда все будетъ готово, тогда, по совершеніи молебствія и по воспослѣдованіи пригласительнаго сигнала, отряды начнутъ между собою полемику. Но полемику благородную и притомъ сливающуюся въ одномъ общемъ чувствѣ признательности.

Онъ остановился, чтобы передохнуть, и я воспользовался этимъ, чтобы слегка походатайствовать.

— Вотъ ты упомянулъ о старѣйшинахъ,—робко инсинуировалъ я:—вотъ кабы...

— Имѣю въ виду,—обнадежилъ онъ меня кратко.—Затѣмъ продолжаю. Вопросъ третій: слѣдуетъ ли членамъ литературныхъ отрядовъ присвоить штатное содержаніе, или же удобнѣе считать ихъ занятія безвозмездными? На этотъ вопросъ отвѣчаютъ трояко: одни—въ утвердительномъ смыслѣ; другіе—въ отрицательномъ и, наконецъ, третьи говорятъ: слѣдуетъ, но въ видѣ частнаго пособія и притомъ келейно. Огрицательной системы я не допускаю вовсе, потому что она до извѣстной степени подрываетъ принципъ отвѣтственности и притомъ уже доказала на дѣлѣ свою несостоятельность. Систему келейныхъ пособій я тоже не могу одобрить, потому что она, страдая тѣмъ же недостаткомъ, какъ и система отрицательная, имѣетъ сверхъ того и еще неудобство: такъ-называемыя субсидіи стоятъ казнѣ, по малой мѣрѣ, столь же дорого, какъ и гласно выдаваемое жалованье. Затѣмъ остается система утвердительная, которую я и принимаю. Но что касается размѣра предполагаемыхъ содержаній, то таковой поставленъ мною въ зависимости отъ состоянія бюджета. Хорошъ бюджетъ—и жалованье хорошо; дуренъ бюджетъ—нѣтъ ничего. Но расписываться въ полученіи и въ томъ, и въ другомъ случаѣ—обязательно.

— Вотъ-то будутъ о ниспосланіи хорошаго бюджета Бога молить!—невольно вырвалось у меня.

— Га! ты понялъ теперь, въ чемъ заключается соль моего проекта! Вотъ это-то именно мнѣ и нужно. Да-съ, перестанутъ господа публицисты хихикать надъ бюджетомъ! Перестанутъ-съ, будутъ Бога молить-съ! Но пора кончить. Остается четвертый и послѣдній вопросъ: какому порядку надлежитъ слѣдовать въ видахъ пополненія отрядовъ, какъ при образованіи ихъ, такъ и на случай убылей? На это я отвѣчаю кратко: тѣ же правила, какія проектированы мною для признанія правоспособности молодыхъ

людей, могутъ быть примѣнены и здѣсь. Въ средѣ племенныхъ молодыхъ людей дѣятели печати составятъ какъ бы status in statu; это будутъ дѣятели племенные по преимуществу. Только одно лишнее требованіе я считаю полезнымъ допустить—это знаніе латинскихъ пословицъ и изреченій. Знаніе это сообщаетъ слогу колоритность, а писателю даетъ видъ, какъ будто онъ нѣчто знаетъ, но только не все сказать хочетъ. Затѣмъ остальное—пускай устроитъ жребій.

Онъ кончилъ и заторопился. На этотъ разъ онъ даже не поинтересовался моимъ мнѣніемъ: до такой степени рельефно выступала въ его сознаніи непререкаемость проекта. Впрочемъ, онъ обѣщалъ невдолгѣ вновь меня посѣтить и изложить мнѣ свои проекты относительно упорядоченія судовъ и земства.

— А при этомъ, быть-можетъ, придется намъ коснуться и элеваторовъ,—присовокупилъ онъ, загадочно подмигнувъ мнѣ глазомъ.

Письмо четвертое.

Чтобы «Пестрыя письма» воистину оправдывали это названіе, позвольте мнѣ сдѣлать небольшую экскурсію въ область прошлаго.

До «катастрофы» моя сосѣдка, добрая Арина Михайловна Окѣнцева, жила очень смирно. Къ этому времени ей было ужъ за тридцать, а мужу ея, Севастьяну Игнатьичу, годомъ-двумя побольше. Имѣніе у нихъ было изъ среднихъ—по старому счету, душъ триста; но, какъ люди старозавѣтные и неприхотливые, они довольствовались и малымъ. А такъ какъ, сверхъ того, они изъ деревни не выѣзжали, то это малое настолько граничило съ изобиліемъ, что домъ Окѣнцевыхъ представлялъ собой полную чашу, въ которой все говорило о запасливости и предусмотрительности домовитой хозяйки.

И мужъ, и жена жили душа въ душу. Она взяла на себя всѣ хлопоты по домашнему обиходу и по управленію имѣніемъ; на немъ—лежала только сладкая обязанность любить ее. Восемнадцати лѣтъ Ариша была бодрою, свѣжею и сильною дѣвушкой; такою же казалась она Севастьяну Игнатьичу и въ тридцать лѣтъ, хотя значительно пошла

въ кость, обзавелась усиками и фигурой скорѣе напоминала солидно скроеннаго мужчину, нежели деликатную даму. Съ своей стороны, и Севастьянъ Игнатьичъ, въ глазахъ Арины Михайловны, оставался все тѣмъ же обаятельнымъ гусаромъ, какимъ онъ былъ, когда впервые пропѣлъ передъ нею модный въ то время романсъ: «Гусаръ, на саблю опираясь», хотя черезъ пятнадцать лѣтъ, благодаря усиленной выкормкѣ, онъ скорѣе напоминалъ среднихъ лѣтъ сконца, нежели лихого корнета. Время не наложило своей всевластной руки на ихъ взаимныя отношенія. Какъ въ первую, такъ и въ послѣднюю минуту оба помнили и понимали одно: онъ—что она Ариша, она—что онъ Савося. И что лучшаго ничего они не выдумаютъ, какъ любить другъ друга.

Богатствъ у нихъ не было, но не было и затѣй, которыя заставляли бы чувствовать отсутствіе богатства. Было все «свое», и въ этомъ «своемъ» они себѣ не отказывали. Своя живность, свое варенье, свои наливки, свои смоквы, свое тепло, свой просторъ. Все некупленное и притомъ являющееся какъ будто само собой, безъ усилій, безъ думы, точно волна за волной плыветъ, а за этой волной и еще волна виднѣется. Поѣсть захотятъ—поѣдятъ; посидѣть захотятъ—посидятъ, а не то такъ и походятъ. Пріемовъ они не дѣлали и съ гостями скучали (глаза при гостяхъ у нихъ слипались), хотя отъ хлѣбосольства не отказывались. Всего охотнѣе, по случаю всегдашней взаимной любви, они оставались съ-глазу-на-глазъ, вдвоемъ.

Встанутъ, бывало, часовъ въ восемь утра. Ариша по хозяйству исчезнетъ, а Савося временно остается одинъ въ цѣлой анфиладѣ комнатъ. Посидитъ онъ и походитъ, какъ вздумается: иногда подумаетъ, а иногда и такъ въ окошко поглядитъ; и во всякомъ случаѣ чего-нибудь покушаетъ («пить» она ему дозволяла только одну рюмку водки передъ обѣдомъ). Но пройдетъ часъ-другой, и онъ уже начинаетъ просовывать голову въ коридоръ, выглядывая, не пройдетъ ли мимо Ариша. И, разумѣется, поймаетъ.

— Ариша, ты?

— Ахъ, ты мо-о-ой!

Поцѣлуются, и опять каждый за дѣло. Опять пройдетъ часъ-другой...

— Ты, что ли, Ариша?

— Ахъ, ты мо-о-ой!

И не увидятъ, какъ день пролетитъ. А вечеромъ, еще

восьми часовъ на дворѣ нѣтъ. Савося ужъ начинаетъ торопиться. Перестанетъ ходить и усядется въ кресло, точно нѣвѣсть какъ уморился. Увидѣвъ Савосю въ этомъ положеніи, Арина Михайловна и съ своей стороны начинала спѣшить. Заказавши завтрашнюю ѣду, она шла къ мужу и говорила:

— Что, пѣтушокъ, къ курочкѣ подъ крылышко баиньки собрался?

Словомъ сказать, тѣмъ горячѣе они любили другъ друга, что и любовь у нихъ была «своя», не купленная. По въ особенности преданно и горячо любила она. Почему-то она предполагала, что Савося, какъ бывшій гусаръ, долженъ имѣть вкусы изысканные. А такъ какъ она съ каждымъ годомъ все больше и больше шла въ кость, то и ставила мужу въ большую заслугу, что онъ, несмотря на это, не только ни разу ей не измѣнилъ, но никогда ни на одну горничную завистливымъ окомъ не взглянулъ.

— Что я такое—мужикъ-мужикомъ!—открывалась она ключницѣ Платонидушкѣ:—кожа на мнѣ словно голенище выростковое, на рукахъ—мозоли, на ногахъ—сапожищи! Ты думаешь, онъ этого не понимаетъ? Понимаетъ, мой другъ, ахъ, какъ понимаетъ! И ему, голубчику, любовникто хочется! И чтобы бѣленькая, и чтобы нѣженькая... А онъ, вмѣсто того, одну меня, бабу-чернавку, любитъ. Должна ли я это цѣнить?

И вознаграждала Савосю за любовь тѣмъ, что окружала его всевозможными попеченіями. Вѣтру не давала на него вѣнуть, любимыя его блюда наперечетъ знала и нарочно по коридору лишній разъ пробѣгала (хотя дѣла у нея всегда по горло было) на случай, не выглянетъ ли Савося изъ комнатъ.

Дѣтей имъ Богъ не далъ, копить было не для кого. Такимъ образомъ, они имѣли полную возможность жить исключительно для себя. Конечно, Божьяго добра зря не транжирили, но и не скопидомствовали, а только всемѣрно другъ друга холили, чувствуя, какъ мягко подхватываетъ ихъ волна за волной, и зная напередъ, что и конца этимъ ласкающимъ волнамъ не предвидится.

И крестьяне, и дворовые не могли нахвалиться ими; говорили: «у насъ не господа, а ангелы». Никого они не обременяли ни непосильной работой, ни оброками, а довольствовались тѣмъ и другимъ лишь въ той мѣрѣ, въ какой это было нужно, чтобъ въ господскомъ домѣ полная

чаша была. И чтобы не въ однихъ господскихъ покояхъ, но и въ застольной, и на скотномъ и конномъ дворахъ— вездѣ чтобы изобиліе и сытость царствовали. Чтобы дѣвка— такъ дѣвка, корова—такъ корова, пѣтухъ—такъ пѣтухъ,— вотъ у насъ какъ!

Денегъ въ домѣ Окѣнцевыхъ въ обращеніи мало водилось. Было у Арины Михайловны «маменькино приданое», но оно хранилось въ «Совѣтѣ», и проценты ежегодно присовокуплялись къ капиталу. Что касается до текущаго дохода, то онъ почти всецѣло получался натуральными произведеніями, изъ которыхъ только малая часть поступала въ продажу. Вообще на деньги Окѣнцевы смотрѣли какъ на что-то исключительное, волшебное, долженствующее придти на выручку въ «черный день». Для обихода на наличныя деньги пріобрѣталась только бакалея и матеріалъ для одежды, и все «покупное» расходовалось до крайности разсчетливо и даже скупо. Кассой завѣдывалъ Севастьянъ Игнатьичъ, который приходилъ въ неописанное волненіе всякій разъ, когда по хозяйству предстоялъ денежный расходъ. Раза два въ годъ онъ усчитывалъ себя, и ежели оказывался излишекъ, то супруги уѣзжали на короткое время въ Москву (въ «Совѣтъ»), гдѣ Севастьянъ Игнатьичъ велъ переговоры съ приказными, что-то «вынималъ» и что-то «клалъ», но при этомъ велъ свои операціи въ такомъ секретѣ, что ни одинъ сосѣдъ не пронюхалъ, что у Окѣнцевыхъ пахнетъ деньгами, и не попросилъ взаймы.

Это была идиллія, содержаніе которой не разнообразилось даже проявленіями такъ-называемыхъ патріархальныхъ отношеній. Сосѣди-помѣщики смѣялись надъ неповрежденной годами страстностью счастливыхъ супруговъ и сочиняли по этому поводу пикантные анекдоты; но Окѣнцевы жили такою замкнутою жизнью, что никакое сужденье не доходило до нихъ. Зато имъ довольно часто приходилось выслушивать репримянды по поводу слабаго управленія крѣпостными людьми. Время тогда было серьезное и предусмотрительно во всѣхъ частяхъ согласованное. Человѣкъ представлялся чѣмъ-то въ родѣ сатанина сосуда, который надлежало держать тщательно закупореннымъ, такъ какъ, при малѣйшей оплошности, сатана выскочитъ и начнетъ чертить. Но ежели таково было представленіе о человѣкѣ вообще, то по отношенію къ крѣпостному человѣку оно являлось уже совсѣмъ непререкаемымъ. Окѣнцевыхъ

предостерегали (преимущественно съ точки зрѣнія дурного примѣра), предсказывали, что они и сами раскаются, но будетъ поздно, и спеціально указывали на Макарку-идола, который отъ корму да отъ праздности, того гляди, съ жиру лопнетъ. Послѣ подобныхъ увѣщаній Савося нерѣдко задумывался и прищуривалъ одинъ глазъ, какъ бы искушаемый вопросомъ: не вспрыснуть ли Макарку-идола, чтобы ходилъ веселѣе? Но Аришa замѣчала эту задумчивость и успокаивала мужа однимъ словомъ: «пустяки». Никогда даже колебаній по этому поводу ей на умъ не входило.

— Дѣтей намъ Богъ не далъ. — говорила она:—чего захочется, и безъ тиранства всего у насъ вдоволь; а они на-тко что выдумали: людей тиготить!

И жили они среди этой идиллiи, забытые не только исправникомъ, но даже становымъ приставомъ, жили счастливые, довольные, сытые... до самаго дня «катастрофы».

Слухи о приготовленіи къ «катастрофѣ» дошли до нихъ поздно. Сельскій батюшка за третнымъ жалованьемъ въ городъ поѣхалъ и засталъ тамъ большой съѣздъ. А на постояломъ дворѣ ему сказали, что дворяне съѣхались, потому что имъ дозволено насчетъ «воли» просить. Но Окòнцевы не вдругъ повѣрили, а истолковали съѣздъ дворянъ въ томъ смыслѣ, что, какъ прежде бывало, «пошушукаются-пошушукаются дворняжки, да и разъѣдутся». Однако-жъ мѣсяца черезъ два пришла изъ губерніи печатная разграфленная бумага на имя Арины Михайловны Окòнцевой, владѣлицы сельца Присыпкина съ деревнями. Требовали статистику.

— Статистику требуютъ,—сказалъ Севастьянъ Игнатьичъ, прочитавши бумагу.—Вотъ, прочти!

Арина прочла и поблѣднѣла.

— Разорвать, что ли?—предложилъ онъ рѣшительно.

— Разорви!—отвѣтила она, не задумавшись.

Это было первое открытое неповиновеніе властямъ, которое Севастьянъ Игнатьичъ позволилъ себѣ въ теченіе всей своей мирной жизни. Разорвавши бумагу и предавши клочки сожженію, онъ, повидимому, успокоился; но спокойствіе это было только наружное. Ни онъ, ни Арина Михайловна уже *не могли забыть*. Домашній обиходъ не измѣнился, но въ сердца заползъ страхъ будущаго. «Отнимутъ!»—неотступно мелькало въ умѣ Севастьяна Игнатьича, и ему казалось, что стѣны господскаго дома, въ которомъ росла и провела жизнь его Аришa (имѣніе было ея, а онъ только свою красоту въ домъ принесъ), начинаютъ коле-

баться. «Отнимутъ!» шептала, съ своей стороны, и Арина Михайловна и автоматически вперяла взоръ въ Платонидушку, словно думая: «вотъ она, эта самая птица... вотъ она сейчасъ полетитъ!»

Такъ и не написалъ Савося статистики.

— Никакой я бумаги не получалъ, врете вы!—малодушно отпирался онъ, когда становой приставъ напоминалъ ему о скорѣйшемъ отвѣтѣ.

— Вамъ же хуже будетъ, Севастьянъ Игнатьичъ! — уговаривалъ его становой:—теперича въ губерніи господа собрались; стараются, какъ бы для господъ помѣщиковъ получше сдѣлать—ну, и надобно, значитъ, все по сущей правдѣ показать. Земля, молъ, черноземъ, луга—человѣка въ травѣ не видать, а опричь того тальки, грибы, куры, бараны—покорно прошу вознаградить!

— А они, вмѣсто награжденья-то, обложеніемъ пожалуютъ...

— Помилуйте, какимъ же манеромъ?

— Да безъ всякаго манера—такъ. Коли у васъ черноземъ, скажутъ, такъ пожалуйте по рублику серебрецомъ съ десятинки, да съ луговъ, да съ талекъ, да съ куръ... Да еще за фальшь, за то, что ты глину за черноземъ показалъ... Пожалуйте!

Тѣмъ не менѣе, несмотря на то, что многіе Севастьяны Игнатьичи статистики не доставили, дѣло освобожденія состоялось. Господа Окѣнцевы собственными глазами увидѣли, какъ однажды утромъ потянулся мимо усадьбы народъ въ ближайшее село къ обѣднѣ и часа черезъ три-четыре воротился назадъ. А послѣ обѣда Платонидушка доложила барынѣ, что на посадѣ мужички водку пили.

— Теперь будутъ пить — не безпокойся! теперь... будутъ!—рѣшила Арина Михайловна, но безъ гнѣва, а скорѣе въ тонѣ пророчества, который она съ этихъ поръ и усвоила себѣ навсегда.

Обстоятельства, въ которыхъ очутились Окѣнцевы, были тѣмъ болѣе затруднительны, что вплоть до самаго осуществленія эмансипаціоннаго дѣла и мужъ, и жена были увѣрены, что оно уничтожится изморомъ. Поэтому никакихъ бумагъ они не принимали, и даже когда становой *оставилъ* на столѣ въ конвертѣ печатный экземпляръ «Положенія», то и его велѣли подальше убрать. Тѣмъ не менѣе фактъ совершился, и надобно было жить...

Можно ли приказывать, или нельзя? Какъ поступать съ

кушаньемъ, со стиркой бѣлья, съ топкой печей, съ уборкой комнатъ? И поступать не когда-нибудь, въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ, а именно сегодня, сейчасъ?

Какъ ни странны были эти вопросы, но они первые—или, лучше сказать, они одни—пришли на умъ. Допустимъ, что сегодняшній обѣдъ еще вчера былъ заказанъ—ну, съ этимъ еще какъ-нибудь можно... ну, рыбки соленькой, рыжичковъ... Но завтрашній обѣдъ? Что такое этотъ завтрашній обѣдъ и вообще все завтрашнее—утопія это или достовѣрность?

Для Севастьяна Игнатьича перемѣна была не столько чувствительна, потому что онъ и сегодня, какъ вчера, шагалъ взадъ и впередъ по анфиладѣ, не принимая участія въ распоряженіяхъ; но Арина Михайловна положительно почувствовала себя какъ въ каменномъ мѣшкѣ. *Вчера* она мелькала по дому, разспрашивая, приказывая, объясняя: *сегодня*—внезапно спуталась и оторопѣла. Точно она куда-то шла, хотѣла что-то нужное сдѣлать и вдругъ забыла. Остановилась, смотритъ во всѣ глаза и даже не усиливается припомнить.

Въ домѣ все стихло: господа—уклонялись, дворовые—выжидали. Что-то существенное перестало дѣйствовать въ этомъ механизмѣ, какой-то скрытый рычагъ, который приводилъ его въ движеніе. Такъ бываетъ, когда въ домѣ умеръ главный человѣкъ, и никто еще не опредѣлилъ себѣ съ ясностью, какъ и что̀ нужно дѣлать, чтобы опять все мало-мальски наладилось. Сперва нужно покойника похоронить, а потомъ ужъ и о «дѣлахъ» думать.

Недѣли черезъ двѣ къ барскому дому подъѣхали троечныя сани, и изъ нихъ выскочилъ молодой человѣкъ. Онъ надѣлъ въ передней цѣнь на шею, вошелъ въ комнаты и отрекомендовался участковымъ мировымъ посредникомъ.

— Такъ-съ,—отвѣтилъ Севастьянъ Игнатьичъ и до того сконфузился, что даже не подалъ молодому человѣку руки и не предложилъ сѣсть.

Молодой человѣкъ съ минуту поколебался и сѣлъ безъ приглашенія.

— Я пріѣхалъ къ вамъ,—началъ онъ:—чтобы предложить, не пожелаетъ ли ваша супруга приступить къ составленію уставной грамоты?

— Не желаемъ-съ.

Молодой человѣкъ, услышавъ этотъ неожиданно-ясный отвѣтъ, окинулъ Савосю удивленнымъ взоромъ.

— То-есть, въ какомъ смыслѣ?—недоумѣвалъ онъ.

— Не «въ смыслѣ», а просто не желаемъ-съ.

— То-есть, покуда или вообще?

— Не «покуда» и не вообще-съ... не желаемъ-съ!

— Но въ такомъ случаѣ я вынужденъ буду лично выполнить за вашу супругу эту обязанность.

— Это... смотря-съ...

— Какъ это... «смотря»?

— Смотря-съ... только и всего.

— Въ такомъ случаѣ... до пріятнаго свиданія!

— Но мы... не желаемъ-съ!

Молодой человѣкъ шаркнулъ ножкой и ретировался, а Севастьянъ Игнатьичъ проводилъ его до передней и, покуда онъ укутывался, разъ десять повторилъ одну и ту же фразу:

— Но мы... не желаемъ-съ.

Молодой человѣкъ былъ въ великомъ смущеніи. Какъ усердный малый, онъ успѣлъ ужъ почти весь участокъ объѣхать, но еще нигдѣ подобнаго пріема не встрѣтилъ. Въ одномъ мѣстѣ его встрѣчали общимъ подколоднымъ шипѣніемъ, въ которомъ принимали участіе даже малолѣтки: въ другомъ—неслись къ нему навстрѣчу съ распростертыми объятіями и съ возгласомъ: «привѣтствуемъ васъ, благую вѣсть приносящаго!» Но во всякомъ случаѣ вездѣ съ нимъ настоящій разговоръ разговаривали и вездѣ предлагали вмѣстѣ хлѣба-соли откушать. И вотъ, наконецъ, выискался домъ, гдѣ ему только какія-то рыцарскія слова говорятъ. «Не желаемъ-съ!» Ахъ, чортъ побери, они «не желаютъ»! И не желайте, любезнѣйшіе, и никто васъ не принуждаетъ! Только помните...

Однако вотъ будетъ потѣха, ежели весь уѣздъ, по примѣру Окончевыхъ, вмѣсто исполненія благихъ предначертаній, начнетъ рыцарскія слова говорить!

А Севастьянъ Игнатьичъ, между тѣмъ, тотчасъ по отъѣздѣ посредника, кликнулъ Аришу, и затѣмъ съ часъ они, обнявшись, ходили по залѣ, о чемъ-то по секрету совѣщаясь. Послѣ обѣда Савося, спустивши предварительно въ окнахъ шторы, заперся въ кабинетѣ, вынулъ изъ потайного ящика ломбардные билеты, нѣсколько разъ прикинулъ ихъ на счетахъ, потомъ сосчиталъ наличность, и къ вечернему чаю его работа была готова. Оказалось, что маменькино приданое, вмѣстѣ съ нарослими на него процентами и съ ежегодными присовокупленіями изъ доходовъ, представляло

круглую цифру въ шестьдесятъ тысячъ рублей. Результатъ этотъ, повидимому, настолько удовлетворилъ супруговъ, что весь остальной вечеръ они были веселы.

На другой день начались сборы. Укладывали все вообще, кромѣ громоздкихъ вещей. Ящики съ неособенно нужными вещами запирали въ кладовую, а что понужнѣе—готовилось къ отправкѣ. Очевидно, господа торопились воспользоваться послѣднимъ зимнимъ путемъ: но куда и надолго ли они собрались—никто не зналъ. На другой день Благовѣщенья, рано утромъ, господа съѣздили на могилки къ Аришинымъ родителямъ, и когда дорожный возокъ былъ окончательно уложенъ и снаряженъ, созвали въ залу дворовыхъ людей и простились.

— Ѣду отъ васъ. Не могу!—сказалъ Севастьянъ Игнатьичъ.—За службу—благодарю. Хоть вы и не мои были, а барынины, а все-таки, по ея великой ко мнѣ милости (онъ сдѣлалъ низкій поклонъ въ сторону Арины Михайловны... «Ахъ, что ты, Савося!»), я за вами много лѣтъ покоенъ былъ. И ежели кто отъ меня обиду видѣлъ—простите!

— И меня простите! — прибавила Арина Михайловна, низко кланяясь.

— Провизію, которая въ погребахъ осталась,—продолжалъ Севастьянъ Игнатьичъ:—барыня вамъ жалуетъ. А о томъ, какъ вамъ быть до рѣшенья судьбы, спрашивайте у вышняго начальства, а мы тому не причинны. Живите!

Въ тотъ же день мировой посредникъ получилъ отъ присыпкинской барыни бумагу слѣдующаго содержанія:

«Господину мировому посреднику.

«Не желая быть свидѣтелями онаго происшествія, каковое, кромѣ разоренія, не иначе, какъ къ общей гибели почитаемъ, выѣзжаемъ мы съ мужемъ изъ имѣнія сельца Присыпкина и возлагаемъ на васъ. И въ случаѣ будетъ выдана за сіе отъ вышняго начальства награда, а равно и насчетъ угодьевъ, какъ-то: лѣсовъ, пустошей, рыбныхъ ловлей и прочаго, то просимъ таковое выслать по жительству.

«Жена корнета Арина Окóнцева».

А внизу была особая приписка рукою Арины Михайловны: «Я папеньку покойнаго вашего знала и увѣрена, что онъ сего бы не допустилъ».

Однако-жъ искусственное возбужденіе, поддерживавшееся новостью факта и дорожными сборами, упало съ первыхъ

же шаговъ по вступленіи супруговъ въ область вольной жизни. Арина Михайловна, впрочемъ, выдерживала постигшую ее невзгоду довольно стойко, но Севастьянъ Игнатьичъ сразу раскисъ. Вдобавокъ ѣхать пришлось по пути уже почти разрушенному и на цѣлыя сутки дольше обыкновеннаго. На четвертый день пріѣхали въ Москву и остановились на постояломъ дворѣ у Сухаревой. Тотчасъ же по пріѣздѣ Севастьянъ Игнатьичъ сталъ жаловаться, что у него вздохи точно клещами зажало, но за лѣкаремъ не послалъ: думалъ, что и безъ лѣкаря отъ липоваго цвѣта пройдетъ. А черезъ недѣлю Арину Михайловну постигло великое горе, о которомъ она и въ мысляхъ никогда не держала: Севастьянъ Игнатьичъ скончался.

Сверхъ ожиданія, Арина Михайловна перенесла свою потерю довольно мужественно. Но въ Присыпкино не воротилась, а устроилась навсегда въ Москвѣ и съ этой минуты окончательно закоснѣла. Не озлобилась, а именно закоснѣла, т.-е. начала всѣ невзгоды, не только личныя, но и государственныя, какъ-то: войны, неурожаи, эпидеміи, хищенія, недоимки и проч., неизмѣнно пріурочивать къ «катастрофѣ». Проворуется ли кто—это оттуда идетъ; произойдетъ ли грандіозное убійство—это оттуда идетъ; поразитъ ли цѣлую губернію неурожай — это оттуда идетъ; случится ли на желѣзной дорогѣ крушенье поѣзда—это оттуда идетъ. Гессенская муха, кузька, новые суды, суслики, расхищеніе власти, свобода книгопечатанія, ослабленіе религіознаго чувства—все оттуда. Она не злорадствовала, не ехидствовала, а только любила пророчать: «не то еще будетъ, вотъ погодите!» Казалось, у нея былъ наготовѣ цѣлый каталогъ бѣдствій, и она цитировала то одно, то другое, автоматически приговаривая: «это еще цвѣточки, а вотъ ужо ягодки будутъ!»

Между тѣмъ личное ея положеніе, въ сущности, было совсѣмъ недурное. Въ ломбардѣ у нея лежалъ приличный капиталъ, который она съ выгодою помѣстила въ пятипроцентныхъ банковыхъ билетахъ. И домъ для жительства своего, въ одной изъ Мѣщанскихъ, она задешево пріобрѣла, и устроилась на новосельѣ какъ нельзя лучше. Выписала изъ Присыпкина все барское добро, не исключая и мебели, составила себѣ небольшой штатъ изъ старой присыпкинской дворни, сѣла у окошка въ то самое вольтеровское кресло, въ которомъ нѣкогда Севастьянъ Игнатьичъ послѣ обѣда

дремалъ, и начала шерстяной шарфъ вязать. Провизія въ то время была еще не особенно дорога, денегъ было достаточно; дрова, правда, кусались—ну, да погодите, ужъ то ли еще будетъ! Послѣ деревенской хозяйственной сутолоки она точно на дно рѣки опустилась. Никому до нея дѣла нѣтъ, и ей ни до кого и ни до чего дѣла нѣтъ. Скучновато, но зато покойно. Сидитъ она у окошка, и все ей на улицѣ видно. Кто ни пройдетъ, ни проѣдетъ—она ко всѣмъ постепенно приглядывалась. Вотъ это «здѣшній» идетъ—облакатъ; вотъ и это «здѣшній» же—онъ «не при занятіяхъ» состоитъ, но по имени его звать Иваномъ Иванычемъ. А вотъ это «чужой» прошелъ—куда это онъ лыжи навострилъ? Ишь спѣшитъ, точно въ аптеку торопится. А вотъ кто-то у Семенъ Семеныча звонится. Звонится-звонится, не отпираютъ бѣдному, а дождикъ такъ на него и льетъ. Наконецъ, однако, отперли. Выглянула въ дверь баба, злая-презлая. Она, должно-быть, блохъ у себя въ бѣльѣ ловила, а ей посѣтитель помѣшалъ—ахъ, пропасти на васъ, шатуновъ, нѣтъ!

— Дома Семенъ Семенычъ?

— Ни свѣтъ, ни заря ушелъ. Его у насъ одна заря выгонитъ, а другая вгонитъ!

Дверь съ азартомъ захлопывается, и посѣтитель задумчиво вперяетъ взоры вглубь Четвертой Мѣщанской, какъ бы испытуя: гдѣ ты, Семенъ Семенычъ? ау!—А Семенъ Семенычъ, съ «Гамлетомъ» въ рукахъ, съ Гамлетомъ въ сердцѣ и съ Гамлетомъ въ головѣ (есть въ Москвѣ чудаки, которые до сихъ поръ Мочалова да Цынскаго забыть не могутъ!), тутъ же, неподалечку, передъ Сухаревой башней въ восторженномъ оцѣпенѣніи стоитъ и мысленно разрѣшаетъ вопросъ: кто выше—Шекспиръ или Сухарева башня?

Словомъ сказать, всю подноготную Арина Михайловна знала и отлично къ ней прижилась. А вдобавокъ, спустя немного послѣ «катастрофы», и еще деньги къ ней привалили. Мировой посредникъ не понимлилъ Савосинова невѣжества и добросовѣстно занялся имѣніемъ Арины Михайловны. И уставную грамоту написалъ, и на выкупъ крестьянъ выпустилъ, и занадѣльную землю по частямъ распродалъ, такъ что у Арины очутился новый капиталъ тысячъ въ шестьдесятъ. Жить бы да поживать при такомъ капиталѣ, а она вмѣсто того заладила: «погодите, не то еще будетъ, вотъ увидите!»

И точно: нужно было сквозь особенныя очки смотрѣть,

чтобы не видѣть, что свѣтопреставленіе ужъ на носу. А такъ какъ Арина Михайловна безъ очковъ свой шерстяной шарфъ вязала, то, разумѣется, она видѣла.

Началось съ того, что волю вину объявили. И съ боковъ, и напротивъ, и наискось стѣны домовъ расцвѣтились вывѣсками «распивочно и на-вынось». Всѣ Мѣщанскія наполнились стономъ. Одно хлопанье кабацкими дверьми, одно визжаніе кабацкихъ блоковъ способны были разстроить самые крѣпкіе нервы. Арина Михайловна не могла привыкнуть къ этимъ звукамъ; безпрерывно она вздрагивала, крестилась и, глядя въ окно, пророчила:

— Ишь, пьяница! ишь поперекъ улицы, словно на печи, на снѣгу разлегся! Погодите, то ли еще будетъ! Сотнями мертвыя тѣла по улицамъ подымать будутъ!

Потомъ явились новые суды, и застонали Иверскія ворота, заскрежеталъ Страстной бульваръ... Вой подьячихъ былъ такъ пронзителенъ, что вмѣстѣ съ эманаціями Охотнаго ряда явственно доносился до самой Крестовской заставы. Опять пришлось Аринѣ Михайловнѣ вздрагивать и пророчать.

— И за что только старичковъ обидѣли? — жалѣла она подьячихъ. — Развѣ за то, что дешевенькіе они были, именно развѣ только за это! Ахъ, да то ли еще будетъ, погодите, и не то увидимъ ужо!

Наконецъ, подоспѣло и земство... Тутъ ужъ самъ квартальный сказалъ: «ну, теперь, братъ, капутъ!» А Арина Михайловна сначала-было не поняла, — думала, что дворянамъ будутъ жалованье раздавать, но потомъ вдругъ все сдѣлалось для нея ясно.

— Пойдутъ теперь во всѣ стороны тащить!—пророчила она.— Вотъ помянете мое слово: оглянуться не успѣемъ, какъ все до послѣдней нитки растащатъ! Останется одинъ шишъ!

Даже привольное житье въ собственномъ домѣ не удовлетворяло ее, даже капиталъ не примирялъ съ вѣяніями новаго жизненнаго уклада.

— На что мнѣ капиталъ, — говорила она: — вотъ кабы ангелъ мой былъ живъ — тогда, дѣйствительно... Еще лукавый съ этими деньгами попутаетъ...

Увы! она имѣла нѣкоторое основаніе поминать о лукавомъ. Во-первыхъ, Иванъ Иванычъ (тотъ самый, который «не при занятіяхъ» состоялъ), какъ только узналъ, что она выкупную ссуду получила, такъ сейчасъ же къ ней

свахъ прислалъ. Во-вторыхъ, какой-то молодой приказный, изъ самаго квартала, мимо ея дома ходить повадился. Ходитъ да посвистываетъ, и какъ только поровняется съ окномъ, около котораго она сидитъ, такъ сейчасъ же руку къ сердцу прижметъ и глазами взыграетъ... Насилу она отъ него отдѣлалась! Помощнику квартальнаго трехрублевенькую пожертвовала, такъ онъ раза четыре его, козла несытаго, въ кутузку сажалъ и только по пятому разу смирилъ. И въ-третьихъ, ей самой, несмотря на то, что со смерти Савоси прошло ужъ пять лѣтъ, безпрестанно чудилось, что ея «ангелъ», словно живой, выглядываетъ въ дверь и ищетъ ее. «Ариша! ты, что ли?...»

А вдругъ это выглядываетъ не Савося... а «лукавый»?

Нельзя не опасаться «лукаваго». Нельзя, живучи въ Четвертой Мѣщанской, не ожидать съ-часу-на-часъ появленія его. Москва — такой большой городъ и притомъ до того простодушно затѣянный, что въ немъ только и есть два сорта людей: лукавые и простофили, изъ конхъ первые хайло̀ разѣваютъ, а вторые въ разинутое хайло̀ сами лѣзутъ. Лукавые больше въ центрѣ города ютятся; простофили — по окраинамъ жмутся, а въ томъ числѣ и во всѣхъ четырехъ Мѣщанскихъ. Отъ времени до времени, однако-жъ, «лукавые» дѣлаютъ на окраины набѣги, и тогда простофили, какъ куры, только крыльями хлопаютъ, но пререкословить не пробуютъ.

На этотъ разъ «лукавый» объявился въ образѣ молодого, черноглазаго брюнета, Тимоѳея Удалого.

Въ одно прекрасное утро онъ явился къ Аринѣ Михайловнѣ, подошелъ къ ручкѣ, назвалъ ее тетенькой, а себя — сыномъ кузины Маши.

— Какой же это Маши?.. словно я не помню! — смутилась Арина Михайловна. — У меня троюродная сестра... какъ будто Даша... такъ та, кажется, за Недотыкина вышла.

— За Недотыкина — это сначала; а потомъ за корнета Мстислава Удалого. А теперь папенька съ маменькой скончались-съ.

— Не знаю; помнится, была не Маша, а Даша, а впрочемъ... Какъ же ты обо мнѣ, мой другъ, узналъ?

— Иду по улицѣ и вижу: домъ госпожи Окòнцевой. Тутъ все и открылось.

— Ну, что-жъ... коли племянникъ — видно, такъ Богу угодно. Садись, гость будешь.

Арина Михайловна совсѣмъ растерялась: до такой сте-

пени она отвыкла отъ людского общества. Думала одна-одинёшенька вѣкъ скоротать, а тутъ вотъ родственникъ проявился — какъ его изъ дому выгонишь? И чужихъ сиротъ грѣшно не приголубить, а тѣмъ паче троюродныхъ. А вдобавокъ и Тимоѳей не полѣзъ сразу нахаломъ, а повелъ дѣло умненько. Посидѣлъ недолго и на вопросъ тетеньки, при какой онъ службѣ состоитъ, объяснилъ, что онъ просто «молодой человѣкъ»—только и всего.

— Это что же за званіе такое: «молодой человѣкъ», поди, чай, присутствіе какое-нибудь есть?

— Комитетъ-съ. — скромно объяснилъ Удалой: — дама-старушка предсѣдательствуетъ, а прочія старушки присутствуютъ-съ. А я при нихъ—молодой человѣкъ-съ!

На этомъ свиданіе и кончилось. Въ сущности, ничего угрожающаго не произошло, но, какъ на грѣхъ, у Арины Михайловны сердце съ чего-то заныло. Глаза у него окаянные, у этого Тимоѳея,—это она сразу замѣтила. Самъ весь почтительный, а глаза—большущіе-большущіе, такъ вотъ и подманиваютъ, такъ ядомъ и поливаютъ! Какъ взглянетъ онъ этакими-то глазищами, да ежели тутъ оплошать...

И пообѣдала она въ этотъ день безъ аппетита, и вечеръ скучно провела; а укладываясь на ночь въ постель, прямо сказала Платонидушкѣ:

— Вотъ и родственникъ проявился! Погоди, ужо и не то еще будетъ!

И затѣмъ цѣлую ночь проворочалась безъ сна, и все думала:

«Возьметъ онъ меня, какъ поморенную курицу, ощиплетъ, да и съѣстъ, какъ ему вздумается!»

Время однако-жъ шло, а Удалой продолжалъ вести себя благородно. Приходитъ только по воскресеньямъ, но не къ обѣду, а къ тому времени, какъ тетенька отъ обѣдни воротится и за самоваръ сядетъ. Выпьетъ чашечку и онъ, посидитъ у стѣнки, разскажетъ, въ какомъ году когда Москва-рѣка вскрылась, или что прежде къ масляной балаганы подъ Новинскимъ строили, а нынче ихъ на Дѣвичье-Поле перевели,—и уйдетъ.

Тѣмъ не менѣе Аринѣ Михайловнѣ почему-то казалось, что онъ это только зубы ей заговариваетъ, исподтишка сѣть на ея погибель раскидываетъ. Она и сама не могла себѣ уяснить причину этихъ опасеній, но убѣжденіе, что въ Тимоѳеѣ кроется нѣчто угрожающее, съ каждымъ днемъ зрѣло въ ней больше и больше. И откуда онъ выскочилъ?

Сидѣла она смирнёхонько, ни о чемъ не думала, а онъ шелъ, распостылый, мимо, да и пришелъ. И выгнать его нельзя, потому онъ кузины Маши сынокъ... Маша или Даша... ахъ, прахъ тебя побери! И должность за собой объявилъ: «при старушкахъ... молодой человѣкъ»!—вотъ какая должность! Не быть тутъ добру, не быть! Не даромъ сразу сердце зачуяло! «При старушкахъ»... «кузина Маша»... Вытаращитъ глазищи да дурманомъ ей душу и поливаетъ! А она сидитъ и ждетъ... дура, ахъ, дура! Вотъ увидите, не то еще будетъ!

Встревоженная предчувствіями, она съ любовью обращалась къ недавнему прошлому, когда она жила въ Присыпкинѣ, и «ангелъ» ея былъ живъ, и никакихъ сѣтей они не боялись, а жили, жили, жили... И продолжали бы жить и поднесь, кабы не оно... ахъ, кабы не это «злое ужасное дѣло»! И «ангелъ» ея былъ бы живъ, и она бы за нимъ, какъ за каменной стѣной, жила. А теперь куда она одна-одинёшенька поспѣла! Куда ни обернись—вездѣ словно капкановъ наставили. Въ ряды за покупками пойдешь — пожалуйте къ мировому! Въ церковь помолиться пойдешь—пожалуйте въ кварталъ! Намедни вышла этакъ-то сосѣдка Марья Ивановна погулять, а домой только на третій день воротилась. Водили ее по мытарствамъ, водили и по судамъ, и по участкамъ, и по кварталамъ, наконецъ, ужъ самъ оберъ-полицеймейстеръ взошелъ: «въ чемъ же вы, сударыня, виноваты?»

— Никакъ нынче съ жизнью не сообразишь,—жаловалась она сама себѣ:—законовъ много, да иное, по старости, въ забвенье пришло, а въ другомъ, по новости, еще смаку не нашли. И правители есть—вотъ онъ, правитель, тротуаръ гранитъ, ишь каблучками постукиваетъ!—да словно они въ отлучкѣ, и воротятся ли, нѣтъ ли—неизвѣстно. И деньги есть, только чьи онѣ—тоже неизвѣстно. Ни-то мои, ни-то чужія, и въ какой силѣ—тоже не знаю. Вчера онъ былъ рубль, а сегодня, сказываютъ, онъ ужъ не рубль, а полтинникъ. Какимъ манеромъ? почему? Вонъ мать Митрофанія деньги-то присовокупляла-присовокупляла, а ее за это по Владиміркѣ...

Удалой замѣтилъ эту наклонность ея къ прорицаніямъ и поддерживалъ ее въ этомъ настроеніи. Какъ ни придетъ, непремѣнно какую-нибудь судебную проказу разскажетъ, а иногда и соединенную судебно-земскую.

— Въ баламутовскомъ земствѣ господинъ управскій

предсѣдатель сумму присвоилъ, а судъ его, милая тетенька, оправдалъ-съ.

— Это, мой другъ, чтобъ и на предбудущее время воровали. И пусть воруютъ! Воруйте, батюшки, воруйте! Нынче по этой части свободно, потому вездѣ голь да шмоль завелась—какъ тутъ деньгамъ уцѣлѣть! Вотъ хоть бы насчетъ Присыпкина—сколько лѣтъ и я имъ владѣла, и маменька владѣла, и бабенька, и прочіе которые... И всѣ говорили: мое! А теперь спроси, чье оно? Былъ домъ, былъ садъ, скотный дворъ былъ, погреба—чьи теперь они? гдѣ? Платонидушка лѣтось тетку въ Присыпкинѣ навѣстить ходила: «искали мы, искали, говоритъ, того мѣста, гдѣ барскій домъ стоялъ,—такъ и не нашли!» Ни намъ, ни вамъ—словно въ воздухѣ растаялъ! Такъ вотъ, мой другъ, съ имѣніемъ, съ настоящимъ имѣніемъ, съ недвижимымъ—какое чудо случилось! А деньги ему что—тьфу!

Или:

— Въ Петербургѣ, тетенька, одинъ чиновникъ начальнику нагрубилъ, а судъ его оправдалъ-съ.

— И по дѣломъ начальнику. Не ходи въ суды, самъ распорядись. А ежели самъ распорядиться не умѣешь, предоставь другимъ, а себя въ сторонкѣ держи. Вотъ я: сколько времени за ворота не выхожу—а почему?—потому знаю, что только потоль я и жива. Выдь я на минуту—сейчасъ меня окружатъ. Пойдутъ во всѣ стороны теребить, одинъ сюда, другой туда—смотришь, анъ судъ да дѣло! Они-то правы изъ суда вышли, а я, простофиля, въ дурахъ осталась. Нѣтъ, нынче только держись... какъ разъ!

Но больше всего заинтересовалъ Арину Михайловну процессъ червонныхъ валетовъ. Въ подробности этого дѣла она вслушивалась съ захватывающимъ интересомъ, а смѣлые подвиги главнаго валета положительно приводили ее въ восторгъ.

— Такъ-таки до сихъ поръ его и не нашли?—спрашивала она въ волненіи.

— Такъ и не нашли-съ. И представьте себѣ, тетенька, какія онъ штуки выкидываетъ! Его по всей Москвѣ ищутъ, а онъ въ своемъ кварталѣ по вольному найму письмоводствомъ занимается. Однажды даже къ самому предсѣдателю письмо написалъ: я, говоритъ, завтра самолично въ судъ явлюсь. Ну, тотъ и ждетъ, думаетъ, что съ повинной. А онъ придти-то пришелъ, да въ залѣ между публикой все время и просидѣлъ!

— Вотъ такъ ловко!

— Его, тетенька, въ Бакастовомъ трактирѣ ищутъ, а онъ въ «Крыму» съ арфистками отличается. Они — въ «Крымъ», а онъ къ цыганамъ въ «Грузины» закатился! Наслѣдитъ имъ слѣдовъ—ищи да свищи!

— Да, нынче этимъ ловкачамъ... только имъ однимъ и житье!

— Нынче, тетенька, ежели кто съ дарованіемъ, такъ даже очень хорошо можно прожить. Главное дѣло, выдумку надо въ запасѣ имѣть, чтобы никто такой выдумки не ожидалъ. Сегодня — онъ купецъ, завтра — генералъ, послѣзавтра—архіерей... Квартальные-то—«ахъ, ахъ, ахъ, никакъ это онъ самый и есть!»—а его ужъ и слѣдъ простылъ.

— Такъ, такъ, такъ. «Онъ» по волѣ гуляетъ, а простофиля за него въ кутузкѣ сидитъ. Это—такъ, только этого и можно по нынѣшнему времени ожидать. Поди, онъ и сію минуту гдѣ-нибудь финты-фанты выкидываетъ.

— Теперь, милая тетенька, и слѣды его потеряли. Можетъ-быть, въ земствѣ гдѣ-нибудь скрывается-съ.

— Ха-ха! именно такъ! Именно, именно въ земствѣ. Суды ищутъ—земство покроетъ; земство ищетъ—суды покроютъ... такъ, такъ, такъ!

Въ этотъ день Арина Михайловна даже обѣдать его оставила, а онъ и послѣ обѣда осмѣлился посидѣть.

— Хотите, тетенька, я васъ въ ералашъ съ двумя болванами научу?

И она согласилась. Сперва даромъ играла, а потомъ по орѣху за пуанъ, и онъ ей цѣлый фунтъ сразу проигралъ. Наконецъ, въ десятомъ часу, когда онъ прощаться сталъ, Арина Михайловна посмотрѣла на него пристальнѣе обыкновеннаго и не удержалась.

— Что это у тебя глаза-то... словно волшебные!—сказала она, не то шуткой, не то конфузясь.—Ишь вѣдь ты какъ глядишь! Нехорошо это, мой другъ, дурно! Ежели и есть въ тебѣ что-нибудь этакое, такъ ты долженъ стараться себя побѣдить!

— Это у меня, тетенька, отъ природы-съ. У папеньки такіе глаза были и ко мнѣ отъ него перешли. Ахъ, тетенька, вѣдь я сирота!

Онъ произнесъ послѣднія слова такъ жалобно и при этомъ такъ крѣпко прижалъ губы къ ея рукѣ, что она не могла его не пожалѣть. Ей было съ небольшимъ сорокъ лѣтъ, и сердце ея еще не зачерствѣло. Напротивъ того, отъ

спокойной жизни она даже расцвѣла. Мужчина въ сорокъ лѣтъ дѣйствительно вступаетъ въ періодъ холоднаго разсужденія и осмотрительности, а женщина въ эту пору именно и становится неосмотрительною. Покуда есть у нея молодость да красота—она кокетствомъ занимается; а чуть дѣло подъ гору пошло—у нея и ушки на макушкѣ. Именно это самое случилось и съ Ариной Михайловной. По уходѣ Удалого, всѣ сомнѣнія относительно его личности окончательно разсѣялись. Она все припомнила. Дѣйствительно у нея была кузина не Даша, а Маша, которая сначала за Недотыкина вышла, а потомъ овдовѣла и вышла... да, именно, за Удалого и вышла! И папенька-покойникъ сколько разъ, бывало, говаривалъ:—«Гдѣ-то теперь наша «удалая» хвосты треплетъ?..» А это она самая и была! Да и о Мстиславѣ Удаломъ она гдѣ-то слыхала... когда, бишь?.. Въ дѣвицахъ еще, должно-быть, когда была, а только навѣрное слышала... Стало-быть, Тимоѳей-то и взаправду приходится ей племянникомъ.

— Ахъ, эти сироты! Ни отца у него, ни матери! Вонъ и сертучонко на немъ... ничего еще сертучокъ, а все-таки... А пріодѣнь-ка его да приглядь—то ли изъ него выйдетъ!

Я не буду описывать здѣсь подробности послѣдовавшаго затѣмъ сближенія, такъ какъ не мастеръ въ воспроизведеніи любовныхъ эпопей, да и къ дѣлу онѣ въ настоящемъ разсказѣ не относятся. Но не могу не отмѣтить, что въ короткое время Арина Михайловна совсѣмъ растерялась. Она настолько подчинилась охватившей ее страсти, что даже о внутренней политикѣ позабыла и перестала проницать. Пускай суды оправдываютъ, пускай расхищаютъ власть, пускай изъ земскихъ сундуковъ исчезаютъ мужицкія денежки, пускай желѣзнодорожные поѣзда другъ друга въ лобъ бьютъ!—дѣла ей ни до чего нѣтъ. Вся она, всѣмъ своимъ существомъ, неслась къ ненаглядному «сиротѣ», который случайно шелъ мимо, да и пришелъ. Пришелъ и наполнилъ ея жизнь теплотой, свѣтомъ, счастьемъ! Даже на деньги она получила совсѣмъ иной взглядъ, и ежели не говорила прямо, что онѣ на то и даны, чтобъ ихъ тратить, то потому только, что она просто-на-просто тратила, не размышляя, въ силу какихъ логическихъ построеній она такъ поступала.

Съ своей стороны Удалой былъ весьма признателенъ. Когда она подарила ему сюрпризомъ щегольскую сюртучную пару, то онъ съ такимъ увлеченіемъ бросился цѣло-

вать ея руки, что она, вся взволнованная, автоматически твердила:

— Ну, вотъ! ну, вотъ! вотъ онъ какъ радуется... Ахъ, бѣдный ты мой!

На что онъ скромно и жалобно отвѣтилъ:

— Ахъ, тетенька, вѣдь я—сирота!

За первымъ подаркомъ послѣдовали другіе. Прекраснѣйшая скунксовая шуба, потомъ шапка-боярка, потомъ часы, а также и деньги. Онъ не просилъ денегъ—ужасно онъ былъ на этотъ счетъ деликатенъ, — но она настояла. Она понимала, что молодому человѣку нельзя безъ денегъ. У него есть товарищи, друзья, съ которыми ему и повеселиться хочется, и покутить,—ну, вотъ тебѣ, мой другъ, пятирублевенькая, повеселись! Молодое естественно къ молодому льнетъ—это не нами заведено, не нами и кончится. Такъ-то и онъ, сироточка. Съ нею—какая она ему пара!—посидитъ, поскучаетъ, въ родѣ какъ жертву ей принесетъ, а на умѣ у него все-таки, какъ бы въ театръ да на дѣвушекъ посмотрѣть, да съ товарищами пѣсенки попѣть! А на веселье-то деньги нужны—гдѣ ему, сиротѣ, взять? А ей для кого деньги беречь? Дѣтей у нея нѣтъ, близкихъ родственниковъ—тоже; къ нему же, сироткѣ троюродному, все со временемъ перейдетъ!

Словомъ сказать, опять въ жизни Арины Михайловны началась идиллія, но на этотъ разъ въ подлинность ея вѣрила только она одна. И Платонидушка, и старый Савосинъ камердинеръ, Евсеичъ, инстинктивно возненавидѣли Удалого и не выражали ему своего пренебреженія только потому, что барыня при первыхъ же въ этомъ смыслѣ попыткахъ внушила имъ, что она никого служить себѣ не вынуждаетъ, что ежели кто ею недоволенъ, то на мѣсто недовольныхъ не трудно сыскать другихъ, довольныхъ...

Однажды, однако-жъ, Тимоня (она начала звать его уменьшительнымъ именемъ), вопреки своей обычной деликатности, вдругъ совершенно неожиданно озадачилъ ее вопросомъ:

— А что, тетенька, у васъ много денегъ?

Услышавши эти слова, она ужасно смутилась. Какъ будто что-то въ этомъ родѣ уже не разъ мелькало у нея въ головѣ, и она до смерти этого боялась. Не потому, чтобъ она жалѣла денегъ, — она даже что есть на свѣтѣ разсчетливость позабыла,—а потому, что ей было *стыдно*. И вотъ, наконецъ, оно пришло. «Вотъ оно!» — подумалось

ей какъ-то само собою, и она почти со страхомъ его спросила:

— На что тебѣ?

— Такъ. Вы, тетенька, женщина; съ деньгами обращались мало. Получаете проценты съ капитала, а тотъ ли это процентъ, и въ какомъ смыслѣ его слѣдуетъ понимать—это вамъ неизвѣстно. А процентъ-то—онъ разный. Одно дѣло—пять копеекъ съ рубля, другое—десять и двадцать, а наконецъ и капиталъ на капиталъ.

Въ голосѣ, которымъ онъ высказалъ эту финансовую теорію, не слышалось ни нетерпѣнія, ни особенной алчности, но при словѣ «процентъ» у Арины Михайловны словно голову туманомъ застлало. Она сидѣла, опершись подбородкомъ на одну руку, а пальцами другой руки перебирала по столу. И молчала, точно даже забыла, что нужно что-нибудь отвѣтить.

— Вы, тетенька, гнѣваетесь?—спросилъ онъ ее съ ласковымъ укоромъ.

— Ахъ, нѣтъ! что ты! что ты! Это я такъ... О чемъ, бишь, ты спрашивалъ? о деньгахъ?

— Такъ, глупость въ голову пришла... Оставимте этотъ разговоръ! Забудьте, тетенька, прошу васъ, забудьте!

— Что-жъ тутъ такого—отчего не поговорить? Поговоримъ! Ну, ну, хорошо, не сердись! Коли не хочешь говорить, такъ и не будемъ... Да отстань, безпутный... не стану! Богъ съ ними, съ деньгами—только грѣхъ отъ нихъ! Ты бы лучше къ товарищамъ пошелъ, повеселился бы... Хочется? а?

— Позвольте! тетенька!

— И прекрасно. Вотъ тебѣ красненькая, сдѣлай себѣ удовольствіе! Ахъ, сироточка ты мой, сироточка! Тетеньку свою пожалѣлъ? а? А подумалъ ли ты, мой другъ, что если бы всѣ-то капиталъ на капиталъ...

— Оставьте, тетенька! Прошу васъ, оставьте! Простите, не буду! Простили? Ну, вотъ и паинька! Можно ручку поцѣловать?

Весь этотъ вечеръ Арина Михайловна была взволнована. Въ мысляхъ ея посился хаосъ, но она чутьемъ угадывала, что готовится что-то чрезвычайное. И вотъ опять, послѣ недавнихъ дней забвенія, передъ ней воскресло прошлое, а вмѣстѣ съ нимъ и та причина всѣхъ причинъ, которая разбила это прошлое. «Все оттуда, все оно, это злое, ужасное дѣло!» твердила она себѣ, ворочаясь съ боку

на бокъ въ тишинѣ безсонной ночи. Кабы не оно, жила бы она теперь въ Присыпкинѣ, и Савося при ней, и всего было бы у нихъ вдоволь! И индюшечка своя, и курочка своя, и картофельцу, и морковки... Ужъ Савося денегъ не растранжирилъ бы, онъ за десятирублевенькой-то сто разъ бы въ ящикъ сходилъ, прежде чѣмъ разстаться съ нею! А она—натко—каждый день, каждый день! То пятирублевенькую, то десятирублевенькую... вынь да положь! И куда только онъ, распостылый, деньги изводитъ... Не иначе какъ съ мамзелями проклажается! А къ ней придетъ: «тетенька, позвольте ручку поцѣловать»... На, мой другъ! А за обѣдомъ соусá да бламанжеи... А что̀ провизія-то, по нынѣшнему времени, стоитъ? И что̀ такое случилось? какимъ манеромъ, куда она, куда? Конецъ-то, конецъ-то будетъ ли? Ахъ, Савося!

Но Савося не приходилъ, а камень между тѣмъ былъ брошенъ, и Арина Михайловна убѣдилась, что до тѣхъ поръ она не успокоится, покуда не вытащитъ его.

— Что̀ ты такое насчетъ процентовъ вчера говорилъ?— начала она на другой день уже сама.

— Забудьте, милая тетенька, прошу васъ, забудьте!

— Зачѣмъ забывать, коли что̀ выгодное предвидится, такъ мнѣ и самой любо! Я вотъ теперь пять копеекъ со своихъ билетовъ получаю... мало, что ли, говори!

— Мало, тетенька, такъ мало... даже обидно! Ужъ десять-то процентовъ — это вамъ всякій съ удовольствіемъ дастъ!

— А какъ же съ билетами-то съ моими... себѣ, что ли, онъ ихъ возьметъ, или такъ?

— Извините, тетенька, я васъ не понимаю.

— То-то вотъ: не понимаешь, а судишь! Опричь, что ли, онъ мнѣ десять процентиковъ отсчитаетъ, а билеты само собой, или ужъ съ билетцами съ моими распроститься придется... ау, голубчики!

— Онъ, тетенька, билеты на деньги переведетъ да деньгами, по окончаніи, и разсчитается. А кромѣ того проценты.

— А ежели онъ билеты-то возьметъ да съ ними и ухнетъ?

— Помилуйте, а обезпеченіе? Домъ, напримѣръ, или имѣніе... Да позвольте, я къ вамъ Ѳому Ѳомича приведу: онъ для васъ это дѣло кругомъ пальца обвертитъ.

Привели Ѳому Ѳомича. Передъ Ариной Михайловной

предсталъ сѣденькій, но еще бодрый старичокъ, въ синемъ сюртукѣ стараго фасона и въ чистой коленкоровой манишкѣ. Въ этотъ день онъ выбрился, вымылъ лицо мыломъ, волоса помадой вымазалъ, сапоги со скрипомъ надѣлъ, точно къ причастію собрался. Брови у него были густыя и стояли дыбомъ; изъ продолговатыхъ ноздрей лѣзъ волосъ; на щекахъ и на носу запекся фіолетовый румянецъ. Велъ онъ себя солидно, и когда Арина Михайловна попросила его сѣсть, то сначала сказалъ: «постою-съ», а потомъ сѣлъ. Но когда, во время бесѣды, собесѣдница, хотя и невзначай, возвышала голосъ, то онъ, какъ бы подъ вліяніемъ страха, привставалъ. Говорилъ ровнымъ и пріятнымъ теноркомъ; когда сморкался, то, въ знакъ почтенія, отвертывался въ сторону, а когда на колокольнѣ раздавался звонъ — хотя бы это былъ бой часовъ — творилъ крестное знаменіе. Сначала онъ разсказалъ, что у жены его, двадцать лѣтъ тому назадъ, ноги отнялись—такъ и до сихъ поръ она на кровати безъ движенья лежитъ; что родители у него были дмитровскіе мѣщане, а онъ, съ теченіемъ времени, въ Москву переписался; что у него двое дѣтей: сынъ да дочь; сына онъ, за непочтеніе, проклялъ, а дочь за хорошимъ человѣкомъ замужемъ, и теперь они рыбную ловлю въ Хапиловскомъ прудѣ снимаютъ и, слава Богу, сыты. Затѣмъ повелъ рѣчь о купцахъ и сдѣлалъ общее замѣчаніе, что у нихъ въ настоящее время отъ прежняго благосостоянія остались только жены толстыя, семьи большія, свои лошади и злыя собаки при домахъ, но денегъ ужъ нѣтъ. Поэтому въ Москвѣ теперь ничѣмъ не занимаются, только ищутъ. Кому не очень нужно, тотъ восемь копеекъ за рубль даетъ; ежели у кого нужда средственная, тотъ даетъ десять и двѣнадцать копеекъ, а ежели у кого зарѣзъ—не прогнѣвайся, и всѣ тридцать заплатитъ. Но не иначе, какъ подъ вѣрное обезпеченіе. Такимъ манеромъ оно и идетъ. Который сыщетъ — тотъ какъ будто на время поправится, а который не сыщетъ — балансъ подводитъ.

— Такъ что ежели у кого теперича свободный капиталъ есть,—говорилъ онъ:—тотъ хорошую пользу можетъ получить. Только нужду надо разсматривать, а по ней и процентъ назначать. Вотъ у меня знакомый купецъ Трифоновъ, въ Ножовой линіи торгуетъ, тому хоть и не нужно, а и онъ, для обороту теченія, восемь процентовъ съ радостью дастъ. Опять же другой есть купецъ, Сыровъ Карпъ

Дементьичъ,—тому средственно деньги нужны, онъ десять-двѣнадцать копеекъ заплатитъ. А тутъ же, на углу, господинъ Фарафонтьевъ—этотъ и за двадцать пять копеекъ въ ножки поклонится. Вотъ какъ, сударыня.

— Ну, двадцать-то пять ужъ грѣхъ! — посовѣстилась Арина Михайловна.

— Много нынче грѣха, сударыня. Ежели всѣ-то сосчитать, такъ камня на камнѣ въ Москвѣ не останется. Бываютъ, доложу вамъ, и такія дѣла: взбѣсится купеческій сынъ и зачнетъ, при жизни родителей, капиталы объявлять—ну, этотъ и рубль на рубль съ удовольствіемъ посулитъ. Только я вамъ, сударыня, на такія дѣла идти не совѣтую. По-моему, лучше десять копеекъ на рубль получить, только чтобы вѣрно!

Словомъ сказать, говорилъ резонно. Съ своей стороны и Арина Михайловна внимательно выслушала предложенія старичка и даже не оставила ихъ безъ возраженія.

— Боюсь я, — сказала она: — не твердо нынче у насъ. Законы хоть и есть, да сумнительные: ни-то слѣдуетъ ихъ исполнять, ни-то не слѣдуетъ; правители есть, да словно въ отлучкѣ... Намеднись у сосѣдки двухъ куницъ со двора свели—она въ кварталъ, а приказные надъ ней же смѣются. Не въ то, вишь, мѣсто пришла. Ступай, говорятъ, къ Калужской заставѣ... Ближнее мѣсто!

— А у насъ обезпеченіе, сударыня, будетъ. Въ случаѣ чего мы и запрещенье наложимъ. И насчетъ правителей вы напрасно безпокоитесь: у насъ ихъ даже въ излишествѣ-съ. Только вотъ въ центру никакъ не могутъ попасть—это такъ! Не безпокойтесь, сударыня. У насъ все будетъ по-благородному; какъ взялъ, такъ и отдай. А проценты—впередъ-съ!

Однимъ словомъ, «лукавый» одержалъ полную побѣду. Только одну сдѣлку съ совѣстью допустила Арина Михайловна: объявила не весь свой капиталъ, а тысячъ сорокъ утаила. Ѳома Ѳомичъ повернулъ дѣло круто. На другой же день къ Аринѣ Михайловнѣ явился будущій залогодатель, купецъ Воротилинъ, молодой мужчина, плотный, точно изъ древесной накипи выточенный, веселый, румяный, съ русою бородой и съ сѣрыми глазами на выкатѣ. И онъ дѣвушекъ знаетъ, и дѣвушки его знаютъ—по всей Дербеновкѣ слава о немъ гремитъ. Онъ объявилъ, что хотя деньги занимаетъ единственно «для обороту теченія», но десять копеечекъ заплатитъ съ удовольствіемъ; что домъ, который

будетъ служить обезпеченіемъ, чистъ какъ огурчикъ и, за всѣми расходами, даетъ сходу десять тысячъ; что еще на-дняхъ Конъ Конычъ подъ этотъ домъ сто тысячъ предлагалъ, да онъ не взялъ, потому что предпочитаетъ дѣло дѣлать по-благородному. Затѣмъ Арину Михайловну начали по Москвѣ возить и въ одинъ день окрутили. Сначала отслужили у Иверской молебенъ и поѣхали къ Тріумфальнымъ воротамъ домъ смотрѣть. Пріѣхали, встали всѣ вчетверомъ на тротуарѣ по другую сторону улицы — видятъ: дѣйствительно стоитъ домъ трехэтажный, каменный, бѣлою краской выкрашенъ. Средній этажъ подъ трактирнымъ заведеніемъ, вверху—номера («ежели примѣрно у насъ съ вами, мадамъ, рандеву — такъ вотъ сюда-съ», фамильярно пояснилъ Воротиловъ, и Арина Михайловна хотя поморщилась, но смолчала: разстроить «дѣло» побоялась); внизу, по одну сторону воротъ, «заведеньице», по другую — портерная; въ одномъ подвалѣ—прачки живутъ, въ другомъ— ночлежниковъ пускаютъ; во дворѣ — все помѣщеніе снимаютъ извозчики. Пошли и во дворъ; Арину Михайловну такъ и ошибло запахомъ навоза и трактирныхъ помоевъ; но Воротилинъ и Ѳома Ѳомичъ съ наслажденіемъ вдыхали гнусные ароматы, которые такъ и валили изъ всѣхъ надворныхъ отверстій этого дома.

— Деньги-то и завсегда такъ пахнутъ,—хвалился Воротилинъ:—а клопа здѣсь сколько! Кажется, ежели весь собрать, такъ Москву-рѣку запрудить можно!

Мало этого: «для вѣрности» («чтобы вамъ, мадамъ, безъ сумленія было») дворника Антона кликнули, и дворникъ тоже удостовѣрилъ, что домъ настоящій, московскій, и квартирантъ въ немъ живетъ тоже настоящій, что хозяинъ хоть сколько угодно плату на него набавляй — все равно этому квартиранту дѣваться некуда.

Осмотрѣвши домъ, поѣхали на Плющиху, въ переулокъ, къ нотаріусу. А тамъ ужъ и закладная готова, и надпись внизу: «Я, нотаріусъ Печенкинъ, въ своемъ собственномъ присутствіи» и т. д. Словомъ сказать, все какъ слѣдуетъ.

— Теперь остается только вручить-съ,—сказалъ господинъ Печенкинъ торжественно:—вы, Арина Михайловна, Спиридону Прохорычу денежки пожалуете, а Спиридонъ Прохорычъ — закладную-съ. Такъ и обмѣняетесь. А расходы—на счетъ залогодателя.

И тутъ Воротилинъ выказалъ себя веселымъ и податли-

вымъ малымъ. Хотя Арина Михайловна привезла въ уплату не деньги, а банковые билеты, но онъ за разницей не погнался и принялъ билеты рубль за рубль, и проценты впередъ полностью отдалъ.

— Убытку я тысячи двѣ, барыня, черезъ васъ потерпѣлъ,—сказалъ онъ:—ну, да ужъ что̀ съ вами подѣлаешь! Видно, въ другомъ мѣстѣ наживать надо. Только вотъ что̀: вспрыснуть нашу сдѣлочку требуется,—это ужъ какъ угодно!

Но Арина Михайловна наотрѣзъ отказалась. Тогда Воротилинъ ужъ совсѣмъ нагло сталъ ее упрашивать—«хоть Тимоѳея Стиславича на сегодняшній день одолжить, а къ завтрему мы вамъ его опять въ полное удовольствіе во всей красотѣ предоставимъ». Арина Михайловна совсѣмъ заалѣлась и поспѣшила уѣхать домой.

Дома она вдругъ почувствовала гнетущую пустоту. Какъ будто душу изъ нея вынули или такое надругательство сдѣлали, что она ничего настоящимъ манеромъ понять не можетъ, а только чувствуетъ, что ноги у нея подкашиваются. Нѣсколько разъ она запирала закладную въ денежный шкапчикъ и опять ее оттуда вынимала, и всякій разъ ее поражали слова. «Я, нотаріусъ Печенкинъ, въ собственномъ своемъ присутствіи...» Что-то какъ будто неладно; словно насмѣшкой какой-то звучатъ эти странныя слова... И не съ кѣмъ ей посовѣтоваться, некому показать, не у кого спросить! А все оно, все это «злое, ужасное дѣло»! Кабы не «оно», сидѣла бы она теперь... Савося! ангелъ-хранитель, неужто ты такъ и попустишь! Охъ, грѣшная, прегрѣшила! охъ, прегрѣшила!

Никогда она не проводила такой мучительной ночи. Почти совсѣмъ глазъ не смыкала и все припоминала. Никакой у нея ни Даши, ни Маши не было. Была кузина Наташа Недотыкина, дяденьки Сатира Платоныча дочь, такъ и та умерла: мужъ искалѣчилъ. Вотъ о Мстиславѣ Удаломъ она точно что слышала... Когда, бишь? Помнится, что еще въ дѣвкахъ она въ то время была, а впрочемъ, можетъ, и отъ Севастьяна Игнатьича. Однако, можетъ, бишь, и Маша... Какая это Маша-кузина у нея была? Не смѣшалъ ли Тимоня? Не въ Савосиной ли роднѣ была кузина Маша? Ахъ, это «злое, ужасное дѣло»! Понадѣлали какихъ-то нотаріусовъ да какія-то «собственныя свои присутствія»—ну, какъ тутъ не пропасть?! Какъ не погибнуть въ этомъ омутѣ оголтѣлаго, озлобленнаго хищничества, гдѣ

всякій думаетъ только о томъ, какъ бы ближняго своего заглотать?! Что ему счастье человѣческое? что ему человѣческая жизнь?—тьфу! Ахъ, это «злое, ужасное дѣло»—вотъ оно къ чему привело!

Полная этихъ разрозненныхъ мыслей, она въ невыразимой тоскѣ вскакивала съ постели и ходила взадъ и впередъ по комнатамъ. Ходила, ходила, пока утомленіе снова не загоняло ее въ постель. Но ежели ей и удавалось на короткое время забыться, то и во снѣ на нее нападалъ волкъ, впивался когтями въ ея грудь и начиналъ грызть.

Утро встало холодное, мглистое. Во многихъ домахъ еще съ огнями сидѣли, а двери у кабаковъ ужъ визжали. Арина Михайловна сѣла на обычномъ мѣстѣ у окна и сквозь заиндевѣвшія стекла автоматически смотрѣла на темные силуэты прохожихъ, стремившихся по направленію къ кабаку. Одинъ, другой, третій—вонъ ихъ сколько! Безсознательно она выпила чай и съѣла цѣлую гривенную просвиру, потому что, не спавши ночь, была голодна. Затѣмъ, когда ужъ совсѣмъ разсвѣло, она начала ждать. Пробило девять, десять часовъ, а Удалого—нѣтъ какъ нѣтъ. Онъ, впрочемъ, и прежде никогда въ эту пору не приходилъ, но ей почему-то казалось, что *сегодня* онъ *обязанъ* былъ придти. Наконецъ пробило и двѣнадцать.

Арина Михайловна не вытерпѣла—захватила закладную и поѣхала. Реакція произошла въ ней такъ быстро, что она почти ужъ не сомнѣвалась. Пріѣхала къ Тріумфальнымъ воротамъ, вошла въ ворота «заложеннаго» дома и кликнула дворника Антона. Такого не оказалось.

— Какъ же это? Вчера мы всѣ вчетверомъ здѣсь были и съ Антономъ разговаривали?—добивалась она съ какой-то горькой настойчивостью.

— Можетъ, и разговаривали съ Антономъ, только дворника такого у насъ нѣтъ.

«Вотъ оно!»—мелькнуло у нея въ головѣ.

Въ переулкѣ, на Плющихѣ, она даже дома, въ которомъ вчера помѣщалась нотаріальная контора, не могла признать. Всѣ дома были на одинъ манеръ, и ни на одномъ не было нотаріальной вывѣски. Ей почудилось, что она въ адъ попала, и бѣсы около нея кружатся. Вотъ Ѳома Ѳомичъ, вотъ Воротилинъ-купецъ, а вотъ и онъ... самъ Тимоня! Ишь, распостылый, глазищи вытаращилъ, такъ петлю за петлей и закидываетъ!

«Какъ предсказала, такъ и сбылось!—подумалось ей.— Взялъ ты меня, поморенную курицу, ощипалъ и какъ захотѣлъ, такъ и скушалъ!»

Съ Плющихи она поѣхала на Тверскую, уже къ настоящему нотаріусу, вынула закладную и показала:

— Вотъ я вчера совершила... взгляните!

Нотаріусъ чуть не прыснулъ со смѣха, но взглянулъ на нее и воздержался.

— Надо къ прокурору-съ, — сказалъ онъ: — не медлите-съ!

Однако она жаловаться прокурору не пожелала, а поѣхала къ Иверской, вспомнивъ, какъ вчера о счастливомъ «свершеньи» молилась. Тутъ она долгое время стояла какъ потерянная, вперивъ глаза въ образъ и не молясь; но когда раздались слова канона: «потщися! погибаемъ!»— она вышла впередъ и, вся дрожа, словно въ лихорадкѣ, произнесла:

— Владычица... видѣла?! Ты... Ты... Ты... видѣла?!

Наконецъ воротилась домой и съ крикомъ: «все оно! все это злое, ужасное дѣло!»—упала на постель и такъ мучительно зарыдала, что всѣ домашніе сбѣжались въ сосѣднюю комнату и, блѣдные и оцѣпенѣлые, ждали окончанія кризиса.

Съ слѣдующаго же дня жизнь Арины Михайловны пошла по-новому. Она чувствовала, что весь воздухъ около нея пропитался срамомъ, что она сама вся съ ногъ до головы срамная, срамная, срамная! И ежели она не убѣжала изъ этого срамного дома, то потому только, что бѣжать отсюда некуда. Но мысль о возможности жаловаться или хлопотать ни разу не представилась ея уму. Этакой срамъ, да еще нести его на судъ—Боже избави! Надо его погребсти. надо совсѣмъ забыть этотъ срамной угаръ, въ которомъ она растеряла и умъ, и стыдъ, и память о прошлыхъ, когда-то счастливыхъ дняхъ!

Какъ женщина хозяйственная, она тотчасъ же сократила размѣры своей жизни, сообразно съ тѣми средствами, которыя давалъ ей уменьшенный на двѣ трети капиталъ. Однако штатъ прислуги рѣшилась не трогать. Попрежнему при ней остались и Платонидушка, и Евсеичъ, и дворникъ Палладій, тоже изъ присыпкинскихъ дворовыхъ. Никому изъ нихъ она ничего не открыла, но всѣ видѣли ея недавнее возбужденіе и хлопоты, и понимали, что съ барыней случилось что-то чрезвычайное. И втайнѣ радовались,

что Тимошкѣ-пучеглазому въ ихъ тихій, старозавѣтный домъ навсегда дорога заказана.

Устроивши свой домашній обиходъ, Арина Михайловна усѣлась въ кресло и замолчала. Даже отъ окна отодвинулась, потому что однажды ей показалось, будто бы *онъ* прокатилъ мимо на лихачѣ и сдѣлалъ ей ручкой. Вязальныя спицы быстро шевелились въ ея рукахъ; шарфъ поспѣвалъ за шарфомъ. Думала ли она о чемъ-нибудь во время этой работы—трудно сказать; скорѣе всего, мысли мелькали въ ея головѣ урывками, не задерживаясь и пропадая безслѣдно вслѣдъ за своимъ зарожденіемъ. Но скоро и это времяпровожденіе пришлось оставить, потому что шарфы дарить было некому, а шерсть между тѣмъ денегъ стоила. Пасьянсовъ никакихъ она не знала, а въ ералашъ съ тремя болванами хотя и попробовала сыграть, но это занятіе слишкомъ живо напоминало *его*. Со всѣхъ сторонъ она чувствовала себя безпомощною. Ничего она не знала, ни къ чему не чувствовала охоты. Однако жила же она прежде? И не какъ-нибудь жила, не сложа руки сидѣла, а цѣлый день устраивала и ухичивала. Ахъ, это «злое, ужасное дѣло»! Но теперь даже и къ этой сердечной боли, къ этой причинѣ всѣхъ причинъ, она начала относиться какъ-то тупо. Извнѣ ничто до нея не доходило; даже того лакейскаго говора она не слышала, который по всѣ дни стономъ стоитъ надъ Москвою. Некому было разсказать ей ни о новыхъ проказахъ суда, ни о земскихъ «штукахъ», ни о желѣзнодорожныхъ крушеніяхъ. Ничто не питало ея мысли, ничто не подавало повода восклицать: «вотъ погодите! ужо еще не то будетъ!» Она знала, конечно, навѣрное, что будетъ что-то ужасное; но такъ какъ подтвердительнаго факта подъ руками у нея не было, то прорицанія, даже въ ея собственныхъ глазахъ, пріобрѣтали характеръ совершенно безцѣльной назойливости.

И внѣ дома, и въ домѣ,—все умерло. Тишина водворилась такая, что каждое хлопанье наружными дверьми, сообщавшими барскіе покои съ кухней, гулко раздаваясь по всему дому, заставляло ее вздрагивать. Прислуга приходила въ комнаты только за тѣмъ, чтобы зажечь въ сумерки лампу въ залѣ, накрыть на столъ, принять, подать, и затѣмъ вновь скрывалась по своимъ угламъ. Арина Михайловна сидѣла одна въ своемъ креслѣ и дремала.

1-го мая она отрѣзала у билетовъ купоны и лично поѣхала въ банкъ получать деньги. Теперь ужъ она никому,

кромѣ банка, не довѣряла, хотя прежде обыкновенно размѣнивала купоны въ первой попавшей банкирской конторѣ. Еще скажутъ, что купоны не настоящіе, или фальшивыми деньгами наградятъ—почемъ она знаетъ! Съ тѣхъ поръ какъ это «злое, ужасное дѣло» сдѣлалось—всего можно ждать. Даже въ банкѣ объявленія стали вывѣшивать: просятъ не ходить разиня ротъ, ежели у кого деньги въ карманѣ есть. Что̀ «ему» деньги! ужъ ежели мѣсто, на которомъ стоялъ присыпкинскій домъ, Платонидушка не могла найти, такъ деньги ему... тьфу!

Выѣздъ этотъ на время ее оживилъ. Она и въ ряды съѣздила, шерсти купила, но во время разъѣздовъ такъ крѣпко зажимала въ руку маленькій кожаный сакъ съ деньгами, что развѣ ужъ жизнь у нея отнимутъ, только развѣ тогда... ну, да тогда и денегъ ей, пожалуй, не нужно! Пріѣхавши домой, она раздѣлила полученную сумму на шесть равныхъ кучекъ (съ мая до ноября), а затѣмъ сѣла въ кресло и опять на время разрѣшила себѣ шарфъ вязать. А, можетъ-быть, со временемъ она подберетъ всѣ связанные шарфы подъ тѣнь, пришьетъ бокъ къ боку, и выйдетъ у нея прекраснѣйшее одѣяло.

Съ наступленіемъ красныхъ лѣтнихъ дней сдѣлалось веселѣе. Отворили окна, и изъ сосѣдняго сада полились весенніе запахи. Сначала цвѣтущей черемухой запахло, потомъ зацвѣла сирень, липа. Вмѣстѣ съ началомъ этого цвѣтенія начала мало-по-малу затягиваться и душевная рана Арины Михайловны.

Денегъ только мало. Всего двѣ тысячи въ годъ—и въ пиръ, и въ міръ.

Тутъ и поземельные отдай, и страховку заплати, и на ремонтъ по дому часточку отдай. На сладенькое-то да на лакомленькое и пѣтъ ничего. А она, признаться, избаловалась, привыкла. Еще Савося-покойникъ ее избаловалъ. Подадутъ, бывало, индюшку, и непремѣнно они изъ-за попова носа поспорятъ. Оба его любятъ; только онъ—ее заставляетъ взять, а она—его; возьмутъ, наконецъ, да и подѣлятъ. А теперь сколько времени она и въ глаза индюшечки не видала! Но въ особенности ее тяготилъ домъ. Тепло въ немъ, привольно, но зато онъ четверть дохода ея съѣдаетъ. Того гляди, зимой надо будетъ парадную половину заколотить, въ двухъ каморочкахъ пріютиться, чтобы лишнихъ дровъ не тратить. И все-таки ей казалось, что лучше она щи да кашу будетъ ѣсть, нежели съ квартиры на квартиру переѣзжать.

— Иная, пожалуй, наймет квартиру-то да еще жильцовъ пуститъ, — говорила она: — около нихъ и питается. И идетъ у нихъ съ утра до вечера шумъ да гамъ, пѣсни да пляски, винище да табачище, а она сиди въ своей каморкѣ да помалчивай. Неужто-жъ и мнѣ такъ жить!

И вотъ судьба, какъ бы въ отвѣтъ на ея сѣтованія, улыбнулась ей. Однажды сидитъ она у окна и видитъ— мимо дома знакомый отецъ-дьяконъ идетъ. Въ рукѣ узелокъ плотно зажалъ, полы у ряски по вѣтру развѣваются, волосы въ безпорядкѣ, лицо радостно-озабоченное, на лбу капли пота дрожатъ. Очевидно, торопится.

— Куда больно экстренно, отецъ-дьяконъ?—окликнула его Арина Михайловна.

— Некогда, сударыня, спѣшу, — отвѣтилъ онъ: — въ «банку» бѣгу, какъ бы къ пріему не опоздать. Вонъ сколько денегъ набралъ! А изъ «банки», извольте, и къ вамъ забѣгу.

Дѣйствительно, управившись въ банкѣ, отецъ-дьяконъ сообщилъ Аринѣ Михайловнѣ нѣчто весьма серьезное. Оказывалось, что народился благодѣтельный для Россіи финансистъ, который «залюбовь» всѣмъ по десяти копеекъ съ рубля платитъ. И живетъ этотъ финансистъ во градѣ Скопинѣ-Рязанскомъ и оттолѣ на всю Россію благодѣянія изливаетъ. Кто принесетъ ему тыщу—тому онъ сто рублей, кто двѣ тыщи—двѣсти. Живи какъ у Христа за пазушкой. Хочешь всѣ истратить—всѣ истрать; хочешь прикопить—прикапливай; накопишь—опять къ нему неси. А онъ наберетъ денегъ, да изъ интереса желающимъ и раздаетъ. Иному — подъ обезпеченіе, другому — который, значитъ, потрафитъ сумѣлъ, мнѣніе объ себѣ пріятное внушилъ — просто «залюбовь», подъ расписку. Садись и пиши: столько-то тыщъ сполна получилъ, а когда будутъ деньги—отдамъ. Только и всего. И такъ онъ этою выдумкою всѣхъ обрадовалъ, что теперича ежели у кого хоть грошъ въ мошнѣ запутался—всѣ къ нему бѣгутъ. Потому дѣло чистое, у всѣхъ на виду. И «банка» такая при господинѣ Рыковѣ выстроена, которая у однихъ беретъ деньги, а другимъ выдаетъ, а Скопинъ-градъ за все про все отвѣчаетъ. Стало-быть, чуть какая заминочка — сейчасъ можно этотъ самый градъ, со всѣми потрохами, «сукціону» продать. А кромѣ того и объявленіе отъ господина Рыкова печатное ко всѣмъ разослано, а подъ нимъ подписано: «Не-

чатать дозволяется. Цензоръ Бирюковъ» *). Стало-быть, и со стороны начальства одобреніе видится.

— Вотъ и нашъ причтъ заблагоразсудилъ,—объяснился отецъ-дьяконъ: — какіе у кого рублишки сберегліись — всѣ въ градъ Скопинъ при просительномъ письмѣ къ господину Рыкову препроводить. А причетники такъ даже ложки у кого свѣтленькія были, и тѣ продали, въ чаяніи, что господинъ Рыковъ впослѣдствіи угобзитъ. Для этого собственно я и въ государственный банкъ бѣгалъ въ родѣ какъ довѣренный. Сдалъ наличность полностью—и правъ. А оттуда она по телеграфу—въ Скопинъ-градъ.

Отецъ-дьяконъ остановился и издалъ губами звукъ, какъ деньги по телеграфу въ Скопинъ побѣгутъ.

— И вамъ, сударыня, совѣтую, — продолжалъ онъ. — Конечно, по нынѣшнему времени, и пятнадцать копеечекъ подъ вѣрный залогъ охотно дадутъ, да залоги-то нынѣ... ищи его потомъ да свищи! А тутъ, въ «банкѣ», разлюбезное дѣло: положилъ деньги, и уповай!

Разсказалъ отецъ-дьяконъ, точно на бобахъ развелъ, напился чаю и ушелъ. А Арина Михайловна задумалась. Какъ ни разсчитывай, какъ ни сокращай себя, а на двѣ тысячи рублей, имѣя на рукахъ цѣлый домъ, трудно прожить. А господинъ Рыковъ между тѣмъ на тотъ же самый капиталъ четыре тысячи выдастъ — вѣдь это разомъ удвоитъ ея доходъ. Ежели она даже не очень понравится господину Рыкову, такъ и тогда онъ восемь-то копеечекъ навѣрное дастъ. Восемь копеекъ — это уже всѣмъ даютъ. И причтамъ церковнымъ, и раненымъ, а кто по интендантской части деньги нажилъ—тѣмъ больше. Что, ежели и она, по примѣру прочихъ... положимъ, не весь капиталъ, а тысячъ этакъ тридцать... вотъ девятьсотъ рубликовъ и въ карманъ!.. Это ежели по восьми копеекъ, а коли по десяти... тутъ ужъ другой будетъ разговоръ! И расходы по дому, и отопленіе, и прислуга—все тутъ. А дьяконъ — онъ деньгамъ счетъ знаетъ; не полѣзетъ онъ сбухта-барахты: извольте, господинъ Рыковъ, наши денежки получить! Нѣтъ, онъ почешетъ да и почешетъ затылокъ, прежде нежели мошну выворотить!

Въ принципѣ Арина Михайловна рѣшила вопросъ очень скоро. Тутъ не частный человѣкъ, въ родѣ Воротилина,

---

*) Очевидно, что о. дьяконъ ошибся: цензора Бирукова въ это время не было въ цензурномъ вѣдомствѣ.

деньги беретъ, а банкъ — все равно что ломбардъ. Банка не спрячешь. И притомъ дѣло ведется чисто, у всѣхъ на знати: сколько одинѣхъ провѣрокъ! Ужъ ежели тутъ невѣрно, стало-быть и вездѣ невѣрно: и билеты ея невѣрны, и домъ невѣренъ — ложись въ гробъ и умирай! Однако и за всѣмъ тѣмъ, какъ женщина, недавно еще выдержавшая глубокое матеріальное и нравственное потрясеніе, она все-таки рѣшилась предварительно самолично удостовѣриться, въ какомъ смыслѣ слѣдуетъ понимать городъ Скопинъ, и точно ли находится въ немъ банкъ, о которомъ съ такой выгодной стороны отозвался отецъ-дьяконъ. Слыхала она про Скопинъ, когда еще въ дѣвкахъ была, что это тотъ самый городъ, въ которомъ никому жить незачѣмъ,—ну, да вѣдь иногда и калѣку Богъ умудритъ. У насъ и сплошь такъ бываетъ: лежитъ куча навоза, и вдругъ въ ней человѣкъ зародится и начнетъ вертѣть. Вертитъ-вертитъ—смотришь, началъ-то онъ съ покупки для города новой пожарной трубы, а кончилъ банкомъ! Вотъ ты его и понимай!

Сѣла Арина Михайловна на машину и поѣхала. Видитъ: городъ не городъ, село не село. Вонятъ. Жителей — десять тысячъ. И въ томъ числѣ двѣ тысячи кредиторовъ. Со всѣхъ концовъ Россіи слѣпые да хромые собрались, поселились въ слободкѣ, чтобъ поближе къ процентамъ жить, и уповаютъ. Тутъ и попы заштатные, и увѣчные воины, и даже одинъ интендантъ. Интендантъ жениться собрался. Пошла она по городу банкъ искать, пришла на площадь, а онъ тутъ какъ тутъ: пожалуйте! Она-было прочь бѣжать: сгинь-пропади! — анъ нѣтъ, бѣжать не приказано! Дѣлать нечего, пришлось къ директору съ повинной идти. Тотъ слова не сказалъ, сразу десять процентовъ опредѣлилъ и бумажку ей въ руки далъ: идите къ бухгалтеру. Бухгалтеръ взялъ билеты, раскрылъ большущую книгу и сказалъ:

— У насъ, сударыня, на итальянскій манеръ. Сначала вотъ въ этомъ мѣстѣ тридцать тысячъ запишемъ—это будетъ «Iogo»; значитъ: ваше. А потомъ ихъ же вотъ въ этомъ мѣстѣ запишемъ—это будетъ «nostro»; значитъ: наше. И нашимъ, и вашимъ. А затѣмъ вотъ вамъ, сударыня, фитанецъ—значитъ: адью!

Такъ и уѣхала она изъ Скопина, несолоно хлѣбавши.

— Такъ у нихъ просто, такъ просто!—разсказывала она отцу-дьякону, пріѣхавши въ Москву: — сначала налѣво записали, потомъ—направо и, окрутивши такимъ манеромъ, выдали фитанецъ.

— Вотъ до чего люди дошли!—умилился отецъ-дьяконъ.

Прожила Арина Михайловна такимъ образомъ лѣтъ пять сряду и, нечего сказать, благородно прожила. Проценты получала своевременно и сполна, и не разъ подумывала о томъ, не свезти ли ей и остальныя десять тысячъ къ господину Рыкову, но откладывала да откладывала—такъ и просидѣла, не выполнивши своего намѣренія. И такъ какъ ничто столь не украшаетъ человѣка, какъ спокойное житье, то она мало-по-малу начала и объ «этомъ зломъ и ужасномъ дѣлѣ» забывать. Напротивъ, стала находить, что «нѣкоторое» даже хорошо вышло. Благодѣтельный для Россіи финансистъ ужъ народился, а со временемъ, чего добраго, народится и благодѣтельный для Россіи публицистъ. То-то пойдутъ у насъ смѣхи да утѣхи! Присыпкино-то, думали, пропало, а оно вдругъ опять... тьфу! тьфу! тьфу! Какъ бы только не сглазить! Но ей и безъ Присыпкина настолько хорошо, что она даже дичиться людей перестала. Къ ней ходитъ и отецъ-дьяконъ, и отецъ-протопопъ, и супруги ихнія, а иногда зайдетъ выкушать чашку чаю и самъ господинъ квартальный. Сидятъ они и разговариваютъ, какъ нынче всѣмъ хорошо и какая это для всѣхъ лёгость, что г. Рыковъ въ Скопинѣ «банку» открылъ и оттуда на всю Россію благодѣяніе изливаетъ. Однажды даже самъ Семенъ Семенычъ зашелъ къ ней, прочиталъ монологъ изъ «Гамлета», потомъ вскочилъ, за что-то ее обругалъ, крикнулъ: «ахъ, ничего-то вы, идолы, не понимаете!»—и убѣжалъ къ Сухаревой башнѣ.

Словомъ сказать, жилось хорошо, а ожидалось еще лучше.

И вотъ, однимъ утромъ, сидѣла она на своемъ любимомъ мѣстѣ и по обыкновенію вязала шарфъ. Вдругъ видитъ, что отецъ-дьяконъ, *какъ и въ тотъ разъ*, на всѣхъ рысяхъ бѣжитъ. Но узелка у него въ рукахъ ужъ нѣтъ, и лицо блѣдное и растерянное.

— Что случилось, отецъ-дьяконъ?—крикнула она ему.

— «Банка» лопнула! бѣгу!

Недавно, проѣздомъ черезъ Москву въ деревню, я воспользовался промежуточнымъ между поѣздами временемъ, чтобы поросенка купить. Сдѣлавши это, вспомнилъ объ Аринѣ Михайловнѣ и отыскалъ ее.

Домъ свой въ Четвертой Мѣщанской она уже продала и живетъ теперь у Сухаревой, въ какомъ-то неслыханномъ переулкѣ, въ крохотной квартиркѣ, по стѣнамъ которой зи-

мой потоки бѣгутъ. Живетъ бѣдно: какъ говорится, съ хлѣба на квасъ. Состарѣлась, посѣдѣла, осунулась; блуза виситъ на ней какъ на вѣшалкѣ. Изъ прислуги осталась при ней только Платонидушка, да и та еле бродитъ. Евсеичъ опредѣлился въ какую-то газету вольнопаемнымъ редакторомъ (изумительно, только въ Москвѣ да въ Петербургѣ это и бываетъ!), а Палладій догадался и умеръ.

Въ то же время въ Аринѣ Михайловнѣ совершилась и еще одна, довольно важная, перемѣна. Она выписываетъ «Куранты» и усердно читаетъ ихъ. И всякій разъ, какъ прочтетъ какое-нибудь карканье, начинаетъ и въ свою очередь пророчать: «погодите! то ли еще ужо будетъ!» Платонидушка потихоньку пожаловалась мнѣ, что «барыню» объѣдаютъ и опиваютъ какіе-то литераторы отъ Иверской (вмѣсто прежнихъ приказныхъ, по случаю свободы книгопечатанія, завелись), которые отъ времени до времени украшаютъ задніе столбцы «Курантовъ» заявленіями, извѣщеніями и удивленіями. Соберутся, жрутъ водку, удивляются и судачатъ. А когда ужъ, что называется, до зѣла напьются, возьмутъ другъ дружку за руки и застонутъ: «погодите! то ли еще будетъ! вотъ увидите!»

Меня Арина Михайловна приняла довольно холодно, даже закусить не пригласила, хотя я видѣлъ, что въ сторонѣ, на столикѣ, стоитъ штофъ и тарелка съ ломтиками угличской колбасы. Должно-быть, иверскихъ литераторовъ поджидала.

Письмо пятое.

Вы, конечно, ужъ знаете, что господство хищенія кончилось. Что касается до меня, то я узналъ объ этомъ изъ газетъ и, признаюсь откровенно, сейчасъ же повѣрилъ. Еще такъ недавно, на нашихъ глазахъ происходилъ такой грандіозный обмѣнъ хищеній, что многіе не безъ основанія отводили этому явленію ту же роль, какую играетъ обмѣнъ веществъ въ жизни отдѣльнаго индивидуума. И вдругъ прилетаетъ вѣсть: обмѣнъ веществъ прекратился! Какимъ образомъ? съ чего? Да такъ, ни съ того, ни съ сего. Прекратился, и будетъ съ васъ.

И радостно, и жутко. Что-то будетъ? какъ-то вынесетъ общество столь внезапную утрату? что станется съ нашими

раутами, пикниками, катаньями на тройкахъ и другими увеселеніями? выдержитъ ли неизбѣжный кризисъ торговля модными, бакалейными и гастрономическими товарами? передъ кѣмъ и на какой предметъ будутъ обнажать себя наши дамочки? отыщетъ ли общество новыя основы для жизнедѣятельности или просто-на-просто возьметъ да и захиѣетъ?

Повторяю: и радостно, и жутко...

Откуда, однако-жъ, взялась эта добрая вѣсть? кто первый ее распубликовалъ? Оказалось, что первый пустилъ ее въ обращеніе Подхалимовъ, извѣстный отвѣтчикъ, корреспондентъ и публицистъ. Я—къ Подхалимову. Любезный другъ! неужто ты не солгалъ? — «Вѣрно, говоритъ, вотъ и доказательство». Смотрю, и глазамъ не вѣрю: «Печатать дозволяется. Цензоръ Бируковъ».

О, коли такъ—стало-быть, и сомнѣнія не можетъ быть!

Бируковъ — онъ навѣрное все заранѣе разсчиталъ и предусмотрѣлъ. Простофиль — около концессій пристроилъ, хищниковъ—по церковнымъ попечительствамъ раскассировалъ. Наживайтесь, простофили, а вы, хищники, кладите зубы на полку. Sapienti sat.

«Не обличать надо, а любить»,—говаривалъ покойный Прутковъ, а я съ своей стороны присовокупляю: не сомнѣваться надо (сомнѣваться-то всякій умѣетъ!), а радоваться. Да, кстати, и ближнихъ о приключившейся радости увѣдомлять. Поэтому я прежде всего сообщилъ о вычитанномъ мною извѣстіи нашему деревенскому старостѣ. «Знай, Денисъ,—писалъ я ему:—что господство хищенія кончилось—это мнѣ самъ Подхалимовъ подтвердилъ. Стало-быть, деньги, которыя прежде на сей предметъ съ мужичковъ сходили, останутся у нихъ въ мошнѣ. А потому, ежели впредь потравы или порубки въ моихъ дачахъ окажутся, то я буду въ оба смотрѣть и никакихъ послабленій не допущу: теперь есть чѣмъ штрафы платить». А черезъ мѣсяцъ получилъ отъ старосты отвѣтъ. «И мы насчетъ хищеньевъ черезъ урядника обнадежены, и хищеньевъ теперь у насъ нѣтъ, а кои мужички допрежъ сего воровали, тѣ и сейчасъ другъ у дружки взаимно поворовываютъ; только надо полагать, что сіе въ скорости прекратится, потому что въ настоящемъ случаѣ у насъ въ деревнѣ только подковы остались, а лошади всѣ до одной на уплату хищеньевъ пошли. И что вы насчетъ потравъ пишете — оное я объявлялъ, и мужички платить штрафъ согласны, только про-

сять, не будетъ ли милости ради такого случая два ведра на общество выставить?»

Разумѣется, я не только разрѣшилъ, но на радостяхъ написалъ къ мужичкамъ цидулу:

«Друзья!

«Называю васъ этимъ именемъ, потому что теперь вы уже не меньшіе братья, а самые достовѣрные друзья. Въ васъ, какъ нынче во всѣхъ газетахъ объявлено, здравый смыслъ проявился, а по слабому нашему времени это ахъ какъ дорого! Берегите оный, не пропивайте. А ежели кому хочется выпить, то поступайте такъ: одну рюмку—передъ завтракомъ, другую — передъ обѣдомъ, а третью — передъ ужиномъ. Подъ симъ условіемъ и я разрѣшилъ Денису просимыя два ведра выставить, и буду весьма огорченъ, ежели хотя нѣкоторые изъ васъ воспользуются симъ случаемъ, чтобы здраваго смысла лишиться. Только насчетъ штрафовъ—чтобы вѣрно было. Помните, друзья, что у насъ, интеллигентовъ, съ тѣхъ поръ, какъ хищенія кончились, только на штрафы и надежда осталась, а здраваго смысла мы еще до хищеньевъ лишились. А еще будетъ лучше, ежели вы, съ помощью крестьянскаго башка, всю угоду у меня купите. Я лишняго немного возьму, а вамъ это удовольствіе доставитъ. Вы знаете, что я и прежде хищникомъ не былъ, а теперь и радъ бы, да руки коротки: не приказано. А ежели приказано — значитъ, аминь. И вамъ не совѣтую. Будьте здоровы, друзья!

«*Отставной помыщикъ Сицилистовъ*».

Отославши это письмо, я, однако-жъ, задумался.

Какъ они должны быть счастливы, думалось мнѣ, что господство хищенія кончилось! Всѣ эти фасоны и фестоны, которые мы, правящіе классы, граня мостовыя, выдумываемъ,—все это въ концѣ концовъ вѣдь на *нихъ* обрушивается! Кузьма Прутковъ, отъ печего-дѣлать, уфимскую землю задешево похитилъ, а у Васьки Чувашенина отъ этого фестона загривокъ болитъ. Столоначальникъ департамента преуспѣяній и прогрессовъ кратчайшій способъ безъ пороха палить изобрѣлъ, а у обывателей деревни Пропалеванной муравки по спинѣ ползутъ. Губошлеповъ концессію получилъ, а въ селѣ Ненаѣдовѣ бабы всемъ воютъ. Ѳеденька Кротиковъ рядъ рѣзвыхъ циркуляровъ издалъ, а у дедюхиныхъ мужиковъ животы съ толокна подвело. Tout

s'enchaîne, tout se lie dans ce monde, какъ сказалъ нѣкогда Ламартинъ.

Самъ Подхалимовъ (теперь онъ, конечно, безъ слезъ вспомнить объ этомъ не можетъ) былъ въ свое время не прочь похищничать. Пойдетъ, бывало, по гостиному двору и крикнетъ кличъ: «а ну-те, брюханы! чтобъ было по столько-то рублей съ каждаго купеческаго брюха, а не то я въ газетинѣ мораль на васъ пущать буду!» И какъ сказалъ, такъ и сдѣлаетъ. А заугольнковскій мужикъ, бывало, дивится: съ чего, молъ, это ситцевая рубашка вдругъ на полтину дороже стала? Анъ она вонъ куда, на подметки Подхалимову, полтина-то ушла!

Купецъ купца къ мировому потащилъ—корела судебныя издержки плати! Кредитка подъ залогъ туляковскихъ домовъ зря деньги выдала — мордва убытки возмѣщай! Посчитайте-ка, анъ денегъ-то и многонько выйдетъ.

И ни дедюхинскіе мужики, ни Васька Чувашенинъ, ни ненаѣдовскія бабы никогда ничего и ни о чемъ не знали. Думали, что это «такъ». Не знали, что губошлеповскую концессію надо гарантировать, прутковское хищеніе оформить, кротиковскіе циркуляры оплатить, выдумку счастливаго столоначальника — осуществить. Да, признаться сказать, едва ли было и желательно, чтобъ они понимали и знали.

Относительно деревни самое главное условіе—это чтобъ она какъ можно дольше сохранила невинность. Въ противномъ случаѣ она захандритъ. Поэтому тѣ, которые, видя въ Губошлеповскихъ распутствахъ отчасти неизбѣжное зло, а отчасти свойственное цивилизованному обществу украшеніе, принимаютъ мѣры, чтобы слухи объ этихъ интеллигентныхъ распутствахъ не проникли въ деревню, — поступаютъ, по мнѣнію моему, совершенно резонно. Пускай хоть дулебы, древляне, радимичи и пр. останутся внѣ района интеллигентнаго растлѣнія; пускай хоть они спасутся. Деревня обязывается знать твердо свой окладной листъ — и ничего больше. Что пользы знать, что гужеѣдъ Губошлеповъ и проворный Мовша Гудковъ впились въ этотъ окладной листъ и разъѣдаютъ его точно такъ же, какъ міріады мелкихъ, но жадныхъ паразитовъ разъѣдаютъ мощный организмъ кита? Такого рода знаніе не можетъ ни возвеселить, ни удовлетворить, а только наведетъ на сердце суматоху. Спите, други, и почивайте!

Но ежели хорошо, чтобы деревня оставалась въ невѣ-

дѣніи, то, разумѣется, еще будетъ лучше, если и самаго матеріала, на основаніи котораго составляются несвойственныя деревнѣ знанія, не окажется налицо. Или, говоря другими словами, вполнѣ резонно и предусмотрительно поступаютъ и думаютъ только тѣ, которые ни въ Губошленовыхъ, ни въ Кротиковыхъ не видятъ ни неизбѣжнаго зла, ни свойственнаго цивилизаціи украшенія. Право, Губошленовы вовсе не такъ необходимы и не такъ изящны, какъ это кажется съ перваго взгляда, и общество, будь оно хоть расцивилизованное, прожить безъ нихъ очень можетъ. Говорятъ, будто бы они настолько въѣлись въ интимную жизнь общества, настолько овладѣли умами и волей интеллигенціи, что полное ихъ устраненіе представляетъ трудности почти непреоборимыя. Но прежде всего—«почти» еще далеко не значитъ «совсѣмъ». Я согласенъ, что сладить съ Губошленовымъ довольно трудно, но попробовать и постараться все-таки можно. Напримѣръ, ежели напустить на него анти-Губошленовыхъ — и даже не «напустить», а только дать имъ возможность появиться, то Губошленовъ самъ догадается, чѣмъ пахнетъ, и будетъ постепенно себя сокращать. То же самое и относительно Гудковыхъ, Кротиковыхъ и проч. Разомъ всѣхъ ихъ вытравить — нельзя, но понемножку—можно. Это хоть кого угодно спросите.

Но есть и еще одно вѣское соображеніе въ пользу огражденія обывательской невинности, не прибѣгая къ фортелямъ, а непосредственно воздѣйствуя на самое хищничество. А именно: какъ искусно ни оберегайте деревню отъ вторженія несвойственныхъ знаній, послѣднія рано или поздно все-таки проникнутъ въ нее. Деревня ужъ давно не живетъ тою изолированною жизнью, которая позволяла смотрѣть на нее, какъ на отрѣзанный ломоть. Рѣдокъ онъ теперь, тотъ пещерный мужичокъ, который родился, жилъ и умиралъ въ невѣдѣніи интеллигентныхъ затѣй. Нынѣшній мужичокъ многое видѣлъ лично, многое изъ видѣннаго на усъ себѣ намоталъ и многое другимъ, не видавшимъ, поразсказалъ. Онъ знаетъ, какъ Губошленовъ съ Гудковымъ въ столицахъ помахиваютъ, и только еще не сообразилъ, какая существуетъ связь между этимъ помахиваньемъ и имъ, проплеванскимъ корелой. А что ежели эту связь возьметъ на себя объяснить ему окладной листъ? Право, едва ли можно навѣрное поручиться, что это дѣло нестаточное. Но, сверхъ того, и сами интеллигенты нынѣшніе стали противъ прежняго куда легкомысленнѣе. Нѣтъ-

нѣтъ, да и откроютъ сами себя. Поѣдетъ, напримѣръ, интеллигентъ на тройкѣ за городъ—вотъ тебѣ десять рублей на водку! Пріѣдетъ на звѣря охотиться—вали всей деревней въ загонщики,—вотъ вамъ сто, двѣсти рублей! Нѣтъ чтобы поприжаться: у меня, дескать, денежки трудовыя, ой-ой, какъ много я шевелить мозгами долженъ, чтобы ихъ добыть! «Плёвъ сто рублёвъ!» — только это неумное восклицаніе и перекатывается изъ края въ край. А гдѣ ты, позволь спросить, рубли-то взялъ? откуда они въ мошну-то къ тебѣ наползли?.. Ахъ, сдѣлай милость!

Вотъ почему я и говорю: ежели проницательно поступаютъ тѣ, кои оберегаютъ деревню отъ вторженія несвойственныхъ знаній, то еще болѣе проницательными являютъ себя тѣ, кои устраняютъ самый матеріалъ, служащій для этихъ знаній основаніемъ.

Этихъ-то послѣднихъ дѣятелей, повидимому, и имѣлъ въ виду Подхалимовъ, возвѣщая изумленному міру, что господство хищенія кончилось.

Да, дожили-таки мы — вотъ до чего мы дожили! Губошлеповъ съ тоски въ монахи постригся; Соломонъ Мерзавскій все имѣніе нищимъ роздалъ и поступилъ кассиромъ въ общество доброхотной копейки; Мовша Гудковъ плачетъ, по ѣстъ акридъ... Ахъ, аспиды, аспиды! Это ли не результатъ? это ли не волшебное представленіе? Живіо! брависсимо! bis, bis!

Но не привралъ ли, однако, Подхалимовъ? Какъ будто черезчуръ уже волшебно у него выходитъ... «Кончилось»... «постригся въ монахи»... «роздалъ нищимъ имѣніе»... Что-то какъ будто густо... Какія слова тутъ настоящія, какія — лишнія? Подхалимовъ—малый ловкій, но онъ не прочь поврать, а еще больше любитъ порадоваться и другихъ обрадовать. Онъ, того гляди, и отъ себя сочинитъ, лишь бы имѣть случай поликовать въ своей газетинѣ. Спросъ нынче на газетныя ликованія большой; и сверху, и снизу, и съ боковъ только и слышатся голоса: да ликуйте же, наконецъ! Вотъ Подхалимовъ и проникся этой потребностью. Во-первыхъ, онъ по природѣ къ ней всегда былъ предрасположенъ, а, во-вторыхъ, за ликованія-то нынче по десяти копеекъ со строчки платятъ, за сѣтованія — по пяти, а уныніе, нытье и пристрастіе и совсѣмъ прочь гонятъ. Такъ что если-бъ явился, напримѣръ, съ того свѣта докторъ Фаустъ и объявилъ, что результатъ усилій человѣческой мысли и жизни исчерпывается словомъ *ничто,* то всѣ по-

росята навѣрное въ одинъ голосъ бы завопили: какъ «ничто»! а земскія учрежденія? а свобода книгопечатанія? а новые суды? а рѣшеніе кассаціоннаго департамента за № такимъ-то?..

Такъ вотъ не упустилъ ли, въ самомъ дѣлѣ, Подхалимовъ чего-нибудь въ радостныхъ попыхахъ?

Сознаюсь откровенно: этотъ вопросъ предсталъ передо мной не совсѣмъ своевременно; но, разъ возникнувъ, онъ уже неотступно преслѣдовалъ мою возбужденную мысль. Я такъ давно живу на свѣтѣ, такъ много видѣлъ и, главное, такъ много помню, что, помимо убѣжденій разсудка, одинъ жизненный опытъ заставляетъ меня относиться къ газетнымъ извѣстіямъ съ осторожностью. Я помню, что когда впервые появилось слово «хищеніе» и въ газетахъ раздались по его поводу стенанія, то меня озадачило стремленіе публицистовъ щегольнуть передъ читателемъ новою новинкою. Совсѣмъ тутъ никакой новинки не было. Хищеніе, сирѣчь высасываніе выморочныхъ соковъ, извѣстно было издревле и издревле же значилось во всѣхъ азбукахъ подъ всевозможными рубриками. Если же и воспослѣдовала, лѣтъ двадцать тому назадъ, въ этомъ отношеніи какая-нибудь реформа, то она коснулась только внѣшнихъ пріемовъ, размѣровъ и названія. Въ древности слова «хищеніе» не было, но зато было слово: «лафа», и вся до-реформенная Русь отлично понимала, что слово это означаетъ именно высасываніе выморочныхъ соковъ. Но такъ какъ конструкція этого слова слишкомъ отзывалась провинціализмомъ и татарщиной, то понятно, что съ поднятіемъ уровня образованности почувствовалась потребность и въ поднятіи уровня терминологіи. Отсюда — замѣна слова: «лафа» — словомъ: «хищничество». То же поднятіе уровня образованности не могло не повліять и на внѣшніе пріемы высасыванія, устранивъ все рѣжущее и грубо-реальное и сообщивъ этому занятію характеръ порядочности и даже нѣкоторой щеголеватости. А дороговизна съѣстныхъ припасовъ, увеличеніе таможеннаго тарифа на предметы роскоши и непомѣрное вздорожаніе кокотокъ довершили остальное, расширивъ понятіе о выморочности до такихъ размѣровъ, о которыхъ, конечно, и во снѣ не снилось скромнымъ эксплоататорамъ «лафы».

Старая, до-реформенная Русь вовсе не была чужда процессу сосанія; она только понимала его безъ вывертовъ, вполнѣ конкретно. Объектъ сосанія представлялся ей въ

формѣ сочащагося мяса, къ которому она припадала и зубами, и губами, и языкомъ, и отъ котораго отваливалась только тогда, когда вмѣсто лафы оставалось сухое, безвкусное волокно. Даже въ переносномъ смыслѣ она недалеко отступала отъ этого конкретнаго представленія; даже и тутъ ее по преимуществу привлекалъ непосредственный процессъ сосанія и тѣ результаты, которые были ясны и доступны для самаго неповрежденнаго ума.

Бывало, кто-нибудь изъ «тутошнихъ» мѣсто исправника получитъ—про него говорили: «теперь ему будетъ не житье, а лафа». Или сутяга между «тутошними» проявится и начнетъ «прочихъ жителей» разбоемъ, ябедою и волокитою донимать—про него говорили: «ему лафа; онъ такого страху на всѣхъ нагналъ, что передъ нимъ слова никто не пикнетъ!» Или «умница» подходящаго «дурака» на распутьѣ обрѣтетъ и начнетъ его «чистить»—про него говорили: «этому человѣку лафа съ неба свалилась: теперь только не зѣвай!» Или, наконецъ, такъ человѣкъ устроится, чтобы ничего не дѣлать, а только спать да жрать — про него говорили: «такую онъ лафу обрящилъ, что умирать не надо!» Даже красивую женщину (жену или любовницу) называли «лафою» и говорили: «ну, братъ, дорвался ты до лафы; теперь смотри на нее да стереги!»

Естественно, что для нашего образованнаго времени подобныя представленія и слишкомъ грубы, и слишкомъ узки. Нынче исправницкими доходами никого не удивишь, да и «дуракомъ», ежели онъ въ единственномъ числѣ, сытъ не будешь, а надо, чтобъ, по крайней мѣрѣ, хоть небольшое стадо дураковъ было въ резервѣ. Поэтому и придумали: воровать съ такимъ разсчетомъ, чтобы, во-первыхъ, нельзя было, съ достовѣрностью указать, кто именно обворованъ, да и самъ обворованный не умѣлъ бы себѣ объяснить, дѣйствительно ли онъ обворованъ, или только сдѣлался естественною жертвою современнаго вѣянія; и, во-вторыхъ, чтобы воровство, оставаясь воровствомъ по существу, имѣло всѣ признаки занятія не только не предосудительнаго, но вполнѣ приличнаго, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже и полезнаго.

Разрѣшить эту задачу взялись «хищники». «Хищниками», однако-жъ, ихъ называютъ только газеты, да и то не всѣ (нѣкоторыя даже указываютъ на нихъ, какъ на сыновъ отечества); сами же себя, въ домашнемъ быту, они называютъ «дѣльцами», а въ шуточномъ тонѣ—воротилами.

Открываетъ, напримѣръ, плутъ Архиканаки торговлю деньгами. Съ утра до вечера онъ твердитъ: «продать-купить, купить-продать»; обертывается, перевертывается, сперва въ одну книгу запишетъ, потомъ въ другую; словомъ сказать, занимается «дѣломъ». А соки между тѣмъ капляно-каплѣ такъ и текутъ черезъ открытый кранъ въ заранѣе приготовленное сокохранилище... Или: издастъ Ѳеденька Кротиковъ циркуляръ совершенно философическаго содержанія; не упоминаетъ ни о «барашкѣ въ бумажкѣ» (очень древнее выраженіе, нѣчто въ родѣ нещерной конституціи), ни даже о дивидендахъ (выраженіе позднѣйшее, стоящее на рубежѣ древней и новѣйшей исторіи, но нынче и его ужъ стремятся упорядочить), а только Цицеронову рѣчь «De officiis» на русскіе нравы перелагаетъ — смотришь, а незримое сокохранилище наполняется да наполняется... Или: выхлопатываетъ Губошлеповъ концессію — сирѣчь, право за умѣренную плату возить обывателей взадъ и впередъ по желѣзной дорогѣ: польза-то какая! — и при семъ только одно слово прибавляетъ: «съ гарантіею» (пять процентовъ, не больше, да и то «въ томъ случаѣ, ежели»)—и что-жъ! соки такъ и плывутъ въ поставленные на каждой станціи сокопріемники!

Таковы внутреннія и внѣшніе признаки явленія, прославившаго себя подъ именемъ «хищничества». Но не соблазняйтесь его показнымъ изяществомъ, а отыщите сокохранилище и постарайтесь угадать «простофилю», который наполнилъ это сокохранилище приличествующимъ содержаніемъ. Ежели вы это выполните, то навѣрное убѣдитесь, что между «хищничествомъ» и «лафою» существуетъ столь же несомнѣнная преемственность, какъ между черевикомъ деревенской молодухи и изящной ботинкой модной кокотки. Неуклюжъ и тяжелъ деревенскій черевикъ, но не подлежитъ спору, что онъ—отецъ легковѣсной кокоткиной ботинки.

Вотъ два факта, въ непререкаемости которыхъ мы даже ни на минуту усомниться не можемъ. Во-первыхъ, древнее преданіе и, во-вторыхъ, недавняя практика. Въ виду такой устойчивости и общепризнанности явленія, столь мало загадочнаго,—какъ надлежитъ поступить? Повѣрить ли на-слово газетчикамъ, возвѣщающимъ его внезапное исчезновеніе, или же, напротивъ, отнестись къ газетнымъ ликованіямъ съ благоразумною осмотрительностью?

По моему мнѣнію, въ такихъ случаяхъ всего правильнѣе поступать на-двое: прежде всего обрадоваться, дабы

тѣмъ засвидѣтельствовать; а потомъ, буде для продолжительной радости не представится надлежащаго питанія, то постараться привести дѣло въ ясность.

Именно такъ я и сдѣлалъ. Сначала и самъ обрадовался, и мужичковъ поспѣшилъ обрадовать (ништо имъ! за два ведра они и не такую радость на плечахъ вынесутъ!), а по прекращеніи радости — рѣшилъ дѣло привести въ ясность.

Сидѣлъ-сидѣлъ, думалъ-думалъ — что̀ за чудо, не могу концы съ концами свести, да и шабашъ! Начнешь строить силлогизмъ, первые два термина какъ-нибудь поймаешь, а третій хоть и не лови! Скользитъ какъ вьюнъ: вонъ онъ, вонъ онъ—анъ нѣтъ его!

Нѣтъ, думаю, такъ нельзя. Пойду опять къ Подхалимову, объяснюсь. Пускай онъ докажетъ,—не на основаніи одной Бируковской подписи (помилуйте! развѣ это доказательство), а ясно и осязательно, — что хищничество во истину поражено остракизмомъ и не возвратится даже подъ скромнымъ наименованіемъ «лафы». И что въ будущемъ насъ ожидаетъ тишь и гладь—хоть шаромъ покати!

Я засталъ Подхалимова въ самомъ пріятномъ душевномъ настроеніи. Наканунѣ онъ написалъ какое-то неслыханное число строчекъ, а на утро получилъ за каждую по гривеннику. Онъ только-что возвратился изъ утренняго обхода, во время котораго собиралъ матеріалъ для завтрашнихъ строчекъ, и въ ожиданіи адмиральскаго часа благодушествовалъ. А вечеромъ — опять въ обходъ и затѣмъ, на сонъ грядущій, часа четыре сряду — строчки, строчки, строчки. Сколько посидитъ, столько и напишетъ. Собачья это жизнь, господа!

Подхалимовъ былъ малый легкій и веселый, и никогда ни о чемъ не думалъ. Матеріалъ для строчекъ онъ находилъ какъ-то внезапно: выйдетъ на улицу — тутъ и есть. Иногда онъ и по домамъ за матеріаломъ ходилъ—и тоже препятствій не видѣлъ. Осмотритъ, воротится домой, а строчки такъ сами собой и льются изъ-подъ пера; на лѣстницѣ—коверъ, въ гостиной—коверъ, на входной двери — мѣдная доска, давно, впрочемъ, не чищенная; звонки—электрическіе, въ кабинетѣ — письменный столъ. Такова квартира, а коли есть квартира — стало-быть, есть и хозяинъ. Вотъ и онъ: на носу пенснѐ, причесанъ гладко, но волосы длинные, пиджакъ подержанный, панталоны не пер-

вой молодости, подошвы на сапогахъ—налицо, сморкается часто и притомъ въ фуляровый платокъ. Запасшись этими данными, придетъ Подхалимовъ домой, посидитъ, а черезъ два часа уже плетъ въ типографію «оригиналъ», убѣжденный, что человѣка такъ живьемъ и сжевалъ.

Жадности въ немъ особенной не замѣчалось. Гонораръ онъ любилъ, но не до безумія. Есть деньги — онъ говоритъ: — «вотъ онѣ!»; нѣтъ денегъ — говоритъ: — «надо идти на улицу!» Пойдетъ, въ участкѣ побываетъ, въ камеру къ мировому судьѣ заглянетъ, въ окружномъ судѣ справится, плутократовъ (такъ называлъ онъ содержателей судныхъ кассъ и мѣнялъ) обойдетъ—сколько тутъ строчекъ-то выйдетъ! А ежели по гривеннику за строчку — вотъ и жить можно. Но по временамъ его озаряла мысль: «сдѣлаю дѣвицамъ удовольствіе!» — и такъ какъ осуществленіе этой мысли требовало болѣе или менѣе серьезныхъ издержекъ, то онъ отправлялся въ гостиный дворъ и облагалъ тамошнихъ старожиловъ по столько-то съ купеческаго брюха. А вечеромъ нанималъ нѣсколько троекъ, приглашалъ менѣе обласканныхъ фортуною публицистовъ, прихватывалъ соотвѣтственное количество дѣвицъ и бѣшенымъ аллюромъ мчался всей компаніей въ «Самаркандъ».

Несмотря на легкость, съ которою доставались ему деньги, лишнихъ у него никогда не было. Какъ человѣкъ одинокій, онъ могъ бы устроить себѣ порядочную домашнюю обстановку, но онъ предпочиталъ оставаться бездомнымъ, ютился въ меблированныхъ комнатахъ, одѣвался въ магазинѣ готовыхъ платьевъ, курилъ вонючія папиросы (за то только, что онѣ назывались «Слава») и водился съ такими субъектами, одно приближеніе которыхъ позывало на тошноту. Вообще, онъ не чувствовалъ ни малѣйшей потребности въ жизненныхъ удобствахъ и только въ одномъ не могъ себѣ отказать: въ ежедневномъ посѣщеніи Палкина трактира. Здѣсь онъ проводилъ лучшіе часы своей жизни; но при этомъ не преслѣдовалъ никакихъ гастрономическихъ цѣлей, а просто любилъ на загаженномъ диванѣ посидѣть и полежать. Онъ зналъ поименно не только всѣхъ половыхъ, но поварятъ и кухонныхъ мужиковъ; разговаривалъ по душѣ съ швейцаромъ, буфетчику дѣлалъ shake hands, смотрѣлъ на плавающихъ въ сажалкѣ стерлядей и ежели замѣчалъ исчезновеніе какой-нибудь особенно-крупной рыбины, то спрашивалъ, кто ее съѣлъ; безъ надобности ходилъ на кухню и въ ватерклозетъ, и вообще старался по-

казать, что онъ у Палкина, какъ дома. Обѣдалъ всегда по картѣ—два неизмѣнныхъ блюда: московскую селянку и жареную утицу — и расплачивался аккуратно каждый день. Пилъ изрядно, но пьянъ не напивался, а только жупровалъ. Замѣчательно, что онъ какъ будто даже принуждалъ себя, какъ будто изобрѣталъ, какимъ бы способомъ побольше денегъ издержать, чтобы купецъ Палкинъ остался доволенъ. Въ этомъ заключалось его самолюбіе. На водку сыпалъ направо и налѣво: Андрею—за то, что селянку ему подавалъ; Ивану—за то, что на машинѣ валъ перемѣнилъ; Семену — за то, что воротился изъ деревни; Никанору — за то, что собрался въ деревню. И со всѣми былъ необыкновенно любезенъ: буфетчику сообщалъ новѣйшія внутреннія извѣстія, а метрдотелю (изъ тирольцевъ) такія штуки-фигуры руками показывалъ, что тотъ себя отъ восторга не помнилъ. Но передъ купцомъ Палкинымъ стѣснялся и ежели, во время разговора съ нимъ, замѣчалъ гдѣ-нибудь у себя въ одеждѣ разстегнутую пуговицу, то немедленно ее застегивалъ.

Хозяевамъ газетины, при которой онъ состоялъ публицистомъ и корреспондентомъ, онъ былъ преданъ до самозабвенія, хотя обыкновенно называлъ ихъ «міроѣдами». Какой смыслъ имѣло въ его устахъ это слово, ругательный или ласкательный — разобрать было невозможно. Скорѣе всего—просто разнузданный. Не завидовалъ онъ имъ нисколько, и даже тогда, когда ему однажды за вѣрное сообщили, что за истекшій годъ отъ однихъ объявленій «міроѣды» получили какую-то чудовищную сумму,—онъ только вымолвилъ: «вотъ бы теперь самое время ихъ обокрасть!» Но, разумѣется, тутъ же и позабылъ. Никогда хозяева не приглашали его къ себѣ въ качествѣ гостя, но онъ и этимъ не обижался, а только говорилъ: «свиньи!» Порученія хозяйскія онъ выполнялъ быстро и буквально: нужно къ Покрову сбѣгать—сбѣгаетъ; оттуда въ Колтовскую улицу—и туда слетаетъ. «И никогда вѣдь, уроды, на извозчика не предложатъ!» — только и слышали его ропоту въ такихъ случаяхъ. Писалъ тоже всяко: и забористо, и благодушно, и хлёстко, и съ «прохвалою»—какъ для хозяйскаго интереса пригоднѣе. Умиленіе по обстоятельствамъ потребуется—онъ умилится; ликованіе — онъ возликуетъ; вѣра въ славное будущее— онъ и отъ вѣры не прочь. Только унывать не любилъ, а по части «прострацiи» даже смѣшные каламбуры отпускалъ. Но ежели потребуется серьезно уронить

слезу—онъ слова не скажетъ, уронитъ. «Нельзя, скажетъ, безъ сердечной боли видѣть, какъ многіе, вмѣсто того, чтобы уповать...» И пойдетъ, и пойдетъ. А потомъ утретъ слезу—смотришь, и опять всѣмъ весело. Словомъ сказать, на всѣ руки парень: колесомъ вертится, на канатѣ пляшетъ; сядетъ задомъ напередъ на лошадь и за хвостъ держится. Въ гостиномъ дворѣ брюханы такъ и покатываются: «ахъ, каторжный!»

Хозяйскихъ враговъ (разумѣя подъ этимъ именемъ всѣхъ прочихъ газетчиковъ и даже ихъ сотрудниковъ) онъ считалъ своими личными врагами и отъ всей души ненавидѣлъ. Но когда врагъ умиралъ или инымъ образомъ со сцены дѣятельности сходилъ, то отдавалъ ему должную справедливость: это, говоритъ, былъ противникъ, съ которымъ пріятно было дѣло имѣть. Такъ что и при жизни ругательски человѣка ругаетъ, и по смерти на могилу его нанакоститъ. Но не отъ злобы, а отъ собачьей жизни.

О происхожденіи его никто ничего достовѣрнаго не зналъ. Самъ онъ говорилъ о родителяхъ своихъ неохотно: но когда его ужъ черезчуръ донекали вопросами объ этомъ предметѣ, то восклицалъ: «да, батюшка, родился я, могу сказать, ррродился!» Вслѣдствіе этого въ редакціи «нашей уважаемой газеты» мнѣнія объ его родопроисхожденіи раздѣлились на-двое. Одни утверждали, что онъ родился въ Москвѣ на Дербеновкѣ, другіе—что тайну его появленія на свѣтъ слѣдуетъ отыскивать въ извѣстной пѣснѣ: «Ѣхалъ принцъ Оранскій». И онъ ни перваго, ни второго мнѣнія серьезно не опровергалъ.

Наружность у него была тоже не самостоятельная: сейчасъ брюнетъ, сейчасъ—блондинъ. Отсвѣчиваетъ. Голова—сквозная, звонкая: даже въ бурю слышно, какъ одна отмѣтка за другую цѣпляется. Въ глазахъ—ландшафтъ, изображающій Палкинъ трактиръ. Язычина—точно та безконечная лента, которую въ старину фокусники изъ горла у себя выматывали. Онъ составлялъ его гордость.

Но Подхалимовъ былъ несомнѣнно талантливъ и несомнѣнно воспріимчивъ—и это многихъ подкупало. Была въ немъ искорка добродушія. Все это, вмѣстѣ взятое, заставляло говорить: если-бъ этого человѣка выдержать—золото, а не человѣкъ бы изъ него вышелъ! Но такъ какъ выдержкѣ не откуда было взяться (у насъ, въ литературномъ мірѣ, какъ и вездѣ, всякій только о томъ думаетъ, какъ бы особнякомъ устроиться), то талантливость послужила

лишь для прикрытія нравственной неустойчивости. Другой, болѣе характерный субъектъ, при подобной силѣ воспріимчивости, пришелъ бы къ озлобленію, а онъ даже не *смирился*, но прямо вошелъ во вкусъ.

Я лично не питалъ къ Подхалимову никакого враждебнаго чувства, а просто смотрѣлъ на него, какъ на жертву общественнаго темперамента. Случайно встрѣчаясь съ нимъ, я не испытывалъ особенной радости, но въ то же время и не безъ любопытства прислушивался къ его пестрой болтовнѣ. Какъ хотите, а вѣдь его статьи служили украшеніемъ столбцовъ распространеннаго литературнаго органа, а совсѣмъ плохому писакѣ такая роль не подъ силу. Развязность его, нерѣдко переходившая въ прямую наглость, казалась мнѣ наносною, охватившею его согласно съ обстоятельствами времени и мѣста. А когда онъ, внезапно очнувшись отъ угара пестрыхъ словъ, говорилъ: «это я не отъ злобы, а отъ собачьей жизни!», то мнѣ сдавалось, что и моей вины тутъ капля есть. Да, виноватъ и я. Виноватъ тѣмъ, что я безсиленъ, что слова мои мимо идутъ и се не бѣ. Однако чьи же слова когда-нибудь шли не мимо, позвольте спросить?

Но есть и еще вопросъ, близко касающійся Подхалимова. Теперь онъ и ликуетъ, и умиляется, и иронизируетъ, и скорбитъ: что̀ ему вздумается, то̀ и сдѣлаетъ. Но заглядываетъ ли онъ когда-нибудь въ будущее, — не въ то будущее, на которое намекаетъ шумно бѣгущій жизненный потокъ, — туда ему, Подхалимову, пожалуй, и резону нѣтъ заглядывать,—а въ свое собственное, личное будущее?

Бѣдный Подхалимовъ!

Когда я пришелъ къ Подхалимову, онъ лежалъ съ ногами на кровати, а въ головахъ у него сидѣлъ субъектъ, отъ котораго несло водами Екатерининскаго канала. Комната была свѣтла и довольно просторна, но табачнаго дыма скопилось столько, что непріятно было дышать.

— Кого я вижу! Отче (онъ называлъ меня такъ въ виду преклонности моихъ лѣтъ)!—воскликнулъ хозяинъ, вставая съ постели.—Ужъ не собрались ли открыть гласную кассу ссудъ? А мы только-что о нихъ бесѣдовали. Садитесь, пожалуйста! Рекомендую: бывшій казанской части дипломатъ по внутренней политикѣ, господинъ Ончуковъ, а нынѣ отъ занятій освобожденъ и возымѣлъ намѣреніе открыть кассу ссудъ. Сначала кассу ссудъ откроетъ, потомъ убійство совершитъ, а въ заключеніе попадетъ на каторгу. Вотъ и карьера.

— Что вы, Григорій Григорьичъ! Кажется, вамъ мои правила довольно извѣстны!—не то обидѣлся, не то пошутилъ господинъ Ончуковъ.

— Оттого и говорю, что извѣстны. А слышали ли вы, отче, какъ онъ на-дняхъ одного юнца подсидѣлъ?.. Хочешь, разскажу?

— Ахъ, что вы, что вы-съ! Вѣдь это тайность-съ!—испугался господинъ Ончуковъ.

— Ежели тайность, такъ зачѣмъ ты ко мнѣ съ тайностью лѣзъ? Вотъ видите ли, сидитъ этотъ самый господинъ, отъ котораго не розами нахнетъ...

— Нѣтъ, ужъ позвольте, ничего я вамъ такого не говорилъ! Сдѣлайте ваше такое одолженіе, увольте! Прекратите-съ!—рѣшительно взмолился господинъ Ончуковъ.

— Не интересно вѣдь это, Подхалимовъ, оставьте!—присоединился и я съ своей стороны.

— Ну, ладно, все равно, потомъ разскажу. А теперь—брысь, Анчутка! Видишь, «чистые» гости пришли!

Ончуковъ помялся на мѣстѣ, глянулъ исподлобья какъ-то подозрительно—и, къ удивленію, глянулъ не на Подхалимова, а на меня—и исчезъ.

— Погодите говорить, онъ у двери подслушиваетъ!—обязательно предупредилъ меня Подхалимовъ. — Береги носъ, Анчутка, сейчасъ дверь отворю!

Послышались торопливо удаляющіеся шаги.

— Ну-съ, отче, чѣмъ потчивать прикажете! Чаю? кофею? мороженаго? селедочки?

— Я на минуту, только два слова спросить пришелъ. Скажите, Подхалимовъ, вы не соврали, возвѣщая въ «вашей уважаемой газетѣ», что господство хищенія кончилось?

— Господи! никакъ вы ужъ во второй разъ по этому случаю безпокоитесь! Да неужто я въ самомъ дѣлѣ такъ ужъ рѣшительно и намекалъ?

— Совершенно рѣшительно.

— Что хищенія прекратились... совсѣмъ? Странно. Дѣйствительно, что-то въ этомъ родѣ какъ будто было... Но чтобы такъ-таки прямо... съ тѣмъ, чтобъ на службу ни по какимъ вѣдомствамъ впредь не опредѣлять... Да вамъ-то, наконецъ, не все ли равно? Есть хищенія—такъ есть, нѣтъ ихъ—такъ нѣтъ! Эка бѣда!

— Ну, нѣтъ, это совсѣмъ не такъ безразлично, какъ вы полагаете! Поймите, Подхалимовъ, вѣдь это не реформа какая-нибудь, которую взялъ, похерилъ, и никто не замѣ-

титъ. Это цѣлая нравственно-обычная революція! Старые идолы въ прахъ повергнуты, старыя преданія нарушены, исторія прекратила теченіе свое... Вотъ вѣдь это чѣмъ пахнетъ!

— Скажите, сколько,. однако-жъ, я накуралесилъ! И это, такъ сказать, въ «минуту жизни трудную»... За «оригиналомъ» изъ типографіи пришли — я и черкнулъ... но нѣтъ, впрочемъ, я лучше ужъ откровенно передъ вами сознаюсь. Призываютъ меня «міроѣды» и спрашиваютъ: «можете вы, Подхалимовъ, «стихотвореніе въ прозѣ» написать?» Ну, я... мнѣ что-жъ!

— А я, по милости вашего легкомыслія, впросакъ попалъ. Къ мужичкамъ въ деревню написалъ: радуйтесь! Губошлепова на цѣпь посадили! Кротикова—въ за-штатъ отчислили! Знаете, чѣмъ такія извѣстія пахнутъ?

— Ахъ, бѣда!

— Вотъ вы всегда такъ, Подхалимовъ; вы и теперь шутите. Удивительно, право, какъ васъ земля за такія продѣлки не поглотитъ!

— А по-моему, такъ еще удивительнѣе, что вы столько лѣтъ живете, а до сихъ поръ всякое лыко въ строку пишете.

— Но какъ же васъ читать? Неужто, взявши газету, нужно предварительно сказать себѣ: все, что̀ тутъ написано, есть мистификація?

— Не мистификація, а «такъ». «Такъ»—и ничего больше. На вашемъ мѣстѣ я, главнымъ образомъ, обращалъ бы вниманіе не на сущность газетной статьи, а на то, какъ она написана, игриво или возвышенно, забористо или благодушно. А что̀ касается до меня, то ежели моя статья подходитъ подъ одно изъ этихъ опредѣленій,—я и доволенъ.

— Да вѣдь это же и есть мистификація!

— Мистификація — это ежели преднамѣренно, а тутъ, повторяю, просто «стихотвореніе въ прозѣ»—и только. Это— «морсо̀», которое, въ случаѣ крайности, можно въ какую угодно хрестоматію помѣстить.

— Ахъ, Подхалимовъ, Подхалимовъ! Неужели вамъ не страшно жить?

— Перемогаю себя—оттого, должно-быть, и живу. Страшно сдѣлается—я пою: «страха не страшусь, смерти не боюсь!»— какъ рукой сниметъ! Гнать пхъ, отче, надо, страхи-то— вотъ и не страшно будетъ!

— Слѣдовательно однимъ пѣніемъ спасаетесь, думать не желаете?

— Пишу—стало-быть, все-таки какъ-ни-на-есть думаю; безъ того нельзя. Но прямолинейнымъ быть не желаю и до чортиковъ додумываться не вижу надобности. Смотрю на міръ непредубѣжденными глазами и нахожу, что все идетъ своимъ чередомъ:

И прежде кровь лилась рѣкою,
И прежде плакалъ человѣкъ...

Это вы во всѣхъ хрестоматіяхъ найдете: стало-быть, ежели вы «плакать» желаете, то къ этому источнику и обратитесь. Но и тутъ имѣйте въ виду, что хрестоматіи на то и издаются, чтобы метафоры и синекдохи въ нихъ подтвержденіе находили. Слѣдовательно... а впрочемъ, хотите, я къ завтраму передовицу на манеръ Ѳеофана Прокоповича напишу?

— Любопытно. О чемъ, напримѣръ?

— Какъ вамъ сказать... ну, хоть о правосудіи. Сегодня напишу, что правосудіе бодрствуетъ, завтра — что правосудіе на оба ока спитъ; сегодня—что въ голову гидрѣ ударено и на хвостъ наступлено (слогъ-то какой!), завтра — что у гидры новая голова и новый хвостъ выросли.

— Отлично. Но не будемъ разбрасываться, Подхалимовъ, и возвратимся къ первоначальному предмету нашей бесѣды. Скажите, вѣдь были же какіе-нибудь факты, которые послужили вамъ отправнымъ пунктомъ для передовицы, о которой идетъ рѣчь?

— Какъ фактамъ не быть! За фактами никогда дѣло не станетъ. Есть факты, которые свидѣтельствуютъ, что хищеніе прекратилось (таковы: предписанія, распоряженія, благія начинанія и т. п.), и есть факты, которые свидѣтельствуютъ, что хищенія продолжаютъ кругъ своего дѣйствія (таковы: отчеты общихъ собраній промышленнаго общества, банковъ и т. п.). Стало-быть, все зависитъ отъ того, какъ посмотрѣть. Ежели однимъ окомъ взглянуть — есть хищенія: ежели другимъ — нѣтъ хищеній. Но, кромѣ того, есть еще читающая публика. Огорчена наша публика, отче, такъ огорчена всевозможными лѣтописями и хрониками изъ области хищничества, что голосомъ вопить начинаетъ: утѣшьте вы меня, скажите, что господство хищенія кончилось! Вотъ мои «міроѣды» и догадались, что теперь самый разъ «стихотвореніе къ прозѣ» пустить. Ну, и набрали же они въ это утро пятаковъ!

— Но вѣдь это явный обманъ! Можно подумать, что вы только одну цѣль и въ виду держите: какъ бы кого-нибудь

въ дуракахъ оставить! Остроумно, что ли, это вамъ кажется, или такъ ужъ само перо у васъ лжетъ?.. Ахъ, Подхалимовъ, Подхалимовъ!

— А вы позабыли, отче, что еще Пушкинъ сказалъ: «тьмы низкихъ истинъ мнѣ дороже насъ возвышающій обманъ!» — это во-первыхъ. А во-вторыхъ, вы хоть и читаете нашу газету, но многаго не доглядываете. Въ томъ же №, гдѣ возвѣщалось о прекращеніи хищниковъ, напечатана цѣлая хроника, явно свидѣтельствовавшая, что хищничество нимало не чувствуетъ себя обезкураженнымъ. Но, сверхъ того, неужто вы, кромѣ нашей, никакихъ другихъ газетъ не читаете? Напрасно. Читайте хоть «Пошехонскіе Куранты» — несомнѣнную пользу получите. Хроники хищеній вы тамъ, правда, не найдете, но зато «Куранты» свои задніе столбцы всевозможнымъ добровольцамъ въ полное распоряженіе предоставили. И тутъ вы не то что мелкіе факты, а цѣлые проекты громаднѣйшихъ хищеній обрѣтете. Тутъ и элеваторы предлагаютъ, и запретительныхъ пошлинъ требуютъ (кто чѣмъ торгуетъ, тотъ и соотвѣтственное положеніе проектируетъ), и замѣну книгопечатанія билетопечатаніемъ проповѣдуютъ, а на-дняхъ одинъ неупывающій плутократъ проектъ объ отдачѣ казны въ безсрочную аренду акціонерной компаніи сочинилъ... Да вотъ увидите: скоро такое столпотвореніе пойдетъ, что зги Божьей за тучей проектовъ не видно будетъ! Ситцевые фабриканты будутъ домогаться, чтобъ каждому изъ нихъ отъ казны извѣстный доходъ гарантированъ былъ; землевладѣльцы начнутъ вопіять, чтобъ казна гарантировала имъ вѣрный урожай и выгодный сбытъ сельскихъ произведеній; торговцы благовонными товарами потребуютъ, чтобы для всѣхъ франтовъ было обязательно употребленіе такихъ-то и такихъ-то духовъ. Того гляди, мужички пожелаютъ, чтобъ имъ гарантировали исправную плату податей...

— Вотъ тутъ-то бы вамъ и ополчиться!

— Могу и это. Но, стало-быть, не ко двору. Впрочемъ, и «міроѣды» мои отъ ополченья не прочь — они вѣдь у меня лихіе—да и у нихъ руки, видно, коротки. А можетъ-быть, и на розничную продажу не надѣются. Прытки мы, но не сильны.

— Однако какіе ужасные правы!

— У насъ нынче насчетъ правовъ даже очень просторно. Только размѣры «куша» и стѣсняютъ. Кому—знатный размѣръ приличествуетъ; кому—средній; кому—малый.

Но все-таки вездѣ на первомъ планѣ — «кушъ». Недавно, доложу вамъ, у одного «репортера» маменька скончалась— ну, онъ и пошелъ съ похоронным счетомъ по коммерсантамъ, да черезъ три-четыре часа всѣ расходы покрылъ, а лишки къ Палкину снесъ.

— А что ежели коммерсантъ-то соберется съ духомъ, да въ шею попрошайку?

— Нельзя, стало-быть.

Подхалимовъ остановился на минуту, иронически взглянулъ мнѣ въ глаза и съ разстановкой произнесъ:

— Печать-то вѣдь—сила! Такъ ли, отче?

Признаюсь, у меня даже въ глазахъ зарябило отъ этого вопроса. Что-то далекое пронеслось передо мною, далекое, свѣтлое, бодрое. Ни одинъ изъ бывшихъ свидѣтелей этого далекаго—я не исключаю даже старшихъ изъ Подхалимовыхъ—не можетъ вспомнить о немъ безъ умиленія. Гдѣ-то, когда-то я слышалъ эти самыя слова, не въ этой обстановкѣ, не изъ этихъ устъ, но слышалъ, несомнѣнно слышалъ. Я помню, что они поднимали мой духъ и наполняли мое сердце сладостною тревогою. Эта тревога не обезкураживала меня, а какъ бы даже подстрекала: впередъ!

Вмѣстѣ съ другими я вѣрилъ, что печать есть сила, и что этой силѣ суждено развиваться и сдѣлаться несокрушимою. Быть-можетъ,—говорилъ я себѣ,—процессъ этого развитія совершится туго, не безъ горькихъ перипетій — пожалуй, даже не безъ утратъ... Все это я допускалъ, но и за всѣмъ тѣмъ ни на минуту не переставалъ утверждать, что печать есть сила и пребудетъ ею во вѣкъ. И никогда я не предполагалъ...

Нѣтъ, никогда, никогда, даже въ самые черные дни, я не могъ представить себѣ, чтобы сила печати могла осуществиться въ тѣхъ поразительныхъ формахъ, въ какихъ я узналъ ее здѣсь, въ эту минуту! Какимъ образомъ это случилось? Какое злое волшебство передало эту силу въ руки Подхалимовыхъ, сдѣлало ее орудіемъ для обложенія сборами «брюхановъ»? Когда это произошло, и какъ-таки никто этой перестановки не замѣтилъ?

Очевидно, процессъ перемѣщенія новоявленной силы изъ одного центра въ другой произошелъ постепенно и втихомолку. Первоначальныя притязанія печати, должно-быть, оказались черезчуръ цѣльными и разномастными, чтобы привести къ соглашенію. Это было, впрочемъ, совершенно естественно, покуда рѣчь шла о соглашеніи по существу.

Но дѣло въ томъ, что въ пылу споровъ по существу утрачено было изъ виду, что печать и сама по себѣ, въ качествѣ общественной силы, требуетъ огражденія, для всѣхъ мнѣній и партій одинаково обязательнаго. Даже въ этомъ индифферентномъ смыслѣ никакого соглашенія не состоялось. Напротивъ того, въ самомъ непродолжительномъ времени состоялись вѣроломства, предательства, отступничества въ сопровожденіи цѣлой свиты легкомыслій, свидѣтельствовавшихъ о полномъ отсутствіи дисциплины. Распря, постепенно переходя съ почвы принциповъ на почву уязвленныхъ самолюбій, приняла, наконецъ, такіе размѣры, что въ одно прекрасное утро на фронтонѣ храма печати сами собой выступили слова: *образъ мысли*.

Принципы были побѣждены, и въ то же время всякая надежда, что слово: «печать» когда-нибудь получитъ объединяющій смыслъ, исчезла навсегда.

Вотъ этотъ-то моментъ и подстерегали Подхалимова. Они поняли сразу, что ни принципы, ни руководящіе идеалы— не ко двору; что свѣточъ мысли не освѣщаетъ и не убѣждаетъ, а производитъ раздраженіе и панику, полную грядущихъ отмщеній; что, слѣдовательно, ежели печать хочетъ быть силою, то она должна отыскивать почву для этой силы въ той низменной сферѣ, которая не оставляла бы никакихъ сомнѣній насчетъ ея проницательнаго ничтожества. А именно, въ сферѣ мелочей, прожектерства и личнаго, такъ-сказать, наглядно-физическаго обличенія.

И вотъ снова выступили Подхалимовы *вчерашніе*, которые еще во дни возрожденія руку набили. Выступили и поразили всѣхъ юркостью и непринужденною остротою ума. Они первые наглядно доказали, что можно жить и безъ принциповъ. За ними появились Подхалимовы *нынѣшніе*, такіе, у которыхъ даже литературныхъ преданій не было, а были только недюжинныя способности по части изслѣдованія корней и нитей, шантажа и обезкураженія «брюхановъ». Первые говорили: «Пріятно этакой въ нѣкоторомъ родѣ арбузъ щелкнуть, чтобъ онъ по всѣмъ швамъ треснулъ!» Вторые прибавляли: «и при семъ чтобъ у него изъ всѣхъ щелей ассигнаціи поползли».

— Нынче, я вамъ скажу, по умственной части тихо,— продолжалъ между тѣмъ Подхалимовъ: — зато бойко по части промышленной и коммерческой. Вотъ эту-то ноту мы и разрабатываемъ. Безъ содѣйствія печати нынче ни одно промышленное предпріятіе шагу ступить не можетъ. Вся

воздѣлывающая, производящая, эксплоатирующая и спекулирующая Россія раздробилась на безчисленное множество кліентуръ, которыя сами признали свою подсудность печати. Стало-быть, рѣчь идетъ только о качествѣ кліентуры. Кто покрупнѣе кліентуру захватитъ, тотъ и умница; но ужъ во всякомъ случаѣ тутъ не фунтомъ икры пахнетъ, какъ во времена Булгарина.

— Однако мнѣ кажется, что вѣдь и разработка промышленности и торговыхъ интересовъ, несмотря на свой спеціальный характеръ, не исключаетъ возможности честнаго отношенія къ дѣлу?

— Гм!.. милліонами вѣдь тутъ, отче, пахнетъ, милліонами.

— Помилуйте. Подхалимовъ! сами же вы сейчасъ разсказывали о репортерѣ, который съ похоронным счетомъ по «брюханамъ» путешествовалъ,—надѣюсь, что ему и во снѣ милліоны не снились!

— Ахъ, что вы, развѣ я о немъ! Вѣдь и въ нашемъ дѣлѣ есть табель о рангахъ, да еще престрогая! Одинъ — къ милліонамъ приставленъ, другой — къ сотнямъ тысячъ, третій — къ тысячамъ, а четвертый — около десятковъ съ удовольствіемъ руки погрѣетъ.

— Но какъ вы не перегрызетесь другъ съ другомъ? Вѣдь досадно, я думаю, въ четвертомъ-то рангѣ состоять да зубами щелкать, особливо ежели сознаешь себя способнымъ и достойнымъ.

— Не скажу, чтобы особенно было досадно. Тутъ судьба, и какъ-то сразу это дѣлается понятнымъ. Возьму для примѣра себя: я себѣ цѣну знаю, но только и всего. Не продешевлю, но и дорожиться не стану. Ежели дѣло не моей компетенціи, я за него не возьмусь, а направлю по адресу. Есть «дѣятели печати» гораздо въ худшемъ противъ меня положеніи, но и тѣ, покуда здоровы, не ропщутъ. Вотъ ежели силы слабѣть начнутъ — тогда капутъ. Но я лично могу и кризисъ выдержать: я и помимо репортерства работу найду. У меня — перо, а въ наше просвѣщенное время это порядочная-таки рѣдкость!

— Вотъ вы на эту *другую* работу и употребляли бы ваше «перо».

— Нельзя. Для этого нужно, чтобы въ личномъ существованіи человѣка рѣшительный переворотъ произошелъ. Наша дѣятельность въѣдчива; не результатами она заманиваетъ — о результатахъ думать нѣтъ времени, — а самымъ процессомъ своимъ. Въ этотъ процессъ вошло такое

множество случайныхъ и другъ отъ друга независящихъ подробностей, что каждый день втягиваешь въ себя по-новому. Я не работаю, а увлекаюсь. Увлекаюсь каждый день по-новому, не такъ, какъ вчера. Пишу и думаю: ну, теперь нужно полагать, что «онъ» восчувствуетъ! «Онъ»— это мой *сегодняшній* избранникъ, котораго я *вчера* и въ умѣ не держалъ. Я не помню моего вчерашняго дня и не загадываю о завтрашнемъ; но сегодняшняя моя мысль вполнѣ для меня ясна. Сегодня я создалъ себѣ такой-то пунктъ, и ежели я въ ударѣ, то одно за другимъ выведу изъ него всѣ послѣдствія. Весело, бойко, неутомимо. Мнѣ и работать весело... ежели я «въ ударѣ». Ничто другое не привлекаетъ, уйти отъ работы не хочется. Вотъ и судите теперь, легко ли при такихъ данныхъ на другую работу перейти?

— Но вѣдь это своего рода хроническое опьянѣніе, и я положительно не понимаю, какимъ образомъ оно можетъ не изнурить. А сверхъ того сдается мнѣ, что для литературнаго дѣятеля не мѣшаетъ подумать и о репутаціи порядочности, а такого рода работой ее не пріобрѣтешь.

— Да, относительно низшихъ классовъ ваше замѣчаніе справедливо. Мы, анонимная сила, дѣйствительно живемъ какъ въ чаду, и объ относительной цѣнности нашей знаютъ только въ редакціяхъ да въ нашемъ интимномъ кругу, да, пожалуй, еще въ трактирахъ, гдѣ мы засѣдательствуемъ. Анонимами мы родились и анонимами же бо́льшая часть изъ насъ сойдетъ въ могилу. Но о высшихъ рангахъ—не говорите такъ. Тѣ ужъ вышли изъ опьянѣнія, а репутація пришла къ нимъ сама собой, какъ приходитъ она ко всякому хищнику, который рветъ крупные куски, а мелкими пренебрегаетъ. Вы скажете, можетъ-быть, что эта репутація непрочная, фиктивная,—ну, да вѣдь ежели кто къ потомству не апеллируетъ, такъ и фиктивная репутація за настоящую сойдетъ. Дѣйствія этихъ высшихъ дѣятелей розничной публицистики уже до такой степени говорятъ о выдержкѣ, что они сумѣли создать въ свою пользу особое право самопротиворѣчія, которое заранѣе гарантируетъ имъ свободу отступничества. Посмотрите, какъ какой-нибудь Скомороховъ подступаетъ къ вопросу: точно кошка съ мышкой играетъ. Сначала пробный шаръ пуститъ, будто стороной что-то слышалъ, и при этомъ сознается, что покуда еще не имѣетъ достаточныхъ данныхъ для сужденія. Затѣмъ слегка помолчитъ—и опять попробуетъ. Слѣва заглянетъ, справа пощупаетъ, предоставитъ какому-нибудь добровольцу на за-

дахъ нескладицу проурчать—и опять притворится спящимъ. И вдругъ у него сердце защемитъ! И любовь къ отечеству, и интересъ къ казнѣ, и нужды промышленности—что̀ есть въ печи, все на столъ мечи! Вопросъ растетъ и съ каждымъ днемъ осложняется. Независимо отъ pièce de résistance, появляются публицистическія приправы: либерализмъ, нигилизмъ, упраздненіе властей и т. п. Это онъ пугаетъ и въ то же время товаръ лицомъ показываетъ. Наконецъ, когда приправа возымѣла дѣйствіе, начинается «аноосозъ»... Рыба клюнула; данайцы восчувствовали. Ибо ко всякому вопросу пригнана соотвѣтствующая рыбина, соотвѣтствующій данаецъ. Достигнувъ цѣли, газета временно успокаивается: репутація ея въ качествѣ узорѣшительницы установлена, а заправилы ея исподволь подыскиваютъ новый вопросъ и оттачиваютъ перья для новаго похода... Вотъ какъ идетъ дѣло въ высшихъ публицистическихъ сферахъ. Тутъ ужъ не о скачущемъ штандартѣ идетъ рѣчь, а о служеніи на чредѣ государственный, не статейками пахнетъ, а актами мудрости... чортъ побери!

— Прекрасно, но зачѣмъ же вы «чортъ побери» прибавили? Вѣдь вы и сами въ этомъ водоворотѣ кружитесь... Какъ хотите, а непріятно поражаетъ въ васъ эта двойственность!

— Привычка, отче; да, въ сущности, и сказать что-нибудь другое трудно. Впрочемъ, не въ томъ дѣло: надѣюсь, вы теперь понимаете, что печать есть дѣйствительно сила, которую игнорировать не полагается. Только не та печать, по которой вы, государь мой, періодически тоскуете.

— Ну, да, разумѣется, не та. Стало-быть, вы въ концѣ концовъ своимъ положеніемъ довольны?

— Не ропщу. У меня клієнтъ по преимуществу мелкій. Одинъ домогается благосклоннаго отзыва, другой — благосклоннаго умолчанія, третій — и самъ не знаетъ, чего ему нужно. Вотъ Ончуковъ, напримѣръ, который ужъ разъ приходитъ,—все спрашиваетъ: ловко ли будетъ, ежели онъ по пятнадцати процентовъ въ мѣсяцъ станетъ съ заемщиковъ брать?

— Неужелѣ вы, однако, и эту «идею» въ вашихъ передовицахъ проводить будете?

— Нѣтъ, онъ еще погодитъ; это онъ такъ, безкорыстнаго сочувствія ищетъ. Замѣтьте, отче, что даже самый темный жуликъ—и тотъ жаждетъ, чтобъ ему посочувствовали или, по крайней мѣрѣ, хоть пожалѣли о немъ. Одинъ ему скажетъ: «молодецъ!»; другой: «э, да ты еще не совсѣмъ та-

кой негодяй, какъ о тебѣ повѣствуютъ!»—онъ и доволенъ. Нѣтъ ничего тяжелѣе, какъ глотать втихомолку свои собственныя мерзавства—съ этимъ ужъ только самые отпѣтые сживаются. Большинство ищетъ хоть частицу удручающаго его негодяйства вынести на свѣтъ, чтобы облегчить себя.

— Но какимъ манеромъ вы сходитесь съ такими людьми?

— Вся моя жизнь на народѣ проходитъ—вотъ и схожусь. Въ трактирахъ, въ судахъ, въ участкахъ, на конкахъ — вездѣ люди. Вся улица человѣчествомъ полна! Нужно же привести эту массу въ извѣстность, расчленить, размѣтить по группамъ. Я сознаюсь, что до сихъ поръ совсѣмъ не это дѣло у меня на первомъ планѣ стояло, но увѣренъ, что работа ассимилированія человѣческаго матеріала все-таки своимъ порядкомъ идетъ. Можетъ-быть, этотъ матеріалъ соскользнетъ и безслѣдно, но, можетъ-быть, нѣчто и задержится. Провидѣнія не искушаю и кризиса, который сразу оборвалъ бы меня и заставилъ бы обратиться внутрь,—не призываю. Но ежели наступитъ критическая минута, я убѣжденъ, что найду свой матеріалъ налицо. И, быть-можетъ, буду въ состояніи подлинную картину почтеннѣйшей публикѣ предоставить. Только вотъ таланта хватитъ ли? Или же то, что мы теперь называемъ талантомъ, есть не болѣе какъ усовершенствованное тряпичничество?

Высказавши послѣднія слова, Подхалимовъ остановился, какъ бы сожалѣя, что черезчуръ ужъ далеко зашелъ въ область самообличенія. Я съ своей стороны тоже понялъ, что какъ ни затягивай бесѣды съ Подхалимовымъ—результатъ получится только одинъ: будетъ двоиться въ глазахъ. Въ эту минуту онъ, пожалуй, и посентиментальничать былъ не прочь, а черезъ полчаса, блеснетъ въ глаза подходящій сюжетъ,—и опять штандартъ поскакалъ.

— Ну, прощайте,—сказалъ я:—желаю вамъ! Ужъ ежели вы сами спеціальную табель о рангахъ для себя облюбовали, то не задерживайтесь на низшихъ ступеняхъ, а дерзайте! Безплодно на судьбу не ропщите—это и смѣшно, и не интересно,—но и міроѣдамъ въ зубы не смотрите. И ежели увидите, что изъ ропота можетъ воспослѣдовать полезный для васъ плодъ, то средствомъ этимъ не пренебрегайте.

Возвращаясь отъ Подхалимова, я нѣкоторое время чувствовалъ себя какъ въ туманѣ. Я не только не разрѣшалъ

себѣ вопроса о хищничествѣ, но даже переставъ имъ интересоваться, забылъ о немъ. Совсѣмъ другая мысль назойливо билась въ головѣ: откуда пришла и зачѣмъ понадобилась эта безпощадная жестокость въ извращеніи внутренней сущности явленій, которыя, будучи взяты сами по себѣ, занимаютъ далеко не послѣднее мѣсто въ ряду отличительныхъ опредѣленій человѣческой природы?

Что такое Подхалимовъ? Безспорно, это воспріимчивый, отзывчивый и очень даровитый человѣкъ. Вотъ опредѣленіе, которое ближе всего подходитъ къ нему, ежели отрѣшиться отъ того гадливаго чувства, которое вызывается его практическою дѣятельностью.

Воспріимчивость и отзывчивость составляютъ едва ли не самое драгоцѣнное достояніе человѣка. Безъ нихъ немыслима ни дѣятельная честность, ни постиженіе идеи общаго блага. Только воспріимчивый человѣкъ можетъ всего себя отдать на служеніе высшему идеалу; только въ немъ можетъ созрѣть идея о человѣчествѣ и ожидающихъ его перспективахъ; только онъ способенъ возвыситься до самоотверженія. Признать законность самоотверженія, какъ фактора человѣческой жизнедѣятельности,—это уже значитъ внести въ жизнь элементъ правды и человѣчности; но познать на дѣлѣ сладость самоотверженія—это значитъ дать такое доказательство превосходства человѣческой природы, противъ котораго не можетъ быть и возраженія.

Вотъ какимъ поистинѣ поразительнымъ проявленіямъ можетъ дать начало человѣческая воспріимчивость; вотъ сколько свѣта, тепла, бодрости она можетъ внести въ существованіе человѣка! И что же: та же самая воспріимчивость помогаетъ Подхалимову разбираться въ сору постыднѣйшихъ отбросковъ, прилѣпляться къ нимъ всѣмъ существомъ, перебѣгать отъ одного хищника къ другому, встряхивать рыночныхъ «брюхановъ», поднимать на смѣхъ «простофиль», тѣшить ихъ безплодными фикціями. Жарь, жарь, жарь...

Понимаетъ ли Подхалимовъ, что онъ лжетъ, или не понимаетъ? Участвуетъ ли хоть капля сознательности въ той фальши, которую онъ распространяетъ вокругъ себя, или эта фальшь льется изъ него сама собой, какъ льется вода изъ незапертаго крана?

Но какой странный, почти невѣроятный процессъ перерожденія долженъ былъ произойти въ промежуткѣ двухъ полюсовъ, чтобы вмѣсто служенія высшимъ идеаламъ полу-

чалось подлавливанье подходящихъ сюжетцевъ, вмѣсто самоотверженія—выщучиванье «простофиль»!

Кто виноватъ въ этомъ превращеніи? Какъ оно создалось? Ссылаются обыкновенно (и, пожалуй, не безъ основанія) на общее паденіе нравственнаго уровня; но въ этомъ-то паденіи кто виноватъ?

Точно то же слѣдуетъ сказать и о даровитости. Даровитость племени дѣлаетъ его свѣточемъ міра; даровитость отдѣльнаго индивидуума дѣлаетъ его свѣточемъ страны. При низкомъ уровнѣ даровитости нѣтъ ни хорошаго управленія, ни умственной жизни, ни матеріальныхъ успѣховъ, ни развитія. Нѣтъ цвѣтенія. Всѣ блага, которыми въ данную эпоху пользуется страна, приносятся ей даровитостью сыновъ ея; а жажда этихъ благъ такъ жива и естественна, вліяніе ихъ на расширеніе жизненныхъ горизонтовъ такъ безспорно, что это одно вполнѣ объясняетъ, почему даровитые люди занимаютъ исключительное положеніе въ средѣ своего народа и общества.

И вотъ передъ нами экземпляръ несомнѣнно даровитаго индивидуума—Подхалимовъ! Экземпляръ, который, кромѣ вольнаго обращенія, распутства и полнаго индифферентизма въ дѣлѣ убѣжденій, ничего другого странѣ своей дать не можетъ! Не колдовство ли это?

Въ послѣднее время чаще и чаще приходится слышать жалобы на оскудѣніе русской литературы. Говорятъ: старые таланты допѣваютъ свои послѣднія пѣсни, новыхъ—не нарождается. Тутъ и адвокатуру приплетаютъ, и педагогическую дѣятельность, и другія болѣе или менѣе доступныя профессіи: вотъ, дескать, куда ушла даровитость русскаго культурнаго человѣка. Но, по моему мнѣнію, во всѣхъ этихъ жалобахъ и ссылкахъ нѣтъ ничего, кромѣ недоразумѣнія. Прочитайте любое изъ Подхалимовскихъ упражненій, которыя онъ съ такою легкостью изъ себя ежедневно выливаетъ, точно у него въ запасѣ неистощимая бутылка,—и вы въ каждой строкѣ найдете больше таланта, больше жизненной образности, нежели во всѣхъ «послѣднихъ пѣсняхъ» потухающихъ стариковъ. Не объ отсутствіи даровитости идетъ рѣчь, а о томъ, что Подхалимовъ сумѣлъ дать своему таланту омерзительную, гнусную, безчестную окраску. И не въ томъ бѣда, что онъ размѣнялъ себя на мелочи—онъ справедливо выразилъ въ разговорѣ со мною увѣренность, что работа ассимилированія человѣческаго матеріала идетъ въ немъ своимъ чередомъ и дастъ въ свое

время плодъ,—а въ томъ, что эти мелочи до такой степени запакощены, до того провоняли, что подло къ нимъ близко подойти.

И такой же, ежели не горшій, плодъ дастъ и происходящій въ немъ процессъ ассимилированія человѣческаго матеріала. Очень возможно, что въ результатѣ этого процесса окажется картина очень широкая и написанная рукою мастера, но каждый штрихъ ея будетъ запечатлѣнъ подлостью и тѣмъ обязательнымъ присутствіемъ низменности, которую проводитъ за собой продолжительное и упорное общеніе съ постыднѣйшими проявленіями торжествующаго безстыжества.

И опять же вопросы: кто же виноватъ въ этомъ перерожденіи? Какимъ образомъ оно создалось? Ежели же и тутъ непосредственнымъ виновникомъ окажется упадокъ общаго нравственнаго уровня, то кто въ этомъ упадкѣ виноватъ?

Публичность, которою мы пользуемся, черезчуръ скудна. Вся она сосредоточивается въ печати, а печать, по обстоятельствамъ, всецѣло эксплоатируется Скомороховыми и Подхалимовыми. Все, что мы знаемъ о нашей родной странѣ,—все выходитъ изъ этого источника. Скомороховъ—явно лжетъ и подтасовываетъ; Подхалимовъ—неизвѣстно чему веселится и скачетъ съ штандартомъ. Скомороховъ, подъ видомъ защиты принциповъ, порядка и устойчивости, безсовѣстно пользуется ими въ качествѣ полемическаго пріема, чтобъ зажать ротъ своимъ противникамъ; Подхалимовъ—отъ всякихъ принциповъ отшучивается и напрямки заявляетъ, что, кромѣ уныніи и скуки, ничего они обществу дать не могутъ. Таковы установившіеся нравы, а послѣдніе, въ свою очередь, опредѣлили и отношеніе печати къ читателю. Читатель—это «простофиля», который обязывается оставаться въ угарѣ недоумѣнія и невѣдѣнія.

И за всѣмъ тѣмъ Подхалимовъ сказалъ правду: никогда печать съ такою рѣзкостью не заявляла о своей силѣ. Но какая печать, и какого качества ея сила?—вотъ въ чемъ вопросъ.

Письмо шестое.

По вторникамъ у генерала Чернобровова устраивались интимные рауты. Генералъ былъ отставной и старенькій, лѣтъ подъ восемьдесятъ. Въ свое время и полкомъ коман-

довалъ, и по инфантеріи числился, и губернаторомъ былъ, а потомъ его обидѣли. А онъ—простилъ. Получилъ пенсію да аренду, да «такъ» и поселился на Нескахъ. Семейства у него не было, кромѣ старушки-жены, которая, лѣтъ сорокъ тому назадъ, отъ совѣтниковъ губернскаго правленія амурныя письма на златообрѣзной бумагѣ получала и тоже давно всѣмъ простила. Жили они скромно, но безъ нужды, и по вторникамъ (черезъ два въ третій) устраивали вечеринки.

Собирались на эти вечеринки, по преимуществу, старые губернаторы. Генералы: Краснощековъ, Пучеглазовъ и Балаболкинъ. Тайные совѣтники: Гвоздиловъ и Покатиловъ. Изъ не-губернаторовъ рауты посѣщалъ инженеръ-полковникъ Купидоновъ, который въ древности первые мостки черезъ Неву построилъ, да статскій совѣтникъ Набрюшниковъ, который, съ писарскихъ чиновъ, вмѣстѣ съ Покатиловымъ, въ качествѣ наперсника, всю службу продѣлалъ. Купидоновъ обыкновенно привозилъ генеральшѣ сюрпризъ: либо икры зернистой, либо семги, либо копченаго сига, и за эту галантерейность игралъ въ компаніи роль молодого человѣка, что̀, впрочемъ, очень къ нему шло, потому что онъ обыкновенно приходилъ въ лосинахъ. Набрюшниковъ не приносилъ ничего, кромѣ преданнаго сердца и замѣчательно исправнаго аппетита. Всѣхъ ихъ въ свое время обидѣли, и всѣ они простили, кромѣ, впрочемъ, Набрюшникова, который за себя простилъ, но за Чернобровова—никогда-съ!

Люди эти были и различнаго происхожденія, и различнаго воспитанія, но ихъ соединило, съ одной стороны, общее губернаторство, съ другой—общая обида. Чернобрововъ, Краснощековъ и Покатиловъ были настоящіе столбовые, имѣли приличныя и благосклонныя манеры, хранили преданія дворянской изнѣженности и любили пофрондировать. Въ древности такихъ губернаторовъ цѣнили и называли «хозяевами». Въ частности, Чернобрововъ славился открытою физіономіей, съ помощью которой такъ искусно управлялъ ввѣреннымъ краемъ, что только черезъ двадцать лѣтъ понадобилось отправить туда сенаторскую ревизію. Краснощековъ славился пылкостью. Наскочитъ совсѣмъ не на того исправника, на котораго нужно, обругаетъ, но, какъ рыцарь, первый сознаетъ свою ошибку и скажетъ: «ну-ну, ничего! впередъ пригодится!» Покатиловъ—былъ умница, и рапорты его приводили сенатъ въ

восхищеніе (одинъ изъ мѣстныхъ садоводовъ даже одну разновидность георгины въ честь Покатилова назвалъ: «утѣшеніе сената»). Такъ что когда ихъ въ ту пору разомъ, въ числѣ двадцати генераловъ, обидѣли, и онъ пріѣхалъ въ Петербургъ объясняться: за что?—то ему только одно слово и сказали въ отвѣтъ: «такъ». Съ этимъ онъ и отъѣхалъ.

Всѣ трое были женаты на родныхъ сестрахъ: Прасковьѣ Ивановнѣ, Лукерьѣ Ивановнѣ и Людмилѣ Ивановнѣ, вслѣдствіе чего и губерніи, которыми управляли ихъ мужья, назывались ихъ именами: Парашина, Лушина и Милочкина.

Гвоздиловъ былъ происхожденія темнаго, характеръ имѣлъ угрюмый и вступалъ въ собесѣдованіе урывками, какъ будто зналъ за собой какое-то необыкновенно постыдное дѣло и боялся проговориться. Былъ слухъ, будто онъ съ откупщикомъ повздорилъ. Онъ утверждалъ, что откупщикъ ему фальшивую десятирублевую бумажку всучилъ, а откупщикъ говорилъ, что отдалъ все по чести какъ слѣдуетъ, а самъ-де губернаторъ свою собственную фальшивую бумажку всучить хочетъ. Тогда Гвоздиловъ нагрянулъ на откупщика въ подвалѣ, а откупщикъ въ Петербургъ уѣхалъ, и черезъ мѣсяцъ—Гвоздилова обидѣли. Въ древности о такихъ губернаторахъ говорили: «у насъ губернаторъ и на губернатора-то не похожъ». Пучеглазовъ и Фролъ Терентьичъ Балаболкинъ были выслужившіеся кантонисты аракчеевской школы, которые вмѣсто носковъ носили онучи, а деньги прятали за голенище; впрочемъ, подъ старость, изъ всего губернаторскаго прошлаго они помнили только одну фразу: «направляй кишку въ огонь, направляй!» Въ древности о такихъ губернаторахъ совсѣмъ ничего не говорили, а только ожидали, что еще немножко—и ось земная либо переломится, либо покривится. Что касается до Купидонова, то онъ въ 805-мъ году былъ найденъ принцемъ Оранскимъ въ корзинкѣ на мосту и въ той же корзинкѣ былъ сданъ въ институтъ путей сообщенія съ тѣмъ, дабы, по пришествіи въ совершенные годы, употреблять его для постройки мостовъ.

Тѣмъ не менѣе, повторяю, несмотря на различіе воспитанія, происхожденія и характеровъ, всѣ эти люди соединялись подъ однимъ знаменемъ во имя общей обиды, которую они, впрочемъ, простили.

Отъ времени до времени на этихъ раутахъ появлялся еще кузенъ хозяйки, дѣйствительный тайный совѣтникъ Крокодиловъ, человѣкъ сравнительно не старый (лѣтъ подъ

шестьдесятъ), но до того уже изслужившійся, что желудокъ у него ничего, кромѣ кашицы изъ свода законовъ, не варилъ. Но онъ оставался не больше получаса. Посидитъ, выпьетъ чашку жиденькаго чая и спѣшитъ дальше, потому что ему надо карьеру дѣлать.

Итакъ, соберутся часамъ къ восьми всѣ восемь генераловъ, сначала дѣсыта наиграются, потомъ сядутъ за ужинъ и начнутъ припоминать. Припоминаютъ прошлыя дѣянія, приводятъ примѣры губернаторской осмотрительности, дипломатической тонкости, распорядительности и благоразумной экономіи; сами съ собой полемизируютъ, но не настойчиво, а больше затѣмъ, дабы въ полемикѣ еще вящее къ прославленію прошлаго основаніе почерпать; сравниваютъ прошедшее съ настоящимъ и, надо сказать правду, порядочные таки недочеты въ послѣднемъ усматриваютъ. Но не сквернословятъ прямо, а только правду говорятъ да отъ времени до времени вздыхаютъ: «людей нѣтъ!» Наговорятся, наѣдятся и разбредутся, часу въ первомъ, по Пескамъ.

Живя съ Чернобрововыми на одной лѣстницѣ, дверь противъ двери, я зналъ объ этихъ раутахъ и, разумѣется, горѣлъ желаніемъ попасть на нихъ.

Во-первыхъ, хотѣлось мнѣнія солидныхъ людей о современной политикѣ знать: какъ и что; можно ли ожидать, или совсѣмъ нельзя. Я у кормила никогда не стаивалъ, а они цѣлую жизнь все по морю—ахъ, по морю, да по Хвалынскому, въ косной лодочкѣ погуливали, да и причалили, наконецъ, благополучно къ Пескамъ. Понятно, что у нихъ сформировался взглядъ, а у меня не сформировалось ничего. Во-вторыхъ, мнѣ всего шестьдесятъ лѣтъ, а имъ каждому подъ восемьдесятъ катитъ—сколько ума въ этотъ двадцатилѣтній періодъ накопилось! А въ-третьихъ, и Купидоновской игры хотѣлось отвѣдать, а если Богъ поможетъ, то и обыграть стариковъ гривенъ этакъ на шесть. Словомъ сказать, я и спалъ и видѣлъ, какъ бы въ компаніи съ хорошими людьми посидѣть и заодно съ ними портить воздухъ сѣтованіями и воздыханіями.

А такъ какъ я каждодневно встрѣчался съ генераломъ на лѣстницѣ, то, вѣроятно, и онъ, наконецъ, догадался, что у меня сердце не на мѣстѣ. По крайней мѣрѣ утромъ, въ одинъ изъ вторниковъ, кухарка моя предварила меня:— «Васъ нынче будутъ къ генералу на вечеръ звать».

А черезъ часъ, когда я встрѣтился съ генераломъ на

подъѣздѣ, онъ, послѣ обыкновенныхъ привѣтствій, благосклонно протянулъ мнѣ руку и сказалъ:

— Что бы вамъ, молодой человѣкъ, по-сосѣдски... вечеркомъ? Поиграемъ, попьемъ, поѣдимъ, съ Прасковьей Ивановной познакомитесь. У васъ еще цѣлая жизнь впереди—можетъ-быть, и полезное что-нибудь отъ стариковъ услышите. Прошу.

Разумѣется, я не преминулъ. Въ восемь часовъ завсегдатаи были уже налицо, а изъ женскаго пола, кромѣ хозяйки, присутствовали еще сестры ея: Людмила Ивановна Краснощекова и Лукерья Ивановна Покатилова. Какъ я уже сказалъ выше, всѣ три были въ свое время губернаторшами и слѣдовательно всѣ три вкусили сладостей и отравъ власти.

Когда я появился, бесѣда была въ полномъ ходу. Лукерья Ивановна разсказывала, какъ она однажды въ Москву изъ «своей» губерніи ѣздила. Сначала по своей губерніи ѣхали—ну, натурально... «Тише, сумасшедшіе, тише! Куда вы сломя голову летите!...»—Не безпокойтесь, ваше превосходительство, мы въ отвѣтѣ!..—«Ну, коли такъ, Богъ съ вами, поѣзжайте!» Потомъ въѣхали въ губернію къ генералу Колпакову, — ну, и натерпѣлась же она тутъ! Ямщики закладываютъ — не закладываютъ, смотрители— ну, буквально, ходя спятъ, лошади бѣгутъ—не бѣгутъ... Исполать вамъ, ваше превосходительство, одолжили, нечего сказать, въ порядкѣ свою губернію содержите! И вдругъ... Милочкина губернія пошла! Полетѣли! Ну, такъ летѣли, такъ летѣли! Это... это... ну, просто какое-то волшебство! Но только если бы сломалась ось... ахъ!

— Да, были лошади, были!—отозвался генералъ Краснощековъ.—И лошади были, и колокольчики были, и ѣзда была, и ямщики были! Все было!

Онъ на мгновеніе поникъ головой и многозначительно, густой октавой, присовокупилъ:

— И страхъ былъ.

— А страхъ Божій есть начало премудрости,—вставилъ свое слово генералъ Чернобрововъ.

— Божій страхъ— это само по себѣ,—возразилъ Краснощековъ: — это ежели кто къ обѣднѣ лѣнится ходить — ну, того, дѣйствительно, пришугнуть не мѣшаетъ... Но страхъ вообще—вотъ что важно!

— Притомъ же — не знаю, какъ теперь,— а въ наше время страхъ Божій епархіальному начальству подвѣдомъ

былъ; слѣдовательно и вмѣшиваться въ предѣлы чужого вѣдомства губернатору не подобало,—присовокупилъ «умница» Покатиловъ.

— А помните, сестрица, какъ, бывало, флигель-адъютантъ къ рекрутскому набору пріѣдетъ?—смѣпила Лукерью Ивановну Прасковья Ивановна.—Ахъ, что это за пріятный гость былъ! Только при нихъ, бывало, и отдохнешь... особенно графъ Вьюшинъ-Стречковъ! Никогда объ этихъ противныхъ дѣлахъ — всегда около дамъ! «Mesdames! нынче въ Петербургѣ платья совсѣмъ въ обтяжку носятъ; mesdemoiselles! нынче шестую фигуру совсѣмъ не такъ танцуютъ! Les messieurs en avant! Chaîne des dames! balancé! messieurs, saluez vos dames... c'est ça!» Мужья, бывало, трепещутъ; Степанъ Михайловичъ мой подойдетъ ко мнѣ и шепчетъ: «помилуй, матушка, вѣдь это око царево»,—а я и въ усъ себѣ не дую! «Графъ, извольте-ка распорядиться, чтобъ пятую кадриль начинали!» — «Madame, je suis sur les dents!» — «Ну, что съ вами дѣлать, противный, садитесь... вотъ тутъ! Хотите—Сонечку Волшебнову позову?.. Признайтесь, вѣдь влюблены? Сонечка, mon enfant, садитесь вотъ тутъ, рядомъ съ графомъ, да постарайтесь, чтобы ему не скучно было!» Усадишь ихъ, а сама пойдешь кавалеровъ своихъ побранить. «Ахъ, господа, господа! Дѣвицы однѣ ходятъ, а вы забрались въ уголъ да анекдоты разсказываете... Хоть бы вы съ графа примѣръ брали! Музыканты, вальсъ!»

— А помните катанье на маслянницѣ въ traineau-monstre!

— А пикники въ загородномъ саду! А балы во время выборовъ! И вдругъ, въ самый разгаръ бала—полицеймейстеръ: «ваше превосходительство! въ Раздерихинской слободѣ пожаръ!»

«— Это въ оврагѣ?

«— Точно такъ, ваше превосходительство!»

Подъ шумокъ этихъ разговоровъ Набрюшниковъ распечатывалъ карточныя колоды и усаживалъ игроковъ. Усадили и меня, какъ младшаго, съ дамами, по сотой. Но генералъ былъ правъ, предваряя, что я вынесу изъ его раута много полезнаго для себя. Въ какихъ-нибудь полчаса я уже узналъ главныя основанія, на которыхъ зиждилась до-реформенная губернаторская власть. А именно: страхъ (впрочемъ, не Божій, а вообще), быстрая ѣзда на почтовыхъ, поддержаніе въ обществѣ единодушія при содѣйствіи пикниковъ и пожары,—и все шло прекрасно.

Я не стану распространяться о томъ, какъ мы играли въ карты, и какіе при этомъ происходили интересные (а иногда даже и странные) случаи. Въ десять часовъ старики начали ужъ зѣвать, и всѣ поспѣшили за ужинъ. Обыкновенно въ это время генералы ложились спать, но по вторникамъ дозволяли себѣ небольшую льготу, поочередно собираясь, для критики существующихъ установленій, то у Чернобрововыхъ, то у Краснощековыхъ, то у Покатиловыхъ, такъ какъ прочіе были люди безсемейные, а Купидоновъ, кромѣ того, велъ дома предосудительную жизнь.

За ужиномъ я позналъ и еще одну руководящую истину, но она уже касалась не основаній до-реформенной губернаторской власти, а тѣхъ, на которыхъ зиждится отставное человѣческое существованіе вообще и губернаторское въ особенности. А именно: изъ всѣхъ присутствующихъ только бывшіе кантонисты Пучеглазовъ и Балаболкинъ рвали твердую пищу зубами, прочіе же сосали, такъ что когда, наконецъ, подали манную кашу, то у всѣхъ изъ груди вырвался крикъ восторга.

Когда первыя требованія аппетита были удовлетворены, началась критика существующихъ установленій. Было что-то трогательное въ этихъ старикахъ, которые могли бы еще послужить, если-бъ не были такъ безвременно остановлены въ самомъ пылу своего административнаго бѣга. И что̀ всего печальнѣе: судьба, лишившая ихъ возможности совершать славныя дѣянія, не лишила ихъ памяти. Они все помнили, все до послѣдней питки, даже бумагу, на которой печатались губернскія вѣдомости,—и ту помнили. Только у кантонистовъ память, повидимому, совсѣмъ отшибло; но и они, разрывая зубами пищу, потихоньку бормотали: «направляй кишку! направляй, направляй, направляй!» Стало-быть, и они нѣчто представляли себѣ: пожаръ, драку, вообще что-нибудь такое, на что̀ по преимуществу было направлено ихъ административное остроуміе. Впрочемъ, нужно сказать правду: во время диспутовъ кантонисты бо̀льшею частью дремали.

Разсмотрѣніе современныхъ установленій началось съ того, что Гвоздиловъ сообщилъ вычитанный имъ въ газетахъ слухъ о томъ, что дѣйствія комиссіи несведенія концовъ съ концами въ непродолжительномъ времени имѣютъ вступить въ новый фазисъ. Высказавши это, Гвоздиловъ, однако-жъ, вспомнилъ, что у него на душѣ лежитъ постыдное дѣло, и умолкъ. Но искра была уже брошена и,

разумѣется, сейчасъ же произвела въ сердцахъ соотвѣтствующее воспламененіе.

— Вотъ они у меня, эти комиссіи, гдѣ!—первый воскликнулъ генералъ Краснощековъ, ударяя себя кулакомъ по затылку.

Но Краснощековъ былъ пылкій, и потому мнѣнія его авторитетомъ не пользовались. Чернобрововъ первый не согласился съ нимъ.

— Не въ комиссіяхъ сила,—возразилъ онъ резонно:— а въ томъ, какія комиссіи, въ какое время и на какой предметъ. Кто суть члены? Своевременно или преждевременно? Поставленъ ли вопросъ прямо: вотъ вамъ предметъ, разсуждайте!—или же о предметѣ умолчено? Ежели все сіе предусмотрѣно, взвѣшено и опредѣлено, то почему же комиссіямъ и не быть?

— Да ужъ дождемся мы когда-нибудь съ этими комиссіями...—продолжалъ кипѣть генералъ Краснощековъ; но Чернобрововъ вновь и столь же солидно остановилъ его.

— Позвольте, Капитонъ Оедотычъ, такъ сгоряча нельзя. Критическій взглядъ необходимъ, но на какой предметъ и въ какое время? Сегодня мы будемъ говорить сгоряча, завтра сгоряча—когда-же-нибудь и опомниться надо! И въ наше время нерѣдко бывали комиссіи—вспомните-ка! Но какія комиссіи?—въ этомъ-то и загвоздка. Скажу вамъ изъ собственной практики случай: я самъ въ одной комиссіи участникомъ былъ и очень хорошо помню. Собрали насъ въ ту пору сорокъ семь полковниковъ, положили передъ нами два пистолета; одинъ кремневый, другой ударный—который лучше, господа? Не вопросъ о пистолетахъ предложили, а прямо такъ-таки въ натуральномъ видѣ два пистолета: тотъ или другой? А при семъ особаго содержанія за присутствованіе не присвоили, часемъ не поили, табакомъ не потчивали, а посадили стараго генерала презусомъ и сказали: «сидите и дѣло дѣлайте». Такъ и тутъ одинъ молодой полковникъ выискался, который чуть-было всѣхъ насъ не подкузьмилъ. «Позвольте, говоритъ, ваше превосходительство, взглядъ на славное историческое прошлое бросить!»—Извольте, говоритъ презусъ.—«Извѣстный законодатель Ликургъ...»—Те-те-те! нѣтъ, это ужъ атанде-съ!.. вотъ вамъ пистолетъ...—«Ваше превосходительство! только на минуточку!»—Извольте, что съ вами дѣлать! Говорите, но не задерживайте!—«Затѣмъ, когда несмѣтныя полчища татаръ...»—Позвольте, объ татарахъ мы съ вами надосугѣ

побесѣдуемъ, а теперь извольте говорить по долгу присяги, не обинуясь: вотъ два пистолета—который лучше?—«Вотъ этотъ-съ».—Садитесь. Слѣдующій!—И всѣхъ такимъ образомъ въ одночасье окрутилъ.—Слѣдующій, слѣдующій, слѣдующій!.. Считайте, господинъ секретарь, голоса!—Стали считать—никакъ сосчитать не могутъ: все выходитъ поровну. А президъ, между прочимъ, своего голоса не подаетъ.—Не хочу, говоритъ, грѣха на душу брать! А вотъ, говоритъ, мы что сдѣлаемъ: позвать фельдфебеля Охременко!—Охременко, какой пистолетъ лучше?—«Какъ же возможно, вашескородіе, сравнить!»—Господинъ секретарь, извольте записать въ журналъ: вотъ этотъ!—Написали журналъ, мы въ тотъ же день его подписали, на другой откланялись—и по домамъ!

— Да, были комиссіи, были!—согласился генералъ Краснощековъ: — и комиссіи были, и исправники были... все было! И страхъ былъ.

Къ сожалѣнію, Чернобрововъ увлекся воспоминаніями и продолжалъ:

— И что же, сударь, потомъ случилось! Понли мы съ этими пистолетами подъ Севастополь—смотримъ, а намъ комиссаріатъ, вмѣсто кремней, чурки крашеныя поставилъ! А должно вамъ сказать, что передъ этимъ всѣ адресы подавали, а между прочимъ и комиссаріатскіе чиновники... «Станемъ грудью... докажемъ врагу... до послѣдней капли крови...» Ну, мы идемъ и думаемъ: неужто-жъ послѣ такого, можно сказать, всенароднаго заявленія съ нами подлость сдѣлаютъ? Начали палить—щелкаютъ наши курки, а пальбы нѣтъ! Тутъ-то вотъ и оказалось...

Только тутъ Чернобрововъ спохватился, что, кажется, черезъ край ужъ хватилъ. Съ минуту смотрѣлъ на всѣхъ удивленными глазами, какъ бы спрашивая самого себя: что такое я слышу? Однако помолчалъ-помолчалъ и поправился.

— Вотъ и выходитъ,—заключилъ онъ:—не въ томъ сила, что комиссія, а въ томъ, какая комиссія и на какой предметъ!

— То-то, что нынче комиссіи-то...—началъ-было Гвоздиловъ, но вспомнилъ, что у него на душѣ постыдное дѣло, оробѣлъ и умолкъ.

— Знаю я это и не одобряю. Конечно, если-бъ и передъ нами не положили прямо вотъ этихъ двухъ пистолетовъ, а сказали: разсуждайте о пистолетахъ вообще, а

между прочимъ и о тесакахъ,—весьма возможно, что и мы бы изрядный огородъ нагородили. Но именно этого-то и умѣли въ старые годы избѣгнуть. Ежели рѣчь о пистолетахъ ила, такъ именно вотъ объ *этихъ;* ежели объ административныхъ предметахъ—такъ вотъ объ *этихъ*. Вотъ какъ. Но, разумѣется, ежели каждый членъ комиссіи, пользуясь симъ случаемъ, будетъ о своихъ собственныхъ душевныхъ ранахъ говорить,—а именно симъ личнымъ характеромъ и отличаются нынѣшнія комиссіи,—то понятно, что конца-краю разговорамъ не будетъ!

— Я слышалъ,—сфискалилъ Набрюшниковъ:—что недавно въ этой самой комиссіи одинъ членъ говорилъ-говорилъ, а остановиться не можетъ. Наконецъ до того договорился, что даже Анна на шеѣ у него покраснѣла. Смотрятъ—анъ съ нимъ истерика!

— Это дѣло возможное,—подтвердилъ Чернобрововъ:—а я объ чемъ же говорю? О томъ именно я и говорю, что ежели комиссія, то нужно прежде всего опредѣлить: для чего, по какому случаю и на какой предметъ. Вотъ вамъ два пистолета—и конченъ балъ. И чтобы безъ статистики. Вы только одно сообразите: нынче иной шутя слово кинетъ, да возьметъ да статистикой его пригвоздитъ: свиней столько-то, барановъ столько-то. Статистику-то эту онъ самъ, ѣдучи дорогой, сочинитъ, а смотришь—и настоящую статистику потревожить нужно, чтобы слова-то эти къ настоящему знаменателю привести. Пріѣдетъ онъ изъ Чухломы—готовь для него одну статистику. А тамъ, гляди, изъ Наровчата другой ѣдетъ—и для него опять готовь статистику. А статистика-то вѣдь времени требуетъ, подика надъ ней посиди! А ему что! Онъ кидаетъ себѣ да кидаетъ словами, и очень радъ.

— Я бы, съ своей стороны, со всѣми этими комиссіями строго поступилъ,—отозвался умный Покатиловъ:—разсадилъ ихъ по комнатамъ, содержаніе прекратилъ, заперъ на ключъ да и ушелъ. Вотъ вамъ, сидите, покуда не кончите.

— И кончили бы!—сочувственно откликнулся Набрюшниковъ.

— Направляй кишку, направляй!—вдругъ безъ всякаго резона крикнулъ Пучеглазовъ, такъ что всѣ вздрогнули.

— А я объ чемъ же говорю?—возобновилъ собесѣдованіе Чернобрововъ, когда первое впечатлѣніе испуга про-

шло.—Объясните предметъ, говорю я, и очертите кругъ (генералъ очертилъ пальцемъ на скатерти кругъ); вотъ здѣсь, и чтобы за предѣлы этого круга—ни-ни! Или *тотъ* пистолетъ, или *этотъ*, а не пистолеты вообще. И при семъ чтобы въ срокъ. Кончите въ срокъ—исполать! Не кончите—стыдно, сударь! Въ старину такъ оно и бывало. Скажутъ: стыдно—и понимаешь, что стыдно. А нынче слово-то это въ забвеніе пришло; скажутъ ему, а онъ только кудрями встряхнетъ.

— И прежде—не всегда...—чуть-чуть не проговорился Гвоздиловъ, но вспомнилъ и замолчалъ.

— Многаго нынче не понимаютъ, многаго! — прогнѣвался Краснощековъ:—я помню, когда я губернаторомъ былъ, такъ за версту, бывало, становому погрозишь, а онъ уже понимаетъ! Тридцать верстъ не кормя во всѣ лопатки улепетываетъ, и все не можетъ пальца этого позабыть!

— То было время, а теперь другое,—резонно пояснилъ умный Покатиловъ.

— Какое такое особенное время? И тогда было время, и теперь время—всѣ времена одинаковы!

— Ну, что ужъ тутъ, другъ мой!—вступился Чернобрововъ:—что правда, то правда! Tempo... Tempo... Набрюшниковъ! скажи, братецъ!

— Tempora mutantur, ваше превосходительство, et nos mutamur in illis.

— Слышишь, мой другъ! А по-русски это значитъ: капельмейстеръ другой темпъ взялъ, и мы по-другому воспляшали... Что дѣлать! Когда мы у кормила стояли, губернаторская-то власть...

Чернобрововъ вздохнулъ и умолкъ; но сдѣланное имъ напоминаніе уронило новую искру въ сердца и причинило новое воспламененіе. На арену выдвинулась новая неизбывная рана—въ формѣ вопроса о губернаторской власти.

Всѣ помнятъ, какъ волновалъ этотъ вопросъ русское общество въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ. Теперь онъ нѣсколько поутихъ; но тогда образовалась цѣлая публицистическая доктрина, которая называла себя послѣднимъ словомъ науки и которая безъ обиняковъ вопіяла: дадутъ губернаторамъ власть (почему-то вдругъ всѣмъ показалось, что это самыя беззащитныя существа)—и все процвѣтетъ; не дадутъ—и все завянетъ.

Если не дадутъ—произойдетъ безплодная и изсушающая централизація; если дадутъ—произойдетъ умѣренная, но плодотворная децентрализація. Что̀ лучше?

Взгляните на Соединенные Сѣверо-Американскіе Штаты—примѣръ наиболѣе для насъ подходящій. А съ другой стороны примите въ соображеніе пагубные результаты, которые произвело ограниченіе губернаторской власти во Франціи. Самъ Наполеонъ III понялъ это. А Токевиль подтвердилъ, Монталамберъ присовокупилъ и Гнейстъ запечатлѣлъ. Что касается до губернаторовъ того времени, то о нихъ и говорить нечего: всѣ они въ одинъ голосъ утверждали, что Токевиль правъ. Не помню, что̀ именно я лично тогда объ этомъ вопросѣ думалъ—кажется, впрочемъ, надвое: и такъ хорошо, и этакъ недурно, смотря по тому, какъ лучше; но во всякомъ случаѣ внезапное возобновленіе забытыхъ дебатовъ на Нескахъ, въ ночную пору и въ сейчасъ описанной обстановкѣ, до того живо воскресило въ моей памяти недавнее прошлое, что я въ одну минуту помолодѣлъ и весь превратился въ слухъ. Какъ и слѣдовало ожидать, застрѣльщикомъ въ данномъ случаѣ явился «умница» Покатиловъ.

— Въ наше время,—сказалъ онъ:—губернаторская власть стояла твердо, но въ то же время была свободна отъ нареканій, ибо находилась въ предѣлахъ и требовала осмотрительности.

Сказалъ и умолкъ. И всѣ присутствующіе, не исключая даже кантонистовъ, утвердительно покачали головами, какъ будто для нихъ быть осмотрительными столь же легко, какъ для обыкновеннаго обывателя быть твердымъ въ бѣдствіяхъ.

Но на меня эта profession de foi произвела удручающее впечатлѣніе. Признаюсь откровенно, съ нѣкоторыхъ поръ я смотрю на твердость власти совсѣмъ другими глазами.

Во-первыхъ, я не только не смѣшиваю власти съ осмотрительностью, но, напротивъ, вижу въ послѣдней нѣкоторое преткновеніе; во-вторыхъ, о предѣлахъ я даже и не мыслю—до такой степени самое упоминаніе о нихъ представляется мнѣ несвойственнымъ. И всѣмъ этимъ я обязанъ «послѣднему слову науки», выработанному современною русскою публицистикой.

Ступитъ на горы—горы дрожатъ,
Ляжетъ на воды—воды кипятъ.

Вотъ въ какомъ видѣ понимаетъ власть «послѣднее слово науки», и въ какомъ не перестаетъ рекомендовать ее русская публицистическая доктрина, начиная съ шестидесятыхъ годовъ. Послѣдняя совѣтуетъ, отъ времени до времени, даже не безъ умысла допускать извѣстную дозу неосмотрительности, дабы съ ея помощью осуществить твердость власти въ принципіальной ея чистотѣ. И я не только раздѣлялъ это убѣжденіе, но вмѣстѣ съ Токевилемъ восклицалъ: катать такъ катать! По-американски: all right!

Несомнѣнно, что до-реформенная власть была обставлена очень серьезными усложненіями; но несомнѣнно и то, что усложненія эти не способствовали ея развитію, но составляли больное мѣсто, противъ котораго и протестовало послѣднее слово науки. И что-жъ! Именно въ пользу этихъ-то усложненій и раздалось здѣсь прочувствованное слово! Гдѣ раздалось? — въ средѣ одряхлѣвшихъ и обиженныхъ старцевъ, которые, по самой природѣ своей, скорѣе должны быть склонны къ упрощенію, нежели къ усложненію!

— Позвольте, ваше превосходительство,—обратился я къ Покатилову: — съ одной стороны, твердость власти, съ другой—предѣлы... осмотрительность... что-то я не понимаю! Такъ ли это? Не говоритъ ли намъ послѣднее слово науки, что осмотрительность равносильна колебанію, и что для освѣженія власти, отъ времени до времени, не безполезно даже съ умысломъ выходить изъ предѣловъ осмотрительности?

— Напримѣръ-съ?

— Допустимъ, напримѣръ, что исправникъ, въ видахъ испытанія, предпріметъ мѣропріятіе...

— Зачѣмъ-съ?

— Положимъ, хоть бы для того, чтобы доказать, что распоряженіе, даже и не вполнѣ законное, должно быть выполнено...

— Всенепремѣнно-съ. Ежели распоряженіе послѣдовало, то оно должно быть выполнено. Но зачѣмъ же непремѣнно незаконное? Почему не начать прямо съ «законнаго-съ»?

— Зачѣмъ? Почему? Да просто вздумалось, захотѣлось. Взялъ да и сдѣлалъ!

— Направляй кишку! направляй!—гаркнулъ спросонья Балаболкинъ (точно онъ слышалъ мои слова и хотѣлъ выразить мнѣ сочувствіе), но такъ громко, что съ Людмилой Ивановной сдѣлалось дурно.

— Ты бы, Фролъ Терентьичъ, потише бредилъ! Вѣдь этакъ не трудно и навѣкъ человѣка уродомъ сдѣлать!— вскинулся Краснощековъ на оторопѣлаго кантониста и затѣмъ, обращаясь ко мнѣ, прибавилъ:—Есть въ вашихъ словахъ нѣкоторое основаніе, молодой человѣкъ, есть!

— Твердость власти и осмотрительность!—продолжалъ я, поощренный сочувствіемъ Краснощекова:—но ежели я, облеченный властью, не обладаю осмотрительностью, ежели природа не надѣлила меня этимъ даромъ? Ежели, напротивъ, она надѣлила меня рыцарскою пылкостью и способностью слѣдовать первымъ необдуманнымъ движеніямъ благороднаго сердца? Ужели я изъ-за этого навсегда долженъ быть лишенъ возможности осуществить власть?

— На это я могу вамъ, молодой человѣкъ, сказать слѣдующее: въ наше время даже лишенный осмотрительности человѣкъ силою вещей становился осмотрительнымъ, или, по крайней мѣрѣ, вынужденъ былъ неосмотрительности своей давать другое назначеніе. Да-съ.

И видя, что лицо мое продолжаетъ выражать недоумѣніе, умница поднялъ кверху указательный палецъ и продолжалъ:

— Обстановка была—только и всего.

И затѣмъ началъ по пальцамъ пересчитывать.

— Губернскій прокуроръ былъ — разъ-съ; губернскій штабъ-офицеръ былъ—два-съ. Вотъ вамъ, съ перваго же абцуга, два лица, у которыхъ и обязанностей другихъ не было, кромѣ одной: неослабно имѣть въ виду начальственную неосмотрительность.

— Вспомните, однако, ваше превосходительство, что вѣдь, въ сущности, это былъ лишь источникъ пререканій, который и начальство не мало огорчалъ!

— Дѣйствительно-съ. Именно такъ эти дѣйствія и назывались. Но въ наше время словъ не боялись, ибо всякому было вѣдомо, что за пререканіями скрывается власть, сама себя провѣряющая. Если-бъ не существовало пререканій, какое зрѣлище представилось бы глазамъ нашимъ? Не знаю, какъ вы на этотъ предметъ смотрите, но я весьма опасаюсь, что мы увидѣли бы пространство, отданное въ распоряженіе неосмотрительному человѣку, который ни самъ себя сдержать не въ силахъ, ни обстановки подъ руками не имѣетъ, которая благовременно его въ чувство привести бы могла!

— И сколько мы видимъ примѣровъ...—началъ-было На-

брюшниковъ, который, въ качествѣ добраго подчиненнаго, до сихъ поръ преимущественно помахиваніями головы свидѣтельствовалъ о своемъ сочувствіи, но теперь, очевидно, не могъ уже сдерживать постигшаго его умиленія.

— Я не вижу даже надобности скрывать, что я и на самомъ себѣ эти примѣры испыталъ,—прервалъ его Покатиловъ.—Разскажу вамъ, какой однажды со мной случай былъ. Задумала моя Лукерья Ивановна пикникъ въ загородной рощѣ устроить. Прекрасно. Выдумали они тамъ дроги какія-то необыкновенныя, чтобъ полгорода на нихъ усадить: и натурально ко мнѣ: позволь да позволь въ эти дроги пожарныхъ лошадей запречь! Я—туда-сюда; однако переговорилъ съ полицеймейстеромъ; тотъ, съ своей стороны, обнадежилъ,—бери, матушка! А на другой день ко мнѣ штабъ-офицеръ; «но ежели, говоритъ, пожаръ?» Я опять туда-сюда; и полицеймейстера за бока, и почему же, говорю, такъ-таки ужъ непремѣнно и пожаръ?—а онъ уперся на своемъ: «но ежели, говоритъ, пожаръ?» И что же-съ! подосадовалъ я, признаться, однако вижу: полковникъ-то вѣдь и правъ! Протянулъ ему руку и говорю: благодарю, полковникъ! если-бъ не вы, я, быть-можетъ, противъ закона бы поступилъ! Позвольте васъ спросить: такъ ли мнѣ слѣдовало, на основаніи «послѣдняго слова науки», поступить?

— По моему мнѣнію, на основаніи послѣдняго слова науки, полковнику никогда бы и въ голову не пришло настаивать въ такомъ дѣлѣ, *которое самъ лучше извѣстно.*

— И я полагаю, что по нынѣшнему времени онъ бы не настаивалъ. Но въ старые годы такъ не полагали; а если-бъ полагали иначе, такъ управляемымъ и дѣваться, пожалуй, было бы некуда. А въ скоромъ времени послѣ того и другой казусъ со мной случился. Открывалась въ городѣ вакансія частнаго пристава, а меня кума давно ужъ о мѣстѣ для мужа просила. Вотъ я и говорю ей: съ Богомъ, кума! А на другой день ко мнѣ прокуроръ прикатилъ. «Это, говоритъ, духовная симонія! Я, говоритъ, обязанъ буду донести!» Ну, и тутъ опять: подосадовалъ я подосадовалъ, да и долженъ былъ согласиться, что прокуроръ правъ! Какъ объ этомъ новая наука-то ваша говоритъ?

Я хотѣлъ отвѣтить, что такія дѣйствія наука называетъ расхищеніемъ власти; но величіе покатиловской души до того подавило меня, что я безмолвствовалъ.

— А я вамъ скажу, какъ она говоритъ,—продолжалъ

неумолимый старикъ:—она видитъ въ таковыхъ поступкахъ противодѣйствіе... А наша, старинная наука видѣла въ нихъ содѣйствіе и лицъ, на которыхъ это содѣйствіе было возложено, именовала «надзоромъ». Да-съ, было такое слово въ старину, которое нынѣ даже у старожиловъ изъ памяти исчезло. И начальство, съ своей стороны, ежели и огорчалось, какъ вы говорите, прекаѳіями, то огорчались больше столоначальники, коимъ приходилось таковыя разрѣшать; настоящее же начальство, напротивъ, радовалось, ибо знало, что ежели власть въ соотвѣтственномъ видѣ проявлять себя желаетъ, то надзоромъ за подчиненными ей органами она не подрываетъ, а укрѣпляетъ себя. Можетъ-быть, это укрѣпленіе устроено было на старинный манеръ, но все-таки оно существовало, и никому въ голову не приходило сказать, что оно не укрѣпленіе, а потрясеніе. Позвольте спросить: что, ежели бы я, воспользовавшись послѣднимъ словомъ науки, поѣхалъ на пожарныхъ лошадяхъ на пикникъ, а у меня бы въ это время полгорода огнемъ бы выдрало? Или если бы я, по слабости человѣческой, губернію кумѣ предоставилъ, а она, въ свою очередь, прочимъ кумовьямъ ее раздарила? Утѣшительный ли бы получился отъ сего для начальства результатъ?

Вопросъ былъ поставленъ такъ рѣшительно, что даже кантонисты испугались и вытаращили глаза, а генералъ Краснощековъ, который въ свое время, вѣроятно, не разъ отдавалъ губернію на подержаніе кумѣ, смутился и молчалъ. Что касается до Набрюшникова, то онъ находился въ такомъ восхищеніи, что безъ словъ декламировалъ руками.

— Но вѣдь несомнѣнно, что подобныя дѣйствія, рано или поздно, и сами собой вышли бы наружу,—попытался я возразить.

— Сами собой-съ? или, говоря другими словами, при помощи скандала-съ? Черезъ посредство газетныхъ корреспондентовъ-съ? Покорнѣйше благодарю-съ.

Умница привсталъ и поклонился; за нимъ, машинально, тотъ же жестъ повторилъ и Набрюшниковъ.

— Но развѣ непремѣнно необходимъ скандалъ? а келейно?

— Нельзя-съ. Коль скоро обстановка нарушена, и некому, въ законномъ порядкѣ, начальственную неосмотрительность ограничить, другого выхода, кромѣ скандала, нѣтъ-съ. Да въ наше время, признаться, келейностей-то и не признавали. Открыто дѣйствовали, не опасались. Въ со-

рокъ седьмомъ году, когда Фролъ Терентьичъ Балаболкинъ, по неосмотрительности, три четверти города спалилъ, а остальную четверть, по строптивости характера, въ кандалы заковалъ, прислали за нимъ изъ Петербурга фельдъегеря, посадили въ телѣжку и увезли-съ.

Всѣ взоры на минуту устремились на Балаболкина, который, не подозрѣвая, что о немъ идетъ рѣчь, тяжело сопѣлъ и въ полудремотѣ бормоталъ:—Направляй кишку! направляй! направляй! направляй!

Лицо его было блѣдно, какъ бы измучено, и въ то же время выражало совсѣмъ нерезонную непреклонность. Съ перваго взгляда по этому лицу нельзя было угадать, что̀ именно этотъ человѣкъ въ состояніи предпринять, но ежели скажутъ—всему повѣрить можно. Что касается до меня, то въ свое время и я слыхалъ разсказы объ этомъ путешествіи на телѣжкѣ, но, признаюсь, считалъ ихъ баснословіемъ. И вдругъ Богъ привелъ встрѣтиться лицомъ къ лицу съ самимъ виновникомъ торжества!

А «умница» между тѣмъ продолжалъ:

— А какъ вы о губернскихъ правленіяхъ полагаете? Легко было съ ними ладить? Развѣ тѣ они были, что̀ теперь? Развѣ могъ я совѣтникомъ помыкать: извольте, государь мой, подавать въ отставку; мы мнѣ не нравитесь, вы съ дамами обращаться не умѣете? Въ наше время, сударь, у совѣтника-то поясница желѣзная была, голосъ какъ у протодьякона; весь онъ, бывало, пропитанный сводомъ законовъ ходитъ, и у всѣхъ, на обѣдѣ ли, на вечеринкѣ ли,—вездѣ первый гость. И у преосвященнаго—свой человѣкъ. У меня одинъ такой-то былъ, такъ я каждый день съ нимъ до седьмого пота спорилъ. Я говорю свое, а онъ—свое; иногда я его, иногда — онъ меня. Непріятно оно — что̀ и говорить! — но, съ другой стороны, и тутъ для начальствующаго лица провѣрка. Пробовалъ-было я, на первыхъ порахъ, начальству докучать: возьмите, говорю, отъ меня сего строптиваго чиновника,—а мнѣ въ отвѣтъ: «не угодно ли, предварительно, факты таковой строптивости представить!» Факты-съ! вотъ вѣдь какое слово было, а нынче и выговорить-то его порядкомъ не всякій сумѣетъ!

— Но вѣдь они взятки брали, совѣтники ваши! Кому же это, наконецъ, не извѣстно!

— Не отрицаю, дѣло возможное-съ. Только скажу вамъ одно: если бы люди съ такимъ умомъ и съ такими познаніями жили въ нынѣшнее время, то, судя по нынѣшней

жадности, милліонерами бы они были — вотъ что-съ! А я между тѣмъ изъ современниковъ монахъ только одного совѣтника губернскаго правленія и зналъ, который настоящее состояніе себѣ составилъ. Да и тотъ впослѣдствіи въ монахи постригся, а капиталы свои на Аѳонъ пожертвовалъ.

— И все-таки позволяю себѣ думать, что относительно фактовъ можно было бы и поснисходительнѣе взглянуть. Вѣдь губернское правленіе — это, такъ сказать, домашнее учрежденіе, въ которомъ и допустить разноголосицу неудобно. А притомъ же совѣтника-то вѣдь подчиненные вышибли...

— Да вы читали ли, молодой человѣкъ, «Учрежденіе губернскихъ правленій»? Прочтите-съ. Это не законъ, а музыка-съ. Никакихъ домашнихъ учрежденій въ государствѣ не полагается-съ. И учрежденія, и формы — все пригнано такъ, чтобы предѣлы обозначить. И совѣтники совсѣмъ не подчиненные были, а члены коллегіи-съ. Бывало, принесутъ журналы-то губернскаго правленія, такъ въ иномъ пальца три толщины, и всякій объ особенномъ дѣлѣ трактуетъ! И весь онъ задомъ напередъ написанъ, сперва конецъ, потомъ начало, а середину—самъ ищи! Читаешь— и постепенно тебя объемлетъ. А въ заключеніе: подтвердишь.

— И подтверждали-съ! — весь сіяя восторгомъ, воскликнулъ Набрюшниковъ.

— А затѣмъ и постороннія вѣдомства. Нынѣшняя наука въ нихъ препятствіе видитъ, а старая видѣла полезное раздѣленіе властей. И это, въ свою очередь, предѣлы полагало. Я полагаю вотъ такъ поступить, а, напримѣръ, вѣдомство государственныхъ имуществъ — вотъ этакъ. Мы и переписываемся.

— Воля ваша, а это положительно расхищеніе власти!

— По-нынѣшнему — такъ. Даже страннымъ кажется, ежели кто возражаетъ. А въ старину требовалось, чтобъ власть сама себя оправдывала, а не ради того одного властью называлась, что ей мундиръ присвоенъ. Мундиръ давалъ внѣшнія преимущества — этого и достаточно. Бывало, у обѣдни въ соборѣ — я впереди всѣхъ стою; у головы на пирогѣ — мнѣ первый кусокъ; на балѣ въ польскомъ—я съ предводительшей въ первой парѣ; въ засѣданіи комитета—я на предсѣдательскомъ мѣстѣ; по губерніи на ревизію поѣхалъ—отъ границы до границы уѣзда впереди исправникъ скачетъ; въ уѣздный городъ пріѣхалъ — купцы хлѣбъ-соль подносятъ; уѣзжать собрался — прово-

жаютъ... Польщенъ, уваженъ, почтенъ, сытъ—какихъ еще знаковъ больше!

При этомъ краткомъ перечнѣ почестей, которыми окружена была до-реформенная губернаторская власть, у всѣхъ стариковъ глаза разгорѣлись. Даже Гвоздиловъ позабылъ, что у него на душѣ постыдное дѣло лежало, и щелкнулъ языкомъ.

— А то, помилуйте, мундиръ во всей силѣ остался, а обстановка—упразднена!

— Ваше превосходительство! но развѣ можно такъ рѣшительно утверждать, что обстановка упразднена? А суды? а земство? Развѣ это...

— Знаю-съ; но вѣдь послѣднее слово науки и въ этихъ учрежденіяхъ расхищеніе власти усматриваетъ. Я же, съ своей стороны, скажу вамъ: суды и прежде, и нынче — всегда судами были. Всегда они особнякомъ стояли, а ежели послѣднее слово науки и дразнится независимостью, такъ это, во-первыхъ, одно пустословіе, а во-вторыхъ, къ вопросу о прерогативахъ власти совсѣмъ не относится. И прежде выберутъ, бывало, отставного прапора въ предсѣдатели — смыслу въ немъ ни капельки, а попробуй-ка кто-нибудь коснуться къ нему! Что же касается земства, то развѣ наука ваша принимаетъ его въ сурьезъ? И тутъ она только дразнится и малодушествуетъ. Ахъ, молодой человѣкъ, молодой человѣкъ! нынче даже сенатъ—и тотъ предостерегающее значеніе утратилъ... Сенатъ-съ!

При упоминовеніи о сенатѣ въ комнатѣ водворилась такая тишина, что даже лакей, убиравшій со стола тарелки, и тотъ остановился какъ вкопанный. Первый нарушилъ очарованіе Набрюшниковъ, но и то шопотомъ, единственно по чувству преданности.

— Нынче даже радуются, ежели сенатъ огорченъ,—шепнулъ онъ сосѣду своему, Купидонову.

— Все упразднено-съ, — заключилъ Покатиловъ слабѣющимъ голосомъ:—«надзоръ»—упраздненъ-съ; коллегія—упразднена-съ; а что вновь установлено, то въ смѣшномъ и вредномъ видѣ представляется...

«Умница» махнулъ рукою и умолкъ. На его мѣсто, въ роли обличителя, выступилъ генералъ Чернобрововъ.

— Сенатъ-съ, — сказалъ онъ: — а особливо московскіе онаго департаменты... Это я вамъ доложу, въ своемъ родѣ, антикъ былъ! Указы-то, бывало, охапками съ почты таскаютъ, такъ что ежели посторонній человѣкъ при этомъ

случится, такъ только руками разведетъ: неужели, молъ, на всю эту охапку отвѣчать надо? А тамъ, спустя время, пойдутъ и донесенія на охапку: «зачѣмъ, по присланному изъ сената указу, исполненія учинить невозможно». Принесутъ, бывало, изъ губернскаго правленія охапку рапортовъ — иной въ палецъ толщины — такъ только объ одномъ думаешь: все ли тутъ откровенно написано? И ежели чуть гдѣ замѣтишь: «къ сему необходимо присовокупить», или вообще умствованіе какое-нибудь, — «те-те-те, голубчикъ! прошу отъ умствованій уволить! сенатъ и самъ разберетъ, что̀ худо, что̀ хорошо, — нечего его наводить!» Вотъ, мой другъ, какіе мы, старики, чувства къ сенату питали!

— Всякій, бывало, ябедникъ, и тотъ въ сенатъ, — заикнулся-было Гвоздиловъ, но вспомнилъ, что у него на душѣ постыдное дѣло лежитъ, и замолчалъ.

— И ябедники свою долю пользы приносили-съ! — холодно замѣтилъ ему Покатиловъ.

— Ябедники! Но вѣдь это язва!—воскликнулъ я.

— И они предѣлъ полагали-съ.

Я былъ побѣжденъ. Какой, однако-жъ, изумительный механизмъ! сколько гарантій! Губернаторскій прокуроръ — разъ, губернскій штабъ-офицеръ—два, губернское правленіе—три, посторонніе вѣдомства (въ томъ числѣ и начальникъ земской конюшни)—четыре, почтмейстеръ—пять, ябедники — шесть. И въ облакахъ—сенатъ... московскіе онаго департаменты!

И никто не жаловался, что много, никто не кричалъ: караулъ! власть расхищаютъ! Вотъ бы хоть чуточку пожить!

Правда, что передъ моими глазами сидѣли такіе два экземпляра минувшихъ дней, которые не весьма свидѣтельствовали въ пользу устойчивости гарантій, а именно: Балаболкинъ и Пучеглазовъ (а очень вѣроятно—и Гвоздиловъ съ Краснощековымъ); но вѣдь зато Балаболкинъ и проѣхался съ жандармомъ въ телѣжкѣ. Что же касается до Пучеглазова, то онъ и до сихъ поръ хорошенько не знаетъ, какимъ образомъ онъ губернаторства лишился. Догадывается только, что, должно-быть, правитель канцеляріи подсунулъ ему прошеніе объ отставкѣ подписать, а его и уволили. Такъ вѣдь и это своего рода гарантія. Кабы дать Пучеглазову волю, какъ этого требуетъ послѣднее слово науки, такъ онъ, чего добраго, всю бы губернію сквозь строй прогналъ, а правитель канцеляріи понялъ это и предупредилъ.

Было двѣнадцать, но никому и въ голову не приходило,

что это часъ привидѣній. Напротивъ, всѣ продолжали сидѣть за столомъ, совсѣмъ какъ бы живые. Но если-бъ не крикнулъ въ эту минуту на сосѣднемъ дворѣ пѣтухъ — конечно, нельзя поручиться, какое превращеніе могло бы произойти!

Однако все обошлось благополучно, и любезный хозяинъ первый ободрилъ насъ, подновивъ потухающую бесѣду разсужденіями на тему распорядительности.

— Вотъ вы сейчасъ о предѣлахъ слышали, — сказалъ онъ: — но не думайте, что ежели кто предѣлъ исполнилъ, тотъ ужъ освобождался отъ распорядительности. Требовалось, чтобъ губернаторъ и въ предѣлахъ оставался, и въ то же время хозяиномъ во всей губерніи былъ, чтобъ вездѣ самъ. Дорогу березками обсадить, пожарную трубу выписать, новый шрифтъ для губернской типографіи пріобрѣсти, мостовыя въ городѣ исправить, бульваръ устроить, фонари на улицахъ завести—вотъ задачи, которыя въ старину каждый начальникъ губерніи обязанъ былъ выполнить. А затѣмъ и все остальное. Условился я, напримѣръ, съ начальникомъ земской конюшни, чтобъ по всей губерніи лошади у крестьянъ были саврасыя — и выполнилъ. И не мѣрами строгости и понужденія я результатовъ достигъ, а единственно съ помощью распорядительности. И такъ эта масть у насъ прижилась, что послѣ того, сколько ни старались созданіе мое разрушить, а и теперь еще въ захолустьяхъ крѣпкая саврасая порода сердце поселянина радуетъ!

— Его превосходительство изволили московскій трактъ березками усадить,—присовокупилъ Набрюшниковъ, почтительно указывая на Покатилова: — а послѣ нихъ приказали эти березки рубить. И что же-съ! даже посейчасъ въ иномъ мѣстѣ березка цѣлехонька стоитъ!

— Такъ вотъ что̀ значитъ, мой другъ, распорядительность! — обратился ко мнѣ Чернобрововъ:—только разъ ее стоитъ проявить, такъ потомъ вѣка невѣжества пройдутъ, но и тѣ плоды ея вполнѣ истребить не могутъ! Хоть одна березка, а все-таки останется.

— И просвѣщеніе, и продовольствіе, и народная нравственность, и холера, и сибирская язва, и оспа — въ одной горсти было! — вторилъ Чернобровову Набрюшниковъ.

— И на все хватало времени. А нынче куда все это дѣвалось? Говорятъ: отошло... но куда?

— Да туда же, куда и все прочее: изморомъ взяло! — нѣсколько раздраженно откликнулся Покатиловъ.

Воцарилось глубокое и скорбное молчаніе, до краевъ переполненное вздохами. Прасковья Ивановна потихоньку встала и отворила въ сосѣдней комнатѣ форточку.

— Ваше превосходительство! вѣдь вы такую картину современности нарисовали, что трудно даже представить, какъ люди жить могутъ! — обратился я къ Покатилову.

— Развѣ жизнь отъ насъ зависитъ-съ? Предоставлено намъ жить—и живемъ-съ.

Эти странныя слова еще больше усилили общее уныніе. А тутъ еще и Краснощековъ подбавилъ.

— Бывало, я ѣду по губерніи — и понимаю! — воскликнулъ онъ, грозя очами: — и себя самого, и другихъ — все понимаю! Направо посмотрю и налѣво посмотрю—вижу-съ! Чуть ежели что — стой! вылѣзу изъ экипажа и распоряжусь-съ! А нынче «онъ» что? Потуда онъ себя и чувствуетъ, покуда изъ квартиры до вокзала желѣзной дороги, облакомъ одѣянный, ѣдетъ! Пріѣхалъ, сѣлъ въ вагонъ — что «онъ» такое? — кладь-съ. Везутъ его, какъ и всякую прочую кладь, а куда везутъ—онъ не знаетъ! Силу пара остановить не можетъ, рельсы съ дороги снять — не имѣетъ права! Задній ходъ дать—не умѣетъ! А ежели на станціи шумѣть начнетъ — сейчасъ протоколъ. И пойдутъ передъ всѣмъ честнымъ народомъ разбирать, въ какой силѣ онъ шумъ производилъ: «при исполненіи» или просто въ качествѣ разночинца. Срамъ-съ.

— Направляй кишку!—взвылъ во снѣ Балаболкинъ и въ то же время такъ сильно покачнулся вбокъ, что едва не свалился со стула.

Это была послѣдняя вспышка; приближался процессъ старческаго разложенія. У всякаго что-нибудь затосковало. У Чернобровова—нога, у Покатилова—лопатка, у Краснощекова—поясница. Всѣ чувствовали потребность натереться на ночь маслицемъ и надѣть на голову колпакъ. Даже дамы не безъ умысла любопытствовали, какое сегодня число?

Увы! предо мною приподнятъ былъ лишь край таинственной завѣсы, скрывавшей прошлое. Собственно говоря, я получилъ болѣе или менѣе ясное представленіе только о «предѣлахъ»; о творческой же дѣятельности до-реформенныхъ губернаторовъ я зналъ только одно: что они могли распространить саврасую масть. Но какъ они относились

къ сокровищамъ, въ нѣдрахъ земли скрывающимся? Какъ понимали вопросъ о движеніи народонаселенія? Одобряли ли заведеніе фаланстеровъ, доставляли ли въ срокъ свѣдѣнія, необходимыя для изданія академическаго календаря, и въ какомъ смыслѣ: тенденціозныя или наивныя? Признавали ли пользу травосѣянія, вѣрили ли въ чудеса, или считали оныя лишь полезнымъ мѣропріятіемъ къ видахъ обузданія простолюдиновъ? Находили ли достаточною существующую астрономическую систему, или полагали оную, для пользы службы, отмѣнить? Провидѣли ли гессенскую муху, суслико въ, кузьку, скопинскій банкъ, саранчу? Какими идеалами руководились при опредѣленіяхъ, увольненіяхъ и перемѣщеніяхъ?—Вотъ сколько вопросовъ разомъ пронеслось передо мной, и всѣ они остались такою же загадкой, какъ и въ то утро, когда генералъ Чернобрововъ благосклонно почтилъ меня приглашеніемъ.

По примѣру прочихъ, я уже собрался встать, какъ встрѣтилъ устремленный на меня взоръ Купидонова, который какъ бы говорилъ: такъ неужто же отъ меня и научиться ужъ нечему?

— Можетъ-быть, и вы имѣете что-нибудь сказать, полковникъ?—обратился я къ нему.

— Немногое.—отвѣтилъ онъ:—но тоже въ своемъ родѣ... Первые мостки черезъ Неву я еще при блаженной памяти Александрѣ I устраивалъ и затѣмъ ежегодно весною и осенью, въ теченіе тридцати лѣтъ, несъ на себѣ эту обязанность. И сошлюсь на всѣхъ: каковы были до-реформенные мостки и каковы нынѣшніе! Только и всего.

Онъ простеръ руку и щелкнулъ языкомъ. Но уже врядъ ли кто изъ стариковъ порядкомъ слышалъ его слова. Только Прасковья Ивановна слегка плеснула руками, но и то, по правдѣ сказать, больше въ знакъ благодарности за провѣсную бѣлорыбицу, которую Купидоновъ въ этотъ вечеръ для закуски доставилъ.

Черезъ пять минутъ я былъ уже дома. Въ душѣ у меня была музыка, такъ что когда кухарка, вся заспанная, отворила мнѣ дверь, то первыя мои слова, обращенныя къ ней, были:

— Ахъ, Мавра, Мавра! ты спишь, а того и не подозрѣваешь, что я весь вечеръ сегодня провелъ... съ утѣшеніемъ сената.

Письмо седьмое.

И что же на другой день оказалось!

Что весь вчерашній вечеръ я провелъ среди членовъ тайнаго общества «Антреформенныхъ Бунтарей»!

Покатиловъ — глава и основатель общества: Краснощековъ — человѣкъ судьбы, долженствующій, въ случаѣ надобности, выѣхать на бѣломъ конѣ: Пучеглазовъ — правая рука: Балаболкинъ — лѣвая: Набрюшниковъ — вѣстникъ; Гвоздиловъ — предатель. Словомъ сказать — вся обстановка, не исключая и дамъ, на которыхъ возложено щипаніе корпіи и приготовленіе бинтовъ.

Какъ однако-жъ обманчива наружность! До сихъ поръ я представлялъ себѣ члена тайнаго общества не иначе, какъ въ видѣ взъерошеннаго человѣка, который питается сильно дѣйствующими веществами и нѣходя изрыгаетъ изъ себя подпольныя прокламаціи, — и вдругъ что же увидѣлъ? — Самыхъ обыкновенныхъ плѣшивыхъ стариковъ, которые даже твердой пищи разжевать не въ силахъ, которые не то говорятъ, не то урчатъ и вообще ведутъ себя до того тлетворно, что безъ хорошаго вентилятора съ ними невозможно быть! А между тѣмъ въ нихъ-то именно и засѣло потрясеніе основъ! Поди, угадай!

Общество «Антреформенныхъ Бунтарей» имѣетъ обширныя развѣтвленія по всей Россіи, но существенныя распоряженія разрабатываются предварительно на Пескахъ и отсюда уже расходятся, въ видѣ лозунговъ, по всѣмъ захолустьямъ. Въ провинціи главный контингентъ общества составляютъ отставные исправники, при благосклонномъ содѣйствіи господъ предводителей дворянства. Въ столицѣ — отставные губернаторы, при благосклонномъ содѣйствіи любителей, не пожелавшихъ, чтобъ имена ихъ были извѣстны.

У общества имѣется свой уставъ и своя печать. Уставъ написанъ такъ, что можно читать и сверху, и снизу, и затѣмъ, вынувъ середку, опять читать. Печать изображаетъ птицу съ распростертыми крыльями, обращенную головою внизъ; подъ нею девизъ общества: «Поспѣшай обратно».

Цѣль общества: возстановленіе московскихъ департаментовъ сената. А сверхъ того — и все остальное.

Махинаціи общества долго оставались незамѣченными: но въ послѣднее время за ними стали слѣдить, такъ какъ

дошло до свѣдѣнія, что для Краснощекова уже приторговываютъ бѣлаго коня. И ежели бы вчера вечеромъ околоточный не позабылъ подать свистокъ, то очень можетъ быть, что теперь...

— Мавра! Мавра! куда я попалъ!

Все это сообщилъ мнѣ Купидоновъ. Онъ тоже членъ общества, но притворный. Съ помощью икры, провѣсной бѣлорыбицы и другихъ, не особенно цѣнныхъ подарковъ, онъ успѣлъ овладѣть довѣріемъ женщинъ и черезъ нихъ узнать корни и нити. Въ послѣднее время онъ пріобрѣлъ очень цѣнное свѣдѣніе: узналъ имя извозчика, у котораго продается бѣлый конь. На всякій случай Купидоновъ тоже вооруженъ свисткомъ, который онъ мнѣ и показывалъ. Видомъ своимъ этотъ свистокъ напоминаетъ трубу, которую мы въ свое время услышимъ на страшномъ судѣ.

Тѣмъ не менѣе Купидоновъ разсказывалъ все это такъ непослѣдовательно и противорѣчиво, что я долгое время не зналъ, слѣдуетъ ли мнѣ испугаться, или не слѣдуетъ. Такъ, напримѣръ, сначала онъ сказалъ, что свистокъ ему подарилъ «генералъ», въ знакъ особливаго къ нему довѣрія. Но черезъ минуту хвалился, что онъ этотъ свистокъ пріобрѣлъ у отставного околоточнаго за шесть гривенъ. То же самое и насчетъ коня: никакъ нельзя было понять, слѣпой онъ или зрячій... Однако, разсудивъ зрѣло, я пришелъ къ убѣжденію, что испугаться во всякомъ случаѣ безопаснѣе. Можетъ-быть, Купидоновъ и пустяки наговорилъ, а все-таки недаромъ пословица говоритъ, что береженаго Богъ бережетъ.

На этомъ основаніи я сейчасъ же раскрылъ всѣ ящики моего письменнаго стола и, къ ужасу своему, нашелъ въ нихъ два глубоко компрометирующихъ письма. Въ одномъ меня увѣдомляли, что въ конспиративной квартирѣ три заговорщика уже собрались и съ нетерпѣніемъ ожидаютъ четвертаго, дабы «приступить». Въ другомъ — сообщали, что «рецептъ порошка возвращается съ благодарностью»... Поди, доказывай, что въ первомъ письмѣ говорится о «винтѣ», а не о революціи, а во второмъ о зубномъ порошкѣ, а не о динамитѣ! Сейчасъ же, тайно отъ кухарки Мавры, я сжегъ оба документа и пепелъ развѣялъ по вѣтру. Затѣмъ взялъ шапку и побѣжалъ къ Чернобровову, чтобы заявить ему о своемъ несочувствіи...

Но было уже поздно: вся наша лѣстница была запружена понятыми. А черезъ часъ насъ всѣхъ направили «въ

комиссію»... Тайныхъ совѣтниковъ повезли въ извозчичьихъ каретахъ, меня—повели пѣшкомъ.

Молчаніе.

Современники не должны знать о такого рода дѣлахъ, ибо они секретныя. Впослѣдствіи, когда тайности мрака временъ сами собой выступятъ на скрижали исторіи, потомки съ удивленіемъ узнаютъ, въ какихъ преступленіяхъ погрязли ихъ предки. А до тѣхъ поръ я могу открыть только слѣдующее: что лишь благодаря цѣлому ряду ловко обдуманныхъ alibi я успѣлъ выйти изъ дѣла неповрежденнымъ...

. . . . . .

Черезъ два часа наше дѣло округлили и уже собрались отпустить насъ на всѣ четыре стороны, какъ вдругъ при провѣркѣ арестантовъ оказалось, что одного нѣтъ налицо: Гвоздиловъ бѣжалъ изъ-подъ стражи. Сію минуту разослали во всѣ стороны хожалыхъ, а черезъ короткое время одинъ изъ нихъ принесъ вицмундиръ Гвоздилова, найденный на берегу Невы, за Калашниковскою пристанью. Увы! почтенный старикъ предпочелъ добровольную смерть ожидавшему его позору разоблаченія...

Потужили, составили протоколъ и, какъ водится, разсказали нѣсколько анекдотовъ изъ жизни покойнаго, не къ стыду его относящихся. И такъ какъ адмиральскій часъ уже наступилъ, то президъ округлительной комиссіи велѣлъ подать водку и, наполнивъ рюмку, помянулъ безвременно погибшую жертву охранительнаго недоразумѣнія. При чемъ счелъ не лишнимъ выразить предположеніе, что съ самаго основанія Петербурга Гвоздиловъ явилъ собою едва ли не первый примѣръ тайнаго совѣтника, обрѣтшаго забвеніе своихъ винъ въ хладныхъ объятіяхъ Невы, но что, впрочемъ, нужно надѣяться, что сей первый примѣръ будетъ и послѣднимъ. Ибо даже въ самыя горькія минуты жизни человѣкъ не имѣетъ права распоряжаться симъ драгоцѣннымъ даромъ Творца, но обязанъ съ покорностью выжидать начальственныхъ по сему предмету распоряженій.

Наконецъ моментъ разставанія наступилъ. Объявляя намъ свободу, президъ комиссіи нашелъ полезнымъ произнести напутственное слово, допустивъ въ немъ нѣкоторые, не лишенные язвительности, оттѣнки.

— Господинъ тайный совѣтникъ Покатиловъ!—сказалъ онъ, обращаясь къ главѣ заговорщиковъ:—что преступленіе, въ которомъ обвиняетесь вы и ваши почтенные еди-

помышленники, было дѣйствительно вами совершено — это не подлежитъ для меня никакому сомнѣнію. Вы собирались по ночамъ въ конспиративной квартирѣ: вы замышляли переворотъ въ пользу возстановленія московскихъ департаментовъ сената, а затѣмъ и всего остального: у васъ найдены значительные запасы корпій и бинтовъ, что свидѣтельствуетъ, что замыслу вашему не чуждо было и предположеніе о кровопролитіи... Все это доказано достовѣрными свидѣтельскими показаніями, такъ что ежели бы къ дѣйствіямъ вашимъ примѣнить общепринятыя понятія о возмездіи, то я не ручаюсь, что вы вышли бы отсюда неповрежденными. Но комиссія наша разсудила иначе. Она нашла, что намѣренія ваши столь благовременны и столь тайнымъ совѣтникамъ свойственны, что мнѣ ничего другого не остается, какъ сказать вамъ: идите съ миромъ и продолжайте вашу благонамѣренно-преступную дѣятельность! Объ одномъ прошу васъ: будьте осмотрительны въ выборѣ вашихъ соумышленниковъ! Не увлекайтесь мишурою популярности, не допускайте необдуманныхъ и опасныхъ сближеній! Помните, что коварство на каждомъ шагу подстерегаетъ васъ, и что, благодаря ему, *благо*временное можетъ сдѣлаться неблаговременнымъ и *благо*намѣренное — неблагонамѣреннымъ.

Затѣмъ, обратившись ко мнѣ, онъ продолжалъ:

— Вы свободны. Благодаря вашей ловкости, Немезида правосудія и на сей разъ остается неудовлетворенною. Но знайте, что ежели настоящее изслѣдованіе не дало вполнѣ непререкаемыхъ уликъ для опредѣленія характера и состава содѣяннаго вами преступленія, то намѣренія, которыя одушевляютъ вашу общую дѣятельность, ни для кого уже не составляютъ тайны. Довольно! безъ возраженій! Я не для того обращаю къ вамъ рѣчь, чтобы вступать съ вами въ пререканія, а для того, чтобъ вы прониклись моими благими пожеланіями и приняли ихъ къ руководству. Sapienti sat.

Высказавши это, презусъ щелкнулъ каблуками (хотя онъ былъ штатскій, но торжественность минуты до такой степени покорила его, что онъ безъ шпоръ не могъ себя мыслить) и вышелъ. На прощанье онъ послалъ воздушный поцѣлуй въ сторону тайныхъ совѣтниковъ, а въ мою сторону погрозилъ очами.

Я возвращался изъ комиссіи съ понуро головой и съ завистью смотрѣлъ на генерала Краснощекова, который

шелъ впереди, горделиво выгнувъ шею и выдѣлывая ногами лансады. Къ тому же я чувствовалъ, что у меня что-то ползетъ по спинѣ: очевидно, это былъ клопъ, которымъ, въ отместку за отсутствіе уликъ, меня снабдили въ комиссіи. Нѣсколько разъ я порывался нанять извозчика, чтобъ поскорѣе попасть домой, но извозчики пристально осматривали меня съ головы до ногъ и, ни слова не говоря, настегивали лошадей. Очевидно, печать преступленія, несмотря на короткое время, уже успѣла лечь неизгладимымъ клеймомъ на моемъ челѣ.

Тщетно изслѣдовалъ я свое житіе, чтобъ уяснить себѣ, что̀ именно могло внушить почтеннѣйшему презусу округлительной комиссіи столь невыгодное мнѣніе объ общемъ характерѣ моей дѣятельности, — я не припоминалъ въ прошломъ ни одного факта, который подтверждалъ бы это мнѣніе. Правда, что я либералъ — это такъ точно, ваше превосходительство! — но либералъ до такой степени скромный и смирный, что даже въ участкѣ, въ графѣ: «чѣмъ занимается» — прописанъ: «всего опасается». Живу я уединенно, бесѣдую съ кухаркой Маврой и не только оружія, но даже простого тесака у себя въ квартирѣ не имѣю. Одинъ только и есть за мной грѣхъ: отъ времени до времени пописываю — ну, да вѣдь нельзя же совсѣмъ ужъ закоченѣть, потому только, что кругомъ дымъ коромысломъ стоитъ...

Но и въ писаніяхъ своихъ я въ высшей степени скроменъ. Я не препятствую такъ-называемымъ консерваторамъ быть консерваторами, не обвиняю ихъ ни въ измѣнѣ, ни въ революціонныхъ замыслахъ, и не удивляюсь, что изъ ихъ лагеря сыплются насмѣшки и обличенія на либерализмъ. Все это въ порядкѣ вещей, все такъ и слѣдуетъ. Но когда эти люди для защиты своихъ мнѣній прибѣгаютъ къ предательскимъ полемическимъ пріемамъ — признаюсь, это меня возмущаетъ. По моему мнѣнію, это — гнусность, въ которой нѣтъ надобности ни для оживленія столбцовъ, ни для розничной продажи.

Поэтому, когда я устно или печатно заявляю, что всякое убѣжденіе, какова бы ни была его окраска, можетъ и должно быть защищаемо безъ подвоховъ (а я, покуда, именно только этого и добиваюсь), то мнѣ положительно никогда не приходитъ на мысль (или, по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ не приходило), чтобы подобное заявленіе заключало въ себѣ попытку на потрясеніе основъ и непризнаніе авто-

ритетовъ. Я просто-на-просто призываю къ честности и опрятности — и ничего больше.

Но, къ сожалѣнію, приходится убѣдиться, что при извѣстныхъ обстоятельствахъ и потрясеніи, и посягательства все блѣднѣетъ и стирается передъ вопросами о какихъ-то личныхъ привилегіяхъ самаго низменнаго свойства. Такъ что если-бъ я завелъ въ своей квартирѣ цѣлый складъ тесаковъ, то въ глазахъ очень многихъ людей это дѣйствіе представлялось бы менѣе вреднымъ, нежели, напримѣръ, выраженіе удивленія по поводу какого-нибудь безпаспортнаго публициста, который, засѣвши по-уши въ грязь, брыжжетъ ею во всѣхъ, имѣющихъ дерзновеніе не признавать его мудрецомъ.

Такъ мало-по-малу мельчаетъ и вырождается старинная распря между либералами и охранителями. Содержаніе спора все больше и больше тускнѣетъ, а на мѣсто его выступаютъ микроскопическіе детали и подвохи, которымъ, ради декорума, присвапвается наименованіе ловкихъ пріемовъ. И очень возможно, что не далеко время, когда, по волѣ всемогущихъ судебъ, либерализмъ совсѣмъ очутится внѣ боя, а охранители, почувствовавъ себя окончательно свободными отъ всякой узды, будутъ на всей своей волѣ безъ пороху палить въ пустое пространство...

Я знаю, найдутся читатели, которые скажутъ, что все описанное выше не только преувеличено, но просто-на-просто представляетъ сплошную небывальщину. Замѣчаніе это, впрочемъ, нимало меня не смутитъ, потому что я и самъ вполнѣ съ нимъ согласенъ. Я лучше, нежели кто-нибудь, знаю, что въ натурѣ не было ни умницы Покатилова, ни рыцаря Краснощекова, ни паперсниковъ, ни конспиративной квартиры на Пескахъ, ни тайнаго общества антиреформенныхъ бунтарей. Никогда ничего подобнаго я не видалъ; о необходимости возстановленія московскихъ департаментовъ сената ни отъ кого не слыхалъ и за подобные разговоры ни въ какую комиссію призываемъ не былъ. Но и за всѣмъ тѣмъ я утверждаю по совѣсти, что все написанное мною объ этомъ предметѣ съ подлиннымъ вѣрно, и что ежели, напримѣръ, не существуетъ въ натурѣ общества антиреформенныхъ бунтарей, то существуетъ духъ времени, который нельзя назвать иначе, какъ антиреформенно-бунтарскимъ и который съ каждымъ днемъ пріобрѣтаетъ все бо́льшую и бо́льшую авторитетность.

Я утверждаю, что этимъ духомъ пропитана вся вліятельно-интеллигентная Россія, и что конспиративныя сѣтованія, раздающіяся на Пескахъ (зри выше), во-стократъ менѣе карикатурны, нежели тѣ, которыя на каждомъ шагу приходится слышать и на улицахъ, и въ публичныхъ мѣстахъ, и—по преимуществу—въ салонахъ и кабинетахъ. Вездѣ мы встрѣчаемся съ несомнѣнными сивыми меринами, которые пропагандируютъ несомнѣнно полоумные фантазіи и бреды и, не обинуясь, присваиваютъ имъ наименованіе политическихъ и административныхъ программъ.

Поэтому, ежели читатель справедливъ и притомъ не ограничивается однимъ буквальнымъ пониманіемъ читаемаго, то онъ будетъ вынужденъ признать, что въ предыдущемъ моемъ письмѣ я не только ничего не преувеличилъ, но во многихъ отношеніяхъ стоялъ далеко ниже дѣйствительности. А сверхъ того у меня имѣется въ запасѣ и еще одна оправдательная оговорка: подождите! Почемъ вы знаете, чѣмъ чревато будущее? Вѣдь перспективы бредовъ до такой степени растяжимы, что никакая карикатура не въ силахъ намѣтить границу, гдѣ обязательно долженъ завершиться ихъ циклъ.

По моему мнѣнію, въ общемъ нестройномъ хорѣ антиреформенной разнузданности умница Покатиловъ выдѣляется съ несомнѣнною для себя выгодою. Сопоставленія, на которыхъ онъ основываетъ свои тяготѣнія къ до-реформенности, не лишены нѣкоторыхъ странностей, но въ то же время свидѣтельствуютъ о замѣчательномъ остроуміи и подлинной резонности. Логическій умъ стараго практика не допускаетъ ни разброда, ни скачковъ, ни игры въ прятки, ни даже рыцарскихъ порываній невѣдомо куда (въ чемъ достаточно изобличается, напримѣръ, благородный генералъ Краснощековъ), но прямо укрывается подъ сѣнь закона и въ немъ отыскиваетъ все, что нужно для того, чтобы утѣшить сенатъ. Покатиловъ отнюдь не притворяется, являясь горячимъ защитникомъ гарантій: нѣтъ, онъ воистину понимаетъ, что безъ гарантій невозможно существовать ни правящимъ, ни управляемымъ. Конечно, обстановка, въ которой онъ представляетъ себѣ обезпеченность, нѣсколько устарѣла и, въ сущности, сама не весьма обезпечена, но это ужъ вина не его, а его времени. Онъ воспитанъ въ идеалахъ самой простецкой обстановки и другихъ, болѣе утонченныхъ формъ легальности не знаетъ. Но такъ какъ онъ относится къ своимъ «простымъ» идеаламъ безъ малѣйшаго глумле-

нія и притомъ всякому недовольному его дѣйствіями охотно рекомендуетъ: идите, жалуйтесь! вонъ сколько гарантій начальствомъ для васъ наготовлено!—то, очевидно, въ немъ происходитъ въ это время процессъ довольно близкій къ представленію объ отвѣтственности. Ибо какъ ни простъ обыватель, но и ему, въ виду указанія гарантій, можетъ придти въ голову: а что, въ самомъ дѣлѣ! пойду да и пожалуюсь!

На что собственно Покатиловъ негодуетъ? Онъ негодуетъ на то, что мундиръ остается въ прежней силѣ, а обстановка упразднена. Но его мнѣнію, мундиръ, лишенный обстановки, прикрываетъ собой самочинную пустоту, которая можетъ извлечь изъ себя только одинъ звукъ: фюить!.. Но развѣ можно въ словѣ «фюить» видѣть какую-нибудь гарантію?

Но что важнѣе всего: требуя гарантіи для жизни вообще, умница Покатиловъ понимаетъ, что гарантія эта прежде всего ограждаетъ его самого. Несмотря на свое властное положеніе, онъ никогда не причислялъ себя къ сонмищу боговъ, но положительно сознавалъ себя смертнымъ. Всѣ великія дѣла на землѣ были совершены «смертными»—отчего же и ему, обсадившему березками московскій трактъ, не признать себя таковымъ? Ничего тутъ унизительнаго нѣтъ. А коль скоро онъ съ этимъ примирился, то и отношенія его къ прочимъ власть имѣющимъ лицамъ, и къ управляемымъ, и даже къ природѣ, пріобрѣли болѣе человѣчный характеръ. Онъ не артачился, когда жандармскій штабъ-офицеръ предупредилъ его, что пожарныя лошади существуютъ не для пикниковъ, и не фордыбачилъ, когда прокуроръ являлся съ протестомъ противъ отдачи губерніи или части ея въ распоряженіе родственникамъ кумы. Напротивъ, и въ томъ, и въ другомъ случаѣ онъ приклонялъ ухо и, выслушавши протестъ, подвергалъ его всестороннему и зрѣлому обсужденію. Согласитесь, что это съ его стороны было и мило, и вполнѣ согласно съ законами.

Точно то же и относительно управляемыхъ. Зная, что существуютъ особливо аккредитованныя лица, которымъ достовѣрно извѣстно, что онъ, Покатиловъ, не для того присланъ, чтобы пепотвствовать и сокрушать, а для того, чтобы приклонять ухо и, по мѣрѣ возможности, оказывать удовлетвореніе, онъ не бросался на управляемаго какъ озаренный, не огорошивалъ его, а съ терпѣніемъ выслушивалъ его рѣчи, хотя бы онѣ были и не вполнѣ внятны.

На первыхъ порахъ и онъ, по поводу этой невнятности, не мало сквернымъ словъ потратилъ; но когда однажды жандармскій штабъ-офицеръ ему доложилъ: «ахъ, ваше превосходительство! вѣдь и вы не всегда внятно изволите говорить!»—то онъ запомнилъ эти слова и разъ навсегда сказалъ себѣ, что задача умнаго администратора не въ томъ состоитъ, чтобы совмѣщать въ своемъ лицѣ глубокомыслепныхъ Платоновъ и быстрыхъ разумомъ Невтоновъ, а въ томъ, чтобы обладать снисходительностью и терпѣніемъ. Ибо нужды обывательскія такъ скромны, что не требуютъ ни быстроты разума, ни глубокомыслія, а только простой справки съ законами и бывшими примѣрами. На этомъ основаніи онъ даже и ябедниковъ не особенно преслѣдовалъ. Говорятъ, будто бы онъ ихъ боялся; но я позволяю себѣ думать, что не одинъ страхъ заставлялъ его такъ поступать, но и убѣжденіе, что сословіе ябедниковъ представляетъ собою убѣжище, въ которомъ находитъ себѣ защиту поруганная общественная совѣсть.

Что же касается до отношеній къ природѣ, то смягченіе ихъ является какъ естественное послѣдствіе общаго умиротворенія административныхъ правовъ. Администраторъ, который не состоитъ въ постоянной борьбѣ съ закономъ и не ставитъ себѣ задачей поврежденіе управляемыхъ, встрѣчаетъ солнечный восходъ съ несравненно бо́льшимъ умиленіемъ, нежели администраторъ, который наканунѣ растоптадъ законъ и самочинно огорчилъ цѣлую уйму обывателей. И не по тому одному его умиляетъ солнышко, что онъ считаетъ его своимъ двоюроднымъ братцемъ, но и потому, что лучи его одинаково свѣтятъ и правящимъ, и управляемымъ, и вообще всю природу согрѣваютъ и оживляютъ. Пускай не онъ одинъ, а всѣ вообще радуются и согрѣваются—онъ не только этому не препятствуетъ, но готовъ даже содѣйствіе оказать.

Нынѣ все это измѣнилось. Увы! изъ нынѣшнихъ администраторовъ едва ли найдется такой, который можетъ свободно на солнце взглянуть... А почему?—потому что такое ужъ нынче вѣяніе: и въ звѣрѣ, и въ птицѣ, и въ землѣ, и въ водахъ, и даже въ свѣтилахъ небесныхъ—во всемъ видѣть посягательство и грубьянство, которое необходимо усмирить.

Повторяю: формы, въ которыя облеклись идеалы Покатилова, были нѣсколько неуклюжи, но самое зерно этихъ идеаловъ несомнѣнно заслуживало сочувствія и похвалы.

Онъ прежде всего пламенѣлъ передъ закономъ и не только не позволялъ себѣ выражаться, что такой-то законъ изданъ впопыхахъ, а такой-то представляетъ собой плодъ бунтующей плоти, но даже къ извѣстному афоризму: «по нуждѣ и закону премѣна бываетъ»—относился съ величайшею осмотрительностью. «Бываетъ премѣна,—говорилъ онъ:—но лишь тогда, когда таковая въ законодательномъ порядкѣ утверждена». Равнымъ образомъ онъ не мололъ суконнымъ языкомъ, что сенатъ есть учрежденіе крамольническое, но, питая къ нему сыновнюю любовь, всякое разъясненіе съ его стороны принималъ яко даръ, а порицаніе или похвалу—яко мзду и воздаяніе. Однимъ словомъ, сознавая себя лишь спицей въ колесницѣ, онъ вмѣстѣ съ другими спицами скромно вертѣлся въ подлежащемъ колесѣ, трепеща и ревнуя, такъ точно, какъ въ томъ передъ Богомъ, на страшномъ Его судѣ, отвѣтъ дать надлежитъ.

Вотъ каковъ былъ умница Покатиловъ. Конечно, это былъ въ своемъ родѣ антикъ, которому за его непреоборимое уваженіе къ закону не напрасно было присвоено наименованіе «Утѣшеніе сената»; однако-жъ я очень хорошо помню цѣлую школу администраторовъ, которые воспитаны были въ страхѣ сенатскомъ и внимало этимъ не тяготились. И хотя не всѣ послѣдователи этой школы были столь же непреоборимы, какъ Покатиловъ, однако ни одинъ изъ нихъ человѣческою своею слабостью хвалиться во всеуслышаніе не дерзалъ.

Очень возможно, что таковыя качества тайнаго совѣтника Покатилова побудили и президіумъ окружительной комиссіи отнестись къ злоумышленіямъ его съ благосклонною симпатіей. Но, по мнѣнію моему, это было съ его стороны недоразумѣніе. Президіумъ, очевидно, не понялъ покатиловскихъ идеаловъ, или, лучше сказать, понялъ только ту ихъ часть, которая выражала стремленіе къ возстановленію московскихъ департаментовъ сената. Мысль о гарантіяхъ (а она-то именно и составляла главное зерно) положительно ускользнула отъ него, и я убѣжденъ, что если-бъ онъ ее понялъ...

Но не будемъ увлекаться гаданіями, а лучше подивимся мудрости Покатилова, который и въ самомъ бунтарствѣ своемъ явилъ несомнѣнную проницательность.

Онъ понялъ, что съ гарантіями, по нынѣшнему времени соваться не приходится, и потому преднамѣренно утопилъ свою мысль въ цѣломъ морѣ белиберды. Белиберда—это,

такъ сказать, воздухъ, которымъ мы дышимъ, хлѣбъ, которымъ питаемся. Это не только существеннѣйшій признакъ времени, но и отличнѣйшая во всѣхъ смыслахъ рекомендація. Во всѣхъ видахъ она хороша: и какъ pièce de résistance, и въ видѣ гарнира. Безъ ея содѣйствія—все будетъ труждаться зиждущій; съ ея помощью—даже возстановленіе московскихъ департаментовъ сената представляется лишь вопросомъ времени...

Но и за всѣмъ тѣмъ, сравните белиберду покатиловскую съ тою, которую источаетъ его дальній родственникъ, тайный совѣтникъ Крокодиловъ, и вы удивитесь, какое существуетъ разнообразіе белибердъ и какъ громадно можетъ быть разстояніе между ними.

Небо—и земля: солнце—и сальная свѣча; слонъ—и моська; мраморныя палаты—и скромный досчатый кіоскъ для проходящихъ...

Никогда антиреформенные бунтари не дѣйствовали такъ рѣшительно, никогда не располагались въ такомъ множествѣ, какъ въ наше время. Вся интеллигентствующая Россія охвачена сѣтью конспиративныхъ белибердъ, которыя не могутъ опредѣлить предмета своихъ вожделѣній и протестуютъ единственно подъ вліяніемъ взбудораженнаго темперамента. Въ глазахъ знаменосцевъ кутерьмы весь существующій порядокъ, поскольку въ немъ слышится стремленіе къ установленію принципа законности, есть не что иное, какъ плодъ нечаяннаго недоразумѣнія. Это не порядокъ, а міръ призраковъ, на который стоитъ лишь дунуть, чтобъ птица съ письмомъ: «поспѣшай назадъ»—немедленно доставила его по адресу.

Но что всего замѣчательнѣе—нигдѣ это противоестественное, во имя белиберды протестующее, движеніе не распространено такъ сильно, какъ въ той средѣ, которая, по самой своей профессіи, обязывается стоять на стражѣ установившихся порядковъ.

Нѣтъ той мелкой сошки, которая не угрожала бы или не глумилась, смотря по темпераменту. Долго сдержанные инстинкты разнузданности нашли неожиданно свободный исходъ, а безтолочь, десятками лѣтъ накоплявшаяся въ умахъ, вышла изъ береговъ и, какъ въ половодье, гнѣвно разлилась во всѣ стороны. Это уже не протестъ, исходъ котораго болѣе или менѣе гадателенъ, а цѣлая побѣда, сразу доведенная до безчинства. Надъ чѣмъ безчинство?

Надъ порядкомъ, который на каждой страницѣ кодекса носитъ наименованіе «установленнаго», надъ порядкомъ, благодаря которому сыты, обуты и одѣты тѣ самые, которые ежеминутно, и прямо, и косвенно, его подрываютъ.

Прислушайтесь къ безпутному гомону, перекатывающемуся изъ края въ край и окончательно находящему убѣжище въ торжествующей части нашей такъ-называемой прессы, и убѣдитесь, что самъ баснословный нѣтухъ не отличитъ, что въ этой неистовой околесицѣ жемчужное зерно, и что—навозъ. И не отличитъ по очень простой причинѣ: ничего, кромѣ навоза, тутъ нѣтъ. Одно вполнѣ ясно въ этой сутолокѣ: на каждомъ шагу продается отечество. Продается и при содѣйствіи элеваторовъ, и при содѣйствія транзитовъ, и даже при содѣйствіи джутовыхъ мѣшковъ. Все это, въ сущности, нимало белибердоносцевъ не интересуетъ, а представляетъ лишь одинъ изъ современныхъ таинственныхъ лозунговъ (несмѣняемость, динамитъ, конституція и т. п.), дающихъ нѣкій поводъ для надругательства.

Живые притаились въ могилахъ; мертвые самочинно встали изъ гробовъ и ходятъ по стогнамъ, стуча костями. Кладбищенское волшебство замѣнило здоровую, реальную жизнь. Такія слова вновь вошли въ обиходъ, которыя считались давно упраздненными; такія мысли пріобрѣли авторитетъ, отъ которыхъ недавно даже оселъ отказывался: что вы! никогда ничего подобнаго я не мыслилъ! На-дняхъ мнѣ случилось въ одной изъ газетъ вычитать «правду», въ четырехъ строчкахъ нѣкоторымъ обывателемъ нацарапанную, — клянусь, я и не подозрѣвалъ, чтобы человѣческій языкъ былъ способенъ выговорить тѣ звуковыя сочетанія, которыя въ этой «правдѣ» безъ малѣйшаго затрудненія въ обнаженномъ видѣ осуществлены.

Я не говорю, чтобы такое положеніе вещей могло считаться серьезно-угрожающимъ, но не скрываю отъ себя, что многое въ этомъ случаѣ зависитъ отъ того, глубоко ли укоренилась белиберда, или же корни ея расползлись только по поверхности.

Въ первомъ случаѣ умственное оскудѣніе можетъ со временемъ всѣ функціи общественной жизни извратить и довести до негодности; во второмъ—это оскудѣніе настигнетъ лишь тѣ слои общества, которые, за свое дурное поведеніе, окажутся вполнѣ того заслуживающими.

Но даже въ этомъ послѣднемъ, смягченномъ видѣ ум-

ственная атрофія представляется далеко не безопасною. Ежели знаменосцы белиберды и не настолько сильны, чтобы пропитать безсмыслицей весь общественный организмъ, то все-таки у нихъ имѣется въ рукахъ цѣлая номенклатура мелкихъ уколовъ, съ помощью которыхъ представляется возможность сдѣлать массу частнаго зла. У насъ это частное зло какъ будто даже и въ счетъ не идетъ. Исчезъ человѣкъ, наложилъ на себя руки, дошелъ до послѣдней степени отчаянія—велика важность! Намъ надо цѣлую уйму погибшихъ людей, чтобы встревожиться и признать въ этомъ фактѣ достойное явленіе...

Ахъ, господа, господа! согласитесь однако, что и единичный человѣкъ—все-таки человѣкъ! Въ мірѣ червей, конечно, не особенно существенно, если раздавленъ какой-то *одинъ* червякъ. На червяка наступаютъ нечаянно, да и ему самому быть раздавленнымъ не такъ больно, потому что онъ ничего не предвидитъ и, слѣдовательно, ни къ чему не готовится. Но человѣкъ сознаетъ и предусматриваетъ: онъ видитъ ногу, которая занесена надъ нимъ, онъ знаетъ, зачѣмъ она занесена, и зрѣлище это, несомнѣнно, должно породить въ немъ соотвѣтствующія ощущенія. Какія?

Эта легкая возможность частнаго зла совершенно удовлетворительно объясняетъ тайну успѣховъ белиберды. Герои, которые въ состояніи дать отпоръ, составляютъ исключеніе, а средній человѣкъ, которымъ кишитъ вселенная, судорожно цѣпляется за свою неповрежденность. Онъ-то своими боками и демонстрируетъ властность белиберды. Онъ охотно сторонится передъ белибердой, поддакиваетъ ей, лишь бы она прошла, не замѣтивъ его. И нерѣдко, дѣйствительно, проскальзываетъ, хотя и не безъ мучительныхъ изворотовъ. Ибо и белибердоносцы враждуютъ и препираются между собою, и они образуютъ партіи, между которыми приходится выбирать. Такъ, въ данную минуту человѣка зарекомендовываетъ *вотъ эта* белиберда, а не *та*; не покатиловская, напримѣръ, а крокодиловская... Слѣдовательно и поддакивать нужно *вотъ этой* белибердѣ, а не *той*. Какъ тутъ угадать?

Мало кликнуть кличъ: «поспѣшай назадъ!»—надобно съ точностью указать, въ какой именно кіоскъ надлежитъ поспѣшать. Мало сказать: «намъ ничего не нужно, кромѣ помоевъ»—надобно съ достовѣрностью опредѣлить вкусъ, цвѣтъ и запахъ искомыхъ помоевъ. Какъ разобраться въ

этомъ разнообразіи, какъ угадать, какая белиберда надежнѣе, какой предстоитъ болѣе прочная будущность?

Белиберда, не только требующая безусловной сдачи на капитуляцію, но и доходящая въ этихъ требованіяхъ до прихотливости—кто скажетъ, что это реальность, а не постыднѣйшее сновидѣніе обезумѣвшаго отъ страха раба?

А еще говорятъ о преувеличеніяхъ, о карикатурѣ, о клеветѣ... О, маловѣры!

Однако какимъ же образомъ жить? Какимъ образомъ устроиться съ чувствомъ самосохраненія, которое все-таки нельзя не принимать въ разсчетъ? Герои, конечно, легко отыщутъ выходъ и изъ самыхъ мучительныхъ затрудненій, но повторяю: не о герояхъ идетъ здѣсь рѣчь, а о тѣхъ среднихъ людяхъ, которые совершаютъ среднія, законами не возбраняемыя, дѣла и прежде всего желаютъ осуществить свое право на существованіе.

Какимъ образомъ имъ счастись, то-есть не одно брюхо сыти, но и хоть съ-эстолько души?

Къ счастію, у меня есть старинный другъ и товарищъ, Глумовъ, у котораго всегда на всякіе вопросы отвѣтъ готовъ. Это—несомнѣнный мудрецъ. Въ древности онъ навѣрное выдумалъ бы Пиѳагоровы штаны, а въ наше время ограничивается тѣмъ, что знакомитъ друзей съ наилучшими приспособительными пріемами, при помощи которыхъ можно припѣваючи жизнь провести! Съ самыхъ раннихъ лѣтъ онъ только и дѣлаетъ, что приспособляется, и наконецъ до того вошелъ во вкусъ, что во всеуслышаніе заявляетъ, что если-бъ отнять у жизни необходимость приспособленій, то она сдѣлалась бы столь же безвкусно, какъ каша безъ масла.

— Непремѣнно нужно, чтобы насъ что-нибудь подергивало, — говоритъ онъ: — какое-нибудь чтобы мы мучительство впереди видѣли, которое заставило бы насъ приспособиться... Иначе мы и вовсе спустя рукава жить начнемъ.

Только разъ въ жизни блеснуло у него въ головѣ, что и безъ приспособленій прожить можно. Это было въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, когда всѣмъ вообще приспособленія до того надоѣли, что даже звѣри радостнымъ рычаніемъ привѣтствовали эру освобожденія отъ нихъ.

— Теперь,—говорилъ мнѣ въ то время Глумовъ, потирая руки:—только черезъ одно приспособленіе еще пройти надо.

а именно: приспособиться, какъ на будущее время безъ приспособленій прожить...

Но не успѣлъ онъ закончить процедуру этого самоприспособляющаго приспособленія, какъ уже вновь, потирая руки, возвѣщалъ:

— Вотъ и опять приспособленія пошли! А я-то, профанъ, разлетѣлся! Чуть-было и совсѣмъ не отвыкъ, да, къ счастію, остерегся. И вотъ теперь сразу на старый манеръ всѣ детали наладилъ, и опять у меня житьишко какъ по маслу пойдетъ.

Съ тѣхъ поръ, какія бы перемѣны въ температурѣ ни происходили, онъ какъ сталъ на стражѣ, такъ и не сходитъ съ позиціи. Аккуратно каждый годъ подписывается на куранты—и слѣдитъ. Прочитаетъ объ элеваторахъ—къ элеваторамъ готовиться начнетъ; прочитаетъ о транзитѣ—къ транзиту готовиться начнетъ: прочитаетъ о джутовомъ мѣшкѣ—не знаетъ, какъ быть. И всѣмъ объявляетъ: «теперь меня хоть на куски рѣжь!» А въ послѣднее время впалъ въ такое забвеніе чувствъ, что прямо на себя въ благопріятномъ свѣтѣ клевещетъ: «у меня, говоритъ, ни чувства, ни ума—ничего не осталось! Весь я, и съ головой, и съ потрохами, насквозь приспособился!»

Само собою разумѣется, что усердіе это даромъ ему не прошло. Не успѣли мы оглянуться, какъ онъ ужъ и мѣстечко хорошенькое ненарокомъ заполучилъ. Прежде, вотъ видите ли, его поодаль держали, опасались, какъ бы «онъ не отмочилъ», а теперь убѣдились, что въ немъ даже мочи—кромѣ необходимаго, для облегченія, количества—не осталось, и въ соотвѣтствіе сему отвели гдѣ-то въ провинціи прехорошенькій кіоскъ. Сидитъ онъ тамъ да приспособляется, а временемъ и въ Петербургъ наѣдетъ. Справится, какіе новые фасоны приспособленій вышли, и—опять домой, въ кіоскъ.

Въ одинъ изъ такихъ наѣздовъ онъ и обо мнѣ вспомнилъ. У курьера, по сосѣдству, младенца отъ купели воспринималъ, да и надумался: «дай, думаетъ, зайду, я вѣдь теперь ужъ такъ приспособился, что и заподозрить меня нельзя!» Взялъ да и пришелъ. Разумѣется, у подъѣзда не сразу за ручку схватился, а потоптался-таки минуту-другую, но наконецъ съ шумомъ распахнулъ дверь, взлетѣлъ въ третій этажъ: съ нами крестная сила... урррра!

Радостнымъ изліяніямъ конца не было.—Какъ дѣла? все ли у тебя по кіоску благополучно?—«Все, кажется,

слава Богу, благополучно!»— Ну, слава Богу лучше всего, и т. д. Словомъ сказать, обычный дружески-свѣтскій разговоръ.

— Ну, а ты какъ?—обратился онъ ко мнѣ.

— Да что... нехорошо, братъ, мнѣ!

— Что такъ?

Да вотъ, молъ, такъ и такъ. Началъ я ему излагать, и что больше, то хуже выходитъ. Тайный, молъ, совѣтникъ Крокодиловъ на новый судъ ударилъ; лѣвое крыло ужъ перебилъ пополамъ, а правымъ хоть судъ еще и помахиваетъ, однако увѣренности на полное возстановленіе полета ужъ нѣтъ.

Не успѣлъ я докончить, какъ уже лицо Глумова потемнѣло.

— Ну?

А еще, молъ, прибылъ сюда «свѣдущій» корнетъ Отлетаевъ и говоритъ, нимало не стѣсняясь: все, молъ, надобно уничтожить: и земство, и суды, а отыскать, вмѣсто всего, благонадежнаго отставного прапорщика и ему препоручить: пускай всѣмъ помыкаетъ. А Крокодиловъ ему въ отвѣтъ: ахъ, какъ это хорошо!

— Ну?

— Помилуй, любезный другъ, чего же еще нужно?

— А тебѣ что за дѣло?

Я такъ и ахнулъ: вотъ этого-то именно вопроса я и не ожидалъ. Удивительно это, право. Всю жизнь только и чувствуешь, какъ этотъ вопросъ долбитъ тебѣ голову, а вотъ, когда надобно, чтобы онъ возымѣлъ практическое дѣйствіе, — тутъ-то именно его и нѣтъ какъ нѣтъ. Существуютъ, должно-быть, такіе вопросы, относительно которыхъ и опытъ вѣковъ, и воспитательные афоризмы — все оказывается всуе и втунѣ. Никогда они не укладываются такъ плотно въ сознаніи, чтобы не было совѣстно сразу ихъ формулировать.

— Послушай, голубчикъ, да вѣдь необходимо же, до извѣстной степени, принимать въ разсчетъ, что существуютъ разговоры, которые изнурительнымъ образомъ вліяютъ на мозги...

— Мозги? какіе мозги? по какому случаю? на какой предметъ? Взять его подъ сумленіе!

Глумовъ всталъ въ позу Любима Торцова и при послѣдней фразѣ вытянулъ правую руку съ устремленнымъ указательнымъ перстомъ, какъ дѣлывалъ актеръ Садовскій.

Глумовъ, сколько я помню, и прежде любилъ копировать Садовскаго въ роли Торцова; но теперь онъ, повидимому, сдѣлалъ изъ этого копированія приспособительный пріемъ. Вотъ, молъ, господа-милостивцы, я каковъ! всякое колѣнце для вашего увеселенія отколоть готовъ! Хотите—сцену изъ народной жизни сейчасъ разскажу!

— Глумовъ! да выслушай же меня! — взмолился я: — вѣдь Крокодиловъ проходу не даетъ! Поймаетъ, возьметъ за пуговицу и держитъ. И говоритъ... ахъ, что онъ говоритъ! А въ заключеніе: «надѣюсь, что вы вполнѣ съ моимъ мнѣніемъ согласны?»

— А ты что на это?

— Я???!

И этого вопроса я не ожидалъ. Я? что, бишь, я такое дѣлалъ, покуда Крокодиловъ разглагольствовалъ? Кажется, я... Но позвольте однако-жъ... я! что такое я?

— Но что же такое я?—пробормоталъ я въ отвѣтъ:— что я могу? Съ одной стороны—Крокодиловъ, съ другой... я!!! Согласись...

— Понимаю и соглашаюсь. Собесѣдованія съ Крокодиловымъ, особливо ежели онъ держитъ тебя за пуговицу, дѣйствительно нельзя назвать безопасными. Это — вѣрно. Но затѣмъ возникаетъ вопросъ: можешь ли ты избѣжать этихъ собесѣдованій, или не можешь?

— Какъ же ихъ избѣжишь? Вѣдь Крокодиловъ — имя собирательное: уйдешь отъ одного, попадешь къ другому...

— И это вѣрно. Дѣйствующая практика именно въ такомъ смыслѣ и разрѣшаетъ этотъ вопросъ. Я, братецъ, и самъ, какъ увидѣлъ себя въ плѣну у Крокодиловыхъ, то воскликнулъ: экъ ихъ изъ всѣхъ щелей наползло! ну, теперь ужъ не выкарабкаешься! Но тутъ же, впрочемъ, веселѐнько прибавилъ: ничего, наше дѣло привычное: жили въ плѣну у Покатиловыхъ, жили въ плѣну у Гвоздиловыхъ; поживемъ и у Крокодиловыхъ!

— Зачѣмъ же, однако, ты это прибавилъ, да еще «веселѐнько»?

— Да такъ, любезный другъ, должно-быть, само собой, по старой привычкѣ, прибавилось. Чудно́ словно: столько плѣновъ перетерпѣли и все-таки никакъ отъ плѣновъ не отвертимся!

— И силу крокодиловскую одолѣть не можемъ; но объясни же, по крайней мѣрѣ, откуда эта сила взялась?

— Вотъ-вотъ-вотъ. Именно этотъ самый вопросъ я себѣ въ ту пору и предложилъ. Откуда, молъ? что за причина? И по нѣкоторомъ размышленіи рѣшилъ такъ. Прежде всего съ того крокодиловская сила взялась, что мы, простецы, «сладкую привычку жить» никакъ въ себѣ ограничить не можемъ. Ругаемъ мы эту жизнь распостылую, а у самихъ только и есть одна мысль въ головѣ: ахъ, хоть бы чуточку намъ пожить позволили! Вотъ Крокодиловъ этимъ и пользуется. Возьметъ тебя за пуговицу, растабарываетъ, а ты передъ нимъ осклабляешься, подтанцовываешь. Это значитъ, что ты «живешь». Или увидитъ тебя Крокодиловъ по другую сторону улицы—не успѣетъ пальцемъ поманить, а ты ужъ стремглавъ навстрѣчу его тайнымъ помышленіямъ летишь. И это значитъ, что ты «живешь». Ты могъ бы пройти мимо, могъ бы притвориться невидящимъ, могъ бы, наконецъ, въ проходныя ворота шмыгнуть, а ты вмѣсто того останавливаешься, нарочно въ глаза лѣзешь: позвольте въ присутствіи вашемъ пожить! Неужто же онъ не видитъ этого? Ахъ, голубчикъ, не только онъ *это* видитъ, но и тебя самого, со всѣми твоими потрохами, насквозь видитъ! — Эге, говоритъ онъ, такъ вотъ его на чемъ подловить можно! — И напираетъ, и напираетъ, до тѣхъ поръ, покуда не уткнетъ носомъ въ самый оный кіоскъ: живи!

— Глумовъ! но развѣ можно ставить людямъ въ вину, что «сладкая привычка жить», — въ существѣ своемъ вполнѣ законная,—сопрягается для нихъ съ такими осложненіями?

— Я не обвиняю, а только объясняю. И говорю: Крокодиловъ только до нѣкоторой степени силу свою самолично создаетъ; въ значительной же мѣрѣ онъ отъ насъ, простецовъ, ее получаетъ. Все въ насъ наиблагопріятнѣйшимъ образомъ для него сложилось. «Сладкая привычка жить»— это само по себѣ; но рядомъ съ нею, и какъ отличнѣйшее къ ней дополненіе, еще другая особенность: необыкновенная готовность къ приспособленіямъ. Вспомнилось мнѣ на-дняхъ, случайно, какъ меня въ дѣтствѣ у папаши прощенья просить заставляли, такъ повѣришь ли — такъ я и ахнулъ: вотъ они съ которыхъ поръ, приспособленья-то наши, начались! Огорчишь, бывало, папашу, а прощенья просить не хочется. Вотъ мамаша съ тетеньками и похаживаютъ около тебя. «Развѣ тебя убудетъ отъ того, что ты скажешь папенькѣ: пардонъ, папа?» — уговариваетъ

мамаша. «Развѣ у тебя языкъ отвалится?» — убѣждаетъ одна тетенька. «Развѣ у тебя заболитъ головка?» — подбадриваетъ другая тетенька. Слушаешь-слушаешь эти предики, возьмешь да и выпалишь: «пардонъ, папа» И что-жъ, дѣйствительно, какъ по-писанному, такъ и сбывалось. Ни самого меня не убывало, ни языкъ не отваливался, ни голова не болѣла... Прошло дѣтство, настала настоящая жизнь, и что дальше, то больше. Стонъ кругомъ стоитъ: развѣ тебя убудетъ? развѣ языкъ у тебя отвалится? Тутъ и литература, и наука, и нравственный кодексъ—все тутъ. А вдали, въ перспективѣ, дилемма: съ одной стороны—храмъ славы съ надписью: «Не убудетъ»; съ другой—волчье существованіе среди науськиваній и шипѣній. Спрашивается: какъ съ этимъ быть? какъ безъ срама устроиться съ «сладкой привычкой жить», которая, какъ ты самъ сейчасъ сказалъ, въ существѣ своемъ вполнѣ законна? Тутъ-то вотъ Крокодиловы и подстерегаютъ тебя, цынъ-цынъ-цынъ...

На этомъ наша бесѣда и кончилась. Вызвана она была вопросомъ: какъ съ этимъ быть?—и разрѣшилась... тѣмъ же вопросомъ.

Письмо восьмое.

Если бы не одно дѣльце, да дядя Захаръ Иванычъ вовремя удержался, то былъ бы онъ воротилою наравнѣ съ прочими.

Дядя Захаръ Иванычъ Стрѣловъ—старикъ старый. Родился онъ въ 1812 году, во время француза, и слѣдовательно теперь ему слишкомъ семьдесятъ лѣтъ. Однако онъ еще довольно проворно сѣменитъ ногами, да и руки у него еще цѣпкія, такъ что если бы попала въ нихъ взятка, то, мнѣ кажется, онъ могъ бы ее ухватить. Сверхъ того онъ сохранилъ вкусъ къ жизни, любитъ поѣсть и выпить, но лицо у него начинаетъ уже походить на лицо младенца, который только-что началъ понимать зажженную свѣчу и радуется, когда ее передъ глазами машутъ. Этому сходству много способствуетъ лысина во всю голову, напоминающая голое колѣно. Новыхъ порядковъ онъ не любитъ, не исключая даже новаго обмундированія. Въ шкапу у

него виситъ старинный путейскій мундиръ, съ расходящимися сзади фалдочками, и онъ отъ времени до времени надѣваетъ его, подходитъ къ зеркалу, поиграетъ фалдами и вздохнетъ.

Во время коронаціи императора Николая онъ былъ уже кадетомъ, а въ началѣ тридцатыхъ годовъ получилъ первый офицерскій чинъ и въ качествѣ инженера рылъ канавы въ Шлюшинѣ *).

Хищникомъ, въ современномъ значеніи этого слова, онъ не былъ — въ то время люди были для этого слишкомъ безхитростны,—но взятки бралъ болѣе чѣмъ охотно и въ казнѣ черпалъ неупустительно. Уже въ Шлюшинѣ онъ изыскивалъ недурные въ этомъ смыслѣ случаи. Выроетъ, бывало, одинъ кубикъ, а напишетъ два: одинъ — кесарю, другой—себѣ. Сконивши такимъ образомъ сокровище, онъ не только самъ жилъ въ свое удовольствіе, но и доставлялъ удовольствіе другимъ. Съѣздитъ на лодкѣ въ Петербургъ, накупитъ конфетъ, апельсиновъ и угощаетъ шлюшинскихъ дамъ. Сверхъ того былъ мастеръ устраивать вечеринки, пикники; словомъ сказать, былъ душою общества. Поэтому дамы говорили о немъ: «точь-въ-точь кавалергардъ!» Онъ же, придя въ умиленіе отъ такой похвалы, сравнивалъ исправничиху съ княгиней Шептаевой, а предводительшу—съ графиней Подстаканниковой, которыя, по его словамъ, составляли цвѣтъ тогдашняго петербургскаго бомонда и принимали его въ своихъ салонахъ за то, что онъ имъ привозилъ въ презентъ копченыхъ ладожскихъ сиговъ.

Въ сороковыхъ годахъ онъ былъ уже штабсъ-капитанъ и почувствовалъ у себя въ карманѣ такія деньги, что хоть подполковнику не стыдно. Сороковые годы вообще были странные годы. Съ одной стороны Граповскій, Бѣлинскій и ихъ кружокъ (обратившійся потомъ въ стадо свиней), съ другой стороны — Стрѣловъ, крѣпостныя дѣла и цѣлая армія исправниковъ и становыхъ. Смѣшеніе человѣческаго образа съ звѣринымъ. Кстати, въ это время уже началъ ходить слухъ, что Петербургъ намѣреваются соединить съ Москвой желѣзнымъ путемъ. Надѣялись, что въ Петербургѣ подешевѣетъ икра. Дядя Захаръ нюхнулъ въ воздухѣ и унюхалъ, что тутъ уже не шлюшинскими кубиками пахнетъ. Причислился къ главному управленію и началъ

*) Народное названіе Шлиссельбурга.

похаживать по коридорамъ, въ надеждѣ попасть на глаза власть имущему. Стрѣловъ былъ подвижекъ, изворотливъ и юрокъ, имѣлъ хорошенькое брюшко и веселую турнюру, что при тогдашней аммуниціи выходило очень мило. Станетъ дяденька передомъ — у него пуночекъ играетъ; станетъ задомъ—играютъ фалдочки; не удивительно, что зоркій глазъ начальника, при первой же встрѣчѣ въ коридорѣ, замѣтилъ его.

— Кто этотъ расторопный офицеръ? — спросилъ генералъ.

Назвали Стрѣлова.

— Мнѣ такіе люди нужны!

Объяснились. Начальникъ возложилъ его на лоно, подчиненный—такъ и прилипъ къ лону. Въ скоромъ времени Стрѣловъ очутился въ самомъ сердцѣ желѣзнодорожныхъ вожделѣній и какъ только почувствовалъ, что навстрѣчу ему ходитъ лафа, то съѣздилъ въ Муромскіе лѣса, набралъ тамъ шайку и держалъ атаманамъ такую рѣчь:

— Вы будете у меня замѣсто подрядчиковъ и строителей. Если кто у васъ спроситъ: кто ты таковъ? — то не отвѣчайте: я муромскій разбойникъ, а говорите: десятникъ, поставщикъ и т. п. Слушайте теперь. Вотъ, примѣрно, передъ вами рельсъ: стоитъ онъ, положимъ, хоть двадцать рублей, а мы запишемъ сорокъ. Если спросятъ: кто ставилъ? — говорите: разбойникъ... то, бишь, подрядчикъ Кудимычъ. Вотъ и все. А когда уйдутъ спрашиватели, мы возьмемъ да двадцать рублей отдадимъ кесарю, а изъ другихъ двадцати десять возьму я себѣ за выдумку, а остальные десять—вамъ на вино. Любо ли?

— Любо! любо!—крикнули въ отвѣтъ атаманы-молодцы.

— Или: вотъ вамъ глина, вотъ камень, шпалы, песокъ, рабочія силы,—продолжалъ дядя, припоминая строительные элементы. — И вездѣ одна половина — кесарева, другая— наша. Любо ли?

— Любо! любо!

И дѣятельность по дорогѣ закипѣла. Дядя Захаръ бѣгалъ и ѣздилъ днемъ по работамъ, а ночью металъ разбойникамъ банкъ. Денегъ появилась такая масса, что не знали, куда дѣвать. Выписывали изъ Петербурга прелестницъ и гдѣ-нибудь въ селѣ Едровѣ устраивали афинскіе вечера. На одномъ такомъ вечерѣ цыганку Стёшку исцинали такъ, что для того, чтобъ замять дѣло, потребовалось отдать табору не меньше двадцати тысячъ рублей. Поли-

вали другъ друга шампанскимъ, пили шампанскимъ рѣку, загоняли на станціи лошадей, чтобъ побывать вечеромъ въ Александринкѣ, съ рискомъ попасть на гауптвахту, или чтобъ какой-нибудь кралѣ, поселенной въ Едровѣ съ спеціальною цѣлью увеселять муромскихъ разбойниковъ, доставить букетъ. Словомъ сказать, груды денегъ извлекались изъ нѣдръ казначейскихъ кладовыхъ, распредѣлялись по карманамъ и исчезали невѣдомо куда.

Въ самый разгаръ этого распутства Стрѣловъ женился. Онъ уже настолько имѣлъ въ ломбардѣ, что могъ безъ боязни глядѣть впередъ. Партія ему представлялась прекраснѣйшая, даже знаменитая. Россіи, лѣтъ пятнадцать тому назадъ, подчинился одинъ изъ касимовскихъ князей, Абдулка. Но искренности его подчиненія не сразу повѣрили, а посадили въ кибитку и приказали возить взадъ и впередъ по Касимовскому уѣзду, покуда онъ не познаетъ свѣта истинной вѣры. Разумѣется, онъ позналъ очень скоро, его окрестили, наименовали Михаиломъ и оставили за нимъ княжескій титулъ съ фамиліей Мамалыгина. Тогда же окрестили его дочь, назвавъ Надеждой и помѣстивъ въ Екатерининскій институтъ. Тамъ ее выпоили, но училась она плохо; что̀ не помѣшало ей въ свое время придти въ совершенный возрастъ и сдѣлаться невѣстой. Вотъ на нее то и обратилъ взоры дядя Захаръ Иванычъ. Съ мѣсяцъ времени кормилъ онъ Абдулку въ Палкинскомъ трактирѣ шашлыкомъ, а будущую невѣсту — шенталой, и наконецъ получилъ согласіе. Ему лестно было ѣздить съ визитами съ женой, у которой на карточкахъ было напечатано: «Надежда Михайловна Стрѣлова, рожденная княжна Мамалыгина». При этомъ онъ намекалъ, что жена его происходитъ по прямой линіи отъ Мехмеда-Кула, «сибирскихъ странъ богатыря», который первый воскликнулъ: «Нѣтъ, лучше смерть, чѣмъ жизнь поносна!» — а за нимъ этотъ возгласъ стали повторять и прочіе арміи и флоты.

Теперь бы майору Стрѣлову остепениться и начать бы жить да поживать съ капиталцемъ и молодой женой, но его лукавый попуталъ. Дорога велась по ровному мѣсту, а онъ рапортовалъ, что срылъ гору, и потребовалъ сверхсмѣтнаго назначенія. На его несчастіе, мѣсто это было хорошо знакомо, и потому рапортъ его произвелъ изумленіе. Любостяжаніе его замѣтили гдѣ-то очень высоко и послали фельдъегеря... Фельдъегерь, вмѣсто двадцати четырехъ часовъ, судилъ всего двадцать четыре минуты, поса-

дилъ Стрѣлова въ телѣжку и привезъ въ Петербургъ. Покуда онъ сидѣлъ въ кутузкѣ и мыкался по мытарствамъ, Надежда Михайловна отчаянно вопіяла:

— Неужто я буду солдаткой?

Но дѣло кончилось благополучнѣе, нежели можно было ожидать. Начальство вспомнило прежнія заслуги майора (онъ нѣсколько такихъ горъ прежде срылъ) и велѣло ему подать въ отставку, вмѣсто того, чтобъ забрить лобъ.

Стрѣловъ поселился безвыѣздно въ деревнѣ и считалъ деньги. Очень рѣдко онъ заѣзжалъ въ Петербургъ, и именно только въ тѣхъ случаяхъ, о которыхъ будетъ упомянуто ниже. Жена его, отъ скуки, народила груду дѣтей, которыя впослѣдствіи всѣ сдѣлались инженерами. Наступило полное одиночество, которое еще болѣе отравлялось воспоминаніями о прошлыхъ блестящихъ дняхъ.

— И чортъ меня попуталъ,—жаловался майоръ, раскладывая пасьянсъ: — въ другомъ мѣстѣ двѣ горы могъ бы срыть, а тутъ изъ-за одной горушки пропадаю!

Онъ видѣлъ окончаніе монументальной дороги и строилъ воздушные замки. Теперь онъ былъ бы ужъ полковникомъ и, навѣрное, завѣдывалъ бы дистанціей. Нѣкоторое время онъ велъ переписку съ прежними друзьями, посылалъ имъ откормленныхъ индюковъ, просилъ похлопотать, но постоянно получалъ въ отвѣтъ: «Ничего не подѣлаешь!» Наконецъ друзья совсѣмъ замолчали, и онъ мало-по-малу окунулся на самое дно рѣки забвенія.

Но вотъ въ воздухѣ почуялись новыя вѣянія. Сначала радовались, потомъ стали тужить. Наконецъ Подхалимовъ открылъ эпоху упраздненія хищничества и торжества покаянія...

Повторяю: дядя Захаръ не былъ хищникомъ въ современномъ значеніи этого слова. Въ его время было въ модѣ казнокрадство и взяточничество, и дядя слѣдовалъ общей модѣ. Хищничество же народилось позднѣе, совершенно неожиданно, и не устранило ни воровства, ни взяточничества (на всякій случай), а только презирало ихъ. Да и нельзя было не презирать, потому что съ этими явленіями сопрягались разные постыдные поступки. Тутъ встрѣчались и мертвыя тѣла, и подчистки, и преднамѣренныя описки, и взломъ сундуковъ. Все это можно было на картинкѣ написать. Въ хищничествѣ, напротивъ того, все такъ тонко,

чисто и даже благородно, что о картинкахъ и рѣчи не можетъ быть.

Но и въ хищничествѣ имѣются подраздѣленія. Бываетъ хищничество простое и бываетъ сложное. Въ первомъ можно указать на дѣйствующихъ лицъ и на претерпѣвшихъ. Сверхъ того, оно до извѣстной степени наказуемо, и составъ его можно безъ труда опредѣлить. Разнствуетъ оно отъ воровства тѣмъ, что пошло далѣе сферы становыхъ приставовъ и обставило себя благороднѣе. Иногда оно надѣваетъ на себя даже личину государственнаго интереса: заселеніе отдаленнаго края, культура, обрусеніе и т. д. Въ сложномъ хищничествѣ дѣйствующихъ лицъ совсѣмъ нѣтъ, и только приходится удивляться, какимъ образомъ человѣкъ, котораго незадолго передъ симъ знали безъ штановъ, въ настоящую минуту ворочаетъ милліонами. Сложное хищничество есть порядокъ вещей—ничего больше.

Дядя съ грѣхомъ пополамъ могъ додуматься до простого хищничества; однако и тутъ онъ понималъ, что безъ связей ничего не подѣлаешь. Чтобъ захватить землицы по гривеннику за десятину, нужно имѣть «руку», умѣть угадывать моментъ, кланяться, просить, что̀ требовало времени и изнурительныхъ хожденій. Что же касается до сложнаго хищничества, то онъ положительно его не постигалъ и только наравнѣ съ другими простецами ахалъ:

— Безъ штановъ зналъ! безъ штановъ! — восклицалъ онъ:—а теперь въ соболяхъ ѣздитъ! Лошади не лошади, экипажъ не экипажъ! Занимаетъ цѣлый дворецъ, задаетъ банкеты: во всѣхъ комнатахъ картины съ голыми женщинами! Жену—купилъ, а потомъ предоставилъ, а самъ двухъ француженокъ содержитъ! Ну, скажите на милость, зачѣмъ ему понадобились двѣ? И какимъ образомъ все это случилось?

Онъ забывалъ при этомъ и свое прошлое, и свои теперешнія вожделѣнія, и даже то, что онъ былъ бы несказанно счастливъ, если-бъ очутился на мѣстѣ этого голоштанника, который теперь въ соболяхъ ходитъ.

Тѣмъ не менѣе жажда хоть что-нибудь урвать заставляла его довольно чутко прислушиваться къ новымъ вѣяніямъ и отъ времени до времени посѣщать Петербургъ.

Что̀ такое «вѣяніе»? Это — одно изъ выраженій той наскудной терминологіи, которая получила у насъ право гражданственности тридцать лѣтъ тому назадъ. Означаетъ

ство: вотъ что̀ нужно̀ дѣлать, чтобъ какъ можно больше напакостить.

Вся эта терминологія есть плодъ личной алчности и совершеннаго отсутствія представленій объ интересѣ общественномъ. Здѣсь нѣтъ рѣчи ни объ отечествѣ, ни о согражданахъ, ни объ общемъ благѣ. Одна обнаженная алчность— только и всего.

Такихъ вѣяній въ нашемъ обществѣ было много, но я намѣчу лишь главнѣйшія. Во-первыхъ, вѣяніе радостныхъ ожиданій: во-вторыхъ, вѣяніе горестныхъ утратъ; въ-третьихъ, вѣяніе хищничества; въ-четвертыхъ, вѣяніе сапоговъ въ смятку, и наконецъ...

Въ первый разъ, послѣ многихъ лѣтъ воздержанія, дядя Захаръ посѣтилъ Петербургъ въ эпоху радостныхъ ожиданій. Тогда говорили: земля наша обильна: и на поверхности, и въ нѣдрахъ—всего у насъ довольно и для себя, и для Европы. Европа гніетъ и переживаетъ себя, а мы возрождаемся. До сихъ поръ мы жили какъ слѣпые, по милости крѣпостного права, а теперь вольный трудъ всѣ наши богатства откроетъ. Въ особенности отличался по части пророчествъ и предвидѣній публицистъ Кокоревъ, который даже въ кучахъ навоза открывалъ золотыя розсыпи.

Хорошее это было время, свѣтлое, хотя, какъ потомъ оказалось, не особенно умное. Но кто же могъ думать, что изъ всѣхъ этихъ чаяній ничего не выйдетъ путнаго, кромѣ переворачиванія давно истлѣвшаго хлама? Многіе скрывавшіеся въ завѣтныхъ кубышкахъ милліоны увидѣли тогда свѣтъ, побывали въ «Обществѣ жизненныхъ продуктовъ», въ «Сельскомъ хозяинѣ» и проч., и пропали невѣдомо куда. Гдѣ они теперь? Не можетъ же быть, чтобъ не нашли себѣ пристанища и хоть кого-нибудь не оплодотворили. Не тогда ли было положено начало тому грандіозному финансовому распутству, которое впослѣдствіи дало такой пышный цвѣтъ?

То было время сѣвооборотовъ, покупки машинъ, продажи выкупныхъ свидѣтельствъ и преимущественно трактирныхъ безобразій. Денегъ появилось множество; почти вся Россія была вымѣнена на выкупныя свидѣтельства. Явились ростовщики и кровопійцы, которые скупали эти свидѣтельства за грошъ. Но владѣльцы не обращали на это вниманія, въ надеждѣ, что вольный трудъ вознаградитъ сторицею.

— Видѣли вы жнею, которую я купилъ у Бутенопа? Пріѣзжайте, батюшка, посмотрите, какъ чисто работаетъ! А моя сѣноворошилка? А мои плужки? Прелесть! — раздавалось изъ края въ край. — Теперь мнѣ рабочихъ на двѣ трети меньше надо будетъ.

А черезъ недѣлю жнея и сѣноворошилка лежали въ сараѣ поломанными, и баба по-старому конопшилась въ морѣ ржи, которое сгоряча не по разуму насѣяли.

Крестьянинъ скоро раскусилъ помѣщика и втихомолку посмѣивался. Помѣщикъ, ни къ чему не приготовленный, лѣнивый и безпечный, способенъ былъ только питаться надеждами и зря бросать деньги. Онъ не понималъ, что для того, чтобъ извлекать изъ сельскаго хозяйства двугривенные, нужно вставать съ зарею, цѣлые дни бродить по полю и, придя вечеромъ домой, усчитывать себя.

Впрочемъ, нѣкоторые (а въ томъ числѣ и дядя Захаръ) спохватились и пустили въ ходъ «прижимку» Отрѣзывали хитросплетенные надѣлы, обрабатывали землю исполу, донимали крестьянъ штрафами и хожденіемъ по судамъ и, наконецъ, занялись ростовщичествомъ.

Но вообще, несмотря на чаянія и упованія, общій голосъ былъ: «всего у насъ довольно» — и несмѣтныя сокровища въ настоящемъ, и свѣтлыя перспективы въ будущемъ,—только людей нѣтъ. Публицистъ Кокоревъ говорилъ это громко, совѣтовалъ пустить въ ходъ добрую чарку вина, и цензура ему въ томъ не препятствовала.

Дядя Захаръ подслушалъ эти жалобы и явился на кличъ. Разумѣется, онъ остановился у меня и не безъ увѣренности объявилъ:

— Теперь мое дѣло выигранное. Нужны люди, а я человѣкъ бывалый, опытный и не безъ царя въ головѣ, чего еще?

— Но вѣдь вы, дядя, не изъ сочувствующихъ?— возразилъ я.

— Что ты, что ты! Христосъ съ тобою! Я, братъ, всему сочувствую. Я и адресъ изъ первыхъ подписалъ. Пріѣхалъ въ ту пору въ собраніе губернаторъ: «господа, говоритъ, надо доказать...» Ну, я и доказалъ: обмокнулъ перо въ чернильницу—дай Богъ счастливо!

— Да, но съ мужичками-то вы все-таки не очень охотно разстались.

— Я-то? Да я мужичка даже очень люблю. Дай только мнѣ...

Онъ выспросилъ у меня, передъ кѣмъ и въ какихъ канцеляріяхъ предстоятъ хожденія, и на другой же день начались поиски. Онъ ходатайствовалъ неутомимо, съ утра до ночи, возвращался домой измученный и часто разочарованный, но все-таки надѣющійся.

— Вотъ говорили, что людей нѣтъ!—восклицалъ онъ:— а ихъ тутъ, куда ни придешь, труба нетолченая!

Счастіе, однако же, повидимому, улыбнулось ему. Прошедшее его, за общей суматохой, было забыто; люди у дѣла стояли совсѣмъ новые, и передъ ними предсталъ тоже новый человѣкъ, свѣжій деревенскій корешникъ, съ чувствомъ говорившій о меньшомъ братѣ. Его выслушивали съ видимымъ интересомъ, разспрашивали, сколько можетъ ужать въ день баба, сколько можетъ въ день скосить, вспахать и забороновать мужикъ, существуютъ ли у крестьянъ огороды, конопляники, отхожіе промыслы, ремесла, самъ-сколько родится рожь, овесъ, ячмень, сколько требуется муки въ годъ на продовольствіе одного ѣдока и т. д. Онъ отвѣчалъ на вопросы бойко, не спѣша. Докладывалъ, что если мужикъ чувствуетъ въ чемъ-нибудь недостатки, то этому всему виной крѣпостное право; что ежели нѣтъ травосѣянія, то этому виной тоже крѣпостное право; что ежели вообще сельское хозяйство въ упадкѣ, то и тутъ благодаря крѣпостному праву. При этомъ присовокуплялъ, что онъ уже въ то время мечталъ, когда мечтанія строго воспрещались... Словомъ сказать, отрекомендовалъ себя съ самой отрадной стороны.

Но тутъ онъ увидѣлъ вѣщій сонъ.

Я помню, онъ пришелъ къ чаю пасмурный и задумчивый. Едва дотронулся до калача и долгое время сидѣлъ молча и барабанилъ по столу пальцами. На вопросы мои отвѣчалъ односложно и невнятно.

— Что съ вами, дядя?—наконецъ спросилъ я его.

— Сонъ видѣлъ, голубчикъ!

— Неужели сонъ можетъ такъ встревожить?

— Сонъ сну рознь: иной и можетъ встревожить. Представь себѣ: вижу я во снѣ громадную стаю собакъ, и я будто бы между ними въ собачьемъ видѣ. Только прочія собаки всѣ о четырехъ ногахъ, а у меня будто бы только три, а четвертая оторвана. И будто бы я за стаей никакъ поспѣшить не могу, а ковыляю сзади всѣхъ... Вотъ!

— Такъ что же такое?

— А то и есть, что не добиться мнѣ ничего: что-нибудь да случится.

— Эхъ, дядя, никто какъ Богъ! Можетъ-быть, и на трехъ ногахъ вы скорѣе добѣжите, нежели другіе на четырехъ.

— Дай Богъ, дай Богъ! Но сомнительно. Повѣрь, что такіе сны не даромъ. Уѣхать, видно, мнѣ обратно въ Муромъ, несолоно хлебавши.

Прошло еще нѣсколько недѣль, а дядя не только ничего не терялъ въ глазахъ начальства, а, напротивъ, все больше и больше нравился. Онъ уже успѣлъ убѣдить, что какъ только наступитъ вольный трудъ, то мы однимъ овсомъ Европу побѣдимъ. Позабывъ о вѣщемъ снѣ, онъ ходилъ веселый и радостный, ѣлъ съ аппетитомъ, пилъ въ мѣру, вечеромъ ѣздилъ на Минеральныя и перемигивался съ мамзель Сузеттой. Наконецъ однажды пришелъ къ обѣду домой и съ торжествомъ объявилъ:

— Ну, теперь можешь меня поздравить! Сегодня я получилъ вѣрное слово...

И вдругъ онъ поперхнулся: на столѣ лежалъ адресованный на его имя пакетъ.

Въ пакетѣ было приглашеніе пожаловать для личныхъ объясненій.

— Это вы срыли гору на ровномъ мѣстѣ?—спросилъ его начальникъ.

Дядя стукнулъ каблуками и отретировался.

Кто-то шепнулъ...

Возвратившись домой, дядя выпилъ сряду нѣсколько рюмокъ водки и поскрипѣлъ зубами, а дня черезъ два выѣхалъ въ Муромъ.

Увы! онъ навѣрное воспрянулъ бы духомъ, если-бъ зналъ, что въ ту же ночь я видѣлъ продолженіе его вѣщаго сна. Снилось мнѣ: добѣжала стая собакъ до пирога и въ колебаніи остановилась: однѣ предлагали сейчасъ же разнести пирогъ на части, другія пытались отстаивать и защищать. Но защитники дѣлали свое дѣло такъ неувѣренно и неумѣло, что нападающіе безъ труда одолѣли. Пирогъ былъ разорванъ мгновенно. Затѣмъ собаки смѣряли другъ друга глазами и стали грызться.

Польскій мятежъ дядя Захаръ какъ-то пропустилъ и догадался только тогда, когда дѣло подошло къ концу, и началось брусеніе. Въ это же время и въ Петербургѣ

что-то замутилось: начались пожары, покушенія, допросы, судбища, высылки; явились корни и нити. Кликнули кличъ. Обрусители, задешево получившіе куски конфискованныхъ земель, уже были готовы. Они отчасти продали земли, отчасти сдали ихъ въ аренду жидамъ, лѣса законтрактовали на срубъ и первые явились на кличъ. Разумѣется, это были избранники. Вслѣдъ за ними явился и майоръ Стрѣловъ.

На этотъ разъ онъ остановился не у меня, а гдѣ-то въ номерахъ на Мѣщанской. Должно-быть, онъ меня и заподозрилъ. Немедленно явился онъ къ генералу и имѣлъ съ нимъ непродолжительное объясненіе.

— Прежде чѣмъ удовлетворить вашей просьбѣ, я требую, чтобы вы были вполнѣ откровенны,—сказалъ генералъ, проницательнымъ окомъ взглянувъ на просителя.

Дядя смутился и совсѣмъ машинально отвѣтилъ:

— Срылъ гору...

— На ровномъ мѣстѣ?

— Точно такъ, вашество!—выпалилъ дядя.

— Это нехорошо: казну слѣдуетъ беречь, она царская. Но я вамъ не судья, я надѣюсь, что съ тѣхъ поръ вы исправились. Мнѣ люди нужны, и именно люди, готовые загладить... Василій Андреичъ!—обратился онъ къ секретарю:—запишите майора Стрѣлова. Вамъ скажутъ, майоръ, что нужно дѣлать. Кстати: отчего вы не явились въ Западный край?

— Въ деревнѣ жилъ, вашество, не поспѣлъ, какъ, по вашему манію, все уже пришло въ настоящій видъ...

— Жаль-съ. Мнѣ и тогда нужны были люди.

Стрѣловъ бросился впередъ съ очевиднымъ намѣреніемъ поцѣловать генерала въ плечико, но генералъ уклонился.

Ахъ, какое это было время! Мрачное, наполненное привидѣніями и какимъ-то удушливымъ безмолвіемъ. Улицы были почти пусты. Немногіе встрѣчавшіеся люди смотрѣли испуганно, ничего не понимая. Въ окнахъ домовъ не было видно по вечерамъ огней, точно все живущее куда-то спряталось. Пріѣзжавшіе съ дачъ спѣшили скорѣе окончить дѣла и уѣзжали обратно. По ночамъ слышались оклики дворниковъ и бряцаніе оружія по тротуарамъ. Ночныя посѣщенія производились наудачу, случайно, безъ малѣйшей системы. Больше всего пострадали либералы, такъ какъ предполагалось въ нихъ начало и корень всѣхъ послѣдующихъ бѣдъ. Кто могъ сжечь старую переписку—сжегъ; до-

рогія имена, дорогія рѣчи—все приносилось въ жертву. Кто не успѣлъ сжечь, или жаль было разстаться съ дорогими собесѣдниками, тотъ впослѣдствіи горько раскаивался. Ужасно было, ужасно! Но необходимо...

— Нельзя-съ, — говорили оправдавшимся: — вы, положимъ, оказались жертвой ошибки, но, согласитесь, безъ этого нельзя. Такое теперь время, что нужно жертвовать собой.

И «жертвы ошибокъ» уходили домой утѣшенныя.

Дядя дѣйствовалъ такъ усердно, что вскорѣ обратилъ на себя вниманіе; онъ дѣйствительно кого-то «поймалъ» и во всякомъ случаѣ каждый вечеръ таскалъ вороха бумагъ въ подлежащую канцелярію. Его переименовали въ штатскій чинъ и обѣщали подумать о немъ.

— Мнѣ бы, вашество, хоть въ губернію,—умолялъ онъ:— жена, воспитаніе дѣтей...

— Да, но покамѣстъ и здѣсь дѣла много; прежде надо главное кончить; надо зло вырвать съ корнемъ, начавши съ самаго начала, съ заводчиковъ. Никого не жалѣйте, хотя бы... Главное зло—либералы; надо сорвать съ нихъ личину, потому что они заразили даже правящіе классы. Долгогривые—эти ужъ потомъ явились... это—жертвы, орудія! Отъ либераловъ все пошло; если-бъ не они, государство наше было бы сильно и грозно попрежнему, и всѣ мы были бы благополучны...

— Точно такъ, вашество!

— Гм!.. да... но надѣюсь, что вы на будущее время горъ на ровныхъ мѣстахъ рыть не будете?—пошутилъ генералъ съ ангельской улыбкой.

— Никакъ нѣтъ-съ, вашество!

— Ну-съ, до свиданія. Сегодня вамъ предстоитъ трудовая ночь. Надѣюсь!

Я числился тогда въ либералахъ и проводилъ время въ самомъ деморализующемъ страхѣ. Ночью за входною дверью и за стѣною сосѣдней квартиры чудились шорохи. Еще минута—и звонокъ... пожалуйте! На дачу я не поѣхалъ. Такая тоска сосала сердце, что, казалось, никуда не убѣжишь. Чтобъ заглушить ее, я ѣздилъ по вечерамъ въ «Демидронъ» и, возвращаясь домой, подъѣзжалъ къ воротамъ въ гнетущемъ смущеніи. Даже дворники замѣтили это, и такъ какъ я совершенно ни съ того, ни съ сего увеличилъ имъ помѣсячную подачку, то они ободряли меня, говоря:

— Ничего, Богъ милостивъ!

«Какъ-то они меня аттестуютъ въ кварталѣ?—думалось мнѣ.—Дворникъ! шутка сказать!»

Однако для меня все обошлось благополучно; я подозрѣвалъ, что тутъ помогъ мнѣ дядя. Мало-по-малу и кругомъ стихло. Ни корней, ни нитей не было найдено, а обнаружился полный сумбуръ и совершенная общественная несостоятельность. Много оказалось вздорнаго хлама, а главное испуга, испуга — безъ конца. Наконецъ наступила осень, и всѣ вздохнули. Въ это же время, однимъ утромъ, появился у меня и дядя Захаръ.

— Дядя! давно вы здѣсь?—воскликнулъ я въ умиленіи.

— Давно, мѣсяца съ три. У тебя не остановился, потому что... Ну, да ты самъ отлично понимаешь, почему...

— Понимаю... Ахъ, дядя, дядя! Что же вы дѣлали въ эти три мѣсяца?

— А поступалъ, какъ слѣдуетъ всякому сыну отечества поступать. Сколько, братецъ, я этихъ долгогривыхъ да стрижекъ перетаскалъ... Страсть! Но главное—либералы. Отъ нихъ все зло. Я, душа моя, помню, какъ они меня въ ту пору травили.

— Ну, ужъ и травили! Вѣдь у всѣхъ свои убѣжденія. Да и гдѣ же кого-нибудь травить—либераламъ! Даже въ лучшія времена ихъ травили, а не они.

— Нѣтъ, это аттѣнде. Я помню, какъ «онъ» меня на одну доску съ канальей-поваромъ ставилъ. И я стою, и поваръ стоитъ, а онъ... судитъ. Я, голубчикъ, тогда два дня со всей семьей безъ обѣда сидѣлъ, а потомъ вмѣсто повара судомойку нашли.

— Да вѣдь это было сдѣлано по закону?

— Какой законъ? — книжка какая-то. Неужто законъ только въ пользу хамовъ? Нѣтъ, законъ—такъ законъ, а кромѣ того и Священное Писаніе: рабы да повинуются—вотъ это законъ!

Дядя помолчалъ съ минуту и потомъ съ азартомъ продолжалъ:

— А сколько твоя тетя въ то время вытерпѣла! Представь себѣ, никто не кланяется! Да этого мало: какъ ни придешь, въ лакейскую ли, въ дѣвичью ли—нѣтъ никого! «Гдѣ ты, шельма, была?»—Нужно же мнѣ погулять, человѣкъ тоже... Человѣкъ! Она — человѣкъ! мерзавка! А «онъ» ѣздитъ по своему участку и популярничаетъ. «Прасковья Ивановна, здравствуйте!»—Это Пашкѣ-то! И вѣдь ни разу онъ ко мнѣ обѣдать не заѣхалъ: все на постоя-

лый дворъ, а тутъ, кстати, и распивочная продажа... Пришлетъ мнѣ повѣстку—и я туда же бѣги! Наслякощено, нагажено, въ сосѣдней комнатѣ мужичье чай и водку пьетъ—срамъ! А онъ сидитъ и улыбается, и Прасковья Ивановна улыбается. Ахъ, что̀ было, что̀ было! Тяжело, мой другъ, и до сихъ поръ тяжело!

Дядя снова смолкъ и скорбно склонилъ голову подъ гнетомъ горькихъ воспоминаній.

— А вы вѣщихъ сновъ теперь не видите, дядя?—спросилъ я, чтобъ перемѣнить разговоръ.

— Нѣтъ, я нынче вообще сновъ не вижу. Теперь мое дѣло вѣрное. И я поревновалъ, и за меня поревнуютъ. Не только обѣщали, но даже вѣрное слово дали. И знаешь, куда?—въ нашу губернію, въ самое что̀ ни на есть гнѣздо!..

— Ну, дай вамъ Богъ!

Дядя позавтракалъ у меня и ушелъ. Недѣли двѣ я опять не видалъ его, какъ вдругъ онъ приходитъ, разстроенный и смущенный.

— Опять этотъ сонъ!—вымолвилъ онъ глухимъ голосомъ.

— Дядя! вѣдь это несносно! Вы намѣренно разстраиваете себя!—разувѣрялъ я его.

— Вотъ увидишь!

Дѣйствительно, конкурентовъ на злачныя мѣста явилось такое множество, что всѣхъ «достойныхъ» было немыслимо удовлетворить. Пришлось принимать въ соображеніе стороннія ходатайства. За одного просила графиня Шассѐ-Круазѐ, за другого—баронесса Думкопфъ, за третьяго—самъ князь Сампантре, за четвертаго—желѣзнодорожникъ Губошлеповъ и т. д. Среди этой общей травли дядя былъ незамѣтно оттертъ.

Онъ явился ко мнѣ и бросилъ на столъ бумагу.

— На, прочти!

Въ бумагѣ было изображено, что въ настоящую минуту для коллежскаго совѣтника Стрѣлова подходящаго мѣста въ виду не имѣется; но что заслуги его оцѣнены по достоинству, и, вѣроятно, въ неотдаленномъ будущемъ одна изъ первыхъ вакансій будетъ предоставлена ему.

— Да, держи карманъ! Нашли дурака!—воскликнулъ съ горечью дядя.—Что же, по-ихнему, я долженъ пропекаться въ Петербургѣ и ждать?.. Купишь съ масломъ! Жить цѣлый годъ на Мѣщанской, въ протухлыхъ номерахъ, и

каждый день шататься по канцеляріямъ... Мерси боку! И безъ того кучу денегъ прожилъ, а теперь и еще. Нѣтъ. зло не въ либералахъ, а вотъ въ этихъ Сампантрѣ да Шассѣ-Круазѣ... Довольно съ меня. Я не ропщу, но... Видѣлъ къ себѣ милость генерала—ну, и будетъ! Надежду Михайловну жаль; она, бѣдняжка, думала хоть въ губерніи поселиться—и что-жъ!

Дядя опять надолго исчезъ, сообщивъ, однако, канцеляріи свой адресъ. На всякій случай.

Къ сожалѣнію, на этотъ разъ я продолженія вѣщаго сна не видалъ.

Въ третій разъ дядя пріѣхалъ въ самый разгаръ желѣзнодорожной свалки.

Дѣятели того времени раздѣлялись на два разряда: на званыхъ, знавшихъ всѣ ходы и выходы, и на незваныхъ, явившихся внезапно, сбоку-припёку. Послѣдніе принадлежали къ числу деревенскихъ жантильомовъ, проживщихъ выкупныя свидѣтельства, продавшихъ «лишнія земли» и жаждавшихъ поправиться. Въ особенности выдѣлялись тѣ изъ нихъ, которые имѣли въ Петербургѣ такъ-называемую «руку»: старыхъ сослуживцевъ, родственниковъ и т. д.

— А что, не попытать ли отъ Углича до Пошехонья дорожку провести?—мечтали они.—Мнѣ тетя Анюта отхлопочетъ!

И жены принимали участіе въ этихъ мечтаніяхъ и усиленно поощряли ихъ.

— Конечно, поѣзжай. — говорили онѣ: — надо пользоваться; тетя Анюта теперь—сила!

Пускались въ ходъ послѣдніе гроши. Петербургское населеніе значительно увеличилось отъ наплыва искателей; гостиницы были полны. Жаждущіе наживы сидѣли по номерамъ, ѣли шатобріаны и ожидали, предварительно исколесивъ весь городъ. Множество празднолюбцевъ ходило изъ дома въ домъ, изумляя тетенекъ и кузинъ неожиданностью проектовъ и повсюду суля участіе въ учредительскихъ паяхъ. Нѣкоторые даже успѣвали. Проекты ихъ, конечно, такъ и остались проектами, но тетя Анюта помогала пристегнуться къ какому-нибудь другому предпріятію, и, благодаря ея назойливости, празднолюбецъ уѣзжалъ домой не съ пустыми руками.

Многіе прожектеры изъ сосѣдей по деревнѣ и ко мнѣ тогда захаживали. Одни—съ готовыми проектами, другіе—

такъ, послушать, что̀ умные люди говорятъ. Но изъ послѣднихъ рѣдкіе воздерживались. Посидятъ, поговорятъ, выпьютъ, закусятъ—и вдругъ:

— А что, ежели соединить Тверь съ Калугою желѣзнымъ путемъ? Вѣдь препитательная вышла бы дорожка!

Присядутъ къ столу—и черезъ полчаса проектъ готовъ, благо разграфленная бумага для статистическихъ свѣдѣній продавалась въ изобиліи. Тотчасъ же всѣ графы наполнялись словно волшебствомъ: сапоги, сапоги, сапоги! А изъ Корчевы—лапти.

Однажды, около одиннадцати часовъ утра, въ квартирѣ моей раздался звонокъ. Звонили громко, самоувѣренно, какъ звонятъ люди, у которыхъ въ карманѣ вѣрный проектъ.

Оказался дядя.

— Пріѣхали?—спросилъ я совсѣмъ некстати.

— Да, надоѣло хлопать глазами да облизываться. Вѣдь Губошлеповъ-то у меня десятникомъ на дорогѣ служилъ, а теперь, поди, какіе куски рветъ.

— Стало-быть, проектецъ привезли?

— Такъ, лёгонькій. Но въ общей государственной сѣти необходимый. Отъ Нижняго въ Харьковъ, а можетъ-быть, и дальше, коли Богъ поможетъ. Въ Бахмутъ, Кременчугъ—мало ли мѣстъ найдется!

— Вотъ какъ!

— Да, это будетъ—дорога! Надо тебѣ сказать, что теперь главный торговый центръ не въ Москвѣ и не въ Петербургѣ, а въ Нижнемъ. Тамъ сліяніе Оки съ Волгой, двухъ важнѣйшихъ водныхъ артерій: тамъ ярмарка, гдѣ встрѣчаются отдаленный Востокъ съ отдаленнымъ Западомъ, гдѣ можно найти все, чего только пожелаешь, отъ ювелирнаго украшенія, отъ тончайшей кашемировой шали и изысканнаго наряда, которому позавидуетъ любая блестящая красавица, до лаптя, котораго вожделѣетъ мужикъ. Оттуда, наконецъ, сибирскій трактъ. Скоро ли мы дождемся сибирской желѣзной дороги, а оттуда все везутъ да везутъ. Куда?—въ Москву, въ Петербургъ?—Но тамъ и безъ того своего довольно. Напротивъ того, Малороссія, съ Харьковомъ въ центрѣ, даже въ гвоздѣ нуждается. Вотъ самый естественный истокъ. А въ Харьковѣ, въ свою очередь, хлѣбныя богатства, сало, шерсть—опять истокъ на сѣверъ, гдѣ въ этомъ нуждаются.

— Скажите на милость!—изумился я.

— А при этомъ дорога пройдетъ черезъ мое имѣніе;

стало-быть, и я останусь не безъ выгоды. Я, братъ, умненько все это подстроилъ. Сначала Горбатовъ, потомъ Муромъ (питательная вѣтвь въ Арзамасъ), Темниковъ, Шацкъ, Спасскъ-Тамбовскій (питательная вѣтвь въ Ардатовъ), Моршанскъ... А оттуда сдѣлаю въ Харьковъ. Кромѣ отправныхъ пунктовъ, сколько тутъ по дорогѣ добра найдется!..

— Да, пожалуй, и не увезете, ежели все...

— Увеземъ, не безпокойся! Пусть только разрѣшатъ. А не разрѣшить—нельзя: такъ все очевидно.

— Можно мнѣ полюбопытствовать?

— Съ удовольствіемъ, даже прошу. Я не дѣлаю изъ этого секрета, и ежели ты найдешь что-нибудь замѣтить, то говори прямо. Я буду даже благодаренъ. Ты прочтешь, другой прочтетъ — смотришь, кто-нибудь и заинтересуется.

Черезъ часъ мы уже сидѣли за бумагами.

— Вотъ это объяснительная записка,—говорилъ дядя:— мы ее послѣ прочтемъ, а вотъ тебѣ карта дороги. Видишь: Горбатовъ, Муромъ, Темниковъ, Шацкъ... Вотъ здѣсь Надежда Михайловна красный кружокъ поставила, а я его послѣ подчистилъ — это наша Куриловка. Здѣсь предполагается устроить станцію съ буфетомъ и остановку въ 20 минутъ. Поѣзды будутъ такъ расписаны, что каждый будетъ у насъ или завтракать, или обѣдать, или ужинать. А кому угодно чай или кофе пить — милости просимъ!.. Буфетъ будетъ содержать нашъ поваръ Акимъ, такъ что мы даже стола дома имѣть не будемъ, а все со станціи. Масло, молоко мы будемъ ставить на станцію свое; телятъ, индюшекъ, гусей, поросятъ — все тащи на станцію. У насъ въ прудѣ крупные караси водятся, и ихъ, стариковъ, туда же. А ягоды, овощи, фрукты, — всему найдется близкій и выгоднѣйшій рынокъ. Кромѣ того: дрова, шпалы — все изъ собственныхъ лѣсовъ. А со станціи мы будемъ получать отмѣннѣйшее удобреніе. Всякій поѣздъ что-нибудь унесетъ и что-нибудь оставитъ, не говоря уже о служащихъ. При станціи постоялый дворъ — опять сбытъ, опять удобреніе. Въ заключеніе, жетоны на даровой проѣздъ по желѣзнымъ дорогамъ цѣлаго міра—всему семейству. Я и тебѣ пришлю.

Я поблагодарилъ и невольно при этомъ облизнулся: такъ онъ отчетливо и вкусно все мнѣ объяснилъ.

— А теперь смотри: вотъ статистическія таблицы!—сказалъ онъ.

Онъ развернулъ листъ разграфленной бумаги, на которомъ я прочиталъ:

НИЖЕГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКАЯ ЖЕЛѢЗНАЯ ДОРОГА.

Назв. мѣстностей.	Предметы перевозки.	Пуд.	Фун.	Особ. примѣчан.
Нижній - Новгородъ съ ярмаркой . . .	Рыбный товаръ: осетрина, бѣлужина, севрюжина, сельди, балыки, икра . . .	000	00	
	Щепной товаръ	000	00	
	Кожевенный, сапожный и шубный товаръ.	000	00	
	Дары Сибири и Урала: пушной товаръ, чай, золото, минералы, дичь и пр.	000	00	
	Произведенія Востока: халаты, шали, термаламы, ковры и проч.	000	00	
	Мануфактура: холсты, полотна, ситцы, набойки и проч.	000	00	
	Ювелирныя и модныя издѣлія	000	00	
	Монументы, памятники старины и проч.	000	00	
Семеновскій и Макарьевскій уѣзды.	Пушныя: медвѣжьи, волчьи и заячьи шкуры . .	000	00	
	Рогожи, цыновки, мочало, лыко, лапти	000	00	
	Старопечатныя книги и прочія принадлежности раскола.	000	00	
Горбатовскій уѣздъ.	Замки секретные и простые, отмычки, ножи перочинные, столовые и хлѣбные, сошники, гвозди, сундуки и проч.	000	00	
Муромскій уѣздъ . .	Муромскіе огурцы	000	00	
	Муромскіе разбойники .	000	00	
	Грибы всѣхъ сортовъ, сушеные, соленые, маринованные и проч.	000	00	
Арзамасскій уѣздъ.	Гуси	000	00	
	Произведенія искусствъ.	000	00	
Темниковскій уѣздъ.	Телѣжные кузова, колеса, деревянныя оси, мочало, рогожи и проч.	000	00	
Харьковъ и такъ далѣе.	Малороссійское сало, хлѣбъ всѣхъ сортовъ, скотъ	000	00	
Итого		000	00	

Съ минуту стоялъ я очарованный. Не можетъ быть, чтобы такого проекта не разрѣшили,—думалось мнѣ. Мало-по-малу однако разсудокъ вступилъ въ свои права.

— Ноль-ноль-ноль! Какая же это статистика? — вымолвилъ я.

— Это, любезный другъ, не есть важно. У меня въ самой статистикѣ служитъ человѣкъ, который какія угодно цифры проставитъ, да и особыя примѣчанія напишетъ. Эти цифры, можетъ, хотя и противорѣчатъ официальнымъ даннымъ, но вѣдь всѣмъ извѣстно, какъ у насъ собирается официальная статистика; здѣсь же проставленныя цифры суть плодъ опытныхъ наблюденій, несомнѣнныхъ и вѣрныхъ... Вотъ онъ какъ напишетъ—и все будетъ прекрасно!

— О, коли такъ... Но почему же вы думаете, — Горбатовскій, напримѣръ, уѣздъ... почему вы предполагаете, что онъ *весь* свои замки повезетъ въ Харьковъ, а не въ Сибирь, не въ Алатырь, куда тоже, пожалуй, дорогу поведутъ?

— Непремѣнно въ Харьковъ. Торговля, душа моя, это такая вещь, что гдѣ вѣрнѣе и быстрѣе ожидается оборотъ, туда она и тянетъ. Вездѣ хоть гвоздь сдѣлать умѣютъ; вездѣ есть свои слесаря, а слѣдовательно и замки; въ Харьковѣ ничего и въ заводѣ нѣтъ. Есть только сало.

— Да, коли такъ, то дѣйствительно... Ну, а какъ насчетъ пассажирскаго движенія?

— Мужичья будетъ ѣздить пропасть. Вотъ первый и второй классы — эти будутъ прихрамывать. Видишь, я не скрываю отъ тебя и слабыхъ сторонъ моей дороги.

— Но въ такомъ случаѣ нельзя ли устроить такъ?.. Просить—такъ просить. Объявить, напримѣръ, обязательнымъ, чтобы однажды въ годъ *весь* Харьковъ побывалъ въ Нижнемъ и *весь* Нижній—въ Харьковѣ. Ну, пикники, что ли, такіе объ масляницѣ и Святой устроить...

— А въ имѣніи у меня полчаса остановки: блины, куличи, яйца... Да, это ид-де-я! Только трудненько будетъ ее провести съ нашимъ русскимъ сквалыжничествомъ. У меня, впрочемъ, тоже проектецъ про запасъ припасенъ, но ужъ не знаю...

— Въ чемъ же онъ состоитъ?

— Да очень просто: обложить каждаго пассажира обязательно по двугривенничку на предметъ вознагражденія за увѣчья и смерть. Необременительно, а для пассажировъ—прямая выгода: обезпеченіе въ будущемъ. За увѣчья

будемъ платить по таксѣ; за смерть—смотря по человѣку. За крестьянскую бабу и ста рублей за глаза довольно.

— И выгодно это для васъ будетъ?

— Ничего, дѣтишкамъ на молочишко останется. Предположить, что по дорогѣ проѣдетъ—ну, мало триста тысячъ человѣкъ въ годъ. Съ каждаго по двугривенному — это шестьдесятъ тысячъ рублей. А заплатимъ за увѣчья многомного пять тысячъ.

— Ахъ!

— Да, голубчикъ, на все требуется смѣтка, все нужно предвидѣть и взвѣсить заранѣе — тогда и будетъ все ладно. А впрочемъ, соловья баснями не кормятъ. Пора и въ походъ.

Цѣлый мѣсяцъ послѣ того дядя прожилъ въ Петербургѣ, и я его видѣлъ только урывками. Вставалъ спозаранокъ, пилъ чай одинъ и исчезалъ на цѣлый день. Сначала онъ мнѣ кое-что разсказывалъ, но потомъ замолкъ. Стороной я слышалъ, что онъ былъ у Губошлепова, но тотъ отвѣчалъ, что у него своихъ дѣловъ по горло, а чужими заниматься недосугъ. Тогда дядя напомнилъ ему про былое.

— Что было, то быльемъ поросло, — равнодушно отвѣтилъ ему Губошлеповъ:—вмѣстѣ горы рыли, и вы пользовались достаточно. А теперь я желаю.

Одинъ изъ бывшихъ сослуживцевъ,—теперь уже власть имущій,—къ которому онъ тоже явился, сказалъ:

— Проектъ твой превосходный, и я даже удивляюсь, какъ никому прежде не пришло на умъ... Харьковъ, Нижній—это именно... Къ сожалѣнію, ты опоздалъ. Наше казначейство такъ скудно средствами, что можетъ удѣлить намъ лишь нѣсколько милліоновъ въ годъ. Эти милліоны уже распредѣлены на нѣсколько лѣтъ впередъ, и сѣть утверждена окончательно. Но послѣ, когда все предположенное будетъ выполнено,—милости просимъ!

— Но неужто-жъ нельзя... сверхъ того?

— Невозможно. Не велѣно даже съ представленіями входить.

Дядя бросился къ евреямъ; но тамъ потребовали, чтобы онъ обрѣзался. Къ чести его я могу сказать, что онъ не согласился отступить отъ прародительскихъ вѣрованій.

Тогда онъ началъ искать, нельзя ли найти путь къ чьей-нибудь «любезненькой». «Любезненькую» нашелъ и даже порастрясъ тамъ не мало денегъ. Надежды его оживились...

Но вдругъ онъ явился однажды утромъ къ чаю, махнулъ рукою и сказалъ:

— Сегодня уѣзжаю въ Муромъ!

— Что такъ?

— Сонъ видѣлъ...

Наконецъ я видѣлся съ дядей на этихъ дняхъ. Онъ уже служитъ предводителемъ, извѣстенъ, какъ человѣкъ, который держитъ свое знамя твердо и грозно, и слухи о его благонамѣренномъ нахальствѣ доходили даже до Петербурга. Къ тому же, на этотъ разъ онъ поступилъ толковѣе: не поѣхалъ прямо мозолить глаза своимъ проектомъ, а послалъ его куда слѣдуетъ заблаговременно и успѣлъ заинтересовать. Послѣдовало приглашеніе прибыть въ Петербургъ

— Те... новость! — сказалъ онъ являясь ко мнѣ на постой.

— Новости... изъ Мурома?

— А ты думалъ, откуда? Нынче и всѣ новости изъ Мурома да изъ Кирсанова. У насъ — источникъ всего а вы, петербургскіе, только пережевываете.

Затѣмъ онъ свезъ просвирку отъ муромскихъ чудотворцевъ и началъ свою пропаганду.

Проектъ его носилъ заглавіе:

ВРЕМЯ НЕ ТЕРПИТЪ!!

Проектъ обновленія.

Въ сущности, это былъ проектъ всеобщаго упраздненія; но такъ какъ нынѣ всѣ уже согласны, что въ упраздненіи-то и заключается обновленіе, то терминологія его была принята безъ особенныхъ затрудненій.

Онъ предлагалъ упразднить все: суды, земство, крестьянское самоуправленіе. Даже исправниковъ и становыхъ приставовъ. О кабакахъ говорилъ съ оговоркой: вредны, но на нихъ зиждится... Всѣ уѣзды онъ дѣлилъ на попечительства, по числу наличныхъ дворянъ-землевладѣльцевъ или ихъ довѣренныхъ, и съ подчиненіемъ всѣхъ попечителей предводителю. Въ рукахъ попечителей перепутана была власть судебная, административная и полицейская. Они завѣдывали народною нравственностью, образованіемъ, зрѣлищами, играми и забавами. Обязаны были устранять вредные обычаи и искоренять сквернословіе. Но преимущественно смотрѣть, чтобъ мужикъ не лѣнился. Своевременно созывать сходки и объяснять крестьянамъ ихъ обязанности

и необходимость повиновенія. За хорошее поведеніе дарить мужикамъ кушаки, а бабамъ—платки

Проектъ былъ простъ и ясенъ, какъ день, и потому не удивительно, что имѣлъ успѣхъ. Фамилія Стрѣлова повторялась въ салонахъ. Его приглашали, съ нимъ совѣщались. Дамочки называли его не иначе, какъ «le bourru bienfaisant». Но, сверхъ того, ему и пообѣщали. Замѣчательно, что и тутъ не обошлось безъ завистниковъ: кто-то шепнулъ о срытой горѣ; но на этотъ разъ извѣтъ не имѣлъ успѣха и даже былъ встрѣченъ съ нѣкоторымъ неудовольствіемъ.

— Всѣ въ свое время горы рыли!—отвѣчали извѣтчику. — То было время, а теперь — другое; господинъ Стрѣловъ понялъ это лучше, нежели кто-нибудь, и конечно...

Дядя ходилъ радостный и полный надеждъ. Проектъ его былъ пріобщенъ къ числу прочихъ, съ тѣмъ, что его примутъ въ соображеніе въ своемъ мѣстѣ и въ свое время. Пройдутъ десятки лѣтъ, народится новое поколѣніе, и какой-нибудь трудолюбивый собиратель старинныхъ курьезовъ прочтетъ его и напечатаетъ съ эпиграфомъ:

Вотъ какъ жили при Аскольдѣ
Наши дѣды и отцы...

Словомъ сказать, жизнь вновь улыбнулась дядѣ, какъ въ эпоху ранней молодости. Ни одного вечера не видалъ я его дома—все на раутахъ среди дамъ или въ мудрой бесѣдѣ со старцами.

Но здѣсь я долженъ оговориться и поспѣшить приведеніемъ этой исторіи къ концу. Исторія вообще (въ томъ числѣ и настоящая) обязана относиться къ современности сдержанно. Нѣтъ ничего раздражительнѣе, какъ современность, и историкъ напрасно будетъ усиливаться въ соблюденіи справедливости при оцѣнкѣ фактовъ. Его всегда упрекнутъ въ пристрастіи. Еще Гоголь сказалъ: напиши что-нибудь про одного титулярнаго совѣтника—всѣ титулярные совѣтники примутъ на свой счетъ. Точно такъ и тутъ: напишите какую угодно небылицу—всѣ современныя небылицы въ лицахъ примутъ на свой счетъ.

Кончаю. Въ заключеніе скажу только, что дядя Захаръ теперь фигурируетъ въ губерніи, величается вашествомъ, и солдаты на тюремной гауптвахтѣ выбѣгаютъ, когда онъ проѣзжаетъ мимо...

Вѣщихъ сновъ онъ не видитъ.

Письмо девятое.

Въ пестрыхъ письмахъ было бы ненатурально не упомянуть о пестрыхъ людяхъ, заполонившихъ въ настоящее время вселенную. Исправляю въ этомъ письмѣ сдѣланный мною пропускъ.

Пестрое время, пестрые люди. Оттого и жить трудно стало; не на кого положиться, не во что вѣрить; вездѣ шатаніе, пустодушіе, пестрота. Чего не ждешь, то именно и случится; отъ кого не чаешь—тотъ именно и стукнетъ тебѣ по темени. Дурное, спутанное время. Проворовались людишки, остатки совѣсти потеряли.

Общій признакъ, по которому можно отличать пестрыхъ людей, состоитъ въ томъ, что они совѣсть свою до дыръ износили. А взамѣнъ выросло у нихъ во рту по два языка, и оба лгутъ иногда по очереди, а иногда—это еще постыднѣе—оба заразъ. Жизнь ихъ представляетъ перепутанную, безсвязную и не согрѣтую внутреннимъ смысломъ театральную пьесу, содержаніе которой исключительно исчерпывается переодѣваніемъ. Всѣмъ они въ теченіе своей жизни были: и поборниками ежовой рукавицы, и либералами, и западниками, и народниками, даже «сицилистами», какъ теперь говорятъ. Но нигдѣ не оставили ни скрупула своей души, потому что оставить было нечего. Все ихъ искусство всегда состояло въ томъ, чтобы выждать потребный моментъ и какъ можно проворнѣе переодѣться и загримироваться. Словомъ сказать, это вполнѣ оголтѣлые, въ нравственномъ отношеніи, люди, у которыхъ что ни слово, то обманъ, что ни шагъ, то вѣроломство, что ни поступокъ, то предательство и измѣна.

За всѣмъ тѣмъ необходимо различать три сорта пестрыхъ людей. Во-первыхъ, тѣ, которые сами себѣ выработали пестрое сердце и пестрый умъ и преднамѣренно освободили себя отъ всѣхъ стѣсненій совѣсти. Это коноводы и зачинщики. Они пишутъ передовыя статьи, шныряютъ по улицамъ, забираются въ публичныя мѣста, пишутъ доносы, проникаютъ въ переднія власть имѣющихъ лицъ — и вездѣ каркаютъ, вездѣ призываютъ кару. И въ либеральномъ смыслѣ каркаютъ, и въ ежово-рукавичномъ, хотя въ послѣднемъ уже по тому одному энергичнѣе, что самое представленіе объ ежовой рукавицѣ необходимо сплетается съ представленіемъ объ энергіи. По наружному виду ихъ можно

сквѣ онъ успѣлъ пріютиться подъ крылышко одной изъ дамъ-патронессъ, очень еще интересной старушки, и черезъ нее пробился въ славянофильскій кружокъ. И тутъ онъ выдающейся роли себѣ не нашелъ, а былъ только «вхожъ»,—и за это спасибо. Славянофилы того времени были люди богатые, титулованные, имѣли въ Петербургѣ связи и родство и жили подъ прикрытіемъ митрополичьей рясы. Скорнякову не понравились, однако-жъ, ихъ напыщенность, чванство и семинарская надменность, но онъ рѣшился терпѣть во имя будущаго и вскорѣ сдѣлался ревностнымъ прозелитомъ. Писалъ въ «Москвитянинѣ» филиппики противъ западниковъ и громилъ послѣднихъ на чемъ свѣтъ стоитъ. Хомяковъ ему улыбался, Юрій Самаринъ подавалъ два пальца, Погодинъ показалъ свое книгохранилище (вмѣсто гонорара за статьи), Константинъ Аксаковъ цѣловалъ. Въ заключеніе патронесса опредѣлила его чиновникомъ особыхъ порученій къ важному лицу.

Здѣсь онъ чуть-было опять не сдѣлался западникомъ, потому что важное лицо не любило славянофиловъ и называло ихъ кутейниками. Но оно же не любило и западниковъ, подозрѣвая ихъ въ замыслахъ къ ниспроверженію порядка. Потому Скорняковъ рѣшился сдѣлаться простымъ здоровымъ русскимъ человѣкомъ, такимъ же, какимъ былъ его начальникъ. Съ этою цѣлью онъ выработалъ себѣ особую русскую точку зрѣнія, въ основѣ которой лежало исполненіе предписаній начальства.

Въ это время судьба завела меня въ одинъ изъ отдаленныхъ уголковъ Россіи, гдѣ я пробылъ около восьми лѣтъ, забытый и оставленный. О Скорняковѣ, разумѣется, я никакихъ свѣдѣній не имѣлъ.

1856-й годъ опять насъ столкнулъ. Пошли слухи объ эмансипаціи, и оба мы ликовали, что наконецъ сравнялись съ Европой.

— Вотъ увидишь, какую роль будетъ играть наша община!—восклицалъ онъ.

Мнѣ, впрочемъ, и самому начинало казаться, что община скажетъ что-то новое. «Упраздните крѣпостное право, и сейчасъ же на сцену выступитъ община!»—вотъ какъ тогда говорили всѣ и даже западники, которые стояли тогда во главѣ движенія и уже провидѣли удобство круговой поруки.

Когда все было кончено и новое «Положеніе» издано, Скорняковъ сталъ задумываться. Онъ уже высмотрѣлъ

исподволь людей, которые готовы были появиться на смѣну дѣятелямъ «Положенія», и подъ рукой наводилъ справки.

— Знаешь ли что, — говорилъ онъ мнѣ:—не слишкомъ ли мы поспѣшили? То-есть, ты понимаешь, я совсѣмъ не въ томъ смыслѣ... Это дѣло святое, необходимое... но тѣмъ не менѣе годикъ-другой...

— Эй, Скорняковъ! Виляешь хвостомъ! — возражалъ я, впрочемъ, нимало не сердясь.

— Нѣтъ, совсѣмъ не то. Я только говорю, что бѣдные помѣщики... Вѣдь это все-таки представители нашей культуры...

Вдругъ онъ опять исчезъ изъ Петербурга. Одновременно съ этимъ исчезновеніемъ, на столбцахъ одной «уважаемой» московской газеты начали появляться размашистыя статьи, въ которыхъ проливались слезы въ пользу бѣдныхъ помѣщиковъ, а о мужикѣ разсказывались смѣшные, а отчасти и возмутительные анекдоты. Обвинялись по преимуществу мировые посредники, а за ними и всѣ вообще сочувствующіе новосозданному порядку вещей. Прямо говорилось, что они революціонеры, нивелляторы и подрыватели основъ. Прошли слухи, что въ составленіи этихъ статей, и не безъ косвеннаго поощренія, принимаетъ дѣятельное участіе Скорняковъ. Дѣйствительно, онъ былъ тамъ. Писалъ и спереди, и сзади; спереди—клеветалъ серьезно и убѣжденно, сзади—въ шутливомъ русскомъ тонѣ. Статьи эти были замѣчены.

— Вы имѣете перо,—прогудѣлъ ему нѣкоторый сановникъ:—держите его бодро на страхъ разрушителямъ и на пользу добрымъ порядкамъ. Это теперь нужнѣе, нежели когда-нибудь.

Прошла питейная реформа, но Скорняковъ не соблазнился ею. Онъ говорилъ, что дивидендъ—дѣло преходящее и немного даже зазорное, и что истинное его назначеніе—внутренняя политика, которая, конечно, вознаградитъ его превыше всякихъ дивидендовъ.

И онъ не ошибся. До тѣхъ поръ онъ былъ только многообѣщающимъ бутономъ, но невдолгѣ этотъ бутонъ распустился въ пышный и далеко разливающій ароматъ цвѣтокъ. Карьера его двинулась быстро и блестяще. Прежде всего онъ попалъ въ обрусители. Исполнялъ свято предначертанія, но въ то же время и самъ почтительно представлялъ соображенія. И дѣлалъ это такъ ловко, что предначертателю оставалось только сказать: «вотъ именно моя

мысль, вы именно угадали ее». За эту ловкость и скромность онъ получилъ, кромѣ всего прочаго, хорошій кусокъ пирога и увѣренность, что на будущее время онъ «необходимъ».

Вслѣдъ за тѣмъ онъ опять появился въ Петербургѣ и тутъ уже прогремѣлъ не на шутку. Имя его сдѣлалось страшно, и даже наружность измѣнилась. Лицо обрюзгло и получило коричневый тонъ, глаза горѣли плотоядно; голосъ сдѣлался громкій и вылеталъ какъ изъ пустой бочки. Изъ крокодила благообразнаго выработалось настоящее чудовище. Онъ не перебѣгалъ съ одной стороны улицы на другую, какъ дѣлаютъ болѣе робкіе предатели, но шелъ прямо впередъ, выпячивая грудь, размахивая руками и изрыгая хулу. Однажды онъ встрѣтился со мной на Невскомъ, но даже не поздоровался, хотя мы много лѣтъ не видались, а только погрозилъ мнѣ пальцемъ. Стало-быть, даже относительно стараго однокашника онъ уже не считалъ себя обязаннымъ стѣсняться. Любимою его поговоркою въ то время было: «насъ не обманешь, мы сами тамъ были», — и онъ повторялъ ее съ неизреченнымъ нахальствомъ человѣка, который вполнѣ убѣжденъ, что онъ до того негодяй, что можетъ сказать себѣ: ну, что-жъ, негодяй, такъ негодяй!

Какую массу злыхъ, постыдныхъ и, въ сущности, безполезныхъ дѣлъ совершилъ онъ въ короткое время — это трудно перечислить. Плакали отцы, плакали матери, а онъ, сильный мѣднымъ лбомъ и съ камнемъ въ груди, шелъ дальше и дальше вглубь. Онъ достигъ того адскаго равновѣсія, что уже не мстилъ за свои прежнія переодѣванія, но указывалъ на нихъ какъ на подготовительный матеріалъ: вотъ, молъ, черезъ какую школу я прошелъ! Сами товарищи по ремеслу дивились ему; нѣкоторые его сдерживали, но большинство благоговѣло передъ нимъ.

— Всякій изъ насъ, — говорили они: — имѣетъ какую-нибудь личную исходную точку. Иной сводитъ счеты за прошлыя обиды, другой — ради семьи хлопочетъ, третій — сословный интересъ стережетъ. У Скорнякова — ничего назади нѣтъ. Онъ одинъ какъ перстъ: въ прошломъ никто его не обидѣлъ, никто ничего у него не отнялъ; о сословномъ интересѣ онъ и не знаетъ... Это единственный, въ своемъ родѣ, образецъ опричника безпримѣснаго, надрывающаго себя ради цѣлей, имѣющихъ только абстрактное значеніе.

Судебная реформа тоже не обошлась безъ него; но, разумѣется, онъ предпочелъ стоячую магистратуру сидячей. Отмежевавши себѣ сферу внутренней политики, онъ обвинялъ безоговорочно, хотя болѣе бойко, нежели доказательно. Вмѣсто доказательства и разбора побудительныхъ причинъ, у него были въ запасѣ завѣтныя слова, которыя заграждали уста защитѣ. И чѣмъ чаще пускалъ онъ ихъ въ оборотъ, тѣмъ больше преуспѣвалъ.

— И ничего другого не нужно!—повторяли хоромъ всѣ единомышленники: — коли любишь — прикажи, а не любишь—откажи. Безъ разговоровъ.

Только одинъ выжившій изъ ума членъ англійскаго клуба, князь Селищевъ, ничего не уразумѣвъ изъ разсказовъ про успѣхи Скорнякова, выразился:

— Нынче, куда ни посмотришь—вездѣ хамы да крапивное сѣмя. Прежде были Кочубеи, Панины, Долгорукіе, Голицыны, а нынче—Скорняковы да Боголѣповы. Хамъ онъ, вашъ Скорняковъ, оттого ему и везетъ! А скоро придетъ пора—и санкюлоты явятся. Ça ira... Я ужъ десять лѣтъ въ деревню поэтому не ѣзжу и дѣтей за границей держу...

Конечно, Скорняковъ первый посмѣялся, услышавъ разсказъ объ этой княжеской бутадѣ; однако, на всякій случай, помѣстилъ въ своей записной книжкѣ замѣточку: «князь Селищевъ—выжившій изъ ума старикъ, но дѣти его...»

Въ послѣднее время Скорняковъ, повидимому, угомонился. Пріобрѣлъ прекраснѣйшее (хотя и не первенствующее) служебное положеніе и подаетъ мудрые совѣты. Но изъ всѣхъ его совѣтовъ самый ясный и отчетливый выражается въ двухъ словахъ: «искоренить и истребить». И ему внимаютъ, и, быть-можетъ, недалеко время, когда онъ...

Онъ помнилъ, что князь Селищевъ назвалъ его хамомъ, и крѣпко надѣется, что это званіе послужитъ ему рекомендательнымъ письмомъ. По временамъ глаза его источаютъ блудящіе огни, и онъ безсознательно бормочетъ: «буду—не буду, буду—не буду...»

Будетъ!

Вторая категорія пестрыхъ людей—это люди, замученные жизнью. Жизнь къ нимъ пришла въ видѣ западни, изъ которой они не имѣютъ ни силъ, ни умѣнья выбраться. Попались и бьются тамъ, не подавая голоса.

Въ послѣднее время такихъ людей развелось очень много. Всякій пестрый человѣкъ первой категоріи приводитъ за собой массу подневольныхъ. Живутъ они особнякомъ и при встрѣчѣ съ старыми знакомыми мгновенно исчезаютъ. Но что они переживаютъ, оставаясь одни сами съ собой... что переживаютъ! Каждый день приноситъ имъ къ исполненію новую измѣну, и каждый день они должны вынести эту измѣну на своихъ плечахъ, зная, что это измѣна, проклиная ее и все-таки прикованные къ ней несокрушимою цѣпью. Отбывъ дневную жизненную повинность и подводя ей итоги, они должны сознавать, что все ими сдѣланное чуждо ихъ убѣжденію, что послѣднее затоптано въ грязь... какъ? почему?

А между тѣмъ это убѣжденіе несомнѣнно существовало и даже нѣкогда составляло гордость и радованіе жизни. И какъ нарочно, въ тѣ скорбныя минуты, когда прошлое уже затмилось настоящимъ, когда оно поругано и побито, памятливая совѣсть всего охотнѣе возвращается къ этому прошлому. Припоминаются былыя рѣчи, старые образы... все припоминается, все.

Ходитъ пестрый человѣкъ взадъ и впередъ по комнатѣ до усталости, до изнеможенія. Звонокъ. Пришелъ «посидѣть» знакомецъ изъ «новыхъ». Пришелъ, можетъ-быть, для того, чтобы испытать сердце человѣческое и потомъ сфискалить.

— Ну, вотъ, и вы съ нами,—говоритъ онъ:—не правда ли, такъ-то лучше?

— Да, да, и я... конечно, конечно... Надо же.

— А читали вы записку, которую подалъ L.?

— Да, да, читалъ... прекрасно, прекрасно.

— И какъ тонко дано почувствовать! И въ то же время горячо, съ огонькомъ!

— Да! тонко и въ то же время дѣйствительно... но, впрочемъ, намъ-то что-жъ!

— Какъ что-жъ? Мы вѣдь тоже въ этой колесницѣ значимся! Дѣло, стало-быть, общее.

И такъ далѣе.

Посидитъ знакомецъ, выпьетъ чашку чая и уйдетъ. А новообращенный сядетъ къ рабочему столу и начнетъ подготовлять работу къ завтрашнему дню. Изъ каждой строки этой работы явственно сочится одно слово: искоренить. Прежде онъ былъ сторонникомъ и ревнителемъ женскаго образованія, теперь — придумываетъ подвохи въ ущербъ

ему; прежде онъ видѣлъ въ свободѣ величайшее благо человѣческихъ обществъ, теперь — онъ называетъ ее не иначе какъ разнузданностью; прежде онъ признавалъ судъ общественной совѣсти, какъ наилучшее мѣрило для оцѣнки человѣческихъ дѣяній, теперь — онъ утверждаетъ, что въ основѣ этого суда лежитъ одна анархія. И онъ излагаетъ это отчетисто, ясно, спѣша поспѣть къ сроку, ибо знаетъ, что завтра же всѣ эти новыя измышленія должны быть пущены въ ходъ. Одно только умѣряетъ его стыдъ — это нелѣпость написаннаго и надежда, что сама жизнь отвернется отъ нея.

Какимъ путемъ люди приходятъ къ такой раздвоенности мысли и чувства—все въ этомъ вопросѣ смутно и спутанно. Едва ли, впрочемъ, тутъ не играетъ значительной роли недостатокъ матеріальныхъ средствъ и происходящая отъ того зависимость. Многіе не придаютъ этому факту никакого значенія и даже не безъ презрѣнія отзываются о немъ. И въ большинствѣ случаевъ это презрѣніе идетъ отъ тѣхъ, которые исподлобья пускаютъ жадные взоры на виднѣющійся вдали пирогъ. Но не нужно забывать, что бѣдность и недовольство выброшенныхъ судьбою кускомъ есть фактъ до того безспорный, что ради него возникаютъ не только частныя преступленія, но общественная рознь, междоусобія и всевозможныя неурядицы. А еще менѣе надо забывать, что большинство людей состоитъ не изъ героевъ, а изъ простыхъ смертныхъ. Тамъ, гдѣ герой возвышается до самоотверженія, простой смертный ограничивается однимъ сочувствіемъ, далѣе котораго его экспансивная сила не идетъ. Простой смертный есть зритель по преимуществу, и надо ужъ и то ставить ему въ заслугу, ежели зрѣлище самопожертвованья умиляетъ и согрѣваетъ его сердце любовью къ ближнему.

Затѣмъ въ дѣлѣ подневольной апостазіи имѣютъ громадное значеніе жизненныя ошибки. Служеніе убѣжденію не терпитъ суеты. Оно строго до неумолимости и въ своей логичности не пугается частныхъ крайнихъ выводовъ. Разъ допущенное уклоненіе уводитъ человѣка все дальше и дальше отъ предначертанной линіи, и возвратъ къ исходному пункту дѣлается не только труднымъ, но и немыслимымъ.

Всѣ, которые вышли вмѣстѣ, уже далеко, да и возвратный путь исковерканъ и заваленъ наноснымъ хламомъ до того, что нужны нечеловѣческія усилія, чтобъ пробраться

сквозь трущобу. Приходится или оставаться на томъ мѣстѣ, гдѣ застало самосознаніе, и горько сѣтовать на свое легкомысліе, или идти далѣе, все уклоняясь и уклоняясь, и совсѣмъ отдаться въ жертву мамонѣ.

Наконецъ есть и третья причина: это внезапно охватившая общество со всѣхъ сторонъ паника. Законы, порождающіе панику и управляющіе ею, до сихъ поръ неизвѣстны. Она представляется намъ въ формѣ обезумѣвшаго пса, случайно сорвавшагося съ цѣпи. Она бѣжитъ впередъ, брыжжа бѣшеною слюною и изъязвляя всѣхъ, кто стоитъ на ея пути. Происходитъ общій переполохъ; со дна общества подымаются чудовища. Паренія мысли, идеалы будущаго, чистота души—все погибаетъ въ этомъ адскомъ водоворотѣ, уступая мѣсто бѣшеному лаю и наглому смѣху остервенившихся чудовищъ. И нужно громадную силу воли, чтобы устоять среди этой торжествующей душевной оголтѣлости и не сдѣлаться хотя невольнымъ ея сообщникомъ. Цѣлая масса сложившихъ оружіе идетъ за колесницей побѣдителей, осужденная на рабство. И если бы исторія не указывала на просвѣтъ изъ этой кромѣшной тьмы, то міръ давно былъ бы отданъ въ жертву безнадежности и отчаянію.

Разумѣется, я указалъ здѣсь лишь на самыя характеристическія черты процесса превращенія. Существуетъ множество другихъ, второстепенныхъ и третьестепенныхъ, которыя присущи каждому отдѣльному индивидууму. Но главнымъ двигателемъ все-таки является отсутствіе героизма.

Спрашивается: что такое героизмъ?

Позволяю себѣ думать, что героизмъ представляетъ собой явленіе вполнѣ безспорное лишь въ примѣненіи къ открытіямъ и изобрѣтеніямъ, которыя обнажаютъ тайны природы и дѣлаютъ ихъ доступными для человѣчества. Люди, совершающіе полярныя экспедиціи, проникающіе въ неизвѣданныя страны, люди, проливающіе свѣтъ и благосостояніе въ темныя народныя массы,—вотъ герои, которые, такъ сказать, пишутъ исторію человѣчества и производятъ въ его судьбахъ дѣйствительные повороты. Что же касается до героизма политическаго, то это — явленіе преходящее, вызываемое данной минутой. И, быть-можетъ, недалеко время, когда въ немъ не будетъ больше надобности. Исчезнутъ истязанія, умолкнутъ войны—и тогда поистинѣ наступитъ «время, всѣхъ освѣщающее».

Третья категорія—это plebs, или, какъ говорятъ въ сельскомъ хозяйствѣ, живой рабочій инвентарь. Это—матеріалъ, который всякое новое вѣяніе находитъ готовымъ. Люди эти всѣмъ восхищаются, особливо стилемъ бумагъ и остротою пера. «Вотъ такъ загнулъ!» восклицаютъ они въ восторгѣ: «поди, расхлебай!» Сплошной массой наполняя канцеляріи, они до того сродняются съ атмосферой «своего мѣста», что перестаютъ даже различать, чѣмъ пахнетъ.

Грибоѣдовъ воспроизвелъ этотъ типъ въ своемъ безсмертномъ Молчалинѣ. Это человѣкъ, въ пеленкахъ познавшій натискъ судьбы и потому готовый отдать себя въ рабство кому угодно и куда угодно, готовый поклониться и истинному Богу, и пустому идолу, не имѣя ни способности, ни навыка проникать въ сущность вещей. Одно качество, которое до извѣстной степени смягчаетъ его суетливую готовность—это отсутствіе злостности. Все въ дѣятельности этихъ людей запечатлѣно неразумѣніемъ и твердой рѣшимостью удержать за собой тотъ нищенскій кусокъ, который имъ выбросила судьба. Это неразумѣніе, эта прирожденная, несознанная приниженность спасаетъ ихъ отъ проклятій.

Тѣмъ не менѣе внѣшніе признаки, въ которыхъ выражается то или другое вѣяніе, они отличаютъ прекрасно. Знаютъ, что Петръ Иванычъ—не то, что Ѳедоръ Семенычъ, что каждый изъ нихъ «загибаетъ» по-своему, и что за каждымъ слѣдуетъ своя свита. Понимаютъ, что когда Петръ Иванычъ въ ходу, то Ѳедора Семеныча съ его свитой слѣдуетъ избѣгать—и наоборотъ. Умѣютъ опускать очи при встрѣчѣ, дѣлать видъ, что не узнаютъ или не замѣчаютъ, охотно прислушиваются къ слухамъ и въ особенности выказываютъ тревожное расположеніе духа передъ праздниками, когда Петры Иванычи смѣняютъ Ѳедоровъ Семенычей, а Ѳедоры Семенычи—Петровъ Иванычей. Не то чтобъ они видѣли впереди какую-нибудь угрозу—«безъ насъ не обойдутся!»—говорятъ они съ гордостью,—но все-таки надо хотя наканунѣ почиститься и перемѣнить бѣлье, чтобы хоть по наружности предстать въ новомъ образѣ.

Дѣятельной роли они не играютъ. Встаютъ съ мѣста, когда входитъ начальство, и садятся, когда оно уходитъ. Ежели начальникъ—бель-омъ, то они радуются; ежели начальникъ маленькій и мозглявый, то и тутъ не печалятся, а говорятъ: «птичка невеличка, да ноготокъ востёръ». Всѣ начальники хороши, и все идетъ прекрасно въ наилучшемъ

изъ міровъ. Перѣдко имъ приходится совершать дѣла прямо вредныя; но такъ какъ сущность вещей закрыта для нихъ, то они всю свою дѣятельность вообще прикрываютъ словомъ: «мѣропріятіе» и затѣмъ никакихъ душевныхъ тревогъ уже не ощущаютъ.

Ни въ обществѣ, ни въ публичныхъ мѣстахъ ихъ не встрѣтишь, кромѣ извѣстныхъ улицъ, которыя въ опредѣленные часы бываютъ запружены ими. Издали видно, какъ въ толпѣ людей всякаго наименованія спѣшитъ маленькій пестрый человѣкъ въ «свое мѣсто», чтобы за утро пустить нѣсколько стрѣлъ въ невѣдомое пространство. Куда летятъ эти стрѣлы, кого онѣ уязвляютъ—это тайна, въ которую онъ никогда не проникаетъ.

Дома онъ счастливъ. Разсказываетъ ходячіе канцелярскіе анекдоты и восхищается начальствомъ.

— Какая сегодня записка насчетъ либераловъ къ намъ отъ NN поступила—просто романъ!—сообщаетъ онъ женѣ.

— Расчухали наконецъ!—радуется и жена.

— Да, пора-таки, а не то... Вѣдь отъ нихъ все зло пошло!

И такъ далѣе.

По праздникамъ онъ рѣжетъ пирогъ той самой рукой, которая невѣдомо кому разбила существованіе. Ежели у него есть дѣти, то онъ радуется на нихъ и спрашиваетъ, хорошо ли учили уроки и довольны ли ими начальники. Этимъ людямъ никогда не приходитъ въ голову, что дѣти могутъ со временемъ ужаснуться той обстановки и тѣхъ разговоровъ, среди которыхъ они выросли. Вообще никакого представленія о той грызущей семейной болѣ, которая сторожитъ ихъ впереди, они не имѣютъ. Идутъ безъ ясно опредѣленной цѣли до тѣхъ поръ, пока боль сама не подкрадется и не заставитъ изойти кровью сердца ихъ. Вмѣстѣ съ этою болью подкрадутся и старческія немощи, и они будутъ изнемогать подъ этимъ двойнымъ бременемъ... опять-таки безъ разумѣнія.

И благо имъ, ибо разумѣніе не устраняетъ и не утишаетъ болей, а только мучительнѣе и мучительнѣе растравляетъ сердечныя раны.

Въ сущности, это прирожденныя жертвы общественнаго темперамента. Общество искони воспитало въ себѣ особую среду и заранѣе обрекло ее. Выходъ изъ нея представляетъ рѣдкую случайность, область которой нѣсколько расширилась лишь въ послѣднее время, благодаря бо̀льшей достуи-

ности публичнаго образованія. Но въ то же время расширилась и область больныхъ мѣстъ.

Повторяю: всѣ три категоріи пестрыхъ людей одинаково вредны, каждая въ своей сферѣ; но люди двухъ послѣднихъ не могутъ не возбуждать сожалѣнія, хотя бы съ той точки зрѣнія, что, въ качествѣ рабовъ, они несутъ только иго апостазіи, не пользуясь ея осязаемыми благами. Въ награду за эту отрицательную заслугу судъ исторіи пройдетъ о нихъ молчаніемъ.

На этомъ я заканчиваю «Пестрыя письма».

НЕДОКОНЧЕННЫЯ БЕСѢДЫ.

(1873—1884 гг.).

ГЛАВА I.

Пріятель мой Глумовъ—человѣкъ очень добрый, но въ то же время до крайности мрачный. Ни одной веселой мысли у него никогда не бываетъ, ни одного такъ-называемаго упованія. Еще будучи въ школѣ, онъ не питалъ ни малѣйшаго довѣрія ни къ профессорамъ, ни къ воспитателямъ. По выходѣ изъ школы, онъ перенесъ тотъ же безнадежный взглядъ и на болѣе обширную сферу жизни. Самое отрадное явленіе жизни, отъ котораго всѣ публицисты приходятъ въ умиленіе, онъ умѣетъ ощипать и сократить до такихъ размѣровъ, что въ результатѣ оказывается или выѣденное яйцо, или пакость. На самыя свѣтлыя чаянія онъ въ одно мгновеніе ока набрасываетъ такой сермяжный мундиръ, что просто хоть не уповай! Это до такой степени тяжело, что когда онъ приходитъ ко мнѣ, человѣку «упованій» по преимуществу, то мнѣ положительно становится не по себѣ.

И не то, чтобы Глумовъ былъ обойденъ судьбою, былъ бѣденъ или по службѣ терпѣлъ неудачи — нѣтъ, въ этомъ отношеніи онъ устроился очень удовлетворительно. А просто ропщетъ—и все тутъ. Придетъ, сядетъ, задумается, обопрется головой объ руку и начнетъ черезъ часъ по ложкѣ задавать самые неожиданные, можно сказать, даже щекотливые вопросы.—Куда дѣвалось наше молодое поколѣніе? Отчего въ настоящее время люди такъ охотно лишаютъ себя жизни? Отчего у насъ нѣтъ критики? Правда ли, что на-дняхъ должно послѣдовать, въ административномъ порядкѣ, окончательное рѣшеніе женскаго вопроса? Правда ли, что въ газетѣ «Чего изволите?» готовится рядъ статей объ учрежденіи единой и нераздѣльной желѣзнодорожной станціи? и т. д. По всѣмъ этимъ вопросамъ онъ разсуждаетъ пространно и озлобленно, и хотя я не разъ пытался поворотить его на путь упованій, но долженъ сознаться, что всѣ мои усилія въ этомъ смыслѣ остались тщетными.

Теперь я бо́льшею частью выслушиваю его молча и только въ случаѣ крайней необходимости играю роль актера, подающаго реплику.

Но, несмотря на постоянно придирчивое настроеніе духа моего пріятеля, я считаю его человѣкомъ въ высшей степени для меня полезнымъ. Мы оба воспитывались въ одномъ и томъ же заведеніи, оба принадлежимъ къ школѣ сороковыхъ годовъ, но онъ пошелъ по пути озлобленія, а я—по пути упованій. Что-жъ! если намъ такъ нравится, то въ этомъ еще большой бѣды нѣтъ. Для меня даже удобно, что мы идемъ разными дорогами, потому что, при моемъ безпечномъ характерѣ, Глумовъ играетъ въ моей жизни роль memento mori, возвращающаго меня къ чувству дѣйствительности. Повидимому, мое существованіе идетъ вполнѣ благополучно, ибо я постоянно живу въ сферѣ сладкой увѣренности, что со временемъ все разъяснится. Вчера я былъ въ Михайловскомъ театрѣ—видѣлъ «La fille de m-me Angot»; сегодня иду въ театръ Буффъ—увижу «La fille de m-me Angot»; завтра отправляюсь въ Маріинскій театръ—и опять возобновляю въ своей памяти «La fille de m-me Angot». Что̀ можетъ быть благополучнѣе этого не разнообразнаго, но зато совершенно вѣрнаго благополучія! Нѣтъ у меня ни митинговъ, ни парламентовъ, зато есть «La fille de m-me Angot» въ трехъ интерпретаціяхъ; а быть-можетъ—на милость образца нѣтъ!—будетъ и «Tymbale d'argent». Хожу я безпечно по солнечной сторонѣ Невскаго проспекта и напѣваю:

Pour qu'on admire tes appas,
Il faut que les miens ne se montrent pas!

—и вдругъ, несмотря на полнѣйшее благополучіе, чувствую, что мнѣ чего-то хочется. Чего именно хочется—этого, по безпечности характера, я и самъ съ достовѣрностью опредѣлить не могу. Можетъ-быть, хочется парламента (съ жиру какія фантазіи не забредутъ въ голову?); можетъ-быть, съѣсть чего-нибудь; можетъ-быть, опять послушать «La fille de m-me Angot» въ четвертой интерпретаціи; можетъ-быть, забраться въ какую-нибудь канцелярскую комиссію и тамъ заснуть... Но заснуть...

...не тѣмъ холоднымъ сномъ могилы,

а такъ, чтобъ и день, и ночь надо мною заливались канцелярскіе соловьи...

И вотъ, въ эту-то тяжкую минуту недоумѣній, когда я отъ нечего-дѣлать готовъ освѣдомиться у перваго встрѣч-

наго, на какой улицѣ помѣщается нашъ парламентъ, со мною равняется мой озлобленный другъ и озадачиваетъ меня вопросомъ:

— Да скоро ли же наконецъ начнется печатаніе ряда статей о единой и нераздѣльной желѣзнодорожной станціи? Что они мямлятъ!

Услышавши этотъ вопросъ, я вдругъ возвращаюсь къ чувству дѣйствительности и начинаю понимать, чего мнѣ хочется. Да, говорю я себѣ, не нужно для моего благополучія ни парламентовъ, ни митинговъ, ни земскихъ собраній! А нужно только, чтобъ газета «Чего изволите?» каждый день неупустительно твердила мнѣ, что Россія тогда только будетъ счастлива, когда вполнѣ исчерпается вопросъ о необходимости учрежденія единой и нераздѣльной желѣзнодорожной станціи.

«Господи!—думаю я:—сколько разнообразнѣйшихъ эпизодовъ заключаетъ въ себѣ этотъ, повидимому, бросовый вопросъ! У скольнихъ читателей можно будетъ вымотать душу, если умненько развивать его и не торопясь доводить до предѣловъ послѣдней ясности!»

Такъ вотъ объ этомъ-то пріятелѣ я и намѣреваюсь отъ времени до времени бесѣдовать, или, лучше сказать, не столько о немъ самомъ, сколько о тѣхъ мрачныхъ вопросахъ, которыми онъ имѣетъ обыкновеніе возвращать меня къ чувству дѣйствительности. Если обстоятельства позволятъ, я постепенно переберу бо́льшую часть занимавшихъ насъ вопросовъ, а чтобъ не откладывать дѣла въ долгій ящикъ, начинаю теперь же съ одного изъ капитальнѣйшихъ: куда дѣвалось наше молодое поколѣніе?

На-дняхъ приходитъ ко мнѣ Глумовъ, какъ-то особенно мрачно настроенный. Садится, подпираетъ рукой голову, закуриваетъ сигару и начинаетъ исподволь рычать.

— Чортъ знаетъ что́ дѣлается! Отвратительно становится жить!—разражается онъ наконецъ.

Я сижу какъ на иголкахъ, въ ожиданіи, что вотъ-вотъ онъ сейчасъ огорошитъ меня.

— Правда ли,—говоритъ онъ наконецъ, съ трудомъ сдерживая свой гнѣвъ:—правда ли, что газета «Чего изволите?» предполагаетъ въ будущемъ году украшать столбцы полнымъ переводомъ заграничныхъ путеводителей Бедекера?

— Послушай, мой другъ! Отчего у тебя всегда такія унылыя мысли?

— Гм!.. унылыя! почему же ты называешь ихъ унылыми?

— Потому что это наконецъ Богъ знаетъ какой отчаянный скептицизмъ! Кто же когда-нибудь сомнѣвался, что подъ тою или другой формой, а «Чего изволите?« *непремѣнно* напечатаетъ полный переводъ *всѣхъ* «путеводителей» Бедекера!

— Такъ, стало-быть, правда?

— Столь же истинно, какъ и то, что вслѣдъ за Бедекеромъ предполагается перепечатать географію Ободовскаго со всѣми выпусками, сдѣланными цензурою въ первомъ ея изданіи!

Наступило нѣсколько минутъ тягостнѣйшаго молчанія, въ продолженіе котораго лицо моего друга дѣлалось все мрачнѣе и мрачнѣе. Ясно было, что эффектъ, произведенный на меня вопросомъ о Бедекерѣ, не удовлетворилъ его, и что онъ обдумываетъ средства такъ меня огорошить, чтобъ я, какъ говорится, не усидѣлъ, не устоялъ. Наконецъ идея созрѣла. Онъ поднялся съ кресла и почти угрожающимъ тономъ обратился ко мнѣ:

— Ну, чортъ съ нимъ, съ Бедекеромъ! Нѣтъ, ты мнѣ вотъ что̀ скажи: куда дѣвалось наше молодое поколѣніе?

Переходъ былъ такъ неожиданъ, что по началу я не вдругъ собрался съ мыслями. Мнѣ показалось, что я не въ первый разъ слышу этотъ вопросъ, что и въ моей головѣ когда-то мелькало нѣчто подобное. Но отчего же вопросъ этотъ только мелькалъ и ни разу не нашелъ для себя ясной формулы? Оттого ли, что мысль моя слишкомъ робка и лѣнива для разработки подобныхъ сюжетовъ, или оттого, что самый вопросъ неосновательнъ и не имѣетъ никакихъ корней въ современной дѣйствительности?

Вскорѣ однако-жъ я оправился отъ смущенія. Обратившись къ своей памяти, я нашелъ въ ней такую безконечную вереницу молодыхъ адвокатовъ, молодыхъ земскихъ дѣятелей, молодыхъ бюрократовъ, молодыхъ фельетонистовъ (они же, по нуждѣ, и публицисты), что подозрительность моего друга-мизантропа показалась мнѣ просто смѣшнымъ парадоксомъ.

— А наши адвокаты?—началъ я.—Надѣюсь, что ты не будешь отрицать...

— Адвокаты, ты говоришь? Но развѣ ихъ можно называть представителями, а тѣмъ болѣе руководителями интеллигенціи? Люди, которые занимаются отниманіемъ чужой

собственности! Развѣ это свойственное «молодому поколѣнію» занятіе? Развѣ это занятіе вообще?

— Позволь! Ты сказалъ: люди, занимающіеся отниманіемъ чужой собственности! По-моему, это не совсѣмъ вѣрно. Есть, конечно, адвокаты, которые свою дѣятельность посвящаютъ преимущественно отниманію; но я увѣренъ, что есть многіе, которые занимаются не отниманіемъ, а только возвращеніемъ собственности отъ незаконнаго владѣльца къ законному!

— Во-первыхъ, разграничить это очень трудно, если не невозможно. Адвокатъ не исповѣдникъ, и самый честный изъ нихъ не можетъ поручиться, что ему извѣстна интимная сторона дѣла, а между тѣмъ она-то, собственно говоря, и составляетъ настоящую суть. Поэтому ни ты, ни онъ не въ состояніи опредѣлить, гдѣ кончается «отнятіе» и гдѣ начинается «возвращеніе». А во-вторыхъ, это даже и не существенно для меня. Отнимаетъ ли адвокатъ собственность, или возвращаетъ ее,—все-таки онъ занимается ремесломъ, къ которому молодое поколѣніе, взятое въ смыслѣ двигающей интеллигенціи, должно относиться совершенно безразлично.

— Но вѣдь если гражданскій судъ существуетъ, нельзя же его игнорировать, душа моя! Есть истцы, есть отвѣтчики—не можетъ же общество...

— Обойтись безъ адвокатовъ? Совершенно вѣрно. Общество нуждается въ самыхъ разнообразныхъ профессіяхъ, я это понимаю. Но вѣдь есть безчисленное множество молодыхъ сапожниковъ, молодыхъ слесарей, молодыхъ золотарей,—и никому однако-жъ не приходитъ въ голову сопричислять ихъ къ «молодому поколѣнію»! А ежели говорить по совѣсти, такъ, пожалуй, эти почтенные ремесленники имѣютъ даже больше правъ на это названіе, нежели адвокаты. Ихъ мысль не изувѣчена, въ ихъ дѣйствіяхъ нѣтъ злостности. Если сапожникъ шьетъ тебѣ сапоги, то онъ дѣлаетъ это безъ предвзятаго намѣренія устроить у тебя на ногахъ мозоли, между тѣмъ какъ большинство адвокатовъ именно одну мозоль и имѣетъ въ виду.

— Какъ хочешь, но это парадоксъ, mon cher!

— Очень возможно; но я того мнѣнія, что слово: «парадоксъ» глупые люди выдумали. Тѣ люди, которымъ не понутру истина и которые въ то же время не знаютъ, что возразить противъ нея. А, впрочемъ, парадоксъ такъ парадоксъ: меня, братъ, жалкими словами не огорошишь! По-

стараемся быть еще парадоксальнѣе. Хочешь ли ты, напримѣръ, знать, какое старинное ремесло напоминаетъ мнѣ ремесло современныхъ русскихъ адвокатовъ?

— Любопытно...

— Ремесло непомнящихъ родства бродягъ. Эти люди никогда не могли опредѣлить себѣ заранѣе, гдѣ они проведутъ слѣдующій часъ или, по крайней мѣрѣ, слѣдующую ночь. Такъ точно и современный русскій адвокатъ: онъ никогда не можетъ сказать, въ какомъ вертепѣ проведетъ слѣдующій часъ своей жизни, въ вертепѣ ли «возвращенія», или въ вертепѣ «отниманія».

— И опять-таки парадоксъ! Блестящій... но парадоксъ!

Мой другъ взглянулъ на меня удивленными глазами и потянулся за шляпой.

— Блестящій... но парадоксъ!—передразнилъ онъ меня:— и откуда ты выражаться такъ выучился? Ему дѣло говорятъ, а онъ: «блестящій... но парадоксъ!» И кто далъ тебѣ право думать, что я желаю блистать передъ тобой? Прощай.

— Постой! Зачѣмъ уходить! Поговоримъ. Ты знаешь, du choc des opinions...

— Оставь!

— Ну, хорошо, хорошо! Не буду! Но согласись, что и между адвокатами... вѣдь не всѣ же чужую собственность... возвращаютъ! Я знаю очень многихъ, которые даже къ мысли о вознагражденіи относятся безъ особенной страстности, а просто увлекаются тонкостями ремесла. Юридическая практика, душа моя, представляетъ такой разнообразный міръ, который самъ по себѣ можетъ увлечь... право, даже независимо отъ вознагражденія!

— Ну?!

— Есть, братецъ, такіе юридическіе вопросцы, разрѣшеніе которыхъ даже въ общечеловѣческомъ смыслѣ далеко не безполезно. Напримѣръ, представь себѣ, что я обѣщалъ тебѣ подарить что-нибудь—что̀ означаетъ это дѣйствіе? Представляетъ ли оно обязательство, или только обольщеніе? Въ законахъ-то, братъ, на этотъ счетъ бабушка надвое сказала, а между тѣмъ для человѣчества... Какъ же тутъ не увлечься... даже помимо мысли о предстоящемъ вознагражденіи?

— А я, стало-быть, долженъ разыгрывать роль anima vilis, на которой ты будешь упражнять свою юридическую любознательность? Прощай.

— Да постой же. Ну, пожалуй, уступлю тебѣ адвокатовъ. Коли хочешь, уступлю еще бюрократовъ...

— Слава Богу, еще на двугривенный уступилъ!

— Ну, да, уступаю тебѣ и адвокатовъ, и бюрократовъ! Que diable! Въ самомъ дѣлѣ, какое же это «молодое поколѣніе»! Какую двигающую мысль они собой представляютъ! Одни исполняютъ предначертанія начальства, другіе находятъ болѣе выгоднымъ исполнять предначертанія своихъ кліентовъ! Да, я согласенъ: тутъ даже интеллигенціи нѣтъ никакой! Но что ты скажешь, напримѣръ, о нашихъ земскихъ дѣятеляхъ?

— Это о тѣхъ, что ли, что въ земскихъ-то собраніяхъ гудятъ?

— Гудятъ? — опять-таки рѣзкое выраженіе, и ничего больше. Гудятъ или не гудятъ—это вѣдь безразлично, мой другъ! Для насъ важно одно: сила это или не сила?

— Сила... комариная!

— Комариная... позволь! Но вѣдь и комаръ иногда можетъ... вспомни-ка басню о комарѣ и львѣ!

— Такъ вѣдь тотъ комаръ умный былъ, онъ въ самую мякоть залѣзъ, а наши земскіе комары и мѣста-то такія излюбили, откуда ихъ всего удобнѣе смахнуть можно! Смахнулъ—и нѣтъ его! Да и какое это «молодое поколѣніе»! Я, братъ, прошлымъ лѣтомъ въ «своихъ мѣстахъ» былъ, такъ на земское собраніе взглянуть полюбопытствовалъ: все подъ рядъ свое мериньё сидитъ.

— Ну, вотъ видишь, какъ же тебѣ не сказать, что ты парадоксы говоришь! Сивое мериньё!.. Но развѣ у стариковъ не могутъ быть молодыя мысли?

Но Глумовъ даже не отвѣтилъ на мой вопросъ. Онъ ходилъ взадъ и впередъ по кабинету, хмуря брови и что-то вполголоса напѣвая. По временамъ онъ останавливался противъ меня, вперялъ въ меня мутно-сосредоточенный взглядъ и какъ бы машинально произносилъ:

— Душка!

Однако я далеко не сознавалъ себя побѣжденнымъ. Мнѣ даже показалось нѣсколько обиднымъ, что онъ такъ легко относится къ моимъ мнѣніямъ. Душка! что это за слово! развѣ это опроверженіе! И я пустилъ ему въ упоръ:

— Такъ и земскіе дѣятели не угодили тебѣ! Отлично! Люди, которые такъ охотно сами себя облагаютъ сборами... которые такъ смѣло выразились по вопросу о всеобщей воинской повинности... Это не интеллигенція! И не забудь,

что независимо отъ сейчасъ названныхъ вопросовъ у нихъ на плечахъ всѣ мосты и перевозы! И это не интеллигенція... прекрасно! Что же ты послѣ этого скажешь о нашей новой литературѣ? Надѣюсь...

— Надѣйся!

— Душа моя, это не отвѣтъ! Если ты хочешь диспутировать, то диспутируй серьезно! Прежде всего надо уважать мнѣнія своего противника!

— Хорошо. Хоть я и не согласенъ насчетъ «уваженія» (вѣдь уваженіе достается само собой, а не предписывается), но пусть на этотъ разъ будетъ по-твоему. Давай диспутировать. Хочешь ли ты знать, что̀ такое твоя *новая* литература?

— Желаю знать.

— Изволь. Это средней руки кокотка, которая утратила даже сознаніе, что женщинѣ легкаго поведенія больше, нежели всякой другой, необходимо соблюдать опрятность.

— Ого-го!

— Ты не думай однако-жъ, что я говорю это въ видахъ защиты старой литературы нашей. Я знаю, что литература у насъ во всѣ времена занималась гимнастикою недомолвокъ и изнурительнымъ переливаніемъ изъ пустого въ порожнее. Но у старой литературы была извѣстная опрятность, безъ которой податливая женщина дѣлается просто отвратительною. Она умѣла вò-время остановиться, умѣла видѣть въ читателѣ честнаго человѣка. А нынче даже руководящій принципъ опрятности утратилъ свою обязательность.

— И опять-таки пара...— заикнулся-было я, но, вспомнивъ, что употребленіе слова «парадоксъ» строжайше воспрещено, продолжалъ: — подумай однако-жъ, мой другъ, не отзывается ли такой взглядъ на нашу новую литературу слишкомъ исключительнымъ ригоризмомъ? Воля твоя, а это ригоризмъ!

— И «парадоксъ», и «ригоризмъ»—два родные братца. Впрочемъ, это я только къ слову, и если ты окончательно не можешь безъ того обойтись, то сдѣлай милость, уснащай свою рѣчь ригоризмами, парадоксами и вообще всѣми пустопорожними выраженіями, которыми такъ богатъ пѣнкоснимательный лексиконъ. Затѣмъ прошу тебя понять мою мысль. Я самъ не щепетиленъ, и ежели мнѣ приходится выбирать между славословіемъ и сквернословіемъ—я всегда предпочту послѣднее. Что̀ дѣлать, таковъ, братецъ, духъ

русскаго языка! Сквернословіе образнѣе, а образность— слабость моя. Поэтому я не о внѣшней опрятности говорю, которая можетъ нравиться и не нравиться, но которая ни въ какомъ случаѣ не задѣваетъ внутренняго человѣка. Я говорю о той внутренней опрятности, которая заставляетъ человѣка если не бороться съ нечистоплотными мыслями, то, по крайней мѣрѣ, не такъ свободно выбалтываться!

— Примѣровъ, душа моя, примѣровъ!

— Примѣровъ? А какой афоризмъ выработала новѣйшая русская литература, въ качествѣ руководящаго жизненнаго принципа? Этотъ афоризмъ: «наше время—не время широкихъ задачъ». Развѣ это не довольно погано? Съ какимъ словомъ обращалась литература къ нашему «молодому поколѣнію»?..

— Вотъ видишь, ты.. стало-быть, самъ признаешь, что у насъ есть молодое поколѣніе?—перебилъ я.

— Было, да сплыло... но не перебивай; объ этомъ рѣчь еще впереди... Итакъ: съ какимъ словомъ обращалась литература къ «молодому поколѣнію»? Съ словомъ глумленія и много-много съ словомъ дряблаго соболѣзнованія! Укажи мнѣ на то увлеченіе, которое не было бы въ нашей литературѣ забрызгано грязью и не возведено въ квадратъ! Скажи, когда въ другое время литература, сколько-нибудь опрятная, позволила бы себѣ остановиться на мысли, что жизнь есть непрерывная игра въ бирюльки, и кто больше бирюлекъ вытащитъ, тотъ больше и заслужитъ передъ любезнымъ отечествомъ. «Наше время—не время широкихъ задачъ»! И это говорится въ такую минуту, когда ни широкимъ, ни какимъ задачамъ доступа въ литературу нѣтъ! Растолкуй, что̀ это такое: отупѣлость, подвиливаніе или просто глупость?

— Но вѣдь нельзя же, чортъ побери, запрещать людямъ высказывать свои убѣжденія! Если мое убѣжденіе таково, что наше время—не время широкихъ задачъ, то почему же я, изъ-за какихъ-то ложныхъ опасеній, стану воздерживаться и насиловать себя?

— Да по тому же закону приличія, по которому ты воздерживаешься отъ нѣкоторыхъ естественныхъ отправленій въ публичныхъ мѣстахъ. Но если таково твое *убѣжденіе*...

— Постой. Я совсѣмъ не говорю, что это мое убѣжденіе. Напротивъ, я самъ всегда говорилъ, что приведенная тобой фраза черезчуръ уже рѣшительна. Я сознаюсь, что можно бы и другую форму употребить.., а пожалуй даже

и никакой формы не употреблять... Но вѣдь ежели отбросить форму, ежели взглянуть только на сущность... согласитесь, qu'au fond il y a du vrai dans tout cecі!

Но онъ опять оставилъ мое возраженіе безъ отвѣта и молча ходилъ по кабинету, такъ что я имѣлъ нелѣпый видъ человѣка, говорящаго «мысли вслухъ», адресуемыя въ пространство. Можетъ-быть, его разсердила моя заключительная французская фраза. Онъ всегда говорилъ мнѣ, что я съ своими французскими фразами, пересыпанными «парадоксами», «ригоризмами» и проч., представляю счастливое сочетаніе кокодеса и пѣнкоснимателя. Какъ бы то ни было, но черезъ минуту послѣ того онъ вновь остановился противъ меня, вперилъ въ меня не то безпредметный, не то лукавый взглядъ и, ущипнувъ меня за обѣ щеки (что дѣлать! ради стараго товарищества, я даже эту фамильярность прощаю ему), произнесъ:

— Душка!

Потомъ, проскакавъ на одной ножкѣ изъ одного конца въ другой (что было въ немъ признакомъ рѣдкаго прилива веселости), подпѣвалъ:

Ахъ! не могу я не сознаться!
Но и признаться не могу!

— Въ этихъ словахъ — вся суть современной русской литературы!—сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ.—Тутъ есть все: и малодушіе, исправленное малоумiемъ, и малоуміе, ищущее для себя смягчающихъ обстоятельствъ въ малодушіи!

— Но развѣ ты не знаешь условій нашей литературы. Развѣ не ужаснѣйшее это положеніе: надобно говорить, а говорить нельзя!

— Или, другими словами: хоть тресни, а говори! Прекрасно. Но въ такомъ случаѣ будь же опрятенъ. Не забѣгай, не заискивай! Не гаркай во все горло афоризмовъ, которые ничего, даже состраданія въ литературныхъ меценатахъ, возбудить не могутъ!

— Согласись однако-жъ, что при необходимости говорить ежедневно не мудрено и провраться!

— У кого есть въ головѣ царь, кто выработалъ себѣ извѣстный взглядъ на общность жизненныхъ явленій, тотъ такимъ капитальнымъ образомъ не проврется. Но довольно объ литературѣ. Резюмируемъ нашъ споръ. Изъ трехъ образчиковъ современнаго молодого поколѣнія, на которые ты указалъ, одни занимаются отниманіемъ чужой собствен-

ности; другіе представляютъ собой принципъ безсодержательнаго гудѣнія и комариной силы; третьи, наконецъ, провозглашаютъ: не торопитесь! ждите разъясненій! наше время—не время широкихъ задачъ! Гдѣ же молодое-то поколѣніе?

На этотъ разъ задумался и я. Во мнѣ происходила борьба. Съ одной стороны, слова этого лишеннаго упованій человѣка дѣйствовали на меня заразительно; съ другой—я никакъ не могъ побѣдить въ себѣ мысли: какъ же это такъ, каждый день я гуляю по Невскому и вижу пропасть молодыхъ людей всевозможныхъ оружій,—и вдругъ вопросъ: куда дѣвалось наше молодое поколѣніе?

— Душа моя,—сказалъ я тоскливо:—да сообрази же ты, сдѣлай милость! Вѣдь если бы не существовало молодого поколѣнія, не прекратился ли бы человѣческій родъ?!

— Чудакъ, развѣ я въ жеребячьемъ смыслѣ съ тобой говорю!—отвѣтилъ онъ мнѣ съ истерпѣніемъ.—Я вѣдь знаю, что въ *производителяхъ* нигдѣ никогда недостатка не бывало!

Опять горькое сомнѣніе! Ужели вся эта молодежь, гремящая саблями о тротуары, наполняющая воплями наши суды, изливающая на всю Россію потокъ циркуляровъ, увлекающаяся вопросами о дареніи, объ единоутробіи, объ истинныхъ признакахъ излома, произносящая въ земскихъ собраніяхъ угнетающія рѣчи о неизбѣжности мостовъ и переправъ, добросовѣстно переживающая въ литературѣ вопросы о необходимости ожидать дальнѣйшихъ разъясненій—ужели все это только производители, способные лишь на то, чтобы производить другихъ такихъ же производителей?

Если это такъ, если Глумовъ говоритъ правду, то что же ожидаетъ насъ впереди? Не должна ли, при подобныхъ условіяхъ, самая исторія прекратить теченіе? Положимъ, что наше, то-есть нынѣ дѣйствующее молодое поколѣніе—отпѣтое; допустимъ, что за него, въ смыслѣ двигающей силы, нельзя дать полъ-гроша, но въ такомъ случаѣ какъ же мы живемъ? Вопросы о неизбѣжности мостовъ и перевозовъ, о необходимости ожидать разъясненій—все это вопросы безспорно полезные, но развѣ ими человѣчество живетъ и движется, развѣ они составляютъ содержаніе исторіи? Должна же быть гдѣ-нибудь эта необходимая двигающая сила! Быть-можетъ, она скрывается въ школахъ; быть-можетъ, разъединенная, но умудренная опытомъ, она продолжаетъ дѣло движенія, измѣнивъ лишь обстановку его и

набросивъ на него, до поры до времени, пелену непроницаемости?

— Есть у насъ наконецъ цѣлый міръ учащихся!—рискнулъ замѣтить я.

— Да, есть; есть учащіе, должны быть и учащіеся.

— Неужели же ты и ихъ не причисляешь къ молодому поколѣнію?

— Вотъ видишь ли, любезный другъ, я имѣю привычку говорить только о томъ, что̀ доподлинно знаю, а развѣ можно что-нибудь знать объ учащихся! Учащееся поколѣніе находится внѣ арены исторической жизни; въ массѣ это—матеріалъ, на которомъ такъ или иначе можетъ отразиться духъ современности, но не агентъ этого духа. Взгляни на каплуновъ-пѣнкоснимателей современной литературы, вѣдь и они были когда-то учащимся поколѣніемъ и даже, пожалуй, горѣли энтузіазмомъ къ Грановскому,—а что̀ изъ нихъ вышло?!

— Но если я не ошибаюсь, наша литература именно въ учащихся и видѣла «молодое поколѣніе», когда указывала на нѣкоторыя особенности современной русской жизни?

— Да вѣдь это, братецъ, дѣлалось для того, чтобъ смѣшнѣе вышло. Въ послѣднее время наша литература поставила себѣ новую задачу: изобразить въ смѣшномъ видѣ всѣ цѣли, къ которымъ стремилась передовая мысль. Какимъ образомъ достичь этого? Заставить начальника отдѣленія разсуждать «о пищѣ» по Молешотту и «происхожденіи видовъ» по Дарвину—пожалуй, выйдетъ и смѣшно, но смѣхъ надъ такими «особами» нежелателенъ. Заставить дѣйствительнаго представителя молодого поколѣнія о тѣхъ же предметахъ бесѣдовать—того гляди, не будетъ смѣшно. Стало-быть, лучше всего взять подростка и предоставить ему изъяснять своимъ родителямъ, что они отъ обезьяны происходятъ. И пронзительно, и смѣшно. Вѣдь я же говорилъ тебѣ, что новѣйшая русская литература есть средней руки кокотка, которая позабыла, что для нея прежде всего обязателенъ законъ чистоплотности!

— Однако нельзя же предполагать, чтобы литература такъ нагло лгала. Вѣроятно, было же нѣчто подобное, если даже наша нечуткая литература о томъ засвидѣтельствовала?

— Еще бы не было! Дѣло дѣтское. Но вѣдь подобные факты доказываютъ только одно: что въ обществѣ въ данный моментъ господствуетъ извѣстное направленіе. Если

въ обществѣ царствуетъ вкусъ къ военнымъ упражненіямъ—дѣти маршируютъ, играютъ въ солдатики и бьютъ въ барабаны; если общество озабочено только огражденіемъ общественной безпасности—дѣти фискалятъ, наушничаютъ и т. п.; если въ общество проникаетъ стремленіе провѣрить авторитеты, дотолѣ руководившіе имъ,—дѣти начинаютъ объяснять родителямъ, что они происходятъ отъ обезьянъ. Это вопросъ педагогическій, а не политическій; а потому тотъ, кто хочетъ рисовать общество, а не карикатуру на него, долженъ брать предметомъ для своихъ изслѣдованій взрослыхъ, а не дѣтей.

Такимъ образомъ и эта попытка отстоять существованіе «молодого поколѣнія», въ качествѣ дѣйствующей, двигающей силы, рушилась. Нѣтъ молодого поколѣнія. Есть адвокаты, есть земскіе дѣятели, есть литераторы, сапожники, золотари, производители—все, что̀ угодно, исключая «молодого поколѣнія»!

— Да вѣдь ты сейчасъ же самъ обмолвился, что оно *было*, это искомое «молодое поколѣніе»?—обратился я къ Глумову.

— Не «обмолвился», а говорилъ утвердительно, и теперь утвердительно повторяю: было!

— Гдѣ же оно?

— Это, братъ, исторія длинная и горестная. Можетъ-быть, разскажу ее тебѣ—но *въ другой разъ*...

ГЛАВА II.

Первый часъ утра; вслѣдъ за сильнымъ звонкомъ вбѣгаетъ въ мой кабинетъ Глумовъ, на лицѣ котораго я читаю, что онъ намѣренъ въ чемъ-то поймать или уличить меня.

Наканунѣ мы съ нимъ таки-поспорили. По обыкновенію, онъ предложилъ загадку: отчего умственный уровень упалъ вездѣ, во всѣхъ отрасляхъ человѣческой дѣятельности, исключая желѣзнодорожной?—и по обыкновенію же я отвѣчалъ, что прежде надобно еще доказать пониженіе умственнаго уровня, а потомъ ужъ искать причину, такъ какъ, по мнѣнію моему, умственный уровень не только не понизился, но съ Божьею помощью идетъ все въ гору и въ гору. Въ подтвержденіе я сослался на музыку и ука-

залъ на блестящую плеяду молодыхъ русскихъ композиторовъ, на ея стремленіе осмыслить міръ звуковъ, приспособить его къ точному выраженію разнообразнѣйшихъ жизненныхъ функцій, начиная отъ самыхъ простѣйшихъ и кончая самыми сложными.

— Прежде, — говорилъ я: — музыка выражала только неясныя ощущенія печали и радости, да и тутъ все зависѣло не столько отъ содержанія звуковыхъ сочетаній, сколько отъ замедленія или ускоренія темпа. Теперь же найдены такія звуковыя сочетанія, въ которыхъ можно уложить даже полемику между Сѣченовымъ и Кавелинымъ. И ты ни разу не ошибешься опредѣлить: когда полемизируетъ Сѣченовъ и когда—Кавелинъ.

— То-есть, тебѣ скажетъ Неуважай-Корыто: вотъ это поетъ Сѣченовъ, а это—Кавелинъ,—и ты долженъ вѣрить.

— Нѣтъ, не Неуважай-Корыто, а ты самъ поймешь, что Сѣченовъ—basso profondo, а Кавелинъ—tenore di grazia.

— Да вѣдь и Катковъ, братецъ, basso profondo!

— Ну, нѣтъ, Катковъ—это симфонія особаго рода!

Тѣмъ бы, можетъ-быть, разговоръ нашъ и кончился, но Глумовъ вдругъ запѣлъ. Сначала онъ прогремѣлъ коронаціонный маршъ изъ Мейерберова «Пророка», а вслѣдъ за тѣмъ проурчалъ нѣсколько тактовъ изъ Vorspiel'я къ «Каменному гостю». Продѣлавши это, онъ какъ-то злорадно взглянулъ на меня.

Признаюсь: при всемъ несовершенствѣ голосовыхъ средствъ Глумова, разница была такъ ощутительна, что мнѣ сдѣлалось неловко. Дѣйствительно, думалось мнѣ, есть въ этомъ Vorspiel'ѣ что-то такое, что скорѣе говоритъ о «посѣщеніи города Чебоксаръ холерою», нежели о сказочной Севильѣ и о той теплой, благоухающей ночи, среди которой такъ загадочно и случайно подкашивается жизненная мощь Донъ-Жуана.

— Да ты Неуважай-Корыто знаешь?—вдругъ спросилъ меня Глумовъ.

— Немного знаю, а что?

— Ладно. Завтра скажу.

Онъ ушелъ, не произнеся больше ни слова. Теперь онъ явился.

— Идемъ!—сказалъ онъ, злорадно потирая руки.

— Куда? зачѣмъ?

— Говорю: идемъ!

Черезъ четверть часа мы были въ квартирѣ Неуважай-Корыта. Я съ любопытствомъ осматривался кругомъ, ибо здѣсь, въ этихъ стѣнахъ, разрабатывался типъ той новой музыки, которой предстояло изобразить полемику Сѣченова съ Кавелинымъ. Лично Неуважай-Корыто не былъ композиторомъ (онъ, впрочемъ, сочинилъ музыкальную теорему, подъ названіемъ: «Похвала равнобедренному треугольнику»), но былъ подстрекателемъ и укрывателемъ. Онъ осуществлялъ собой критика-реформатора, котораго день и ночь преслѣдовала мысль объ упраздненіи слова и о замѣнѣ его инструментальною и вокальною музыкой. Мы застали его въ халатѣ, пробующимъ какой-то невиданный инструментъ, купленный съ аукціона въ частномъ ломбардѣ (впослѣдствіи это оказалась балалайка, на которой нѣкогда игралъ Микула Селяниновичъ). Это былъ длинный человѣкъ, съ длиннымъ лицомъ, длиннымъ носомъ, длинными волосами, прямыми прядями падавшими на длинную шею, длинными руками, длинными пальцами и длинными ногами. Халатъ у него былъ длинный, охваченный кругомъ длиннымъ поясомъ съ длинными кистями. Это до такой степени было поразительно, что самый кабинетъ его и все, что въ немъ было, казалось необыкновенно длиннымъ.

— Вотъ тебѣ, Никифоръ Гаврилычъ, новый адептъ!— представилъ меня Глумовъ.

— Очень радъ! очень радъ! Мы немного знакомы, но на почвѣ музыки покуда еще не встрѣчались... позвольте привѣтствовать!

Онъ протянулъ мнѣ обѣ свои длинныя руки и такъ сжалъ мои въ своихъ костлявыхъ пальцахъ, что мнѣ показалось, словно я попалъ въ передѣлъ къ самому «Каменному гостю».

— И скажу вамъ,—продолжалъ онъ:—что вы пожаловали очень кстати, потому что Василій Иванычъ здѣсь.

— Василій Иванычъ? кто же такой этотъ Василій Иванычъ?—легкомысленно спросилъ я.

Неуважай-Корыто сначала удивился и даже откинулся корпусомъ назадъ, но потомъ вспомнилъ нѣчто, ударилъ себя по лбу и снисходительно улыбнулся.

— Да! что-жъ я!—воскликнулъ онъ:—я и забылъ, что вы новичокъ! Вы знаете Мусоргскаго, Римскаго-Корсакова, Кюи—и думаете, что съ васъ этого будетъ! Но мы, ба-

тенька,— совсѣмъ другое дѣло! Мы такъ легко не удовлетворяемся! Мы не отдыхаемъ-съ! Мы ищемъ—и находимъ-съ! И находимъ—Василья Иваныча-съ!

Сказавши это, онъ троекратно вздрогнулъ отъ наслажденія и началъ длинными ногами шагать по длинному кабинету, ежеминутно длинными руками отбрасывая назадъ длинные волосы.

— Да-съ, — продолжалъ онъ:—Василій Иванычъ—это, доложу вамъ, своего рода аэролитъ-съ! Бываетъ это! Бываетъ, что вокругъ царствуетъ полнѣйшее и гнуснѣйшее затишье—и вдругъ словно камнемъ по лбу хватитъ! Это—Василій Иванычъ!

— Да что за Василій Иванычъ такой? откуда ты его выкопалъ?—заинтересовался Глумовъ.

— Ну, нѣтъ! Это покуда еще секретъ! Онъ у насъ еще подъ спудомъ! Вотъ мы его сначала выдержимъ, вышлифуемъ, а потомъ и отдадимъ Ларошамъ на поруганіе!

— По крайней мѣрѣ покажешь ты его намъ?

— Нѣтъ, и не покажу. Услышать вы его услышите, а видѣть—ни-ни. Вотъ онъ у меня здѣсь, въ этой комнатѣ, рядомъ. Съ полчаса тому назадъ онъ позавтракалъ и теперь спитъ. Вообще онъ ведетъ удивительно правильную жизнь: половину дня ѣстъ и спитъ, другую половину на фортепьяно играетъ. Представьте себѣ, онъ никогда никакой книги не читалъ, кромѣ моихъ критическихъ статей да еще полнаго собранія либретто, изданнаго книгопродавцемъ Вольфомъ!

— Но ежели онъ ничего не читалъ, то вѣдь умственный его кругозоръ...

— Долженъ быть ограниченъ, хочешь ты сказать? Я совершенно съ тобою согласенъ. Но мы нашли его такъ недавно, что ничего еще не успѣли сдѣлать для умственнаго его развитія; это придетъ со временемъ. Впрочемъ, дѣло не въ томъ, откуда онъ почерпаетъ содержаніе для своего творчества, а въ томъ, что у него есть это содержаніе, и онъ относится къ нему вполнѣ правильно. Жизнь цѣлой вселенной есть не что иное, какъ безконечный контрапунктъ—вотъ исходная точка. До сихъ поръ онъ поднялъ только одинъ край завѣсы, онъ наблюлъ только простыя и несложныя явленія, но надобно видѣть, съ какою изумительною осязаемостью онъ ихъ воспроизвелъ! Засимъ, когда онъ отъ простыхъ задачъ постепенно будетъ переходить къ болѣе и болѣе сложнымъ, то самъ собою придетъ

и къ воспроизведенію безконечнаго: это ужъ наша забота, какъ направить его!

При этихъ словахъ онъ инстинктивно оттопырилъ губы и испустилъ звукъ въ родѣ трубнаго. Вѣроятно, подъ вліяніемъ идеи безконечнаго онъ вспомнилъ о страшномъ судѣ.

— Онъ скоро проснется! Вы услышите его!—продолжалъ онъ послѣ кратковременной остановки, подойдя къ спущенной портьерѣ и заглядывая въ сосѣднюю комнату.— Вотъ онъ уже плюнулъ—вѣрный знакъ, что скоро проснется!

И дѣйствительно, не прошло минуты, какъ мы услышали такое чудовищное зѣваніе, что я разомъ перенесся воображеніемъ въ зало Маріинскаго театра въ одно изъ представленій «Псковитянки».

— Каковъ пошибъ зѣвоты!—воскликнулъ Неуважай-Корыто и вдругъ ударилъ себя по лбу:—ба! идея!

Онъ подбѣжалъ къ письменному столу и что-то наскоро написалъ на листѣ бумаги. Потомъ онъ взялъ этотъ листъ и поднесъ его къ моимъ глазамъ. Я прочиталъ: «Симфоническая рапсодія (A-dur): чиновникъ департамента разныхъ податей и сборовъ, зѣвающій надъ чтеніемъ музыкальнаго обозрѣнія г. Ларош а».

— Департаментъ разныхъ податей и сборовъ уже не существуетъ,—сказалъ я:—онъ распался на-двое: на департаментъ окладныхъ сборовъ и департаментъ неокладныхъ сборовъ.

— Благодарю васъ, ваше замѣчаніе важнѣе, нежели вы полагаете! Мы обязаны изображать въ звуковыхъ сочетаніяхъ не только мысли и ощущенія, но и самую обстановку, среди которой они происходятъ, не исключая даже цвѣта и формы вицмундировъ. Все должно быть слажено такъ, чтобъ никто не могъ уличить насъ въ клеветѣ.

Въ это мгновеніе изъ сосѣдней комнаты донесся новый звукъ: Василій Иванычъ отдувался.

— Опять идея!—воскликнулъ Неуважай-Корыто, снова подбѣгая къ письменному столу.

Я прочиталъ: «Симфоническая идиллія (F-moll): Ной, послѣ извѣстнаго злоупотребленія виноградным сокомъ, просыпается и не понимаетъ, что вокругъ него происходитъ».

— Это для Василія Ивановича?

— Да, для него. Разумѣется, постепенно. Сначала онъ обработаетъ тему о чиновникѣ департамента окладныхъ

сборовъ, а потомъ и къ Ною приступитъ. Кстати, не забыть бы, надо купить для Василія Ивановича Священную Исторію...

— Ты, братъ, съ картинками!—посовѣтовалъ Глумовъ.

— Господи! прости наши прегрѣшенія!—вдругъ раздалось въ сосѣдней комнатѣ.

— Слышите! слышите! кажется, онъ говоритъ!—какъ-то испуганно засуетился Неуважай-Корыто.

— Да; а что?

— Онъ никогда... никогда не говоритъ! Это новость! Василій Иванычъ! батюшка! что съ вами?

— Му-у-у!

— Вотъ это—такъ! Онъ всегда выражаетъ свои ощущенія простыми звуками! Иногда это очень оригинально выходитъ. Однажды онъ вдругъ крикнулъ: «ЫЫ!»—и что бы вы думали: сейчасъ же послѣ этого сѣлъ за фортепьяно и импровизировалъ свою безсмертную буффонаду: «Извозчикъ, въ темную ночь отыскивающій потерянный кнутъ»!

— И ты такъ-таки и не покажешь намъ автора этой безсмертной буффонады? — упрекнулъ Глумовъ:—Господи! хоть бы глазкомъ на него взглянуть!

— Нельзя, душа моя! Я тебѣ говорю: онъ подъ спудомъ у насъ! Пускай онъ тамъ, въ той комнатѣ, для насъ поиграетъ, а мы его отсюда послушаемъ! Василій Иванычъ!—крикнулъ онъ:—пришли господа, которые желаютъ васъ послушать! Сыграйте, голубчикъ! И знаете ли что: сыграйте-ка сначала «Поленьку»!

— Го-го-го!—откликнулся Василій Иванычъ.

Мы сѣли всѣ трое на диванъ: Неуважай-Корыто по серединѣ, мы съ Глумовымъ—по бокамъ. Раздался аккордъ.

— Слушайте! слушайте! дишканты! замѣтьте работу дишкантовъ!—шепнулъ намъ Неуважай-Корыто, сдерживая дыханіе.

Дѣйствительно, дишканты работали сильно; Василій Иванычъ необыкновенно быстро перебиралъ пальцами по клавишамъ верхняго регистра, перебиралъ-перебиралъ — и вдругъ простукалъ нѣсколько нотъ въ басу.

— Это—няня Пафнутьевна!—шопотомъ объяснилъ Неуважай-Корыто.

Опять дишканты; щебечутъ, взвизгиваютъ и все словно на одномъ мѣстѣ толкутся, и вдругъ—бумъ!—опять няня Пафнутьевна! Бумъ-бумъ-бумъ!—и снова дишканты! Защебетали, застрекотали—бумъ!—и затѣмъ хаосъ... Руки за-

бѣгали по всей клавіатурѣ, отъ верхняго конца до нижняго—и наоборотъ...

— Поленька поссорилась съ Пафнутьевной...

Пауза. Неуважай-Корыто, не сводя глазъ съ портьеры, хватаетъ насъ обѣими руками за рукава сюртуковъ, какъ бы желаетъ воспрепятствовать, чтобы мы не ушли. Глумовъ открываетъ ротъ, чтобы сказать, но Неуважай-Корыто мгновенно закрываетъ ему ротъ рукою и дѣлаетъ головою жестъ не то умоляющій, не то приказательный. Пауза длится пять минутъ, послѣ чего игра возобновляется. Въ дѣлѣ принимаютъ участіе уже только двѣ самыя верхнія октавы, на пространствѣ которыхъ пальцы Василія Ивановича безъ устали переливаютъ изъ пустого въ порожнее: темпъ постепенно замедляется и впадаетъ въ арпеджіо.

— Поленька проситъ прощенія!—чуть дыша, произноситъ Неуважай-Корыто.

Бумъ!—Пафнутьевна не прощаетъ! Звуки сливаются; дишканты, басы, средній регистръ—все смѣшалось. Руки Василія Ивановича аккордами забѣгали по клавишамъ... бацъ!—кто-то всѣмъ тѣломъ сѣлъ на клавіатуру и извлекъ...

— Это примиреніе!—воскликнулъ Неуважай-Корыто и поднялъ такой громъ ладонями, что можно было подумать, что онѣ у него костяныя.

— Каково?—обратился онъ къ намъ, когда въ сосѣдней комнатѣ водворилась тишина.

— Хорошо, братецъ!—отвѣтилъ Глумовъ:—только вотъ чего я не понимаю: почему это «Поленька», а не «Наденька»?

— Глумовъ! ты ничего не смыслишь! ты не понимаешь даже, что у Наденьки совсѣмъ другой музыкальный образъ, нежели у Поленьки! Наденька мечтательна и сентиментальна, Поленька—бойка и игрива. Наденька никогда не ссорится съ Пафнутьевной, Поленька—на каждомъ шагу! Наденька—F-moll, Поленька—C-dur. Неужели наконецъ это не ясно?

— Ясно-то ясно, а все-таки...

— Глумовъ! ты профанъ! Василій Иванычъ! душенька! Слышите, Глумовъ утверждаетъ, что это «Наденька», а не «Поленька»!

— Цыркъ!

— Вотъ видишь—онъ разсердился! И онъ не будетъ больше играть! Нельзя такъ, душа моя! Вѣдь онъ художникъ, онъ очень на эти вещи чувствителенъ!

— Цыркъ, цыркъ, цыркъ!—раздавалось за портьерой.

— Теперь—кончено, теперь—онъ ни за что не станетъ играть! А кто виноватъ? Нельзя такъ, мой другъ! Ежели ты ничего не смыслишь въ музыкѣ, то это тѣмъ меньше даетъ тебѣ правъ оскорблять человѣка... художника!

— Господи! да развѣ я намѣренно? развѣ я знаю ваши обычаи? Ты бы сказалъ, что сомнѣній не допускается! Хочешь, я у него прощенія попрошу?

— Хорошо, только это еще вопросъ! Онъ—художникъ, а для художника раскаянье—еще не все! Не въ томъ дѣло, что ты просишь забыть о своей опрометчивости, а въ томъ, что тутъ есть прискорбный фактъ, котораго уничтожить нельзя! Это не какой-нибудь Мендельсонъ-Бартольди, у котораго («Гебриды») нельзя понять, море ли плещетъ, или пьяные матросы покачиваются (однако и у него есть уже представленіе о «качкѣ»!—прибавилъ онъ, приложивъ длинный палецъ къ длинному лбу): это Василій Иванычъ... понимаешь? Тотъ Василій Иванычъ, у котораго всякій звукъ такъ типиченъ, такъ ясенъ и реаленъ, что онъ имѣетъ полное право требовать, чтобъ слушатель, безъ всякаго предувѣдомленія, прямо сказалъ: да! это она! это «Поленька»! И ежели нашелся слушатель, который этого не сказалъ, ежели...

— Постой, я все-таки попробую! Можетъ-быть, онъ и проститъ!.. Василій Ивановичъ, батюшка!—обратился Глумовъ по направленію къ сосѣдней комнатѣ:—по глупости вѣдь я! Ну, какая же это «Наденька», ежели вы говорите, что это «Поленька»! Простите же, голубчикъ, да сыграйте еще что-нибудь!

Но Василій Ивановичъ ни однимъ звукомъ не отвѣтилъ на мольбу Глумова. Мы приняли бы это молчаніе въ неблагопріятную сторону, если-бъ Неуважай-Корыто не успокоилъ насъ.

— Не цыркаетъ—значитъ, смягчается!—шепнулъ онъ.—Самолюбивъ онъ у насъ—страшно! У всѣхъ этихъ художниковъ раны какія-то—точно подъ Севастополемъ они изувѣчены! Прикоснись только—бѣда! Просите, просите еще!

— Ты-то что-жъ стоишь! проси!—толкнулъ меня Глумовъ.

— Василій Иванычъ!—началъ я:—за что же я-то наказанъ! Я-то собственно вѣдь ни на минуту даже не усомнился, что это «Поленька»!

— Му-у-у!—слабо раздалось по ту сторону портьеры.

— Ну, вотъ, слава Богу! отлегло!—болѣе знаками, чѣмъ

словами, объяснилъ намъ Неуважай-Корыто и, обратившись къ портьерѣ, громко прибавилъ:—Василій Иванычъ! милѣйшій! и въ самомъ дѣлѣ! сыграйте-ка... ну, что бы такое? Ну, вотъ хоть вашъ «симфоническій tableau de genre»: «Торжество начальника отдѣленія департамента полиціи исполнительной по поводу полученія чина статскаго совѣтника»... Сыграете?

— Го-го-го!

Мы опять въ томъ же порядкѣ усѣлись на диванъ; но Неуважай-Корыто выпятился нѣсколько впередъ и простеръ передъ нами руки.

— Начинается!—шепнулъ онъ.

Tremolo въ нижнемъ регистрѣ, потомъ tremolo въ среднемъ регистрѣ, наконецъ tremolo въ верхнемъ регистрѣ. Pianissimo, piano, sforzando, forte, fortissimo, потомъ diminuendo, piano, pianissimo—разъ десять одно и то же.

— Это *онъ* мечтаетъ. Что лучше,—спрашиваетъ онъ себя:—чинъ статскаго совѣтника или орденъ святыя Анны второй степени?.. Замѣтьте эту фразу: святы-ы-ы-ыя Анны-и! Замѣтьте, какъ онъ вдругъ обрубилъ: Анны-и!

Василій Иванычъ пальцемъ ударяетъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ по клавишамъ—это «переходъ». Затѣмъ слѣдуетъ трель, которая попеременно продѣлывается во всѣхъ регистрахъ и изъ-за которой смутно выступаетъ какой-то мотивъ. Не то «Во лузяхъ», не то «По улицѣ мостовой», не то «Шли наши ребята»...

— *Онъ* охорашивается передъ зеркаломъ... слышите: ззз? — это щетка по головѣ ходитъ... А вотъ и пѣсни... слышите, русская пѣсня раздается?—это *онъ* дѣтство вспоминаетъ... *Онъ*—сынъ попа... слышите эту трель въ дискантѣ—это вица, вица свиститъ!

Минутная пауза («онъ идетъ въ департаментъ!»). Нѣсколько разъ сряду повторяется звукъ, образуемый двумя сосѣдними клавишами, ударяемыми одновременно («онъ пришелъ въ департаментъ и снимаетъ калоши... слышите, пленаютъ!»), потомъ рррр... («это сторожъ Михеичъ харкаетъ!») и вдругъ—бумъ! бумъ-бумъ! бумъ-бумъ!

— Директоръ звонитъ:—въ ужасѣ шепчетъ Неуважай-Корыто.

Coda: отдаленные звуки альпійскаго рожка и тирольской пѣсни... чокъ-чокъ-чокъ!

— Директоръ цѣлуетъ *ее*.

Sforzando, forte, fortissimo... Дискканты звенятъ, средній

регистръ подзваниваетъ, басы рокочутъ... Общій торжественный гимнъ—во вся. Раздаются нѣсколько аккордовъ «Славься!»—и утопаютъ въ невыразимой трескотнѣ.

— Слышите: какофонія—это поздравляютъ его разомъ всѣ прочіе начальники отдѣленія, а также сослуживцы и подчиненные. Слышите: оттолчка въ басу?—это экзекуторъ! Но такъ какъ всѣ они не имѣютъ ни малѣйшаго понятія о правильной постройкѣ звуковыхъ сочетаній, то понятное дѣло, что хоръ выходитъ, какъ говорится, кто въ лѣсъ, кто по дрова...

Первая часть кончена. Послѣ пятиминутнаго антракта начинается вторая часть. Я не буду, впрочемъ, слѣдить за игрой Василія Иваныча, а подѣлюсь съ читателемъ только объясненіями Неуважай-Корыта.

— *Онъ* возвращается домой и передаетъ женѣ о случившемся. Allegro energico, въ которомъ выражается *его* признательность начальству. Слышите? слышите? дишканты! дишканты! Это дѣти веселой гурьбой врываются въ комнату и поздравляютъ отца. Но вотъ и дѣти, и жена уходятъ; *онъ* остается одинъ. Чу! звуки пастушьей свирѣли Lentamente con tranquilezza. Опять отзывается прошлое. Воспоминанія плывутъ, плывутъ... Сѣрый домъ, нетопленная печь, отецъ—попъ, мать—попадья, на столѣ—полштофъ сивухи... Слышите: буль-буль—это они наливаютъ вино... А на дворѣ—*онъ! Онъ* засучилъ рубашонку и шлепаетъ по грязи... шлепъ! шлепъ! шлепъ! Трахъ! полетѣли брызги—*онъ* упалъ въ лужу... слышите: въ дишкантахъ!—это брызги! Вотъ онъ барахтается, а въ это время издали доносится удалая пѣснь дьячка, возвращающагося изъ кабака... Ближе, ближе—и вотъ..

Цѣлый громъ льется на насъ изъ-за портьеры. Я прислушиваюсь и узнаю «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ»... Но подъ пальцами Василія Иваныча она скорѣе похожа на «херувимскую» Львова, нежели на разгульную бурлацкую пѣсню.

— Чи-рикъ! чи-рикъ!—продолжаетъ объяснять Неуважай-Корыто: — allegro giocoso... Это поздравляютъ департаментскіе сторожа. Слышите, какъ отбиваютъ нижнее do—это Михеичъ: а тамъ вверху, словно брызгами, вторитъ ему si-bemol — это разливается директорскій курьеръ Семенчукъ... Пятирублевая бумажка—замѣтьте, какъ мимоходомъ удивительно обрисованъ Дмитрій Донской!—полагаетъ предѣлъ этимъ восторгамъ. Общій гимнъ, на манеръ «Тебе Бога хвалимъ»...

Вторая часть кончена.

Часть третья. Содержаніе ея: пирушка по случаю полученія чина статскаго совѣтника. Подаютъ пирогъ («съ сигомъ и съ капустой! слышите! слышите, какъ запахло! слышите, какъ звякаютъ ножи и вилки, какъ сыплются на тарелки крошки сига, какъ чавкаетъ экзекуторъ Иванъ Михайлычъ?»). Чи-рикъ! чи-рикъ! Agitato. Входитъ отставной, похожій на старинной формы подсвѣчникъ, губернаторъ, находящійся двадцать лѣтъ подъ судомъ и пользующійся лишь половинной пенсіей. Выпивъ предварительно рюмку очищенной, онъ начинаетъ «разсказъ» о претерпѣнныхъ имъ бѣдствіяхъ.—Двадцать лѣтъ, говоритъ онъ, я былъ губернаторомъ и двадцать же (tremolo) лѣтъ нахожусь подъ судомъ! Самое дѣло о моихъ гнусныхъ преступленіяхъ пропало въ сенатѣ, а меня все не рѣша-а-а-а-ютъ, и я все нахожусь на половинной пенсіи! И вотъ теперь, вмѣстѣ съ многими другими генералами, я состою въ качествѣ загонщика при Самуилѣ Соломонычѣ Поляковѣ («Замѣтьте этотъ разсказъ! онъ весь держится на одной нотѣ, то замедляемой, то ускоряемой!»)!—Милости просимъ, ваше прево-о-о-о-сходительство! — говоритъ виновникъ торжества:— хоть я и забылъ васъ пригласить, однако въ такой день и для незванныхъ кусокъ пирога найдется («Замѣтьте эту фразу: «х'ть я и забы-ы-ылъ ва-асъ приг'сить»... а какова язвительность этого sol-dièze! замѣтьте, какъ отодвигаются стулья, чтобы дать мѣсто новому гостю... ррр... ррр... изумительно!»). Опять ѣда; ножи звякаютъ, крошки пирога сыплются. Подаютъ шампанское. Василій Иванычъ по ту сторону, а Неуважай-Корыто по сю сторону портьеры подражаютъ губами хлопанью пробокъ. Входитъ еврей. «Насе вамъ поцтеніе! — подпѣваетъ Неуважай-Корыто:—кольцы, броски хороси! и помада, и духи!» («Понимаете? это, собственно говоря, полемическій пріемъ! Это Мендельсонъ-Бартольди и Мейерберъ... жиды!»). Жида обступаютъ, торгуются съ нимъ и въ заключеніе показываютъ свиное ухо. Жидъ убѣгаетъ. Общій хоръ (alla capella), оканчивающійся приглашеніемъ на преферансъ.

Четвертая часть. Иванъ Михайлычъ объявляетъ семь въ червяхъ. Отставной губернаторъ подсматриваетъ въ карты и, видя, что Иванъ Михайлычъ принялъ туза пикъ за туза червей, провозглашаетъ: «вистую и приглашаю—въ темную!» Мгновенно обнаруживается роковая ошибка. Тріо: «онъ (я) безъ трехъ?»—къ которому незамѣтно присоеди-

няются голоса прочихъ.—Тррахъ!—раздается раздирающій уши звукъ...

— Конецъ еще не додѣланъ,—объясняетъ Неуважай-Корыто:—мы даже не знаемъ, слѣдуетъ ли остановиться на четвертой части, или написать еще съ десятокъ частей. Нѣкоторые изъ «нашихъ» говорятъ, что надо ограничиться четвертой частью, но Василій Иванычъ, а вмѣстѣ съ нимъ и я, полагаемъ, что необходимо продолжать. Не забудьте, что вслѣдъ за праздникомъ у виновника торжества должно послѣдовать приглашеніе отъ Ивана Михайлыча, у котораго кстати жена родила, потомъ приглашеніе (на селедку) отъ находящагося подъ судомъ губернатора, гдѣ гости уличаютъ хозяина въ нечистой игрѣ въ карты; потомъ нашъ герой ѣдетъ благодарить директора (который знакомитъ его съ своею женою), потомъ—министра, и наконецъ, поблагодаривъ всѣхъ, убѣждается, что ему ничего больше не остается, какъ благодарить Создателя. Ежели ограничиться только четырьмя частями, то придется все это оставить. Не правда ли, жалко?

— Да еще какъ жалко-то! Не оставляй! Слушай, у него поясница... надежная?

— Поясница у него—удивительная!

— Пусть продолжаетъ! пускай пишетъ всѣ десять частей!

— Василій Иванычъ, голубчикъ! вотъ и Глумовъ на нашей сторонѣ, онъ тоже говоритъ, что надо продолжать!

— Му-у-у!

— Итакъ, будемъ продолжать! — говоритъ Неуважай Корыто, весело потирая руки.—А теперь, господа, не хотите ли чего-нибудь легонькаго, буфонаду какую-нибудь... напримѣръ: «Извозчикъ, отыскивающій въ темную ночь потерянный кнутъ»?

Но мы уже ничего не слушали. Мы наскоро простились съ гостепріимнымъ хозяиномъ, наскоро накинули шубы на плечи и выбѣжали на улицу.

Нѣкоторое время мы шли подавленные, ошеломленные.

— И ты не хочешь понять, отчего нынче такъ много самоубійствъ!—вдругъ обратился ко мнѣ Глумовъ.—Вотъ хоть бы этотъ самый Василій Иванычъ... Какъ освободится онъ отъ этихъ звуковъ, которые со всѣхъ сторонъ осаждаютъ его, которые, какъ онъ ни бѣги отъ нихъ, все-таки настигнутъ его. Одно средство... прорубь!

ГЛАВА III.

На этотъ разъ Глумовъ пришелъ въ настроеніе самообличенія.

— Да, братъ,— сказалъ онъ: —всѣ мы только по наружности объ какихъ-то новыхъ порядкахъ разглагольствуемъ, а разбери-ка хорошенько: вѣдь мы только и дышимъ тѣмъ, что въ насъ отъ старой закваски осталось, да еще тѣми лазейками, которыя эта закваска отыскиваетъ для себя въ такъ-называемыхъ новыхъ порядкахъ.

— Не черезъ край ли ты, однако-жъ, хватилъ?—возразилъ я:—вѣдь жить тѣмъ, что мы прячемъ, въ чемъ не можемъ открыто сознаться—право, дѣло довольно трудное. Какъ бы ни сильно говорила въ насъ старая закваска, мы все-таки чувствуемъ, что обнаруживать ее не совсѣмъ для насъ удобно: какъ же жить, опираясь на такой сомнительный матеріалъ? Да и сама формальная обстановка современной жизни такъ ужъ сложилась, что волей-неволей приходится оставить старую закваску.

— Что касается до того, что мы не имѣемъ смѣлости открыто обнаруживать живущую въ насъ старую закваску, то это обязываетъ насъ совсѣмъ не къ тому, чтобы разстаться съ нею, а только къ тому, чтобы дѣйствовать исподтишка. Поэтому для своего прикрытія мы выдумали цѣлую безсодержательную фразеологію; мы изобрѣтаемъ каждый день новыя обстановки, въ которыхъ новое представляютъ собственно только формы: однимъ словомъ, потихоньку блудимъ и накостимъ въ руку старинѣ. И ежели все это, взятое вмѣстѣ, дѣйствительно представляетъ очень сомнительный жизненный матеріалъ, то усилія, которыя мы употребляемъ для огражденія его отъ погибели, все-таки доказываютъ, что онъ намъ дорогъ, несмотря на свою негодность. А что касается до вліянія формальной обстановки современной жизни, то само собой разумѣется, что я не полѣзу въ уѣздный судъ съ просьбой, коль скоро знаю, что уѣздные суды упразднены. Это такъ, это вліяніе я признаю.

— Послушай, вѣдь это у тебя ужъ привычка такая—все въ странномъ свѣтѣ представлять. Не одни уѣздные суды, а кой-что и другое. И даже не кой-что, а очень многое. Разумѣется, старики, вотъ какъ мы съ тобой...

— Да я объ старикахъ-то собственно и говорю, потому

что покуда они одни и стоятъ на виду. Что будетъ съ подрастающимъ поколѣніемъ, какъ будетъ оно дѣйствовать и какія чувства проявлять—этого я не знаю, хотя приблизительно и могу догадываться, что оно будетъ лучше, да и ему будетъ лучше. Я говорю о дѣятеляхъ минуты—кто это дѣятели? Вѣдь это, братъ, мы съ тобой, мы, пропитанные насквозь преданіями крѣпостного права, мы, для которыхъ упраздненіе старыхъ судовъ, напримѣръ, означаетъ только, что отнынѣ до такой-то суммы человѣкъ мировому судьѣ подсуденъ, а свыше этой суммы—окружному суду.

— Нѣтъ, съ этимъ я положительно согласиться не могу. Не говоря уже о томъ, что, кромѣ насъ и нашихъ сверстниковъ, въ числѣ современныхъ дѣятелей найдется достаточно молодыхъ людей, почти чуждыхъ преданіямъ крѣпостного права, я утверждаю, что даже мы, старики,—да, и мы измѣнились къ лучшему. Скажу, напримѣръ, про себя. Конечно, отмѣна крѣпостного права встрѣчена была мною съ сочувствіемъ преимущественно съ точки зрѣнія идеальной, какъ величайшая и либеральнѣйшая мѣра нашего времени; конечно, личные матеріальные мои интересы были настолько задѣты ею, что я... ну, да, я сознаюсь въ этомъ... я не могъ не *почувствовать* послѣдствій ея... Но вѣдь въ человѣкѣ есть умъ, душа моя, умъ, который доказываетъ, что въ извѣстныхъ случаяхъ возврата не можетъ быть. Я понялъ, что личное чувство мое должно подчиниться... я убѣдилъ себя, я дѣлалъ въ этомъ смыслѣ усилія.

— И успѣлъ въ этихъ усиліяхъ?

— Да, успѣлъ.

— И никогда тебя не подымало дать подножку новымъ порядкамъ? Никогда, даже инстинктивно, ты не старался утянуть что-нибудь, устроить какую-нибудь возможность... ну, хоть возможность тыкать впередъ руками?

— Никогда!

Глумовъ посмотрѣлъ на меня не то проницательно, не то съ укоромъ, какъ смотрятъ на человѣка, отъ котораго не ждали, чтобъ онъ солгалъ.

— Ну, исполать тебѣ,—произнесъ онъ:—а вотъ я, постепенно объ себѣ размышляючи, знаешь ли, на какое открытіе я набрелъ?

— На какое?

— А на такое, что и до сихъ поръ, несмотря ни на

какіе новые порядки, нѣтъ для меня удовольствія выше, какъ на травлю смотрѣть.

— Какъ такъ?

— Да такъ вотъ. Люблю, братецъ, видѣть, какъ связаннаго человѣка бьютъ. Нѣтъ для моего нутра усладительнѣе этого зрѣлища! Искаженія человѣческаго лица, корчи, подавленные вздохи... прелесть!

— Да гдѣ же ты ухитряешься нынче отыскивать подобныя зрѣлища?

— Вездѣ, голубчикъ, на каждомъ шагу; а чтобъ не захватывать слишкомъ широко, ограничимся хоть камерою суда.

— Помилуй! отправленіе правосудія...

— Отправленіе правосудія—само собой, а травля—сама собой. Въ томъ-то и вещь, душа моя, что отправленіе-то правосудія интересуетъ меня на золотникъ, а отъ травли—у меня дыханіе въ зобу спирается. И я тоже думалъ, какъ крѣпостное-то право рухнуло: ну, думаю, пропали мы теперь! Теперь и досуговъ нашихъ дѣвать намъ некуда, потому что отнынѣ все на тонкой деликатности пойдетъ. И вдругъ меня словно озарило: сѣмъ-ка на уголовное судоговореніе схожу. Пришелъ—и духомъ обновился: такъ на меня изъ старой кладовой и пахнуло. Боже ты мой, какъ они его били! Сперва вышелъ одинъ молодой человѣкъ—и смаху по щекѣ ударилъ; потомъ разбѣжался другой молодой человѣкъ—и вырвалъ клокъ волосъ; потомъ выступилъ развязнымъ шагомъ третій молодой человѣкъ—и запустилъ живого ежа въ глотку; четвертый молодой человѣкъ, ради шутки, всталъ сбоку—и облилъ помоями. Бойко, весело, остроумно, съ полной увѣренностью въ безнаказанности... ахъ, молодые люди!

Я молча выслушалъ эту діатрибу и нѣкоторое время раздумывалъ, что бы такое возразить. Мысль Глумова поражала странностью, почти неожиданностью. Я зналъ очень хорошо, что въ современномъ уголовномъ судопроизводствѣ дѣйствуютъ представители такъ-называемыхъ «сторонъ», которые и устраиваютъ промежъ себя обвинительно-защитительный турниръ, но чтобы можно было по этому случаю набрести на мысль о «травлѣ»—это и въ голову мнѣ не приходило. Поэтому разоблаченье Глумова произвело на меня отуплающее впечатлѣніе. Провѣряя это впечатлѣніе, я не могъ, впрочемъ, не сознаться сейчасъ же, что и во мнѣ таится какое-то словно бы болѣзненное пристрастіе къ со-

временному русскому уголовному процессу. Тѣмъ не менѣе до сихъ поръ я старался объяснить себѣ это явленіе нѣкоторыми сочувственными мнѣ формами, въ которыя этотъ процессъ облеченъ: публичностью, скоростью, равноправностью обвиненія и защиты, наконецъ присутствіемъ присяжныхъ засѣдателей, выражающихъ живую общественную совѣсть. И вотъ является человѣкъ, который говоритъ мнѣ: не то, совсѣмъ не отправленіе правосудія тебя занимаетъ, а травля! Конечно, Глумовъ преувеличиваетъ, но почему же однако, когда я прочитывалъ стенографическіе отчеты, напримѣръ, процессовъ супруговъ Непенинныхъ или игуменьи Митрофаніи, у меня то и дѣло вырывались восклицанія: «молодецъ!» «хорошенько его!» «такъ его, такъ... катай!» Какое отношеніе имѣли эти восклицанія къ «отправленію правосудія»? Не говорило ли во мнѣ въ этомъ случаѣ, напротивъ, то животное чувство травли, которое заставляетъ человѣка сосредоточивать вниманіе исключительно на защитительно-обвинительномъ турнирѣ, совершающемся по поводу процесса, а не на содержаніи самого процесса или на предполагаемомъ исходѣ его?

— Да, братъ, люблю видѣть, какъ связаннаго человѣка бьютъ!—продолжалъ между тѣмъ Глумовъ, какъ бы отвѣчая на мои тайныя размышленія:—да вѣдь и вообще вся наша публика это любитъ и только іезуитствуетъ, ссылаясь на какой-то либерализмъ. Почему, изъ всѣхъ новшествъ современной жизни, она вполнѣ примирилась только съ преобразованнымъ уголовнымъ судопроизводствомъ? Почему ко всему прочему она отнеслась съ тревогой и даже съ желаніемъ подставить ножку, а къ публичной уголовщинѣ стремится съ ненасытной жадностью, и ежели по временамъ и поворачиваетъ, то потому только, что суды-де воровъ и убійцъ слишкомъ часто оправдываютъ: нужно бы ихъ, канальевъ, въ три кнута! А потому, мой другъ, что только уголовная реформа не произвела въ русскомъ человѣкѣ внутренней ломки, что она одна не нарушила его инстинктовъ, одна дозволила ему остаться самимъ собою, то-есть тѣмъ же любителемъ травли, какимъ онъ всегда былъ.

— Душа моя! — собрался я наконецъ съ духомъ: — очевидно, ты смѣшиваешь травлю съ судоговореніемъ и въ тѣхъ спасительныхъ обвинительно-защитительныхъ пререканіяхъ, безъ которыхъ немыслимо произнесеніе правильнаго приговора, видишь...

Но онъ только махнулъ рукой, словно бы отогналъ докучливую муху, и продолжалъ:

— Знаешь ли ты, что я не пропускаю ни одного засѣданія, въ которомъ есть надежда услышать, какъ связанному человѣку кинутъ публично въ глаза, что онъ воръ и злодѣй; что онъ былъ таковымъ въ утробѣ матери и пребудетъ таковымъ до могилы; что онъ попралъ законы Божескіе и человѣческіе; что онъ святотатственной рукой подорвалъ основы, на которыхъ зиждится общественность; что онъ оскорбилъ человѣческую совѣсть; что украденный имъ рубль вопіетъ къ небу; что нужно немедля, сейчасъ же, сію минуту отсѣчь этотъ омерзительный, гангренозный членъ, дабы оградить общественный организмъ отъ ежечасно угрожающаго ему разложенія. Знаешь ли, что, слыша эти горячія слова, я чувствую, что кровь бьетъ въ голову, что еще одна минута, еще одно обвинительное усиліе — и я зарычу, какъ скотина? Знаешь ли ты, что мнѣ даже этого мало, что я всѣ газеты перечитываю, чтобы быть, такъ сказать, очевидцемъ всякаго удара, наносимаго связанному человѣку по всему лицу нашего обширнаго отечества?

— Воля твоя, а ты на себя клеплешь,—прервалъ я:—ты вообще человѣкъ неумѣренный въ выраженіяхъ, и вотъ...

Но онъ, опять-таки не слушая, продолжалъ:

— И никогда,—говорилъ онъ:—зрѣлище травли не было сопряжено съ такими удобствами, какъ теперь. И прежде русскій человѣкъ любилъ взглянуть, какъ бьютъ связаннаго человѣка, но онъ дѣлалъ это келейно, гдѣ-нибудь на конномъ дворѣ, а подъ конецъ, когда уже стали показываться признаки освобожденія, то началъ понимать, что такого рода зрѣлища даже не безопасны. И прежде почтенѣйшая публика охотно смотрѣла на развязку уголовной драмы, въ видѣ торговой казни на площади, но при этомъ она вынуждалась вытерпѣть множество неудобствъ: спозаранку встать, стоять и ждать на открытомъ воздухѣ, подвергаясь неблагопріятнымъ атмосферическимъ вліяніямъ, видѣть обнаженную спину осужденнаго, наблюдать, какъ плеть, свистя въ воздухѣ, симметрически укладываетъ одинъ рубецъ подлѣ другого, пока не образуется сплошной кровавый полумѣсяцъ, и проч., и проч. Все это воздерживало отъ зрѣлищъ, налагало на охотниковъ узду. Теперь это дѣло обставлено удивительнѣйшимъ комфортомъ. Утромъ ты встаешь въ свое время, не торопясь пьешь чай, прочиты-

ваешь газету и въ урочный часъ отправляешься въ судъ. Тамъ ты въ теплой комнатѣ, сидишь на скамьѣ, даешь своему тѣлу то положеніе, какое находишь для себя удобнѣйшимъ, ищешь въ толпѣ знакомыхъ, разсуждаешь, споришь, шутишь. Тссс... вдругъ все замерло! Это онъ... Это «связанный человѣкъ»! Онъ еще не осужденъ, онъ предполагается еще невиннымъ, но по унынію, разлитому въ его лицѣ, ты замѣчаешь, что онъ смутно о чемъ-то догадывается, нѣчто предчувствуетъ. И точно: подожди часъ-другой, и по тому, какъ онъ замечется и скорчится на скамьѣ своей, ты убѣдишься, что самыя горькія его тревоги были ничто въ сравненіи съ огорошившею его дѣйствительностью. А! ты еще не осужденъ! ты еще предполагаешься невиннымъ! Такъ вотъ же тебѣ, вотъ! вотъ! вотъ!

— Но надобно же, чтобъ общество въ лицѣ...

— Постой! знаю я и «общество», и «въ лицѣ» — все знаю. Дай кончить. Корчится «связанный человѣкъ», а между тѣмъ ты не видишь ничего рѣжущаго, ничего бьющаго въ глаза, ничего такого, что̀ могло бы видимымъ, осязательнымъ образомъ быть причиной этихъ корчей. Передъ глазами твоими нѣтъ ни обнаженной спины, ни кроваваго полумѣсяца, ничего такого, что̀ нѣкогда заставляло «даму пріятную во всѣхъ отношеніяхъ» опускать стыдливо глаза. Теперь она можетъ дать волю и зрѣнію, и слуху, потому что дѣйствующимъ лицомъ въ новѣйшей травлѣ является не плеть, а психологія. Подъ дѣйствіемъ ея, обвиняемый (не обвиненный, а обвиняемый!) обливается потомъ, блѣднѣетъ, краснѣетъ, бросаетъ то умоляющіе, то дурацки-угрожающіе взгляды... «Что̀, если этой психологіи повѣрятъ? — мерещится ему: — что̀, если мой защитникъ въ отвѣтъ на эту обвинительную психологію не выдумаетъ такой же защитительной психологіи?» А ты, едва сдерживая дыханіе, не пропускаешь ни одного моментальнаго подергиванья мускуловъ лица, которое обличаетъ разнообразныя нравственныя судороги, *сіе* обуревающія, — и тебѣ не стыдно, и ты не опасаешься, что тебя уличатъ въ звѣрскихъ инстинктахъ, какъ уличали (хоть изрѣдка, да уличали!) нашихъ отцовъ, когда они злоупотребляли помѣщичьей властью. Вотъ видишь: прежде все-таки хоть особенный видъ преступленія былъ, называвшійся «злоупотребленіемъ помѣщичьей власти» и именно означавшій неумѣренную страсть къ травлѣ, а нынче даже и этого нѣтъ. Да и кому же, въ самомъ дѣлѣ, придетъ на умъ вы-

думать такой видъ преступленія, который назывался бы «злоупотребленіемъ хожденія въ суды для присутствованія при уголовныхъ судоговореніяхъ»?

Онъ остановился наконецъ, чтобъ перевести духъ.

— Ну, вотъ видишь ли,—поспѣшилъ я воспользоваться этой паузой: — самъ же ты говоришь, что нѣтъ ни обнаженной спины, ни крови, и хоть, по словамъ твоимъ, все это съ избыткомъ возмѣщается психологіей, но я убѣжденъ, что внутренно ты все-таки согласишься, что тутъ есть разница...

— Разница, разумѣется. Во-первыхъ, психологія казнитъ обвиняемаго, не вынуждая его осужденія, а во-вторыхъ, она принимаетъ въ разсчетъ брезгливость «дамы пріятной во всѣхъ отношеніяхъ» и освобождаетъ ее отъ обязанности выказывать хотя внѣшніе признаки стыда. Разница капитальная.

— Любезный другъ! я не объ дамѣ пріятной во всѣхъ отношеніяхъ говорю: и ей, и тебѣ вольно присутствовать или не присутствовать при уголовномъ судоговореніи. Но я утверждаю, что психологія, какъ средство разобраться въ многоразличіи признаковъ, сопровождающихъ преступленіе, есть все-таки прогрессъ сравнительно съ тѣмъ дѣйствіемъ дикаго самовластія или уединенной канцелярской казуистики, которыя еще такъ недавно творили судъ и расправу по всему лицу земли русской.

— И которыя... впрочемъ, не будемъ вдаваться въ полемику съ «временами возрожденія»... Ты ошибаешься, мой другъ! Психологія въ смыслѣ орудія травли—не только не прогрессъ, но шагъ назадъ. Она менѣе убѣждаетъ, нежели плеть и пощечина, и больнѣе уязвляетъ, ибо захватываетъ не только тѣло человѣка, но и его внутреннее существо. Даже предки наши, вообще не большіе психологи, понимали это и охотно допускали вмѣшательство психологіи въ тѣхъ случаяхъ, когда нужно было совершить что-нибудь дѣйствительно звѣрское, поражающее.

— Надѣюсь, что ты не докажешь этого!

— Не надѣйся. Разумѣется, я не объ тѣхъ временахъ говорю, когда наши предки были чистыми дикарями, когда они, вмѣстѣ съ татарами, печенѣгами, самозванцами и прочими охочими людьми — ихъ же имена Ты, Господи, вѣси! — предавали огню и мечу Россію. Тогда психологіи дѣйствительно не существовало. Подвиги этихъ людей были грубы, составляли, такъ сказать, modus vivendi тѣхъ вре-

менъ и свидѣтельствовали не о преднамѣренной жестокости, а о молодечествѣ и благородной жаждѣ славы. Но какъ только нравы начали смягчаться, такъ тотчасъ же отцы наши догадались, что безъ психологіи обойтись нельзя, и отъ огня и меча перешли къ «застѣнку» и «дыбѣ». Вѣдь допросъ-то съ пристрастіемъ немыслимъ безъ участія психологіи!

— Гм!.. хожденіе по спицамъ, вздержка на дыбу... хороша психологія!

— Не одна вздержка, а съ аккомпанементомъ... — съ аккомпанементомъ психологіи, милый другъ! «Давно ли ты скверный свой замыселъ задумалъ? и кто тебѣ таковое противное дѣло внушилъ? и кому ты оныя скверныя слова говорилъ? и во время тѣхъ разговоровъ не было ли кого еще?»—что это, какъ не психологія? Люди, чуждые психологіи, не допрашиваютъ, они просто бьютъ — и дѣло съ концомъ. Что психологія застѣнка была недостаточно упорная и недостаточно *бьлая* — съ этимъ я, пожалуй, соглашусь: но причина ея слабости заключалась не въ ней самой, а въ тѣснотѣ арены и въ недостаткѣ публичности. Отцы наши сознавали себя слишкомъ властными господами, чтобы доводить истязаніе внутренняго человѣка до конца, при помощи одной, безкровной, бѣлой психологіи. Ихъ раздражало всякое препятствіе, имъ хотѣлось *поскорѣе*... Отсюда— внезапные переходы отъ психологіи къ дыбѣ и спицамъ. «А! психологія-то, видно, не пронимаетъ тебя, такъ попробуй-ка по спицамъ пройтись!» — вотъ какъ разсуждали они. Но это нимало не устраняло идеи объ умѣстности психологическихъ пріемовъ, которые и призывались на помощь во всѣхъ случаяхъ, когда простое наказаніе по тѣлу оказывалось блѣднымъ и сознавалась необходимость болѣе утонченнаго уголовнаго фестиваля.

Итакъ, вотъ оно, вотъ откуда ведетъ начало психологія!— думалось мнѣ, покуда Глумовъ разъяснялъ свою теорію родства психологіи съ пыткой. Прекрасно, но почему же однако вмѣшательство психологическаго разслѣдованія въ сферу тѣлесныхъ истязаній все-таки повсюду принимается, какъ признакъ смягченія нравовъ? Почему даже этотъ слабый проблескъ дѣятельности человѣческой жизни представляетъ уже успѣхъ сравнительно съ той темнотой, которая облекаетъ простыя, безсознательныя заушенія? Не потому ли, что мысль имѣетъ такія разлагающія свойства, передъ которыми все неустойчивое, дрянное обязывается

непремѣнно сойти со сцены и пропасть? Вотъ она какъ будто на первыхъ порахъ и скрасила пытку, но, въ сущности, уничтожила ее. А затѣмъ, конечно, поведетъ свою разлагающую работу и дальше. Ужъ и теперь она изобрѣла чистую, безкровную, *бѣлую* психологію и, можетъ-быть, со временемъ, она же эту самую бѣлую психологію... ну, впрочемъ, тамъ еще что̀ Богъ дастъ! Правда, Глумовъ говоритъ, что эта *бѣлая* психологія и есть самая язвительная... ну, нѣтъ, это онъ вретъ! Конечно, она уязвляетъ не тѣло, а внутреннее существо человѣка, — да какъ же иначе поступить? Вѣдь надо же какъ-нибудь выяснить, выйти изъ лабиринта противорѣчій, которыя, какъ облако, окутываютъ преступленіе? Да и притомъ, ежели существуетъ психологія обвинительная, то рядомъ съ нею существуетъ и психологія защитительная, а слѣдовательно du choc des opinions (знаю я, что Глумовъ недолюбливаетъ этихъ афоризмовъ, да и безъ нихъ, однако, нельзя!)... Съ одной стороны—психологія обвинительная, съ другой—защитительная... нашла коса на камень! чья-то еще возьметъ! А между тѣмъ у меня рубль украли — надо удовлетворить и меня. Конечно, ущербъ не Богъ знаетъ какой, но для меня, какъ для человѣка развитого, важно не рубль отыскать, а то, чтобы идея правды и справедливости была отомщена. Ни я, ни другіе не знаютъ, кто укралъ мой рубль, а между тѣмъ открыть и обличить укравшаго — необходимо, потому что иначе почва ускользнетъ у насъ изъ-подъ ногъ, и никто не будетъ знать, гдѣ кончается пріобрѣтеніе и гдѣ начинается воровство. А какъ же обличить безъ психологіи, какъ доказать подозрѣваемому, что никто другой не можетъ быть воромъ, кромѣ его, не покопавшись въ его внутренностяхъ, не выяснивъ, передъ лицомъ почтеннѣйшей публики, его всегдашнее нравственное тяготѣніе къ воровству? Не спорю: въ этомъ случаѣ могутъ быть недоразумѣнія очень прискорбныя. Можетъ случиться такъ, что сперва обругаютъ человѣка, припомнятъ, что онъ, еще въ школѣ будучи, колбасу у товарища укралъ, а потомъ окажется, что въ данномъ случаѣ онъ совсѣмъ не виноватъ. Но, во-первыхъ, errare humanum est, а во-вторыхъ, «ошибка въ фальшь не ставится». Это не мы выдумали, это сама мудрость вѣковъ говоритъ. А главное все-таки: какъ иначе поступить? Я увѣренъ, что Глумовъ не отвѣтитъ на этотъ вопросъ. Вотъ то-то и есть! Всѣ эти желчные люди, страдающіе недугомъ самообличенія, недовольные ни собой, ни

другими—всѣ они таковы! И тѣ имъ не нравится, и другое не попутру, а спроси-ка: какимъ образомъ въ семъ случаѣ поступить?—они сейчасъ и въ кусты!

— Ужъ на чтѣ, кажется, было аляповато, грубо и пошло наше крѣпостничество, разбросавшееся по деревенскимъ захолустьямъ и медвѣжьимъ угламъ. — продолжалъ умствовать Глумовъ: — а и оно было не чуждо психологіи, какъ средства поставить травлю на извѣстную высоту. Не говоря уже о помѣщикахъ, даже между дворовыми встрѣчались психологи очень искусные. У насъ былъ, напримѣръ, поваръ Кузьма, который собаку Полкана избралъ предметомъ своихъ психологическихъ изслѣдованій. Онъ не бросалъ въ него мимоходомъ осколками кирпича, не ошпаривалъ зря кипяткомъ, какъ обыкновенно дворовые — не-психологи, но создалъ цѣлый мартирологъ, въ основаніи котораго лежала эксплоатація наклонностей и инстинктовъ Полкашки, или, говоря высокимъ слогомъ, истязаніе его внутренняго пса. Задача, впрочемъ, была не трудная, потому что у Полкашки, тѣ у малаго ребенка, всѣ инстинкты спали, кромѣ непреодолимаго стремленія къ ѣдѣ. И Кузьма воспользовался этимъ инстинктомъ широкой рукой. Каждый день, во время поварской работы, онъ по цѣлымъ часамъ бесѣдовалъ съ Полкашкой, ласкалъ его, обольщалъ зрѣлищемъ всевозможныхъ мясныхъ обрѣзковъ, заставлялъ умиляться, взвизгивать, вилять хвостомъ, и вотъ въ тотъ моментъ, когда кушанье было уже отпущено, когда Полкашка уже съ увѣренностью взиралъ на кучу костей, красовавшуюся на столѣ. — Кузьма мгновенно его ошпаривалъ, а кости и обрѣзки выбрасывалъ другимъ собакамъ. И что всего замѣчательнѣе — несмотря на ежедневное повтореніе этой продѣлки, Полкашку такъ и тянуло къ Кузьмѣ. Каждое утро, въ одинъ и тотъ же часъ, онъ являлся на кухню, садился на заднія лапы, присутствовалъ при варенін и жаренін, облизывался, вилялъ хвостомъ, и каждый же день, безъ перемѣны, въ одинъ и тотъ же часъ, получалъ свою порцію кипятку. Надѣюсь, что это была психологія!

— Но надѣюсь также, что ты возмущался... этою психологіей!

— Не помню: я былъ въ то время слишкомъ малъ, чтобъ отдавать себѣ отчетъ въ получаемыхъ впечатлѣніяхъ. Но я знаю навѣрное, что подобная психологія имѣла въ наше время громадное воспитательное вліяніе. Кузьма былъ воистину праотцемъ нынѣшней уголовной психологіи, хотя

совершилъ свою воспитательную задачу въ безвѣстности и исчезъ со сцены никѣмъ неоплаканный. Но я-то вѣдь помню его, и потому каждый разъ, какъ мнѣ приходится присутствовать при современномъ обвинительно-защитительномъ турнирѣ — всякій разъ мнѣ словно живой представляется поваръ Кузьма, ведущій неустанную психологическую игру съ Полканомъ.

— Зачѣмъ же ты ходишь смотрѣть на эти турниры, коль скоро они для тебя омерзительны?

— То-то и есть, что не омерзительны. Разумомъ-то я, пожалуй, и смекаю, что зрѣлище травли не есть человѣка достойно, да нутро вотъ унять не могу. Вѣдь ни домашнее воспитаніе, ни публичная школа просто-на-просто не дали намъ никакихъ идеаловъ, — чѣмъ же тутъ жить? Съ дѣтскихъ лѣтъ нами управляло лишь представленіе о дозволенномъ и недозволенномъ, и такъ какъ понять, почему одно называлось дозволеннымъ, а другое недозволеннымъ, было очень трудно, то весьма естественно, что дисциплина являлась единственнымъ средствомъ, съ помощью котораго можно было регулировать поведеніе молодыхъ людей. Дисциплину эту мы ненавидѣли и употребляли всѣ усилія, чтобъ освободиться отъ нея. Къ чему же привели насъ эти усилія?—съ одной стороны, къ лицемѣрію, съ другой—къ подсматриванью и наматыванью на усъ. Мы рано подсмотрѣли, что въ дѣйствительной жизни первое мѣсто занимала травля. И она нравилась намъ, потому что представляла нѣчто положительное, широкое, возбуждающее, тогда какъ дисциплина вся состояла изъ недомолвокъ. Вспомни, душа моя, что даже наименѣе испорченные изъ нашихъ сверстниковъ—и тѣ только теоретически тяготились видомъ «связаннаго человѣка». На практикѣ же «связанный человѣкъ» до того вошелъ въ обиходъ, что не внушалъ ничего, кромѣ инстинктивныхъ проявленій, свойственныхъ тому или другому темпераменту.

— Замѣть однако, что именно эти-то проявленія и сдѣлались невозможными въ настоящее время.

— Уступаю. Дѣйствительно нынче сфера заушеній матеріальныхъ значительно сузилась. Но, повторяю, все это отлично замѣнено психологіей. Послѣдняя до такой степени усовершенствовалась, что человѣкъ уже не чувствуетъ нужды ни въ матеріальной пыткѣ, ни въ заушеніяхъ. Она сама по себѣ представляетъ высшую пытку, и я увѣренъ, что человѣкъ умственно развитой охотнѣе предпочтетъ даже

незаслуженное наказаніе, лишь бы не заставляли его проходить черезъ психологію, составляющую обязательное преддверіе къ краткому: «да, виновенъ», или, «нѣтъ, невиновенъ», изрекаемому старшиной присяжныхъ засѣдателей.

— Воля твоя, а тутъ есть что-то недосказанное. Положимъ, что та психологія, о которой ты говоришь, имѣетъ свои непріятныя стороны; но ежели это единственно-доступное средство обличить, доказать...

— Въ томъ-то и дѣло, что психологія только дѣлаетъ видъ, что доказываетъ, а въ дѣйствительности ничуть ничего не доказываетъ. Она только для формы признаетъ своимъ исходнымъ пунктомъ суровый фактъ, называемый поличнымъ, но на дѣлѣ сейчасъ же оставляетъ его и сочиняетъ по поводу его романъ,—романъ косвенныхъ уликъ, который по очереди принимаетъ то обвинительный, то защитительный характеръ. Призываютъ, напримѣръ, въ свидѣтели прошлое обвиняемаго и говорятъ: на основаніи такихъ-то и такихъ-то данныхъ, подтвержденныхъ достовѣрными свидѣтельскими показаніями, письмами, журналомъ подсудимаго, его отрывочными, невольно вырвавшимися признаніями, — вы должны считать это прошлое не просто косвенною уликою, но уликой, имѣющей почти характеръ поличнаго. Съ помощью психологическихъ пріемовъ это сдѣлать очень удобно. Психологія или искусно скрываетъ тѣ первоначальныя положенія, изъ которыхъ она выходитъ, или же предлагаетъ ихъ, какъ нѣчто непогрѣшимое и обязательное. Затѣмъ она начинаетъ группировать факты: одни оставляетъ въ тѣни, другіе подводитъ ближе къ свѣту. Въ результатѣ получается очень тонкая, почти кружевная работа, которая можетъ нравиться, но въ которой никакъ нельзя отличить, что̀ правда и что̀ налгано. Но, должно-быть, налгано достаточно, потому что слѣдомъ приходитъ другой психологъ и начинаетъ именно съ того пункта, какъ и его предшественникъ. Этотъ новый психологъ тоже имѣетъ въ запасѣ цѣлый романъ, темою котораго служитъ нравственное перерожденіе. «Я, говоритъ онъ, нимало не отрицаю того интереса, который могутъ имѣть экскурсіи въ прошлое обвиняемаго, и съ наслажденіемъ слѣдилъ за превосходнымъ изслѣдованіемъ моего почтеннаго соспсихолога. Но въ данномъ случаѣ превосходная работа его оказывается сдѣланною втунѣ. Дѣло въ томъ, что незадолго до того момента, когда произошла кража со взломомъ рубля, составляющая предметъ настоящаго судоговоренія, въ под-

судимомъ совершился полный нравственный переломъ, который дѣлаетъ немыслимымъ всякое предположеніе о вліяніи на него его порочнаго прошлаго. Онъ тосковалъ, пилъ, а многіе даже слышали, какъ онъ проклиналъ часъ своего рожденія. Мой соисихологъ коснулся этого факта лишь слегка и для того только, чтобы видѣть въ немъ признакъ нераскаянности. Я же не только не вижу здѣсь нераскаянности, но, напротивъ того, усматриваю несомнѣнные признаки той сердечной боли, которой не можетъ не ощущать человѣкъ, рѣшившійся окончательно разсчитаться съ заблужденіями прошлаго и идти по новой стезѣ». Затѣмъ опять начинается группированье, опять одни факты освѣщаются, другіе оставляются въ тѣни, словомъ сказать, развивается цѣлый романъ... Или вотъ тебѣ еще одинъ примѣръ: человѣкъ совершилъ убійство. Онъ самъ ужъ призналъ себя убійцей, но для психологіи важно опредѣлить — и Христосъ ее знаетъ, зачѣмъ это такъ важно для нея!—съ обдуманнымъ ли намѣреніемъ, или безъ обдуманнаго намѣренія совершено преступленіе. Прежде всего она обращается къ орудію преступленія, которымъ оказывается тяжелая трость съ налитымъ свинцомъ набалдашникомъ. Этою тростью преступникъ прямо угодилъ въ темя своей жертвѣ. Вопросъ: мѣтилъ ли обвиняемый въ темя, или это сдѣлалось случайно, помимо его воли? Подсудимый говоритъ на это: «нѣтъ, я не цѣлился, я очень хорошо помню, что билъ его какъ попало, срывая свой гнѣвъ и не имѣя никакой мысли о нанесеніи смертельнаго удара». Но передъ этимъ тотъ же подсудимый, относительно множества обстоятельствъ, сопровождавшихъ совершеніе преступленія, показалъ, что совершенно ничего не помнитъ. Отсюда поводъ для психологической игры. Одинъ психологъ говоритъ: «какъ! вы *это* помните? Вы забыли вотъ это, вотъ это, вотъ это, вы утеряли изъ памяти всѣ несущественные факты и помните только одинъ фактъ, тотъ, который помогаетъ вамъ выпутаться изъ бѣды!» На это другой психологъ возражаетъ: «то, что кажется страннымъ моему соисихологу, въ сущности представляется явленіемъ очень обыденнымъ въ области психологіи. Душевный міръ есть міръ пробѣловъ по преимуществу, и хотя существованіе ассоціаціи идей не подлежитъ сомнѣнію, но я думаю, что величайшій изъ психологовъ, Шекспиръ,—и тотъ отказался бы слѣдить ее въ такомъ сложномъ, необычайномъ случаѣ. Онъ сказалъ бы: «да, подсудимый *все* забылъ; онъ только

это помнилъ!» Представь себѣ теперь положеніе присяжныхъ при такомъ судоговореніи! Что могутъ они вынести изъ этого разговора, кромѣ мысли, что подсудимый съ обѣихъ сторонъ оболганъ: и въ видахъ обвиненія, и въ видахъ защиты. А еще лучше,—представь себѣ, что и со стороны обвиненія, и со стороны защиты стоятъ лицомъ къ лицу два равносильныхъ Шекспира: каково должно быть положеніе подсудимаго, слышащаго, что его съ двухъ сторонъ возводятъ въ перлъ созданія и дѣлаютъ героемъ двухъ взаимно другъ друга уничтожающихъ романовъ, которые вдобавокъ не имѣютъ ничего общаго съ дѣйствительнымъ романомъ его жизни?

— Гм!.. а хорошо бы Шекспира послушать—вотъ хоть бы на мѣстѣ г. Шайкевича. Какъ ты думаешь, обѣлилъ ли бы Шекспиръ мать Митрофанію, или не обѣлилъ бы?

— Полагаю, что обѣлилъ бы. Онъ сумѣлъ бы нарисовать и поставить фигуры. Но и за всѣмъ тѣмъ это было бы только произведеніе его личнаго художественнаго генія, которое, несмотря на свой оправдательный тонъ, быть-можетъ, гораздо сильнѣе подавило бы мать Митрофанію, нежели даже восхожденіе на Синай, предпринятое г-мъ Плевако. Да знаешь ли, впрочемъ, я думаю, что Шекспиръ одинаково отказался бы и отъ роли защитника, и отъ роли обвинителя. Вѣдь его психологія чувствовала себя гораздо свободнѣе и независимѣе, имѣя подъ руками Гамлета и Ричарда III, нежели тотъ уголовный матеріалъ, который украшаетъ скамьи подсудимыхъ въ современныхъ судахъ.

— Стало-быть, по-твоему, окончательный-то исходъ дѣла зависитъ отъ того, кто кого перевретъ?

— Понимай, какъ знаешь.

— Такъ что ежели я, напримѣръ, совершая преступленіе, имѣю возможность разсчитывать на психологическую помощь Спасовича, то я рискую меньше, нежели другой, которому угрожаетъ психологическая помощь адвоката, назначаемаго отъ казны?

— Стало-быть.

— Однако, братъ, очень печально!

— Печалься; не возбраняется.

— Ну, хорошо; оставимъ печаль въ сторонѣ и резюмируемъ нашъ разговоръ. Изъ сказаннаго тобой выходитъ: во-первыхъ, что мы не только не воспользовались благами возрожденія, но и до сихъ поръ продолжаемъ жить остатками старинной дикости; во-вторыхъ, что характеристическій вы-

разитель этой дикости — травля не упразднилась, но при помощи психологіи получила характеръ болѣе утонченной жестокости и притомъ сдѣлалась, такъ сказать, à la portée de tout le monde. Такъ, кажется?

— Вѣрно.

— Теперь, спрашиваю тебя, отвѣть мнѣ по совѣсти: какъ же, по твоему мнѣнію, въ этомъ случаѣ поступить? что̀ нужно сдѣлать, чтобъ избѣжать этого?

Я формулировалъ этотъ вопросъ не безъ торжественности. По моему мнѣнію, всѣ человѣческія стремленія, негодованія, анализы, утопіи — все это приводится къ вопросу: прекрасно, но какъ въ семъ случаѣ поступить? Поэтому я надѣялся настигнуть Глумова въ послѣднемъ его убѣжищѣ, заставить его перенести дѣло на практическую почву и затѣмъ ужъ поговорить по душѣ о перемѣщеніяхъ и увольненіяхъ, о разъясненіи такой-то статьи и дополненіи такой-то... Но, къ удивленію, Глумовъ не только не тронулся моею торжественностью, но даже отнесся къ ней какъ бы иронически.

— Прежде всего, — сказалъ онъ: — я не вижу никакой надобности «поступать». А потомъ, вѣдь подъ словомъ «поступать» нельзя же разумѣть исключительно: совершить мѣропріятіе, предписать, воспретить, дозволить. Констатировать фактъ — тоже значитъ «поступать». Вотъ я и «поступаю», то-есть констатирую фактъ.

ГЛАВА IV.

Я — русскій литераторъ и потому имѣю двѣ рабскія привычки: во-первыхъ, писать иносказательно и, во-вторыхъ, трепетать.

Привычкѣ писать иносказательно я обязанъ до-реформенному цензурному вѣдомству. Оно до такой степени терзало русскую литературу, какъ будто поклялось стереть ее съ лица земли. Но литература упорствовала въ желаніи жить и потому прибѣгала къ обманнымъ средствамъ. Она и сама преисполнилась рабьимъ духомъ, и заразила тѣмъ же духомъ читателей. Съ одной стороны, появились аллегоріи, съ другой — искусство понимать эти аллегоріи, искусство читать между строками. Создалась особенная, рабская манера писать, которая можетъ быть названа эзоповскою, —

манера, обнаруживавшая замѣчательную изворотливость въ изобрѣтеніи оговорокъ, недомолвокъ, иносказаній и прочихъ обманныхъ средствъ. Цензурное вѣдомство скрежетало зубами, но, въ виду всеобщей мистификаціи, чувствовало себя безсильнымъ и дѣлало безпрерывныя по службѣ упущенія. Публика рабски-восторженно хохотала, хохотала даже тогда, когда цензоровъ сажали на гауптвахту и когда ихъ смѣняли. На мѣсто смѣненныхъ цензоровъ являлись другіе, которыхъ также смѣняли и сажали на гауптвахту. А публика вновь принималась хохотать и зачитывалась статьями, въ родѣ: «Китайскія ассигнаціи», или «Австрійскій министръ финансовъ Брукъ» (см. «Русскій Вѣстникъ», издатель-редакторъ М. Катковъ). И существовала эта манера долго-долго, существуетъ и донынѣ, такъ что объявленіе въ 1866 году воли книгопечатанію почти совсѣмъ не повліяло на нее. Аллегорическій, рабій языкъ продолжаетъ пользоваться правомъ гражданственности, хотя справедливость требуетъ сказать, что современные молодые писатели стараются избѣгать его. Я не берусь опредѣлить, хорошо или дурно они поступаютъ, но думаю, что въ виду общей рабьей складки умовъ аллегорія все еще имѣетъ шансы быть болѣе понятной и убѣдительной и, главное, привлекательной, нежели самая понятная и убѣдительная рѣчь. Ясная рѣчь умѣстна тамъ, гдѣ уже народился читатель, котораго страшными словами не удивишь; но тамъ, гдѣ читатель съ повода и безъ повода привыкъ разѣвать ротъ, тамъ простая и безфигурная рѣчь можетъ только свидѣтельствовать о рабьемъ самомнѣніи и наложить еще новый балластъ на плечи писателя, то-есть ко всѣмъ прочимъ не легкимъ обязанностямъ прибавить еще новую и тягчайшую: обязанность ежемгновенно трепетать.

Привычкѣ трепетать я обязанъ послѣ-реформенному цензурному вѣдомству. Я не стану распространяться о томъ, что̀ именно сдѣлало это послѣднее, чтобы заставить меня трепетать — похвала живымъ можетъ быть принята за лесть—я только констатирую фактъ. Я знаю, что съ тѣхъ поръ, какъ мы получили свободу прессы,—я трепещу. Покуда я пишу—я не боюсь. Иногда я даже дѣлаюсь храбръ; возьму да и напишу: напрасно, молъ, думаютъ нѣкоторые, что благожелательное и ничѣмъ, кромѣ почтительности, не стѣсняемое обсужденіе дѣйствій (замѣтьте аллегорію: я даже умалчиваю, чьихъ и какихъ дѣйствій) равносильно нападенію съ оружіемъ въ рукахъ... Но какъ только процессъ

писанія кончился, какъ только статья поступила въ наборъ, боязнь чего-то неопредѣленнаго немедленно вступаетъ въ свои права. И она усиливается и усиливается по мѣрѣ того, какъ исправляется корректура и наступаетъ часъ, съ котораго долженъ считаться четырехдневный для журналовъ и семидневный для книгъ срокъ нахожденія произведеній человѣческаго слова въ чревѣ китовомъ. Чудятся провинности, преступленія, чуть не уголовщина.

И въ то же время ласкаетъ рабская надежда: а можетъ-быть и пройдетъ! Я знаю, что это надежда гнусная, неопрятная, что она есть не что иное, какъ особое видоизмѣненіе трепета, но я знаю также, что она не только лично для меня, но и вообще представляетъ единственную руководящую нить въ современномъ литературномъ ремеслѣ. Избавиться отъ нея, правда, очень легко: стоитъ только забросить перо, распроститься съ корректурами и какъ чумы обѣгать типографіи — но вотъ подите же... Сдается, что не будь этой надежды—пожалуй, не было бы и русской литературы, а были бы однѣ «Московскія Вѣдомости»...

Само собой однако-жъ разумѣется, что я всячески стараюсь скрывать и мой рабій трепетъ, и мои рабьи надежды. Я—либералъ и потому прежде всего стараюсь выказать, что очень хорошо понимаю свои права. «Нѣтъ! теперь уже шалишь! — твержу я и устно, и письменно: — теперь цензору до меня какъ до звѣзды небесной далеко!» И начинаю горячиться, начинаю разсказывать анекдоты изъ до-реформенной цензурной практики и доказывать, что сравнительно мое нынѣшнее положеніе... «Помилуйте! да теперь я сознаю себя господиномъ своего слова; хочу — скажу, хочу — не скажу; вспомните, что мы были прежде и чѣмъ сдѣлались теперь! Теперь ежели что, такъ вѣдь я и тово... Я вѣдь и самъ ногти покажу... нѣтъ, теперь не такъ-то ловко меня обездолить!» Говорю я все это, даже кричу, чтобъ пуще себя ободрить, и—о, ужасъ!—въ это же время чувствую, какъ невидимый трепетъ ползетъ по всему моему организму, ползетъ, ползетъ и незамѣтно разрѣшается сладкой надеждой, что, «можетъ-быть, и пронесетъ»...

Но пріятели мои понимаютъ, что все это съ моей стороны не больше какъ напускное хвастовство, напоминающее тѣ «невидимыя міру слезы сквозь видимый міру смѣхъ», о которыхъ упоминалъ еще Гоголь. И такъ какъ они—люди русскіе, веселые, то нерѣдко я служу для нихъ предметомъ довольно жестокихъ шутокъ, канвою которымъ служатъ:

слухи о преднамѣреніяхъ и предначертаніяхъ, свѣдѣнія, почерпнутыя изъ достовѣрныхъ источниковъ, канцелярскія тайны и проч. Иногда разсказываются даже цѣлыя сцены, разсказываются въ лицахъ, такъ жизненно и съ такими характеристическими подробностями, не повѣрить которымъ нѣтъ никакой возможности. Какъ тутъ не вдаться въ обманъ, какъ не счесть себя погибшимъ, когда и самъ ужъ заранѣе, такъ сказать, признаешь, что погибель есть только снисходительно-отсроченное возмездіе за тѣ неключимости, которыя съ помощью пера содѣяла правая рука твоя?

Но особенную озорливость въ этомъ смыслѣ являетъ пріятель мой Глумовъ. Онъ отлично знаетъ мою наклонность увлекаться трепетомъ и надеждами, и потому каждый разъ, какъ я попадаю въ чрево кита (а это случается почти ежемѣсячно), является ко мнѣ съ спеціальною цѣлью наблюсти, въ какой степени я боюсь. Изрѣдка онъ бываетъ и въ добромъ расположеніи духа, и тогда мы вмѣстѣ твердимъ: «небось! ничего! можетъ-быть, и пронесетъ!» Но чаще всего онъ приходитъ преисполненный глумливаго подстрекательства, въ которомъ я никогда не могу отличить искренности отъ неискренности и которое поэтому еще болѣе увеличиваетъ мой страхъ.

Именно въ такомъ озорливомъ настроеніи явился онъ ко мнѣ на-дняхъ. Уже три дня лежалъ я въ чревѣ; оставалось еще двадцать четыре мучительныхъ часа... Пронесетъ или не пронесетъ?

— Да, братъ, видно, быть бычку на веревочкѣ! — сразу огорошилъ онъ меня, войдя въ кабинетъ.

— Что? что такое? развѣ что-нибудь слышно? — встрепенулся я.

— Какъ не слыхать! слухомъ земля полнится! Да, братъ, нельзя! Нельзя, мой другъ, такимъ образомъ... невозможно!

— Что такое случилось? Говори, сдѣлай милость, не мямли!

— Покуда еще ничего не случилось, но признаки есть, и признаки серьезные... Сейчасъ иду я къ тебѣ, и вдругъ навстрѣчу мнѣ человѣкъ одинъ... Понимаешь? Идетъ этотъ человѣкъ къ мѣсту служенія, и на челѣ у него: нельзя!

— Господи!

— «Нельзя»—только одно это слово! Но ты понимаешь: завтра тебѣ срокъ, а сегодня... Понимаешь?

— Какъ не понимать! Но какъ же это однако... нельзя! И что это за слово «нельзя»? Нельзя! вѣдь это даже понять трудно!

— Нельзя—и все тутъ.

— Да ты, можетъ-быть, ошибся! Можетъ-быть...

— Неужто-жъ мнѣ въ первый разъ на лбахъ-то читать! Да и напроказничали же вы, должно-быть! Идетъ «онъ» и словно обдумываетъ: какую бы пытку на васъ изобрѣсти.

Зачѣмъ мы начали горевать. Я, какъ истинный либералъ, оглашалъ стѣны кабинета возгласами: «за что же, Господи! за что?» Глумовъ подавалъ мнѣ реплику, бо́льшею частью пословицами. Наконецъ, когда я достаточно высказалъ, что всѣ мои обычныя разглагольствованія о какихъ-то якобы правахъ разлетаются какъ дымъ отъ прикосновенія одного слова: «нельзя», тогда Глумовъ сознался, что никого, «идущаго къ мѣсту служенія», онъ не видалъ, ни на какихъ лбахъ ничего не читалъ, и что вообще вся эта исторія была имъ выдумана въ видахъ испытанія, въ надлежащей ли степени я боюсь. И вновь сладкая надежда озарила мою душу, и вновь я сталъ предаваться работѣ проникновенія въ мракъ будущаго: пронесетъ или не пронесетъ?

— Нѣтъ, ты ужъ эти глупости-то оставь, — прервалъ меня Глумовъ:—это, братъ, дѣло изслѣдовать нужно!

— Какое дѣло?

— А вотъ хоть то, что вы, русскіе писатели, обязываетесь не только услаждать досуги публики вашими писаніями, но и періодически подвергаться унизительному трепету.

Но я, разувѣренный насчетъ предстоящей опасности, уже настолько ободрился, что взглянулъ на друга моего не только самоувѣренно, но почти нахально.

— Я не знаю,—сказалъ я: —о какомъ ты трепетѣ говоришь! Я думаю, что въ настоящее время положеніе мое, какъ русскаго писателя...

— Пхе! вотъ твое положеніе! Дунуть на тебя — ты и погасъ!

— Ну, нѣтъ, любезный другъ, это не совсѣмъ такъ! Я свои права...

— А кто сейчасъ восклицалъ: за что, молъ, о, судьба прежестокая!.. Кто восклицалъ?

— Еще бы! ты бы побольше выдумывалъ!

— Да какъ же иначе съ тобой поступать? Какъ иначе остепенить твое малодушіе? Взгляни ты на себя, сдѣлай милость! Вѣдь даже понять нельзя, какимъ образомъ ты эту пытку выдерживаешь! Двадцать шесть дней въ мѣсяцъ ты приготовляешься къ трепету, а четыре дня трепещешь! Гдѣ, скажи, въ какой сферѣ дѣятельности возможно такое существованіе!

— Ну, хорошо! Положимъ, что въ настоящую минуту мое положеніе... ну, да, допустимъ это. Но дѣло вѣдь не въ одной той минутѣ, которую мы переживаемъ, а въ тѣхъ залогахъ, которые представляютъ намъ будущее...

— А ты про эти залоги слыхалъ?

— Не только слыхалъ, но даже изъ достовѣрныхъ источниковъ знаю...

— Сраминкъ ты—вотъ что!

Сказавши это, Глумовъ такъ строго взглянулъ на меня, что я совершенно явственно почувствовалъ, какъ краска разлилась по моему лицу.

— Такъ ты до того доволенъ своимъ положеніемъ, — продолжалъ онъ: — что даже не хочешь подумать о томъ, почему ты всегда долженъ чего-то бояться, хотя, въ сущности, никакой вины за тобой нѣтъ?

— Ну, какъ никакой вины? Винъ-то, любезный другъ, за нами—слава Богу!

— И опять-таки срамникъ! Самъ на себя клеплетъ, да еще ломается! Никакихъ, понимаешь ты, *никакихъ* за тобой винъ нѣтъ, и ты на себя небылицъ не выдумывай! До такой степени нѣтъ никакихъ винъ, что тебѣ даже и въ голову не приходило разобрать, дурно или хорошо твое положеніе, и отчего оно такъ устроилось, а не иначе. Вѣдь если-бъ что-нибудь за тобой было—ужъ навѣрное ты хоть бы понять постарался, что тутъ такое есть!

— Да: дѣйствительно я какъ-то мало объ этомъ думалъ; корректура, знаешь, спѣшная работа...

— И это говоритъ человѣкъ, который весь по уши погрязъ въ литературное ремесло! Человѣкъ, у котораго не только умственные, но и матеріальные интересы, словомъ, вся жизнь до такой степени связана съ литературой, что завтра отнимутъ у него возможность писать, и онъ исчезъ—безъ слѣда! И тебѣ не совѣстно сознаваться, что ты ни разу не подумалъ, отчего литературное ремесло у насъ такъ странно поставлено, что, занимаясь имъ, почти трудно оставаться порядочнымъ человѣкомъ! Вѣчно холопствовать,

вѣчно думать о какихъ-то «обстановочкахъ»!—помилуй, да самый послѣдній мастеровой, и тотъ не выдержитъ этого, и тотъ прежде всего позаботится о томъ, чтобы сдѣлать свое положеніе по возможности независимымъ отъ случайностей! А вы, литераторы, вы, люди, называющіе себя выразителями умственнаго уровня страны, — вы только и дѣлаете, что бѣгаете какъ угорѣлые, обдумывая, какъ бы такъ схорониться, чтобы и найти васъ никто не могъ!

— И прибавь еще, что какъ ни хоронимся, а все-таки насъ умѣютъ найти!

— Да ужъ не думаешь ли, что васъ оттого находятъ, что видятъ въ васъ что-нибудь опасное? Какъ бы не такъ! Просто видятъ въ васъ, во всей русской литературѣ (даже исключенія, и тѣ допускаются нехотя, скрѣпя сердце), что-то омерзительное, какую-то пресмыкающуюся гадину, при видѣ которой безъ всякаго повода приходитъ на мысль: а дай-ка я ее раздавлю! Кто васъ читаетъ? Скажи по совѣсти: кто читаетъ васъ?

— Ну, братъ, что касается до читателей, то это—фактъ несомнѣнный, что число покупающихъ книги и подписывающихся на журналы съ каждымъ годомъ все увеличивается и увеличивается.

— Да, это — явленіе дѣйствительно загадочное. Число читателей какъ будто и въ самомъ дѣлѣ увеличивается, если судить по расходу книгъ и журналовъ. Но скажи по совѣсти: знаешь ли ты своего читателя? Можешь ли ты указать, къ кому именно ты обращаешь свою рѣчь? Кого ты хочешь воспитывать? Нѣтъ, ты не отвѣтишь на эти вопросы, потому что современный русскій читатель до того разбросанъ, что дѣлается неуловимъ. Во всякомъ случаѣ, что касается до вліятельныхъ классовъ, до такъ-называемыхъ представителей культурнаго слоя, то они — честью тебя завѣряю — до такой степени игнорируютъ васъ, писателей, что единственное твердое свѣдѣніе, которое они имѣютъ о русской литературѣ, заключается въ томъ, что она омерзительна.

— Но какая же надобность литературѣ до этого! Что ее игнорируетъ, а пожалуй и презираетъ небольшая кучка выродившихся людей, размыкивающихъ свои досуги по Баденъ-Баденамъ, Висбаденамъ и Вильдбаденамъ, разорвавшихъ всякую связь съ Россіей, за исключеніемъ получки доходовъ, и составляющихъ себѣ библіотеки изъ Монтене-

новъ, Февалей и Самаровыхъ—такъ вѣдь это еще небольшая потеря!

— Постой! Покуда я назвалъ только одинъ изъ числа игнорирующихъ васъ классовъ—классъ людей, именующихъ себя культурными,—но можно вѣдь идти и дальше. Вообще, я думаю, гораздо легче отвѣтить на вопросъ, кто *не читаетъ* русскихъ книгъ, нежели на вопросъ, кто ихъ *читаетъ*. Знаетъ ли васъ народъ? Нѣтъ, онъ даже не подозрѣваетъ о существованіи русской литературы. Знаетъ ли васъ молодое поколѣніе? Нѣтъ, оно хуже нежели не знаетъ: оно относится къ современной русской литературѣ какъ къ чему-то недомысленному, лишенному какихъ бы то ни было правъ на воспитательный авторитетъ. Знаетъ ли васъ такъ-называемое ученое сословіе? Нѣтъ, и оно смотритъ на литературу, какъ на проявленіе легкомыслія, которое въ благопріятномъ случаѣ можно считать безполезно-невиннымъ, а въ бо̀льшей части случаевъ имѣетъ характеръ раздражающій и, стало-быть, вредный. Кто же, спрашивается, читаетъ васъ? Отъ кого вы ждете оцѣнки для себя? На кого думаете вліять?

— Согласись однако, что если бы насъ не читали, если-бъ вліяніе русской литературы не существовало, то и вниманія никто бы на нее не обращалъ, и писателю не для чего было бы ни лукавить, ни бояться.

— И съ этимъ не соглашусь. Повторяю тебѣ: современный русскій читатель неуло̀вимъ и разсѣянъ по лицу земли какъ іудеи. Онъ читаетъ въ-одиночку; онъ ничего не ищетъ въ литературѣ и ни съ кѣмъ не дѣлится прочитаннымъ. Печатное русское слово не зажигаетъ сердецъ и не рождаетъ подвиговъ. Нигдѣ и ни на чемъ не увидишь ты слѣдовъ вліянія дѣйствующей русской литературы. И благонамѣренность, и неблагонамѣренность одинаково зрѣютъ и развиваются внѣ ея воздѣйствія. И ежели за всѣмъ тѣмъ на литературу обращаютъ вниманіе и заставляютъ васъ трепетать, то это отчасти по старой укоренившейся привычкѣ, а отчасти по недоразумѣнію...

— Однако-жъ...

— Да, именно по недоразумѣнію, потому только, что культурный-то слой нашъ очень ужъ плохъ—и плохъ, и пугливъ. Вотъ ты сейчасъ сказалъ, что для литературы еще небольшая потеря, что ее презираетъ шайка людей, которая шляется по Баденамъ да Висбаденамъ; но встань на практическую почву, да и отвѣчай мнѣ: отчего трепетъ-то твой происходитъ?

— Да оттого, полагаю, что строго нынче ужъ очень. Руководствъ надлежащихъ не издано, которыя содержали бы отчетливую и для всѣхъ внятную классификацію предметовъ, которыми можетъ или не можетъ заниматься литература,—вотъ и пугаются словно въ тенётахъ.

— Ты не остри, а вникнуть старайся. Строго, ты говоришь? да отчего строго-то? то-есть даже и не строго, а просто-на-просто презрительно? А оттого, любезный другъ, что эти самые культурные люди, которые размыкиваютъ за границей свое отвращеніе къ Россіи, вотъ они-то ужъ слишкомъ большую силу взяли! Шипятъ они, душа моя, клевещутъ, сплетничаютъ, смуту сѣютъ! А ты вотъ тутъ сидишь да обдумываешь: какъ бы мнѣ такъ мою мысль выразить, чтобы никто не поймалъ!

— Ну, это ужъ ты преувеличиваешь! Конечно, когда происходитъ процессъ печатанія и выхода книжки — я не изъятъ отъ нѣкоторыхъ безпокойствъ; но пишу я всегда...

— Стой! сейчасъ же тебя поймаю! Вотъ хоть бы теперь: ты пишешь и хочешь выразить самую простую и отнюдь не зажигательную мысль. Ты желаешь сказать: безсиліе русской литературы зависитъ, во-первыхъ, оттого, что у нея нѣтъ достовѣрнаго читателя, на котораго она могла бы опереться; и, во-вторыхъ, оттого, что въ составленіи ея репутаціи слишкомъ большое участіе принимаютъ такъ-называемые культурные люди, то-есть бродяги, оторванные отъ всѣхъ интересовъ Россіи. Такова ли твоя мысль?

Я долженъ былъ сознаться, что такова.

— Ну, такъ смотри же, сколько ты обходовъ долженъ былъ сдѣлать, чтобы пустить въ ходъ эту совершенно простую мысль, на которую нигдѣ въ другомъ мѣстѣ не обратили бы вниманія; да, пожалуй, въ другомъ-то мѣстѣ она и у самого себя, за неимѣніемъ повода, зародиться бы не могла... Во-первыхъ, ты долженъ былъ затѣять статью въ печатный листъ, тогда какъ все дѣло ясно изъ пяти-шести строкъ; во-вторыхъ, ты долженъ былъ выдумать, что у тебя есть какой-то пріятель Глумовъ, который періодически съ тобой бесѣдуетъ, и пр. Сознайся, что ты этого Глумова выдумалъ только для реплики, чтобъ объективности принустить, на тотъ случай, что ежели что, такъ имѣть бы готовую отговорку: я, молъ, самъ по себѣ ничего, это все Глумовъ напуталъ!

И съ этимъ я долженъ былъ согласиться.

— Что̀ касается до меня,—продолжалъ Глумовъ: — то я тебѣ извиняю. Потревожилъ ты меня, другъ любезный, ну, да это — еще небольшая бѣда! Но зачѣмъ ты все это дѣлалъ? зачѣмъ ты мозги свои безпокоилъ? Вѣдь все-таки никто изъ культурныхъ людей мыслей твоихъ не узнаетъ и съ объективностью твоей не познакомится!

— Да, но вѣдь ты самъ же сейчасъ сказалъ, что ежели человѣкъ чувствуетъ себя нехорошо, то прежде всего онъ долженъ уяснить себѣ, отчего это нехорошее ощущеніе происходитъ. Ну, я и выбралъ для достиженія этого способъ, который мнѣ показался наиболѣе подходящимъ.

— И прекрасно. Стало-быть, я послужилъ къ тому, что заставилъ тебя высказаться,—и то барышъ. Теперь ты знаешь источникъ твоего трепета; слѣдовательно остается только разработать эту тему, и буде возможно, то идти и дальше. А такъ какъ безъ объективности ты все-таки не обойдешься, то я, съ своей стороны, всегда къ твоимъ услугамъ готовъ!

Итакъ, причина сказалась, хотя, быть-можетъ, и не единственная, но, во всякомъ случаѣ, одна изъ причинъ. Глумовъ правъ: достовѣрнаго, вѣскаго читателя современная русская литература не имѣетъ, а между тѣмъ культурные Бобчинскіе и Добчинскіе до того ужъ расщебетались, что даже, повидимому, совсѣмъ забыли, что еще очень недавно Сквозникъ-Дмухановскій безъ церемоніи называлъ ихъ «сороками короткохвостыми». Не будь короткохвостыхъ сорокъ, сплетничающихъ, стрекочущихъ, праздно порхающихъ— много безсмысленной кутерьмы умерло бы въ самомъ зародышѣ, не опутывая своими тенётами добропорядочныхъ людей. Но спрашивается: что̀ же тутъ дѣлать? какъ унять сорочье племя? какъ, по крайней мѣрѣ, сдѣлать безвреднымъ его стрекотаніе? Убѣждать ихъ? Но развѣ можно имѣть дѣло съ сплетничающимъ племенемъ, которое прежде всего не знаетъ даже предмета своихъ сплетенъ? Сдѣлать ихъ сплетни безвредными? Но вѣдь для этого нужно еще доказать, что сорока—ни больше, ни меньше, какъ дрянная и не заслуживающая довѣрія птица; а какая же возможность достигнуть этого, когда весь міръ склоненъ видѣть въ Бобчинскихъ представителей культуры и ужъ по малой мѣрѣ носителей благонадежныхъ элементовъ? Сколько разъ были дѣлаемы попытки въ этомъ родѣ! Сколько разъ я самъ и убѣждалъ, и удостовѣрялъ, и даже до начальства доходилъ!

— Ваше превосходительство,—говорилъ я:—вѣдь это—птица!

— Ну-съ, дальше-съ.

— Вѣдь птица, ваше превосходительство, глупа и робка. Ей, съ глупости да со страху, Богъ вѣсть что привидѣться можетъ... Птицы—это, ваше превосходительство, птицы!

— Птицы да птицы—затвердили одно! Знаю, что—не люди, но есть случаи, когда птица... Птицы, милостивый государь, не волнуютъ общественнаго мнѣнія, не смущаютъ умовъ, а люди, а вы-съ...

Это—единственный результатъ, котораго я добился цѣною многолѣтнихъ усилій. Неужели же мнѣ предстоитъ опять приниматься за ту же работу убѣжденія, т.-е. возобновлять сейчасъ приведенный разговоръ? Но если бы я и дѣйствительно могъ убѣдить, что не я волную и смущаю, а именно Бобчинскіе и Добчинскіе, которые своими безсмысленными сплетнями сѣютъ повсюду не менѣе безсмысленную панику, то развѣ его превосходительство поцеремонится отвѣтить мнѣ:

— Ну, что же-съ! пусть будетъ и такъ-съ! Они и смущаютъ, и волнуютъ—я съ вами согласенъ-съ! Но Бобчинскіе намъ милы, въ Добчинскихъ мы увѣрены, а въ васъ-съ...

И дѣло съ концомъ. Ужели я и тутъ еще не умолкну? «Они намъ милы», «мы въ нихъ увѣрены»—развѣ этого мало? Кого же наконецъ и баловать, какъ не людей, относительно которыхъ существуетъ увѣренность, что ужъ они-то никакихъ затрудненій представить для насъ не могутъ?!

Ставши на эту почву, мнительное воображеніе уже не останавливалось въ созиданіи перспективъ, исполненныхъ всякаго рода препятствій. Мнѣ чудилось, что я стою среди безчисленной стаи сорокъ и держу имъ такую рѣчь: «Сороки короткохвостыя! понимаете ли вы, что̀ такое литература и что̀ такое, въ сравненіи съ нею, ваше сорочье стрекотанье? Литература—о, легкомысленнѣйшія изъ птицъ!—есть воплощеніе человѣческой мысли, воплощеніе вѣчное и непреходящее! Литература есть нѣчто такое, что̀, проходя черезъ вѣка и тысячелѣтія, заноситъ на скрижали свои и великія дѣянія, и безобразія, и подвиги самоотверженности, и гнусныя подстрекательства трусости и легкомыслія. И все однажды занесенное ею не пропадаетъ, но передается отъ потомковъ къ потомкамъ, вызывая благословенія на головы однихъ и глумленія на головы другихъ. Понимаете ли вы все безсиліе ваше въ виду этого неподкупнаго и непоколебимаго величія? Ежели вы этого не понимаете, то

подумайте хоть то, что есть судъ вѣковъ, и что у васъ есть дѣти; что если вы лично и равнодушны къ суду исторіи, то ваши дѣти могутъ, ради вашего всуе звенящаго срамословія, изнемочь подъ его тяжестью! Остановись же, Бобчинскій, и не извергай яда легкомыслія на то, что̀ недоступно твоему скудному пониманію! Ибо сынъ твой, который будетъ несомнѣнно лучше и прозорливѣе тебя, угадаетъ твои дѣянія—и, можетъ-быть, устыдится признать въ тебѣ отца своего!»

Однимъ словомъ, я спускаюсь на почву чисто-практическую, хватаюсь за самую живую струну—за дѣтей, хочу растолковать, что ради нихъ, этихъ многолюбимыхъ дѣтей, не безполезно держать языкъ за зубами, даже въ томъ случаѣ, ежели имѣется въ перспективѣ медаль за спасеніе погибающаго культурнаго общества. И что̀-жъ! сороки сначала смотрятъ на меня и другъ на друга недоумѣвающими глазами, но потомъ мало-по-малу осмѣливаются, щеголевато подскакиваютъ къ самымъ моимъ ногамъ, расправляютъ крылья, чистятъ носы и, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжаютъ прерванное стрекотаніе... «А наплевать намъ на исторію! наплевать на дѣтей! И мы—навозъ, и исторія—навозъ, и дѣти наши—навозъ!»—слышится мнѣ среди безнадежнаго хаоса звуковъ...

Ахъ! никогда я не зналъ ничего болѣе унизительнаго и до боли гнетущаго, какъ это праздное сорочье стрекотанье! Есть въ немъ что-то посрамляющее слухъ человѣческій и въ то же время дразнящее, подуськивающее. Бобчинскіе не вызываютъ гнѣва, а именно только дразнятъ, нахально опираясь при этомъ на свою сорочью невмѣняемость. Дѣлая пакости, иногда равносильныя злодѣяніямъ, они вовсе не сознаютъ неключимости своего творчества, но лишь выполняютъ провиденціальное свое назначеніе. И вотъ къ этому-то подневольному, невмѣняемому и, вдобавокъ, неопрятному виду человѣка я долженъ обращаться, долженъ думать о немъ, объяснять его и обличать сорочье его щебетанье! Гдѣ, въ какой странѣ возможенъ подобный подвигъ, исключая тѣхъ постылыхъ сорочьихъ угловъ, гдѣ Бобчинскіе и Добчинскіе даютъ тонъ жизни, гдѣ, быть-можетъ, даже совсѣмъ погасла бы жизнь, если-бъ не будило ее ихъ назойливое стрекотаніе!

Да и съ какимъ правомъ я обращу свою проповѣдь къ Бобчинскимъ? гдѣ тотъ противовѣсъ, на который я могъ бы опереться при этомъ? гдѣ онъ, гдѣ тотъ загадочный

русскій читатель, отъ котораго я имѣлъ бы право ожидать оцѣнки и одобренія?

Покуда я такимъ образомъ размышлялъ, Глумовъ молча ходилъ по комнатѣ и, повидимому, тоже что-то обдумывалъ. Наконецъ онъ остановился противъ меня и сказалъ:

— Знаешь ли что, вѣдь я на-дняхъ Петьку Износкова встрѣтилъ!

— Ну, и Богъ съ нимъ!

— Да ты слушай. Идетъ онъ по Морской, а въ глазахъ у него такъ и свѣтится культурность. Словомъ сказать, производитель во всѣхъ статьяхъ. Встрѣтились—ничего. Другихъ культурныхъ людей поблизости не случилось—стало-быть, и мнѣ втихомолку руку подать можно. Постояли, поглядѣли другъ на друга, школьную жизнь вспомнили. Выправился онъ, раздобрѣлъ—страсть! Въ плечахъ—косая сажень, грудь колесомъ, тѣло крупичатое, румянецъ такъ и хлещетъ во всю щеку. Та̀къ вотъ весь, всѣмъ нутромъ словно говоритъ: а хочешь, я сейчасъ тебѣ цѣлую десятину унавожу! А картавитъ какъ—заслушаешься!

— И охота тебѣ говорить объ немъ!

— Вотъ видишь, любезный, ты объ немъ и говорить не хочешь, а онъ объ тебѣ вспоминалъ! «Гдѣ, говоритъ, онъ? я, говоритъ, слышалъ, что онъ съ мерзавцами связался?»

— И ты, разумѣется, подтвердилъ?

— Еще бы! Да, говорю, жаль малаго, скружился!

Затѣмъ Глумовъ, по своему обыкновенію, засыпалъ меня анекдотами изъ жизнеописанія русскаго культурнаго человѣка, такъ что мало-по-малу и меня самого увлекъ въ область воспоминаній о нашей совмѣстной школьной жизни.

— А помнишь ли,—сказалъ я:—какъ мы въ школѣ родословную Износкову сочинили: отецъ—Бычокъ, мать—Свѣтлана, бабка—Рѣзвая, отъ Громобоя и Гориславы, прапращуръ—самъ Синеусъ?

— А дядя, который въ то время полковникомъ въ гусарахъ служилъ,—сѣрый въ яблокахъ Борисоенъ? А помнишь, какъ онъ разсказывалъ: «у меня maman такая слабенькая, что даже родить меня сама не рѣшилась, а тетенькѣ поручила»?

— Да, да, да! ка̀къ давно однако все это было, и сколько воды съ тѣхъ поръ утекло!

— Такъ много утекло, что онъ даже поумнѣть успѣлъ. Серьезно говорю. Прежде, бывало, только зубы показывалъ, бѣлые-разбѣлые, а нынче и говорить началъ. «Пальто, го-

воритъ, у меня отъ Шагмега, панталоны—отъ Тедески, жакетка—отъ Жогкé!» И объ заграничномъ житьѣ тоже: «въ Германіи, говоритъ, горы зеленыя, въ Швейцаріи—горы голыя, въ Италіи—небо синее, а въ Римѣ—римскій папа сидитъ!» Словомъ сказать, ведетъ свѣтскій разговоръ да и шабашъ!

— Въ администраторы, чай, мѣтитъ?

— Нѣтъ, эта въ немъ благородная черта есть: безъ дѣла слоняться предпочитаетъ. А то какъ бы не попасть: вѣдь ему графиня Нахлесткина теткой родной приходится! Да ему и не зачѣмъ: и безъ того его положеніе завидное. Нынче, братъ, такой особенный чинъ народился: всякій, кому голову приклонить некуда, представителемъ культурнаго слоя себя называетъ. Вотъ онъ приписался къ этому чину, да и щеголяетъ въ немъ по-бѣлу-свѣту. Лѣтомъ—на водахъ и въ Швейцаріи, осенью и весной—въ Парижѣ, на зиму—въ Петербургъ: ѣстъ и пьетъ онъ отлично, спитъ въ мѣру, желудокъ у него варитъ на-славу, огорченій никакихъ—чего еще, какихъ еще почестей нужно!

— Да, братъ, хорошо бы хоть годокъ такъ пожить! А то маешься-маешься, словно бы и дѣло дѣлаешь, а результатъ одинъ: воочію видишь, какъ подтачивается и засыхаетъ твоя жизнь!

— А я тебѣ знаешь ли, что̀ хотѣлъ предложить? Сходимъ-ка вмѣстѣ къ Износкову!

— Это зачѣмъ?

— Во-первыхъ, для разогнанія хандры. По моему мнѣнію, что̀ съ Износковымъ повидаться, что̀ на хорошій пирогъ съ начинкой посмотрѣть—одинаково сердцемъ расцвѣтешь. А во-вторыхъ, хотѣлось бы и предполагаемаго читателя твоего тебѣ показать—вѣдь ты говоришь, что у васъ ихъ много,—чтобы ты самъ убѣдился, какъ онъ на тебя смотритъ и о тебѣ разговариваетъ.

— Да вѣдь Износковъ, пожалуй, сдѣлаетъ видъ, что не узнаетъ меня! Или и узнаетъ, да какую-нибудь глупость брякнетъ!

— А мы, для предосторожности, такой часъ выберемъ, когда у него культурныхъ людей не бываетъ. Часовъ, этакъ, около половины двѣнадцатаго утра. Въ это время онъ всегда отлично себя чувствуетъ. Выспался превосходно, пищевареніе совершилось благополучно... добръ онъ тогда! Многомного что легонькій репримандецъ сдѣлаетъ... Ну, да вѣдь ты насчетъ репримандовъ-то—травленый волкъ!

По обыкновенію, я нѣкоторое время слегка противорѣчилъ и по обыкновенію же въ концѣ концовъ сдался.

Мы застали Износкова за занятіемъ, которому онъ, повидимому, придавалъ большую важность. Онъ сидѣлъ за туалетнымъ столомъ передъ зеркаломъ, въ брюкахъ безъ жилета, въ тончайшей и бѣлой какъ снѣгъ рубашкѣ, и повязывалъ на шею галстукъ. Подтяжки такъ и врѣзывались въ его пухлыя плечи. Я ужъ лѣтъ двадцать пять не встрѣчался съ Износковымъ, и мнѣ вдругъ почудилось, что я вновь очутился въ школѣ, и что Петька Износковъ показываетъ мнѣ свои ослѣпительно-бѣлые зубы. Высокій, широкогрудый, румяный и бѣлый, онъ подавлялъ своимъ могучимъ здоровьемъ, которое такъ и лучилось изъ всѣхъ его поръ. На лицѣ его ни единой морщинки; глаза съ какимъ-то сизо-металлическимъ блескомъ, словно сейчасъ отчеканенные пятиалтынные сорокъ второй пробы; губы пухлыя, алыя, осѣненныя тоненькими усиками, вытянутыми въ нитку; щеки чистыя, румяныя; тѣло, правда, нѣсколько тучное, но крѣпкое; грудь высокая, почти женская. Однимъ словомъ, время скользнуло по немъ, не оставивъ ни на одной части его организма никакого слѣда.

— Ба! литераторъ!—воскликнулъ онъ, протягивая руки съ тѣмъ порывистымъ жестомъ, который употребляютъ актеры Михайловскаго театра, когда хотятъ выразить радушіе:—какими судьбами?

— Да вотъ, какъ видишь!

— Постой! встань-ка ближе къ свѣту, вотъ такъ! Постарѣлъ, душа моя! Все стихи пишешь?

— Какіе же они стихи пишетъ!—вступился Глумовъ:—отродясь, я чай, ни одного стиха не сочинилъ!

— Ну, все равно—прозой пишетъ! Я, признаюсь откровенно, съ русской литературой незнакомъ. C'est à dire, я, конечно, знаю... Derjavine, Karamzine, Pouschkin, le comte Sollogoub... Но тебя, мой другъ,—каюсь!—не читалъ! Но какъ ты однако-жъ непозволительно постарѣлъ! Эта сѣдая борода, этотъ землистый тонъ лица, эти морщины... Я пари готовъ держать, что все это у тебя отъ стиховъ!

— Ну, а ты такъ совсѣмъ не измѣнился: какъ въ школѣ красавцемъ былъ, такъ и теперь молодцомъ глядишь!

— Да, но вѣдь это—цѣлая наука, mon cher! Конечно, не столь трудная, какъ, напримѣръ, стихи писать!

Онъ сѣлъ и усадилъ меня противъ себя, держа за руки и смотря мнѣ прямо въ глаза. При этомъ лицо его озарялось не то глупою, не то лукавою улыбкой, какъ будто онъ хотѣлъ сказать: хоть я стиховъ и не пишу, но тебя вижу и даже насквозь тебя, голубчикъ, понимаю!

Я помню, эта улыбка еще въ школѣ меня ужасно смущала, хотя я никогда не могъ хорошенько опредѣлить, въ чемъ собственно состоитъ ея смущающее свойство. Сидитъ передъ вами человѣкъ, смотритъ вамъ прямо въ глаза и улыбается. Хочетъ ли онъ этимъ сказать: «я глупъ несомнѣнно, но мнѣ нимало этого не совѣстно», или желаетъ выразить мысль болѣе сложную: «посмотри, какъ я чистъ сердцемъ (у насъ сердечная чистота очень часто считается непремѣннымъ спутникомъ глупости); а ты?» И начинаетъ вдругъ казаться, что этотъ улыбающійся человѣкъ, при всей его глупости, все-таки себѣ на умѣ; что онъ знаетъ нѣчто больше, нежели можно ожидать отъ его простодушія, и знаетъ именно то, что пуще всего хотѣлось бы скрыть... А ну какъ онъ «ляпнетъ»! Умный человѣкъ—тотъ посовѣстится и не «ляпнетъ», а дуракъ—вѣдь не даромъ же говорятъ, что дураку море по колѣна—ляпнетъ онъ, непремѣнно ляпнетъ!

— Постой, о стихахъ говорить не зачѣмъ, — сказалъ между тѣмъ Глумовъ:—а вотъ мы лучше о чемъ поговоримъ. Сейчасъ ты промолвилъ, что есть какая-то наука, благодаря которой ты до сорока пяти лѣтъ прожилъ, а все еще тридцатилѣтнимъ мужчиной смотришь. Такъ объясни ты намъ, сдѣлай милость, что это за наука такая?

— Mon cher! Главный секретъ этой науки состоитъ въ томъ, чтобъ начертить себѣ извѣстный esprit de conduite и затѣмъ все дѣлать въ свое время и не упускать ни одной подробности изъ того режима, который ты однажды призналъ для себя полезнымъ,—отвѣчалъ Износковъ.—Если ты твердо рѣшился слѣдовать этой линіи—твое дѣло выиграно; если же ты хоть однажды что-нибудь пропустилъ или сдѣлалъ не во-время—все пропало!

— Да, но вѣдь ты понимаешь, что съ однимъ хорошимъ поведеніемъ...

— О! что касается до средствъ, то съ этой стороны мы совершенно обезпечены. Намъ остается только протянуть руку и черпать. Это даже невѣроятно, какіе громадные успѣхи сдѣлала въ послѣднее время туалетная химія, туалетная механика и туалетная гигіена! Нѣтъ самой ни-

чтожной бездѣлицы, которая не была бы предусмотрѣна; пѣтъ того cosmétique, дѣйствіе котораго не было бы опредѣлено съ величайшею точностью! Конечно, ошибки могутъ быть и здѣсь... Такъ, напримѣръ, въ газетахъ сплошь и рядомъ мы читаемъ объявленія о разныхъ dentifrices, eaux de Vénus и такъ далѣе — ну, разумѣется, къ этимъ средствамъ необходимо относиться съ нѣкоторою предусмотрительностью...

— Какъ же тутъ быть предусмотрительнымъ,—какъ бы недоумѣвалъ Глумовъ:—ну, прочиталъ, напримѣръ, въ газетахъ: мазь для рощенія волосъ... взялъ, намазался ею на ночь—анъ на утро у тебя вмѣсто головы голое колѣно!

– Да, ежели ты только эмпирикъ—оно непремѣнно такъ и случится. Я самъ, когда вышелъ изъ школы, тоже сгоряча прибѣгнулъ къ одной crême d'odalisque, которая, судя по объявленію, должна была сообщить моей кожѣ «une velouté jusqu'ici inconnue», но на повѣрку вышло, что я цѣлую ночь проспалъ со щеками, вымазанными какою-то мерзостью, а на утро у меня по всему лицу выступили прыщи. Ошибки, мой другъ, неизбѣжны; но онѣ-то и должны намъ указывать, до какой степени необходимо во всякомъ дѣлѣ быть осмотрительнымъ. Нужно пользоваться этими ошибками, но не для того, чтобы вновь впадать въ нихъ, а для того, чтобы ихъ не повторять.

— Это ты правду сказалъ насчетъ ошибокъ-то. Но легко вѣдь говорить: будь осмотрителенъ, а какъ ты будешь осмотрителенъ, когда передъ тобой все неизвѣстность и мракъ?

— Откровенно скажу тебѣ, что я въ этомъ случаѣ—консерваторъ! Литераторъ! — обратился онъ ко мнѣ: — можетъ-быть, тебя это слово шокируетъ, но ужъ извини меня, душа моя: я вѣдь вездѣ и во всемъ — консерваторъ! Во всемъ, ты понимаешь?.. Я революцій не терплю... никакихъ!.. А впрочемъ, объ этомъ послѣ. Итакъ, я—консерваторъ и потому въ бо́льшей части случаевъ прибѣгаю къ такимъ средствамъ, надежность которыхъ уже испытана. Конечно, я допускаю и новые пути; я не до такой степени упоренъ, чтобы не понимать, qu'il y a quelque chose à faire, но на этотъ конецъ я имѣю такихъ субъектовъ, которымъ я плачу и которые на себѣ испытываютъ дѣйствія средствъ, кажущихся мнѣ интересными. Сверхъ того, вездѣ существуютъ такіе шимисты и ижіенисты, которыхъ спеціальность составляютъ туалетная химія и туалетная ижіена.

Я, напримѣръ, имѣю на этотъ предметъ въ Петербургѣ годового доктора, котораго совѣты были всегда для меня драгоцѣнны. Но, кажется, разговоръ нашъ не занимаетъ тебя? — опять обратился онъ ко мнѣ съ тою же глуполукавою улыбкой: — вѣдь ты привыкъ говорить о предметахъ возвышенныхъ... о революціяхъ, напримѣръ?

— Помилуй, любезный другъ! — испугался я: — да я и самъ...

— Оставь его!—вступился за меня Глумовъ:—нравится или не нравится ему нашъ разговоръ—какое намъ до этого дѣло! Главное, чтобы намъ нравился. Ну-съ, такъ продолжаемъ. И много у тебя времени беретъ эта туалетная гигіена?

— Да какъ тебѣ сказать?—почти что весь день! Нынче раздѣленіе труда доведено до такой степени, что каждая часть тѣла служитъ предметомъ особеннаго ухода, особенныхъ порученій. Вотъ хоть бы сегодня. Я всталъ въ восемь съ половиной часовъ и до сихъ поръ — теперь половина двѣнадцатаго—не успѣлъ еще окончить моего туалета. Разумѣется, главное уже кончено, а все-таки необходимо дать послѣдній coup de main. Съ вашего позволенія, господа!

— Сдѣлай одолженіе, мы и во время туалета можемъ вести разговоръ!

Износковъ позвонилъ француза-лакея и опять отправился къ туалетному столу. Послѣдовалъ обрядъ надѣванія жилета и жакетки, во время котораго Износковъ повертывался передъ зеркаломъ на собственной оси, подергивалъ плечами, слегка постукивалъ пальцами по груди, какъ бы взбивая ее, а французъ-лакей не ходилъ, а какъ-то беззвучно плавалъ вокругъ него, слѣдя за всѣми его движеніями и стараясь уловить на лету всякую его мысль. Наконецъ все было слажено, все сидѣло какъ вылитое, хотя ничто не обличало мучительной работы, предшествовавшей послѣднему coup de main. Мы отправились въ столовую, гдѣ ужъ былъ сервированъ завтракъ на три персоны.

— Ну, а насчетъ пищи и питія какъ?—поинтересовался Глумовъ.

— Увы! ты затронулъ самое больное мѣсто моего существованія!—отвѣтилъ Износковъ.—Да, хромаетъ у меня эта часть, сильно хромаетъ! Хотя, конечно, и въ этомъ отношеніи я дѣлаю все, что можно, tout ce qui est humainement possible!

— А напримѣръ?

— Вотъ видишь ли, чтобы ты могъ понять меня вполнѣ, я разскажу тебѣ весь свой петербургскій день. Литераторъ! это не обезпокоитъ тебя?

— Да нѣтъ же! Я даже не понимаю, почему ты предполагаешь! — поспѣшилъ я разувѣрить его и при этомъ улыбнулся такъ глупо, такъ глупо, что, право, кажется, глупѣе самого Износкова.

— Ну, такъ слушайте же меня! — серьезно началъ Износковъ, предварительно наливъ намъ по стакану превосходнаго лафита.—Я пробуждаюсь утромъ всегда въ восемь съ половиной часовъ. Почему въ восемь съ половиной, а не въ восемь и не въ девять—это я вамъ сейчасъ объясню. Во-первыхъ, раньше восьми съ половиной въ Петербургѣ, зимой, рѣдко бываетъ достаточно свѣтло; во-вторыхъ, если-бъ я всталъ раньше, мой французъ былъ бы не готовъ, а безъ него я не могу сдѣлать шага; если бы же я всталъ позднѣе, то самъ непремѣнно бы вездѣ опоздалъ; въ-третьихъ, это—именно тотъ часъ, когда пищевареніе у меня уже совершилось, а въ-четвертыхъ, съ восьми съ половиной часовъ передо мной, по крайней мѣрѣ, два съ половиной часа, въ продолженіе которыхъ никто—вы понимаете: *никто!*—не можетъ мнѣ помѣшать. Затѣмъ, сесі posé, continuons. Вставши съ постели, я сейчасъ же сажусь въ ванну. Въ ванну въ двадцать два градуса, ни больше, ни меньше, и съ двумя фунтами savon dulcifiant, предварительно распущеннаго въ водѣ. Въ ваннѣ я сижу ровно двадцать двѣ минуты, и въ девять часовъ я уже тамъ, въ той комнатѣ, въ которой вы меня застали. Я начинаю свою работу съ того, что мою губкой лицо, руки, чищу ногти, прополаскиваю себѣ ротъ, чищу зубы, языкъ и проч. и, вытеревши себя дѣсуха особаго рода впитывающимъ влажность полотенцемъ, прихожу на свой постъ, къ моему туалетному столу. Здѣсь я прежде всего начинаю съ изслѣдованій: внимательно разсматриваю свое лицо, и ежели замѣчаю гдѣ-нибудь прыщъ или красноту, то стараюсь припомнить проведенный мною наканунѣ день, чтобы вполнѣ точно опредѣлить причину накожнаго раздраженія. Кончивши изслѣдованія, сообразивши тѣ средства, которыя мнѣ могутъ потребоваться, и расположивши склянки такъ, чтобы онѣ были какъ можно ближе подъ рукою, я начинаю работу практическихъ примѣненій, то-есть дѣлаю все, что нужно, чтобъ получить въ результатѣ лицо вполнѣ приличное. Ма

foi messieurs! если-бъ вы пришли ко мнѣ часомъ раньше, то не ручаюсь, что вы не увидѣли бы меня съ лицомъ, засыпаннымъ пудрою и покрытымъ различными onguents! Затѣмъ, покуда все это сохнетъ, я начинаю отдѣлку ногтей. Ногти, messieurs, то-есть ногти порядочнаго человѣка — вещь очень важная и вполнѣ зависящая отъ насъ самихъ. Ни носа, ни глазъ, ни даже зубовъ мы ни удлинить, ни укоротить не можемъ; съ ногтями же мы можемъ сдѣлать все, что только въ состояніи придумать изящный вкусъ, согласованный съ требованіями современности. Ногти порядочнаго человѣка должны быть ни очень коротки, ни очень длинны (при этомъ изреченіи Износкова я невольно взглянулъ на свои ногти: они были обгрызенные!). Слишкомъ длинный ноготь съ трудомъ поддается обдѣлкѣ и скоро принимаетъ неряшливый роговой цвѣтъ; слишкомъ короткій ноготь придаетъ пальцу неприличный мясистый тонъ. Et puis un ongle doit être effilé и имѣть розовый цвѣтъ — вотъ (онъ показалъ намъ *свои* ногти)! Отдѣлка ногтей беретъ у меня около двадцати минутъ и требуетъ въ практическомъ смыслѣ большой опытности. Я употребляю при этомъ до двадцати названій разныхъ ножницъ, ножичковъ, подпилковъ, щеточекъ — по этому одному вы можете судить о томъ, до какой степени въ этомъ дѣлѣ доведено раздѣленіе труда! Покончивши съ ногтями, я пью свой кофе и терпѣливо ожидаю дѣйствія тѣхъ средствъ, къ которымъ счелъ нужнымъ прибѣгнуть передъ отдѣлкой ногтей. Въ одиннадцать часовъ я умываюсь вновь, обтираюсь съ особенною тщательностью и непремѣнно передъ зеркаломъ. Потому что если-бъ я вытирался не передъ зеркаломъ, то изъ этого могли бы выйти слѣдующія послѣдствія: во-первыхъ, не всѣ части моего лица и рукъ были бы вытерты равномѣрно и досуха, а во-вторыхъ, я могъ бы допустить недосмотры, которые потомъ было бы гораздо труднѣе поправить, нежели теперь, по горячимъ слѣдамъ. Справившись окончательно съ лицомъ и руками, я начинаю причесываться, приступаю къ одѣванію и завязыванію галстука. Здѣсь — опять цѣлая наука. Вотъ эти панталоны — посмотрите, какъ онѣ охватываютъ ляжку и какъ потомъ незамѣтно, почти нечувствительно, спускаются, спускаются и наконецъ... ложатся на сапогъ! Они — отъ Тедески. Въ Петербургѣ есть довольно хорошихъ портныхъ, но что касается панталонъ — это Тедески! Тедески — это ваятель, который создастъ ногу почти неожиданно, точно такъ же,

какъ Микѣшинъ совсѣмъ неожиданно создалъ памятникъ тысячелѣтію Россіи. Затѣмъ жилетъ и фракъ должны быть отъ Жоржѣ. Но этого еще мало — одѣться! Нужно еще знать, во что одѣться, нужно понимать толкъ въ цвѣтахъ. Во всемъ необходима гармонія, и ежели, напримѣръ, при панталонахъ gris perle ты надѣлъ зеленый жилетъ, то какъ бы отлично все это ни сидѣло на тебѣ, ты никогда не будешь порядочнымъ человѣкомъ. Все это необходимо взвѣсить и сообразить, и вы поймете, почему я только теперь, въ двѣнадцать съ половиной часовъ, то-есть черезъ четыре часа послѣ пробужденія, могу принять васъ за завтракомъ. Не забудьте, что я опустилъ еще множество интересныхъ подробностей, которыя также требуютъ времени. Такъ, напримѣръ, я утромъ *непремѣнно* осматриваю весь гардеробъ и распредѣляю мои костюмы на цѣлый день; утромъ же я реглирую мои счеты и т. д. Такъ что, говоря по совѣсти, если-бъ я захотѣлъ исполнить все какъ слѣдуетъ — мнѣ мало было бы и двадцати четырехъ часовъ въ сутки. Но что же дѣлать! à l'impossible nul n'est tenu! Я — человѣкъ, я имѣю обязанности относительно общества, и потому...

— Ты покоряешься, понятное дѣло, душа моя! — прервалъ Глумовъ. — Ахъ, голубчикъ! вѣдь то-то въ тебѣ и дорого, что отдѣлка наружности у тебя сама по себѣ, а обязанности относительно общества сами по себѣ!

— Благодарю, ты понялъ меня. Есть люди, господа (Изпосковъ взглянулъ строго, но ни на кого въ особенности), которые думаютъ сами и внушаютъ другимъ, что мы исключительно заняты разными mesquineries; но это доказываетъ только, что насъ совсѣмъ не знаютъ. Но оставимъ это. Итакъ, мы остановились на томъ, что въ половинѣ перваго я завтракаю и принимаю друзей. Въ часъ мой завтракъ уже конченъ, и я выхожу дѣлать мою первую прогулку, при чемъ стараюсь какъ можно больше себя утомить. Въ это время въ гостиныхъ не принимаютъ, слѣдовательно нѣтъ еще большой бѣды, если мое тѣло дастъ и испарину. Въ эти же часы я позволяю себѣ сдѣлать одинъ короткій дѣловой визитъ—одинъ за разъ, никакъ не больше—и въ два съ половиной часа я снова дома.

— Ты говоришь: одинъ визитъ, но отчего не два, напримѣръ?—заинтересовался Глумовъ.

— А потому, мой другъ, что два или больше дѣловыхъ визитовъ утомили бы меня. Вообще это—правило, которое

почти не терпитъ исключеній: дѣловой элементъ долженъ входить въ жизнь лишь настолько, насколько этого требуютъ самыя-самыя нетерпящія обстоятельства.

— Помилуй, душа моя! Какъ же ты-то можешь это говорить, когда ты самъ — можно сказать — мученикъ дѣла, когда ты съ утра до вечера...

— Да, но это—совсѣмъ другое. То дѣло—моя спеціальность; тутъ я вполнѣ въ своей сферѣ. Тогда какъ подъ «дѣловыми визитами» я разумѣю собственно тѣ, къ которымъ обязываютъ меня общественныя отношенія. Я—человѣкъ партіи, другъ мой! я — консерваторъ, и притомъ одинъ изъ представителей великаго культурнаго слоя Россіи. Одно это званіе уже налагаетъ на меня тьму обязанностей. Лично для себя я не ищу ничего — я не честолюбивъ, я вполнѣ обезпеченъ и люблю свободу: но во мнѣ имѣютъ нужду люди моей партіи, и тутъ—il faut que je m'exécute!

— Что и говорить! Тому мѣстечко, другому крестикъ или чинъ — культурные люди должны поддерживать другъ друга, благо обстоятельства сложились благопріятно для нихъ.

— Вотъ это и есть моя мысль. Но ты понимаешь, что всѣ эти ходатайства, просьбы и рекомендаціи не могутъ же быть особенно интересны. Тѣмъ больше, что нерѣдко насъ осаждаютъ такія шалопаи, которые впослѣдствіи ставятъ въ большое затрудненіе само правительство...

— А ты бы за такихъ не ходатайствовалъ!

— Нельзя, mon cher. Во-первыхъ, я, къ сожалѣнію,— не сердцевѣдецъ, а во-вторыхъ, намъ нужны люди. Необходимо, чтобы ряды наши были наполнены, чтобы мы всегда были въ состояніи противостоять. Но во всякомъ случаѣ эти ходатайства составляютъ одно изъ больныхъ мѣстъ моего существованія, и потому очень понятно, что относительно дѣловыхъ визитовъ я не могу допустить болѣе одного въ день.

— Однако, братъ, и у тебя... шипы-то, вѣрно, у всякаго есть!

— И какіе еще шипы! На-дняхъ Коля Персіяновъ, нашъ общій товарищъ и человѣкъ, котораго мнѣніемъ я больше всего на свѣтѣ дорожу, прямо въ глаза мнѣ сказалъ: «Душа моя! ты всегда рекомендуешь или глупцовъ, или негодяевъ! Одинъ изъ твоихъ protégés на-дняхъ у Доминика пирогъ укралъ!» Каково мнѣ было слышать это!

Правда, онъ тутъ же поспѣшилъ прибавить: «а впрочемъ, всѣ эти прекрасные незнакомцы, которые являются къ намъ подъ личиной консерваторовъ, — всѣ они большой руки шалопаи...» но все-таки мнѣ было очень и очень непріятно!

— Еще бы! вѣдь мнѣніе Коли Персіянова...

— Ахъ, мой другъ! это — такой человѣкъ, такой человѣкъ! Нашъ ровесникъ—и ужъ правая рука! Ma tante, la comtesse Nakhliostkine, называетъ его «государственнымъ юношей». Et avec ça, d'une bonté, d'une prévenance... ни одинъ проситель не уходитъ отъ него не очарованнымъ! Добръ и то въ же время твердъ, особливо если дѣло коснется принциповъ. Ужъ онъ по шёрсткѣ не погладитъ... ни-ни!

— Ну, о Персіяновѣ послѣ. Ты такъ интересно разсказываешь свой день, что я, право, заслушался. Продолжай, пожалуйста.

— Къ половинѣ третьяго я возвращаюсь домой. Тутъ я опять освѣжаю себѣ лицо и руки; но, понятно, уже не съ тѣмъ вниманіемъ, какъ утромъ. Истинное достоинство моей системы въ томъ и состоитъ, что утромъ вся главная работа уже сдѣлана, и затѣмъ въ продолженіе дня я отдаюсь однѣмъ поправкамъ. Освѣжившись, я надѣваю костюмъ, предназначенный для визитовъ, и въ три часа, если погода благопріятствуетъ, выхожу на Невскій—это вторая моя прогулка, которую я дѣлаю, уже не утомляя себя. Тутъ я встрѣчаюсь съ знакомыми, узнаю новости дня и около четырехъ часовъ сажусь въ карету и отправляюсь съ визитами. И такъ какъ главныя новости дня мнѣ извѣстны, то понятное дѣло, что недостатка въ sujets de conversation не можетъ быть. Но ежели новости скудны, то у меня всегда есть въ запасѣ различныя impressions de voyage, которыя очень легко припоминаются и всегда какъ-то новы. Время проходитъ быстро, такъ что и не увидишь, какъ наступитъ половина шестого, моментъ, когда я долженъ быть вновь на своемъ посту, т.-е. дома, за туалетнымъ столомъ. Здѣсь я опять освѣжаю лицо и руки и надѣваю фракъ или сюртукъ, смотря по тому, куда отправляюсь обѣдать. Все это дѣлается быстро, очень быстро, потому что въ шесть часовъ я долженъ быть на мѣстѣ. Вотъ тутъ-то именно и начинаются тѣ затрудненія, о которыхъ я уже говорилъ.

— Насчетъ пищи и питія, что ли?

— Именно. До сихъ поръ я былъ самъ себѣ господиномъ; я распоряжался и своимъ временемъ, и своими дѣйствіями по плану, мною самимъ составленному и обдуманному. Лично — я очень умѣренъ. Мой каждодневный завтракъ вы видите: это—добрый кусокъ мяса, блюдо сладкаго и полбутылки, много бутылка лафита. Этого, конечно, достаточно, чтобъ насытить, но пресыщенія тутъ быть не можетъ. Между тѣмъ внѣ дома я уже не завишу отъ себя. Я не пользуюсь достаточной суммой свободы, которая необходима, чтобы благоразуміе и строго разсчитанная система дѣйствій не переставали служить руководящею нитью моихъ жизненныхъ отправленій.

Износковъ задумался на минуту, потомъ взгрустнулъ и вдругъ впалъ въ сентиментальность.

— Да, господа,—сказалъ онъ:— иногда я завидую вамъ! Я завидую той умѣренности, которая такъ просто вамъ достается, завидую тѣмъ скромнымъ обѣдамъ, послѣ которыхъ чувствуется такъ легко на душѣ! Что вамъ! Вы зайдете въ какой-нибудь маленькій ресторанчикъ, спросите себѣ обѣдъ въ полтинникъ — и довольны. Вы счастливы, веселы, вы возвращаетесь домой, ни въ какомъ смыслѣ не чувствуя обремененія. Однажды въ Парижѣ я именно такимъ образомъ провелъ мой день. Насъ было трое, и мы условились отобѣдать самымъ простымъ и дешевымъ образомъ. Отправились въ одинъ изъ établissements de bouillon, заказали обѣдъ въ два съ половиной франка съ человѣка, и повѣрите ли—никогда я не чувствовалъ себя такъ хорошо, такъ свободно, какъ въ это памятное послѣ-обѣда! Потомъ мы отправились въ какую-то третью галлерею театра Gaîté и оттуда въ Jardin Bullier, гдѣ до такой степени развеселились, что незамѣтно кончили ночь au violon. И вотъ тогда-то я сказалъ себѣ: если обстоятельства мои измѣнятся, если я сдѣлаюсь бѣденъ, comme Job,—я всегда буду жить такимъ образомъ. Да, господа, я вамъ завидую!

— Что и говорить! съ этой стороны мы дѣйствительно обезпечены,—сказалъ Глумовъ:—разумѣется, лучше имѣть спокойную совѣсть, нежели переполненное брюхо. А все-таки и еще было бы лучше, если-бъ совѣсть съ брюхомъ-то какъ-нибудь примирить!

— Да, но міръ такъ устроенъ... Entre nous soit dit, я вѣдь и самъ—немножко соціалистъ; я самъ не разъ задумывался объ этой «курицѣ въ супѣ», которую такъ желалъ Генрихъ IV для своихъ вѣрноподданныхъ. Но я убѣ-

дился, что пути Провидѣнія ведутъ человѣчество иначе— и вотъ въ чемъ собственно заключается то громадное различіе, которое существуетъ между мною и распространителями превратныхъ идей. Мы, русскіе, всѣ болѣе или менѣе соціалисты, но я—я борюсь со страстями, а другіе— безпрекословно отдаютъ себя имъ въ плѣнъ. Вотъ и все.

— И хорошо дѣлаешь, что борешься. Потому что если каждый день всякому по курицѣ—сколько бы курицъ надо было! А потомъ, пожалуй, и курицами перестали бы удовлетворяться—захотѣли бы бифштексу!

— C'est ce que je me suis toujours dit. Мы, консерваторы, понимаемъ это ясно. Но вотъ... Литераторъ! ты какъ объ этомъ думаешь?

— Помилуй! Совершенно такъ же, какъ и ты!

— Là! la main sur la conscience?

— Ну, ей-Богу!—поклялся я.

— Я тебѣ вѣрю. Итакъ, будемъ продолжать. Повторяю: самъ по себѣ я умѣренъ; но, къ сожалѣнію, обѣдъ безъ общества для меня немыслимъ. Я охотно обѣдалъ бы въ семействахъ, но—увы!—направленіе нашего вѣка таково, что о семейныхъ обѣдахъ никто нынче не помышляетъ, и даже сами семейные люди находятъ, что эти обѣды годны только для воспитанниковъ военно-учебныхъ заведеній, отпускаемыхъ по праздникамъ домой. Тонкій обѣдъ въ ресторанѣ, обѣдъ съ немногими друзьями, оживленный непринужденнымъ и живымъ разговоромъ—вотъ идеалъ нашего времени. Но понятно, что въ смыслѣ menu такой обѣдъ долженъ быть совершенствомъ, а это—уже слишкомъ серьезное дѣло, чтобы можно было положиться единственно на самого себя. Menu обѣда должно быть дебатировано и резонировано, ибо только тогда получится дѣйствительный гастрономическій результатъ. Къ сожалѣнію, такого рода результатъ не всегда согласуется съ результатомъ гигіеническимъ, и вотъ что, по мнѣнію моему, образуетъ ту страшную пропасть, которая раздѣляетъ l'homme de la nature et l'homme civilisé! L'homme de la nature se nourrit de matières premières! Его кухня—вся вселенная. Онъ ловитъ рыбъ, птицъ и звѣрей—и съѣдаетъ ихъ почти живыми. En fait de légumes—у него подъ руками безчисленные корни и злаки. И при этомъ онъ ѣстъ и пьетъ,—и замѣтьте, пьетъ только воду!—именно столько, сколько ему надо, чтобы утолить голодъ и жажду. Но по мѣрѣ того, какъ цивилизація прикасается къ человѣку,

таинственная книга природы мало-по-малу закрывается для него. Уже нашъ мелкій петербургскій чиновникъ съ презрѣніемъ отворачивается отъ внутренностей какого-нибудь оленя и, какъ подспорье къ водѣ, изобрѣтаетъ квасъ. Но питаніе чиновника все-таки еще довольно близко подходитъ къ питанію человѣка природы, потому что главный характеръ его составляютъ умѣренность порцій и преобладаніе воды, хотя бы и замаскированной подъ фирмою кваса. Затѣмъ, чѣмъ ближе человѣкъ подходитъ къ состоянію культурности, тѣмъ больше онъ удаляется отъ первообраза питанія, предлагаемаго природой, и тѣмъ неудержимѣе стремится къ переполненію желудка. Являются комбинаціи, вслѣдствіе которыхъ matière premièrе до того измѣняетъ свой интимный характеръ, что дѣлается почти неузнаваемою. Сначала говядина сортируется, при чемъ сорты жесткіе и трудно проглатываемые достаются въ удѣлъ людямъ, питающимся въ греческихъ кухмистерскихъ, а сорты мягкіе и легко проглатываемые—культурному человѣку. Но этого мало: вмѣсто говядины просто вареной или жареной, выступаетъ на сцену бифштексъ, ростбифъ, languettes de bœuf, т.-е. говядина идеализированная,—говядина, которая однимъ наружнымъ видомъ свидѣтельствуетъ объ усиліяхъ человѣческаго разума, работавшаго надъ ея просвѣтленіемъ. Но и этого недостаточно: наступаетъ эпоха соуса. Соусъ—это высшее выраженіе современнаго кулинарнаго генія; соусъ—это преобразователь по преимуществу. И что всего важнѣе—заслуги его состоятъ не въ прошедшемъ, не въ томъ, что уже имъ совершено, а въ тѣхъ безчисленныхъ перспективахъ, которыя онъ позволяетъ предвидѣть въ кулинарномъ будущемъ. Ахъ, messieurs! вы не можете имѣть даже приблизительной идеи о томъ, что совершило кулинарное искусство въ послѣднее время! Карэмъ былъ великъ и, вѣроятно, не повторится больше, но идея его жива и будетъ жить вѣчно. Ученики его разрабатываютъ эту идею такъ неутомимо и добросовѣстно, что каждый изъ нихъ въ своей спеціальности непремѣнно представилъ какое-нибудь изобрѣтеніе или пролилъ новый свѣтъ на какое-нибудь блюдо! Впрочемъ, у насъ, въ Петербургѣ, еще нельзя имѣть полнаго представленія той неизмѣримой высоты, на которой стоитъ современное искусство хорошо ѣсть. Наши рестораны недурны—и только; но надобно быть въ Парижѣ, въ этой благословенной Франціи, которая со всѣхъ концовъ шлетъ что-ни-

будь съѣдомое, чтобъ убѣдиться, до какой степени развитія можетъ дойти кулинарный геній. Каждый французъ—природный поваръ, каждая француженка—природная повариха, въ самомъ возвышенномъ, благородномъ значеніи этихъ словъ. Ни одинъ французскій король не умеръ, не оставивъ потомкамъ какого-нибудь кулинарнаго изобрѣтенія, и весь народъ стремился подражать ему. Замѣтьте, что даже революціи имѣютъ у нихъ кулинарный характеръ, потому что всѣмъ хочется попробовать той «курицы въ супѣ», которую такъ великодушно пообѣщалъ Henri IV! Каждый разъ, какъ я пріѣзжаю въ Парижъ, я не вѣрю глазамъ своимъ. Казалось, что уже найдены были геркулесовы столбы, что зданіе и увѣнчано, и переувѣнчано—ничуть не бывало! Oh! il y a encore immensément à faire! скажетъ вамъ всякій французъ, и скажетъ святую истину, потому что, напримѣръ, то, что вы въ прошломъ году ѣли подъ именемъ rognons sautés, уже совсѣмъ не то, что вы ѣдите теперь подъ тѣмъ же именемъ. Въ прошломъ году вы должны были размалывать мясо почки зубами; теперь вы только присасываетесь къ почкѣ языкомъ — и она растаяла. А Бисмаркъ думалъ своими пятью мильярдами раздавить эту страну! Да она одними трюфелями уплатитъ сто такихъ контрибуцій, одними poulets de Mans подорветъ всю его жалкую политику! Правда, онъ отрѣзалъ у Франціи Страсбургъ... Strasbourg!

Онъ поникъ головой, какъ бы оплакивая участь Страсбурга.

— Да, братъ, Страсбургъ... не видать теперь французамъ страсбургскихъ пироговъ какъ своихъ ушей!—сказалъ Глумовъ:—но вотъ что, душа моя! Слушаю я тебя и удивляюсь: сколько ты долженъ былъ и поработать, и подумать, чтобы представить себѣ всю эту картину въ такой поразительной ясности! Прогрессъ человѣчества въ связи съ кулинарнымъ искусствомъ! — какая грандіозная идея! Эти дикіе, которые ѣдятъ животныхъ сырьемъ, эти чиновники, которые питаются въ греческихъ кухмистерскихъ произведеніями кухни, такъ сказать, свайнаго типа, и наконецъ этотъ вѣнецъ созданій божіихъ—культурный человѣкъ, который уже употребляетъ бифштексъ и постепенно возвышается до соуса... Изумительно! Повѣришь ли, я даже сотой части того не подозрѣвалъ, что теперь, послѣ твоего изложенія, такъ ясно мнѣ представляется!

— Да, мой другъ, и нработалъ я, и подумалъ, а все-

таки въ концѣ концовъ могу сказать только одно: я знаю, что я ничего не знаю. Или еще точнѣе: я знаю, что, благодаря развитію кулинарнаго искусства, у меня иногда въ одинъ вечеръ пропадаютъ цѣлыя недѣли упорныхъ гигіеническихъ усилій. Трудно быть осмотрительнымъ, когда все вокругъ приглашаетъ къ неосмотрительности, и хотя я никогда не позволялъ себѣ крайностей, но все-таки каждый разъ съ наступленіемъ лѣта чувствую потребность ремонтировать себя въ Карлсбадѣ! Но пора ужъ и кончить. Въ изложеніи остального я буду кратокъ, потому что приближается время моей первой прогулки. Вечеръ я обыкновенно провожу въ балетѣ или у французовъ и оканчиваю свой день на раутѣ или на балѣ. Я *никогда* не ужинаю— это принципъ, отъ котораго я не позволяю себѣ отступить ни на іоту. Домой я возвращаюсь отнюдь не позднѣе двухъ часовъ ночи. Ночной туалетъ беретъ у меня не меньше получаса, потому что это—время, когда я примѣняю тѣ средства, которыхъ дѣйствіе продолжительно. Но разъ въ постели—я засыпаю, какъ убитый. Въ этомъ отношеніи я сумѣлъ такъ дисциплинировать себя, что утромъ всѣ повязки на головѣ и лицѣ оказываются всегда на тѣхъ самыхъ мѣстахъ, на которыхъ онѣ были съ вечера. Затѣмъ опять начинается утро, и такимъ образомъ идутъ дни за днями, почти не измѣняясь даже въ подробностяхъ. Зная мой одинъ день, вы знаете всю мою жизнь. Что сказать вамъ еще? Я здоровъ, я мало состарился, мнѣ никогда не бываетъ скучно, и я способенъ даже теперь совершать нѣкоторые exploits, которые впору человѣку лишь самой цвѣтущей молодости. Но повторяю: все это достается мнѣ далеко не легко.

— Еще бы!—воскликнулъ Глумовъ:—каждый шагъ разсчитанъ, каждое притираніе обдумано,—какая тутъ легкость! Но вотъ что: ты сказалъ сейчасъ, что тебѣ никогда не бываетъ скучно,—дѣйствительно ли это такъ?

— Никогда. L'ennui est l'ennemi de l'utile. Я гоню скуку, потому что она приводитъ за собой дурныя фантазіи. Вотъ вы, господа... Литераторъ! я увѣренъ, напримѣръ, что ты даже теперь не знаешь, куда дѣваться отъ скуки?

— Теперь нѣтъ; но вообще не могу сказать, чтобъ жизнь была весела.

— Недоволенъ? революціи хочется? Да, à propos! скажи, пожалуйста, правда ли, что ты требовалъ cent mille têtes à couper?

— Опомнись! Христосъ съ тобой!

— Да, да, да; мнѣ сказывали. Я лично по-русски давно ничего не читаю,—я считаю нашу литературу помойной ямой, въ которую сваливаются всѣ общественныя нечистоты,—но знаю изъ достовѣрныхъ источниковъ... Ахъ, голубчикъ! голубчикъ! зачѣмъ ты это дѣлаешь?

— Да что дѣлаю-то? говори!

— Постой! твоя рѣчь впереди. Неужели ты можешь думать, что *нашъ* это меньше заботитъ, нежели тебя?

— Что заботитъ? Ничто меня не заботитъ!

— Неужто ты можешь думать, что мы не видимъ qu'il y a encore immensément à faire? Что мы сами отъ души не желали бы, чтобъ все шло къ общему удовольствію, чтобы эти широкія идеи, toutes ces idées généreuses enfin...

— Да что-жъ это наконецъ! Глумовъ! объясни ему, сдѣлай милость!

Но Износковъ уже ничего не слышалъ.

— Другъ мой!—продолжалъ онъ, беря меня за руки и сильно сжимая ихъ:—я, конечно, не имѣю никакого права... но ради бывшаго нашего товарищества убѣждаю тебя: оставь! Laisse, mon cher! Оставь другому заботу волновать общественное мнѣніе, а ты—будь съ нами! Право, Россія не такъ безобразна, какъ это кажется съ перваго взгляда! А ежели бы она и въ самомъ дѣлѣ была такъ непозволительно дурна, то, право, мы, русскіе, мы, люди культуры, должны пожалѣть объ ней!

Онъ говорилъ это такимъ дурацки-убѣжденнымъ тономъ, что я стоялъ какъ опеломленный и, ничего не понимая, глядѣлъ ему въ лицо. Но тамъ было все загадочно. Ясно было только то, что въ эту минуту онъ и любилъ меня, и жалѣлъ; любилъ, не зная за что, и жалѣлъ, не зная за что. Наконецъ онъ спохватился и взглянулъ на часы.

— Ба! пять минутъ второго! — воскликнулъ онъ торопливо:—ну, господа, прошу извинить! Надѣюсь, что мы видимся не въ послѣдній разъ! Литераторъ! вѣдь ты не сердишься на меня? Ты понимаешь, что я отъ души... Оставь, мой другъ! Право, жизнь не такъ дурна, какъ это кажется господамъ революціонерамъ, которые по природѣ своей склонны все видѣть въ черномъ свѣтѣ! До свиданія, господа!

Выходя, я готовъ былъ взять Глумова за горло: до такой степени изумила меня послѣдняя сцена.

— Это—все ты!—упрекалъ я его:—ты привелъ меня къ этому шалопаю! по твоей милости я наслушался его наста-

вленій! Ты говорилъ мнѣ: пойдемъ на культурнаго человѣка посмотрѣть, а этотъ культурный человѣкъ, того и гляди...

— Не горячись!—прервалъ меня Глумовъ:—во-первыхъ, бѣды отъ Износкова не можетъ быть никакой. Онъ ужъ и въ настоящую минуту, вѣроятно, забылъ не только о своихъ наставленіяхъ, но и объ тебѣ самомъ. Во-вторыхъ, ты все-таки въ выигрышѣ, потому что видѣлъ лицомъ къ лицу подлиннаго русскаго культурнаго человѣка и знаешь, какъ онъ относится къ твоему ремеслу.

ГЛАВА V.

1-й золотарь. Давеча мнѣ дядя Николай говоритъ: „не понимаю я, дядя Павелъ, какъ вы, золотари, это дѣлаете? и должность свою справляете, и хлѣбъ ѣдите". А я ему: не твоего разума эта задача, дядя Николай! зато мы въ день цѣлковый получаемъ, а тебѣ и вся цѣна грошъ.

2-й золотарь. Ну, а онъ что на это?

1-й золотарь. Ничего. „Отчаянные", говоритъ. „Ишь и въ правду объ васъ забыть нужно".

Изъ неизданной книги: „Житейскіе разговоры въ отходной ямѣ".

Отъ времени до времени наша печать оживляется, и поводомъ для этого оживленія служатъ уголовные скандалы. Много и безбоязненно было писано о матери Митрофаніи; еще болѣе обильную пищу для литературныхъ изліяній далъ купецъ Овсянниковъ; наконецъ выступилъ на сцену уголовный процессъ г. Кронеберга...

Процессъ этотъ немногосложенъ: г. Кронебергъ сѣкъ свою дочь и давалъ ей пощечины. О существованіи этой дочери онъ узналъ уже спустя значительное время послѣ ея рожденія, и потому первоначально ея воспитаніе было болѣе чѣмъ небрежное. Немедленно по появленіи на свѣтъ, она была отдана своею матерью въ одно крестьянское семейство въ Швейцаріи, гдѣ и нашелъ ее г. Кронебергъ. Затѣмъ онъ отдалъ ее въ семью пастора въ Женевѣ, но и тутъ удовлетворительныхъ результатовъ не получилъ. Оставалось поселить ребенка вмѣстѣ съ собою и лично заняться его воспитаніемъ, что̀ г. Кронебергъ и исполнилъ. Но, задавшись мыслью сдѣлать изъ своей дочери «женщину не блестящую, но полезную», молодой отецъ съ огорченіемъ замѣтилъ, что въ ребенкѣ уже укоренились нѣкоторыя дурныя привычки, при существованіи которыхъ женщина хотя и можетъ быть блестящею (въ благонамѣрен-

помъ мірѣ кокотокъ), но ни въ какомъ случаѣ не имѣетъ права на названіе полезной. Надлежало воздѣйствовать на эти привычки, устроить такъ, чтобъ ребенокъ забылъ о нихъ. Намѣреніе отличное, но, къ сожалѣнію, г. Кронебергъ педагогъ-самоучка, и притомъ человѣкъ раздражительный, пылкій и самонадѣянный. Онъ сказалъ себѣ: не нужно мнѣ никакихъ совѣтовъ, ничьей помощи, я сдѣлаю все самъ. Но такъ какъ человѣкъ, не приготовленный къ извѣстнаго рода дѣятельности, можетъ только производить путаницу, то весьма естественно, что самонадѣянный педагогъ на первыхъ же порахъ долженъ былъ сознаться въ своей несостоятельности и, за недостаткомъ времени для изученія новѣйшихъ педагогическихъ системъ, прибѣгнуть къ тѣмъ воспитательнымъ пріемамъ, которые въ ходу въ той средѣ, гдѣ онъ живетъ. А въ средѣ этой педагогика одна: плюхи, ежели дѣло не терпитъ отлагательства, и розги, ежели можно вести дѣло искорененія пороковъ съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой. И дѣйствительно, розги, пополняемыя плюхами, поступили на сцену.

Но система тѣлесныхъ воздѣйствій имѣетъ троякую невыгоду. Во-первыхъ, она дѣйствуетъ медленно, ибо относится къ злой волѣ ребенка не непосредственно, а при участіи нѣкоторыхъ посредствующихъ членовъ, которыми являются: со стороны воспитывающаго—розги и кулакъ, а со стороны воспитываемаго—бренная оболочка безсмертной его души, и преимущественно заднія ея части. Понятно, что черезъ спину, и притомъ при помощи розги, не имѣющей въ себѣ ничего духовнаго, гораздо труднѣе проникнуть до души, нежели при помощи убѣжденія, которое, какъ начало тонкое, имѣетъ свойство дѣйствовать на душу непосредственно. Во-вторыхъ, тѣлесныя наказанія, не удовлетворяя условіямъ быстроты дѣйствія,—что собственно и ожидается отъ нихъ педагогами-самоучками,—раздражаютъ послѣднихъ и заставляютъ ихъ тѣмъ сильнѣе упорствовать въ избранной системѣ, чѣмъ сомнительнѣе получаемые отъ нихъ результаты. Въ-третьихъ, они вынуждаютъ наказываемыхъ свидѣтельствовать объ испытываемой ими боли болѣе или менѣе громкими криками, которые впослѣдствіи могутъ служить не совсѣмъ пріятнымъ для педагоговъ поводомъ для начатія противъ нихъ судебнаго преслѣдованія.

Это послѣднее обстоятельство въ особенности важно; оно оказалось и въ дѣлѣ г. Кронеберга. Марія Кронебергъ

такъ сильно и часто кричала, что возбудила состраданіе въ двухъ сердобольныхъ женщинахъ (дворничихѣ и кухаркѣ), которыя и заявили въ участкѣ объ *истязаніяхъ*. Педагогическіе эксперименты были прерваны: на сцену явился участковый приставъ, затѣмъ прокуратура, врачъ, судебный слѣдователь, судебная палата и проч. А г. Кронебергъ поспѣшилъ обратиться къ помощи г. Спасовича, о которомъ даже стѣны судебныхъ зданій вопіютъ: vir bonus, dicendi peritus.

Судебное слѣдствіе состоялось и, какъ слѣдовало ожидать, было направлено къ разъясненію слѣдующихъ трехъ капитальныхъ пунктовъ: 1) Не было ли какихъ постороннихъ причинъ, заставившихъ упомянутыхъ выше двухъ сердобольныхъ женщинъ довести до участка дѣло объ истязаніяхъ, или, другими словами: заявили ли онѣ объ этомъ дѣлѣ безкорыстно, или же руководились какими-либо личными непохвальными побужденіями? 2) Заслуживала ли Марія Кронебергъ, чтобы на порочную волю ея воздѣйствовали при посредствѣ розогъ и оплеухъ, то-есть обладала ли она такими наклонностями, которыя могли ей впослѣдствіи воспрепятствовать сдѣлаться полезною женщиной? 3) Выходили ли употребленныя г. Кронебергомъ мѣры и исправленія изъ предѣловъ, очерченныхъ закономъ, настолько, чтобы потребовать вмѣшательства въ формѣ судебнаго преслѣдованія?

По первому вопросу на возбудительницъ была накинута сильная тѣнь. Дворничиха была замѣшана въ исторію о пропавшемъ цыпленкѣ, за что подвергнута г. Кронебергомъ вычету изъ жалованья въ количествѣ 80-ти копеекъ. Кухарка тоже состояла съ дѣвочкой въ какихъ-то преступныхъ отношеніяхъ, которыя, однако-жъ, на судоговореніи разъясненія не получили. Вообще этотъ вопросъ былъ поставленъ довольно ребячески, и защита поняла, что опираться на него нѣтъ надобности; но сомнѣніе все-таки было возбуждено, и чистый образъ сердобольной дворничихи значительно потемнѣлъ въ глазахъ людей, которые изъ всѣхъ побужденій, двигающихъ человѣкомъ, вѣрятъ только въ побужденіе, заставляющее ради 80-ти копеекъ предавать своего ближняго.

По второму вопросу свидѣтельница, докторъ Суслова, показала, что дѣвушка занималась онанизмомъ и не умѣла управлять своими естественными нуждами. Да, именно такъ, въ этихъ словахъ и показалъ докторъ, четко и ясно,

какъ будто боялся что-нибудь упустить изъ вида. Другіе показывали о «порокахъ» Маріи Кронебергъ уклончиво, какъ бы не желая компрометировать ребенка, и безъ того уже самымъ возмутительнымъ образомъ обвинившаго себя въ воровствѣ и лганьѣ, но докторъ Суслова показывала именно такъ, какъ «передъ Богомъ и страшнымъ Его судомъ показывать о семъ надлежитъ». Тамъ, гдѣ другіе останавливались передъ мыслью, что дѣвочкѣ предстоитъ еще долгое поприще жизни, докторъ Суслова, съ солдатскою, можно сказать, откровенностью, не усомнилась выдать ей аттестатъ на всю жизнь. Затѣмъ, изъ другихъ показаній, хотя и не столь вѣскихъ, какъ сусловское (ихъ давали: подсудимый Кронебергъ, г-жа Жезингъ и пасторъ Комби, который уже выказалъ свою несостоятельность въ дѣлѣ воспитанія), можно замѣтить, что Марія Кронебергъ позволяла себѣ лгать и однажды даже подала поводъ заподозрить ее въ намѣреніи присвоить себѣ изъ запертаго помѣщенія (кража со взломомъ) принадлежащій г-жѣ Жезингъ черносливъ.

И такимъ образомъ передъ присяжными невольно возникла слѣдующая дилемма: сжели уже до начала судебнаго преслѣдованія Марія Кронебергъ не умѣла управлять своими естественными надобностями, то не будетъ ли вынесенный подсудимому обвинительный приговоръ косвеннымъ для нея поощреніемъ и впредь упорствовать въ томъ же ложномъ направленіи?

По третьему пункту свидѣтели-неученые отчасти показывали, что наказанія были житейскія, отчасти отзывались невѣдѣніемъ. Свидѣтели ученые, т.-е. эксперты-врачи, путались. Врачъ Лансбергъ сначала высказывался не въ пользу г. Кронеберга, но потомъ началъ мало-по-малу отступать и кончилъ тѣмъ, что, собственно говоря, провести границу между легкими и тяжелыми поврежденіями «мы не можемъ», и что иногда и отъ легкихъ поврежденій люди умираютъ, а другіе и отъ тяжкихъ выздоравливаютъ. Такъ что когда г. Спасовичъ обратился къ нему съ вопросомъ, нашелъ ли онъ на тѣлѣ прорѣзы кожи, или только пятна и полосы (этотъ вопросъ слѣдовало бы вырѣзать золотыми буквами на мраморной доскѣ и повѣсить послѣднюю въ залѣ засѣданій совѣта присяжныхъ повѣренныхъ), то г. Лансбергъ отвѣтилъ уже совсѣмъ темно, что «поврежденія относятся къ тяжкимъ по отношенію наказанія, а не по отношенію нанесенныхъ ударовъ», желая этимъ, вѣроятно, вы-

разить, что солдатъ могъ бы вынести такія поврежденія безъ особеннаго вреда, но для ребенка они могли составить и вредъ. Врачъ Чербишевичъ свидѣтельствовалъ по части рубцовъ и выразилъ то мнѣніе, что поврежденія особеннаго вліянія на здоровье ребенка не имѣли, но рубцы остались на всю жизнь и, судя по формѣ ихъ, произошли не отъ ушибовъ, а отъ ударовъ прутьями. Давность же происхожденія рубцовъ г. Чербишевичъ опредѣлилъ такъ: можетъ-быть, за нѣсколько лѣтъ, а можетъ-быть, и за три недѣли. Экспертъ Флоринскій тоже отнесъ наказанія не къ тяжкимъ, при чемъ присовокупилъ, что Марія Кронебергъ принадлежитъ къ числу такихъ субъектовъ, у которыхъ раздраженіе кожи бываетъ рѣзче, чѣмъ у другихъ. Наконецъ, экспертъ докторъ Корженевскій выразился, что дѣвочка принадлежитъ къ субъектамъ, малѣйшее прикосновеніе къ тѣлу которыхъ производитъ синяки. Словомъ сказать, экспертиза не только не внесла никакой ясности въ дѣло, но еще болѣе запутала въ лабиринтѣ противорѣчій и оговорокъ. Никто ничего не сказалъ прямо, по-суловски, такъ что для слушателей этого безплоднаго разговора защиты съ экспертами могъ даже возникать совѣмъ особаго рода вопросъ: да ужъ не Марія ли Кронебергъ виновата тѣмъ, что принадлежитъ къ числу такихъ субъектовъ, малѣйшее прикосновеніе къ тѣлу которыхъ производитъ синяки! Хотя, съ другой стороны, слушателямъ, болѣе сообразительнымъ, могъ представиться и такой вопросъ: для чего же однако г. Кронебергъ предметомъ своихъ педагогическихъ воздѣйствій избралъ дочь, а не солдата, малѣйшее прикосновеніе къ тѣлу котораго навѣрное синяковъ не произведетъ?

Г. Спасовичъ безподобно воспользовался неопредѣленнымъ характеромъ матеріала, добытаго на судебномъ слѣдствіи. Вообще, независимо отъ талантливости, это самый солидный и дѣльный изъ нынѣ дѣйствующихъ адвокатовъ. Онъ всегда стоитъ на почвѣ фактовъ и прежде всего интересуется не тѣмъ, дѣйствительно ли преступленіе имѣло мѣсто, а тѣмъ, не имѣется ли для него оправданій въ законѣ, и могутъ ли быть опровергнуты представляющіяся въ дѣлѣ улики. Онъ не допускаетъ чувствительности и безплодныхъ набѣговъ въ область либеральнаго бормотанья. Онъ помнитъ, что онъ адвокатъ, только адвокатъ, а не философъ и не публицистъ, и приглашаетъ присяжныхъ засѣдателей помнить объ этомъ. Въ его глазахъ преступленіе не имѣетъ въ себѣ

ничего чудовищнаго, изумляющаго, и онъ мало ожидаетъ, чтобы суды перестали дѣйствовать, за прекращеніемъ уголовныхъ преступленій. Онъ знаетъ законы со всѣми продолженіями и дополненіями, умѣетъ толковать ихъ и всегда хранитъ про запасъ кассаціонный поводъ. Свидѣтеля онъ изучилъ до тонкости и потому не учитъ его и не надоѣдаетъ назойливыми вопросами, а только слегка направляетъ, ибо знаетъ, что свидѣтель, предоставленный самому себѣ, гораздо скорѣе приподнесетъ ему сущій медъ, нежели свидѣтель, котораго адвокатъ беретъ подъ опеку. Присяжныхъ засѣдателей онъ тоже проникъ и нерѣдко упрощаетъ ихъ обязанности, объясняя (обыкновенно въ заключеніи), что о преступленіи уже по тому одному не можетъ быть рѣчи, что и самое судебное преслѣдованіе возбуждено несогласно съ такими-то и такими-то требованіями закона. Сверхъ того, судя по репутаціи, г. Спасовичъ принадлежитъ къ числу адвокатовъ, не обуреваемыхъ жаждой легкаго и быстраго стяжанія, что еще больше влечетъ къ нему сердца подсудимыхъ.

Таковъ адвокатъ, выступившій въ роли защитника г. Кронеберга на судоговореніи 23 января.

Сдѣлавши довольно краткій, хотя, нужно сознаться, не особенно замѣчательный очеркъ жизни и семейныхъ отношеній подсудимаго, г. Спасовичъ прежде всего приступаетъ къ вопросу: имѣютъ ли право родители наказывать своихъ дѣтей? — и разрѣшаетъ его не на основаніи какихъ-либо произвольныхъ умозаключеній, но ссылкою на статью закона, которая гласитъ прямо, что родители, недовольные поведеніемъ дѣтей, могутъ наказывать ихъ способами, не вредящими ихъ здоровью и не препятствующими успѣхамъ въ наукахъ. Отсюда выводъ: да, г. Кронебергъ наказывалъ свою дочь и имѣлъ на это право, гарантированное ему закономъ. Но, можетъ-быть, онъ злоупотреблялъ этимъ правомъ и пускалъ въ ходъ такіе способы наказанія, которые могли вредить ея здоровью? Чтобъ разрѣшить этотъ вопросъ, г. Спасовичъ входитъ въ подробное, хотя и утомительное разсмотрѣніе качества побоевъ, слѣды которыхъ найдены на тѣлѣ ребенка. Знаки отъ побоевъ раздѣляются на три категоріи. Прежде всего представляются *знаки на лицѣ*, которыхъ такъ много, что, по признанію самой защиты, «если пристально вглядѣться въ лицо ребенка, то это лицо точно исписано по всѣмъ направленіямъ тонкими шрамами». Но это ничего не значитъ, ибо показанія экспер-

товъ такъ неопредѣленны, что защитѣ нѣтъ никакого труда вывести заключеніе, что «нѣтъ ни одного знака, о которомъ можно было бы сказать, что онъ произошелъ отъ удара, нанесеннаго отцомъ». Жаль, что подсудимый самъ сознался въ пощечинахъ, а не будь этого сознанія, не было бы и пощечинъ, такъ какъ нѣтъ на лицѣ синихъ и синебагровыхъ пятенъ. Но ежели и были синяки, то развѣ присяжнымъ не памятно показаніе доктора Корженевскаго, который удостовѣрилъ, что существуютъ субъекты, малѣйшее прикосновеніе къ тѣлу которыхъ производитъ синяки? Ребенокъ золотушный, изобилующій лимфой — что же тутъ мудренаго, что тѣло его покрыто синяками! Итакъ, знаки на лицѣ есть, но нѣтъ увѣренности, нѣтъ уликъ и доказательствъ, что они произошли отъ побоевъ, нанесенныхъ отцомъ. И притомъ эти знаки мелкіе, ничтожные, знаки, которыхъ не замѣтила даже докторъ Суслова, замѣтившая, что Марія Кронебергъ не умѣетъ справляться съ естественными надобностями. Затѣмъ слѣдуютъ знаки *на рукахъ и ногахъ*. Что касается до нихъ, то они произошли очень просто: дѣвочку держали за руки и за ноги во время сѣченія. Сѣченіе — было; этого никто не отрицаетъ; самъ подсудимый сознался въ этомъ, и на этотъ разъ сознался кстати, потому что иначе нельзя было бы объяснить происхожденіе знаковъ на рукахъ и на ногахъ. Tout se lie, tout s'enchaine dans ce monde, сказалъ нѣкогда Ламартинъ и прибавилъ: alea jacta est! т.-е. когда собираешься сѣчь, то имѣй въ виду, что сѣкомаго нужно будетъ держать за руки и за ноги, вслѣдствіе чего у него несомнѣнно образуются синяки. Дальше, переходъ отъ знаковъ на рукахъ и на ногахъ къ знакамъ *на заднихъ частяхъ тѣла*—самый естественный. Эти знаки тоже есть; но прежде всего самъ экспертъ Лансбергъ засвидѣтельствовалъ, что «прорѣзовъ кожи» не было, а были только синебагровыя пятна и полосы; а коль скоро «прорѣзовъ кожи» не было, то стоитъ ли о подобныхъ знакахъ и толковать! Хотя же, сверхъ полосъ и пятенъ, найдены были на ягодицахъ слѣды струпьевъ, то струпья эти, по объясненію эксперта Корженевскаго, суть не что иное, какъ мѣстное омертвѣніе кожи, которая сходила и замѣнялась новой. Да и самый вопросъ этотъ не медицинскій, а педагогическій, ибо медикъ не можетъ опредѣлить ни предѣловъ власти отца, ни силы неправильнаго наказанія (?),—все это могутъ опредѣлить только инспекторы и учители гимназій. Но на столѣ, въ числѣ вещественныхъ

доказательствъ, тѣмъ не менѣе лежитъ пукъ розогъ, которыя экспертъ Флоринскій назвалъ шпицрутенами, и несомнѣнно бывшій въ употребленіи и именно въ рукахъ г. Кронеберга — этого, конечно, отрицать нельзя! Нельзя однако-жъ отрицать и того, что г. Кронебергъ пользовался этимъ педагогическимъ орудіемъ *только одинъ разъ*. Онъ сорвалъ эти рябиновые прутья за нѣсколько дней до наказанія, а срывая ихъ, *быть-можетъ*, не зналъ, что придется употреблять ихъ въ дѣло. Правда, что случай не заставилъ себя ждать, но до тѣхъ поръ г. Кронебергъ наказывалъ свою дочь только «маленькими вѣтками», да и то раза три, въ промежуткахъ времени довольно значительныхъ. Хотя же нѣкоторые и показываютъ, что дѣвочка кричала сильно и часто, но она вообще «кричать горазда, кричитъ и тогда, когда ее ставятъ въ уголъ или на колѣни».

Итакъ, о происхожденіи знаковъ на лицѣ нельзя сказать ничего вѣрнаго; что же касается до сѣченія, то хотя оно и производилось, но при посредствѣ совсѣмъ «маленькихъ вѣтокъ», за исключеніемъ лишь *одного раза*, когда употреблены были въ дѣло шпицрутены, срѣзанные за нѣсколько дней до наказанія, но безъ ясно-сознаннаго намѣренія употребить ихъ въ дѣло. Можно ли назвать тяжкимъ это *единократное* наказаніе, не сопровождавшееся даже прорѣзами кожи? — Отвѣтъ на это даетъ кассаціонная судебная практика, изъ которой до очевидности ясно, что въ настоящемъ случаѣ самое возбужденіе подобнаго вопроса представляется немыслимымъ.

Совсѣмъ иное дѣло вопросъ: была ли достаточная причина для употребленія мѣры домашняго исправленія въ тѣхъ увеличенныхъ размѣрахъ, которые допущены были при томъ единократномъ наказаніи, когда г. Кронебергъ употребилъ шпицрутены? Само собою разумѣется, что была. Нужно отдать справедливость чистоплотности г. Спасовича: онъ ни на минуту не остановился на солдатски-откровенномъ показаніи доктора Сусловой. Но въ этомъ не было и надобности, потому что дѣвочка имѣетъ много другихъ пороковъ, которые требуютъ педагогическаго воздѣйствія: она—лгунья и воровка... Пропадаетъ сахаръ, черносливъ, и наконецъ является поползновеніе (слѣдствіемъ, впрочемъ, не подтвержденное) добраться и до денегъ. Равнодушно къ такимъ поступкамъ относиться нельзя. «Я полагаю,—сказалъ г. Спасовичъ: — что отъ чернослива до сахара, отъ сахара до денегъ, до банковыхъ билетовъ—путь прямой,—

открытая дорога». Слова сильныя, но неосновательныя, свойственныя тѣмъ остервенѣлымъ педагогамъ, которымъ до того опостылѣло воспитательное ремесло, что они въ каждомъ воспитываемомъ готовы усматривать будущаго злодѣя. Едва ли также можно согласиться съ мнѣніемъ г. Спасовича, что отецъ, наказывая своего сына (какъ?), избавляетъ его отъ каторжныхъ работъ и поселенія, а наказывая дочь — избавляетъ ее отъ того, чтобъ она не сдѣлалась распутною женщиной; ибо можно указать на множество лицъ, которыя, никогда не бывъ сѣчены ни съ разсѣченіемъ кожи, ни безъ разсѣченія оной, не только не угодили на каторгу, но занимаютъ болѣе или менѣе значительныя общественныя должности. Тѣмъ не менѣе, несмотря на парадоксальность и ребяческую несостоятельность подобныхъ мнѣній, высказывать ихъ въ защитительной рѣчи, обращенной къ присяжнымъ засѣдателямъ, все-таки недурно. Хорошо поразить воображеніе присяжнаго, сказавъ: вотъ дѣвочка, которая была на пути къ банковымъ билетамъ, но г. Кронебергъ ее остановилъ! И еще: сѣки твоего сына, ибо это избавляетъ его отъ каторги; сѣки свою дочь, ибо это воспрепятствуетъ ей сдѣлаться жертвой распутства! Нужды нѣтъ, что все это вздоръ и галиматья, и что подобныя мнѣнія отзываются не то старческимъ безсиліемъ, не то ребяческими пеленками,—г. Спасовичъ очень хорошо знаетъ, что существуютъ аудиторіи, въ средѣ которыхъ подобныя перспективы пользуются силою почти неотразимою, и покуда эти аудиторіи будутъ существовать, до тѣхъ поръ и онъ будетъ рисовать свои перспективы въ интересахъ подсудимыхъ, которые прибѣгнутъ къ его адвокатской помощи.

Изъ всего изложеннаго выше оказывается, что г. Кронебергъ отнюдь не истязатель, а только плохой педагогъ. Наказывая дѣвочку сильно, больно, такъ что остались слѣды наказанія (вотъ кабы найти такой способъ, чтобы можно было наказывать сильно и больно, а слѣдовъ бы не оставалось!), онъ «сдѣлалъ двѣ логическія ошибки: во-первыхъ, поступилъ слишкомъ рьяно, предположивъ, что можно однимъ ударомъ искоренить все зло, которое годами посѣяно въ душу ребенка и годами же взращено, и, во-вторыхъ, онъ дѣйствовалъ не какъ осторожный судья и не вошелъ въ изслѣдованіе обстоятельствъ, которыя склоняли дѣвочку къ кражѣ».

Плохой педагогъ, неосторожный судья — и больше ничего.

Вотъ если-бъ его за это предали суду, тогда былъ бы другой разговоръ! Тогда его можно было бы даже присудить къ высшей мѣрѣ наказанія, то-есть къ отдачѣ на покаяніе въ педагогическое общество (но тогда можно было бы также доказать, что сужденіе о достоинствѣ той или другой педагогической системы до присяжныхъ не относится), а то—помилуйте!—предаютъ человѣка суду за истязаніе! Да гдѣ же оно? гдѣ его признаки? Вотъ вамъ сводъ законовъ, вотъ кассаціонная судебная практика и вотъ, наконецъ, показанія экспертовъ-врачей! Истязанія! тяжкія поврежденія! И это говорится въ виду показаній, совершенно опредѣлительно установившихъ, что не было даже просѣченія кожи!

Однимъ словомъ, какъ адвокатъ, г. Спасовичъ исполнилъ свое дѣло вполнѣ исправно. Съ знаніемъ законовъ и кассаціонной судебной практики, съ тонкимъ пониманіемъ свидѣтелей и присяжныхъ засѣдателей. Съ своей стороны, и присяжные отнеслись къ его усиліямъ съ полнымъ довѣріемъ и вынесли г. Кронебергу оправдательный вердиктъ.

Собственно говоря, здѣсь бы и слѣдовало кончить настоящую статью. Всѣ сдѣлали свое дѣло. Г. Кронебергъ сѣкъ свою дочь, но безъ просѣченія кожи: а ежели она кричала, то потому только, что вообще «кричать горазда». Г. Спасовичъ исполнилъ свое провиденціальное назначеніе безподобно, то-есть доказалъ, что кліентъ его наказывалъ не произвольнымъ аллюромъ, но на точномъ основаніи указаній, представляемыхъ кассаціонною судебною практикой. Присяжные засѣдатели вынесли оправдательный вердиктъ. Во всемъ этомъ нѣтъ ничего ни необычайнаго, ни удивительнаго. Не удивительно даже и то, что въ такомъ дѣлѣ фигурировалъ г. Спасовичъ, а не адвокатъ чувствительной школы, г. Языковъ. Вѣдь г. Спасовичъ, помнится, уже заявилъ однажды, что адвокатская дѣятельность должна не посторонними какими-либо соображеніями руководствоваться, но преслѣдовать лишь тѣ чисто-художественно-юридическія цѣли, которыя непосредственно вытекаютъ изъ свода законовъ и кассаціонной судебной практики...

Но есть въ защитительной рѣчи г. Спасовича одна сторона, которая какъ-то не клеится съ идеаломъ чисто-художественно-юридическихъ цѣлей, рекомендуемымъ имъ адвокатскому сословію. Въ началѣ этой рѣчи существуетъ небольшое вступленіе, въ которомъ знаменитый адвокатъ желаетъ какъ бы выгородить свою личную солидарность съ

розгами и пощечинами и внушить слушателямъ, что его личныя понятія насчетъ способовъ педагогическаго воздѣйствія далеко не сходны съ тѣми, которыя исповѣдуетъ г. Кронебергъ. Въ виду такого заявленія, конечно, всего естественнѣе было бы обратиться къ г. Спасовичу съ вопросомъ: если вы не одобряете ни пощечинъ, ни розогъ, то зачѣмъ же ввязываетесь въ такое дѣло, которое сплошь состоитъ изъ пощечинъ и розогъ? Но, повидимому, это нравственное и умственное двоегласіе имѣетъ особенную и вполнѣ уважительную причину, а именно: г. Спасовичъ, не будучи лично сторонникомъ пощечинъ и розогъ (и онъ родился въ Аркадіи, и онъ не чуждъ *посторонних соображеній!*), видитъ въ нихъ, тѣмъ не менѣе, своего рода воспитательный пантеонъ, къ которому надо приближаться съ осторожностью, а всего лучше ожидать съ терпѣніемъ, пока онъ самъ собой рухнетъ. — А не рухнетъ онъ никогда,— невольно проговаривается при этомъ уважаемый ораторъ и адвокатъ.

Вотъ объ этой-то сторонѣ защитительной рѣчи и предстоитъ теперь сказать нѣсколько словъ, тѣмъ болѣе, что она значительно подрываетъ солидно-дѣловую, изъятую отъ всякихъ мечтательностей, дѣятельность г. Спасовича, какъ адвоката.

Существуетъ въ Европѣ—и, вѣроятно, въ цѣломъ мірѣ— политическое и философское ученіе, извѣстное подъ именемъ ученія о компромиссахъ и сдѣлкахъ. Сущность этого ученія заключается въ томъ, что человѣчество должно подвигаться впередъ отступая. Нѣкоторые адепты этого ученія еще сохранили память о кое-какихъ идеалахъ и собственно ради ихъ достиженія рекомендуютъ уступки и компромиссы; но другіе до того завертѣлись въ бѣличьемъ колесѣ компромиссовъ, что уже ничего впереди не видятъ и ничего назади не помнятъ, а смотрятъ на жизнь какъ на исторически-организованную игру, въ которой никакой цѣли никогда не достигается, хотя всѣ формы неуклоннаго поступательнаго движенія имѣются налицо. Игра эта бываетъ болѣе или менѣе сложная, смотря по бо́льшей или мѣньшей сложности замысла и бо́льшему или мѣньшему количеству силъ, которыя въ нее введены, но во всякомъ случаѣ она съ избыткомъ наполняетъ досуги людей.

Въ настоящее время въ Европѣ существуетъ какъ бы повѣтріе на компромиссы и сдѣлки. Всюду чувствуется смутная боязнь, и потому всюду раздаются клики: «Осто-

рожиѣе! Не спѣшите! Отступайте! Заманивайте! Не раздражайте!» На этой наклонности компромисса основанъ союзъ германскихъ національныхъ либераловъ съ Бисмаркомъ, и этимъ же явленіемъ объясняется и то, что происходитъ теперь во Франціи.

Практика компромиссовъ до такой степени втягиваетъ, что заставляетъ забывать прежнія связи и прежнихъ друзей. Люди дѣлаются придирчивыми, подозрительными, приходятъ въ одичаніе и въ концѣ концовъ до такой степени погрязаютъ въ мелочахъ, что начинаютъ все прикидывать на золотники и вершки и отъ этихъ вершковъ ставить въ зависимость успѣхъ поступательнаго движенія въ бѣличьемъ колесѣ. Каждый открытый шагъ друзей-единомышленниковъ кажется компрометирующимъ; каждое слово, разоблачающее дѣйствительныя цѣли стремленій партіи, представляется рискованнымъ, преждевременнымъ. Хотѣлось бы достигнуть этихъ цѣлей «потихоньку», не въ смыслѣ бо́льшей или меньшей медленности процесса достиженія, а такъ, чтобы никто не замѣтилъ. Всѣ бы на минуту задремали, а мы бы взяли да и воспользовались. И такъ какъ при такомъ безпокойномъ состояніи ума послѣдній всѣ усилія направляетъ лишь къ устройству внѣшнихъ формъ движенія, т.-е. къ дисциплинѣ и субординаціи, то нерѣдко случается, что первоначальныя цѣли мало-по-малу стираются и отходятъ очень далеко назадъ. Такъ что не безъ удивленія можно видѣть, что человѣкъ, который первоначально ни о чемъ не хотѣлъ слышать, кромѣ maximum'a, преспокойно съѣзжаетъ себѣ на minimum и упорно сидитъ въ новосозданной имъ раковинѣ умѣренности до тѣхъ поръ, пока новая горячая волна жизни не вымоетъ его оттуда.

Вѣяніе времени, носящееся въ воздухѣ, сказывается до того рѣшительно, что подчиняетъ себѣ, напримѣръ, даже Луи-Блана, который до сихъ поръ гораздо сочувственнѣе относился къ требованіямъ «мечтателей», нежели къ «политикѣ разсудка» и «политикѣ результатовъ». Въ письмѣ, обращенномъ въ 1875 г. къ избирателямъ XIII округа города Парижа, онъ уже прямо выражается, что уступки необходимы, и что однимъ скачкомъ очутиться у цѣли невозможно...

То же явленіе встрѣчается и въ современной Россіи, хотя и въ иныхъ примѣненіяхъ. У насъ нѣтъ широкихъ интересовъ, волнующихъ Францію и Германію; у насъ человѣческая мысль можетъ отъ времени до времени выска-

зываться лишь по поводу частныхъ случаевъ, проявляющихся преимущественно на судоговореніяхъ. Поэтому и въ дѣятеляхъ чувствуется нѣкоторая разница: во Франціи проводителями ученія о компромиссахъ являются Гамбетта и Луи-Бланъ, у насъ — г. Спасовичъ. Съ этою оговоркой письмо Луи-Блана безъ всякой натяжки можетъ стоять рядомъ съ рѣчью г. Спасовича, и читателю, при сравненіи ихъ, остается только уменьшить размѣры въ той степени, въ какой онъ самъ заблагоразсудитъ.

Изложивъ свою избирательную программу и установивъ тѣ политическіе общественные идеалы, торжеству которыхъ была всецѣло посвящена его жизнь и въ пользу коихъ онъ и впредь обязывается нелѣпостно ратовать, Луи-Бланъ вдругъ дѣлаетъ переходъ, въ сущности ничѣмъ не мотивированный, кромѣ смутнаго представленія: а что ежели честный солдатъ Макъ-Магонъ, за такія мои слова объ республиканскихъ идеалахъ, республику прихлопнетъ, а намъ всѣмъ «фельдфебеля въ Вольтеры дастъ»? Вотъ этотъ переходъ: «Мнѣ, конечно, не безызвѣстно, любезные сограждане, что въ трудномъ шествіи человѣчества къ царству правды необходимы извѣстныя станціи: что побѣды прогресса не совершаются въ одинъ день; что нужно терпѣніе, нужна осторожность, нуженъ практическій смыслъ вещей; что, идя впередъ съ излишней быстротой, человѣчество рискуетъ быть поставленнымъ въ необходимость отступить». То-есть, другими словами: ваше превосходительство! господинъ маршалъ Макъ-Магонъ! Вы слышали, что я сейчасъ говорилъ о рабочемъ вопросѣ, о церкви, о народномъ образованіи, но вѣдь это *Улита идетъ — когда-то будетъ*. Желая всѣмъ сердцемъ реформъ въ моемъ отечествѣ, я однако-жъ понимаю, что на хотѣнье есть терпѣнье, и что въ настоящее время мы уже и тѣмъ совершенно счастливы, что имѣемъ такого снисходительнаго начальника, какъ ваше превосходительство. Успокойтесь же насчетъ нашей благонамѣренности и имѣйте въ виду, что ежели въ 1880 году потребуется устроить для васъ новый сентеннатъ, мы хотя, быть-можетъ, ради приличія, не будемъ дѣятельно участвовать въ этомъ торжествѣ, но и препятствовать оному не станемъ, такъ какъ идеалы наши трудные, и въ 1880 году пословица: «скорость потребна только блохъ ловить» будетъ существовать въ той же силѣ, какъ и въ настоящую минуту.

То же говоритъ и г. Спасовичъ въ той скромной сферѣ

сѣченія, въ которой онъ, въ качествѣ адвоката, вынужденъ вращаться. «Я, гг. присяжные,—объясняетъ онъ:—не сторонникъ розги; я вполнѣ понимаю, что можетъ быть проведена система воспитанія, изъ которой розга будетъ исключена, но... нормальныя мѣры употребляются въ нормальномъ порядкѣ вещей». Или, другими словами: хорошо воспитаніе безъ розги, но нужно запастись терпѣніемъ, осторожностью и практическимъ смысломъ вещей, и съ этимъ ждать нормальнаго порядка вещей. А до тѣхъ поръ слѣдуетъ довольствоваться необходимыми станціями, въ числѣ коихъ г. Кронебергъ составляетъ такую, на которой поѣздъ, стремящійся въ царство правды, останавливается для сѣченія до тѣхъ поръ, покуда объ этомъ не будетъ заявлено въ участкѣ.

Далѣе Луи-Бланъ продолжаетъ: «Было бы несомнѣнно неблагоразумно думать, что можно однимъ прыжкомъ очутиться у цѣли путешествія, для совершенія котораго потребно продолжительное время». А г. Спасовичъ, изъ скромной сферы розогъ вступая въ еще болѣе скромную сферу пощечинъ, объясняется такъ: «Остается открытымъ вопросъ о пощечинахъ и о тѣхъ синякахъ, которые были, *можетъ-быть* (г. Спасовичъ твердо держится показанія доктора Коржевскаго о принадлежности Маріи Кронебергъ къ такимъ субъектамъ, малѣйшее прикосновеніе къ тѣлу которыхъ производитъ синяки, и только по страсти къ компромиссамъ допускаетъ, что синяки, *можетъ-быть*, произошли отъ пощечинъ), послѣдствіемъ пощечинъ. Кронебергъ давалъ пощечины ребенку—это вѣрно: онъ самъ признаетъ, что ударилъ дѣвочку по лицу раза три или четыре. *Я признаю, что пощечина не можетъ считаться достойнымъ одобренія способомъ отношенія отца къ дитяти.* Но я знаю также, что есть весьма уважаемые педагоги, которые считаютъ ударъ рукой по щекѣ нисколько не тяжелѣе, а можетъ-быть, и предпочтительнѣе, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, сѣченія розгами. Причины, почему пощечина считается особенно обиднымъ ударомъ, кроются въ нравахъ, въ прошедшемъ. Слѣдя въ исторіи за возникновеніемъ этого понятія, мы отыщемъ его въ тѣ рыцарскія времена, когда рыцари ходили въ шлемахъ съ забраломъ, когда ударять ихъ по лицу въ обыкновенномъ ихъ нарядѣ было невозможно, а подобные удары сыпались только на смердовъ, на виллановъ. Разбирая же власть родительскую, трудно сказать, чтобъ она не доходила ни

въ какомъ случаѣ до пощечинъ; отъ посторонняго человѣка ударъ по лицу можетъ сдѣлаться кровной обидой, но не отъ отца». Иными словами, то же самое, что̀ говоритъ и Луи-Бланъ, только переведенное на языкъ пощечинъ. Шествуйте впередъ къ царству, изъятому отъ пощечины, но знайте, что васъ ждетъ путь долгій и трудный, у цѣли котораго нельзя очутиться однимъ прыжкомъ, и что путь этотъ весь усѣянъ пощечинами. Конечно, Луи-Бланъ былъ бы очень изумленъ, узнавъ, что существуетъ «открытый вопросъ» о пощечинахъ, но по нашему мѣсту и это сойдетъ съ рукъ.

Сходство, впрочемъ, на этомъ и оканчивается. Высказавъ изложенныя выше мысли насчетъ уступокъ, Луи-Бланъ прибавляетъ: «Но необходимо имѣть идеалъ и никогда не терять его изъ вида, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда допускаются жертвы въ пользу дѣйствительности. Неразумно думать, что одинъ прыжокъ достаточенъ для того, чтобы достигнуть цѣли долгаго пути, но еще неразумнѣе пускаться въ путь, не зная, куда онъ ведетъ, и выбирать окольныя дороги, не будучи увѣреннымъ, что онѣ ведутъ именно къ тому пункту, котораго предполагаешь достигнуть». Г. Спасовичъ, напротивъ того, давъ сначала понять, что для него вполнѣ понятна система воспитанія безъ розогъ и безъ пощечинъ, и что, слѣдовательно, нельзя отрицать возможности и дѣйствительныхъ, вполнѣ безпощечинныхъ отношеній родителей къ дѣтямъ, тѣмъ не менѣе относится къ этому идеалу безпощечинности мрачно, почти безнадежно. «Я,—говоритъ онъ:—такъ же мало ожидаю совершеннаго и безусловнаго искорененія тѣлеснаго наказанія, *какъ мало ожидаю, чтобъ вы* (присяжные засѣдатели) *перестали въ судѣ дѣйствовать, за прекращеніемъ уголовныхъ преступленій и нарушеній той правды, которая должна существовать, какъ дома, въ семьѣ, такъ и въ государствѣ*».

Люди придирчивые могутъ сказать, что послѣднія, подчеркнутыя сейчасъ, фразы или затѣмъ только пущены въ ходъ, чтобъ сдѣлать гг. судьямъ и присяжнымъ засѣдателямъ комплиментъ, внушивъ имъ, что царствію ихъ не будетъ конца, или же представляютъ собой наборъ пустыхъ и безсодержательныхъ словъ, высказанныхъ безъ всякаго соображенія съ исторіей тѣхъ усилій,—исторіей далеко не безплодною,—которыя дѣлаются въ видахъ ежели не окончательнаго и немедленнаго упраздненія преступленій, то,

по крайней мѣрѣ, значительнаго сокращенія числа ихъ. Есть выраженія готовыя, къ которымъ уже издавна пріучено человѣческое ухо и къ которымъ, въ случаѣ отсутствія мысли, можно прибѣгать точно такъ же, какъ прибѣгаютъ къ магазину готовыхъ платьевъ, чтобы выйти оттуда франтомъ. Но пусть будетъ такъ, какъ утверждаетъ г. Спасовичъ: пусть розги не прекратятся; пусть пощечины господствуютъ вѣчно; пусть преступленія умножаются и процвѣтаютъ на утѣшеніе адвокатамъ, in secula seculorum; спрашивается: зачѣмъ же было заводить разговоръ о педагогическихъ идеалахъ? Зачѣмъ было говорить: «Я вполнѣ понимаю, что можетъ быть проведена система воспитанія, изъ которой розга будетъ исключена»? Странное дѣло! объявлять себя «не сторонникомъ» розги—и въ то же время вступаться въ дѣло, въ основаніи котораго лежитъ исключительно розга; намекать на возможность какихъ-то безпощечинныхъ педагогическихъ идеаловъ — и вслѣдъ затѣмъ объявлять, что идеалы эти слѣдуетъ положить въ шкапъ и навсегда запереть на ключъ!

Ежели слова о возможности существованія безпощечинной педагогики были высказаны не ради щегольства (чего даже нельзя предположить со стороны г. Спасовича, зная его всегдашнюю трезвость въ этомъ смыслѣ), то ихъ не слѣдовало говорить совсѣмъ, особливо въ виду того, что вся остальная рѣчь представляетъ лишь категорическое опроверженіе этого опрометчиво выраженнаго афоризма. Правда, жалкія слова имѣютъ еще очень большое значеніе въ современномъ обществѣ, но все-таки туманъ, ими напускаемый, начинаетъ мало-по-малу разсѣиваться. Ясно, что г. Спасовичъ вышелъ изъ своей роли и сдѣлалъ ошибку. Его умъ, по преимуществу дѣловой, наклонный къ политикѣ результатовъ, долженъ тщательно отметать отъ себя чувствительныя примѣси, которыя составляютъ удѣлъ тѣхъ, которые за прогоны готовы посѣтить какую угодно область теоретическихъ общностей. И навѣрное рѣчь г. Спасовича не утратила бы своей цѣнности и не сдѣлалась бы менѣе убѣдительною, если-бъ онъ, не выгораживая своей личности отъ подозрѣній въ солидарности съ пощечинами, выразилъ прямо и просто, чего онъ требуетъ отъ присяжныхъ засѣдателей. Скомпанованная такимъ образомъ рѣчь могла бы имѣть приблизительно слѣдующій видъ: «Гг. судьи! гг. присяжные засѣдатели! передъ вами на скамьѣ подсудимыхъ находится г. Кронебергъ, который обвиняется въ истязаніи

своей дочери. Для того, чтобы вы могли судить правильно, дѣйствительно ли г. Кронебергъ виноватъ въ томъ преступленіи, *за которое онъ преслѣдуется* (всякій опытный адвокатъ долженъ подчеркнуть эти послѣднія слова, чтобъ присяжные не смѣшивали: подсудимый можетъ быть и виноватъ, но *не въ томъ* преступленіи, за которое судится), необходимо разрѣшить три вопроса: 1) имѣлъ ли г. Кронебергъ право подвергать свою дочь тѣлесному наказанію?— отвѣтомъ на этотъ вопросъ служитъ такая-то статья свода законовъ, которая вполнѣ это право за нимъ подтверждаетъ; 2) подавала ли Марія Кронебергъ поводъ для педагогическихъ воздѣйствій на тѣлѣ?—на это служитъ отвѣтомъ энергическое показаніе доктора Сусловой, и 3) можно ли назвать употребленные г. Кронебергомъ педагогическіе пріемы истязаніемъ?—на это дастъ вамъ отвѣтъ, во-первыхъ, кассаціонная судебная практика и, во-вторыхъ, достаточно удовлетворительный видъ, который представляли ягодицы Маріи Кронебергъ при освидѣтельствованіи. Я кончилъ».

И только.

Можно быть увѣреннымъ, что эта простая и безыскусственная рѣчь оказала бы на присяжныхъ засѣдателей по малой мѣрѣ такое же вліяніе, какъ и тѣ темные намеки, которые допустилъ г. Спасовичъ, чтобы установить свою личную непричастность къ педагогической практикѣ г. Кронеберга.

Кажется, не будетъ ошибки, ежели сказать, что всѣ указанныя выше оговорки и недомолвки суть плодъ неясныхъ отношеній, въ которыя стала русская адвокатура къ органамъ нашей печати, носящимъ названіе «либеральныхъ». Адвокатура наша по началу довольно горячо заявила о своей солидарности съ вопросами жизни и потому весьма естественно встрѣтила со стороны либеральной прессы самое горячее сочувствіе. Но, симпатизируя защитнику вдовы и сироты, литература, какъ старшая сестра въ либерализмѣ, до того простерла свое усердіе, что, подвергая дѣйствія адвокатовъ неусыпному контролю, заявила претензію держать это сословіе въ постоянной опекѣ. Начались обличенія, взысканія, выговоры, почти угрозы, и долгое время сходило это съ рукъ, потому что въ самой средѣ адвокатовъ не установилось еще совершенно опредѣленныхъ понятій о тѣхъ цѣляхъ, которымъ она призвана служить.

Такое отношеніе литературы едва ли можетъ быть названо правильнымъ. Франція — классическая страна адвокатуры, представители которой со времени первой революціи играли въ ея исторіи очень значительную политическую роль, но и тамъ объ адвокатахъ, какъ объ адвокатахъ, въ литературѣ нѣтъ и рѣчи. Адвокатъ, за очень рѣдкими случаями, никого не занимаетъ, покуда изъ него не образуется политическій дѣятель, а разъ сдѣлавшись министромъ, сенаторомъ, депутатомъ—онъ уже и самъ забываетъ о первородномъ грѣхѣ, въ которомъ валялся до того времени. Въ послѣднее время, какъ политическіе дѣятели, адвокаты утратили много изъ прежняго обаянія. Перенося на политическую и административную арену изнурительныя привычки своего ремесла, они никогда не приходили къ дѣйствительно плодотворнымъ результатамъ, а только вертѣлись въ бѣличьемъ колесѣ, вслѣдствіе чего въ настоящее время Франція, послѣ четырехъ революцій, и находится подъ начальствомъ у Макъ-Магона. Поэтому на избирательныхъ сходкахъ въ Парижѣ уже слышатся голоса, что адвокатовъ довольно. Но во всякомъ случаѣ, какъ служителей своего ремесла, и литература, и даже публика (кромѣ нуждающихся въ ихъ услугахъ) ихъ игнорируетъ, и, право, едва ли можно указать на примѣръ, чтобы въ послѣднее время въ какомъ бы то ни было французскомъ органѣ печати было заявлено кому-либо изъ адвокатовъ, что онъ поступаетъ недостойно, защищая французскихъ Овсянниковыхъ и Мясниковыхъ. Единственное исключеніе составляетъ защита Базена адвокатомъ Лашо, но это статья особенная.

У насъ ремесленное значеніе адвокатуры, по-настоящему, должно бы высказаться еще рѣзче, потому что наши адвокаты уже окончательно не имѣютъ никакого отношенія къ политической жизни государства. Не вопросы жизни стоятъ для нихъ на первомъ планѣ, а вопросы, истекающіе изъ свода законовъ и изъ кассаціонной судебной практики. Ловкое обращеніе съ статьями законовъ—вотъ что́ имѣется прежде всего въ виду, точно такъ же, какъ въ нѣкоторыхъ ремеслахъ главную роль играетъ ловкое обращеніе съ иглою, шиломъ, заступомъ и т. д. Спрашивается: почему никому не приходило въ голову обвинять въ недостоинствѣ башмачника, который пьетъ матери Митрофаніи башмаки, или портного, который одѣваетъ Овсянникова, и напротивъ того, отовсюду сыплются обвиненія на адвоката,

который, видя Овсянникова покрытымъ сажею пожарища, взялся омыть его банею покаянія?

Наша печать долгое время не рѣшалась принять этого взгляда, но въ послѣднее время сама адвокатура рѣшилась заявить, что онъ представляетъ единственное правильное мѣрило, съ которымъ можно относиться къ ней. Опекунскія заманки печати произвели неизбѣжную реакцію въ той самой средѣ, которая еще такъ недавно увлекалась желаніемъ доказать, что ничто человѣческое ей не чуждо, хотя на самомъ дѣлѣ всегда имѣла въ виду только то, какъ бы «слопать боженьку», чтобъ никто этого не замѣтилъ. Возникъ бунтъ; долгое время онъ тлѣлъ, такъ что нельзя было разобрать, откуда гремитъ громъ, изъ тучи или изъ навозной кучи, но наконецъ въ адвокатскую похлёбку попалъ такой жирный кусъ, что долго сдерживаемыя страсти не устояли. Поводомъ къ разрыву съ литературой послужило знаменитое Овсянниковское дѣло, и, помнится, г. Спасовичъ (конечно, какъ добрый товарищъ, ибо лично онъ игралъ въ этомъ дѣлѣ роль противо-овсянниковскую) первый поднялъ знамя бунта, сказавши на какомъ-то обѣдѣ, что адвокатура должна шествовать *своимъ* путемъ, независимо отъ внушеній и контроля печати. За нимъ послѣдовалъ и г. Потѣхинъ, который безъ церемоніи обвинилъ русскую литературу въ идіотствѣ.

Вѣроятно, эти случаи измѣнятъ взглядъ нашей печати на русскую адвокатуру и укажутъ, какой долженъ быть характеръ ихъ взаимныхъ отношеній. Во всякомъ случаѣ это не могутъ быть отношенія товарищества, ибо общей почвы для этого здѣсь найти нельзя, кромѣ развѣ того, что и литераторъ, и адвокатъ обладаютъ однимъ и тѣмъ же орудіемъ для достиженія своихъ цѣлей — словомъ. Затѣмъ, и объектъ дѣйствія, и характеръ его — все разное. Литература служитъ обществу, адвокатура — кліенту; честность литературы состоитъ въ разработкѣ идеаловъ и перспективъ будущаго, честность адвокатуры — въ строгомъ согласіи съ дѣйствительностью и подчиненіи идеаламъ, выработаннымъ въ прошедшемъ и ввѣреннымъ охранѣ положительнаго закона. А что касается до общаго орудія — слова, то вѣдь оно раздается и на Сѣнной.

Коль скоро адвокатура выказала намѣреніе отмежеваться отъ области общихъ умственныхъ и нравственныхъ интересовъ, надо воспользоваться этими ея поползновеніями, не навязывать ей общенія и отвести то мѣсто, которое она

должна дѣйствительно занимать въ кругу разнообразныхъ ремеслъ. Что адвокатура ничего не выиграетъ отъ этой эмансипаціи—это несомнѣнно. Тяготѣя все больше и больше къ независимости отъ общихъ интересовъ жизни, она скоро очутится въ томъ же незавидномъ положеніи, въ какомъ еще недавно находились ябедники и строчители просьбъ. То-есть настоящей независимости не достигнетъ, а только перемѣнитъ господина и, вмѣсто литературы, пріобрѣтетъ себѣ такового въ лицѣ кліента, который до сихъ поръ сдерживалъ свои инстинкты именно благодаря тому, что думалъ, будто адвокатура и печать солидарны другъ съ другомъ. Что же касается печати, то, освободившись отъ кошмара кляузы, она несомнѣнно выиграетъ. Кляуза въ послѣднее время отнимала слишкомъ много досуга у публики и заслоняла отъ ея глазъ другіе интересы, гораздо болѣе важные. Это не соотвѣтствуетъ ея дѣйствительному значенію въ общей экономіи жизни общества, и, къ счастію для человѣчества, у него на очереди стоятъ вопросы, гораздо болѣе животрепещущіе, нежели вопросъ объ отношеніяхъ адвокатовъ къ кліентамъ и къ суду.

ГЛАВА VI.

На дворѣ знойно; Петербургъ опустѣлъ и наполнился смрадомъ. Съ «вопросами» тихо; даже еврейскій вопросъ, надѣлавшій-было изрядпаго переполоху, — и тотъ словно изпылъ. Но кой-гдѣ еще скребутъ перьями; вѣроятно, это какая-нибудь, невзначай уцѣлѣвшая, комиссія доскребываетъ свою послѣднюю пѣсню... Ну, что бы стоило окончательно сказать: оботрите перья, спрячьте въ ящикъ бумаги, заприте на ключъ и бѣгите, куда глаза глядятъ—какой бы миръ во всѣ души эти простыя слова пролили! Такъ нѣтъ, объ этомъ еще не слыхать: не приспѣло, знать, время. А тутъ, вдобавокъ, еще дернуло околоточнаго на Петербургской сторонѣ двѣ души загубить! Думаешь: нѣтъ ли тутъ внутренней политики, и не отразится ли это происшествіе на литературѣ, яко попустительницѣ и укрывательницѣ...

И всѣ эти сомнѣнія рождаются въ такую пору, когда неслыханный зной такъ и прожигаетъ насквозь, когда не только возиться въ вопросами, но и фривольныя мысли въ головѣ содержать тяжело. Говорятъ, будто въ такой зной хорошо сѣно убирать и хлѣбъ жать, но насколько это спра-

ведливо—сказать не умѣю. Не сѣялъ, не жалъ, а только въ ѣдѣ себѣ не отказывалъ. На-дняхъ, впрочемъ, видя, какъ дворникъ Иванъ ловко машетъ косой, обкашивая лужайку передъ дачей, я рискнулъ-таки полюбопытствовать:

— А что, братъ Иванъ, я думаю, что въ такое благопріятное для уборки время и душа радуется косить-то?

Но онъ, вмѣсто того, чтобы по душѣ покалякать, процѣдилъ сквозь зубы:

— Попробуйте!

Такъ я и не узналъ, радуется или не радуется у человѣка душа, когда онъ машетъ косой при тридцати градусахъ по Реомюру.

Нынѣшнимъ лѣтомъ я не поѣхалъ за границу, а устроился на дачѣ подъ Петербургомъ. Въ сущности, пора бы свой собственный уголъ гдѣ-нибудь припасти, но столько нынче во всѣхъ мѣстахъ «вопросовъ» развелось, что поневолѣ беретъ оторопь. На югъ заберешься—тамъ еврейскій вопросъ у всѣхъ въ свѣжей памяти, на сѣверъ—тамъ о какихъ-то аграрныхъ вопросахъ поговариваютъ. Даже въ Петербургѣ нынче своимъ домкомъ завестись жутко: а ну какъ столица-то?.. Катковъ съ Аксаковымъ въ Москву зовутъ, Булюбашъ—въ Полтаву, а потомъ, глядишь, и въ Саратовѣ свой собственный патріотъ объявится: пожалуйте въ Саратовъ!

Главнымъ образомъ я потому не поѣхалъ за границу, что вѣстей туда изъ Россіи доходитъ мало, а знать хочется. Думалъ, поселюсь-ка въ сорока верстахъ отъ Петербурга—всего наслушаюсь. И что же! въ сорока-то верстахъ еще меньше извѣстій изъ Россіи, нежели за границей! Точно она сквозь землю провалилась, голубушка. Тѣ же газетные листы, что и за границей, и тѣ же въ нихъ голые факты. А какія загадки скрываются за этими фактами и какія загвоздки готовятъ они въ будущемъ—молчокъ.

Довольно поболгали. Налгали съ три короба, насуетились—и будетъ. Теперь попробуемъ, не лучше ли будетъ, если сядемъ и будемъ сидѣть, уставивъ брады. Но какой переходъ!

Какъ опознаться въ этомъ Concertstück, гдѣ мажорные тоны внезапно смѣняются минорными, а минорные—мольными, и наконецъ наступаетъ отсутствіе всякихъ тоновъ?..

Паровозы между тѣмъ чуть не ежечасно выбрасываютъ на дачную платформу цѣлыя массы людей, съ портфелями и безъ портфелей, людей, которые ежедневно, въ урочный

часъ, уѣзжаютъ отъ насъ въ Петербургъ и, настрянавши тамъ цѣлые вороха внутренней политики, въ урочный же часъ пріѣзжаютъ обратно—глотнуть дачнаго воздуха. Вяло вылѣзаютъ эти люди изъ вагоновъ и, лѣниво перебирая по платформѣ ногами, направляются къ извозчикамъ. Глаза померкли, губы запеклись, въ носу залегло, голова пуста... Послѣ, въ портфелѣ, опять все безъ труда отыщется, и опять голова наполнится внутренней политикой, но покуда утренняя стряпня взяла всѣ силы, какія только могла взять. А тутъ, какъ на грѣхъ, зной, словно изъ ушата, такъ и льетъ на опустѣлую голову...

— Что новенькаго?—слышится гдѣ-то сонный вопросъ.

— А? что?—тоже словно сквозь сонъ раздается изъ чьей-то утробы.

Однимъ словомъ, предположенная цѣль: остаться въ Россіи, чтобы жить въ оной,—оказывается недостигнутою. Живешь невѣдомо гдѣ, слышишь загадочные звуки, видишь протянутыя веревки, на которыхъ качается масса юбокъ и кальсоновъ (вотъ фуфайка главы семейства, а вотъ кальсоны матери семейства!), и отъ времени до времени освѣжаешься мыслью, что, того гляди, явятся прекрасные незнакомцы и потребуютъ: пожалуйте паспорты! Паспорты, паспорты, паспорты—вотъ въ чемъ состоитъ прелесть нынѣшней дачной жизни...

— Кто вы, прекрасные незнакомцы? Дворникъ, слѣдуетъ ли отдавать имъ паспорты?

— Помилуйте, вашескородіе, стало-быть, слѣдуетъ, коли требуютъ!

А впрочемъ, въ послѣднее время наша жизнь уразнообразилась еще слухами о воровствахъ. Здѣшніе воры довольно снисходительны. Придутъ и попробуютъ, подается ли окно, или не подается: ежели подается, то влѣзутъ: если же не подается, то, не настаивая, идутъ дальше. На ихъ счастіе, дачи ремонтируются рѣдко, и оконные переплеты почти всегда ветхи. Но и въ такомъ случаѣ здѣшніе воры не задерживаются, а возьмутъ первое, что попадется подъ руки, и уйдутъ. Очевидно, что главнымъ мотивомъ тутъ является не ненависть къ людямъ и не протестъ противъ неравномѣрнаго распредѣленія богатствъ, а выпивка. Хочется выпить, а денегъ нѣтъ—вотъ они и пробуютъ, прочны ли оконныя рамы. При этомъ всего чаще достается ложкамъ, которыя вездѣ, въ ягодный сезонъ, валяются неприбранныя. Иногда попадается нѣсколько настоящихъ сере-

бряныхъ ложекъ—тогда воръ радуется и называетъ обворованнаго «хорошимъ господиномъ»; но иногда ложки попадаются мельхіоровыя—тогда воръ ропщетъ, называетъ обворованнаго обманщикомъ и сравниваетъ его поступокъ съ тою мельхіоровою внутреннею политикой, которая суетится и сулитъ, но, кромѣ мельхіоровыхъ дѣлъ, ничего послѣ себя не оставляетъ.

Однако покуда не было опубликовано происшествіе на Петербургской сторонѣ, мы не очень тревожились. Но звѣрски-безсмысленный поступокъ околоточнаго Иванова заставилъ и насъ встрепенуться. Сейчасъ же у всѣхъ оконъ появились наружные ставни, сквозь которые просовываются желѣзные болты, и теперь, съ десяти часовъ вечера, мы сидимъ запершись и ничего не боимся. Сверхъ того, я лично, ложась спать, на каждое окно кладу по ложкѣ и по двѣ, въ разсчетѣ, что воръ прямо возьметъ, что̀ слѣдуетъ, и затѣмъ ему уже не будетъ надобности убивать. А такъ какъ у насъ околоточнаго нѣтъ, а есть урядникъ, то я и съ нимъ на всякій случай имѣлъ разговоръ.

— Уже вы, Семенъ Парѳенычъ, ежели вамъ нужно, лучше спросите.

— Я, вашескородіе, завсегда лучше спрошу!

— Пожалуйста. Я тоже лучше десять, двадцать пять рублей отдамъ, нежели жизнь!

Устроившись такимъ образомъ, я сплю тѣмъ спокойнѣе, что на-дняхъ намъ сдѣланъ сюрпризъ: нанятъ ночной сторожъ. Сторожъ этотъ слѣпенькій, на оба уха не слышитъ, на одну ногу хромаетъ, а другую волочитъ; однако еще дышитъ. А это все, что̀ нужно, потому что на здѣшняго простодушнаго вора одинъ видъ человѣка движущагося дѣйствуетъ спасительно. Иногда, въ-просонкахъ, я слышу, какъ нашъ сторожъ зѣваетъ, а по временамъ—нѣтъ-нѣтъ, да и потрещитъ въ трещотку: спите, молъ, я тутъ! А я ему въ отвѣтъ:—бди, калѣка, за восемь цѣлковыхъ въ мѣсяцъ, бди!

Ахъ, этотъ Ивановъ! Мало того, что двѣ души загубилъ, но что̀ еще хуже—цѣлое вѣдомство своимъ поступкомъ скомпрометировалъ. Вмѣсто того, чтобы держать знамя полиціи высоко, а онъ, смотрите, что̀ выдумалъ! И какъ нарочно сряду два такихъ случая. Одинъ съ Ивановымъ, другой съ господиномъ—не помню ужъ фамиліи,—который въ магазинѣ пять байковыхъ платковъ стянулъ. Поймали, привели къ мировому.

— Кто таковъ?

— Чиновникъ департамента государственной полиціи.

Ахъ!

Къ счастію, оказалось, что онъ совралъ. Никогда онъ въ департаментѣ государственной полиціи не служилъ, а только отъ времени до времени исполнялъ отдѣльныя порученія. Исполнитъ порученіе, а вслѣдъ затѣмъ воровать пойдетъ; потомъ опять порученіе исполнитъ—и опять воровать. Дѣлу время, а потѣхѣ часъ. А въ департаментѣ, по разсмотрѣніи его порученій, распоряженія идутъ: штандартъ скачетъ, андроны ѣдутъ, паровозъ свиститъ...

Кто-жъ ему однако-жъ въ душу влѣзетъ! Думали, что онъ просто курицынъ сынъ, а онъ оказался... орелъ!

Какъ бы то ни было, но въ обоихъ приведенныхъ случаяхъ внутренней политики пѣтъ и слѣда, и тѣ, которые полагаютъ, что здѣсь примѣшанъ вопросъ о расширеніи полицейской компетенціи, очень грубо ошибаются. Равнымъ образомъ заблуждаются и тѣ, которые утверждаютъ, что ничего подобнаго не могло бы произойти при «правовомъ порядкѣ» (псевдонимъ). Ибо псевдонимъ этотъ давно ужъ у насъ существуетъ, только мы, по недоразумѣнію, другими псевдонимами его называемъ. Ничего намъ не нужно: ни реформъ, ни упорядоченій, ни правовыхъ порядковъ. Все у насъ есть. А ежели есть, сверхъ того, и много лишняго, то стоитъ только построже предписать: чтобъ не было—и не будетъ.

Вѣдь справляются же съ литературой. Не писать о соборахъ, ни объ Успенскомъ, ни объ Архангельскомъ, ни объ Исаакіевскомъ—и не пишутъ. Вотъ о колокольняхъ (псевдонимъ) писать—это можно, но я о колокольняхъ писать не желаю. Богъ съ ними, съ псевдонимами вообще.

Встарину опытные губернаторы именно такъ и поступали. Прослышитъ, бывало, генералъ, что въ ввѣренномъ ему краѣ неблагополучно—сейчасъ циркуляръ: «Дошло до моего свѣдѣнія... чтобъ не было!» И разомъ всѣ воровства, грабежи, убійства—все какъ рукой сниметъ. А отчего? оттого, что встарину администраторы знали, чего хотятъ, и въ согласность съ симъ требовали; о журавляхъ не разговаривали, а прямо указывали на синицу. Зато ужъ если потребовалъ генералъ синицу, то хоть тресни, а подай; а не подалъ—умри!

А нынче, съ комитетами да съ комиссіями, совсѣмъ мы спутались. Понадѣлали комиссій думали, что польза вый-

дѣтъ, а вышли псевдонимы. Реформа—псевдонимъ, упорядоченіе—псевдонимъ, правовой порядокъ—псевдонимъ. Понятно, что никакая комиссія такого множества псевдонимовъ не выдержитъ, и вотъ онѣ нарождаются и умираютъ, умираютъ и опять нарождаются. А мы ходимъ между ними словно по полю, усѣянному мертвыми тѣлами. Идешь и думаешь: почили, неисправимые празднословы! Смотришь, анъ между ними ужъ кудрявые купидоны рѣзвятся и тоже о чемъ-то празднокартавятъ... Ахъ, дѣти, дѣти!

Жалко смотрѣть на этихъ дѣтей. Едва изъ колыбели, а ужъ не знаютъ иныхъ игрушекъ, кромѣ труповъ! И какихъ труповъ! такихъ, которые завѣдомо сдѣлались оными отъ руки псевдонимовъ! Вѣдь псевдонимный-то ядъ силенъ; живые трупы давно стали мертвыми трупами, а ядъ и теперь витаетъ надъ полемъ смерти! И молодыя легкія вдыхаютъ испаренія его и постепенно заражаются ими. Не успѣетъ купидонъ подрасти—глядь, ужъ новое мертвое тѣло присовокупляется къ числу прежнихъ таковыхъ... Бѣдныя, нерасцвѣвшія дѣти!

Въ томъ-то и бѣда наша, что часто мы сами не знаемъ, чего хотимъ. По крайней мѣрѣ въ Москвѣ давно ужъ твердятъ, что только тогда мы будемъ благополучны, когда на фронтисписѣ нашей жизни будетъ написано: А=А. Вотъ это вѣрно. Все равно какъ въ старые годы кресты на дверяхъ мѣломъ писали, чтобъ холера въ домъ не входила. Но ежели и затѣмъ холера входила, то умирали.

Однако довольно о псевдонимахъ—еще бѣды съ ними наживешь. Поговоримъ лучше объ евреяхъ. Ибо хотя нынче съ этимъ вопросомъ и тихо, но, право, даже теперь, какъ вспомнишь, что происходило мѣсяца три-четыре тому назадъ, морозъ по кожѣ подираетъ.

Не такъ давно и въ печати, и въ обществѣ въ большомъ ходу были толки «о народной политикѣ» и о необходимости практическаго ея примѣненія. Но, къ удивленію, эти толки болѣе смущали, нежели радовали.

Не потому смущали, чтобы выраженіе: «народная политика» представляло для кого бы то ни было загадку: у всѣхъ народовъ оно имѣетъ одно и то же значеніе и на всѣхъ языкахъ имѣетъ соотвѣтствующій терминъ. Означаетъ оно такую правительственную систему, въ результатѣ которой является здоровый ростъ народа, какъ физическій, такъ и духовный. Процвѣтаніе наукъ, промышленности, искусствъ, литературы, общее довольство, обезпе-

ченность и довѣріе—вотъ въ нѣсколькихъ словахъ программа «народной политики». Ясно, что такого рода явленіе, въ глазахъ всякаго здравомыслящаго человѣка, можетъ быть только желательнымъ.

Но у насъ, вслѣдствіе укоренившейся привычки говорить псевдонимами, понятія самыя простыя и вразумительныя получаютъ загадочный смыслъ. У насъ выраженіе: «народная политика» означаетъ совсѣмъ не общее довольство и преуспѣяніе, а, во-первыхъ, «жизнь духа», во-вторыхъ — «духъ жизни» и въ-третьихъ — «оздоровленіе корней». Или, говоря другими словами: мели, Емеля, твоя недѣля.

Вотъ эта-то «народная политика» и взялась покончить съ еврейскимъ вопросомъ. Она всегда и за все бралась съ легкостью изумительной. И «ключей» требовала, и Босфору грозила, и въ Константинополѣ единство кассъ устроить сбиралась, и на кратчайшій путь въ Индію указывала. Но нельзя сказать, чтобы съ успѣхомъ. Если-бъ она меньше хвасталась, не такъ громко кричала, сбираясь на рать, поменьше говорила стихами и потрезвѣе смотрѣла на свою задачу—быть-можетъ, она чего-нибудь и достигла бы. Но она всегда продавала шкуру медвѣдя, не убивши его—понятно, что ни «ключи», ни «проливы» не давались ей какъ кладъ. И вотъ, послѣ цѣлаго ряда проказъ по части оздоровленія корней, ей подвертывается пресловутый еврейскій вопросъ.

Читатель, помните ли вы сказку о «Дикомъ помѣщикѣ»? Содержаніе ея очень незамысловатое. Не весьма умный помѣщикъ, огорченный крестьянской реформой и начитавшійся розсказней о бѣлой кости и алой крови, взмолился къ Богу, прося, чтобъ Онъ освободилъ его отъ мужика. «Одной только милости прошу,—вопіялъ онъ:—чтобы мужичьимъ духомъ у меня во владѣніяхъ не пахло!» И Богъ внялъ мольбѣ неразумнаго (конечно, съ тѣмъ, чтобы онъ впослѣдствіи самъ сознался свое неразуміе): въ одно прекрасное утро поднялся вихрь и, въ глазахъ помѣщика, унесъ изъ его владѣній весь мякинно-мужичій рой...

Какіе плоды вкусилъ помѣщикъ отъ мужичьяго исчезновенія—это сюда не относится. Но очевидно, что легенда о легкомъ исполненіи помѣщичьей прихоти увлекла нашихъ народныхъ политиковъ. Стѣсняясь еврейскою назойливостью и видя, что тутъ ничего не подѣлаешь ни «жизнью духа», ни «духомъ жизни», ни даже «оздоровленіемъ корней», они

избрали легчайшій путь: попробовали примѣнить къ постылымъ евреямъ тотъ же летательный процессъ, какой былъ примѣненъ «дикимъ помѣщикомъ» къ постылымъ мужикамъ. И точно, поднялся вихрь, но при этомъ случилось нѣчто неожиданное: улетѣли народные политики, а евреи остались. До такой степени остались, что даже на-дняхъ я видѣлъ: ходитъ еврей у насъ по дачамъ, какъ будто полотно продаетъ, а самъ подслушиваетъ, не наклёвывается ли гдѣ-нибудь революція — точь-въ-точь какъ полноправный русскій гражданинъ.

Итакъ, евреи остались, но вмѣстѣ съ тѣмъ остался нетронутымъ и еврейскій вопросъ.

Исторія никогда не начертывала на своихъ страницахъ вопроса болѣе тяжелаго, болѣе чуждаго человѣчности, болѣе мучительнаго, нежели вопросъ еврейскій. Исторія человѣчества вообще есть безконечный мартирологъ, но въ то же время она есть и безконечное просвѣтленіе. Въ сферѣ мартиролога еврейское племя занимаетъ первое мѣсто; въ сферѣ просвѣтленія оно стоитъ въ сторонѣ, какъ будто лучезарныя перспективы исторіи совсѣмъ до него не относятся. Нѣтъ болѣе надрывающей сердце повѣсти, какъ повѣсть этого безконечнаго истязанія человѣка надъ человѣкомъ. Даже исторія, которая для самыхъ загадочныхъ уклоненій отъ свѣта къ тьмѣ находитъ соотвѣтствующую поправку въ дальнѣйшемъ ходѣ событій, — и та, излагая эту скорбную повѣсть, останавливается въ безсиліи и недоумѣніи.

Очевидно, что въ ненормальномъ положеніи еврейскаго вопроса играютъ фатальную роль такого рода запутанности, которыя съ теченіемъ времени не только не смягчаются, но даже больше и больше обостряются. Въ ряду этихъ запутанностей главное мѣсто, несомнѣнно, занимаетъ преданіе, давно уже утратившее смыслъ, но доселѣ сохранившее свою живость. Затѣмъ къ числу причинъ, содѣйствующихъ незыблемости преданія, слѣдуетъ отнести, во-первыхъ, несознанные капризы расоваго темперамента и, во-вторыхъ, совершенно произвольное представленіе объ еврейскомъ типѣ на основаніи образцовъ, взятыхъ не въ трудящихся массахъ еврейскаго племени, а въ сферахъ болѣе или менѣе досужихъ и эксплоатирующихъ.

Нѣтъ ничего безчеловѣчнѣе и безумнѣе преданія, выходящаго изъ темныхъ ущелій далекаго прошлаго и съ жестокостью, доходящей до идіотскаго самодовольства, изъ вѣка въ вѣкъ переносящаго клеймо позора, отчужденія и

ненависти. Не говоря уже о непосредственныхъ жертвахъ преданія, замученныхъ и обезглавленныхъ, оно извращаетъ цѣлый циклъ общественныхъ отношеній и на самую исторію налагаетъ печать изувѣрской одичалости. Но безчеловѣчіе явится еще болѣе осязательнымъ, если припомнить, что нѣтъ вещи болѣе общедоступной, какъ преданіе, и что, слѣдовательно, послѣднее прежде всего становится достояніемъ толпы, и безъ того обезумѣвшей подъ игомъ собственнаго злосчастія. Именно этою-то общедоступностью и обладаетъ преданіе, поразившее отчужденіемъ еврейское племя. Когда я думаю о положеніи, созданномъ образами и стонами исконной легенды, преслѣдующей еврея изъ вѣка въ вѣкъ на всякомъ мѣстѣ, — право, мнѣ представляется, что я съ ума схожу. Кажется, что за этой легендой зіяетъ бездонная пропасть, наполненная кипящей смолой, и въ этой пропасти безнадежно агонизируетъ цѣлая масса людей, у которыхъ отнято все, даже право на смерть.

Ни одинъ человѣкъ въ цѣломъ мірѣ не найдетъ въ себѣ столько творческой силы, чтобы вообразить себя въ положеніи этой неумирающей агоніи, а еврей родится въ ней и для нея. Стигматизированный онъ является на свѣтъ, стигматизированный агонизируетъ въ жизни и стигматизированный же умираетъ. Или, лучше сказать, не умираетъ, а видитъ себя и по смерти безсрочно-стигматизированнымъ въ лицѣ дѣтей и присныхъ. Нѣтъ выхода изъ кипящей смолы, нѣтъ иныхъ перспективъ, кромѣ зубовнаго скрежета. Что бы еврей ни предпринялъ, онъ всегда остается стигматизированнымъ. Дѣлается онъ христіаниномъ — онъ выкрестъ; остается при іудействѣ — онъ нѣсъ смердящій. Можно ли представить себѣ мучительство болѣе безумное, болѣе безсовѣстное?

Мнѣ скажутъ, быть-можетъ: однако-жъ мы видимъ, что промышленные центры переполнены евреями, которые нимало не стѣсняются своимъ еврействомъ. Биржи, театры, рестораны, будуары самыхъ дорогихъ кокотокъ — все это кишитъ веселоправными семитами, которые удивляютъ вселенную наглою расточительностью и нелѣпою привередливостью прихотей и вкусовъ. Да, такихъ субъектовъ существуетъ достаточно (ихъ-то однихъ мы и знаемъ), но вѣдь въ нихъ еврейство играетъ уже далеко не существенную роль. Это обыкновенные гуляющіе люди (многіе называютъ ихъ «татями», но я не вижу надобности слѣдовать этой терминологіи), члены той международной аффиліаціи гу-

лящихъ людей, въ которую каждая національность вноситъ свой посильный вкладъ. Объ еврействѣ въ этихъ людяхъ говорятъ только нѣкоторыя ухватки, но вѣдь ухватки самыя рѣзкія легко стушевываются въ пучинѣ всевозможныхъ интернаціональныхъ утонченностей. Тѣмъ не менѣе можно сказать съ увѣренностью, что даже подобныя личности по временамъ переживаютъ нестерпимо-горькія минуты. Ибо и во снѣ увидѣть себя евреемъ достаточно, чтобы самаго неунывающаго субъекта заставить метаться въ ужасѣ и посылать безсильныя проклятія судьбѣ.

Несмотря однако-жъ на это организованное мучительство, евреи живутъ. Какая загадка таится за этимъ фактомъ— это вопросъ трудный. Одни объясняютъ еврейскую живучесть надеждой на отмщеніе, другіе—мудростью, третьи— просто привычкой. Но кажется, что главную роль тутъ играетъ тотъ общечеловѣческій законъ самосохраненія, въ силу котораго племя, однажды сознавшее себя племенемъ, никогда добровольно не налагаетъ на себя рукъ.

Какъ бы то ни было, но уничтожить силу преданія или даже ослабить ее — задача настолько сложная, что даже люди очень убѣжденные отступаютъ передъ нею. Преданіе наслоялось вѣками, и каждое новое наслоеніе прибавляло къ нему новую жестокую черту. Да и кто всего упорнѣе хранитъ эти преданія? Ихъ хранитъ толпа, которая сама насквозь пропитана злосчастіемъ и въ отношеніи которой всякій укоръ былъ бы несправедливостью и всякое рѣшительное воздѣйствіе—дѣломъ въ высшей степени щекотливымъ. Даже поднятіе общаго уровня образованности, какъ это показываетъ современное антисемитское движеніе въ Германіи, не приноситъ въ этомъ вопросѣ осязательныхъ улучшеній, потому что до сихъ поръ мы были свидѣтелями только *относительнаго* поднятія этого уровня, которое не обладаетъ достаточной силой для водворенія принципа абсолютнаго равноправія. Слѣдовательно, чтобы упразднить преданіе, необходимо, чтобы человѣчество окончательно очеловѣчилось. А когда это произойдетъ?

Перспектива безсрочная и тѣмъ болѣе безнадежная, что въ союзѣ съ преданіемъ противъ еврейскаго племени дѣйствуютъ и несознанные капризы расовыхъ темпераментовъ. Эти капризы, переходя отъ поколѣнія къ поколѣнію, въ свою очередь образуютъ преданіе, столь же компактное и не менѣе преисполненное всякаго рода баснословій, какъ и изукрашенная вѣками легенда о несмываемомъ еврейскомъ клеймѣ.

И образъ жизни еврея, и внѣшняя его складка, его манера говорить, ходить, одѣваться—все дастъ пищу для неосмысленной досады, которая проявляетъ себя тѣмъ безпрепятственнѣе, что выраженіе ея почти всегда сопровождается безнаказанностью. Никто такъ мастерски не бонтся, какъ еврей; никто не создалъ для себя такого страннаго внѣшняго облика. Еврей самый солидный напоминаетъ внѣшнимъ своимъ видомъ подростка, путающагося въ отцовскихъ штанахъ. Для темной массы этого вполнѣ достаточно, чтобы видѣть въ евреѣ всегда готовый источникъ потѣхъ и издѣвокъ. Никому нѣтъ дѣла до причинъ, породившихъ «странности», ибо въ глазахъ чрезчуръ ужъ живо мечется грубый фактъ, который заслоняетъ и проклятое прошлое, и презрѣнную обстановку настоящаго. Смѣшной лямбсердакъ, нелѣпые пейсы, заячья торопливость, ни на минуту не дающая еврею усидѣть на мѣстѣ,— чего еще нужно? Еврей и ходитъ не такъ, какъ люди, и говоритъ не такъ, какъ люди, и смотритъ не такъ, какъ люди. Отъ еврея — пахнетъ; еврей не смотритъ, а глаза у него бѣгаютъ; онъ не живетъ, а блудитъ. А какъ смѣшно и даже гнусно онъ шепелявитъ!

— Что, еврей, губами мнешь?

— Дурака шашу!

То ли дѣло Деруновъ съ Колупаевымъ! Никогда они не скажутъ: «шашу», а прямо отчекапятъ: «сосу дурака» — и шабашъ. И правильно, и для потѣхи резоновъ нѣтъ: слушай и трепещи!

Давно ли власть имѣющія лица стригли у евреевъ пейсы и снимали съ нихъ лямбсердаки? Давно ли какъ лакомства выслушивались разсказы о веселоправныхъ военныхъ людяхъ, ѣздившихъ на евреяхъ и верхомъ, и въ экипажахъ, занимавшихся травлей ихъ и не знавшихъ болѣе высокаго наслажденія, какъ подстеречь еврея съ какимъ-нибудь членовредительнымъ сюрпризомъ и потомъ покатываться отъ уморы при видѣ *смѣшного* ужаса, который являлся естественнымъ послѣдствіемъ сюрприза. И что же, развѣ это прошлое такъ и кануло въ вѣчность? Нѣтъ, оно только видоизмѣнило формы, а сущность передало неприкосновенною, такъ что въ настоящее время пропаганда еврейской травли едва ли не идетъ шире и глубже, нежели когда-либо.

Говорятъ, будто выраженіе: «дурака шашу» представляетъ девизъ, которымъ опредѣляются отношенія *всякаго*

еврея къ окружающей средѣ. Но въ такомъ случаѣ отчего же не допустить подобнаго же толкованія и для выраженія: «сосу дурака», которое на практикѣ имѣетъ отнюдь не менѣе обширное примѣненіе. По существу, они оба одинаково омерзительны, да и на практикѣ имѣютъ одинаковое примѣненіе. Но и въ томъ, и въ другомъ видѣ доступны совсѣмъ не всякому встрѣчному, а только могущему вмѣстить.

Сосать простеца или «дурака» (онъ же рохля, ротозѣй, мужикъ и проч.) очень лестно, но для этого надо имѣть случай, сноровку и талантъ. Деруновъ и Колупаевъ — сосутъ, а Малявкинъ и Казявкинъ хоть и живутъ съ ними по сосѣдству—*не* сосутъ. Первые обладаютъ всѣми нужными для сосанія приспособленіями; вторые — тѣми же приспособленіями обладаютъ наоборотъ. Тотъ же самый законъ имѣетъ силу и въ еврейской средѣ. И между евреями правомъ лакомиться «дуракомъ» пользуются лишь сильные организмы, а Малявкинъ и Казявкинъ не только не лакомятся, а, напротивъ, представляютъ собой матеріалъ для лакомства.

Вся разница въ томъ, что коренной Деруновъ, присасываясь къ Малявкину, называетъ его «крестникомъ» и не чуждается прибаутокъ, въ родѣ: «по-милу да по-божецки, ты за меня, я за тебя, а Богъ за всѣхъ!» А Деруновъ-еврей сосетъ безъ прибаутокъ, серьезно. Возьметъ дурака двумя пальцами, пососетъ и скорлупу выплюнетъ; потомъ возьметъ другого дурака и опять скорлупу выплюнетъ. Ужасно видѣть это серьезное выплевываніе скорлупокъ, но, право, и прибаутки слушать не слаще.

Кому же однако приходило въ голову указывать на Разуваева, какъ на опредѣляющій типъ русскаго человѣка? А Разуваева-еврея непремѣнно навяжутъ всему еврейскому племени и будутъ при этомъ на все племя кричать: ату!

Но для Дерунова-еврея есть даже смягчающее обстоятельство: онъ чаще всего сосетъ вотще. Ибо какъ только онъ начинаетъ насасываться дѣсыта, такъ тотчасъ на него налетаетъ ревизія: показывай, жидъ, что у тебя въ потрохахъ? И всякій, кому не лѣнь, беретъ оттуда часть. Какъ все-то разберутъ — много ли останется? И какую надобно имѣть силу воли, какую удачливость, чтобы, претерпѣвъ всѣ ревизіи, благополучно вынырнуть въ міръ концессій и банкирскихъ гешефтовъ и тамъ, сбросивши съ себя узы

еврейства, кормить обѣдами тайныхъ совѣтниковъ, а нѣкоторыхъ изъ нихъ имѣть даже въ услуженіи...

Почему же однако мы съ такою легкостью отожествляемъ еврея сосущаго съ евреемъ *не*-сосущимъ, почему мы такъ охотно вымещаемъ на послѣднемъ досаду, которую пробуждаетъ въ насъ первый? Не потому ли, что сосущій еврей есть сила, за которою скрывается еще сила, и даже не одна, а цѣлый легіонъ? Весьма вѣроятно, что въ этомъ предположеніи есть очень значительная доля правды, хотя это и не приноситъ особенной чести нападающей сторонѣ. Но во всякомъ случаѣ, въ безчеловѣчной путаницѣ, которая на нашихъ глазахъ такъ трагически разыгралась, имѣетъ громадное значеніе то, что нападающая сторона, относительно еврейскаго вопроса, ходитъ въ совершенныхъ потемкахъ, не имѣя никакихъ твердыхъ фактовъ, кромѣ преданія (нельзя же въ самомъ дѣлѣ серьезно преслѣдовать людей за то, что они носятъ пейсы и неправильно произносятъ русскую рѣчь!).

Въ самомъ дѣлѣ, что̀ мы знаемъ объ еврействѣ, кромѣ концессіонерскихъ безобразій и продѣлокъ евреевъ-арендаторовъ и евреевъ-шинкарей? Имѣемъ ли мы хотя приблизительное понятіе о той безчисленной массѣ евреевъ-мастеровыхъ и евреевъ-мелкихъ-торговцевъ, которая кишитъ въ грязи жидовскихъ мѣстечекъ и неистово плодится, несмотря на̀ печать проклятія и на вѣчно присущую угрозу голодной смерти? Испуганныя, доведшія свои потребности до минимума, эти злосчастныя существа молятъ только забвенія и безвѣстности — и получаютъ въ отвѣтъ поруганіе...

Даже въ литературу нашу только съ недавняго времени начали проникать лучи, освѣщающіе этотъ агонизирующій міръ. Да и теперь едва ли можно указать на что-нибудь подходящее, исключая прелестнаго разсказа г-жи Орженко: «Могучій Самсонъ». Поэтому тѣ, которые хотятъ знать, сколько симпатичнаго таитъ въ себѣ замученное еврейство и какая неистовая трагедія тяготѣетъ надъ его существованіемъ,—пусть обратятся къ этому разсказу, каждое слово котораго дышитъ мучительною правдою. Навѣрное это чтеніе пробудитъ въ нихъ добрыя, здоровыя мысли и заставитъ ихъ задуматься въ лучшемъ, человѣчномъ значеніи этого слова.

Знать — вотъ что̀ нужно прежде всего, а знаніе несомнѣнно приведетъ за собой и чувство человѣчности. Въ

этомъ чувствѣ, какъ въ гармоническомъ цѣломъ, сливаются тѣ качества, благодаря которымъ отношенія между людьми являются прочными и доброкачественными. А именно: справедливость, сознаніе братства и любовь.

ГЛАВА VII.

Пришелъ и новый годъ. Пришелъ и, по обыкновенію' новое счастіе принесъ. Счастіе пока еще не опредѣлилось, но надеждъ и увѣренностей — болѣе чѣмъ достаточно. Не было, я полагаю, того угла въ цѣломъ Петербургѣ, гдѣ бы въ ночь съ 31-го декабря на 1-е января не ободряли себя пріятными перспективами. Конечно, и въ прошломъ году въ этотъ моментъ точно такъ же всѣ поздравляли себя съ новымъ счастіемъ и льстили себя новыми надеждами (какъ встарину добрыя дѣти родителямъ писали: «льщу себя, милый папенька, надеждою, что новый годъ принесетъ новое счастіе, которое поможетъ намъ многія лѣта въ сей печальной юдоли благополучно провести»), но нынче пожеланія выражались какъ-то настойчивѣе и убѣжденнѣе, такъ что можно было догадываться, что поздравляющіе понимаютъ, съ чѣмъ поздравляютъ другъ друга.

Съ перваго же дня газеты предприняли ревизію стараго года. Разсматриваютъ его во всѣхъ смыслахъ и очень хвалятъ. Многое уже выполнено, а остальное—не замедлитъ. Во всякомъ случаѣ и того, что̀ сдѣлано, уже достаточно, чтобы считать почву будущаго подготовленною. Все процвѣло и преуспѣло, кромѣ литературы, которой прошлый годъ принесъ однѣ утраты. И таковы эти утраты, что даже недавній юбилей россійской академіи *) не заставилъ о нихъ позабыть.

Надо сказать правду: тонъ общественнаго мнѣнія за послѣдніе годы измѣнился къ лучшему. Вмѣсто прежнихъ колебаній — солидность, вмѣсто витанія въ эмпиреяхъ — стремленіе къ «настоящему» дѣлу и увѣренность обрѣсти его. Встрѣчается множество людей, которые еще недавно легкомысленно восклицали: «sursum corda!» и которые теперь видимо озабочены тѣмъ, чтобы ихъ недавніе возгласы были преданы забвенію. И надо думать, что усилія ихъ

---

*) Замѣчательно, что редакціи русскихъ журналовъ не были на это торжество приглашены.

увѣнчаются успѣхомъ, потому что у насъ насчетъ возгласовъ просто: сотрясеніе воздуха—и больше ничего. Имѣющій уши—ихъ слышитъ и сейчасъ же забываетъ, а не имѣющему ушей хоть всю литургію вѣрныхъ пропой—онъ все равно ничего не услышитъ.

Резонность и солидность—вотъ лозунгъ настоящаго. Это, вѣроятно, и при поздравленіяхъ съ новымъ годомъ имѣлось въ виду. Sursum corda! что̀ это такое? зачѣмъ? по какому случаю? развѣ гдѣ-нибудь горитъ? То ли дѣло: поспѣшишь—людей насмѣшишь! тутъ по крайней мѣрѣ реальный пріемъ слышится. Не воздухоплаваніе, а достовѣрная поѣздка вокругъ свѣта на сдаточныхъ. Давно ужъ мы эти sursum corda-то слышимъ, да путнаго мало изъ нихъ вышло. Стало-быть, пора и образумиться; пора понять, что при извѣстныхъ условіяхъ прежде всего о томъ памятовать надлежитъ, что маленькая рыбка лучше, нежели большой таракапъ.

Это нынче всѣ говорятъ. И прежде говаривали, но машинально, по привычкѣ, а нынче—съ толкомъ, съ чувствомъ, съ разстановкой. Точно порохъ выдумали. Иные при этомъ слегка краснѣютъ (но все-таки отчетливо всѣ слова выговариваютъ), но большинство говоритъ прямо, не краснѣючи. Совѣтую, впрочемъ, и первымъ какъ можно скорѣе побѣдить пагубную привычку краснѣть, такъ какъ, чего добраго, ихъ, въ противномъ случаѣ, въ сонмище укрывателей эмпирейныхъ витаній зачислятъ. Потому что какъ ни искренне ихъ обращеніе, но все-таки на нихъ, какъ на новообращенныхъ, смотрятъ еще съ нѣкоторою подозрительностью. Все равно какъ съ вотяками бываетъ: есть вотяки «старокре́щены» и есть «новокре́щены». Въ «старокре́щенахъ» никто не сомнѣвается, но относительно «новокре́щена», хоть онъ всякій праздникъ что̀ слѣдуетъ попу отдастъ, а все-таки кажется: вотъ-вотъ онъ сейчасъ въ кереметь убѣжитъ. И согласно съ симъ принимаются мѣры.

Итакъ, надо «дѣло» дѣлать—вся задача въ этомъ состоитъ. Только «дѣло» можетъ поднять нашъ духъ и возстановить насъ и въ собственномъ мнѣніи, и въ мнѣніи нашихъ сограждапъ. Объ этомъ и не споритъ никто. Спросите въ любой мелочной лавкѣ: что̀ лучше, дѣло или бездѣлье?—навѣрное вы получите въ отвѣтъ: какъ же можно, бездѣлье или дѣло! И сейчасъ же вамъ назовутъ безчисленное множество дѣлъ, которыя тутъ же, въ стѣ-

нахъ мелочной лавки, и совершаются. Отвѣшивать, отмѣривать, упаковывать, принимать, отпускать, слѣдить за выручкой, наполовину гнилой лимонъ показать здоровою половиной и пр. Голова кругомъ идетъ. То же самое происходитъ въ кабакѣ, въ портерной и наконецъ въ каждой Богомъ хранимой хижинѣ. Вездѣ дѣла прямыя, ясныя, осязательныя. То же самое и намъ, людямъ интеллигенціи, для себя придумать предстоитъ.

Но на бѣду, чѣмъ выше сфера человѣческихъ отношеній, тѣмъ меньше замѣчается точности въ опредѣленіи признаковъ «дѣла». Вмѣсто прямыхъ указаній, въ родѣ: отмѣривать, отрѣзывать (а въ иныхъ случаяхъ даже прямо «производить»), мы встрѣчаемся съ такими же отвлеченностями, какъ sursum corda, только низменнаго и даже глупаго свойства. Между тѣмъ именно для этой-то высшей сферы и требуется отыскать подходящее дѣло. Именно она, а не сфера хижинъ богохранимыхъ, страдала обиліемъ эмпиреевъ, и она же въ послѣднее время заговорила, что внѣ дѣла для насъ нѣтъ спасенія. И тутъ-то вотъ, несмотря на всѣми чувствуемую потребность, мы не находимъ ни малѣйшихъ указаній ни насчетъ мѣста нахожденія «дѣла», ни насчетъ подлиннаго его названія. Конечно, и здѣсь вы услышите отвѣтъ: «какъ можно сравнить, бездѣлье или дѣло!»—но вслушайтесь въ интонацію голоса, которымъ произносятся эти слова, и вы убѣдитесь, что въ ней звучитъ: «бездѣлье-то, пожалуй, лучше»...

Все затрудненіе оттого происходитъ, что интеллигентный человѣкъ думаетъ, что онъ въ нѣкоторомъ родѣ «правящій классъ», и потому для себя какого-то особеннаго дѣла требуетъ. Даже самые неинтеллигентные изъ интеллигентныхъ такъ о себѣ полагаютъ. Скажу болѣе: чѣмъ глупѣе интеллигентный человѣкъ, тѣмъ онъ сильнѣе за титулъ «правящаго класса» цѣпляется. Слышалъ, что гдѣ-то на теплыхъ водахъ правящіе классы въ свое удовольствіе живутъ, и себѣ того же желаетъ. Но какимъ образомъ попасть въ такіе «правящіе классы», которые въ свое удовольствіе живутъ,—не знаетъ. Ежели въ эмпиреяхъ витать, такъ опытъ практически доказалъ, сколь сіе вредно; ежели «дѣло» дѣлать—такъ укажите, сдѣлайте милость, въ чемъ оное заключается. Вотъ кабы входъ въ крѣпостное право какимъ-нибудь чудомъ опять открылся—сейчасъ бы мы всѣ правящими классами сдѣлались! И «дѣло» тогда само бы собой выскочило, а ты только знай жезломъ помахивай!

Вообще, съ тѣхъ поръ, какъ начались толки о «дѣлѣ», противорѣчій не оберешься. Съ одной стороны несомнѣнно, что витанія и паренія приводятъ къ самообольщенію, но съ другой стороны, какъ только раздумаешься о «дѣлѣ»— вдругъ, словно самъ собою, начнешь парить и витать. Не подъ носомъ у себя «дѣла» ищешь, а въ сторону заглядываешь, и все какъ-то въ сторону «теплыхъ водъ». Эта привычка у насъ еще отъ крѣпостныхъ временъ осталась; и тогда мы были убѣждены, что въ Россіи можно оброки и дани получать, а жить въ свое удовольствіе только на теплыхъ водахъ можно. Но нынче оказывается, что въ подобныхъ заглядываніяхъ спасенія не обрѣтешь. Почему оказывается—объ этомъ опять-таки никто не сказываетъ (сказывать-то, должно-быть, нечего)... Оказывается—только и всего. Какъ бы то ни было, но для того, чтобы спастись, нужно не «чужое», не «иностранное», а «свое собственное» и притомъ «настоящее» дѣло найти... Что бы такое? ну, напримѣръ?

Такой это интересный вопросъ, что нѣтъ той минуты, чтобъ я не думалъ о немъ. И все, что отъ меня зависѣло, въ видахъ его правильнаго разрѣшенія—все я предпринималъ. И къ говору трактирныхъ завсегдатаевъ прислушивался (vox populi), и въ участкѣ справлялся, и съ свѣдущими людьми совѣщался—ничего не поймешь! Заладили одно: «дѣло дѣлать!» Господа! да вѣдь это то же, что «sursum corda!» только, наоборотъ...

Говорятъ, будто славянофиламъ что-то объ этомъ «самостоятельномъ» дѣлѣ было извѣстно, но они свой секретъ въ могилы унесли. Теперь, на смѣну славянофиламъ, появились какіе-то выморочные бонапартисты, которые могутъ только въ трубы трубить, но секрета не знаютъ.

Говорятъ еще, будто въ газетахъ каждый день о «дѣлахъ» разговариваютъ—ну, да какія ужъ это «дѣла»!

Наконецъ я обратился съ вопросомъ къ моему другу Глумову:

— Не знаешь ли, другъ любезный, какимъ бы самостоятельнымъ «дѣломъ» наши «правящіе классы» угостить?

И что-жъ! онъ въ ту же минуту всѣ мои сомнѣнія разрѣшилъ.

— Какъ «какими»! да вотъ въ однѣхъ со мной меблированныхъ комнатахъ отставной статскій совѣтникъ Куль-

тяпка живетъ, такъ онъ съ утра до вечера дѣло дѣлаетъ. Утромъ—проекты нравственнаго и умственнаго оздоровленія (да съ картинками, братецъ!) сочиняетъ; среди дня—извѣщенія пишетъ, а вечеромъ—по коридору ходитъ и къ дверямъ уши прикладываетъ. Однажды ему даже лобъ нечаянно дверью раскроили. Надѣюсь, что это достаточно «свое собственное» дѣло.

И не успѣлъ я настоящимъ манеромъ его отвѣтъ обдумать, какъ онъ продолжалъ:

— А то еще молодой человѣкъ у насъ живетъ. Утромъ—коричневый галстукъ передъ зеркаломъ повязываетъ; передъ обѣдомъ — черный галстукъ; вечеромъ—бѣлый. Или возьметъ въ руки шляпу и самъ съ собой передъ зеркаломъ раскланивается. Чѣмъ не дѣло?

А въ заключеніе повѣствовалъ слѣдующее:

— Что же касается до особъ дамскаго сословія, то о нихъ и заботиться нечего. Ихъ существованіе не только наполнено, но даже, можно сказать, биткомъ набито. Утромъ «она» встаетъ—утренній костюмъ надѣваетъ; въ три часа по магазинамъ или гулять ѣдетъ или идетъ—гуляльный костюмъ надѣваетъ; передъ обѣдомъ — надъ обѣденнымъ костюмомъ думу думаетъ; вечеромъ, ежели въ театръ ѣдетъ—театральный костюмъ, ежели на балъ—бальный. И всякій разъ передъ зеркаломъ цѣлая драма происходитъ. То подойдетъ, то отойдетъ, то сядетъ, то какъ ужаленная вскочитъ. Иная, коли на балъ ѣхать собралась и нужно опредѣлить мѣру декольтé, то даже особенную систему зеркалъ устраиваетъ и на колѣнки становится. И сверху, и съ боковъ, и сзади, и спереди—отовсюду разомъ видно. Сверху—это «les messieurs» смотрятъ, съ боковъ—члены общества распространенія грамотности, братчики, отставные дипломаты и проч. А издали, совсѣмъ въ перспективѣ—мужъ. И ему взглянуть хочется. Тутъ, братъ, коли все-то въ точности исполнить, такъ и на балъ, пожалуй, къ шапочному разбору попадешь.

То-то я смотрю: давно ли всѣ на скуку жаловались, а нынче ея и въ поминѣ нѣтъ. Анъ оно вонъ что: «дѣло» найдено.

Слухами о сезонныхъ увеселеніяхъ всѣ стогны петербургскіе полны. Извозчики только о томъ и говорятъ, что господа опять веселиться начали. Въ газетахъ пишутъ: у одной дамы на балу, независимо отъ глубокаго декольтé,

брильянтовую подкову на спинѣ видѣли. Теперь эта подкова нашихъ статскихъ совѣтницъ съ ума сведетъ. Будутъ онѣ—каждая къ своему статскому совѣтнику—до тѣхъ поръ приставать, покуда цѣлыхъ созвѣздій на спины не получатъ...

Придется-таки статскимъ совѣтникамъ изворачиваться; придется «дѣла» изобрѣтать, евреямъ-гешефтмахерамъ душу продавать. И когда наконецъ ювелиръ вдѣнетъ въ поясницу статской совѣтницы цѣлое брильянтовое солнце, то въ лучахъ его будутъ играть кавалеры всѣхъ сортовъ оружій и пера, а соотвѣтствующій статскій совѣтникъ будетъ въ это время гешефтмахера обучать, какъ наилучшимъ манеромъ любезное отечество подкузьмить...

А какая новая эра занятій и дѣлъ для статскихъ совѣтницъ откроется! Ежели вечеромъ на балъ ѣхать, такъ вѣдь съ утра присѣдать передъ зеркаломъ придется! Солнцето вѣдь не шутка, умѣючи надо его показать! Супъ на столѣ, дѣти ѣсть просятъ, статскій совѣтникъ копытами землю въ нетерпѣніи роетъ, а статская совѣтница то вскочитъ, то опять присядетъ. «Да скоро ли, матушка?»—кричитъ разъяренный мужъ, стучась въ запертую на ключъ дверь.—«Ахъ, да обѣдайте безъ меня... несносный! я послѣ... одна!» И дѣйствительно, между присѣданій чего-нибудь перехватитъ, но зато къ одиннадцати часамъ—готова!

Фактъ, повидимому, самъ по себѣ ничтожный, а между тѣмъ по милости его процвѣтаетъ промышленность. Мудрено какъ будто это согласовать, а между тѣмъ оно такъ. Въ Петербургѣ на балу у барона Гинсбурга, напримѣръ, статская совѣтница Коромыслова на брильянтовомъ солнцѣ сидѣла, а у крестьянина деревни Комаринской, Павла Антипьева, отъ этого ея дѣйствія въ мошнѣ два съ полтиной прибыло. И прибыло совершенно резонно. Еще докторъ Кенѣ, глава физіократовъ и другъ Тюргò, говаривалъ: «дама, которая покупаетъ шаль, подаетъ милостыню бѣдняку». Вотъ эту-то истину и зарубили статскія совѣтницы у себя на носу. Подумайте, въ самомъ дѣлѣ: солнце-то, на которое статская совѣтница Коромыслова сѣла—гдѣ оно сдѣлано? Оно сдѣлано въ мастерской, въ которой сынъ Павла Антипьева, комаринскій мужикъ Иванъ Павловъ, работалъ. На свой пай онъ половину луча этого сдѣлалъ и за это получилъ пять рублей, а изъ нихъ два съ полтиной домой въ село Комаринское послалъ. Такъ вотъ.

Но этого мало. Получивъ два съ полтиной, Павелъ Антипьевъ распорядился съ ними такъ: на рубль купилъ у другого комаринскаго мужика сѣна, на рубль—у третьяго комаринскаго мужика—муки, да на полтину у четвертаго комаринскаго мужика—соли. Въ результатѣ оказалось: прислано было два съ полтиной, а процвѣли на нихъ: во-первыхъ, Павелъ Антипьевъ—полностью на всѣ два съ полтиной и, во-вторыхъ, трое его односельцевъ—всѣ вмѣстѣ тоже на два съ полтиной. Итого—на пять рублей. То же и съ остальными двумя съ полтиной случилось: во-первыхъ, Иванъ Павловъ полностью на всѣ процвѣлъ (пропилъ), да кабатчикъ, у котораго онъ вино пилъ—тоже на два съ полтиной. Опять на пять рублей. Вотъ она экономистическая ариѳметика-то какова! пущено въ оборотъ пять рублей, а въ процвѣтаніи оказалось десять. Это относительно только половины луча, а сколько у солнца полныхъ лучей—сочтите! Да фабрикантъ навѣрное вдесятеро, чѣмъ всѣ комаринскіе мужики въ совокупности, процвѣлъ. И все это статская совѣтница Коромыслова однимъ движеніемъ поясницы произвела!

Не знаю, шепнуло ли ей объ этомъ солнце, покуда она на немъ сидѣла, но знаю, что къ началу шестой фигуры г-жа Коромыслова была вполнѣ убѣждена въ цѣлесообразности своихъ поступковъ и дѣйствій.

— Вы не подумайте,—сказала она млѣвшему подлѣ нея кавалеру:—что я легкомысленничаю, садясь на брильянтовое солнце. Я этимъ дѣйствіемъ на цѣлое комаринское село благоденствіе изливаю!

Очень возможно, что нѣчто въ родѣ этихъ соображеній приходило въ голову Нерону, когда передъ его глазами пылалъ Римъ. Или купцу Овсянникову, когда горѣла его фабрика. И они, каждый по своему, подавали милостыню бѣдному.

Вотъ почему, когда я вижу, какъ дамочка изнуряетъ себя передъ зеркаломъ, то никогда не осуждаю ее, но говорю: это она промышленность оживляетъ, цѣнность кредитнаго рубля поднимаетъ, милостыню бѣдняку подаетъ. Однимъ словомъ, по мѣрѣ своего дамскаго разумѣнія, «дѣло» дѣлаетъ.

Вотъ и адвокатура наша собралась дѣло дѣлать. Правда, что она и прежде себя преимущественно съ этой стороны уже зарекомендовала, но лѣтъ пять-шесть сряду о ней

какъ-то совсѣмъ не было слышно, точно она сквозь землю провалилась. А теперь опять всплыла.

Я помню, что когда адвокатское сословіе впервые выступило на арену общественнаго служенія, я былъ очень этимъ обрадованъ. Какъ хотите, а чрезвычайно пріятно живое слово слышать, хотя бы оно раздавалось по поводу подтопа принадлежащихъ корнету Отлетаеву луговъ мельницею купца Подзатыльникова. Это слово казалось тогда какъ бы естественнымъ продолженіемъ другого слова, которое, при помощи печатнаго станка, посвящало себя пробужденію въ сердцахъ добрыхъ чувствъ. Подобно печатному тогдашнему слову, и адвокатское устное слово на первыхъ порахъ звучало такою убѣжденностью и страстностью, что Отлетаевъ и Подзатыльниковъ ничего не понимали, а только чувствовали, что слезы градомъ льются изъ ихъ глазъ; судъ же, по выслушаніи сторонъ, въ величайшемъ смущеніи удалялся въ совѣщательную камеру, не зная, кому присудить протори и убытки. И бо́льшею частью постановлялъ такія рѣшенія, которыя приводили за собой сначала апелляцію, потомъ кассацію, потомъ новое рѣшеніе и такъ далѣе, до тѣхъ поръ, пока кто-нибудь изъ тяжущихся не пропуститъ срока. Тогда, дѣлать нечего: подтопляй, купецъ Подзатыльниковъ, отлетаевскіе луга! А ты, Отлетаевъ, впередъ не зѣвай!

Но, озаряя новые суды о́тескомъ своего краснорѣчія, адвокаты, кромѣ того, были осмотрительны какъ въ выборѣ дѣлъ, такъ и въ исходатайствованіи исполнительныхъ листовъ и во взысканіяхъ по онымъ. Этого тогда не было, чтобъ адвокатъ говорилъ кліенту: «вашего дѣла ни по какой статьѣ выиграть нельзя, но попробуемъ: можетъ-быть, кривая вывезетъ!» Напротивъ того, одинъ адвокатъ своему кліенту (истцу) говорилъ: «ваше дѣло вотъ по такой-то статьѣ выиграть можно»; а другой адвокатъ—своему кліенту (отвѣтчику): «ваше дѣло вотъ по какой статьѣ выиграть можно!» И каждый шелъ въ судъ, убѣжденный, что его статья побѣдитъ. Да и того тоже не было, чтобы деньги по исполнительному листу получить и въ свою пользу употребить; напротивъ того, всѣ силы-мѣры употреблялись, чтобы все до копеечки кліенту предоставить,—разумѣется, за исключеніемъ процентовъ, заранѣе выговоренныхъ за безпокойство.

А безпокойствъ въ то время не мало набиралось, потому что большихъ баръ въ то время между адвокатами почти

не было, и всякій свою работу самъ дѣлалъ: и имущество должника сослѣживалъ, и при описяхъ присутствовалъ; словомъ сказать, въ пользу кліента себя въ струнку вытягивалъ.

Помню я, какъ на моихъ глазахъ одинъ молодой адвокатъ карьеру свою обстроилъ. Взыскивалъ онъ съ меня въ то время должокъ, и взыскивалъ, надо сказать правду, чрезвычайно благородно, и до суда не доводилъ, и не тѣснилъ насчетъ уплаты. Есть деньги—возьметъ и расписку дастъ: нѣтъ денегъ—завтра придетъ. Частенько онъ ко мнѣ такимъ образомъ хаживалъ, и когда я совѣстился, что такъ много ему безпокойствъ доставляю, то говорилъ: «ничего! это наша обязанность!» Даже отъ моихъ папиросъ отказывался, а вынетъ изъ серебрянаго портсигара («это мнѣ кліентъ подарилъ!») собственную папироску и съ удовольствіемъ выкуритъ. Такъ вотъ, бывало, придетъ онъ ко мнѣ, полный рвенія, но блѣдный и утомленный.

— Что вы какъ будто нынче устали?—спросишь его.

— Да вотъ имущество отвѣтчика одного наконецъ сослѣдилъ!—отвѣтитъ онъ и по порядку разскажетъ, какую ему Богъ радость послалъ. Совсѣмъ-было на чужую квартиру должникъ имущество-то переправилъ, а онъ, адвокатъ, и на чужую квартиру проникъ. Пришелъ, а его тамъ дама встрѣчаетъ: «Какъ вы смѣете, говоритъ, въ чужой квартирѣ распоряжаться! Это мое имущество!» Однако нѣтъ, извините-съ! Вѣдь онъ, адвокатъ, не нахаломъ въ чужую квартиру пришелъ, а на законномъ основаніи. И даже привелъ съ собою свидѣтелей, которые тутъ же и удостовѣрили: «Помилуйте, сударыня! Мы не разъ у Моисея Исанча (имя должника) на этомъ диванѣ сиживали!»

И такимъ образомъ онъ искъ своего довѣрителя обезпечилъ, а объ укрывательницѣ-дамѣ составилъ, при содѣйствіи полиціи, протоколъ.

А на другой день послѣ этой удачи опять придетъ, еще болѣе утомленный.

— Неужто вы и сегодня какого-нибудь должника сослѣдили?—спросишь его.

— Нѣтъ, сегодня я при описи и оцѣнкѣ имущества присутствовалъ. Представьте себѣ, девятьсотъ шесть предметовъ, и между прочимъ тридцать склянокъ изъ-подъ одеколона. А нельзя! Каждую вещь надо особенно въ реестръ занести.

Такъ вотъ каковы были первые христіане... то бишь,

адвокаты! Чувствительные, скромные и притомъ неньющіе. Однако-жъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и тогда ужъ писали, что они основы потрясаютъ; а о томъ, что они въ эмпиреяхъ витаютъ и куда-то далеко уду закидываютъ,— объ этомъ походя во всѣхъ харчевняхъ разсказывали.

Но эта идиллія была непродолжительна. Пришлось мнѣ года на полтора за границу уѣхать; возвращаюсь — и первое, что̀ слышу: такія нынче адвокаты дѣла дѣлаютъ, такіе куши рвутъ, что даже евреи-желѣзнодорожники зубами скрипятъ. А чтобы кліенту помочь, какъ прежде бывало, имущество должника сослѣдить—объ этомъ нынче и не заикайся! Самъ ищи!

Дальше—хуже. Подошло Овсянниковское дѣло: разыгралось нѣсколько крупныхъ банковскихъ кражъ. Куши такъ и лились. И тоже торговля процвѣла, но не столько суровскимъ, сколько бакалейнымъ товаромъ. По фунту икры за-разъ съѣдали опытные адвокаты, а неопытные — по ящику сардинокъ. А ужины у Бореля съ кокотками—само по себѣ. Однимъ словомъ, ни одинъ до-реформенный откупщикъ въ цѣлую недѣлю столько не проѣдалъ, сколько проѣдалъ въ одинъ вечеръ какой-нибудь Балалайкинъ.

Ужасно это меня огорчило. Я надѣялся, что, по возвращеніи въ отечество, храмъ славы увижу, а увидѣлъ — помойную яму. Вся литература того времени гремѣла адвокатскими безобразіями, но гремѣла безсильно. И безсиліе это совершенно естественно объяснялось тѣмъ, что адвокатура сознавала себя стоящею прочно на почвѣ «дѣла». Многіе адвокаты такъ-таки прямо и заявляли: у насъ свое дѣло есть, а что̀ думаетъ объ насъ литература и общественное мнѣніе—это для насъ безразлично.

Однако же, разъ адвокатура освободила себя отъ контроля литературы и общественнаго мнѣнія, разъ она признала для себя обязательнымъ только тотъ контроль, который приводитъ за собою бо̀льшій или меньшій размѣръ гонорара,—понятно, что она сдѣлалась съ нравственной стороны неуязвимою. Но въ то же время она утратила способность къ самосовершенствованію въ какой бы то ни было сферѣ, кромѣ процессуальной кляузы.

Затѣмъ слухи о подвигахъ адвокатуры какъ-то вдругъ замолкли. И сами адвокаты попритихли, перестали бакалейную торговлю оживлять, да и безмѣрно они всѣмъ своими апелляціями и кассаціями надоѣли. Но, главное, обстоятельства такія пристигли, что не до адвокатовъ было.

Но нынче для адвокатовъ опять золотое время пришло. На сцену выступили толки о «дѣлѣ», а у нихъ оно ужъ давно готово. Теперь они, вмѣстѣ съ банкирами (купить-продать, продать-купить) и всѣхъ сортовъ оздоровителями, покажутъ намъ, какіе размѣры можетъ принять процвѣтаніе страны, ежели всѣ ея обитатели настоящимъ, трезвеннымъ дѣломъ заняты. Въ эмпиреяхъ они не витаютъ, широкихъ задачъ не преслѣдуютъ, а долбятъ скромненько съ утра до вечера: апелляція-кассація, кассація-апелляція...

И для начала выбрали дѣло о травлѣ городскихъ обывателей въ пользу общества водопроводовъ. Контрактъ, говорятъ, будто бы дозволяетъ обывателей негодной водой отравлять. Что-жъ, коли контрактъ, такъ, разумѣется, приходится пить воду по точному онаго пониманію. Видишь: § такой-то, пунктъ такой-то... читай! И пей отравленную воду, и молчи! Такъ это ясно, точно и даже свято (въ контрактѣ—святость прежде всего), что сказываютъ, будто цѣлое скопище адвокатовъ за общество водопроводовъ горой стоитъ, и что ради этого дѣла забыты связи дружества и даже узы родства! Еще бы!

Но неужели и теперь еще будутъ говорить, что адвокаты основы потрясаютъ и въ эмпиреяхъ витаютъ?!

Такимъ образомъ всѣ «правящіе классы» постепенно присасываются къ дѣламъ. Адвокаты, дамочки, банкиры, земцы, оздоровители и проч. Одна литература продолжаетъ ни при чемъ состоять. Дѣла для нея рѣшительно не отыскивается, а въ эмпиреяхъ витать—и не ко двору, и не ко времени.

Да и читающая публика нынче равнодушна къ эмпиреямъ стала. Ничего не хочетъ знать, кромѣ газетъ. Прочтетъ кое-какіе столбцы, а остальное время твердитъ: купить-продать, кассація-апелляція...

Впрочемъ, это я о той части литературы говорю, дѣятели которой называются «разбойниками печати» и мошенниками пера» (клички эти непремѣнно надо сохранить въ назиданіе потомству, какъ историческій документъ). Что же касается до остальной литературы (преимущественно газетной), то она, наравнѣ съ прочими оздоровителями, нашла для себя «настоящее» дѣло и, повидимому, ведетъ его съ полнымъ успѣхомъ.

ГЛАВА VIII.

А вотъ и еще «дѣло» нашлось.

«Мой собственный корреспондентъ» прислалъ мнѣ изъ Одессы очень любопытное объявленіе. Къ сожалѣнію, онъ не сопроводилъ свою присылку никакимъ объяснительнымъ письмомъ, такъ что я не знаю ни личности самого корреспондента, ни его фамиліи, ни того, когда былъ изданъ доставленный имъ документъ. Изъ помѣтокъ, имѣющихся въ концѣ объявленія, видно, что оно разрѣшено къ печатанію полицеймейстеромъ Бунинымъ и тиснуто въ Одессѣ, въ типографіи «Трудъ» В. Семенова. Ни года, ни мѣсяца, ни числа—не значится.

Во всякомъ случаѣ, документъ этотъ въ педагогическомъ отношеніи настолько поучителенъ, что я рѣшаюсь привести его здѣсь дострочно, не измѣняя и нѣсколько произвольной его ороографіи. Вотъ онъ:

ШКОЛЬНЫЕ
ГИГІЕНИЧЕСКІЕ СТОЛЫ СИСТЕМЫ КУНЦА
и
КУШЕТКИ
ПО НОВОЙ СИСТЕМѢ.

Эти кушетки имѣютъ преимущество предъ скамьей старинныхъ школъ и въ гигіеническомъ, и экономическомъ отношеніяхъ. Кушетка гигіеническая состоитъ изъ скамьи въ аршинъ шириною. На одной ея сторонѣ находится подвижной на шалнерахъ деревянный футляръ въ видѣ четвероугольной коробки дномъ кверху. Длина ея 6 четвертей и 4 ширина съ высотою въ 5 четвертей. Три боковыя наружныя стороны, а также и верхняя состоитъ изъ толстой проволочной рѣшетки съ крупными до 3 кв. в. промежутками. Со стороны, обращенной къ скамьѣ, вмѣсто рѣшетки вставляется подвижная сверху внизъ доска съ дугообразнымъ вырѣзомъ. Съ другой стороны скамьи такой же подвижной ящикъ въ 5 вер. вышины и до 17 длины. Когда подвигается 1-й ящикъ, то онъ закрываетъ голову, грудь и большую часть спины. Опускная доска съ вырѣзкой охватываетъ спину и не допускаетъ движеній наказываемаго ни впередъ, ни назадъ. Точно также 2-й футляръ прикрываетъ ноги и не допускаетъ свернуться въ сторону. Такимъ образомъ избѣгается вреднаго держанія наказываемаго, когда училищная прислуга притискиваетъ обыкно-

венно голову наказываемаго мучительнымъ образомъ, такъ что онъ одной щекой и искривленной шеей плотно прижатъ къ скамьѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, лакей давитъ всей силой мускуловъ на нѣжную грудь мальчика. Шея, наискось прижатая въ искривленномъ положеніи, производитъ полузадушеніе. Всѣ жилы головы наливаются кровью. Лицо и бѣлки глазъ краснѣютъ, начинается головокруженіе, а иногда и обморокъ. Этотъ приливъ крови къ мозгу надолго оставляетъ головныя боли и неспособность къ умственнымъ занятіямъ. Держащій сторожъ, конечно, въ это не вникаетъ и, раздосадованный обыкновенно конвульсивными движеніями наказываемаго въ припадкахъ жгучей боли въ оконечности позвоночнаго столба, начинаетъ какъ попало надавливать на голову и плечи, сжимая, какъ въ клещахъ, верхнюю часть туловища. Гигіеническая кушетка, оставляя свободными шею, грудь и голову, мѣшаетъ въ то же время движеніямъ средней части тѣла, которую оставляетъ въ полное распоряженіе экзекутора почти неподвижною. Въ экономическомъ отношеніи она избавляетъ заведенія и пансіоны отъ содержанія лишнихъ двухъ человѣкъ прислуги для держанія. Имѣя эту скамью-кушетку, сторожъ каждаго училища можетъ служить дѣлу.

Удобства также заключаются и въ томъ, что голова наказываемаго закрыта, а то иногда страдальческое и умоляющее выраженіе лица мальчика подкупаетъ сѣкущаго и онъ невольно облегчаетъ удары и боль, что со стороны правдивой педагогики совсѣмъ нежелательно — напротивъ, наказаніе должно быть соединено съ болѣзненнымъ и продолжительнымъ страданіемъ безъ малѣйшаго послабленія и вниманія къ стонамъ и крикамъ, какъ единственная педагогическая.

ЦѢНЫ ГИГІЕНИЧЕСКИХЪ КУШЕТОКЪ:

Ясеневаго дерева, раздвижная, годящаяся для всякаго возраста съ шалнерами и винтами изъ никеля и всѣхъ металлическихъ частей работы Фрелиха	50 р.	— к.
Нераздвижная для младшаго возраста . .	30 »	— »
» » старшаго » . .	40 »	— »
Для употребленія въ семействахъ, смотря по отдѣлкѣ, въ ненужное время могутъ замѣнять шкапы и столы отъ	25 »	— »
Простыя для народныхъ училищъ и т. п.	20 »	— »

Вотъ сколь несправедливы тѣ, которые ропщутъ, что у насъ «дѣла» нѣтъ. Помилуйте! Однѣ гигіеническія кушетки захватываютъ цѣлую массу заинтересованныхъ личностей. Родители, опекуны, попечители, всѣхъ сортовъ воспитатели и воспитательницы, члены общества гувернантокъ, педагоги и педагогички, директора, инспектора, ревизоры и наконецъ сами сѣкуторы, или экзекуторы, какъ ихъ вѣжливо величаетъ объявленіе. Ежели всѣ-то какъ слѣдуетъ поймутъ святость лежащихъ на нихъ обязанностей, тутъ такая уйма «дѣла» найдется, что даже червь неусыпающій — и тотъ придетъ въ отчаяніе. Одни — укладываютъ паціента на кушетку и прилаживаютъ ящики; другіе — воздѣйствуютъ на «среднюю часть тѣла»; третьи — присутствуютъ при воздѣйствіи и приговариваютъ: «шибче!»; четвертые инспектируютъ самое орудіе гигіены, все ли въ исправности и не представляется ли возможности для поблажки. Словомъ сказать, хлопотъ полонъ ротъ.

Вѣдь если у насъ идетъ плохо воспитаніе дѣтей, то именно потому, что не серьезно слажены относящіяся къ тому орудія. Иной родитель или воспитатель и радъ бы сѣчь, да, кромѣ розогъ, всѣ прочія приспособленія находятся въ такомъ младенческомъ состояніи, что смотрѣть больно. Начать хоть бы съ того: какъ приступить къ дѣлу? Ежели ущемить ребенка между колѣнами, то онъ будетъ биться, не предоставитъ родителю «въ полное распоряженіе средней части тѣла». Ежели позвать на помощь служителей, то, во-первыхъ, не у каждаго родителя таковые обрѣтаются, а во-вторыхъ, служители имѣютъ обычай «мучительнымъ образомъ притискивать голову наказываемаго». А многихъ, кромѣ того, «подкупаетъ страдальческое и умоляющее выраженіе лица наказываемаго». Повозится-повозится родитель, два-три раза хлеснетъ лозой наудачу (ахъ, да и рубашонку-то Богъ знаетъ какъ подняли) и броситъ: пускай родное дѣтище погибаетъ!

Тогда какъ, съ введеніемъ гигіеническихъ кушетокъ, все разомъ явится къ услугамъ, слаженное, соображенное, очищенное отъ всякихъ случайностей и даже отъ страдальческаго выраженія лица: бери въ руки розги и сѣки. Сѣки шибче, сѣки не смущаясь, ибо все то добро, все то на пользу. Смѣло пиши всяко лыко въ строку, ибо корни сѣченія горьки, но плоды его сладки. И знай, что, прибѣгая къ гигіенической кушеткѣ, ты не токмо дѣтищу своему счастіе въ будущемъ уготоваешь, но и для самого себя

создаешь «дѣло», вполнѣ по обстоятельствамъ достаточное.

Объявленіе украшено картинками. Изображена очень красивая кушетка, и ящики нарисованы въ такомъ видѣ, какъ въ моментъ сѣченія ихъ подобаетъ приладить. Только «средней части тѣла» не изображено — ну, да вѣдь и воображенію почтеннѣйшей публики что-нибудь надо оставить. И дешево. Обыкновенная, «для употребленія въ семействахъ», кушетка стоитъ всего 25 рублей, да притомъ еще можетъ «въ ненужное время» замѣнять шкапы и столы—обѣдать можно. А для народныхъ училищъ и всего-то двадцать рублей за штуку. То-то народное образованіе процвѣтетъ!

Допустите, что населеніе Россіи простирается до 101.442.242 души («Русскій Календарь» за 1884 г.); предположите, что на это населеніе въ настоящее время, при совершенствѣ современныхъ сѣкуторскихъ средствъ, производится въ день по 500.000 сѣкуцій (по одному человѣку на каждыхъ 200 обывателей — право, немного!), и что каждая сѣкуція (съ раздѣваніями, укладываніями и прочею церемоніей) длится не больше четверти часа,—окажется, что 500 тысячъ сѣкуцій ежедневно требуютъ 125 тысячъ рабочихъ часовъ. Принимая же въ разсчетъ, что рабочій день состоитъ изъ десяти часовъ, мы придемъ къ тому выводу, что двѣнадцать тысячъ пятьсотъ человѣкъ имѣютъ опредѣленное «дѣло», которое не даетъ имъ досуга парить въ эмпиреяхъ и тѣмъ навлекать на себя подозрѣніе въ вольномысліи. Это теперь, при отсутствіи гигіеническихъ кушетокъ—что же будетъ, когда, съ введеніемъ кушетокъ, сѣченіе сдѣлается почти общедоступнымъ? Очевидно, что сообразно съ нимъ возрастетъ и охота къ сѣченію, а въ то же время утроится, учетверится — отчего не удесятерится?—и масса людей, занятыхъ опредѣленнымъ дѣломъ, свободныхъ отъ пареній и ко всему равнодушныхъ, кромѣ той «средней части тѣла», которая оставляется «въ полное распоряженіе экзекутора почти неподвижно». Почему же однако «почти» неподвижно? почему не «вполнѣ»? Совершенствовать такъ совершенствовать. Или, быть-можетъ, въ дѣлѣ сѣченія вредны только впечатлѣнія, производимыя умоляющимъ выраженіемъ лица, а не тѣ, которыя производятся непроизвольными движеніями «средней части тѣла»?

Но, право, я все-таки очень радъ, что кушетки эти изобрѣлъ Кунцъ, а не Ивановъ. Почему радъ—я и самъ

объяснить не могу; но мнѣ кажется, что если-бъ это изобрѣтеніе принадлежало Иванову, то каторги за него ему было бы мало. А Кунцу—какъ разъ впору. Даже пріятно было бы познакомиться. Herr Кунцъ! не угодно ли поза втракать на той самой кушеткѣ (обращенной въ столъ), накоторой только сейчасъ Иванова, за неплатежъ недоимокъ, высѣкли?

Но еще больше я радъ тому, что изобрѣтеніе Кунца, несмотря на осязательную пользу, какъ будто у насъ не привилось. По крайней мѣрѣ я лично ничего о кушеткахъ не слыхалъ. Должно-быть, думалъ насъ удивить нѣмецъ, а мы взяли да еще больше его удивили: деремъ черезъ пень колоду, какъ въ древности драли, и горюшка намъ мало, какое выраженіе имѣетъ лицо наказуемаго и въ какомъ направленіи двигается «предоставляемая въ распоряженіе часть тѣла».

Замѣчательно, но въ то же время и совершенно естественно, что всякій разъ, какъ идетъ рѣчь о розгѣ, воспоминанія дѣтства такъ и встаютъ передъ глазами, словно живыя. Счастливое дѣтство!

Впрочемъ, я не припомню, чтобъ лично я много страдалъ отъ розги; но свидѣтелемъ того, какъ терпѣла «средняя часть тѣла» за дѣйствія и поступки, совсѣмъ не по ея иниціативѣ содѣянные, бывалъ неоднократно. Публичное воспитаніе я началъ въ Москвѣ, въ спеціально-дворянскомъ заведеніи, задача котораго состояла преимущественно въ подготовленіи «питомцевъ славы». Заведеніе, впрочемъ, имѣло хорошія традиціи и пользовалось отличною репутаціей. Во главѣ его почти всегда стояли ежели не отличнѣйшіе педагоги, то люди, обладавшіе здравымъ смысломъ и человѣчностью. Въ первый годъ моего пребыванія въ заведеніи директоромъ его былъ старый морякъ, С. Я. У., о которомъ, я увѣренъ, ни одинъ изъ бывшихъ воспитанниковъ не вспомнитъ иначе, какъ съ уваженіемъ и любовью. О сѣченіи у насъ не было слышно, хотя оно несомнѣнно практиковалось, какъ и вездѣ въ то время. Но, во-первыхъ, практиковалось только въ крайнихъ случаяхъ и, во-вторыхъ, келейно, не задаваясь при этомъ ни теоріей устрашенія, ни теоріей правды и справедливости, якобы вопіющей объ отмщеніи именно на той части тѣла, которую г. Кунцъ именуетъ «среднею». Присутствовалъ ли при этихъ экзекуціяхъ лично самъ директоръ — не знаю; но

увѣренъ, что ежели и присутствовалъ, то не для того, чтобъ кричать: «шибче-съ!» а для того, чтобы своевременно скомандовать: «довольно-съ!»

Черезъ годъ старый директоръ, однако, вынужденъ былъ удалиться. На его мѣсто былъ назначенъ бывшій инспекторъ, добрый человѣкъ, но не самостоятельный, а въ качествѣ инспектора явился молодой человѣкъ, до тонкости изучившій вопросъ о роли, которую должна играть «средняя часть тѣла» въ дѣлѣ воспитанія юношества. Этотъ молодой человѣкъ почему-то вообразилъ себѣ, что заведеніе, отданное ему въ жертву, представляетъ собой авгіевы конюшни, которыя ему предстоитъ вычистить, и, разъ задавшись этою мыслью, начерталъ для ея выполненія соотвѣтствующую программу.

Программа эта немногимъ отличалась отъ всѣхъ вообще воспитательныхъ программъ того времени и резюмировалась въ одномъ словѣ: сѣчь. Но у нея была язвительная особенность, заключавшаяся въ томъ, что она выводила сѣченіе изъ его изолированности и дѣлала его наглядным (à la portée de tout le monde). Каждую субботу, *по выходѣ отъ всенощной*, воспитанники выстраивались по обѣ стороны рекреаціонной залы и въ глубокомъ молчаніи ожидали появленія инспектора. Многіе припоминали совершенные за недѣлю грѣхи, шептали молитвы и крестились; напротивъ того, воспитанники «травленные» (въ заведеніи образовался особый контингентъ, какъ бы сословіе, для котораго «субботники» вошли почти въ обычай) держали себя довольно развязно и интересовались только тѣмъ, которому изъ двоихъ урядниковъ въ данномъ случаѣ будетъ поручена экзекуція. Ежели дежурнымъ оказывался урядникъ Кочуринъ, то смотрѣли въ глаза будущему съ довѣріемъ; ежели же дежурнымъ былъ урядникъ Кунцовъ, то даже самые храбрые задумывались. Кочуринъ былъ солдатъ добрый и сѣкъ больно, но безъ вычуръ; Кунцовъ сѣкъ и въ то же время какъ бы мстилъ сѣкомому. По срединѣ залы между тѣмъ стояла простая, совершенно не гигіеническая скамейка, около которой ожидали: дежурный сѣкуторъ и двое дядекъ, обязанныхъ держать наказываемаго за плечи и за ноги.

Наконецъ *онъ* появлялся въ глубинѣ залы. Прямой, какъ аршинъ, съ несгибающимися колѣнками и съ заложенными за спину руками, онъ медленнымъ шагомъ подходилъ къ скамьѣ и безстрастнымъ голосомъ выкрикивалъ по списку

имена жертвъ (списокъ хранился въ секретѣ до самаго часа экзекуціи), приговаривая: «за лѣность, за дерзость, за буйство, за воровство!» Вызывалось обыкновенно отъ 8 до 10 человѣкъ, но почти каждую субботу слышались однѣ и тѣ же фамиліи, и «постороннихъ» бывало немного. Число розогъ опредѣлялось отъ пяти до шестидесяти (за самыя тяжкія вины, въ родѣ искалѣченія, воровства, повтореннаго пьянства и т. д.). «Травленные» выступали твердо, сами спускали съ себя штаны и сами ложились, при чемъ нѣкоторые доводили ухарство до того, что просили: «разрѣшите, господинъ инспекторъ, чтобъ меня не держали!» Но все-таки, ложась на скамью, инстинктивно крестились. Напротивъ, «посторонніе» стонали и упирались, такъ что инспекторъ вынуждался напомнить: «хуже будетъ, господинъ такой-то, ежели я прикажу привести васъ силой!» Затѣмъ дядьки овладѣвали плечами и ногами паціента, сѣкуторъ прицѣливался, и розги выполняли свое воспитательное назначеніе. Раздавались пронзительные крики, но выискивались и такіе воспитанники, которые, закусивъ нижнюю губу до крови, не испускали ни звука. Послѣднихъ называли «молодцами».

Такъ длился цѣлый годъ, послѣ чего я оставилъ заведеніе и свѣдѣній о дальнѣйшей судьбѣ субботниковъ уже не имѣю.

Не знаю также, что̀ сталось съ изобрѣтателемъ субботниковъ; но увѣренъ, что ежели онъ еще не пересталъ быть дѣятельнымъ членомъ общества, то навѣрное принадлежитъ къ контингенту тѣхъ, которые настойчиво требуютъ перехода отъ фразы къ дѣлу. Оно, впрочемъ, и естественно: кто съ младыхъ ногтей вращался въ сферѣ «дѣла», тому сфера «фразы» должна быть тяжела и противна.

Но вотъ вопросъ: не присутствовалъ ли, хоть невидимкою, педагогъ Кунцъ при нашихъ «субботникахъ»? И не тогда ли созрѣла въ немъ идея гигіеническихъ кушетокъ? Ибо, въ сущности, и субботники, и кушетки имѣли одну общую цѣль: сдѣлать сѣченіе общедоступнымъ (à la portée de tout le monde).

Съ окончаніемъ масленицы, прекратился и сезонъ зимнихъ утѣхъ. Многіе опасались, что промышленность опять унадетъ, но опасенія оказались преувеличенными. Торговцы шелковыми и галантерейными товарами дѣйствительно пріуныли, но барыши истекшаго сезона помогутъ

имъ бодро перенести печальные дни великаго поста. Больше всѣхъ, впрочемъ, пострадаетъ Вортъ изъ Парижа (см. газетныя описанія баловъ) да берлинскіе псевдо-Ворты; но съ точки зрѣнія народной гордости это, пожалуй, и не дурно! Пускай иностранные зазнайки почувствуютъ, что вся ихъ торговля находится въ рукахъ русскихъ женъ и дѣвъ! Но зато несомнѣнно процвѣла торговля грибами и моченою морошкой. Радуйся, Кола! ликуй, Судиславъ! А на Пасху грибамъ и морошкѣ скажемъ шабашъ, а на ихъ мѣстѣ процвѣтетъ торговля яйцами, куличами, молочнымъ товаромъ, ветчиной. И такимъ порядкомъ пойдетъ круглый годъ.

Вотъ какъ у насъ просто дѣлается. Тайный совѣтникъ щи со снѣтками ѣстъ—смотришь, кто-нибудь и процвѣлъ; супруга его съ кузеномъ на тройкѣ на Острова поѣхала—опять кто-нибудь процвѣлъ; лакей его барскіе сапоги ваксой чиститъ—и еще кто-нибудь процвѣлъ! И непремѣнно процвѣлъ меньшій братъ, а старшій братъ только жуетъ да на тройкахъ катается.

При крѣпостномъ правѣ русская интеллигенція строго соблюдала посты, въ особенности великій и успенскій. Многіе даже раковъ и устрицъ не ѣли, не зная, какъ ихъ счесть, скоромными или постными. Соблюдая посты, правящіе классы и сами очищали души отъ грѣховныхъ помысловъ, и подавали примѣръ воздержанія меньшей братіи. Дни поста бывали днями тишины и успокоенія, и контрастъ между послѣднимъ, безумнымъ днемъ масленицы и чистымъ понедѣльникомъ даже въ столицахъ былъ поразителенъ. Сильные міра смирялись и изобрѣтали грибные соусы; меньшая братія довольствовалась толокномъ, но въ то же время, подъ вліяніемъ общаго молитвеннаго настроенія, чувствовала приливъ какихъ-то надеждъ.

Съ упраздненіемъ крѣпостного права, соблюденіе постовъ—да и то самыхъ кратковременныхъ—стало удѣломъ преимущественно женскаго пола; что же касается до интеллигентныхъ мужчинъ, то они предпочитали отдѣлываться по этому поводу парадоксами. Примѣръ подавать стало некому, а вопросъ о спасеніи души былъ до того затемненъ и запутанъ безпрерывными реформами, что даже изъ числа дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ многіе сомнѣвались, есть ли у нихъ душа или нѣтъ. При такомъ настроеніи общества постъ сдѣлался какъ бы продолженіемъ масленицы, съ тою лишь разницей, что блины замѣнялись ро-

потомъ на устарѣлость предразсудковъ, мѣшающихъ пользоваться жизнью «по-человѣчески». Грибы оспротѣли; морошка плѣснѣвѣла и выкидывалась; бѣлозерскіе снѣтки совсѣмъ исчезли съ рынка. Цѣлыя мѣстности, которыхъ процвѣтаніе было тѣсно связано съ процвѣтаніемъ постовъ, увидали себя обездоленными.

Теперь смута устранена. Посты воспріяли прежнее дореформенное дѣйствіе, и тѣ же самые дѣйствительные статскіе совѣтники, которые не могли утвердительно отвѣтить на вопросъ, есть ли у нихъ душа, — нынѣ положительно, твердо и ясно восклицаютъ:

Ты правъ, Плутонъ, ты правъ! нашъ духъ не умираетъ!
Самъ Богъ, живущій въ насъ, въ сей правдѣ увѣряетъ!

Я лично знаю тайнаго совѣтника, который въ теченіе всей первой недѣли поста говорилъ по-славянски, какъ бы опасаясь оскоромиться русскимъ языкомъ. А другой тайный совѣтникъ даже совсѣмъ отъ дара слова отказался и проводилъ время въ томъ, что молча созерцалъ свой пупокъ. Но это, по-моему, ужъ ригоризмъ.

Въ согласность съ этимъ новымъ вѣяніемъ и движеніе на улицахъ въ чистый понедѣльникъ значительно сократилось сравнительно съ реформеннымъ временемъ. Оживленіе замѣчалось только около бань и вблизи большихъ чиновническихъ центровъ. Давно такъ бойко не торговали банщики, и никогда такъ исправно не посѣщали чиновники своихъ департаментовъ, никогда такъ свято не хранили канцелярской тайны. Придутъ ранёхонько, возьмутся за перья, сдѣлаютъ свое дѣло, и затѣмъ—молчокъ. Слышно только, что плодомъ этой великопостной ретивости ожидается великое множество отрезвительныхъ проектовъ. Проекты эти къ будущему великому посту будутъ переписаны на-бѣло, а постомъ 1886 года ихъ положатъ подъ сукно. Suum cuique, или: нѣтъ худа безъ добра. Но, какъ подспорье къ грибамъ, эти проекты неоцѣнимы: они оживляютъ умъ и утверждаютъ въ публикѣ убѣжденіе, что страна, въ которой съ такою легкостью принимаются всевозможныя оздоровленія, не оскудѣетъ.

Не только о раутахъ, но даже о простыхъ вечеринкахъ не было слышно въ теченіе цѣлыхъ шести дней, такъ что и нѣмцы отпраздновали свою масленицу келейно, безъ публичныхъ оказательствъ. Рѣдко-рѣдко въ какомъ окнѣ мелькнетъ огонь, да и то скромный, трепещущій, при свѣтѣ котораго ничего другого и дѣлать нельзя, какъ сосредо-

точенно смотрѣть себѣ на пупокъ. Сквернословіе, столь обычное на улицахъ въ скоромные дни, уступило мѣсто скромнымъ и солиднымъ афоризмамъ, въ родѣ: «всякъ сверчокъ знай свой шестокъ» и т. д. Московскіе куранты цѣлыхъ два дня сряду появлялись въ Петербургѣ безъ передовой диффамаціи.

Однако со второй недѣли уже ощущается довольно замѣтное оживленіе. Освѣщенныя окна попадаются столь же часто, какъ въ сезонные дни, бани пустѣютъ, портерныя наполняются; выраженія: катанье на тройкахъ, раутъ, декольтѐ—слышатся чаще и чаще. Сквернословіе вступаетъ въ свои права; куранты свирѣпѣютъ.

Раутъ—это самая скучная изъ всѣхъ формъ общежитія, участники которой думаютъ только о томъ, какъ бы отъ нея улизнуть. Люди собираются пестрые и подозрительные; разговоры ведутся шаблонные, неискренніе; пересказываются новости дня, которыя всѣми выслушиваются съ удовольствіемъ или негодованіемъ (смотря по содержанію новости), но никто ни въ это удовольствіе, ни въ это негодованіе не вѣритъ; старики изрекаютъ приличные обстоятельствамъ афоризмы и стараются проникнуть въ намѣренія Бисмарка; младшіе почтительно съ ними соглашаются, но внутренно думаютъ: да, братъ, порядкомъ-таки ты отъ старости ошалѣлъ! Разносятъ чай, прохладительныя; устроено нѣсколько буфетовъ; тамъ и сямъ разложены карточные столы; но никто ни къ чему не прикасается, точно боятся, что это можетъ задержать лишнюю минуту. Рѣдко кто даже садится, потому что всякому думается, что на ходу ловчѣе можно улетучиться. А хозяева стѣснены больше всѣхъ. Они стоя принимаютъ безпрерывно появляющихся гостей и съ тоскою взглядываютъ на входную дверь, откуда долженъ показаться тотъ «полезный человѣкъ», ради котораго затѣяна вся эта исторія. Но «онъ» не появляется, ибо знаетъ себѣ цѣну, а вмѣсто него дефилируютъ сотни неполезныхъ и неинтересныхъ людей. Словомъ сказать, всюду царствуетъ дѣланное оживленіе, дѣланный говоръ, дѣланныя поученія, дѣланное гостепріимство, дѣланная почтительность... И вдругъ среди этой щемящей скуки и безцѣльной сутолоки появляется... декольтѐ! Но такое блестящее, ослѣпительное, съ такимъ изумительнымъ вырѣзомъ на спинѣ, что у тайныхъ совѣтниковъ мгновенно спирается въ зобу дыханіе. Смотрите: вотъ еле дышащій старецъ, который за минуту передъ тѣмъ мечталъ, какъ было

бы хорошо намазаться на ночь оподельдокомъ, надѣть на голову бѣлый колпакъ и залечь съ Матреной Ивановной спать. Онъ уже заноситъ ногу, чтобъ привести этотъ проектъ въ исполненіе, онъ уже приближается къ лѣстницѣ и мысленно видитъ себя въ шубѣ и тепломъ картузѣ— какъ вдругъ останавливается, какъ вкопанный, и начинаетъ чихать. А ослѣпительное декольтѣ торжествующе смотритъ на это сонмище тщетно усиливающихся проникнуть намѣренія Бисмарка мудрецовъ и всѣми своими вырѣзами бросаетъ имъ въ лицо: ага! вы думали, что наступилъ великій постъ?—такъ вотъ же вамъ... масленица!

Но повторяю: рауты сами по себѣ такъ безмѣрно скучны, что даже наиболѣе возбуждающія декольтѣ могутъ сообщить имъ лишь скоропреходящее оживленіе. Посѣщаютъ ихъ по преимуществу старцы, которые уже наяву сны видятъ, да подростки лѣтъ этакъ пятидесяти, изъ которыхъ одни уже овладѣли «дѣломъ», а другіе сгораютъ нетерпѣніемъ засвидѣтельствовать о готовности перейти отъ фразы къ дѣлу. Для подобныхъ засвидѣтельствованій раутъ самая подходящая арена; но и тутъ все зависитъ отъ того, успѣетъ ли жаждущій подростокъ попасть въ районъ зрѣнія подростка полезнаго, или не успѣетъ. И никакое искусство, никакіе подходы не принесутъ пользы, если не придетъ на помощь удача. Иной и очень старается, а его или другіе чающіе ототрутъ, или же самъ полезный подростокъ такъ помѣстится, что не видитъ своего обожателя да и шабашъ. Другой, напротивъ, не успѣлъ войти, какъ уже сорвалъ банкъ. Смотришь, черезъ четверть часа онъ уже ходитъ съ полезнымъ подросткомъ подъ руку, а прочіе передъ ними разступаются и ѣдятъ ихъ глазами. Это интимное хожденіе служитъ поводомъ для безконечныхъ комментаріевъ. Стараются угадать его смыслъ и опредѣлить результаты въ будущемъ. А наиболѣе прозорливые прямо прорицаютъ: «теперь только держись!» Ежели у счастливца-подростка имѣется, кромѣ того, въ запасѣ программа, то комментаторы заранѣе пріискиваютъ компромиссы и соглашенія. Ежели нѣтъ программы или есть маленькая — чего изволите?—то комментаторы говорятъ: «во всякомъ случаѣ, хуже не будетъ». И вдругъ, подъ шумокъ этого переполоха, оба подростка дѣлаютъ внезапное фланговое движеніе, врѣзываются въ толпу и исчезаютъ въ ней. Туда-сюда—растаяли! Куда они направили бѣгъ свой? что знаменуетъ это внезапное исчезновеніе? какими новыми

загадками разрѣшится завтрашній день? Опять комментаріи, комментаріи безъ конца...

Какъ бы то ни было, но положеніе чающихъ подростковъ совсѣмъ незавидное. Удача достается въ удѣлъ немногимъ, а большинство толчется на одномъ мѣстѣ, ведетъ пустопорожніе разговоры и агонизируетъ. Поэтому нѣкоторые мудрецы предпочитаютъ дѣйствовать посредствомъ своихъ женъ, ежели послѣднія обладаютъ исправнымъ декольтѐ. Такого рода мудрецовъ называютъ дипломатами, и усилія ихъ нерѣдко даютъ хорошіе плоды. Но, по моему мнѣнію, это ужъ подлость.

Гораздо интереснѣе и веселѣе проводится время на простыхъ интимныхъ вечеринкахъ, которыхъ въ нынѣшнемъ посту особенно много. Здѣсь на первомъ планѣ фигурируетъ молодежь, та особливая нынѣшняя молодежь, которая не страстностью рѣчей и тѣлодвиженій, а солиднымъ образомъ мыслей и скромнымъ поведеніемъ имѣетъ заслужить и довѣріе дѣвъ, и мимолетную ласку женъ, и покровительство мужей и отцовъ. Въ этой молодой средѣ стремленіе къ «дѣлу» и забота объ его осуществленіи являются нынѣ преобладающимъ элементомъ. Чаще всего подъ словомъ «дѣло» здѣсь разумѣется карьера, но карьера, пріобрѣтаемая не въ видахъ удовлетворенія эфемернаго честолюбія, а въ видахъ достиженія опредѣленныхъ общественныхъ идеаловъ. Нынче рѣдко можно встрѣтить людей, подобныхъ Кротикову и Козелкову, которые еще такъ недавно мечтали о губернаторскихъ и иныхъ мѣстахъ единственно ради цѣлей любоначалія, осложненнаго любострастіемъ. Нынѣшніе молодые люди на первомъ планѣ ставятъ общую пользу, а потомъ уже — если время позволитъ — преслѣдуютъ и любовныя подспорья, помогающія не изнемочь подъ бременемъ служебнаго подвига. Подвигъ этотъ не легкій, хотя и не имѣющій реальнаго, обязательнаго содержанія. Дѣло, предстоящее этимъ людямъ, не въ томъ заключается, чтобы самимъ дѣло дѣлать, а въ томъ, чтобы заставить дѣлать дѣло другихъ и, въ случаѣ нужды, облегчить переходъ отъ фразы къ дѣлу. А средства для выполненія этой программы общеизвѣстны. Это съ одной стороны неуклонность, а съ другой — строгость. И наоборотъ.

— У меня, дяденька, не зазѣваются! — говорилъ мнѣ на-дняхъ одинъ изъ моихъ племянниковъ, молодой человѣкъ, на котораго можно вполнѣ положиться. И, говоря это,

онъ отлично понималъ, что, имѣя въ запасѣ такое испытанное средство, какъ строгость, можно всего достигнуть: и изобилія, и оживленія промышленности, и хорошаго денежнаго рынка, и элеваторовъ, и транзитовъ, словомъ, всего, что смущаетъ воображеніе современныхъ отощавшихъ празднослововъ.

Самую излюбленную принадлежность такихъ интимныхъ вечеровъ представляютъ такъ-называемые спиритическіе сеансы. Наше интеллигентное общество всегда было склонно къ волшебствамъ, но нынѣшнія спиритическія радѣнія имѣютъ совсѣмъ отличный характеръ отъ прежнихъ. Прежде молодые люди по преимуществу вызывали усопшихъ дамъ. Изъ древнихъ — Семирамиду, Клеопатру, Агриппину, Мессалину; изъ позднѣйшихъ — Монтеспаншу, Ментеноншу, Помпадуршу и др. Разумѣется, происходилъ игриваго свойства colloquium, отъ котораго молодыя адептки спиритизма алѣли, но не гнѣвались, и который адепты сопровождали еще болѣе игривыми комментаріями. Нынче усопшихъ дамъ оставляютъ въ покоѣ, а вмѣсто нихъ вызываютъ лицъ, оказавшихъ услуги благоустройству и благочинію. Напримѣръ: Шешковскаго, фонъ-Фока, Булгарина. Но должно сознаться, что отъ времени до времени тутъ не обходится безъ печальныхъ недоразумѣній.

Вызываютъ, напримѣръ, однажды Шешковскаго и предлагаютъ ему вопросы. Старикъ, конечно, очень радъ посодѣйствовать, хотя, изъ кокетства, и жалуется на ревматизмъ.

— Всего больше,—говоритъ онъ:—надо избѣгать путаницы. Затѣявши предпріятіе, необходимо зрѣло обдумать оное, не обращая вниманія на подстрекательства темперамента и въ особенности не дозволяя себѣ несвоевременной болтовни. Языкъ мой—врагъ мой, говорилъ я себѣ всякій разъ, когда собирался въ походъ, и никогда не раскаивался въ томъ, что содержалъ эту пословицу въ памяти. То же самое нужно сказать и относительно самаго выполненія предпріятій. Никогда не слѣдуетъ спѣшить и суетиться, ибо, спѣша и волнуясь, мы девяносто девять разъ изъ ста рискуемъ попасть пальцемъ въ небо. Конечно, юридическая ошибка сама по себѣ не представляетъ важности, но часто она увлекаетъ насъ совсѣмъ не въ ту сторону, куда надо. Многое даже не безполезно предоставить времени. Ибо ежели мы дѣйствуемъ благоразумно и притомъ воспитательно, то и время, или, лучше сказать,

духъ онаго постепенно принимаетъ споспѣшествующій характеръ. По крайней мѣрѣ я всегда такъ поступалъ. Всякій разъ, какъ предпріятіе ставило меня втупикъ, я говорилъ себѣ: пускай лучше дѣло полежитъ! И никогда не раскаивался.

Высказавши это, Шешковскій вновь повторяетъ жалобы на ревматизмъ и улетаетъ.

— Какой у этого старика замѣчательный дѣловой смыслъ!—дивятся молодые люди.

— Да, былъ въ старые годы смыслъ, былъ смыслъ!—вздыхаетъ тайный совѣтникъ (изъ рощущихъ), который, за простоту, допущенъ въ среду молодой компаніи.

— Какая отчетливость! какое глубокое знаніе споспѣшествующихъ свойствъ времени!

Но въ другой разъ съ тѣмъ же Шешковскимъ случилась цѣлая исторія. Зовутъ его, стучатъ—не идетъ, да и полно. «Ужъ не позвалъ ли его на партію въ ламушъ графъ Ушаковъ?»—догадываются нѣкоторые, какъ вдругъ появляется урядникъ Купцовъ (не тотъ, который въ тридцатыхъ годахъ стегалъ «питомцевъ славы», а предокъ его, современникъ и сотрудникъ Шешковскаго) и докладываетъ, что Шешковскаго безплодно ждать, потому что душа у него была смертная и вмѣстѣ съ тѣломъ безъ остатка истлѣла...

Поднимается суматоха: дебатируется вопросъ: кто же являлся подъ именемъ Шешковскаго въ прошлый сеансъ? И что же открывается?—что въ прошлый сеансъ разговаривалъ чревовѣщатель, котораго любезный хозяинъ посадилъ въ сосѣднюю комнату.

Въ сей крайности рѣшаются вызвать фонъ-Фока. Послѣдній является и отсырѣлымъ голосомъ объявляетъ, что хотя душа у него и не вполнѣ смертная, но частица ея порядкомъ-таки попорчена...

— Однако какая жестокая будущность!—провозглашаетъ одинъ изъ присутствующихъ.

— Ежели, впрочемъ, и тутъ опять не замѣшался вантрилокъ,—прибавляетъ другой.

Смотрятъ одновременно и подъ столомъ, и въ сосѣднихъ комнатахъ—нѣтъ никого. Очевидно, на сей разъ являлся подлинный Купцовъ и подлинный фонъ-Фокъ. Остается послѣднее средство: послать за Булгаринымъ. И точно: Булгаринъ является на первый же стукъ и сразу начинаетъ хрюкать:

– Призываетъ меня однажды Леонтій Васильичъ. Прихожу — рветъ и мечетъ. Увидѣлъ меня, вскочилъ, подбѣжалъ, забрызгалъ.—Бездѣльникъ!—«Слушаю, отецъ-командиръ!»—Ренегатъ!—«Рады стараться, отецъ-командиръ!»—Ужъ и на меня ябеды сочинять началъ? — «Виноватъ, отецъ-командиръ!» — Пошелъ вонъ, сатана! — «Кубаремъ, отецъ-командиръ!»

Водворяется молчаніе, во время котораго однако слышится легкій шелестъ. То рѣетъ надъ собравшимися Булгаринская душа.

— Продолжайте! — предлагаетъ одинъ изъ участниковъ.

— Только и всего.

— Ничего другого вы сказать не имѣете?

— Все въ этомъ родѣ.

— Но было же что-нибудь...

— Вся жизнь—въ этомъ родѣ.

— Однако!

— Ахъ, господа, господа! Посмотрю я на васъ: слышите вы звонъ и не знаете, откуда онъ! Да вѣдь это-то самое и нужно!

Съ этими словами душа Булгарина улетаетъ во-свояси, а въ комнатѣ распространяется легкій смрадъ. Большинство въ недоумѣніи оглядывается по сторонамъ, но у нѣкоторыхъ уже спадаетъ съ глазъ пелена.

— «Это-то самое и нужно», — задумчиво повторяетъ одинъ изъ присутствующихъ (изъ молодыхъ да ранній) и прибавляетъ:—le vieux cochon a raison... peut être!

Возвѣщаютъ, что сервированъ ужинъ. Общество поднимается и въ сладкомъ сознаніи, что вечеръ проведенъ «дѣльно», слѣдуетъ въ столовую.

А въ заключеніе и петербургская городская дума нашла себѣ дѣло. Чествуетъ пріѣздъ въ «здѣшнюю столицу» нѣмецкаго романиста Шпильгагена, а когда получатся окончательныя подробности насчетъ взятія французами Бак-Нина, то, конечно, будетъ чествовать и взятіе Бак-Нина. Вина въ погребахъ много; «уры» накопилось въ сердцахъ видимо-невидимо — надо же какъ-нибудь распорядиться и тѣмъ, и другимъ.

Что Шпильгагенъ очень талантливый писатель и въ шестидесятыхъ годахъ имѣлъ значительное вліяніе и на русскую литературу, и на русское общество — это безспорно; но дума-то петербургская тутъ при чемъ?

Шпильгагена чествуютъ, а вотъ про то, что въ Петербургѣ существуетъ общество для пособія русскимъ литераторамъ и ученымъ, которое на-дняхъ втихомолку праздновало свое двадцатипятилѣтіе, — никто знать не хочетъ. А, право, вѣдь это учрежденіе сотни Шпильгагеновъ стоитъ. Подумайте! оно одно поддерживаетъ (насколько можетъ) интересы нищаго пролетаріата, одно, которое безъ ужимокъ признаетъ свою солидарность съ русскою литературой! Какихъ еще больше правъ на вниманіе общества!

Бѣдный русскій литературный фондъ! Онъ всецѣло раздѣляетъ судьбы русской литературы. Подобно ей, онъ находится въ забвеніи; подобно ей, влачитъ унылое и скудное существованіе. Коли хотите, это логично; но какъ-то горько мириться съ этою логикою. Все думается: куда было бы лучше, если-бъ благоденствовала литература и вмѣстѣ съ нею благоденствовалъ бы и литературный фондъ!

Въ русской литературѣ встрѣчаются имена, принадлежащія лицамъ вполнѣ обезпеченнымъ. Литература дала имъ все: и деньги, и славу, а вспомнили ли они о ней! Удѣлили ли они литературному русскому фонду что-нибудь, кромѣ жалкихъ крупицъ! Многіе изъ нихъ такъ и сошли въ могилы, не вспомнивъ о своихъ бѣдствующихъ собратіяхъ по литературѣ.

А книгопродавцы? а тѣ, которые на костяхъ литературы создали свои болѣе или менѣе значительныя состоянія? Знаютъ ли они даже, что существуетъ русскій литературный фондъ, который, приходя на помощь къ бѣдствующему литературному дѣятелю, косвенно содѣйствуетъ созданію той самой «книжки», которая легла въ основаніе всѣхъ этихъ капиталовъ въ видѣ многоэтажныхъ домовъ, акцій и облигацій.

Право, лучше *бросить* (вѣдь у насъ иначе жертва и не понимается, какъ въ формѣ *бросанья)* деньги на поддержаніе русскаго литературнаго фонда, нежели на чествованіе Шпильгагена, какъ бы ни почтенна была литературная дѣятельность послѣдняго. Подумайте объ этомъ, милостивые государи, и ежели вы полагаете, что встрѣча, устраиваемая вами Шпильгагену, есть въ своемъ родѣ оказательство въ смыслѣ сочувствія къ просвѣщенію, то поймите, что оказательство это выразится гораздо рѣшительнѣе, ежели оно явится въ формѣ сочувствія къ русскому литературному фонду.

ГЛАВА IX.

Я съ величайшимъ любопытствомъ слѣжу за тою частью нашей публицистики, которая сама себѣ присвоила названіе «охранительной». Я знаю, что многіе ее не любятъ за ея продѣлки, и даже самъ вполнѣ раздѣляю эту нелюбовь. Она недобросовѣстна, назойлива, недальновидна, всегда находится подъ гнетомъ темперамента и любитъ, въ угоду ему, солгать, подсидѣть, подтасовать, извратить самый ясный фактъ. И при этомъ какъ-то безпардонно нагла, такъ что ни одной своей срамоты не скрываетъ: на, смотри! Читать гадко. И все-таки надо читать, потому что это и любопытно, и отчасти даже утѣшительно. Любопытно потому, что извивы лукавой мысли, которая суетливо пѣнится въ пустомъ пространствѣ, сами по себѣ представляютъ очень замѣчательное психологическое явленіе: утѣшительно потому, что всѣ усилія этой мысли настолько проникнуты легкомысліемъ, что, въ сущности, и обмануть никого не могутъ. Не умѣетъ русская охранительная пресса шить свои диффамаціи иначе какъ бѣлыми нитками: не умѣетъ прятать концы въ воду. Сегодня она пуститъ въ ходъ агитацію по какому-нибудь небезынтересному для нея дѣлу, будетъ ссылаться на ходатайства, постановленія, подписи и т. п., а завтра, натолкнувшись на другую, встрѣчную агитацію (тоже съ постановленіями, ходатайствами и подписями), станетъ утверждать, что агитаціи вообще ничего не доказываютъ, что онѣ скорѣе вредны, нежели полезны для дѣла. Даже лазейки для себя не будетъ прінскивать, а просто отопрется, солжетъ. И такъ какъ она каждый день повторяетъ эту исторію, каждый день только что не говоритъ: читатель! все, что я ни предполагаю, можно видѣть только во снѣ!—то понятно, что и самому простодушному профану наконецъ надоѣстъ принимать сновидѣнія за дѣйствительность.

Я понимаю, что можетъ такой казусъ случиться, что, не имѣя за душой ничего, кромѣ праха, поневолѣ приходится имъ однимъ торговать: но вѣдь и съ прахомъ слѣдуетъ обходиться бережно. Прахъ такъ прахъ; но пускай же онъ будетъ одинъ и тотъ же всегда и вездѣ, ибо только тогда онъ сдѣлается владыкой міра. Отрицайте разумъ, прогрессъ, правду, человѣческое право на счастье — прекрасно. Называйте все это опасной утопіей, источни-

комъ заблужденій и потрясеній — еще того лучше. Утверждайте, что завтрашняго дня нѣтъ, что перспективъ не полагается, а есть только то, что торчитъ подъ носомъ—и это хорошо. Но держитесь этихъ отрицаній твердо и не призывайте разума, человѣчности и проч. ни на помощь, ни въ свидѣтельство. Совсѣмъ не произносите этихъ словъ, такъ какъ вы выходите изъ принципа, который признаетъ ихъ праздными. Не пишите въ смыслѣ порицанія: такое-то дѣйствіе противно разуму; ибо, согласно вашей программѣ, это-то и есть дѣйствіе, достойное похвалы. Не угрожайте завтрашнимъ днемъ, потому что вы разъ навсегда установили, что завтрашняго дня нѣтъ, а вмѣсто него зіяетъ черная дыра, о которой вы и будете калякать тогда, когда въ ней очутитесь. Проводите вашъ прахъ логично, а не пестрите его поправками, не перескакивайте легкомысленно отъ одного праха къ другому. Ибо ничто такъ не вредитъ возведенію праха въ принципъ, какъ его пестрота.

Вспомните, читатель, что вопіяла охранительная публицистика года три тому назадъ по адресу такъ-называемой интеллигенціи. Всѣ кривды и беззаконія, какія только можно совмѣстить въ наиболѣе извращенной человѣческой личности, она, нимало не стѣсняясь, пріурочивала къ интеллигенціи. Пріурочивала, надрываясь, волнуясь и кипятясь, не считая даже нужнымъ пріискивать какіе-нибудь аргументы. И не къ той интеллигенціи пріурочивала, которая умѣетъ въ винтъ играть, которая устраиваетъ катанье на тройкахъ и пикники и въ этомъ усматриваетъ свое провиденціальное назначеніе, а именно къ той, которая руководится какими-либо умственными и нравственными интересами. Именно на эти-то интересы и указывалось, какъ на источникъ всякаго рода пагубы. Этого мало: она не ограничивалась платоническими воплями, но инсинуировала и практическое воздѣйствіе. Столбцы охранительныхъ газетъ пріятно пестрились корреспонденціями простецовъ-обывателей, которые простодушно предлагали топить интеллигентовъ, дѣлать имъ встряски. И все это говорилось и предлагалось во имя здраваго смысла народа, во имя «исконныхъ русскихъ началъ». Любопытно бы знать: пуская въ обращеніе эти наивныя подстрекательства и ссылаясь на оныя какъ на документъ, спросилъ ли себя кто-либо изъ охранителей-публицистовъ: что же такое онъ самъ? Что онъ причисляетъ себя къ сонмищу интеллигентовъ — въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія; что онъ понимаетъ

слово «интеллигентъ» не въ смыслѣ умѣнія играть въ винтъ—это тоже не требуетъ доказательствъ. Ибо какимъ бы прахомъ ни было наполнено его существо, какъ бы мало-интеллигентно ни велъ онъ свое дѣло, все-таки это дѣло и по формѣ, и по существу свойственно только интеллигенціи. А слѣдовательно...

Вотъ до этого-то «слѣдовательно» никогда и не договариваются люди, которые называютъ себя охранителями, а въ сущности охраняютъ только прахъ. Многіе думаютъ, что они *не хотятъ* договориться, но я рѣшительно склоняюсь въ пользу выраженія: *не могутъ*. Въ минуты паники они теряютъ и память, и способность дѣлать обобщенія; а часто ли бываютъ такія минуты, когда бы они не находились подъ гнетомъ паники? Все пробуждаетъ въ нихъ панику, все приводитъ ихъ въ изступленіе. Не только политическая смута, но и спокойное отправленіе правосудія, и дѣйствія акцизныхъ чиновниковъ, и дѣло Зографа, и дѣло Мельницкаго, и элеваторы, и направленіе желѣзныхъ дорогъ, и транзитъ. Вездѣ они видятъ не сущность дѣла и даже не обстановку его, а какой-то блуждающій огонь, за которымъ скрывается измѣна. И ради этого огня забываютъ все. И себя, и предметъ, на защиту котораго вышли, и примѣненія, и выводы, къ которымъ подаютъ поводъ ихъ вопли.

И все-таки повторяю: это фаталистическое свойство, въ силу котораго прахъ на каждомъ шагу изобличаетъ и побѣждаетъ самого себя, есть своего рода благо, которое необходимо принимать въ разсчетъ. Я знаю, что бойкія слова подкупаютъ, но знаю также, что, пущенныя на вѣтеръ, утопленныя въ массѣ противорѣчій, они могутъ имѣть успѣхъ лишь минутный. Нельзя вѣрить публицисту, который никогда ни къ какому логическому выводу не приходитъ, который слоняется изъ угла въ уголъ, сегодня говоритъ *за*, а завтра *противъ*, не сознавая даже, что и въ томъ и въ другомъ случаѣ дѣло идетъ о предметахъ вполнѣ однородныхъ, хотя бы и обозначенныхъ различными рубриками. И дѣйствительно, ему рѣдко кто довѣряетъ, хотя, къ сожалѣнію, еще слишкомъ часто говорятъ: «вотъ вѣдь какое перо!»

По моему мнѣнію, это результатъ далеко не безнадежный. Потому что если-бъ прахъ проводилъ себя вполнѣ логично, какъ въ былыя времена, напримѣръ, въ Китаѣ, тогда нельзя было бы дышать. А теперь все-таки еще

можно, хотя проворство, съ которымъ глаголемые охранители отыскиваютъ прахи и играютъ ими, во всякомъ случаѣ дѣлаетъ роль очевидца и современника этихъ игръ довольно тяжелою.

Но продолжимъ наши воспоминанія. Посылая прямыя и косвенныя укоризны въ догонку интеллигенціи, которая и безъ того въ авантажѣ никогда не обрѣталась, охранители указывали на «здравый смыслъ» народа и въ немъ одномъ находили надежное убѣжище противъ подвоховъ растлѣвающей цивилизаціи. Въ народѣ, говорили они, сохранились во всей неприкосновенности исконныя русскія начала, которыя и помогутъ побѣдить умственную и нравственную смуту, угрожающую намъ окончательнымъ разложеніемъ. И такова, дескать, живоносная сила этихъ началъ, что, разъ довѣрившись имъ, уже не представится надобности ни въ сложныхъ мѣропріятіяхъ, ни въ обременительныхъ затратахъ, которыя такія мѣропріятія неизбѣжно за собою ведутъ. Здравый смыслъ народа восторжествуетъ безъ всякой посторонней помощи. Все устроится само собой, мирно, но грозно, безъ притязаній на блескъ, но достаточно внушительно.

Казалось бы, чего лучше? Власть, довѣряющая здравому смыслу народа, и народъ, естественно, безъ предвзятой мысли, идущій навстрѣчу этому довѣрію! Отъ осуществленія такой перспективы, полагать нужно, и либералы не прочь. Никто не видитъ идеала въ антагонизмѣ для антагонизма; никто... кромѣ, быть-можетъ, охранителей, которые никогда не смотрѣли на народъ иначе, какъ на помѣху въ дѣлѣ благоустройства и благочинія. Но на этотъ разъ даже они говорятъ намъ: «да, въ довѣріи къ народнымъ массамъ—единственное наше спасеніе!» Стало-быть, и дѣйствительно уже неоткуда больше ждать помощи.

Но кто допускаетъ извѣстную цѣль, тотъ, конечно, долженъ допустить и соотвѣтствующія этой цѣли средства. Кто возлагаетъ на народъ всѣ упованія, тотъ, хотя бы и притворно, обязывается рисовать его образъ чертами не только вполнѣ сочувственными, но даже съ примѣсью нѣкоторой идилліи. Народъ, молъ, — это не какіе-нибудь рядскіе сорванцы, которые способны лишь на то, чтобы по сигналу: взы-взы! — набрасываться на всякаго встрѣчнаго, потому только, что онъ одѣтъ въ кургузку. Нѣтъ, это собраніе благомысленныхъ мужичковъ (что ни мужичокъ, то хоть сейчасъ въ бурмистры... если-бъ крѣпостное право опять

народилось!), которые за десятымъ самоваромъ истово калякаютъ о мірской крестьянской правдѣ да о поровёнкѣ, а о томъ, какимъ образомъ съ мошной поступить—помалчиваютъ. Вотъ это какой народъ!

Нужды, молъ, нѣтъ, что «благомысленные», между прочимъ, и о поровёнкѣ разговариваютъ — вѣдь это только издали страшно. Сегодня у нихъ поровёнка въ ходу, а завтра, «глядя по времю», и другіе разговоры найдутся. «На то щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ!»—чѣмъ это не разговоръ? Или: «не плачь, казявка, только сокъ выжму!» — хоть какому благомысленному не стыдно! Сначала поровёнку въ ходъ пустимъ, потомъ «сокъ выжмемъ», а потомъ и опять, пожалуй, за поровёнку примемся! А самовары между тѣмъ со стола не сходятъ. Пьютъ себѣ благомысленные чашку за чашкой, въ усъ не дуютъ, да мошну поглаживаютъ! Мы, молъ, не горланы; не рядскіе сорванцы, не кулаки, не міроѣды, не захребетники — мы «благомысленные»! А ежели, молъ, карась къ щукѣ въ хайло попалъ, такъ онъ самъ же и виноватъ: не зѣвай!

О, достолюбезныя дѣти природы! Какъ не довѣриться вамъ, коль скоро вы не только здравый смыслъ и русскія начала въ неприкосновенности сохранили, но при семъ и мошну изъ вида не упустили!

Вотъ въ какомъ видѣ слѣдовало бы консерваторамъ-публицистамъ живописать русскій народъ, если бы они могли вести свое дѣло послѣдовательно. Положимъ, что это вышелъ бы не заправскій народъ, а харчевня, наполненная идиллическими міроѣдами; но вѣдь русская публика на этотъ счетъ невзыскательна: идиллія, въ соединеніи съ поровёнкой да съ мошною, и до сихъ поръ на нее безъ промаху дѣйствуетъ.

Да; это было бы съ ихъ стороны «очень ловкимъ шагомъ» (спеціальное выраженіе охранителей-публицистовъ, когда они хотятъ охарактеризовать какой-нибудь подвохъ) и сразу отбило бы у либераловъ хлѣбъ, на который они разсчитываютъ. Ротозѣи! они воображаютъ, что они одни секретомъ «разсказовъ изъ народнаго быта» обладаютъ... Милости просимъ! Да мы, охранители, такую по этой части ахинею за пазухой держимъ, что въ носъ бросится... да! Мужички, милые! что вы такъ заробѣли-спрятались! Вылѣзайте, не бойтесь! Покажите, какія-такія въ васъ русскія начала сидятъ? Какой-такой здравый смыслъ? Ахъ, хорошъ здравый смыслъ!

Истинно говорю, что либералы не только остались бы ни при чемъ, но, можетъ-быть, и въ помин$ъ о нихъ ужъ давнымъ-давно не было бы!

Но охранители наши не могутъ быть послѣдовательны. Малодушные, всецѣло угнетенные темпераментомъ, то необузданно-ликующіе, то сѣющіе безсознательный страхъ, они бросаютъ на вѣтеръ слово и сейчасъ же забываютъ о немъ. Забываютъ, потому что въ данную минуту не видятъ въ немъ надобности; но ежели встрѣтятъ таковую, то и опять вспомнятъ. Увы! не понимаютъ они, что подогрѣтому слову цѣна уже грошъ...

Въ самомъ дѣлѣ, тотъ же самый темпераментъ, который только-что продиктовалъ имъ теорію обарщенія къ здравому смыслу народа, тутъ же, кряду, подсказываетъ и картины самаго несомнѣннаго отсутствія этого смысла. Тотъ народъ, который, за нѣсколько столбцовъ передъ тѣмъ, являлся вмѣстилищемъ исконныхъ русскихъ началъ, представляется теперь лишеннымъ всякаго нравственнаго инстинкта, почти безумнымъ. Прислушайтесь, напримѣръ, хоть къ такого рода фактамъ *). ·

«Лѣса рубятся безнаказанно, на лугахъ — перекосы и потравы; съ полей воруютъ снопы съ каждымъ годомъ все сильнѣе и сильнѣе; поджигаютъ другъ друга; доходитъ дѣло до того, что начинаютъ отравлять скотину другъ у друга...»

Такъ повѣствуетъ охранитель-корреспондентъ изъ нижегородской деревни. Кто же все это дѣлаетъ? не интеллигенты ли? Нѣтъ, это дѣлаетъ тотъ самый народъ, о здравомъ смыслѣ котораго, чуть ли не въ томъ же нумерѣ, охранитель-публицистъ начерталъ пространную и убѣдительную передовицу. Таковы понятія *этого* народа о собственности; а вотъ его понятія о справедливости:

«Ничего не подѣлаешь, некуда обратиться за помощью. Въ крестьянское общество? Но въ немъ чинитъ судъ и расправу пропившаяся голь деревенская, которая и производитъ всѣ эти безобразія; степенный мужикъ давно уже потерялъ вѣсъ... хлопочетъ только о томъ, чтобъ его оставили въ сторонѣ... Въ волостной судъ? Но и тамъ сопьютъ съ виноватаго и пустятъ на всѣ четыре стороны... Къ мировому? Но выйдетъ еще хуже, оштрафуютъ на полтину, а конфузу тебѣ на рубль... Слѣдователь отвѣтитъ на твою

*) Факты эти или, лучше сказать, разсказъ о нихъ не вымышленъ мною, а заимствованъ въ подлинныхъ выраженіяхъ изъ одной охранительной газеты, которую, впрочемъ, я не вижу надобности называть.

жалобу, что ясныхъ уликъ нѣтъ... И деревенская вольница прекрасно понимаетъ силу своей безнаказанности и неуязвимости... Она такъ набаловалась тѣмъ, что все сходитъ ей съ рукъ, что, не стѣсняясь, говоритъ старшинѣ на сходѣ: развѣ ты не понимаешь, что нонѣ вся сила въ насъ! дѣлай намъ въ угоду: насъ, братъ, много! Вдумайтесь въ эти слова: вольница, объединяемая, поддерживаемая и просвѣщаемая кабакомъ, поняла, что съ нею заигрываютъ, за нею ухаживаютъ, и подняла голову».

Таковы понятія «народа» о справедливости. Вотъ такъ подоплёка! Но отношенія его къ собственному самоуправленію едва ли еще не любопытнѣе.

«Вотъ, напримѣръ, деревня выбираетъ старосту. Выборъ падаетъ на мужичонка-воришку, который, къ тому же, и деревенскій живодеръ, и пастухъ крестьянскаго стада, словомъ, послѣдній человѣкъ... Черезъ полгода—начетъ въ 60 рублей, удаленіе отъ должности и новый выборъ—на этотъ разъ горькаго пьяницы. Чѣмъ же объясняются эти изумительные выборы? А вотъ чѣмъ. «Нонѣ страху стало мало. Въ начальство идти путному человѣку—только казниться; ты съ него подать собирать, а онъ посмѣивается: ничего, говоритъ, за міръ посидишь. Правовъ не стало».

Такъ самоуправляются эти представители здраваго смысла. И замѣтьте объясненіе: «страху нѣтъ»! Страхъ—это альфа и омега нашихъ охранителей-публицистовъ. Будь страхъ—и все пойдетъ хорошо. Но вотъ, въ заключеніе, и самый здравый смыслъ налицо. Слушайте. «Лѣтомъ, среди горячей дѣловой поры, міръ постановляетъ: праздновать три-четыре дня подъ-рядъ. Въ первый день сходятъ въ церковь, а потомъ начинаютъ гулять. Вѣтеръ выхлестываетъ спѣлую рожь, и заботливый хозяинъ съ грустью смотритъ на свою трудовую ниву, но взять серпъ въ руки не смѣетъ: за нимъ зорко слѣдятъ десятки глазъ и только ждутъ, чтобы содрать четверть водки за нарушеніе мірского приговора. Вотъ другое дѣло «помочь»—тамъ за вино работать можно. Кулакъ, разумѣется, и пользуется этимъ; весело потираетъ руки и другъ его, кабатчикъ...»

Итакъ, вотъ каковъ этотъ народъ, который, въ случаѣ нужды, прославляютъ, какъ носителя русскаго смысла и исконныхъ русскихъ началъ, и который, по минованіи надобности, топчутъ въ грязь! Съ одной стороны—единственное убѣжище, оплотъ, купель силоамская, съ другой—

обезумѣвшая отъ водки толпа, сборище воровъ, поджигателей, отравителей, не могущихъ управлять своими дѣйствіями, не имѣющихъ ни малѣйшаго понятія о правдѣ, не понимающихъ даже той простой истины, что безъ пищи нельзя существовать. И все это рядомъ, черезъ нѣсколько столбцовъ, въ одной и той же охранительной газетѣ. Правда, въ послѣднемъ случаѣ народъ не называется народомъ, а говорится о какой-то вольницѣ: но вѣдь это только шутливая кличка, которая позволяетъ подойти къ предмету вольнымъ аллюромъ. Въ сущности эта вольница и есть именно «народъ»; это та самая масса, которая знаетъ, что «нонѣ вся сила въ насъ», за которою ухаживаютъ, съ которою заигрываютъ...

Кто ухаживаетъ? кто заигрываетъ?—положительно не кто иной, какъ тѣ самые, которые и вкривь, и вкось именуютъ себя охранителями. Ибо невозможно себѣ представить, чтобы, надѣляя народъ «здравымъ смысломъ», они разумѣли только «степенныхъ» да «путныхъ». Во-первыхъ, потому, что если даже прибавить къ этимъ «путнымъ» кулаковъ и кабатчиковъ, то и тогда ихъ будетъ черезчуръ мало, чтобы фигурировать въ качествѣ народа; а во-вторыхъ, и потому, что эти «степенные», по наивному сознанію самихъ охранителей, хлопочутъ только о томъ, чтобъ ихъ оставили въ покоѣ. Какая же корысть обращаться къ здравому смыслу такихъ людей? Вѣдь онъ давно уже превратился у нихъ въ трусливое вожделѣніе покоя, которое, впрочемъ, нимало не препятствуетъ имъ разыгрывать въ своемъ мѣстѣ роль благомысленныхъ сельчанъ.

Нѣтъ, какъ хотите, а все это именно бредъ, ничего кромѣ бреда. И здравый смыслъ, и анти-здравый смыслъ, и «народъ», и вольница—все это сказалось внезапно, невзначай, въ угоду темпераменту, безъ разумѣнія. Богъ справедливъ: онъ поражаетъ наглыхъ людей глухотою, слѣпотою, безуміемъ. Если-бъ не это, они несомнѣнно не только ближнихъ своихъ, но и самого Господа Бога давно бы слопали.

Повторяю и повторяю: хотя противорѣчія, въ которыхъ путается блудливая мысль псевдо-охранительной прессы, въ высшей степени постыдны, но въ данномъ случаѣ они весьма знаменательны, ибо поселяютъ увѣренность, что существуютъ извѣстные предѣлы, за которыми и бойкія слова оказываются просто-на-просто глупостью.

Въ послѣднее время особеннымъ вниманіемъ охранительно-публицистическаго лагеря пользовался вопросъ о расхищеніи власти. До свѣдѣнія публики доводилось, что рядомъ съ законнымъ самодержавіемъ возникло нѣсколько самочинныхъ самодержавій, которыя открыто отрицаютъ авторитетъ власти, нахально провозглашаютъ себя независимыми отъ нея и противодѣйствіе ея распоряженіямъ вмѣняютъ себѣ въ обязанность и въ заслугу. Стоитъ заправскому властителю думъ засадить Ивана Непомнящаго въ кутузку, какъ самочинный властитель думъ въ ту же минуту вырастаетъ изъ-подъ земли и освобождаетъ Ивана изъ кутузки; и наоборотъ—не успѣетъ заправскій властелинъ поощрить Ивана Благонамѣреннаго, какъ самозванецъ уже тащитъ его на скамью подсудимыхъ. И все—нарочно.

Что всякій, кто хоть сколько-нибудь знакомъ съ обычнымъ церемоніаломъ русской жизни (въ особенности провинціальной), имѣетъ вполнѣ достаточныя свѣдѣнія о явленіи, именуемомъ расхищеніемъ власти,—это не подлежитъ никакому сомнѣнію. Лѣтописи наши изобилуютъ и прензобилуютъ подобными фактами. Кто не помнитъ цѣлой организованной шайки, благодаря которой произошло уфимско-оренбургское земельное расхищеніе? Кому не извѣстны лукавые рабы, которые, подъ прикрытіемъ обаянія власти, обдѣлываютъ свои личныя дѣлишки? Кто наконецъ еще въ дѣтствѣ не слыхалъ о цѣлой массѣ мелкихъ самоуправцевъ, по милости которыхъ существованіе въ провинціи становится годъ отъ году болѣе и болѣе загадочнымъ? Всѣ эти люди, безъ всякаго сомнѣнія, имѣютъ полное право на кличку расхитителей власти. Они посѣваютъ вокругъ себя скудость матеріальную, умственную и нравственную; они вносятъ озлобленіе и смуту въ умы; они умерщвляютъ народную силу въ самомъ источникѣ и, совершая все это, въ качествѣ органовъ власти и ея именемъ, неизбѣжно подрываютъ довѣріе къ ней. Они хуже чѣмъ расхищаютъ власть—они безчестятъ ее. Указывать на подобныя расхищенія власти, предлагать способы къ ихъ устраненію—вотъ задача публицистики, сознающей себя дѣйствительно охранительною. Вотъ въ сторону какихъ расхитителей должны быть направлены ея самыя бойкія фразы, если ужъ безъ бойкости нельзя обойтись.

На дѣлѣ однако же видится совершенно противное. О подлинныхъ расхитителяхъ охранительная публицистика въ

большинствѣ случаевъ проходитъ молчаніемъ, а нѣкоторыхъ изъ нихъ—напримѣръ, самоуправцевъ—даже похваляетъ. Названіе же расхитителей власти присвоивается ею тѣмъ учрежденіямъ и лицамъ, которыя, по самому свойству своихъ обязанностей, не могутъ имѣть никакой прикосновенности ни къ расхищеніямъ при помощи воровства, ни къ расхищеніямъ при помощи самоуправства...

Въ особенности часто прилагается нынѣ это клеймо къ новымъ судебнымъ учрежденіямъ. И слѣпая ярость, и клевета, и раскатистый хохотъ—все по ихъ поводу считается пригоднымъ, дозволительнымъ и умѣстнымъ. Не странно ли видѣть, что въ сферѣ охранительной можетъ существовать пресса, которая слово: «легальность» произноситъ не иначе, какъ съ прибавленіемъ паскуднаго «risum teneatis, amici»? А между тѣмъ это не фантазія, а дѣйствительность. Надрываютъ охранители животы со смѣху да и полно. Судей такъ-таки прямо въ лицо и называютъ «несмѣняемыми» и «независимыми», а для присяжныхъ засѣдателей даже сугубо-уморительную кличку придумали: «непогрѣшимые»! И все вѣдь въ насмѣшку...

Я не къ тому заговорилъ о судахъ, чтобы произносить въ ихъ пользу защитительную рѣчь. Прежде всего я не сознаю себя достаточно компетентнымъ въ этомъ дѣлѣ, а затѣмъ лично нахожу, что какъ бы ни были хороши суды, все-таки лучше совсѣмъ не имѣть въ нихъ хожденія, нежели состоять съ ними въ непрестанномъ общеніи. Такъ что ежели бы ко мнѣ явился адвокатъ Балалайкинъ и сталъ убѣждать, что я безъ всякихъ правъ могу навѣрняка оттягать у сосѣда каменный домъ (какой-нибудь охранительный Іудушка навѣрняка сказалъ бы по этому случаю: Богъ послалъ!), то я и тогда навѣрное отказался бы отъ предъявленія иска. Ибо и за всѣмъ тѣмъ, наравнѣ со всѣми неодержимыми «колеромъ» членами русской семьи, я убѣжденъ: во-первыхъ, что судебная реформа исходитъ отъ той самой власти, на защиту которой выходятъ самозванные охранители; во-вторыхъ, что «легальность» не только не подрываетъ власти, но, напротивъ, укрѣпляетъ ее, и что, слѣдовательно, если оба эти выраженія употребляются рядомъ, то смѣшного въ этомъ ничего нѣтъ; и въ-третьихъ, что въ практикѣ новыхъ судебныхъ учрежденій, со времени ихъ преобразованія, рѣшительно ничего такого не произошло, что̀ угрожало бы опасностью государству или вызывало бы хохотъ. Такъ что даже кличка «непогрѣшимости»,

присвоенная суду присяжныхъ, есть, въ сущности, только паясничество, ибо нигдѣ и никогда судъ присяжныхъ не признавался символомъ непогрѣшимости, а считался только выразителемъ извѣстнаго уровня общественнаго и народнаго самосознанія.

Вотъ если-бъ охранительная публицистика хлопотала о поднятіи этого уровня—это было бы съ ея стороны заслугой. Но въ томъ-то и дѣло, что интересы ея заключаются совсѣмъ не въ этомъ (пожалуй, чѣмъ ниже уровень, тѣмъ даже лучше, покойнѣе, благочиннѣе), а въ томъ, чтобы учинить подтасовку, которая помогла бы подлинныхъ расхитителей власти подмѣнить расхитителями мнимыми.

Подтасовка эта совершенно въ правахъ нашей охранительной публицистики и могла бы представлять серьезную опасность, если-бъ послѣдняя не умѣрялась значительною примѣсью недомыслія и безтолковости. Благодаря этому обстоятельству, читатель наиболѣе наивный и терпѣливый начинаетъ уже видѣть въ подтасовкахъ только дурную привычку и больше ничего.

Въ сущности, по поводу вопроса о расхищеніи власти происходитъ такое же столпотвореніе, какъ и по поводу обращенія къ исконнымъ русскимъ началамъ. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ извергаются только бойкія слова, нимало не вяжущіяся съ предметомъ, о которомъ заведена рѣчь. О выводахъ или о пожеланіяхъ нѣтъ и въ поминѣ. Людямъ болѣе или менѣе подозрительнымъ можетъ показаться, что вотъ-вотъ сорвется съ языка что-нибудь рѣшительное, въ родѣ «закрѣпощенія» или возстановленія старой судебной волокиты—отнюдь не бывало! Даже этихъ немудрыхъ словъ нѣтъ. Вообще никакихъ словъ, кромѣ бойкихъ, да и бойкія-то слова вырываются какъ-то внезапно, исключительно подъ вліяніемъ всполошившагося темперамента. И въ результатѣ—ни шествія впередъ, ни возврата назадъ, ничего, кромѣ безсодержательной пропаганды паники.

Если-бъ охранительная публицистика была способна формулировать свои вожделѣнія, если-бъ она ясно и отчетливо произнесла тѣ слова, вокругъ которыхъ она нынѣ только безсмысленно мечется,—она навѣрное выполнила бы свое назначеніе съ успѣхомъ. У нея нашлись бы адепты—не особенно много, но кучка порядочная (вѣдь и до сихъ поръ встрѣчаются старички, которые облизываются при воспоминаніи о старыхъ порядкахъ),—съ помощью которыхъ она,

чего добраго, провела бы въ жизнь и закрѣпощеніе, и судебную волокиту. Словомъ сказать, она могла бы принести вредъ дѣйствительный, грандіозный, могла бы уязвить не того или другого изъ своихъ противниковъ, а всѣхъ, всѣхъ вообще... Всѣхъ, кто носитъ человѣческій образъ, или, по крайней мѣрѣ, мыслитъ и чувствуетъ, какъ человѣку мыслить и чувствовать надлежитъ.

Къ счастію, этого нѣтъ. Какъ ни безпредѣльно злопыхательство охранительной прессы, но безсиліе ея мысли таково, что послѣднее непремѣнно положитъ конецъ и бойкимъ словамъ, и распространенному ими ошеломленію. Не передъ разумомъ сложитъ оружіе злопыхательство, а передъ собственною безсмыслицей. Это настолько вѣрно, что тѣ изъ адептовъ, которые лучше другихъ понимаютъ, чье мясо кошка съѣла, начинаютъ уже недоумѣвать и сердиться.

— Топчется на одномъ мѣстѣ златоустъ-то нашъ—ни взадъ, ни впередъ!—жаловался мнѣ на-дняхъ одинъ старичокъ, который съ 1862 года все ждетъ, что Богъ его проститъ:—мы было-надѣялись, что онъ «возвѣститъ», а онъ только знай захлебывается.

Кстати о публицистикѣ. Въ одной изъ газетъ я вычиталъ, что въ одномъ изъ «Пошехонскихъ разсказовъ» изображена «довольно темная аллегорія, въ которой, между прочимъ, дѣйствуетъ «газетчикъ», отыскивающій революціонеровъ для представленія по начальству».

Это положительно невѣрно. Аллегорія разсказа, о которомъ идетъ рѣчь (если тутъ есть аллегорія), заключается въ томъ, что пошехонцы, застигнутые затрудненіями, не находятъ другого выхода, кромѣ личныхъ репрессалій, распри и взаимныхъ пререканій заднимъ числомъ. Вѣроятно, они предполагаютъ, что если достаточно другъ друга перекалѣчатъ, то у нихъ, по щучьему велѣнью, явится и panis, и circenses. Однако же ничего, кромѣ исконныхъ пустыхъ щей (panis) и синяковъ на тѣлѣ (circenses), не получаютъ, и не получаютъ по той простой причинѣ, что ни изъ разгромленія, ни изъ опустошенія, ни изъ калѣченія (сихъ излюбленныхъ пошехонскихъ панацей) никакого приварка не извлечешь, а извлечешь только безлюдье и всеобщую одичалость.

Эта особенность пошехонскихъ оздоровительныхъ пріемовъ и пошехонскаго міросозерцанія извѣстна не со вчерашняго дня: всѣ лѣтописные разсказы наполнены примѣ-

рами усобицъ и пререканій. Искони пошехонцы любили заниматься разслѣдованіемъ корней и нитей, то-есть переборкой отдѣльныхъ персонъ, и искони же уклонялись отъ выясненія самимъ себѣ дѣйствительныхъ, а не персональныхъ причинъ постигшаго затрудненія. И потому-то, быть-можетъ, какъ они ни надсаживаются, подспѣшивая другъ друга, а пустыя щи и до сегодня не сходятъ у нихъ со стола.

Безспорно, что отыскать для жизни новыя, болѣе плодотворныя основанія гораздо трудпѣе, нежели дать ближнему оплеуху; но вѣдь, съ другой стороны, оплеуха, съ какой стороны на нее ни взгляни, все-таки не больше, какъ оплеуха. А дальше что?

Говорятъ, будто пошехонцы недостаточно подготовлены для того, чтобы думать о новыхъ основаніяхъ для жизни, такъ надо же, дескать, въ ожиданіи лучшаго, хоть что-нибудь предпринимать... Помилуйте! да вѣдь есть же наконецъ честность, есть здравый смыслъ! Допустимъ, что безъ серьезной подготовки на прочное строительство надѣяться нельзя, но, право, и одной честности достаточно, чтобы произвести что-нибудь болѣе прочное, нежели этотъ паскудный обмѣнъ оплеухъ, который и заушающихъ, и заушаемыхъ одинаково доводитъ до полнаго нравственнаго растлѣнія.

Вотъ мысль, которая положена въ основаніе разсказа о фантастическомъ пошехонскомъ отрезвленіи. Ежели это аллегорія, то необходимо допустить, что и вся вообще пошехонская жизнь есть не что иное, какъ аллегорія.

Что же касается до «газетчика», то онъ привлеченъ къ разсказу вовсе не въ качествѣ «отыскивателя революціонеровъ для представленія по начальству», а въ качествѣ подстрекателя въ томъ безплодно-самоѣдскомъ направленіи, благодаря которому пошехонцы мечутся, изнуряются и все-таки живутъ впроголодь. Хотя типъ такого газетчика и не встрѣчается въ пошехонскихъ лѣтописяхъ, однако-жъ и онъ не представляетъ животрепещущей новости. Развелось этихъ газетчиковъ очень достаточно и муть отъ нихъ большая идетъ.

Право, небезполезно напоминать литературѣ (особливо въ виду неравномѣрной растяжимости правила: «audiatur et altera pars»), что сдержанность для нея обязательна, что существуютъ задачи болѣе ей приличествующія, нежели злая и притомъ явно-безплодная травля однихъ посред-

ствомъ другихъ. Кругомъ то и дѣло раздаются вопли: «довольно фразъ! за дѣло пора, за дѣло!»—а вслушайтесь-ка попристальнѣе въ смыслъ этихъ воплей, и вы убѣдитесь, что, въ сущности, кромѣ травли, никакого дѣла и не предвидится. Стало-быть, что-нибудь одно предстоитъ: или дознаться, въ чемъ же именно состоитъ это пресловутое, безпрерывно возвѣщаемое «дѣло», или же положить предѣлъ лицемѣрному галдѣнью.

Я знаю, впрочемъ, что ни «разсказами», ни вообще литературнымъ воздѣйствіемъ ни того, ни другого добиться нельзя. Газетчики того типа, о которомъ идетъ рѣчь, никогда ничего не скажутъ о сущности «дѣла», потому что они сами этой сущности не знаютъ, и никогда не перестанутъ галдѣть, потому что галдѣніе составляетъ ихъ ремесло. Но вѣдь рѣчь писателя имѣетъ значеніе скорѣе воспитательное, нежели непосредственно-практическое. Онъ обращается къ обществу не за тѣмъ, чтобы пристегнуть такое-то лицо или такое-то дѣйствіе, а съ цѣлью воздѣйствовать на общественную совѣсть, на общественное самосознаніе.

Чтеніе газетъ наводитъ иногда на мысли совершенно неожиданныя, но въ то же время и не безполезныя. Въ жизни встрѣчается великое множество явленій, которыя пропускаются безъ вниманія единственно потому, что ужъ очень всѣмъ примелькались. И вдругъ о чемъ-нибудь въ этомъ родѣ начинаетъ разговаривать газета. Разговариваетъ строго, съ пафосомъ, съ примѣсью такъ-называемой аттической соли (нынѣ, благодаря безакцизности, она дешева) и даже какъ бы съ затаеннымъ опасеніемъ. Съ перваго взгляда никакъ не поймешь, что именно случилось, и, только пристально вдумавшись, догадаешься: ба! да вѣдь это оно самое и есть!

Возьмемъ для примѣра хоть такой фактъ: какимъ образомъ зачинались наши Пошехонья? какъ и по какой причинѣ возникли въ нихъ каланчи? Много ли найдется любознательныхъ людей, которыхъ интересовали бы подобные вопросы? Я по крайней мѣрѣ никогда, до послѣдняго времени, не думалъ о нихъ. Проѣзжая мимо того или другого Пошехонья, я освѣдомлялся у ямщика, какъ оно называется, и, получивъ удовлетворительный отвѣтъ, мѣнялъ на станціи лошадей и слѣдовалъ дальше, по направленію къ слѣдующему Пошехонью. Проѣзжая мимо каланчи, я

машинально восклицалъ: вотъ она, калачи-матушка!— и не давалъ этому восклицанію ни особливаго значенія, ни дальнѣйшаго развитія. И такимъ образомъ, чего мудренаго, я и въ могилу сошелъ бы, не давши себѣ отчета въ собственныхъ впечатлѣніяхъ и восклицаніяхъ...

Но необъяснимой случайности, вопросъ о происхожденіи русскихъ пошехоній и о постройкѣ въ нихъ калачей съ особенною настоятельностью представалъ передо мной послѣ прочтенія газетныхъ статей о дѣлѣ волчанскаго исправника Зографа. Читалъ-читалъ—и вдругъ мысль: да кто же кому предшествовалъ, Зографъ ли Волчанску, или Волчанскъ Зографу? Вопросъ былъ поставленъ мною неправильно и даже неподлежательно (слѣдовало бы спросить такъ: Волчанскъ ли для Зографа существуетъ, или Зографъ для Волчанска?—тогда навѣрное было бы ясно: конечно, съ одной стороны, Волчанскъ... но, съ другой стороны, несомнѣнно, что и Зографъ...), и потому весьма естественно, что въ бодрственномъ состояніи я отвѣта на него дать не могъ. Тогда, поневолѣ, пришлось прибѣгнуть къ сновидѣнію, и вдобавокъ аллегорическому.

Прилегъ, и такъ какъ дѣло было къ спѣху, то сейчасъ же увидѣлъ сонъ. И вотъ какую аллегорію развернуло предо мной сновидѣніе.

Вначалѣ, будто бы, появился исправникъ (точнѣе было бы, по-старинному, сказать: городничій, но во снѣ за исторической точностью не угоняешься) и, памятуя, что ему предстоитъ, съ одной стороны, пожары тушить, а съ другой — бунты, съ помощью пожарной трубы, усмирять, выбралъ мѣстечко на берегу рѣки. Который исправникъ въ рубашкѣ родился — выбралъ рѣку многоводную, съ стерляжьей ухой, съ нагруженными хлѣбомъ расшивами, съ раскольниками: который безъ рубашки, въ одномъ вицмундирѣ родился—удовольствовался рѣчкой Гнилушкой, въ надеждѣ, что малая рѣка, при усердіи, большой процентъ дастъ. Не успѣлъ онъ умомъ-разумомъ раскинуть — смотритъ, анъ у него ужъ, по щучьему велѣнью, помощникъ родился. А немного погодя—частный приставъ, а еще немного спустя—пара квартальныхъ. Сотворили совѣтъ и на вопросъ: какъ въ семъ случаѣ поступить? — въ одинъ голосъ отвѣтили: выстроить калачу! И только-что они это слово вымолвили—глядь, анъ калачи ужъ готова! Стоитъ, сердечная, и сама собой пожарные сигналы выкидываетъ.

Обрадовался исправникъ, взбѣжалъ на вышку и, вспомнивъ Пушкина, произнесъ:

Отсель грозить мы будемъ Шведу...

И погрозилъ...

И что-жъ, какъ только онъ погрозилъ, такъ со всѣхъ сторонъ налетѣли полицейскіе и пожарные нижніе чины и зачали кругомъ каланчи городъ завивать. А исправникъ засѣлъ въ каланчѣ, сидитъ да, подобно древнему Девкаліону, изъ окошка камешками попвыриваетъ. Побольше камень броситъ — вскочитъ купчина и начнетъ торговать; поменьше—вскочитъ мѣщанинъ и начнетъ воровать. Наконецъ цѣлую глыбу выкатилъ—народился «вѣнецъ созданій Божіихъ», откупщикъ. И тутъ же поздравилъ исправника съ окладомъ: тысяча рублей въ годъ—само собой, а четыре ведра водки въ мѣсяцъ—само собой.

Словомъ сказать, не прошло безъ году недѣли, а городъ ужъ во всѣхъ статьяхъ такъ и играетъ на солнышкѣ. И казначейство, и суды, и всякія управленія, и кабаки, и гостиный дворъ, и кутузка—чего хочешь, того проснись. И вдругъ исправникъ спохватился.

— А у кого же мы по праздникамъ пироги будемъ ѣсть?—обратился онъ къ сослуживцамъ.

— То-то что градского голову приходится сдѣлать...

Сказано — сдѣлано. Взялъ исправникъ глины комъ, замѣсилъ съ соломенной рѣзкой, дунулъ, плюнулъ—вышелъ голова! «Что, братъ, не чаялъ?—ласково молвилъ ему исправникъ:—то-то! смотри у меня! Я тебя изъ праха воззвалъ, я же тебя и обратно въ оный погружу!»

Сдѣлавши все какъ слѣдуетъ, пошелъ исправникъ съ помощникомъ своимъ по городу гулять. Гуляетъ и не нарадуется. Взойдетъ въ бакалейную лавку, зачерпнетъ въ пригоршню изюму и ѣстъ; взойдетъ въ суконную лавку—себѣ на мундиръ сукна отрѣжетъ, а женѣ на пальто драпу; зайдетъ къ откупщику — спроситъ: «скоро ли же на балъ звать будете? Надо, сударь, общество веселить!»

Долго ли, коротко ли такъ дѣло шло, только началъ исправникъ мечтать.

— А знаете ли, Иванъ Иванычъ,—сказалъ онъ однажды помощнику:—какую я штуку придумалъ?

— Не могу знать, вашескородіе!

— Угадайте!

— И угадать не могу, вашескородіе!

— И не угадаете. А я между тѣмъ самую простую

штуку придумалъ. Доселѣ я *ихъ* — создавалъ, а отнынѣ начну *ихъ*... уничтожать!

Помощникъ весь превратился въ слухъ. Стоитъ и не шелохнется. Зналъ онъ, что у исправника ума палата, но такой премудрости, признаться сказать, даже отъ него не чаялъ.

— На какой же собственно... предметъ? — очнулся онъ наконецъ.

— Какъ на какой предметъ!—разсердился исправникъ:— на службѣ вы, милостивый государь, состоите, а самыхъ элементарныхъ вещей не понимаете; sic volo, sic jubeo— вотъ на какой предметъ! Исправникъ я или нѣтъ?

И затѣмъ, призвавъ градского голову, сказалъ ему такія слова:

— Я сей градъ, ради нѣкакой надобности, воздвигнулъ; я же его, ради той же надобности, и разрушить хочу.

Но голова хотя и одолженъ былъ исправнику жизнью, однако-жъ на сей разъ не понялъ.

— На какой же собственно... предметъ?—осмѣлился онъ заикнуться.

— Не для того я тебя призвалъ, чтобы твои смѣха достойныя слова слушать! — разсердился на него исправникъ:—ступай и выполни! Съ завтрашняго же дня обязываются обыватели сами себя постепенно расточать, и когда всѣхъ расточатъ до единаго, тогда я и о тебѣ промыслю.

Дѣйствительно, на другой же день городъ оживился, точно во время дворянскихъ выборовъ. Насилу успѣвалъ секретарь думскій приговоры о расточеніи сочинять, насилу успѣвали полицейскіе тѣ приговоры по домамъ да по кабакамъ, для подписи, разносить! Обыватели подписывали ходко, не отнѣкивались.

— Мы люди привышные,—говорили они:—насъ хоть со щами хлѣбай, хоть съ кашей ѣшь!

Даже откупщикъ на первыхъ порахъ обрадовался, потому что расточаемыхъ провожали родные, и каждые проводы сопровождались немалою выпивкой. «Пущай расточаютъ другъ дружку,—говорилъ себѣ откупщикъ:—исправникъ изъ щебёнки опять мнѣ цѣлую уйму пьяницъ надѣлаетъ!» Но когда городъ замѣтно опустѣлъ, и когда притомъ оказалось, что Двекаліоновъ секретъ исправникомъ былъ уже при закладкѣ города безъ остатка истраченъ, тогда и откупщикъ встрепенулся: ежели всѣхъ пьяницъ расточить — кто же въ кабакахъ водку пить будетъ? И шепнулъ онъ

стрянчему: caveant consules! какъ бы-де для казны ущербу отъ исправницкой затѣи не произошло? А у стрянчаго два ока были, изъ коихъ одно—недреманное. До сихъ поръ онъ въ недреманномъ окѣ надобности не видѣлъ, а теперь вдругъ вздумалъ: дай-ка, посмотрю! И посмотрѣлъ.

И вотъ, когда ужъ обывателей осталась самая малая горсточка, и городской голова съ грустью подумывалъ о томъ, что въ недолгомъ времени ему придется расточить самого себя, вдругъ, по доносу стрянчаго, раздался трубный звукъ:

— Подъ судъ исправника!

И прослѣдовалъ исправникъ изъ города имъ созданнаго и имъ же расточеннаго прямо подъ судъ; прослѣдовалъ тихо, смирно, благородно. И кто ни встрѣчалъ его на пути къ суду—всякій говорилъ:

— Неужто сей человѣкъ прегрѣшилъ?

И начали его судить...

. . . . . .

Но тутъ я, конечно, проснулся и дальнѣйшаго развитія этой исторіи не знаю. Равнымъ образомъ не знаю и того, что̀ сталось съ расточеннымъ городомъ. Явился ли туда новый Девкаліонъ и населилъ его новыми пьяницами, или такъ до-днесь и остается онъ въ родѣ древней Ниневіи. Тамъ и сямъ встрѣчаются изящные портики, великолѣпныя колоннады, памятники и проч., а между тѣмъ базарная площадь, какъ была въ послѣдній базарный день, такъ и посейчасъ невыметенная стоитъ.

Мартъ мѣсяцъ ознаменовался тѣмъ, что адвокатское сословіе получило неожиданный репримандъ. Печальную эту обязанность принялъ на себя извѣстный юристъ и въ то же время членъ прокурорской семьи, Н. А. Неклюдовъ. Частые оправдательные вердикты, благодаря которымъ преступленія, несомнѣнно содѣянныя, остаются ненаказанными, обратили на себя его просвѣщенное вниманіе. Но въ особенности, повидимому, повліяли на его рѣшимость вопли охранительной печати, направленные противъ судебной реформы. По разсмотрѣніи оказалось, что во всемъ виноваты адвокаты. Они вводятъ въ заблужденіе присяжныхъ засѣдателей; они сознательно извращаютъ факты; они—*распинаютъ* законъ...

Г. прокуроръ говорилъ горячо и убѣжденно, и притомъ при открытыхъ дверяхъ, въ присутствіи уголовнаго касса-

ство это столь прекрасно, что можетъ сравниться только съ тѣмъ, которое испытываетъ человѣкъ, сознающій себя свободнымъ, кромѣ Свѣтлаго Христова Воскресенія, и въ прочіе дни. И замѣтьте, что я ощущалъ это сладкое чувство, имѣя на плечахъ мундиръ, сбоку—шпагу и подъ мышкой—трехуголку.

Лучшую пору моей жизни я размыкалъ по губернскимъ городамъ и съ особенною живостью припоминаю пасхальный церемоніалъ. Нигдѣ такъ весело и такъ торжественно не служится великая утреня; нигдѣ такъ охотно не христосуются, такъ безкорыстно не радуются празднику. Правящіе классы радуются предстоящему недѣльному отдыху; управляемые — тому, что въ теченіе восьми дней о нихъ не будутъ имѣть сужденія. Въ церкви читается слово Златоуста, *всѣхъ* призывающее къ жизни, *всѣмъ* предлагающее вкусить «тельца упитанна». Въ позднѣйшее время власти стали какъ будто побаиваться этихъ призывовъ — какъ бы, дескать, не вышло превратныхъ толкованій; но до-реформенныя власти не ощущали еще двоегласія въ своемъ міросозерцаніи и потому относились къ церковнымъ поученіямъ гораздо проще. Я помню, какъ при упоминаніи о «тельцѣ упитанномъ» у губернатора Набрюшникова ротъ самъ собой раскрывался до ушей, и онъ торжествующе озирался, въ увѣренности, что рѣчь идетъ именно о той телятинѣ, которую весь офиціальный губернскій міръ будетъ ѣсть у него послѣ ранней обѣдни. И не видѣлъ онъ ничего зазорнаго въ томъ, что въ такой великій день *всѣ* преисполняются ликованіемъ; *всѣ* будутъ вкушать (разумѣется, ежели предшествующій годъ былъ урожайный). Напротивъ, онъ и городничимъ, и исправникамъ внушалъ: «не препятствуйте! показывайте примѣръ!» И всѣ начальники отдѣльныхъ частей оказывали ему содѣйствіе, почтительно соревнуя и даже соперничая. Ежели у губернатора ѣли изумительную телятину, то у управляющаго палатою государственныхъ имуществъ подавали двѣнадцать сортовъ сосисокъ и диковинное малороссійское сало, у предсѣдателя казенной палаты—фаршированныхъ каплуновъ, а начальникъ внутренней стражи откармливалъ къ празднику на батальонномъ дворѣ цѣлое стадо свиней. Однимъ словомъ, всѣ чины дѣйствовали въ предѣлахъ предоставленной имъ власти, и сами ѣли достаточно, и другихъ потчивали, не предвидя никакихъ превратныхъ толкованій.

Къ счастію, нынче начинается вновь поворотъ въ этомъ

смыслѣ. Продолжительное ожиданіе превратныхъ толкованій оказалось настолько безплоднымъ и до того всѣмъ опостылѣло, что даже безшабашные совѣтники начинаютъ понимать, что сытость не только въ праздники, но и въ будни ничего угрожающаго не представляетъ. «Только тѣ народы счастливыми почитаться могутъ, кои тучны», сказалъ, не помню, какой-то законодатель, — Соломонъ или Драконъ,— и сказалъ такую истину, которая у всѣхъ на глазахъ входитъ въ міровой административный обиходъ. А ежели прибавить къ этому изреченію, что всякій съѣденный окорокъ ветчины есть косвенная милостыня, подаваемая богатымъ бѣдному, то вотъ вамъ и цѣлая административная система готова. Хоть какому угодно директору департамента не стыдно.

. . . . . .

УБѢЖИЩЕ МОНРЕПО.

(1878—1879 гг.).

I.—Общій обзоръ.

— Вы, конечно, на лѣто уединитесь въ свое Монрепо?

— Разумѣется! надо же отдохнуть!

Свѣтскіе діалоги.

Отъ чего отдохнуть, это—вопросъ особый; но уѣхать на лѣто во всякомъ случаѣ надо. Лѣтомъ города населяются дулебами, радимичами, вятичами и проч., въ образѣ каменщиковъ, штукатуровъ, мостовщиковъ, совмѣстное жительство съ которыми для культурнаго человѣка по многимъ причинамъ неудобно.

Удовлетворяя этой потребности, я довольно долгое время ѣздилъ по лѣтамъ въ подмосковную. Имѣніе это я пріобрѣлъ тотчасъ вслѣдъ за уничтоженіемъ крѣпостного права и купилъ, надо сказать правду, довольно безобразно. Во-первыхъ, осматривалъ имѣніе зимой, чего никто въ мірѣ никогда не дѣлаетъ; во-вторыхъ, напалъ на продавца-старичка, который въ церкви, во время литургіи вѣрныхъ, приходилъ въ восторженное состояніе, и я повѣрилъ этой восторженности. Старичокъ служилъ когда-то по провіантскому вѣдомству и потому былъ благодушенъ и гостепріименъ. Зазвалъ меня обѣдать, накормилъ настоящимъ малороссійскимъ борщомъ и угостилъ кіевской наливкой. Потомъ самъ поѣхалъ со мной осматривать усадьбу, гдѣ велѣлъ сварить супъ изъ курицы и зажарить карасей въ сметанѣ, при чемъ говорилъ: «курица эта здѣшняя, караси тоже изъ здѣшняго пруда, а въ рѣкѣ, кромѣ того, водятся язи, окуни и вотъ этакіе лини!» Затѣмъ начался осмотръ. Выйдя на крыльцо господскаго дома, онъ показалъ пальцемъ на синѣющій вдали лѣсъ и сказалъ: «вотъ какой лѣсъ продаю! сколько тутъ дровъ однихъ... а?» Повелъ меня въ сѣнной сарай, дергалъ и мялъ въ рукахъ сѣно,

словно желая убѣдить меня въ его добротѣ, и говорилъ при этомъ: «этого сѣна хватитъ до новаго, съ излишкомъ, а сѣно-то какое—овса не нужно!» Повелъ на мельницу, которая, словно нарочно, была на этотъ разъ въ полномъ ходу, дѣйствуя всѣми тремя поставами, и говорилъ: «здѣсь сторона хлѣбная—никогда мельница не стоитъ, а ежели еще маслобойку да крупорушку устроите, такъ у васъ такая толпа завсегда будетъ, что и не продерешься!» Сдѣлалъ, вмѣстѣ со мной, по сугробамъ, небольшое путешествіе вдоль по рѣкѣ и говорилъ: «а рѣка здѣсь какая—ве-се-ла-я!» И все съ молитвой. Скажетъ и перекрестится, и зрачками вверхъ поведетъ, и губами пошевелитъ, словно на вся и на всѣхъ призываетъ благословеніе Божіе. Только въ заключеніе разсердился. Погрозился кулакомъ на крестьянскій поселокъ, населенный новоиспеченными временно-обязанными, и присовокупилъ: «Все изъ-за нихъ, канальевъ! Кабы не они, подлецы, кажется, ни въ жизнь бы изъ этого рая не выѣхалъ!»

Словомъ сказать, очаровалъ меня искренностью и—что̀ еще больше мнѣ понравилось—слабыхъ сторонъ имѣнія не скрылъ. «Вотъ службы—лёгонькія! это—такъ! и озимое, по милости подлецовъ, незасѣянное осталось, это—тоже скрыть не могу!» Но при воспоминаніи о «подлецахъ»—опять разсердился и присовокупилъ: «Впрочемъ, дѣло о нихъ уже въ уголовной палатѣ рѣшено; вотъ какъ шестьдесятъ человѣкъ березовой кашей вспрыснутъ, такъ до новыхъ вѣниковъ не забудутъ!» *).

При каковомъ осмотрѣ присутствовалъ и мѣстный сельскій батюшка, который скромно пощипывалъ бородку, не подтверждая, но и не отрицая.

Я былъ тогда помоложе и ни къ какимъ хозяйственнымъ дѣламъ прикосновеннымъ не состоялъ. Случились въ карманѣ довольно большія деньги (впрочемъ, данныя взаймы), но я какъ-то и денегъ не понималъ: все думалъ, что конца имъ не будетъ. Словомъ сказать, произошло нѣчто въ родѣ сновидѣнія. Только одно, повидимому, я зналъ твердо: что положено начало свободному труду, и земля, слѣдовательно, должна будетъ давать вдесятеро. Потому что въ то время даже печатно въ этомъ родѣ разсчеты дѣлались.

*) Всего въ имѣніи числилось 160 ревизскихъ душъ (ревизія была въ 1859 году), въ томъ числѣ, разумѣется, наполовину подростковъ и малолѣтнихъ. Рѣшеніе московской уголовной палаты, дѣйствительно, состоялось въ этомъ родѣ, но сенатъ его отмѣнилъ, и дѣло, кажется, кончилось ничѣмъ.

Замѣчательно, что я родился и выросъ въ деревнѣ. До десяти лѣтъ я жилъ въ деревнѣ безвыѣздно; потомъ, когда начались странствованія по казеннымъ заведеніямъ, ежегодно на лѣтнія вакаціи пріѣзжалъ въ побывку домой. Я зналъ, что̀ такое лѣсъ, и множество разъ даже хаживалъ туда за грибами и ягодами; я умѣлъ отличить ячмень отъ ржи, рожь отъ овса; я видѣлъ, ка̀къ возятъ навозъ на поля, ка̀къ пашутъ, боронятъ, сѣютъ, жнутъ, молотятъ, косятъ. И за всѣмъ тѣмъ—рѣшительно ничего не понималъ. Воистину это была не дѣйствительность, а сновидѣніе, отъ котораго задержались въ сознаніи только лишенные всякой связи обрывки...

Родители мои слыли въ своей сторонѣ за очень опытныхъ и рачительныхъ хозяевъ. Они «сами во все входили», чего въ то время было совершенно достаточно, чтобъ заслужить репутацію «хозяина». Каждый вечеръ староста приходилъ въ барскій домъ съ отчетомъ объ успѣхѣ произведенныхъ въ теченіе дня работъ; каждый вечеръ шли безконечные разговоры, предположенія и сѣтованія, отдавались приказанія на слѣдующій день, слышались тоскливыя догадки насчетъ вёдра или дождя, раздавались выраженія: «поголовно», «братъ на брата» и другіе сельскохозяйственные термины въ крѣпостномъ вкусѣ. Я очень часто присутствовалъ при этихъ переговорахъ и, помнится, даже интересовался ими, тѣмъ болѣе, что рядомъ съ ними шли распоряженія и насчетъ домашнихъ запасовъ, которые, въ видѣ варенья, соленья, сушенья и квашенья, производились во множествѣ. Передъ моими глазами не только ежедневно, но ежечасно, ежеминутно происходилъ тотъ кропотливый процессъ, при помощи котораго созидается такъ называемая полная чаша. Я видѣлъ эту полную чашу во всѣхъ проявленіяхъ: въ амбарахъ, наполненныхъ всякаго рода хлѣбомъ, въ погребахъ и въ кладовыхъ, на скотномъ дворѣ, въ плодовыхъ садахъ и проч. Вездѣ, по всей усадьбѣ, словно въ муравейникѣ, съ утра до ночи копошились люди и все припасали. А ночью около полной чаши похаживалъ сторожъ и билъ въ чугунную доску. Все это я видѣлъ, зналъ наизустъ и могъ даже своими словами все разсказать; однако и за всѣмъ тѣмъ ничего не понималъ. Очевидно, тутъ былъ какой-то изъянъ. Я зналъ формы, въ которыхъ проявлялось созиданіе полной чаши, но не понималъ внутренняго содержанія этихъ формъ. Для меня оставалась скрытой та страшная масса усилій, физическаго

труда, изнеможеній, пота, ронота и отчаяній, которыми сопровождалось устроеніе полной чаши. Кажется, что я думалъ такъ: «стóитъ папенькѣ съ маменькой только приказать старостѣ Лукьянычу—и у насъ будетъ и рожь, и овесъ, и сѣно...»

Поэтому, когда я кончилъ съ вопросомъ о подмосковной, то-есть совершилъ купчую крѣпость и вступилъ во владѣніе, то сонное видѣніе еще нѣкоторое время продолжалось, несмотря на то, что сейчасъ же обнаружились факты, которые должны были бы самаго заспаннаго человѣка заставить придти въ себя. А именно: густой и высокій лѣсъ, на который мнѣ указывалъ пальцемъ старичокъ-продавецъ, оказался чужой, а *мой* лѣсъ былъ низенькій и рѣдкій; вмѣсто полныхъ сѣнныхъ сараевъ оказались искусно выведенныя изъ сѣна стѣнки, за которыми скрывалась пустота; на мельницѣ помолу обнаружилось мало, да и воды не всегда достаточно: сѣно на лугахъ «временемъ—родится», а «временемъ—нѣтъ», да и сѣно—«съ осочкой». Одно вышло справедливо: службы были лёгонькія, то-есть совсѣмъ ветхія, а рѣчка дѣйствительно веселая, излучистая, сверкающая и вся въ зеленыхъ берегахъ.

Тѣмъ не менѣе я не впалъ въ уныніе и началъ дѣятельно приспособляться въ своемъ новомъ гнѣздѣ. Сонныя видѣнія дѣтства, отрочества и юности, несмотря на свою призрачность, оставили по себѣ и нѣчто такое, что залегло во мнѣ довольно прочно. А именно: они положили основаніе убѣжденію, что всякій человѣкъ имѣетъ какъ бы естественную потребность въ своемъ собственномъ углѣ. Тамъ онъ сосредоточитъ все завѣтное, пригрѣтое, приголубленное, туда онъ придетъ послѣ изнурительныхъ скитаній по бѣлу-свѣту, чтобъ успокоиться отъ жизненныхъ обидъ; тамъ онъ взлелѣетъ своихъ дѣтей и дастъ имъ возможность проникнуться впечатлѣніями настоящей, ненасурмленной дѣйствительности: тамъ онъ почувствуетъ себя свободнымъ отъ всяческой подлой зависимости, отъ заискиваній, отъ унизительной борьбы за право дышать, говорить, мыслить... Словомъ сказать, представленіе объ этомъ собственномъ углѣ было всегда до того присуще мнѣ, что когда жить за родительскимъ хребтомъ сдѣлалось уже неловко, а старое, насиженное гнѣздо, по волѣ случая, не дошло до рукъ, то мысль объ обрѣтеніи новаго гнѣзда начала преслѣдовать меня, такъ сказать, по пятамъ...

И, какъ сказано выше, я это гнѣздо обрѣлъ.

Я не буду разсказывать здѣсь исторію моихъ хозяйственныхъ похожденій. Это было что-то фантастическое. Неудача во всемъ. Хлѣбъ по виду, казалось, хорошъ родился, а въ амбаръ его дошло мало («стало-быть, при молотьбѣ не доглядѣли», объяснили мнѣ «умные мужички»); клеверъ и тимооевка выскочили по полю махрами («стало-быть, неровно сѣяли: вотъ здѣсь посѣяли, а вотъ здѣсь пролешили»). Два года, однако-жъ, я упорствовалъ, то-есть сѣялъ и жалъ, но на третій—смирился. Или, говоря другими словами, началъ смотрѣть на свое имѣніе, какъ на дачу для двухъ-трехъ-мѣсячнаго лѣтняго пребыванія. Нарушилъ всѣ хозяйственныя затѣи, а такъ-называемую «угоду», за исключеніемъ усадьбы, сдалъ крестьянамъ за такую годовую плату, которой недоставало даже для удовлетворенія скромныхъ издержекъ по управленію и сторожѣ, и самъ удралъ въ Петербургъ.

При такомъ упрощенномъ взглядѣ дѣло шло кое-какъ ровно пятнадцать лѣтъ. Я ѣздилъ по лѣтамъ въ свое собственное Монрепо и не безъ удовольствія взиралъ на «веселую» рѣчку, которая сверкала передъ самыми окнами господскаго дома. По временамъ на островокъ, образуемый мельничною запрудой, налеталъ соловей и грохоталъ и заливался всю ночь. Это тоже доставляло удовольствіе, хотя и кратковременное, потому что къ утру соловей уже былъ *непремѣнно* подкарауленъ и изловленъ фабричными изъ сосѣдняго села. Во всякомъ случаѣ, я жилъ безъ мучительныхъ помысловъ о дождѣ или вёдрѣ, безъ легкомысленныхъ догадокъ о томъ, что̀ въ данную минуту происходитъ въ полѣ: произрастаетъ или не произрастаетъ. Ничего «своего» у меня не было, такъ что за каждой бездѣлицей я посылалъ въ Москву, и, къ удивленію, все выходило и лучше, и дешевле, нежели изъ хозяйственной заготовки. Былъ у меня, правда, небольшой огородъ, каждую весну засаживаемый неумѣлыми руками: но и онъ не заставлялъ моего сердца сжиматься, такъ какъ я съ перваго же года понялъ, что овощи въ этомъ огородѣ будутъ поспѣвать какъ разъ ко дню моего выѣзда изъ деревни въ городъ.

Напослѣдокъ, однако-жъ, обнаружилось, что и съ упрощеннымъ взглядомъ безконечно жить невозможно. Появилась цѣлая серія фактовъ довольно страннаго свойства. Лѣсъ (хоть и не тотъ высокій, который мнѣ рекомендовалъ старичокъ-продавецъ, но все-таки былъ лѣсъ) пересталъ произрастать. Березовая роща, которую я засталъ

въ качествѣ «опушечки», такъ и осталась опушечкой черезъ пятнадцать лѣтъ. Осиновая роща, которую я самъ срубилъ, въ чаяніи, что осина идетъ ходко, представляла, черезъ пятнадцать лѣтъ, голое мѣсто, усѣянное пеньками («стало-быть, коровъ по ёмъ пасутъ», объяснили «умные» мужички, они же и арендаторы). Поля загрубѣли; луга, дававшіе когда-то мягкое сѣно, начали давать почти исключительно острецъ. Таковы были послѣдствія крестьянской аренды и моего упрощеннаго взгляда на имѣніе. Въ самомъ домѣ оказывались изъяны, которые предвѣщали въ ближайшемъ будущемъ очень серьезный расходъ. Въ паркѣ дорожки до того заросли, что для расчистки ихъ тоже требовалась цѣлая уйма денегъ. Къ довершенію всего, такъ какъ усадьба отстояла отъ крестьянскаго поселка не близко, и какъ, съ нарушеніемъ хозяйства, прислуги при усадьбѣ содержалось мало, то ночью брала невольно оторопь. Правда, что въ нашей сторонѣ объ «лихихъ» людяхъ слуховъ еще не было, но верстъ за десять, за двѣнадцать, около станціи желѣзной дороги, уже «пошаливали». Припоминая стародавнія русскія поговорки, въ родѣ «неровенъ часъ», «береженаго Богъ бережетъ», «плохо не клади» и проч., и видя, что дачная жизнь, первоначально сосредоточенная около станціи желѣзной дороги, начинаетъ подходить къ намъ все ближе и ближе (одинъ грекъ приведетъ за собой десять грековъ, одинъ еврей—сотню евреевъ), я непримѣтно сталъ впадать въ задумчивость.

И не на меня одного нападала задумчивость. Въ короткій пятнадцатилѣтній періодъ моего владѣнія подмосковной почти весь землевладѣльческій составъ кругомъ меня измѣнился. Въ ближайшей ко мнѣ старинной княжеской усадьбѣ, съ вѣковыми лѣсами, съ знаменитыми оранжереями и съ прекрасно устроеннымъ господскимъ домомъ, въ теченіе двухъ лѣтъ перемѣнилось два владѣльца, изъ коихъ одинъ —еврей. То же самое повторилось и по всей окрестности. Пришли люди, прикосновенные къ постройкѣ храма Христа Спасителя; пришелъ адвокатъ, выигравшій какое-то волшебное дѣло и сейчасъ же поспѣшившій сдѣлаться «бариномъ»; наконецъ появился грекъ, который, поселившись въ верстѣ отъ меня, влѣзъ въ нашу скромную сельскую церковь и выстроилъ себѣ что-то въ родѣ горняго мѣста, дабы всѣ видѣли, какъ онъ, Самсонъ Дюбековичъ, своего Бога почитаетъ. Остались незыблемыми только два старинные и замѣчательно крупные землевладѣльца, изъ тѣхъ,

которыхъ ужъ никакіе изъяны застать врасплохъ не могутъ.

Задумчивость моя усугублялась съ каждымъ годомъ. Пришельцы-сосѣди устраивались по-новому и проявляли поползновеніе жить шумно и весело. Среди этой вдругъ закипавшей жизни, каждое движеніе которой говорить о шальной деньгѣ, мой бѣдный, заброшенный пустырь былъ какъ-то совсѣмъ не у мѣста. Ветшая и упадая, онъ какъ бы говорилъ мнѣ: бѣги отъ мѣстъ, унылый человѣкъ!

И я внялъ этому голосу, хотя и не безъ внутренняго волненія. Въ окна, главное, дуло, да и о кухнѣ шли слухи, что скоро совсѣмъ тамъ готовить кушанье будетъ нельзя. Приходилось или злѣ погибнуть, или уйти.

Я выбралъ послѣднее и льщу себя надеждой, что въ самую пору.

Но въ ту минуту, какъ я уходилъ, старинное стремленіе къ гнѣзду вдругъ опять закопошилось во мнѣ. «Какимъ же это образомъ?—думалось мнѣ:—ужели я такъ-таки и останусь безъ собственнаго Монрепо?»

Оставимъ Энгельгардтамъ доказывать, что полевое хозяйство можетъ приносить барыши,—сами же займемся разрѣшеніемъ вопроса: что такое культурный человѣкъ и чего, собственно, онъ можетъ ожидать отъ деревни?

Культурный человѣкъ вообще есть личность, въ значительной степени пользующаяся досугомъ, имѣющая болѣе или менѣе отчетливыя представленія о комфортѣ и жизненныхъ удобствахъ, охотно дѣлающая экскурсіи въ область эстетики и спекулятивнаго мышленія, но очень рѣдко обладающая прикладными знаніями, то-есть тѣмъ именно орудіемъ, которое болѣе всего необходимо, чтобъ быть дѣятелемъ-земледѣльцемъ. Не даромъ генералъ Шангарнье, приглашая однажды французское національное собраніе разойтись, по случаю каникулярнаго времени, рисовалъ картину успокоенія на лонѣ природы, съ эклогами Виргилія въ рукахъ. Хотя рѣчь почтеннаго генерала возбудила въ извѣстной части собранія смѣхъ, но въ сущности онъ вполнѣ правильно охарактеризовалъ отношенія культурнаго человѣка къ сельской природѣ. Не полеводство нужно культурному человѣку, а только общій видъ полей. Ему нужны: прогулка, отдыхъ, много воздуха, отсутствіе волненій, беззаботность, по временамъ дружеская бесѣда съ единомышленными людьми, по временамъ — одиночество, пожалуй,

хоть съ Виргиліемъ въ рукахъ. Не труда ищетъ онъ въ сельскомъ убѣжищѣ, а безмятежнаго растительнаго существованія, которое служило бы поправкой пряностямъ, изнурившимъ его въ городѣ.

Нашъ русскій культурный человѣкъ носитъ на себѣ тѣ же родныя черты, какъ и западно-европейскій. Разница только въ томъ, что у него еще больше досуга, а интеллектуальнаго запаса значительно меньше. Сверхъ того, какъ мы ни стараемся о насажденіи классицизма, но русскій культурный человѣкъ, въ дѣлѣ знакомства съ древними классиками, и нынѣ едва ли идетъ дальше басенъ Федра, имѣть которыя въ качествѣ настольной книги нѣсколько, впрочемъ, совѣстно. Поэтому онъ Виргилія замѣняетъ какою-нибудь другою умственною пищею, смотря по степени личнаго развитія каждаго, отъ Дарвина и Молешотта до Зола и Ксавье де-Монтепена включительно.

Я вполнѣ понимаю потребность, ощущаемую русскимъ культурнымъ человѣкомъ — воспользоваться двумя-тремя лѣтними мѣсяцами, чтобъ возстановить себя на лонѣ природы, и не нахожу ее ни незаконною, ни достойною осмѣянія.

Зима, проводимая большею частью въ городѣ, дѣйствуетъ изнурительно. Я не говорю уже о спёртомъ воздухѣ въ помѣщеніяхъ, снабженныхъ двойными рамами и нагрѣваемыхъ усиленной топкой печей — этого одного достаточно, чтобы при первомъ удобномъ случаѣ бѣжать на просторъ; но, кромѣ того, у каждаго культурнаго человѣка есть особливое занятіе, спеціальная задача, которую онъ преслѣдуетъ во время зимняго сезона и выполненіе которой иногда значительно подкашиваетъ силы его. Какого рода эти задачи и есть ли отъ нихъ какой-нибудь прокъ? — это другой вопросъ; но такъ какъ онѣ не считаются противозаконными, то для большинства этого совершенно достаточно. У насъ есть прежде всего цѣлая армія чиновниковъ, которые съ утра до вечера скребутъ перьями, посылаютъ въ пространство всякаго рода отношенія и донесенія и вообще не разгибаютъ спины — очевидно, имъ отдыхъ нуженъ, хотя бы для того, чтобы очнуться отъ тѣхъ «милостивыхъ государей», съ которыми они девять мѣсяцевъ сряду безъ устали ведутъ отписку и переписку. Затѣмъ есть масса дѣльцовъ: адвокатовъ, биржевиковъ, сводчиковъ, концессіонеровъ, журналистовъ и т. п., которые тоже шестнадцать часовъ въ сутки мелькаютъ и мечутся—очевидно,

отдыхъ нуженъ и имъ. Наконецъ существуетъ много людей, которые утромъ занимаются дѣланьемъ визитовъ, а вечеромъ посѣщаютъ театры, цирки, балы, шницбалы, игорные дома, рестораны—и имъ тоже необходимъ отдыхъ, потому что иной однимъ культивированьемъ кокотокъ такъ себя за зиму ухлопаетъ, что поневолѣ запросится вонъ изъ города.

Я знаю, что всѣ эти кишѣнія и мельканія—грошовыя, а иногда даже и вредныя; но такъ какъ люди, находящіеся на стражѣ, ничего противъ нихъ не имѣютъ, то тѣмъ менѣе могу имѣть противъ нихъ что-нибудь я, которому вообще ничего и ни отъ кого оберегать не предоставлено. Я могу только констатировать фактъ изнуренія—и дѣлаю это.

Само собою разумѣется, что большинство культурныхъ людей, изъ тщеславія, а также и ради того, чтобы не порвать совсѣмъ съ зимними накостями, стремятся по преимуществу въ Павловскъ, въ Петергофъ, въ Озерки и т. д. Что они тамъ обрѣтаютъ, какую природу, какой возстановляющій воздухъ, какое питаніе—я этого не знаю. Я отъ роду не живалъ въ этихъ мѣстахъ и, надѣюсь, никогда жить не буду, какъ ни соблазнительны описанія озерковскихъ шницбаловъ, съ оркестромъ Главача и кухней Ломача. Къ счастію, не всѣ Заманиловки подверглись разрушенію, а потому есть еще достаточно большая масса культурныхъ людей, которые, не заглядывая въ Озерки, устремляются къ старинымъ «собственнымъ» пепелищамъ. Одни ѣдутъ поневолѣ, потому что хоть и расшатылая эта Заманиловка, а все-таки *своя,* и надо за ней присмотрѣть, чтобъ окончательно ее не расхитили; другіе — потому, что и въ самомъ дѣлѣ не понимаютъ лѣтняго житья иначе, какъ въ настоящей деревнѣ, съ настоящими полями и настоящимъ лѣсомъ.

Надо, впрочемъ, сказать правду, что для того, чтобъ прожить въ современной Заманиловкѣ три-четыре мѣсяца кряду, требуется нѣкоторая храбрость. Очень ужъ пынче тамъ глухо и непривольно. Во-первыхъ, пусто, потому что домашній персоналъ имѣется только самый необходимый; во-вторыхъ, неудовлетворительно по части питья и ѣды, потому что полезныя домашнія животныя упразднены, дикія, вслѣдствіе истребленія лѣсовъ, эмигрировали, караси въ прудѣ выловлены, да и хорошаго печенаго хлѣба, пожалуй, нельзя достать; въ-третьихъ, плохо и по части газетной гипци, ежели Заманиловка, по очень счастливому случаю,

не расположена вблизи станціи желѣзной дороги (это было въ особенности чувствительно во время послѣдней войны); въ-четвертыхъ, не особенно весело и по части сосѣдей, ибо ежели таковые и есть, то разпосословъ у нихъ не полагается, да и ѣздить по сосѣдямъ, признаться, не въ чемъ, такъ какъ каретные сараи опустѣли, а бывшіе заводскіе жеребцы перевелись; въ-пятыхъ, наконецъ, въ каждой Заманиловкѣ культурный человѣкъ непремѣнно встрѣчается съ вопросомъ о бѣшеныхъ собакахъ. Какъ ни исключительнымъ представляется этотъ послѣдній вопросъ, но онъ очень существенъ. Каждое лѣто непремѣнно откуда-то (откуда—никто даже опредѣлить не можетъ) забѣжитъ желтенькая, сивенькая и черненькая собачка, худая, съ помутившимися глазами и опущеннымъ хвостомъ, перекусаетъ на деревнѣ цѣлую уйму собакъ, а затѣмъ подниметъ переполохъ и на городской усадьбѣ. И долго потомъ эта сивенькая собачка живетъ въ воображеніи дѣтей и женщинъ, заставляя ихъ озираться во время прогулокъ и мѣшая рискнуть забраться куда-нибудь подальше отъ жилья—въ луга, въ лѣсъ.

Я уже не говорю о развлеченіяхъ амурныхъ, хотя и не безъ вздоха вспоминаю Тургенева, этого правдивѣйшаго и художественнѣйшаго описателя нашихъ бывшихъ «дворянскихъ гнѣздъ», у котораго на каждаго помѣщика (молодого и образованнаго) непремѣнно приходилась соотвѣтствующая помѣщица.

Но люди, для которыхъ деревня почему-либо составляетъ необходимость (хотя бы ради связи съ прошлымъ или ради пріобрѣтенія яснаго представленія о рваномъ русскомъ мужикѣ), охотно примиряются со всѣми неудобствами за тѣ воистину возстановляющія (физически и умственно) блага, которыми она изобилуетъ. Но для того, чтобы воспользоваться этими благами и извлечь изъ нихъ ту сумму обновленныхъ силъ, которая нужна для бодраго перенесенія предстоящихъ въ зимній сезонъ задачъ (въ чемъ бы онѣ ни состояли), необходима такая обстановка, которая представляла бы собой картину полнаго и невозмутимаго безмятежія. А отсюда—первая и главная обязанность: немедленно, всецѣло и навсегда удалить отъ себя всякія сельскохозяйственныя распоряженія и предпріятія. Эти послѣднія волнуютъ и изнуряютъ пуще всѣхъ огорченій, которыя испытываетъ культурный человѣкъ во время длиннаго зимняго сезона, потому что они не даютъ ни отдыха,

ни срока, преслѣдуютъ ежеминутно и производятъ тѣмъ большую досаду, что въ сущности цѣна каждой изъ нихъ, взятой въ отдѣльности,—грошъ. Въ эту самую минуту, когда я пишу эти строки, въ окна моей комнаты барабанитъ дождь, а между тѣмъ теперь самое горячее время для уборки сѣна, котораго вездѣ подкошено множество. Благо тому культурному человѣку, у котораго нѣтъ ни сѣна въ лугахъ, ни хлѣба въ поляхъ, потому что будь все это—онъ непремѣнно бы мучился. Онъ думалъ бы: «ахъ, сѣно сгніетъ! ахъ, рожь прорастетъ!» и, несмотря на мокропогодину, выбѣжалъ бы на улицу. Зачѣмъ бы онъ выбѣжалъ? что могъ бы сказать или присовѣтовать?—онъ и самъ навѣрное не отвѣтилъ бы на эти вопросы, но выбѣжалъ бы несомнѣнно, потому что его подстрекнулъ бы къ тому демонъ собственности. И въ результатѣ оказались бы потеря времени и простуда. Тогда какъ, свободный отъ сѣна, ржи и овса, онъ можетъ спокойно, «въ надеждѣ славы и добра», посматривать въ окно и думать: «а вотъ сейчасъ разгуляется, и я, какъ обсохнутъ дорожки (лѣтомъ земля сохнетъ изумительно быстро), пойду въ паркъ...»

Что сельскохозяйственныя заботы тиранятъ ежеминутно—это аксіома, которая, я полагаю, не требуетъ доказательствъ. Природа дѣйствуетъ отнюдь не по писанному и почти всегда всѣ людскія предположенія переворачиваетъ вверхъ дномъ. Но все-таки скажу, что культурнаго досужаго человѣка эти заботы тиранятъ не въ примѣръ сильнѣе, нежели заправскаго землевладѣльца. Для культурнаго человѣка — все новость, все сюрпризъ; и при этомъ, ежели у него, съ одной стороны, есть много досуга, чтобы наслаждаться, то, съ другой стороны, ровно столько же досуга онъ имѣетъ и для того, чтобы тиранить себя. Для настоящаго землевладѣльца нѣтъ времени мучить себя; для него нѣтъ сюрпризовъ, онъ ко всему привыкъ и всего ожидаетъ. Онъ знаетъ, что какъ бы ни велико было количество сюрпризовъ, онъ, землевладѣлецъ, въ концѣ концовъ все-таки «управится», то-есть одолѣетъ личнымъ трудомъ все, что въ данную минуту одолѣть можно. А культурный человѣкъ—что онъ знаетъ? Онъ глядитъ на непросвѣтное небо и думаетъ: «ахъ, все погибло!» Сверхъ того, онъ видитъ, что «хамово отродье», нанятое для собиранія плодовъ земныхъ въ житницы, сидитъ, мокрое, подъ навѣсомъ и бьетъ баклуши, и это опять волнуетъ его...

Культурный человѣкъ безконечно легковѣренъ и притомъ

въ высшей степени одаренъ художественными инстинктами. Вотъ почему для него выгоднѣе совсѣмъ не родиться на свѣтъ, нежели возгорѣть страстью къ полеводству. Будучи по воспитанію совершенно чуждъ прикладныхъ знаній, онъ обыкновенно приступаетъ къ сельскохозяйственному дѣлу съ печатной книжкой въ рукахъ. Но онъ читаетъ эту книжку не глазами обыкновеннаго смертнаго, а глазами воображенія, забывая, что ничто такъ легко не поддается подкупу, какъ воображеніе, подстрекаемое жаждой барыша. Это воображеніе рисуетъ ему урожаи самъ-десятъ и самъ-двѣнадцатъ (въ «книжкѣ» они доходятъ и до самъ-двадцать); оно рисуетъ ему коровъ, не тѣхъ тощихъ фараоновыхъ, которыя въ дѣйствительности питаются мякинным ухвостьемъ на господскомъ скотномъ дворѣ, а тѣхъ альгаускихъ и девонширскихъ, для которыхъ существуетъ урочное положеніе: полтора ведра молока въ день; оно рисуетъ молотилки, вѣялки, жатвенныя машины, сѣноворошилки, плуги и пр.—и все непремѣнно самое прочное и достигающее именно тѣхъ самыхъ результатовъ, которые значатся въ сельскохозяйственныхъ руководствахъ, а иногда и просто въ объявленіяхъ братьевъ Бутеноп. Въ результатѣ происходитъ радостный сельскохозяйственный апоѳеозъ. Культурный человѣкъ не принимаетъ въ разсчетъ ни вёдра, ни дождя, ни вѣтровъ, ни червя, ни земляной блохи, ни мошки, ни того, что въ одинъ прекрасный день у привода молотилки вдругъ не окажется ремня, а у самой молотилки—двухъ-трехъ пальцевъ (вчера еще все было цѣло и вдругъ за ночь пропало!). Много-много, ежели при вычисленіяхъ самъ-десятъ и самъ-двѣнадцатъ онъ снизойдетъ до принятія въ соображеніе заработной платы сѣрому человѣку, приводящему въ движеніе всѣ эти молотилки и плуги, каковую плату тоже вычислитъ аккуратно, какъ написано въ книжкѣ: десятину луга скосить—косцовъ столько-то, сѣно сушить—бабъ столько-то. Короче сказать, онъ видитъ барыши и не предполагаетъ ущербовъ. Сѣнокосъ у него всегда сопровождается вёдромъ съ легкимъ попрыскиваньемъ дождичка по утрамъ (надо же и природѣ что-нибудь уступить, да и коса влажную траву бойчѣе беретъ); сѣвъ никогда не обходится безъ благопріятнаго дождя; машины дѣйствуютъ безостановочно и безъ ремонта, ремни никогда не пропадаютъ и т. д.

Вѣритъ «книжкѣ» культурный человѣкъ безусловно. Не потому вѣритъ, чтобы понималъ сущность изложеннаго въ

ней, а потому, что она, такъ сказать, предупреждаетъ его желанія. Онъ читаетъ «книжку», какъ романъ или, вѣрнѣе, какъ поваренную книгу, въ которой описываются самыя лакомыя блюда. Читаетъ и, останавливаясь на процессѣ производства лишь настолько, чтобы не утратилось впечатлѣніе общей сельскохозяйственной картины, съ радостнымъ нетерпѣніемъ перескакиваетъ къ конечному результату (собираніе плодовъ въ житницы), который, разумѣется, всегда оказывается благопріятнымъ. Онъ не хочетъ знать, что книжку писалъ человѣкъ, обладающій подлинными знаніями (иногда, впрочемъ, и просто рутинеръ-шарлатанъ), который можетъ и неудачу предусмотрѣть, и даже свою собственную (опубликованную) ошибку исправить. А ты, культурный человѣкъ, ты, воспитанникъ Федра, что ты можешь? Вѣдь ежели ты, на свою бѣду, вычиталъ въ книгѣ «ошибку», то ты не только не исправишь ея, а, напротивъ, еще больше будешь на ней настаивать, проведешь ее до конца, потому что эта ошибка обѣщаетъ тебѣ самъ-десятъ. И тогда что станется съ тѣмъ эфемернымъ зданіемъ, которое создало твое разлакомившееся на барыши воображеніе?

Понятно, что при такой степени возбужденія художественныхъ инстинктовъ всякое вмѣшательство силъ природы, мало-мальски не соотвѣтствующее заранѣе облюбованнымъ результатамъ, кажется посягательствомъ и служитъ поводомъ для мученій и проклятій. Зачѣмъ вёдро? зачѣмъ дождь?—вотъ тѣ несомнѣнно глупые вопросы, которые съ утра до вечера раздаются въ тѣхъ изъ помѣщичьихъ гнѣздъ, гдѣ еще не созрѣло убѣжденіе, что надо все оставить, бросить. Вопросы эти тѣмъ глупѣе, что культурному человѣку заранѣе извѣстно, что они навѣрное останутся безъ отвѣта, такъ какъ онъ не имѣетъ даже средствъ извернуться или приспособиться къ тому, что онъ называетъ неожиданностями и подвохами. Сѣрый человѣкъ—тотъ во всякое время, при всякихъ условіяхъ найдетъ для себя подходящее дѣло, которое прямо или косвенно тому же полеводству принесетъ пользу. Но культурный человѣкъ, при всякомъ сюрпризѣ, измѣняющемъ его планъ, становится втупикъ, не зная, гдѣ и какъ ему возмѣстить затрату, сдѣланную именно на тотъ, а не на иной предметъ. И велико бываетъ его изумленіе, когда онъ, утѣшавшій себя мыслью (да, онъ до того озлобленъ, что даже можетъ себя утѣшать неудачами другихъ), что и у дру-

гихъ сѣно почернѣло и сгнило, вдругъ видитъ цѣлыя массы совершенно зеленаго сѣна, приготовленнаго заботливыми руками меньшóго брата, который не пралъ противъ рожна въ дождь, но нашелъ другое приличествующее занятіе: городилъ городьбу, починялъ клѣть или наконецъ и просто отдыхалъ.

Я живо помню первые годы, послѣдовавшіе за эмансипаціей крестьянъ. Въ то время, какъ разъ кстати, г. Бажановъ издалъ книгу о плодоперемѣнномъ хозяйствѣ вообще, а г. Совѣтовъ—книгу о разведеніи кормовыхъ травъ. Обѣ читались всласть, какъ романъ, и находилось много людей, которые серьезно думали, что теперь стóитъ только дѣйствовать по-писанному, чтобы на землевладѣльцевъ полился золотой дождь. Закипѣла дѣятельность. Во-первыхъ, въ помѣщичьихъ усадьбахъ появились люди, которые прежде никогда въ деревняхъ не живали, люди преимущественно молодые (старики благоразумно устранились или продолжали доскрипывать вѣкъ съ урочнымъ барщиннымъ положеніемъ), оставившіе службу и другія занятія и полные вѣры въ вольный трудъ. Во-вторыхъ, накуплено было множество орудій, о которыхъ до тѣхъ поръ имѣлись только смутныя представленія, какъ о чемъ-то рѣдкомъ и недоступномъ. Въ-третьихъ, начался обмѣнъ мыслей о томъ, что̀ пристойнѣе: самъ-десятъ или самъ-двѣнадцатъ. Въ-четвертыхъ, наконецъ, приступлено было и къ дѣйствительнымъ распоряженіямъ по Бажанову и Совѣтову. Богатые люди жертвовали при этомъ своими избытками, а люди недостаточные отказывали себѣ въ привычномъ комфортѣ и смотрѣли сквозь пальцы на упадокъ своихъ жилищъ, ради того, чтобъ купить лучшихъ сѣмянъ, лучшихъ плуговъ, плужковъ, скоропашекъ и проч. (у Бажанова были и рисунки всего этого приложены). Но съ первыхъ же шаговъ (увы!—рѣшительность этихъ шаговъ была такова, что, сдѣлавши одинъ, т.-е. накупивъ сѣмянъ, орудій, скота, переломавши поля и т. д., уже трудно было воротиться назадъ, не испивши своей чаши сѣвооборота до дна) хозяйственная практика выставила такіе вопросы, разрѣшенія на которые не давалъ ни Бажановъ, ни Совѣтовъ.

Помнится, у Бажанова говорится, что двое рабочихъ, при двухъ исправныхъ плугахъ, легко могутъ вспахать въ день казенную десятину. Но ежели они не вспашутъ, какъ съ этимъ быть? Доказывать ли, съ Бажановымъ въ рукахъ, что священный долгъ каждаго рабочаго — вспахать

не менѣе полудесятины?—но они отвѣтятъ на это: «и такъ не гуляли». Броситься ли на тунеядца съ распростертыми длaнями и сквернымъ словомъ на устахъ? — но онъ, какъ человѣкъ, сознающій себя героемъ *вольнаго* труда, пожалуй, самъ дастъ сдачи. Судиться ли? — но передъ какимъ судомъ и гдѣ взять критеріумъ для судебной оцѣнки? Разсчитать ли наконецъ неисправнаго или небойкаго работника?—но завтра же другой герой вольнаго труда не допашетъ ровно столько же, а быть-можетъ, и больше. Приходится смириться и сообразно съ симъ дѣлать поправки въ разсчетахъ. А такъ какъ это поправки безконечныя, то въ концѣ концовъ изъ нихъ образуется цѣлая паутина, въ которой человѣкъ будетъ биться, покуда не опостылѣетъ все: и выкладки, и затѣи, и поля, и луга, и люди, которые пашутъ и не допахиваютъ, косятъ и не докашиваютъ. А сколько было когда-то обмѣна мыслей по поводу словъ: «*легко* вспашутъ полдесятины». Легко? То-есть, вѣроятно, вспашутъ и больше? Но положимъ, что только полдесятины: слѣдовательно... А кончилось тѣмъ, что хоть бы и не смотрѣть, какъ онъ тамъ на одномъ мѣстѣ топчется! Надоѣло, надоѣло, надоѣло.

«Надоѣло» — это слово очень вѣское и рѣшительное въ человѣческой жизни вообще и въ особенности въ жизни культурнаго русскаго человѣка, изумительная художественная воспріимчивость котораго требуетъ пищи безпрестанной и разнообразной. Но еще рѣшительнѣе звучитъ оно, когда человѣкъ начинаетъ прозрѣвать (все съ помощью тѣхъ же художественныхъ инстинктовъ), что не столько ему все надоѣло, сколько онъ самъ всѣмъ надоѣлъ. Тотъ же Бажановъ, напримѣръ, говоритъ, что землевладѣльческія орудія слѣдуетъ держать въ нарочито выстроенномъ сараѣ и что по окончаніи дневной работы необходимо ихъ вытереть, потому что иначе желѣзо ржавѣетъ, и инструментъ не прослужитъ и половины урочнаго срока. Ничего не можетъ быть справедливѣе этого совѣта и закониѣе основаннаго на немъ требованія. Но бѣда въ томъ, что у вольнонаемнаго рабочаго правила о содержаніи инструментовъ въ опрятности и до сихъ поръ еще не выжжены на скрижаляхъ сердца огненными буквами. Во-первыхъ, у него совсѣмъ не болитъ сердце по хозяйскомъ добрѣ; во-вторыхъ, дома у него такія рабочія орудія, съ которыми онъ никогда не имѣлъ надобности церемониться, а слѣдовательно и вытирать ихъ до-суха привычки не пріобрѣлъ.

Онъ просто не думаетъ о рабочихъ инструментахъ и потому не считаетъ ухода за ними входящимъ въ кругъ его обязанностей. Сверхъ того, хотя онъ, быть-можетъ, и не допахалъ противъ урока, но все-таки время свое выстоялъ и порядкомъ-таки усталъ. Онъ спѣшитъ выпрячь лошадь, чтобы скорѣе отужинать и лечь спать, — досугъ ли ему съ инструментомъ вожжаться? Слѣдовательно предстоитъ нарочито напоминать ему о священной обязанности содержать хозяйскія орудія во всегдашней исправности. Напомните одинъ разъ — онъ, конечно, выполнитъ съ грѣхомъ пополамъ вашу *прихоть*. Напомните въ другой разъ — услышите отвѣтъ: «не что̀ ему (или ей) сдѣлается за ночь!» Напомните въ третій разъ — отвѣта не послѣдуетъ, но на лицѣ прочтете явственно: «ахъ, распостылый ты человѣкъ!» Напомните въ четвертый разъ... но въ четвертый разъ врядъ ли вы и сами рѣшитесь напомнить. Вы уже чувствуете, что вы надоѣли, намозолили глаза и вамъ совѣстно.

Вотъ чего не предусмотрѣли ни Бажановъ, ни Совѣтовъ, а между тѣмъ такого рода недоумѣнія встрѣчаются чуть не на каждомъ шагу. Вездѣ культурный человѣкъ видитъ себя лишнимъ, вездѣ онъ чувствуетъ себя въ положеніи того мужа, у котораго жена мучилась въ потугахъ рожденія, а онъ сидѣлъ у ея изголовья и покряхтывалъ. Вездѣ, во всѣхъ лицахъ, во всѣхъ отвѣтахъ, онъ читаетъ и слышитъ одно слово: надоѣлъ! надоѣлъ! надоѣлъ!

И вотъ, когда онъ убѣждается, что бажановскаго урочнаго положенія ему поддержать нечѣмъ, что инструментъ рабочій, на пріобрѣтеніе котораго онъ пожертвовалъ своимъ личнымъ комфортомъ, воочію приходитъ въ негодность, что скотъ содержится неопрятно, смердитъ («не кадило!» — ворчитъ скотница на сдѣланное по этому поводу напоминаніе) и обѣщаетъ въ ближайшемъ будущемъ совсѣмъ выродиться, что самъ онъ наконецъ всѣмъ надоѣлъ, потому что вездѣ «суется», а «настоящаго» ничего сказать не можетъ, — тогда на него вдругъ нападаетъ то храброе малодушіе, которое даетъ человѣку рѣшимость въ одну минуту плюнуть на всѣ плоды многолѣтняго долготерпѣнія. И онъ, сломя голову, бѣжитъ въ объятія земскихъ учрежденій, мирового института, полиціи и проч., которыя, по крайней мѣрѣ, дадутъ ему средства хоть оконныя рамы новыя сдѣлать въ расшатавшейся съ верху до низу Заманиловкѣ.

Говорятъ, что у культурныхъ людей нѣтъ достаточныхъ капиталовъ, которые давали бы имъ возможность съ терпѣніемъ выжидать результатовъ ихъ сельскохозяйственныхъ предпріятій. Капиталовъ нынче, дѣйствительно, въ этой средѣ немного, но едва ли умѣстно ссылаться на это обстоятельство. Во-первыхъ, вскорѣ послѣ крестьянской реформы, капиталовъ, благодаря выкупнымъ свидѣтельствамъ, было болѣе, нежели достаточно, а куда они дѣвались? Положимъ, что хорошая доля ихъ застряла въ трактирахъ Новотроицкомъ и Московскомъ, но, клянусь, цѣлая масса была ухлопана и въ землю, для исполненія прихотей Бажанова и Совѣтова. И что же изъ этого вышло? Во-вторыхъ, хотя капиталъ и дѣйствительно полезная вещь въ сельскомъ хозяйствѣ, но все-таки надо знать, куда и какъ его употребить. Вотъ Энгельгардтъ и безъ капиталовъ достигъ хорошихъ результатовъ (я нимало въ этомъ не сомнѣваюсь), а у культурнаго человѣка хоть и цѣлая уйма денегъ на рукахъ, да онъ не знаетъ, куда ее швырнуть. Ежели онъ броситъ ее въ отходную яму—вырастутъ ли на днѣ ея розы?

Поэтому-то я и повторяю: оставимъ Энгельгардтамъ доказывать, что полеводство можетъ приносить барыши; мы же, люди культурной массы, мы, представители бюрократіи, адвокатуры, инициболовъ и проч., будемъ отдыхать кійждо подъ смоковницею своей, съ баснями Федра въ рукахъ (все какъ будто классицизмомъ припахиваетъ). Я самъ съ величайшимъ наслажденіемъ читаю Энгельгардта (особенно лѣтомъ въ деревнѣ), потому что никто такъ отчетливо не воспроизводитъ картину деревни, какъ онъ; но я увлекаюсь его писаніемъ съ чисто художественной точки зрѣнія и воздерживаюсь отъ всякой практической дѣятельности въ подражаніе ему. Онъ расчищаетъ «ляда», онъ сѣетъ ленъ и мечтаетъ о травосѣяніи, объ альгаускомъ бычкѣ—все это, конечно, будетъ ему на пользу. Я же не стану ни «ляда» расчищать, ни льна сѣять, потому что въ самомъ благопріятномъ случаѣ эти занятія явятся лишь пустымъ препровожденіемъ времени; въ неблагопріятномъ же случаѣ...

Паче всего культурный человѣкъ долженъ избѣгать волненій и огорченій. Деревня нужна ему не ради перспективы конечныхъ избытковъ, но ради возстановленія подточенной зимнимъ сезономъ бодрости. Онъ долженъ помнить, что ежели возможны сельскохозяйственные прибытки,

то они возможны, во-первыхъ, для человѣка, обладающаго знаніемъ, и, во-вторыхъ, для человѣка хотя и рутинёра, но постоянно живущаго въ деревнѣ и не видящаго изъ нея выхода даже въ земскія учрежденія. Въ большинствѣ случаевъ, культурный русскій человѣкъ не подходитъ ни подъ одно изъ этихъ условій. Знаній у него нѣтъ, а въ деревнѣ онъ хочетъ жить лишь тогда, когда садъ его цвѣтетъ и благоухаетъ, и когда въ сосѣдней рощѣ гремитъ соловей. Стоитъ ли при такой постановкѣ дѣла гнаться за какимъ-нибудь двугривеннымъ, котораго, вдобавокъ, еще и не поймаешь?! Стоитъ ли, ради этого двугривеннаго, испытывать волненія и разочарованія, которыя, повторяю, никогда не кончаются, а только видоизмѣняются, переходятъ въ новыя формы волненій и разочарованій?

Нѣтъ спора, что и въ городахъ бываютъ огорченія: обойдутъ человѣка чиномъ; проиграетъ онъ, въ качествѣ адвоката, процессъ или получитъ въ танцклассѣ затрещину. Но огорченія эти, въ большинствѣ случаевъ, имѣютъ свой коррективъ. Обойдутъ чиномъ—стоитъ только потрафить, пониже поклониться, чинъ придетъ своимъ чередомъ; проиграетъ адвокатъ процессъ—можно взять другой и выиграть; получитъ затрещину... но что такое затрещина для человѣка, который, быть-можетъ, понятіе о танцклассѣ смѣшиваетъ съ понятіемъ объ отечествѣ? Словомъ сказать, изъ всякаго городского огорченія можно выйти безъ особенно чувствительнаго ущерба. Тогда какъ для огорченій сельскохозяйственныхъ рѣшительно нѣтъ выхода. Они сначала мелькаютъ передъ глазами въ видѣ неосуществившихся двугривенныхъ, но чуть только человѣкъ не остережется, то непремѣнно выразятся въ крупномъ кушѣ, брошенномъ въ отходную яму, на днѣ которой не вырастаетъ розъ.

Но — скажутъ мнѣ — всѣ эти Заманиловки не созданы нами, а дошли до насъ въ томъ самомъ составѣ и въ тѣхъ же размѣрахъ, въ какихъ онѣ представляются и нынѣ, то-есть со всѣми Тараканихами, Летесихами и другими пустошами, въ которыхъ растетъ бѣлоусъ. Какъ же поступить съ ними? Ужели ограничиться только уплатою за нихъ земскихъ сборовъ, не попытавши даже, хорошъ ли тамъ вырастетъ ленъ?

Отвѣтъ на это, несмотря на свою кажущуюся парадоксальность, очень простъ. Ежели уже существуетъ убѣжде-

ніе (а у человѣка хладнокровнаго, осторожнаго не можетъ оно не существовать), что раскинутость Замаиловокъ служитъ лишь источникомъ огорченій, то, разумѣется, необходимо принять самыя быстрыя мѣры, чтобы Тараканихи и Летесихи не обременяли памяти пустою номенклатурой. Надо отдѣлаться отъ нихъ непремѣнно и безотложно, хотя бы задаромъ. Придетъ сѣрый человѣкъ въ эту самую Тараканиху, гдѣ нынѣ растетъ бѣлоусъ, и прольетъ тамъ свой потъ. И, можетъ-быть, бѣлоусъ дастъ мѣсто болѣе доброкачественнымъ злакамъ... А культурный человѣкъ ощутитъ отъ этого перемѣщенія ту несомнѣнную выгоду, что освободится отъ платежа земскихъ сборовъ за вмѣстилища бѣлоуса.

Я убѣжденъ, что первое, что̀ необходимо для культурнаго человѣка—это сокращать и суживать границы своихъ земельныхъ владѣній. Дача, какъ вмѣстилище возстановляющаго воздуха полей—вотъ все, что̀ нужно. И притомъ дача не съ ветхими оконными рамами и колеблющимися полами, а со всѣми удобствами, которыя легко могутъ быть созданы на деньги, предназначенныя для отходной ямы. Ежели есть при дачѣ «смѣющійся» лугъ — это хорошо; ежели есть роща, въ которой весной поетъ соловей—еще того лучше. Излучистая рѣка, тѣнистыя аллеи, пѣніе соловья—вотъ идеалы культурнаго человѣка, но отнюдь не нажити, не лѣса и не такъ-называемыя угодья. Для истребленія лѣсовъ существуютъ лѣсники; для пахоты, бороньбы и косьбы существуетъ цѣлый классъ людей, именуемыхъ земледѣльцами. Suum cuique, какъ говоритъ Горацій, а можетъ-быть, Федръ или даже самъ Коншанскій. Культурный человѣкъ долженъ помнить, что онъ—произведеніе города! тамъ онъ сѣетъ и жнетъ, что̀ ему сѣять и жать надлежитъ. Оклады жалованья, пенсіи, аренды, концессіи, гонорары за сводничество, полистныя и построчныя платы—все тамъ. А на лѣто онъ наѣзжаетъ въ деревню совсѣмъ не для того, чтобы страдать ради двугривенныхъ, а для того, чтобы на досугѣ обдумать, какія предстоитъ принять зимой мѣры, чтобы упомянутые оклады и гонорары не утратить, но пріумножить и сохранить. И пусть обдумываетъ. Пускай знаетъ свой домъ, свой садъ, свой смѣющійся лугъ, свою рощу. А ради сохраненія сельскаго колорита онъ можетъ завести трехъ-четырехъ коровъ и успокоиться на этомъ. Въ результатѣ онъ будетъ свободенъ отъ огорченій и никому не надоѣстъ. И сѣрый человѣкъ,

глядя на него, скажетъ: «вотъ и видно, что настоящій баринъ—живетъ и ничего не дѣлаетъ!»

Тѣмъ не менѣе я не могу не сознаться, что жить въ деревнѣ и не дѣлать деревенскаго дѣла, а только вдыхать ароматы полей, слѣдить за полетомъ ласточекъ, читать братьевъ Гонкуровъ и упитывать себя для предстоящихъ зимнихъ подвоховъ—ужасно совѣстно. Сѣрый человѣкъ хоть и выражается о такомъ субъектѣ: «вотъ настоящій баринъ!» но онъ говоритъ это только до поры до времени. Сѣрый человѣкъ покуда еще ужасно задавленъ, и вслѣдствіе этого обѣщаніе «на водку» дѣйствуетъ на него магически. А «настоящій баринъ» даетъ на водку часто и щедро. Онъ охотно собираетъ въ господской усадьбѣ по праздникамъ сосѣднихъ мужиковъ и бабъ, предоставляя имъ пѣть, плясать и величать себя, «настоящаго барина», и угощаетъ за это пивомъ, водкой и ломтями чернаго хлѣба, а иногда, подъ веселую руку, даже бросаетъ въ толпу разъяренныхъ бабъ пригоршни гривенниковъ. Я положительно не знаю ничего паскуднѣе этого развлеченія (имъ по преимуществу злоупотребляютъ разноплеменные хищники, отдыхающіе лѣтомъ въ своихъ виллахъ), но сѣрый человѣкъ еще охотно фигурируетъ въ немъ въ качествѣ увеселителя. Къ чести человѣчества надо думать, что наступитъ же наконецъ моментъ, когда онъ очнется и пойметъ, какой омерзительный смыслъ заключается въ паскудномъ выраженіи: «на водку», въ которомъ теперь онъ видитъ нѣчто въ родѣ подспорья.

Повторяю: жить въ деревнѣ только въ качествѣ «хорошаго барина» все-таки совѣстно, и потому я былъ очень обрадованъ, когда узналъ, что у культурнаго русскаго человѣка и помимо сельскохозяйственныхъ затѣй можетъ существовать вполнѣ деревенское дѣло, а именно: дѣло совѣта, разъясненія, просвѣщенія и посильной помощи. Сѣрый человѣкъ изнываетъ въ тенетахъ круговой поруки — надо объяснить ему, что задача круговой поруки совсѣмъ не въ томъ заключается, чтобы изнурять, а въ томъ, чтобы представлять очень существенныя гарантіи. Сѣрый человѣкъ погибаетъ подъ игомъ невѣжественности — надо пролить свѣтъ знанія въ эту погибающую среду, надо стараться о разсѣяніи предразсудковъ, страховъ и предубѣжденій. Сѣрый человѣкъ изнемогаетъ отъ нищеты, поборовъ, недостатка питанія, тѣсноты жилищъ — надо сдѣлать для него

доступнымъ дешевый кредитъ и при этомъ дать послѣднему такое направленіе, чтобы помощь его была чувствительна не для однихъ волостныхъ старшинъ, кабатчиковъ и міроѣдовъ, но и для массы дѣйствительно нуждающихся.

Я назвалъ здѣсь очень немного задачъ, но заранѣе соглашаюсь, что ихъ наберутся цѣлыя массы, и притомъ гораздо болѣе существенныхъ. Сказать человѣку толкомъ, что онъ человѣкъ—на одномъ этомъ предпріятіи можетъ изойти кровью сердце. Дать человѣку возможность различить справедливое отъ несправедливаго—для достиженія этого одного можно душу свою погубить. Задачи разъясненія громадны и почти неприступны, но зато какіе изумительные горизонты! Какое восторженное, полное непрерывнаго горѣнія существованіе!

Позвольте однако-жъ. Я говорю здѣсь совсѣмъ не о сподвижничествѣ, а о другомъ. Я говорю о самыхъ обыкновенныхъ представителяхъ культурной массы, о тѣхъ исчадіяхъ городской суеты, для которыхъ деревня составляетъ, наравнѣ съ экипажемъ, хорошимъ поваромъ и проч., одну изъ принадлежностей комфорта или общепризнанныхъ условій приличія—и ничего больше.

Я говорю исключительно объ этихъ людяхъ, потому что покамѣстъ это — единственный разрядъ культурныхъ дѣятелей, состоящій «въ законѣ», и, стало-быть, единственный, котораго дѣйствія и помыслы могутъ быть свободно изслѣдуемы. Все остальное закрыто для насъ завѣсою, за которую заглядывать положительно неудобно, ибо, того гляди, или кого-нибудь введешь въ соблазнъ, или нѣчто потрясешь.

Поэтому останемся же и мы «въ законѣ» и будемъ бесѣдовать лишь о томъ, что̀ доступно нашимъ изслѣдованіямъ.

Я охотно допускаю, что и въ заурядныхъ представителяхъ культурной массы можетъ зародиться жажда просвѣтительнаго деревенскаго дѣла. Добрыхъ, страдающихъ и вообще порядочныхъ людей и въ этой массѣ найдется достаточно. Но дѣло въ томъ, что, по самымъ условіямъ своихъ жизненныхъ преданій, обстановки, воспитанія, культурный человѣкъ на этомъ поприщѣ прежде всего встрѣчается съ вопросомъ: что̀ скажетъ о моей просвѣтительной дѣятельности становой (само собой разумѣется, что здѣсь выраженіе «становой» употреблено не въ буквальномъ смыслѣ)? Я знаю, что вопросъ этотъ смѣшной, и что даже довольно близкіе наши потомки будутъ удивляться самой возможности его постановки, но тѣмъ не менѣе онъ несо-

мнѣнно существуетъ, и человѣкъ, «въ законѣ состоящій», отнюдь не можетъ его миновать. Его постоянно тревожитъ мысль: своевременно или преждевременно? и потому ежели онъ и приступитъ на дѣлѣ къ выполненію своихъ просвѣтительныхъ исползновеній, то или проведетъ ихъ не особенно далеко (по губамъ помажетъ), или же будетъ приспособлять свои дѣйствія ко вкусамъ и идеаламъ станового. И вотъ, вмѣсто того, чтобы узнать, откуда идутъ на него тѣ бичи, которые отъ колыбели до могилы подъѣдаютъ его существованіе, въ видѣ міроѣдовъ, кабатчиковъ, засухъ, градобитій, моровыхъ повѣтрій и проч., сѣрый человѣкъ услышитъ изъ устъ культурнаго человѣка не особенно мудрое и не чуждое сквернословія поученіе о томъ, что первая и главная обязанность есть исполненіе приказаній, а все остальное приложится. Но вѣдь онъ и безъ того слышитъ эти проповѣди ежечасно, ежеминутно и отъ волостного старшины, и отъ сотскаго, и даже отъ кабатчика. И однако до сихъ поръ они не накормили его до-сыта, не дали ему человѣческаго жилища и ни на одинъ волосъ не увеличили его матеріальнаго и духовнаго благосостоянія.

Положимъ однако, что культурный человѣкъ настолько самолюбивъ, что не будетъ справляться со взглядами станового и захочетъ дѣйствовать самостоятельно, даже независимо отъ соображенія, своевременно или преждевременно; но развѣ это отреченіе отъ идеаловъ станового не будетъ съ его стороны только пустою формальностью? Увы!—онъ и самъ весь начиненъ азбучными истинами, онъ и самъ ничего не знаетъ, кромѣ произвольныхъ, на пескѣ построенныхъ афоризмовъ прописной морали. Стало-быть, ежели слова его и будутъ иныя, то дѣло все-таки окажется то же.

Сверхъ того, не надо упускать изъ вида, что культурному человѣку, взлелѣянному на лонѣ эстетическихъ преданій, всегда присуща нѣкоторая гадливость. Понять нужду, объяснить себѣ происхожденіе лохмотьевъ и безкормицы не особенно трудно, но очень трудно возвыситься до той сердечной боли, которая заставляетъ отожествиться съ мірской нуждой и нести на себѣ грѣхи міра сего. Тутъ и художественные инстинкты, столь могущественные въ другихъ случаяхъ, не помогаютъ. Или, вѣрнѣе сказать, помогаютъ наоборотъ, то-есть вселяютъ инстинктивный страхъ и непреодолимое желаніе избѣжать зрѣлища нищеты. Обыкновенно это послѣднее желаніе формулируется болѣе или менѣе прилично: всѣмъ, дескать, не поможешь и всей массы

бѣдности не устранишь! Но понятно, что это—только отговорка, на которую возможенъ одинъ отвѣтъ: «пробуй, дѣлай, что можешь, или уйди, не блазни, не подавай камня тамъ, гдѣ нуженъ хлѣбъ».

Можетъ, впрочемъ, случиться и такъ, что культурный человѣкъ какимъ-нибудь чудомъ всѣ эти препятствія устранитъ, то-есть сумѣетъ одновременно упразднить и идеалы сотскихъ, и эстетику. Однако и за всѣмъ тѣмъ останется обстоятельство, которое ни подъ какимъ видомъ обойти нельзя. Обстоятельство это заключается въ томъ, что главная задача его жизни совсѣмъ не въ деревнѣ, а въ городѣ. Говоря такимъ образомъ, я вовсе не имѣю въ виду посѣтителей шницбаловъ, но и людей дѣйствительно воодушевленныхъ наилучшими намѣреніями и преслѣдующихъ самыя почтенныя интеллектуальныя цѣли. И для нихъ деревня представляетъ только временную арену дѣятельности, къ которой, вдобавокъ, они, въ большинствѣ случаевъ, не имѣютъ никакой практической подготовки. Атмосфера, которою они дышатъ, совсѣмъ не та, которою дышитъ деревня; языкъ, которымъ они говорятъ, не тотъ, которымъ говоритъ деревня; мысли, которыя они мыслятъ, не тѣ, которыя мыслитъ деревня. Поэтому, прежде нежели приступить къ подлинному деревенскому дѣлу, сколько нужно труда, чтобъ опознаться въ условіяхъ дѣятельности, очистить почву, приспособиться, найти отправной пунктъ! Но вотъ наконецъ точка опоры отыскана, а тутъ, какъ на грѣхъ, подкралась осень, и культурный человѣкъ волей-неволей обязывается оставить случайныя задачи, чтобъ всецѣло отдаться задачамъ кореннымъ, а деревня остается въ положеніи той помпадурши, которая, при извѣстіи о низложеніи своего краткосрочнаго помпадура, восклицала: «глупушка! напалилъ и уѣхалъ!».

Нѣтъ, просвѣтительная дорога — не наша дорога. Это— дорога трудная, тернистая, о которой древле сказано: *блюдите да опасно ходите*. Чтобы вступить на эту стезю, надо взять въ руки посохъ, препоясать чресла и, подобно раскольникамъ-«бѣгунамъ», идти впередъ, *вышняго града взыскуя*...

Два лѣта кряду я живу въ своемъ новомъ углу, на берегу Финскаго залива, почти въ виду кронштадтскихъ твердынь. Живу, руководствуясь сейчасъ вышесказанными соображеніями, то-есть не зная ни сельскохозяйственныхъ

затѣй, ни просвѣтительныхъ задачъ. Въ первомъ отношеніи я вполнѣ разсчитываю на сѣраго человѣка, который самъ не доѣстъ, а насъ не оставитъ безъ провіанта; во-второмъ—полагаюсь на земскія управы, которыя, по соглашенію съ начальствомъ, полегоньку да потихоньку, навѣрное, когда-нибудь устроятъ судьбу сѣраго человѣка къ безпечальному концу. Я же, засѣвъ въ своемъ углу, наслаждаюсь пальбою съ кронштадтскихъ твердынь, которая потрясаетъ окна моего Монрепо и которая, собственно говоря, составляетъ единственное здѣсь развлеченіе.

Жизнь моя здѣсь течетъ въ уединеніи и полномъ безмятежіи. Сѣна — мало, жита — и того меньше; зато есть благоустроенный паркъ, въ которомъ родится множество бѣлыхъ грибовъ и въ которомъ можно гулять даже немедленно послѣ дождя. Сверхъ того, есть порядочный сосновый лѣсъ и рѣка, на которой устроена мельница, а слѣдовательно существуетъ и запруда. Однимъ словомъ, было бы даже очень хорошо, если-бъ капельку побольше краснаго солнышка и поменьше вѣтра со стороны «хладныхъ финскихъ скалъ». Помилуйте: въ цѣлое нынѣшнее лѣто я не видалъ стрѣлку флюгера обращенною на югъ, а все на сѣверъ, или еще того хуже—на западъ, потому что ежели сѣверный вѣтеръ приноситъ намъ больше, чѣмъ нужно, прохлады, то западный гонитъ намъ тучи, которымъ иногда по цѣлымъ недѣлямъ конца не видать.

Мѣстность, въ которой расположено сказанное Монрепо—обыкновенная мѣстность ближайшихъ окрестностей Петербурга. Нельзя сказать, чтобъ живописная, чтобъ веселая, но зато несомнѣнно веселонравная. Справа у меня—деревенскій поселокъ, при въѣздѣ въ который стоитъ столбъ и на немъ значится: душъ 24, дворовъ 10. На это не особенно громадное населеніе существуетъ два кабака, которые очень рѣдко пустуютъ. Сверхъ того, съ небольшимъ въ полуверстѣ отъ меня, налѣво, рядомъ съ моей границей, воздвигнутъ третій кабакъ. Вообще кабакамъ въ этой мѣстности посчастливилось. Когда я ѣду на станцію желѣзной дороги, то на пространствѣ четырнадцати верстъ до шоссе (на которомъ уже начинаются высокопоставленныя дачи, и, стало-быть, кабаковъ нѣтъ) встрѣчаю еще четыре кабака. А между тѣмъ мѣстность эта вполнѣ пустынная, и только въ одномъ мѣстѣ, въ сторонѣ, виднѣется довольно большое село, которое, конечно, обладаетъ своими собственными кабаками.

Населеніе здѣсь смѣшанное. Большинство—чухны, меньшинство — не скажу, чтобы совсѣмъ русскіе, а скорѣе какая-то помѣсь. Чухны пьютъ довольно, русскіе — много. Сверхъ того, здѣсь пролегаетъ зимній трактъ въ Кронштадтъ, который тоже не мало способствуетъ процвѣтанію кабаковъ.

Кабакъ—это что-то въ родѣ установленія, омерзительнѣе котораго трудно что-нибудь себѣ вообразить. Вокругъ кабака растетъ одичалое племя, которое отдаетъ кабатчику всю свою душу и которому положительно ни до чего нѣтъ дѣла. А у насъ цѣлыхъ три кабака. Конечно, мужику жить не весело, но какой ужасный коррективъ! Да и пьянство здѣсь какое-то необыкновенное: не шумное, не экспансивное, а сосредоточенное и унылое. Какъ будто исполняется горькая задача, отъ которой никакъ нельзя отбиться. Идетъ человѣкъ по дорогѣ и вертитъ зрачками: это значитъ, что онъ еще бодрится. Прошелъ нѣсколько шаговъ, споткнулся и ужъ хранитъ. Былъ у меня въ прошломъ году мельникъ изъ чухонъ, поистинѣ честный и добропорядочный человѣкъ. Видя, что онъ отъ времени до времени вертитъ зрачками, я пробовалъ его уговорить и, повидимому, даже успѣлъ. Цѣлыхъ два мѣсяца я видѣлъ его постоянно трезвымъ, но вотъ пришла осень, и малый не вытерпѣлъ. Осень здѣсь ужасная, темная, слезливая, завывающая: точно надъ кладбищемъ стонъ стоитъ. Однимъ вечеромъ мельникъ урвался кратчайшимъ путемъ, по лавамъ, брошеннымъ черезъ рѣчку, въ кабакъ и тамъ выполнилъ свою задачу серьезно и безшумно. Возвращаясь тѣмъ же путемъ на мельницу, онъ уже не попалъ на лавы, а шагнулъ прямо въ рѣку и утонулъ. Мѣсто это отстоитъ отъ мельницы въ нѣсколькихъ шагахъ, но никто не слыхалъ криковъ о помощи. Вѣроятно, несчастный даже не понималъ, что тонетъ, а думалъ, что ложится спать.

Повторяю: кабакъ, возведенный въ принципъ, омерзителенъ, но при этомъ оговариваюсь: можетъ-быть, оно такъ надобно. Нужно, быть-можетъ, чтобъ люди вертѣли зрачками и не понимали, куда они ложатся — въ постель или въ рѣку. Почему такъ нужно — этого, конечно, мы не можемъ знать: не наше дѣло.

Благо невѣдущимъ. Знаніе, говорятъ, старитъ, а мы каждочасно молодѣемъ. «Изба моя съ краю, ничего не знаю»—успокоительнѣе этого девиза выдумать нельзя. Особливо ежели жить съ умомъ, то можно даже деньги при

помощи этого девиза нажить. Вотъ, напримѣръ, владѣлецъ двухъ кабаковъ, которые держатъ меня въ осадѣ справа и слѣва,—тотъ только и говоритъ: «не нашего, сударь, это ума дѣло». Говоритъ — и стелетъ да стелетъ кругомъ паутину...

Подражая этому истинному столпу, и я сижу, запершись въ усадьбѣ; зажимаю носъ и уши, зажмуриваю глаза и твержу: не наше дѣло! не наше дѣло! Это — слова могущественныя и отлично разбиваютъ не только сердечную скорбь, но и всякую мысль. Натвердившись вдоволь, можно и на улицу выйти, и уже безъ малѣйшаго волненія смотрѣть, какъ взадъ и впередъ снуютъ подводы, нагруженныя бочками, боченками, бутылями и бутылочками. О чемъ тутъ скорбѣть? На что негодовать? Гораздо пристойнѣе видѣть въ этомъ маятномъ движеніи боченковъ и бутылей только виды внутренней торговли и накопленія богатствъ: хоть сейчасъ садись и пиши статистику. И статистика выйдетъ не безплодная, но полная поучительныхъ выводовъ, изъ которыхъ можно усмотрѣть вполнѣ ясно, гдѣ таятся истинные источники нашего народнаго веселья, нашей силы и мощи: все тамъ, все въ этихъ боченкахъ и бутыляхъ. Не даромъ, во время сербской войны, одинъ кабатчикъ-столпъ потчивалъ «гостей» водкой подъ названіемъ «потреотическая», а другой кабатчикъ-столпъ, соревнуя первому, утвердилъ на «выставкѣ» бутыль съ надписью: «на страхъ врагамъ». И всѣ, которые пили обѣ эти водки, дѣйствительно чувствовали, что имъ море по колѣна...

Да, эти «столпы» знаютъ тайну, какъ содѣлывать людей твердыми въ бѣдствіяхъ, а потому имъ и книги въ руки. Поймите, вѣдь это—тоже своего рода культурные люди, и притомъ не безъ нахальства говорящіе о себѣ: «мы сами оттуда, изъ Назарета, мы знаемъ!» И дѣйствительно, они знаютъ, потому что у нихъ нервы крѣпкіе, взглядъ острый и умъ ясный, не распатанный вольнодумными софизмами. Это даетъ имъ возможность отлично понимать, что по настоящему времени самое подходящее дѣло—это перервать горло.

Одного только не вѣдаютъ: можетъ ли срастись разъ перерванное горло, и ежели не можетъ, то какъ съ этимъ быть?

Не наше дѣло.

Продолжаю начатую матерію о Монрепо. Имѣніе это служитъ наглядымъ примѣромъ производительности культурнаго труда и тѣхъ выгодъ, которыя можно изъ него извлечь.

Нѣкогда оно принадлежало такъ-называемому «хозяину» и, вдобавокъ, еще инженеру, стало-быть, человѣку, не лишенному хотя нѣкоторыхъ прикладныхъ знаній. Владѣлецъ этотъ, очевидно, имѣлъ намѣреніе сдѣлать изъ своего имѣнія «золотое дно». Онъ положилъ основаніе господской мызѣ, выстроилъ не особенно изящный, но крѣпкій и помѣстительный домъ, снабдилъ его службами и скотнымъ дворомъ, развелъ паркъ, плодовый садъ, затѣялъ обширный огородъ (вѣроятно, хотѣлъ изумить міръ капустой и огурцами), устроилъ мельницу, прорѣзалъ всю дачу безчисленными канавами, вслѣдствіе чего она получила видъ шахматной доски, и заключающіеся между канавами участки земли поднялъ и засѣялъ травой. Хлѣба у него высѣвалось тоже достаточно, ежели судить по каменному фундаменту пространной риги, остатки которой уцѣлѣли и понынѣ, а въ особенности по чугуннымъ трубамъ, съ помощью которыхъ нагрѣвалась сушильня и которыя валяются и поднесь. Получалъ ли какіе-нибудь доходы съ этого имѣнія заботливый хозяинъ-землевладѣлецъ — это неизвѣстно; но вѣроятнѣе всего, что не получалъ, а все устраивался и устраивался. Но что несомнѣнно извѣстно—это то, что онъ истратилъ на имѣніе «многія тысячи». И не крѣпостнымъ трудомъ истратилъ, а чистоганомъ, потому что крѣпостной трудъ какихъ-нибудь 21-хъ душъ даже замѣтнымъ подспорьемъ не могъ служить въ такомъ значительномъ предпріятіи. Затѣмъ основатель усадьбы умеръ, и имѣніе начало переходить изъ рукъ въ руки, при чемъ никто продолжительно имъ не владѣлъ. Послѣдній владѣлецъ, отъ котораго мыза, наконецъ, дошла ко мнѣ, тоже, какъ говорятъ, потратился: усовершенствовалъ паркъ, меблировалъ домъ, пытался расчистить нѣкоторыя канавы и проч. Вѣроятно, и тутъ дѣло не обошлось безъ «многихъ тысячъ». А сколько одновременно съ этими «многими тысячами» было потрачено легкомыслія, сколько видѣла эта бѣдная мыза претерпѣнія и ропота, сколько слышала она хульныхъ словъ!..

Мнѣ она досталась, съ расходами по купчей крѣпости и съ издержками по водворенью, въ суммѣ приблизительно до пятнадцати тысячъ рублей. Вотъ чѣмъ разрѣшились и «многія тысячи», и многолѣтнія претерпѣнія. Кажется, краснорѣчивѣе этого факта нельзя себѣ ничего вообразить.

А сколько, сверхъ того, было ухвачено крѣпостныхъ пошлинъ при переходахъ имѣнья изъ рукъ въ руки! сколько

было разсорено денегъ на сводчиковъ и маклеровъ, сколько употреблено суеты и бѣготни при отыскиваніи покупщика!—этого, навѣрное, ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать.

Мнѣ могутъ возразить, что бывшіе владѣльцы все-таки кое-чѣмъ воспользовались, и именно лѣсомъ (нынѣшній лѣсъ не особенно старъ, лѣтъ 30—35-ти, не больше, а есть участки и моложе). Дѣйствительно, громадные пни, встрѣчающіеся на каждомъ шагу, свидѣтельствуютъ, что лѣсу сведено достаточно; но, во-первыхъ, бо́льшая его часть была несомнѣнно употреблена на нужды самаго имѣнія, а во-вторыхъ, ежели двое-трое изъ кратковременныхъ владѣльцевъ (едва ли даже они жили въ имѣніи) и урвали что-нибудь, то, право, сущую бездѣлицу.

Люди, которымъ всегда «до зарѣзу» нужны рублей 100—200, не особенно слѣдятъ за процессомъ ихъ добыванія, лишь бы «зарѣзъ» былъ поскорѣе удовлетворенъ. Такъ было и тутъ, о чемъ даже существуютъ анекдоты, въ которыхъ фигурируютъ, съ одной стороны, культурные люди, съ другой—столпы, удовлетворяющіе этому «зарѣзу», не безъ бо́льзы для себя.

Въ настоящее время, повторяю, это—уголокъ довольно благоустроенный, хотя и не безъ важныхъ недостатковъ, а именно:

Недостатокъ первый: солнце здѣсь такое же скупое, какъ и въ Петербургѣ. Оба проведенныя мною лѣта были въ этомъ смыслѣ очень неудовлетворительны. Въ прошломъ году залили дожди, въ нынѣшнемъ—27-го іюля ударилъ первый морозецъ. Можно ли ожидать въ будущемъ лучшаго лѣта—не знаю, потому что въ Петербургѣ вообще имѣютъ смутное понятіе о благорастворе́ніи воздуховъ. Были, впрочемъ, и для здѣшняго края, очевидно, лучшія времена. Это доказывается довольно большими остовами яблонь, постепенное вымерзаніе которыхъ довершилось лишь недавно. Стало-быть, когда-то здѣсь было возможно разводить яблоки. А нынче, судя по послѣднимъ двумъ годамъ, скоро и простой огурецъ сдѣлается оранжерейнымъ растеніемъ.

Второй недостатокъ: все еще черезъ-чуръ много земли (всего около 160 десятинъ). Конечно, большинство ея находится подъ лѣсомъ, но есть, къ сожалѣнію, и такіе участки, которые «ахъ, кабы эту землю къ рукамъ—кажется, лопатой бы деньги загребалъ!» Какъ ни велико мое

воздержаніе отъ сельскохозяйственныхъ предпріятій, а все-таки нѣтъ-нѣтъ да и поддашься на льстивыя рѣчи. То канавку прочистишь, то поднимешь участочекъ, потому что ежели совсѣмъ бросить, то земля мохомъ прорастетъ, и траву косить будетъ негдѣ. А сѣно нужно, такъ какъ на скотномъ дворѣ стоитъ штукъ до десяти травоядныхъ.

Третій недостатокъ: мельница. Въ нынѣшнемъ году я вынужденъ былъ всю плотину выстроить вновь, и это обошлось мнѣ ровно тысячу рублей, кромѣ бревенъ, которыя были вышлены изъ своего лѣса. Теперь всѣ любуются плотиной и говорятъ: «денегъ не пожалѣли, зато она у васъ на двадцать лѣтъ безъ поправки пойдетъ!» Но извѣстно мнѣ, что года три тому назадъ бывшій владѣлецъ тоже «значительно исправилъ» плотину, и, вѣроятно, ему тоже говорили: «теперь она на двадцать лѣтъ пойдетъ!» А доходъ съ мельницы двоякій: ежели осень мокрая и воды достаточно, то доходъ «не слишнимъ много»; ежели осень сухая, то въ очистку приходится—нуль.

Четвертый недостатокъ: слишкомъ пространенъ огородъ. Поднять его, сдѣлать гряды и потомъ нѣсколько разъ въ лѣто прополоть послѣднія—стоитъ одной поденщиной, не считая постоянныхъ мызныхъ работниковъ, по малой мѣрѣ двѣсти рублей. Да навозу пойдетъ цѣлая уйма, да садовнику въ годъ надо заплатить 360 рублей. А къ концу лѣта получаются и плоды этихъ затратъ. Огурцы, напримѣръ, «принялись-было весело», но вдругъ сдѣлалось «сиверко», и въ тотъ самый моментъ, когда въ Петербургѣ вся Сѣнная завалена огурцами,—у васъ нѣтъ ничего. То же самое и съ цвѣтной капустой: въ августѣ ее всякій столоначальникъ въ Петербургѣ ѣстъ, а въ Монренò показываются въ это время только зародыши и зрѣетъ надежда, что въ сентябрѣ четыре-пять кочней выйдутъ «вполнѣ». Остается, стало-быть, капуста да картофель, овощи серьезныя, не боящіяся непогодъ,—но слыханное ли дѣло съѣсть этого добра на пятьсотъ, шестьсотъ рублей въ годъ!

Однимъ словомъ, происходитъ нѣчто въ высшей степени странное. Земля, мельница, огородъ — все, повидимому, предназначенное самою природой для извлеченія дохода—все это оказывается не только лишнимъ, но и прямо убыточнымъ...

Поэтому истинное пользованіе «своимъ угломъ» и истинное деревенское блаженство начнутся только тогда, когда не будетъ ни луговъ, ни лѣсовъ, ни огородовъ, ни мель-

ницъ. Скотный дворъ можно упразднить, а молоко покупать и лошадей нанимать, что̀ обойдется дешевле и притомъ составитъ расходъ, который заранѣе можно опредѣлить, а слѣдовательно и приготовиться къ нему. Можно упразднить и прислугу, а держать только сторожа и садовника, необходимаго для увеселенія зрѣнія видомъ расчищенныхъ дорожекъ и изящно убранныхъ цвѣтами клумбъ.

Когда все это будетъ достигнуто, культурный человѣкъ можетъ наслаждаться и отдыхать по всей своей волѣ. А ежели надоѣстъ ему отдыхать, то можетъ и заняться тѣмъ дѣломъ, которое ему по душѣ.

Но какое же это дѣло?—вотъ въ чемъ вопросъ.

Странная вещь, но когда встрѣчаешься съ этимъ вопросомъ—дѣлается не только просто совѣстно, но почти тоскливо-совѣстно.

Объясненіе этой тоски, я полагаю, заключается въ томъ, что у культурнаго русскаго человѣка бываютъ дѣла личныя, но нѣтъ дѣлъ общихъ. Личныя дѣла вообще несложны и рѣшаются быстро, безъ особыхъ головоломныхъ думъ; затѣмъ впереди остается громадный досугъ, который рѣшительно нечѣмъ наполнить. Отсюда — скука, незнаніе, куда, чѣмъ занять праздную мысль, куда избыть праздную жизнь. Когда передъ глазами постоянно мелькаетъ пустое пространство, то дѣлается понятнымъ даже отчаяніе.

Повторяю: въ массѣ культурныхъ людей есть уже достаточно личностей вполнѣ добропорядочныхъ, на которыхъ насильственное бездѣйствіе лежитъ тяжелымъ ярмомъ и которыя тѣмъ сильнѣе страдаютъ, что не видятъ конца снѣдающей ихъ тоскѣ. Чувствовать одиночество, сознавать себя лишнимъ на почвѣ общественныхъ интересовъ, право, нелегко. Отъ этого горькаго сознанія можетъ закружиться голова, но, сверхъ того, оно очень близко граничитъ и съ полнымъ равнодушіемъ.

Чтобы читать книжку, слѣдить за наукой, литературой и искусствомъ—для всего этого нѣтъ никакой надобности въ своемъ собственномъ углѣ, и въ особенности на берегу Финскаго залива. Гораздо болѣе удобствъ въ этомъ смыслѣ представляютъ Эмсы, Баденъ-Бадены, Трувили, Буживали, Лозанны и проч.

Для чего культурному человѣку изнывать въ какихъ-то сумеркахъ, лишенныхъ свѣта и тепла, когда тѣ задачи, преслѣдованіе которыхъ ему доступно, онъ можетъ вполнѣ

удобно переносить съ собой въ такія мѣстности, въ которыхъ вдоволь и тепла, и свѣта? Для чего онъ будетъ выносить въ своей Заманиловкѣ тьмы темъ всякаго рода лишеній и неудобствъ, когда при тѣхъ же матеріальныхъ затратахъ онъ можетъ «въ другомъ мѣстѣ» прожить безъ мучительной заботы о томъ, позволитъ ли подоспѣвшій сѣнокосъ послать завтра въ городъ за почтой?

Человѣкъ—животное общественное, а въ Заманиловкѣ онъ обязывается временно одичать; человѣкъ—животное плотоядное, а въ Заманиловкѣ онъ обязывается сдѣлаться отчасти млекопитающимъ, отчасти травоядным. Наконецъ Заманиловка заставляетъ его нуждаться въ услугахъ множества лицъ, что въ высшей степени непріятно щекочетъ совѣсть. И къ довершенію всего, передъ глазами—пустое пространство.

Вникните въ это положеніе, и вы должны будете сознаться, что оно поистинѣ мрачно. Есть натуры очень строптивыя и упорно-любящія, въ которыя червь равнодушія заползаетъ лишь послѣ долгой борьбы, но и тѣ въ концѣ концовъ уступаютъ. Капля точитъ камень.

И вотъ передъ этими людьми встаетъ вопросъ: искать другихъ небесъ. Тамъ они тоже будутъ чужіе, но зато тамъ есть настоящее солнце, есть тепло, и уже рѣшительно не нужно думать ни о сѣнѣ, ни о житьѣ, ни объ огурцахъ. Гуляй, свободный и безпечный, по зеленымъ паркамъ и лѣсамъ, и ежели есть охота, то рѣшай въ головѣ судьбы человѣчества.

Я высказываю здѣсь далеко не все, что можно было бы сказать объ этомъ предметѣ; я поднимаю только малѣйшій уголъ завѣсы, скрывающій безконечную перспективу, но увѣряю—отъ одной мысли объ этой перспективѣ становится неловко.

Какъ-то ничто не спорится намъ, и каждый нашъ успѣхъ почему-то оказывается фиктивнымъ. Двоегласіе очевидно, и оно невольно заставляетъ предполагать, что рядомъ съ успѣхомъ идетъ нѣчто такое, что тутъ же, сейчасъ же подрываетъ его.

Въ чемъ же однако-жъ бѣда? откуда она идетъ и почему надъ нами стряслась?

Но тутъ я долженъ поставить точку и закончить словами, которыя покамѣстъ на всякій вопросъ представляютъ наиболѣе подходящій отвѣтъ, а именно: не наше дѣло.

II.—Тревоги и радости въ Монрепо.

Мы живемъ среди полей
И лѣсовъ дремучихъ...

Нынѣшней осенью, живя въ Монрепо, я былъ неожиданно взволнованъ: въ наше село переводили становую квартиру...

Въ деревнѣ подобныя извѣстія всегда производятъ переполохъ. Хорошо ли, худо ли живется при извѣстной обстановкѣ, но все-таки какъ-нибудь да живется. Это «какъ-нибудь»—великое дѣло. У меньшей братіи оно выражается словами: «живы—и то слава Богу!» у культурныхъ людей—сладкою увѣренностью, что чаша бѣдствій выпита ужъ до дна. И вдругъ: нѣтъ! имѣется наготовѣ и еще цѣлый ушатъ. Какъ тутъ быть: радоваться или опасаться?

Въ настоящемъ случаѣ поводы радоваться несомнѣнно существовали. До сихъ поръ мы жили совсѣмъ безъ начальства, какъ овцы безъ пастыря. Натурально, блуждали и даже заблуждались. Некому было пожаловаться, не у кого искать защиты. Особливо намъ, культурнымъ людямъ, приходилось плохо. Работникъ загуляетъ или заспоритъ въ разсчетѣ—какъ съ нимъ разсудиться? Въ лѣсу пропадетъ дерево или въ огородѣ срѣжутъ кочанъ капусты—къ кому взывать объ отмщеніи? А съ мальчишками сельскими такъ просто сладу нѣтъ: обнеситесь отъ нихъ рѣшеткой—они подъ рѣшеткой лазы сдѣлаютъ; обройтесь канавой—черезъ недѣлю вся канава изукрасится тропами. Какъ тутъ быть? Мировой судья судитъ отъ насъ въ двадцати пяти верстахъ; становой приставъ живетъ гдѣ-то ужъ совсѣмъ за болотами, такъ что легче въ Парижъ съѣздить, чѣмъ до него добраться. Сотскіе—мирволятъ; волостной старшина—тотъ на всѣ жалобы только икаетъ: «мнѣ, дескать, до васъ, культурныхъ людей, дѣла нѣтъ!» Въ виду всего этого мнѣ и самому не разъ-таки приходило въ голову: «вотъ кабы становой былъ поближе, тогда...» Стало-быть, теперь, когда желаніе мое было осуществлено, я имѣлъ, повидимому, полное основаніе считать себя довольнымъ и осчастливленнымъ.

Но были поводы и для опасеній, и прежде всего—неизвѣстность. Конечно, я имѣлъ о становомъ достаточно отчетливое понятіе, но о становомъ до-реформенномъ, котораго и въ глаза, и за глаза называли «куроцапомъ». Въ мѣст-

ностяхъ, изобиловавшихъ культурными людьми, это было существо вполнѣ жалкое, въ потертомъ вицмундирѣ съ дрожащими сзади фалдочками, съ воспаленными отъ дорожной пыли глазами, съ физіономіей, замасленной какъ блинъ и не имѣвшей никакого иного выраженія, кромѣ готовности во всякую минуту проглотить рюмку водки. И какъ дополненіе къ нему—становиха, сухая какъ щепка, вслѣдствіе безпрерывныхъ беременностей, но и за всѣмъ тѣмъ беременная. Такого станового, разумѣется. опасаться было нечего. Но вѣдь съ тѣхъ поръ много воды утекло. Говорятъ, будто становымъ новые мундиры пошили, и съ тѣхъ поръ будто бы они приняли въ свое завѣдываніе основы и краеугольные камни. И еще говорятъ, будто они, «яко боги», получили даръ читать въ сердцахъ человѣческихъ, и что, вслѣдствіе сего, ежели прочтутъ въ чьемъ сердцѣ обращенное къ нимъ слово «куроцапъ», то сейчасъ же дѣлаютъ соотвѣтствующее распоряженіе. А наконецъ нѣкоторые утверждаютъ, что они самымъ названіемъ «становой приставъ» уже начинаютъ тяготиться, признавая его не исчерпывающимъ всего содержанія ихъ дѣятельности, и ходатайствуютъ, чтобы имъ присвоенъ былъ такой титулъ, который прямо говорилъ бы о сердцевѣдѣніи, и чтобы въ сообразность съ нимъ было, разумѣется, увеличено и самое содержаніе. Я не знаю, насколько эти слухи заслуживаютъ вѣроятія, но если вѣрно изъ нихъ хоть одно то, что становымъ дали новую обмундировку, то и тогда уже надо держать ухо востро. Что будетъ, если «онъ», вмѣсто того, чтобы ограждать мои луга отъ потравы, начнетъ читать въ моемъ сердцѣ? Прочтетъ одну страницу, помуслитъ палецъ, перевернетъ, прочтетъ другую и такъ далѣе до конца?

Въ виду этихъ сомнѣній я припоминалъ свое прошлое—и на всѣхъ его страницахъ явственно читалъ: куроцапъ! Затѣмъ я обращался къ настоящему и пробовалъ читать, что̀ *теперь* написано въ моемъ сердцѣ; но и здѣсь ничего, кромѣ того же самаго слова, не находилъ! Какъ будто все мое міросозерцаніе относительно этого предмета выразилось въ одномъ этомъ словѣ, какъ будто ему суждено было не только заполонить прошлое, но и на мое настоящее и будущее наложить неистребимую печать!

Я испугался. Уныло ходилъ я по аллеямъ своего парка и инстинктивно перебиралъ въ умѣ названія различныхъ, болѣе или менѣе отдаленныхъ, городовъ. Потомъ пошелъ на мельницу, но и тамъ шумъ бѣгущей воды навѣялъ на

меня унылыя мысли. «Жизнь человѣческая,—думалось мнѣ:— подобна этой водѣ. Сейчасъ мы видимъ ее заключенною въ бассейнѣ, а черезъ моментъ она уже устремляется въ пространство... куда?» Потомъ пошелъ по рѣкѣ къ тому мѣсту, гдѣ вчера еще стояла полуразрушенная бесѣдка, и, увидѣвъ, что за ночь вѣтеръ окончательно разметалъ ее, воскликнулъ: — Быть-можетъ, подобно этой бесѣдкѣ, и моя полуразрушенная жизнь...

Однимъ словомъ, какая-то неопредѣленная тоска овладѣла всѣмъ моимъ существомъ. Иногда въ умѣ моемъ даже мелькала кощунственная мысль: «а вѣдь безъ начальства, пожалуй, лучше!» И что всего несноснѣе: чѣмъ усерднѣе я гналъ эту мысль отъ себя, тѣмъ назойливѣе и образнѣе она выступала впередъ, словно дразнила: лучше! лучше! лучше! Наконецъ я не выдержалъ и отправился на село къ батюшкѣ, въ надеждѣ, что онъ не оставитъ меня безъ утѣшенія.

Батюшка уже былъ извѣщенъ о предстоящей перемѣнѣ и какъ разъ въ эту минуту бесѣдовалъ объ этомъ дѣлѣ съ матушкой. Оба не знали за собой никакой вины и потому не только не сомнѣвались, подобно мнѣ, но прямо радовались, что и у насъ на селѣ заведется свой jeune homme. Такъ что когда я, послѣ первыхъ привѣтствій, нарисовалъ передъ ними образъ станового пристава въ томъ видѣ, въ какомъ онъ сложился на основаніи моихъ до-реформенныхъ воспоминаній, то они даже удивились.

— Помилуйте! да вы о комъ это говорите?—воскликнулъ батюшка:—навѣрно про Савву Оглашеннаго (былъ у насъ, въ древности, такой становой, который вполнѣ заслужилъ это прозвище) вспоминаете? Такъ это при царѣ Горохѣ было, а нынче не такъ! Нынѣшняго станового отъ гвардейца не отличишь—вотъ какъ я вамъ доложу! И мундирчикъ, и кепи, и бѣлье! Одно слово, во всѣхъ статьяхъ драгунскій офицеръ!

— А какой у нашего новаго станового образъ мыслей! —томно присовокупила матушка, закатывая глаза.

Признаюсь, я не безъ волненія слушалъ эти похвалы, потому что онѣ подтверждали именно то, чего я боялся. Въ особенности напоминаніе объ «образѣ мыслей» встревожило меня.

— Говорятъ, будто онъ будетъ въ сердцахъ читать?— робко спросилъ я:—правда ли это?

— Всенепремѣнно-съ.

— Помилуйте! да что же онъ тамъ прочтетъ?

— Что написано, то и прочтетъ. Ежели у кого написано: «не похваляется»—онъ и въ ремарку такъ занесетъ; а ежели у кого въ сердцѣ видится токмо благое поспѣшеніе—онъ и въ ремаркѣ напишетъ: «аттестуется съ похвалой!»

— Батюшка! да какъ же это? вѣдь онъ куроцапъ...

Батюшка удивленно вскинулъ на меня глазами и даже слегка помычалъ.

— Это прежде куроцапы были, а по нынѣшнему времени такихъ титуловъ не полагается,—холодно замѣтилъ онъ.—Но ежели бы и доподлинно такъ было, то для имѣющаго чистое сердце все равно, кому его на разсмотрѣніе предъявлять: и «куроцапъ», и «не-куроцапъ» одинаково найдутъ его чистымъ и одобренія достойнымъ! Вотъ ежели у кого въ сердцѣ свило себѣ гнѣздо злоумышленіе...

Батюшка остановился: онъ понялъ, что не великодушно добивать колкостями и безъ того уже убитаго человѣка, и съ видимымъ участіемъ спросилъ:

— Развѣ чувствуете какую-либо вину за собой?

Вопросъ этотъ смутилъ меня. И прежде не разъ мелькалъ онъ передо мной, но какъ-то въ туманѣ; теперь же, благодаря категорическому напоминанію батюшки, онъ вдругъ предсталъ во всей своей наготѣ.

— Бывало...—отвѣтилъ я уклончиво.

— Напримѣръ?

— Да вообще... вся жизнь... Вотъ хоть бы «филантропіи» эти... Конечно, до меня еще не добрались, а было и со мной... Занимался. Какъ вы думаете, повредитъ это мнѣ?

— Смотря по тому. Разныя «филантропіи» бываютъ: и *доброкачественныя*, и *недоброкачественныя*. За первыя—похвала, за вторыя—взысканіе.

— То-то и есть, что я самъ своихъ «филантропій» не разберу. Прежде мнѣ казалось, что онѣ доброкачественныя, а вотъ теперь... Напримѣръ, такая мысль: хотя свобода есть драгоцѣннѣйшій даръ Творца, но она можетъ легко перейти въ анархію, ежели не обставлена: въ настоящемъ — уплатой оброковъ, а въ будущемъ — взносомъ выкупныхъ платежей. Эту мысль я зарубилъ у себя на носу еще во время особожденія крестьянъ и, я помню, былъ даже готовъ принять за нее мученическій вѣнецъ. Какъ вы полагаете, какова эта «филантропія»? доброкачественная или недоброкачественная?

— По-моему — доброкачественная! Только вотъ «свобода»... Небольшое это слово, а разговору изъ-за него много бываетъ. Свобода! гм!.. что такое свобода?! То-то вотъ и есть... Не было ли и еще чего въ этомъ родѣ?

— Было и еще. Когда объявили свободу вину, я опять не утерпѣлъ и за филантропію принялся. Проповѣдывалъ, что съ виномъ слѣдуетъ обходиться умненько: сначала въ день одну рюмку выпивать, потомъ двѣ рюмки, потомъ стаканъ, до тѣхъ поръ, пока долговременный опытъ не покажетъ, что пьяному море по колѣна. Въ то время кабатчики очень на меня за эту проповѣдь роптали.

Батюшка слегка поморщился.

— Какъ вамъ сказать? — произнесъ онъ: — большой недоброкачественности и въ этомъ не видится, а есть однако... Откровенно вамъ доложу: на вашемъ мѣстѣ я бы кабатчиковъ не трогалъ. Почему бы не трогалъ?—а потому, сударь, что кабатчикъ, по нынѣшнему времени, есть столпъ. Прежде были столпы-помѣщики, а нынче столпы-кабатчики. Поэтому я бы и не трогалъ ихъ.

— Но вѣдь по существу...

— По существу—это точно, что особенной вины за вами нѣтъ. Но кабатчики... И опять-таки повторю: свобода... Какая свобода и что оною достигается? Въ какой мѣрѣ и на какой конецъ? Во благовременіи или не во благовременіи? Откуда и куда? Вотъ сколько вопросовъ предстоитъ разрѣшить! Начни-ка ихъ разрѣшать — пожалуй, и въ Сибири мѣста не найдется! А ежели бы вы, въ то время, вмѣсто «свободы»-то просто сказали: «улучшеніе, молъ, быта»—и дѣло было бы понятное, да и вы бы на замѣчаніе не попали!

— Но кто же могъ это предвидѣть? Кто могъ думать, что когда-нибудь становые будутъ читать въ сердцахъ?

— Мудрый все предвидитъ. Мудрый такъ поступаетъ: что ему нужно — выскажетъ, а себя подсидѣть — не допуститъ. Мудрый, доложу вамъ, даже отъ слова «филантропія» воздержится, а просто скажетъ: «благое, съ дозволенія начальства, поспѣшеніе»—и конченъ балъ!

Батюшка остановился и не то укоризненно, не то съ участіемъ покачалъ на меня головой.

— Впрочемъ,—продолжалъ онъ:—ежели настоящимъ манеромъ разъяснить и притомъ съ раскаяніемъ...

— Да вы, батюшка, со становымъ-то знакомы? — ухватился за эту мысль я.

— Знакомъ достаточно. Малый отличнѣйшій! Молодой человѣкъ, конечно и все такое... Строгонекъ, конечно, но... съ понятіемъ.

— Такъ вотъ бы вы... Постарайтесь ужъ, батюшка! вѣдь тутъ вся штука въ томъ, чтобъ дѣло было представлено въ надлежащемъ видѣ.

Къ моему удовольствію, батюшка согласился на мою просьбу. Онъ не взялся, конечно, отстоять мою абсолютную правду, но обѣщалъ защитить меня отъ злостныхъ преувеличеній, къ которымъ навѣрное не усомнятся прибѣгнуть кабатчики, чтобы очернить меня передъ начальствомъ. Съ своей стороны, я вспомнилъ, что нынѣшней осенью мнѣ прислали сотню кустовъ какой-то неслыханной земляники, и предложилъ матушкѣ въ будущемъ году отдѣлить нѣсколько молодыхъ отростковъ для ея огорода.

На селѣ, видимо, ждали. Кабатчики чистились и старались сообщить своимъ выставкамъ изящный видъ. Однажды, проходя мимо меня, кабатчикъ Прохоровъ (онъ же по воскресеньямъ и праздникамъ открывалъ у себя сельскій танцклассъ) бойко приподнялъ картузъ и поздравилъ:

— Съ начальствомъ-съ!

— Не боитесь?

— Напротивъ-съ. Даже съ надеждою ожидаемъ.

Я достаточно на своемъ вѣку встрѣчалъ новыхъ губернаторовъ и другихъ сильныхъ міра, но никогда у меня сердце не ныло такъ, какъ въ эти дни. Почему-то мнѣ вдругъ показалось, что здѣсь, въ этой глуши, со мной все можно сдѣлать: посадить въ холодную, вывоpотить наизнанку, истолочь въ ступѣ. Разумѣется, предварительно завинивъ въ измѣнѣ, что, при умѣньи бойко читать въ сердцахъ, сдѣлать очень нетрудно. Поистинѣ никогда я такого скверпаго чувства не испытывалъ.

Я понималъ, что я—россійскій дворянинъ, но и только. Затѣмъ я искалъ кругомъ себя тына или ограды, къ которымъ можно бы, въ случаѣ нужды, прислониться—и не находилъ. Я не состоялъ на службѣ — слѣдовательно съ этой стороны защиты не имѣлъ. Я не пользовался громкимъ титуломъ — слѣдовательно никого не могъ пугнуть высокопоставленными связями. Я не былъ особенно богатъ—слѣдовательно никто не надѣялся, что я, подъ веселую руку, созову у себя во дворѣ толпу мужиковъ и

бабъ, заставлю ихъ пѣть и водить хороводы, и первымъ поднесу по стакану водки, а вторыхъ—одѣлю пряниками. Кромѣ того, я никого не ограбилъ, контрактовъ на продовольствіе арміи и флотовъ не заключалъ, ничьимъ имуществомъ насильственно не завладѣлъ и даже ни у кого ничего на законномъ основаніи не оттягалъ—слѣдовательно никому не внушилъ ни страха, ни уваженія. Это было до такой степени омерзительно, что многимъ казалось даже страннымъ: зачѣмъ я живу? И уже навѣрное всякому думалось: «вотъ кабы на мѣсто этого разслабленнаго да поселился въ Монрепо лихой купчина Разуваевъ (мой сосѣдъ по имѣнію), то-то бы веселье у насъ пошло!» Но этого мало. Вмѣсто того, чтобы какъ можно безповоротнѣе позабыть, что я россійскій дворянинъ, я съ удивительною назойливостью объ этомъ помнилъ. Я сохранилъ вкусъ къ разведенію садовъ и парковъ, что уже само по себѣ свидѣтельствуетъ о заносчивости; но, сверхъ того, я не «якшался» и—говорятъ даже—выказывалъ наклонность «задирать носъ». Существовалъ ли этотъ послѣдній фактъ въ дѣйствительности—по совѣсти, я ни отвергнуть, ни утвердить этого не могу, но, вѣроятно, въ самой моей отчужденности («неякшанія») было что-нибудь такое, что давало поводъ обвинять меня и въ «задиранія носа». И, разумѣется, это еще больше раздражало: «мразь, а тоже, какъ мышь на крупу надувается!» — въ одинъ голосъ твердили столпы-кабатчики.

Оголтѣлый, отживающій, больной, я сидѣлъ въ своемъ углу, мысленно разрѣшая вопросъ: можетъ ли существовать положеніе болѣе анаѳемское, нежели положеніе россійскаго дворянина, который на службѣ не состоитъ, ни княжескимъ, ни маркизскимъ титуломъ не обладаетъ, не заставляетъ бабъ водить хороводы и, въ довершеніе всего, не имѣетъ достаточно денегъ, чтобы переселиться въ городъ и тамъ жить припѣваючи на глазахъ у вышняго начальства.

Я ни въ земство, ни въ мировой институтъ не попалъ, и не только не попалъ, но ни разу даже не полюбопытствовалъ, что дѣлается на съѣздахъ. Какъ-то всегда мнѣ казалось, что не зачѣмъ мнѣ тамъ быть, что я ни курить опіамъ, ни показывать кукишъ въ карманѣ, ни устраивать мосты и перевозы — одинаково неспособенъ, а сталобыть...

Повторяю: никто не могъ ясно себѣ представить, зачѣмъ

я живу, и вслѣдствіе этого многіе думали и думаютъ, что я злоумышляю.

За всѣмъ тѣмъ, я не только живу, но и хочу жить, и даже, мнѣ кажется, имѣю на это право. Не одни умные имѣютъ это право, но и дураки; не одни грабители, но и тѣ, коихъ грабятъ. Пора наконецъ убѣдиться, что ежели отнять право на жизнь у тѣхъ, которыхъ грабятъ, то въ концѣ концовъ некого будетъ грабить. И тогда грабители вынуждены будутъ грабить другъ друга, а кабатчики—самолично выпивать все свое вино.

Я хочу жить, несмотря на то, что каждоминутно нахожусь въ ожиданіи, что вотъ-вотъ меня нѣчто слопаетъ. Что именно слопаетъ — я даже не стараюсь догадываться, а прямо огуломъ думаю: «все можетъ слопать». Ожиданіе это держитъ меня въ хроническомъ безпокойствѣ, заставляетъ смотрѣть на существованіе, какъ на что-то до крайности постылое, и все-таки не убиваетъ во мнѣ жажды жизни. Ахъ, эта проклятая жажда жизни! Какимъ образомъ она такъ крѣпко укореняется въ человѣкѣ—я рѣшительно не понимаю, но хочу жить, хочу! Все думается, что какъ-нибудь да вывернусь, то-есть получу возможность приходить въ разрушеніе постепенно, самъ собою, въ силу естественнаго хода вещей... (Какой, однако-жъ, идеалъ!) А еще больше думается (и, сознаюсь, не безъ сладкаго трепета думаѣтся), что когда-нибудь купецъ Разуваевъ, выведенный изъ терпѣнія задираніемъ моего носа, вдругъ вынетъ изъ кармана кушъ и скажетъ: «получай и уйди съ глазъ долой!» Господи! вотъ кабы... Какъ бы однако-жъ Разуваеву при этомъ невзначай не нагрубить — вѣдь онъ, канальи, самолюбивъ! Онъ—самолюбивъ, и я—самолюбивъ; онъ потребуетъ, чтобъ я колѣнцо передъ нимъ выкинулъ; а я—за это ему въ шею! Нѣтъ, ужъ такъ и быть, вытерплю! все вытерплю, даже колѣнцо выкину, лишь бы... И тогда, заполучивъ кушъ, уйду, уйду навсегда! поселюсь въ городѣ, запишусь членомъ въ клубъ и буду каждый вечеръ забавляться въ табельку по четверти копейки за пунктъ.

Весь преданный тревогѣ въ ожиданіи начальства, я невольно спрашивалъ себя: «почему же *прежде* никогда этого со мной не бывало? почему я *прежде* не сомнѣвался въ себѣ, а *теперь*—сомнѣваюсь? почему я *прежде* не предполагалъ, чтобы что-нибудь могло меня слопать, а *теперь*— не только предполагаю, но и всечасно того ожидаю?» И, по зрѣломъ размышленіи, долженъ былъ дать такой от-

вѣть: «потому что прежде не было раздѣленія людей на благонамѣренныхъ и неблагонамѣренныхъ, на благонадежныхъ и неблагонадежныхъ».

Понятій такихъ не было: а потому и лицъ, которымъ удобно было бы взвалить на плеча качества, соединенныя съ этими понятіями, не существовало. Была одна маршировка.

Никто не могъ себѣ представить, чтобы на всемъ лицѣ россійской имперіи нашелся человѣкъ, которому можно было бы сознательно присвоить титулъ неблагонамѣреннаго или политически-неблагонадежнаго лица. Не упоминалось ни объ основахъ, ни о краеугольныхъ камняхъ, а слѣдовательно не могло быть и рѣчи ни о подкапываніяхъ, ни о потрясеніяхъ. Все такъ естественно стояло на своемъ мѣстѣ, что никому не приходило даже въ голову полюбопытствовать, что̀ тутъ такое стоитъ. Не было повода любопытствовать, да и прихотливыхъ людей почти совсѣмъ не существовало. Всякій проходилъ мимо самыхъ несомнѣнныхъ краеугольныхъ камней точно такъ же бездумно, какъ бездумно проходитъ любой маленькій чиновникъ свой ежедневный крестный путь отъ Песковъ до Главнаго Штаба или Сената. Для этого чиновника достаточно, что улица, по которой онъ проходилъ вчера, существуетъ и нынѣ, и что она, по вчерашнему же, съ обѣихъ сторонъ ограничена домами — стало-быть, нѣтъ резона не существовать ей и завтра, и послѣ-завтра, и такъ далѣе безъ конца.

Бывали, правда, и въ то время казнокрады, вымогатели, взяточники, бывали даже люди, позволявшіе себѣ носить волосы болѣе длинные, чѣмъ нужно. Но это были лишь отдѣльныя разновидности одной и той же семьи, существованіе которыхъ не компрометировало ни основъ, ни краеугольныхъ камней. Или, лучше сказать, это были случайные носители «злой воли», которые и наказывались, сколько кому надлежитъ, ежели не умѣли хоронить концы въ воду. «Ты казнокрадъ—шествуй въ Сибирь; ты отростилъ гриву — садись на гауптвахту». Но о краеугольныхъ камняхъ не упоминалось, обобщеній не дѣлалось, и стремленія группировать людей на какія-то мнимыя сословія («охранителей» и «прогрессистовъ», какъ нѣкогда выразился академикъ Безобразовъ)—не существовало.

Понятно, что при такой простотѣ воззрѣній за-глаза достаточно было и куроцаповъ, чтобы удовлетворять всѣмъ

потребностямъ благоустройства и благочинія. Въ ихъ вѣдѣніи была маршировка; а такъ какъ въ то время все было такъ подстроено, что всякій маршировалъ самъ собой, то куроцаны не суетились, не нюхали, но просто взимали дани, а въ прочее время пили безъ просыпу.

Но по мѣрѣ нашего соціальнаго и интеллектуальнаго развитія глаза наши все больше и больше раскрывались. И наконецъ раскрылись до того широко, что мы всю Россію подѣлили на два лагеря: въ одномъ — благонамѣренные и благонадежные, въ другомъ — неблагонамѣренные и неблагонадежные. А такъ какъ это дѣленіе послѣдовало не на основаніи твердыхъ фактическихъ изслѣдованій, а просто явилось отвѣтомъ на требованіе темперамента, взбудораженнаго преимущественно крестьянской реформой, то весьма естественно, что на первыхъ же порахъ произошла путаница.

Наружныхъ признаковъ, при помощи которыхъ можно было бы сразу отличить благонамѣреннаго отъ неблагонамѣреннаго — нѣтъ; ожидать поступковъ — и мѣшкотно, и скучно. А между тѣмъ взбудораженный темпераментъ не даетъ ни отдыха, ни срока, и все подсказываетъ: ищи! Пришлось сказать себѣ, что въ этой крайности имѣется одинъ только способъ выйти изъ затрудненія—это сердцевѣдѣніе.

Явился запросъ на сердцевѣдѣніе — явились и сердцевѣды. Мало того, явились и помощники сердцевѣдовъ изъ числа охочихъ людей, публицисты, кабатчики, мелкіе торгаши, старшины, писаря, церковники...

Все это я выяснилъ себѣ очень хорошо, но, къ сожалѣнію, никакой пользы отъ этихъ разъясненій для себя не извлекъ. Главное, у меня не было увѣренности, что я самъ-то благонамѣренный. То-есть, я-то собственно очень твердо понималъ себя таковымъ, но не зналъ, какъ оно выйдетъ передъ судомъ сердцевѣдѣнія.

Что я имѣлъ поводъ питать въ этомъ отношеніи сомнѣнія—въ этомъ убѣждалъ меня батюшка. Даже и онъ отозвался обо мнѣ какъ-то на-двое. Сначала сказалъ: «доброкачественно», а потомъ присовокупилъ: «только вотъ свобода...» Только? И это, такъ сказать, съ перваго взгляда, а что же будетъ, если поискать вплотную? Да, «мудрый» такъ не поведетъ дѣла, какъ я его велъ! «Мудрый» покажетъ, что нужно — и сейчасъ въ кусты! А я? Впрочемъ, что же я, въ самомъ дѣлѣ, такое сдѣлалъ?

И ничего, и очень много—какъ посмотрѣть! И пятнадцать лѣтъ тому назадъ, и какъ будто только вчера—тоже какъ посмотрѣть. Тысяща лѣтъ яко день единъ — для такихъ проказъ, пожалуй, и давности не полагается. «Свобода»!—право, даже смѣшно! Какъ это языкъ у меня повернулся? какъ онъ не отсохъ? А главное, какъ мнѣ не пришло въ голову замѣнить «свободу»—улучшеніемъ быта? А теперь расплачивайся!

И вотъ, несмотря на обнадеживанія батюшки, я безпокойно скитался по аллеямъ своего парка—и сравнивалъ. Сравнивалъ прошедшее съ настоящимъ, маршировку съ сердцевѣдѣніемъ. И дошелъ наконецъ да такого абсурда, что склонился на сторону маршировки...

Наконецъ, однажды, поздно вечеромъ, ко мнѣ на мызу прибѣжалъ батюшка и возвѣстилъ: «пріѣхалъ!»

Явился вопросъ объ этикетѣ: кому сдѣлать первый шагъ къ сближенію? И у той, и у другой стороны права были почти одинаковы. У меня было богатое дворянское прошлое, но зато настоящее было плохо и выражалось единственно въ готовности во всякое время слѣдовать, куда глаза глядятъ. У «него», напротивъ, богатое настоящее (всемогущество, сердцевѣдѣніе и проч.), но зато прошлое резюмировалось въ одномъ словѣ: куроцапъ! Надо было устроить дѣло такъ, чтобы ничьему самолюбію не было нанесено обиды.

По всестороннемъ обсужденіи, мы остановились на слѣдующемъ планѣ. И я, и «онъ» сойдемся въ домѣ батюшки. Завтра, въ одиннадцать часовъ утра, я, *какъ будто гуляя*, зайду къ батюшкѣ, а въ то же время и «онъ», *какъ будто гуляя*, придетъ туда же. И такимъ образомъ произойдетъ пріятный сюрпризъ.

Вотъ именно такъ и случилось: безъ шума, безъ пререканій, легко, пріятно. Батюшка былъ правъ: нашъ становой не только не напоминалъ собой Савву Оглашеннаго, но даже и на станового почти совсѣмъ не походилъ. Это былъ человѣкъ лѣтъ тридцати, сухощавый, легкій на ногу, съ манерами настолько добропорядочными, что, казалось, онъ даже понятія не имѣлъ о сквернословіи. Мундирчикъ (совсѣмъ неожиданнаго для меня покроя) сидѣлъ на немъ какъ вылитый, дѣлая на таліи ловкій перехватъ; мнѣ показалось даже, что онъ стукнулъ шпорами, когда я вошелъ. По-французски онъ не говорилъ, но нѣкоторыя русскія

слова произносилъ въ носъ и этимъ вводилъ въ заблужденіе. Сверхъ того, онъ помадилъ волосы и—что всего трогательнѣе—назывался Миліемъ Васильевичемъ Граціановымъ.

Отнесся онъ ко мнѣ отлично; выразился, что давно искалъ случая со мной познакомиться, и хотя условно, но все-таки призналъ за мной нѣкоторыя литературныя заслуги. Но при этомъ, разумѣется, слегка пожурилъ за то, что я, въ первое время моей литературной дѣятельности, слишкомъ обобщилъ понятіе о куроцапствѣ и даже приписывалъ ему какое-то почти должностное значеніе.

— Быть-можетъ, и въ настоящую минуту, видя меня, вы мысленно восклицаете: «вотъ куроцапъ!» — прибавилъ онъ, словно угадывая, что̀ происходило въ глубинахъ моего сердца.

Это было не въ бровь, а прямо въ глазъ, такъ что если бы онъ вздумалъ дать своему вопросу дальнѣйшее развитіе, то я навѣрное бы во всемъ сознался. Но онъ очень мило скользнулъ по моей душевной ранѣ и перешелъ къ другимъ предметамъ. Чрезвычайно умно и тонко отозвался о распоряженіяхъ губернскаго начальства, но не раболѣпствовалъ заочно, а, напротивъ, заявилъ, что само начальство «отъ насъ» раболѣпства не требуетъ. Сообщилъ, что, по иниціативѣ исправника, становые разъ въ мѣсяцъ собираются въ уѣздный городъ для обмѣна мыслей. На собраніяхъ этихъ, разумѣется, прежде всего читаются указы и предписанія и обсуждаются мѣры къ быстрому, точному и единообразному ихъ выполненію, но, кромѣ того, возбуждаются и нѣкоторые теоретическіе вопросы. Такъ, напримѣръ, на послѣднемъ съѣздѣ разсуждалось о томъ, что̀ могутъ означать слова закона: «съ скоростью и строгостью», и было рѣшено, что это значитъ: немедленно и не ослабляючи. На будущемъ же съѣздѣ предполагаютъ прочитать рефератъ о томъ, какъ слѣдуетъ понимать выраженіе: «по точному онаго разумѣнію».

— Вообще, я полагаю такъ: мы, становые, обязываемся держаться не буквы, а смысла, — прибавилъ онъ: — и въ этомъ именно заключается отличіе нынѣшней становой системы отъ прежней. Свободы больше! свободы! Чтобъ руки не были связаны! чтобъ для мѣропріятій было больше простору! Воздуху! воздуху больше!

Разумѣется, я только качалъ головою и моргалъ глазами въ знакъ единомыслія, хотя, признаюсь, когда онъ, подобно народному трибуну, восклицалъ: «свободы больше! сво-

боды!»—я такъ и думалъ, что голосъ его дрогнетъ. Однако онъ не только произнесъ эти слова совершенно безбоязненно, но какъ ни въ чемъ не бывало продолжалъ свою profession de foi. Заявилъ, что читаетъ «Правительственный Вѣстникъ» какъ романъ и въ восторгѣ отъ «Сенатскихъ Вѣдомостей» («только надо умѣть владѣть этимъ орудіемъ», сказалъ онъ), и затѣмъ нѣсколько неожиданно перешелъ къ перечисленію своихъ губернскихъ начальниковъ и при каждомъ имени незамѣтно, но несомнѣнно привставалъ на стулѣ, побуждая и насъ дѣлать подобное же движеніе. Потомъ опять перешелъ къ своему личному положенію и отозвался, что хотя онъ и маленькій человѣкъ въ служебной іерархіи, но что и на маленькомъ мѣстѣ можно. небольшую пользу государству принести, какъ это уже и предусмотрѣно мудрой русской пословицей, гласящей: «лучше маленькая рыбка, чѣмъ большой тараканъ». Что нынче, впрочемъ, различіе между малыми и большими должностями мало-по-малу стирается, и всѣ начинаютъ уже понимать, что въ сущности и большіе чины, и малые—всѣ составляютъ одну семью.

— Конечно, покуда это еще идеалъ, — прибавилъ онъ скромно:—но первые шаги къ осуществленію его уже сдѣланы. Не далѣе, какъ недѣлю тому назадъ, встрѣтилъ я на станціи дѣйствительнаго статскаго совѣтника Фарафонтьева, который прямо сказалъ мнѣ: «ты, братъ, не смущайся тѣмъ, что ты только становой! всѣ мы подъ Богомъ ходимъ!»

Высказавши все это, онъ умолкъ, и батюшка мигнулъ мнѣ, что теперь, дескать, самое время предъявить ему мое сердце. Но такъ какъ въ выслушанной мною исповѣди заключалось еще нѣсколько не совсѣмъ ясныхъ для меня пунктовъ, то я и рѣшился предварительно предложить нѣкоторые вопросы.

— Вы прекрасно очертили теоретическую сущность современной становой системы, — сказалъ я. — Откровенное отношеніе къ начальству; быстрое, точное и притомъ однообразное выполненіе предписаній; разъясненіе недоумѣній, возбуждаемыхъ выраженіями, въ родѣ: «по точному онаго разумѣнію»; стремленіе къ расширенію свободы мѣропріятій—это картина несомнѣнно грандіозная, достойная кисти великаго художника. Тѣмъ не менѣе это все-таки только идеалы или, лучше сказать, свѣточи, освѣщающіе становой путь... Къ сожалѣнію, на этомъ пути встрѣчаются обыва-

тели, для которыхъ собственно эти идеалы и сочиняются. А такъ какъ къ числу обывателей принадлежу и я, то естественно меня должно интересовать, какъ относится становая практика къ этимъ бѣднымъ людямъ, которые, нерѣдко сами того не сознавая, могутъ представлять весьма серьезныя преткновенія для самыхъ неноколебимыхъ становыхъ идеаловъ? Чего требуете вы отъ нихъ?

— Что касается до меня,—отвѣтилъ онъ:—то я понимаю свои обязанности къ обывателямъ такъ: во-первыхъ, образовать въ средѣ управляемыхъ мною вѣрныхъ исполнителей предначертаній и, во-вторыхъ, — укоренить въ нихъ любовь къ труду. Только и всего.

— Понимаю. Такова, безспорно, воспитательная сторона становой практики. Но рядомъ съ нею. къ сожалѣнію, мы проводимъ и сторону пресѣкательную. Встрѣчаются по временамъ субъекты, которые намѣренно... а впрочемъ, бо́льшею частью ненамѣренно... ускользаютъ отъ воспитательнаго воздѣйствія и, разумѣется, навлекаютъ этимъ на себя гнѣвъ... Какимъ образомъ, то-есть съ какою степенью строгости предполагаете вы поступать относительно ихъ?

Онъ на мгновеніе вперилъ въ меня испытующій взоръ, но, не желая, вѣроятно, для перваго знакомства, подвергать меня взысканію,—отвѣтилъ сурово:

— Я полагаю сихъ вредныхъ членовъ отсѣкать-съ.

— Совершенно понимаю. Но вѣдь для того, чтобъ отсѣчь какъ слѣдуетъ, необходимо предварительно ихъ уличить...

— Сумѣемъ и это-съ.

— Стало-быть, вы будете ожидать поступковъ?

— Не думаю-съ.

— Будете читать въ сердцахъ?

— Всенепремѣнно-съ.

Тогда произошло во мнѣ нѣчто чудное и торжественное: я вдругъ почувствовалъ, что все мое существо сладко заволновалось. И не скажу, чтобъ это было раскаяніе—нѣтъ, не оно! — а скорѣе всего какое-то безграничное, неудержимое, почти дѣтское довѣріе! Приди и виждь!

— Въ такомъ случаѣ позвольте мнѣ предъявить вамъ мое сердце! — воскликнулъ я, устремляясь впередъ и чуть не захлебываясь отъ наплыва чувствъ.

— Я высказалъ это такъ искренно, что батюшка нѣсколько разъ сряду одобрительно кивнулъ мнѣ головою, а у матушки даже дрогнули на глазахъ слезы. Онъ самъ не

выдержалъ, взялъ меня за руку и, ничего еще не видя, крѣпко сжалъ ее.

— Прежде всего, — продолжалъ я: — сознаюсь въ нижеслѣдующемъ. Пятнадцать лѣтъ тому назадъ я занимался «благими поспѣшеніями» и при этомъ неподлежательно и дерзостно призывалъ мѣньшую братію къ общенію.

— Почему же «неподлежательно»?—перебилъ онъ меня мягко и какъ бы успокаивая.—По-моему, и «общеніе»... почему же и къ нему не прибѣгнуть, ежели оно, такъ сказать... И мѣньшаго брата можно приласкать... Ну, а надоѣлъ — не прогнѣвайся! Вообще я могу васъ успокоить, что нынче словъ не боятся. Даже сквернословіе, доложу вамъ—и то не признается вреднымъ, ежели оно выражено въ приличной и почтительной формѣ. Дѣло не въ словахъ собственно, а въ тайныхъ намѣреніяхъ и помышленіяхъ, которыя слова за собою скрываютъ.

— Вы слишкомъ добры,—отвѣтилъ я.—Я самъ прежде такъ думалъ, но нынѣ разсудилъ, что даже такое выраженіе, какъ «кимвалъ бряцающій»—и то можетъ быть употребляемо лишь въ крайнихъ случаяхъ и съ такою притомъ осмотрительностью, дабы не вводить въ соблазнъ! Вотъ каковъ мой нынѣшній образъ мыслей!

— Вообще это правило, конечно, заслуживаетъ полнаго одобренія, но въ частности я нахожу, что и въ похвальныхъ чувствахъ необходимо соблюдать извѣстную сдержанность и не утаивать отъ начальства выраженій, сокрытіе которыхъ, съ одной стороны, могло бы поставить его въ недоумѣніе, а съ другой — свидѣтельствовало бы о недостаткѣ къ нему довѣрія. Напримѣръ, вы сказали сейчасъ: «кимвалъ бряцающій» — какое это прекрасное выраженіе! а между тѣмъ, благодаря недостатку откровенности, очень можетъ быть, что оно начальству даже и теперь неизвѣстно! А впрочемъ, повторяю: все зависитъ отъ того, въ чемъ заключались ваши филантропическія затѣи. Прошу продолжать — я весь вниманіе.

— Во-первыхъ, я, ничего не понимаючи и безъ всякаго на то уполномочія, ежечасно, ежеминутно болталъ о свободѣ...

— О свободѣ-съ? зачѣмъ-съ?—переспросилъ онъ меня нѣсколько удивленно, но, впрочемъ, и на этотъ разъ, ради перваго знакомства, удержался отъ взысканія.

— Да, о свободѣ. И это происходило какъ разъ во время крестьянской эмансипаціи. При семъ я однако-жъ

присовокуплялъ, что истинная свобода должна быть ограничена: въ настоящемъ — уплатой оброковъ, а въ будущемъ—взносомъ выкупныхъ платежей. И что ежели все это не будетъ выполняемо своевременно и безпомочно, то свобода перейдетъ въ анархію, а анархія—въ военную экзекуцію!

— Что-жъ! по-моему, это толкованіе «свободы» правильное, и я думаю, что его приличнѣе назвать даже «содѣйствіемъ»... Съ своей стороны, я готовъ доложить господину исправнику...

— Не въ томъ дѣло. Я и самъ знаю, что лучше этого толкованія желать нельзя! Но... «свобода»! вотъ въ чемъ вопросъ! Какое основаніе имѣлъ я (не будучи развращенъ до мозга костей) прибѣгать къ этому слову, коль скоро есть выраженіе, вполнѣ его замѣняющее, а именно: улучшеніе быта?

— «Улучшеніе быта»?—вопросительно повторилъ онъ и затѣмъ ласково посмотрѣлъ на меня и махнулъ рукой, какъ бы говоря: твоя наивность приводитъ меня въ восхищеніе!—Продолжайте, пожалуйста!—предложилъ онъ.

— И еще я, тоже не понимаючи, утверждалъ, что необходимо дать дѣлу такое направленіе, чтобы, съ одной стороны, крестьянинъ сейчасъ же почувствовалъ, а съ другой—помѣщикъ сколь возможно меньше ощутилъ.

— Ну! такъ что-же-съ?—перебилъ онъ уже совсѣмъ изумляясь.

— Извините меня, но *теперь* я совсѣмъ не такъ думаю. Теперь, напротивъ, я убѣжденъ, что необходимо такъ дѣйствовать, чтобы ни крестьянинъ, ни помѣщикъ—никто не почувствовалъ и не ощутилъ! вотъ мой образъ мыслей—*теперь!*

Онъ на минуту сдѣлался серьезенъ; потомъ протянулъ мнѣ руки и сказалъ:

— Вы правы. Вы угадали мою мысль.

— Очень счастливъ. Но ежели за мои тогдашнія затѣи мнѣ суждено отвѣтствовать по всей строгости законовъ, то могу ли я, по крайней мѣрѣ, надѣяться, что настоящая перемѣна въ моемъ образѣ мыслей будетъ принята во вниманіе?

— Ежели эта перемѣна искренняя, то несомнѣнно будетъ. Въ этомъ я вамъ ручаюсь! я доложу и даже, въ случаѣ надобности... Но продолжайте, прошу васъ.

— И еще я утверждалъ, что необходимо поднять духъ обывателей...

— Зачѣмъ-съ?

— Затѣмъ, во-первыхъ, дабы содѣлать этотъ духъ способнымъ къ воспринятію начальственныхъ мѣропріятій, и, во-вторыхъ, затѣмъ, чтобы, закаливъ оный, сообщить ему ту непоколебимость, которая необходима въ видахъ перенесенія бѣдствій.

— Вы и теперь настаиваете на этой мысли?—спросилъ онъ, какъ бы опечаленный неожиданнымъ открытіемъ, которое въ ближайшемъ будущемъ, быть-можетъ, поставитъ его въ необходимость дѣйствовать относительно меня съ скоростью и строгостью.

— Нѣтъ, не настаиваю,—отвѣчалъ я:—ахъ, да и могу ли я на чемъ-нибудь настаивать! Что мы такое? Временные путники въ этой юдоли—и больше ничего! Нѣтъ, я не настаиваю, хотя признаюсь откровенно, что предметъ этотъ и теперь не настолько для меня ясенъ, чтобъ я не нуждался въ начальственныхъ указаніяхъ. Вотъ объ этихъ-то указаніяхъ я и прошу васъ, при чемъ, конечно, заранѣе даю обязательство, что съ полнымъ довѣріемъ подчинюсь всякому рѣшенію, которое вамъ угодно будетъ произнести.

— Въ такомъ случаѣ скажу вамъ слѣдующее: лучше не поднимать! Ни духа, ни вообще... ничего! Конечно, намѣренія ваши не были вполнѣ противозаконны, но, знаете ли, самое слово: «поднять»... «Поднять»—всяко можно... понимаете: поднять! Нѣтъ, ужъ пожалуста! пускай это праздное слово не омрачаетъ воспоминанія о свѣтлыхъ минутахъ, которыя мы провели при первомъ знакомствѣ съ вами! Выкиньте его изъ головы!

— Выкину и никогда къ нему не возвращусь!

— И съ Богомъ. Дальше-съ.

— И еще я утверждалъ—это происходило, когда объявили свободу вину,—что съ полугаромъ надо обращаться осмотрительно, не начинать прямо съ цѣлаго штофа, но постепенно подготовлять себя къ оному, сначала выпивая рюмку, потомъ двѣ рюмки, потомъ стаканъ и т. д. Не смѣю скрыть, что этой филантропической выдумкой я возбудилъ противъ себя неудовольствіе всѣхъ господъ кабатчиковъ.

— Гм!.. кабатчиковъ... Это, я вамъ доложу, серьезно!

— Неужели даже серьезнѣе, нежели...

— Да-съ, серьезнѣе. Не думайте однако-жъ, чтобъ я покровительствовалъ пьяницамъ—нѣтъ, я имъ не потат-

чикъ! Но кабатчики—это совсѣмъ другое дѣло! Вы, господа обыватели, смотрите на вещи съ точки зрѣнія слишкомъ исключительной! вы моралисты—и ничего больше. Мы, становые, поставлены въ этомъ случаѣ въ положеніе болѣе благопріятное: мы относимся къ явленіямъ съ точки зрѣнія государственной. Но, сверхъ того, мы имѣемъ и нѣкоторыя особливыя указанія. Поэтому вы можете смѣло повѣрить мнѣ на-слово, если я вамъ скажу: не раздражайте! не раздражайте господъ кабатчиковъ, ибо въ настоящее время на нихъ покоятся всѣ наши упованія!

— Вотъ и я имъ тоже говорилъ, что раздражать не слѣдуетъ,—откликнулся съ своей стороны батюшка.

— Не раздражайте! — продолжалъ Граціановъ, постепенно возвышая голосъ:—потому что даже я не могу поручиться, къ какимъ послѣдствіямъ можетъ привести подобный необдуманный образъ дѣйствія. Не раздражайте, потому что наконецъ я не имѣю права потерпѣть, чтобы въ районѣ моего вѣдомства кто бы то ни было потрясалъ силу и авторитетъ патента! И не потерплю-съ.

Онъ не выдержалъ и, поднявъ вверхъ указательный палецъ, слегка помахалъ имъ около моего носа.

— Надѣюсь, что вы раскаиваетесь?—продолжалъ онъ, нѣсколько понизивъ тонъ, но все еще строго.

— Раскаиваюсь,—отвѣчалъ я:—но боюсь, что репутація моя въ глазахъ господъ кабатчиковъ настолько уже подорвана, что самое раскаяніе мое...

— Это я берусь устроить,—сказалъ онъ уже совсѣмъ снисходительно:—насъ, представителей правящихъ классовъ общества, такъ немного въ этой глуши, что мы должны дорожить другъ другомъ. Мы будемъ собираться и проводить вмѣстѣ время—и тогда сближеніе совершится само собою. Ну, а затѣмъ-съ... Не знаете ли вы и еще чего-нибудь за собою?

— Кажется, все. Но, впрочемъ, если бы что-нибудь умалилъ или совсѣмъ изъ вида упустилъ, то заранѣе каюсь: во всемъ грѣшенъ.

— А я—заранѣе разрѣшаю и отпускаю...

Эта снисходительность до того меня раскуражила, что я уже осмѣлился прямо поставить вопросъ такъ:

— Стало-быть, я могу надѣяться, что жизнь моя не будетъ неожиданнымъ образомъ прервана?

Онъ подумалъ немного, но затѣмъ твердымъ и рѣшительнымъ голосомъ сказалъ:

— Можете!

Это было даже болѣе, нежели я желалъ. Послѣ того разговоръ уже продолжался только для проформы.

Въ заключеніе онъ крѣпко пожалъ мою руку и даже чуть-чуть не поцѣловалъ меня. Но, поколебавшись съ минуту, казалось, сообразилъ, что еще недостаточно испыталъ меня, и потому отложилъ выполненіе этого обряда до болѣе благопріятнаго времени.

— А теперь прощайте, господа!—сказалъ онъ, вставая:—и да хранитъ васъ Богъ. Если же вы желаете узнать ближе мои воззрѣнія на предстоящія мнѣ обязанности, также какъ и на ту роль, которая отведена въ этихъ воззрѣніяхъ обывателямъ ввѣреннаго мнѣ стана, то прошу пожаловать завтра, въ девять часовъ утра, въ становую квартиру. У меня будетъ пріемъ урядниковъ.

Разумѣется, мы съ радостью согласились и затѣмъ, вмѣстѣ съ батюшкой, проводили его до квартиры. Я чувствовалъ, что съ моей души скатилось бремя, и потому весело и проворно шлепалъ по грязи. Мысль, что нашъ путь лежитъ мимо кабака купца Прохорова, и что послѣдній увидитъ насъ дружески бесѣдующими, производила во мнѣ нѣчто въ родѣ сладкаго оньяненія. Наконецъ я не выдержалъ, и изъ глубины души моей вылетѣлъ вопросъ:

— Милій Васильичъ! да скажите же наконецъ, въ какомъ заведеніи вы получили воспитаніе?

На что онъ скромно отвѣтилъ:

— Я получилъ воспитаніе очень недостаточное и именно въ училищѣ для дѣтей канцелярскихъ служителей. Но по выпускѣ изъ онаго я поступилъ въ губернаторскую канцелярію и тамъ, видя ежедневно чиновниковъ особыхъ порученій его превосходительства, сумѣлъ воспользоваться этимъ, чтобы усовершенствовать свои манеры. И вотъ, какъ видите... Что же касается до моихъ воззрѣній на жизнь и міръ, то я почерпалъ ихъ изъ предписаній и циркуляровъ моего начальства.

— Не можетъ быть! извините меня, но, право, глядя на васъ, я думалъ: навѣрное онъ получилъ воспитаніе... ну, по малой мѣрѣ, въ заведеніи Марцинкевича!

Онъ выслушалъ это предположеніе съ удовольствіемъ, но при этомъ очень мило погрозилъ мнѣ пальцемъ, какъ бы говоря: льстецъ!

Вотъ рѣчь, которую онъ произнесъ, въ нашемъ присут-

ствіи, урядникамъ, собравшимся на другой день утромъ на дворѣ становой квартиры:

«Господа урядники! я собралъ васъ здѣсь, прежде всего, чтобы заявить во всеуслышаніе, что горжусь вами. При чемъ, конечно, ожидаю, что и вы, въ свою очередь, будете мною гордиться.

«Только взаимное и непрерывное горженіе другъ другомъ можетъ облагородить насъ въ собственныхъ глазахъ нашихъ; только оно можетъ сообщить соотвѣтствующій блескъ нашимъ дѣйствіямъ и распоряженіямъ. Видя, что мы гордимся другъ другомъ, и обыватели начнутъ гордиться нами, а со временемъ, быть-можетъ, перенесутъ эту гордость и на самихъ себя. Ибо ничто такъ не возвышаетъ духъ обывателей, какъ видъ гордящихся другъ другомъ начальниковъ!

«Въ этомъ заключается весь секретъ исторіи!

«Затѣмъ я считаю нелишнимъ изложить передъ вами вкратцѣ мой взглядъ на ваши обязанности. Прошу выслушать меня внимательно.

«Во-первыхъ, вы должны знать *все*, что дѣлается въ вашихъ сотняхъ, потому что, только зная *все*, вы получите возможность обо *всемъ* доводить до моего свѣдѣнія. Я же обязанъ знать *все*, потому что, въ противномъ случаѣ, многое осталось бы мнѣ неизвѣстнымъ, чего я ни подъ какимъ видомъ допустить не могу.

«Чтобы знать *все*, нѣтъ никакой необходимости во вмѣшательствѣ какихъ-либо сверхъестественныхъ или волшебныхъ силъ. Достаточно имѣть острый слухъ, воспособляемый не менѣе острымъ зрѣніемъ — и ничего больше. Въ Западной Европѣ давно уже съ успѣхомъ пользуются этими драгоцѣнными орудіями, а по примѣру Европы и въ Америкѣ. У насъ же, при чрезвычайной простотѣ устройства нашихъ жилищъ, было бы даже непростительно пренебречь сими дарами природы.

«Но тамъ, гдѣ слухъ и зрѣніе оказались бы недостаточными, немаловажнымъ подспорьемъ можетъ послужить цѣлесообразная и строго обдуманная система вопросовъ, которую я назвалъ бы системою вопрошенія. Такъ, напримѣръ, ежели вы встрѣчаете идущаго по улицѣ односельца, то первый и самый естественный вопросъ долженъ быть таковъ: куда идешь? Если же вы встрѣчаете на улицѣ не односельца, но лицо неизвѣстнаго происхожденія, то, кромѣ этого вопроса, надлежитъ предлагать еще слѣдующіе: от-

куда? зачѣмъ? гдѣ былъ вчера? покажи, что̀ несешь? кто въ твоей мѣстности сотскій, староста, старшина, господинъ становой приставъ? И замѣтьте, господа, никто не вправѣ уклоняться отъ отвѣтовъ на ваши вопросы, ибо фактъ уклоненія уже самъ по себѣ составляетъ неповиновеніе властямъ. Но, кромѣ того, онъ означаетъ и косвенное признаніе не вполнѣ чистыхъ намѣреній уклоняющагося. Невинный человѣкъ отвѣчаетъ немедленно, не ожидая подзатыльника; отвѣчаетъ быстро, порывисто, отчетливо, твердо, звонко. Напротивъ того, человѣкъ, за которымъ водятся грѣшки, даже и по полученіи подзатыльника, путается, отвѣчаетъ уклончиво, неохотно, а иногда прямо съ дерзостью говоритъ: не твое дѣло! Таковыхъ надлежитъ, безъ потери времени, взявъ за караулъ, представлять по начальству, для изслѣдованія.

«Господа! я не безъ намѣренія остановился на этомъ предметѣ больше, чѣмъ нужно, ибо онъ есть фундаментъ, на которомъ зиждится наша становая внутренняя политика. Съ помощью системы вопрошенія, а также при посредствѣ слуха и зрѣнія... а быть-можетъ, и обонянія... мы получаемъ такой богатый запасъ свѣдѣній и матеріаловъ, который стоитъ только надлежащимъ образомъ обработать, чтобы передъ нами предстала картина современнаго быта, такая картина, которая заставитъ содрогнуться начальственныя сердца. Итакъ, сначала напишемъ эту картину—и чѣмъ смѣлѣе, тѣмъ лучше—а затѣмъ, разумѣется, подумаемъ и о томъ, какъ слѣдуетъ поступить, дабы превратить ея неблагонамѣренное содержаніе въ благонамѣренное. Имѣя ее въ виду, мы бодро пойдемъ навстрѣчу злоумышленію, и ежели находящаяся въ нашихъ рукахъ аріаднина нить приведетъ насъ къ дверямъ логовища, то ужъ, конечно, не для того, чтобъ осрамиться въ немъ, но для того, чтобы несомнѣнно и неминуемо обрѣсти поличное!

«Вторая ваша обязанность заключается въ слѣдующемъ: вы должны употребить всѣ усилія, чтобы обыватели содѣйствовали вамъ. Чтобы достичь этого, вы можете воспользоваться всѣми имѣющимися у васъ преимуществами власти, начиная съ увѣщаній и кончая требованіями, не терпящими возраженій. Вы можете, въ случаѣ надобности, даже употребить мое имя. Помните, господа, что содѣйствіе, о которомъ я говорю, намъ безусловно необходимо. Какъ это ни больно для нашего самолюбія, но должно со-

знаться, что если мы не будемъ имѣть приспѣшниковъ въ обывательской средѣ, то не исполнимъ и малой доли тѣхъ задачъ, кои намъ предстоятъ. Это одна изъ тѣхъ печальныхъ истинъ, съ которыми мы сразу должны примириться, съ тѣмъ, чтобы потомъ и не возвращаться къ нимъ. Но, называя этотъ фактъ печальнымъ, я въ то же время имѣю право назвать его и радостнымъ, потому, во-первыхъ, что онъ вводитъ насъ въ общеніе съ обывателемъ, а во-вторыхъ, и потому, что дѣлаетъ сего послѣдняго нашимъ соучастникомъ. Я согласенъ, что онъ умаляетъ тотъ ореолъ всемогущества, которымъ мы были бы окружены, если бы обладали таковымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ ограждаетъ насъ отъ злорѣчія и гласитъ во всеуслышаніе о чистотѣ нашихъ намѣреній. И, вдобавокъ, даетъ намъ случай дѣлать полезныя наблюденія и надъ самими содѣйствующими

«Но содѣйствіе, о которомъ идетъ рѣчь, можетъ быть троякаго рода. Во-первыхъ, содѣйствіе дѣйствительное, плодоносящее и безусловно полезное; во-вторыхъ, содѣйствіе не особенно полезное, но и не вредное; и въ-третьихъ, содѣйствіе положительно вредное.

«Дѣйствительнаго и истинно плодотворнаго содѣйствія вы можете ожидать по преимуществу отъ господъ кабатчиковъ. Я говорю это прямо и смѣло, хотя и знаю, что у насъ принято называть это занятіе зазорнымъ. Я не раздѣляю этого предубѣжденія и слѣдовательно не могу допустить, чтобы его раздѣляли и вы. На свѣтѣ нѣтъ зазорныхъ ремеслъ, ибо всякое ремесло вызывается насущною потребностью въ немъ. Господа кабатчики, независимо отъ ихъ личной и всегда несомнѣнной благонадежности, драгоцѣнны еще и въ томъ отношеніи, что они находятся въ непрерывномъ и тѣсномъ общеніи съ представителями самыхъ разнообразныхъ слоевъ общества. Въ кабакъ стремятся всѣ. Туда идетъ и добродѣтельный человѣкъ, и злодѣй, и мирный земледѣлецъ, и храбрый воинъ, и помѣщикъ, и золотарь. Выпивши добрую рюмку водки, человѣкъ дѣлается наклоннымъ къ сообщительности, а выпивши двѣ таковыхъ, онъ уже мало-по-малу начинаетъ давать этой наклонности ходъ. Еще стаканъ—и онъ готовъ. Спрашиваю васъ: кто изъ присутствующихъ при этихъ метаморфозахъ можетъ быть названъ достовѣрнымъ ихъ свидѣтелемъ?—и съ увѣренностью отвѣчаю: кабатчикъ и только кабатчикъ! Все кругомъ пьяно; даже сотскій, скромно

тутъ же сидящій, не всегда находится на высотѣ своего призванія: одинъ кабатчикъ всегда и неизмѣнно трезвъ. Онъ трезвъ, потому что долженъ удовлетворять разнообразнымъ требованіямъ потребителей; онъ трезвъ, потому что такова задача его занятія. Однимъ словомъ, онъ трезвъ. Онъ одинъ имѣетъ возможность трезвенно проникать въ глубины человѣческихъ сердецъ; онъ одинъ твердою рукою держитъ всѣ нити злоумышленій, какъ приведенныхъ уже въ исполненіе, такъ и проектируемыхъ въ ближайшемъ будущемъ. Вотъ почему мы такъ часто находимъ въ кабакахъ цѣлые склады краденыхъ вещей. Но потому же самому мы обязаны отъ времени до времени прощать кабатчику его поползновенія къ сбыту таковыхъ вещей и видѣть въ немъ дарованное намъ орудіе, которое, при добромъ руководительствѣ, можетъ не только облегчить нашъ трудъ неожиданными откровеніями, но и сообщить изысканіямъ нашимъ совершенно непредвидѣнное направленіе.

«Не особенно полезнаго, однако-жъ и не вреднаго содѣйствія вы можете ожидать отъ господъ бывшихъ помѣщиковъ, нынѣ скромно именующихъ себя землевладѣльцами. Свѣдѣнія, добываемыя этимъ путемъ, представляютъ по преимуществу плодъ досужей говорливости и потому должны быть принимаемы лишь съ крайнею разборчивостью. Но, будучи очищены отъ того, что въ нихъ есть неожиданнаго и явно неимовѣрнаго, и они могутъ по временамъ проливать лучъ свѣта на такія извилины человѣческаго сердца, которыя, безъ легкомысленнаго указанія, могли бы остаться навсегда закрытыми для нашего наблюденія.

«Затѣмъ остается еще третьяго рода содѣйствіе, о которомъ я говорю лишь съ болью на сердцѣ и которое я уже ранѣе назвалъ прямо вреднымъ. Господа! я не нахожу достаточно словъ, чтобы предостеречь васъ отъ услугъ и предложеній сихъ содѣйствователей, и, дабы вы умѣли отличить ихъ, скажу вкратцѣ объ ихъ происхожденіи. Въ послѣднія пятнадцать-двадцать лѣтъ, вмѣстѣ съ успѣхами наукъ и развитіемъ формъ общежитія, у насъ появился особенный классъ злонамѣренныхъ людей, извѣстныхъ подъ именемъ газетчиковъ и сочинителей. Профессія эта, главнымъ образомъ, направлена къ тому, чтобы разнообразными путями вводить становыхъ приставовъ въ заблужденіе, съ цѣлью испытанія ихъ способностей, а также и для осмѣя-

нія ихъ правовъ вообще. Люди эти иногда очень серьезно сообщаютъ намъ различныя какъ бы полезныя указанія и даже предлагаютъ проекты реформъ и законоположеній, которыя мы тоже, по чистотѣ нашей, принимаемъ за полезныя, но на днѣ которыхъ—увы!—лежитъ одна жестокая насмѣшка. Въ бо́льшей части случаевъ они дѣйствуютъ на насъ не прямо, а посредствомъ опубликованія аллегорій, но тѣмъ успѣшнѣе увлекаютъ въ соблазнъ и опутываютъ насъ своими сѣтями. Есть множество сочиненій, написанныхъ единственно съ цѣлью обмана, но притомъ съ такимъ сатаническимъ искусствомъ, что чины, дѣйствующіе вдали отъ административныхъ центровъ и, такъ сказать, предоставленные самимъ себѣ, ничего не въ состояніи различить. Увлекаясь прекраснымъ слогомъ сихъ книгъ, они съ точностью слѣдуютъ злодѣйскимъ совѣтамъ, въ нихъ изложеннымъ, и ожидаютъ за сіе отъ начальства наградъ. Каково же бываетъ ихъ горестное изумленіе, когда, вмѣсто награды, изъ губерніи получается переводъ въ другой станъ, а иногда и предложеніе подать просьбу объ отставкѣ! Къ сожалѣнію, я говорю объ этомъ по опыту, ибо самъ двукратно былъ вводимъ подобнымъ образомъ въ заблужденіе. Однажды, когда, прочитавъ въ одномъ сочиненіи составленный якобы нѣкоторымъ городничимъ «Уставъ о печеніи пироговъ», я въ подражаніе оному написалъ: «Правила о томъ, въ какіе дни и съ какимъ масломъ надлежитъ вкушать блины», и въ другой разъ, когда, прочитавъ, какъ одинъ городничій на всѣ представленія единообразно отвѣчалъ: «не потерплю!» и «разорю!»—я, взявъ онаго за образецъ, тоже упразднилъ словесныя изъясненія и замѣнилъ оныя звукоподражательностью. И въ оба раза, вмѣсто награды, я получилъ отъ начальства выговоръ, съ таковымъ притомъ внушеніемъ, что книжками этого рода слѣдуетъ пользоваться лишь для того, чтобы поступать какъ разъ въ противоположность содержащимся въ нихъ указаніямъ! Вотъ почему я и предостерегаю васъ, господа урядники! Будьте вообще осторожны въ выборѣ вашихъ руководителей, но въ особенности опасайтесь льстивыхъ сочинительскихъ приманокъ, погоня за коими можетъ ревностнаго урядника довести до изступленія!

«Третья ваша обязанность заключается въ наблюденіи за цѣлостью и неприкосновенностью нашихъ краеугольныхъ камней. Вы знаете, о чемъ я говорю. Многіе утверждаютъ, что камни сіи суть лишь недавнее изобрѣтеніе

становыхъ приставовъ, но вѣдь для насъ важно не то, когда и кѣмъ что изобрѣтено, а то, что изобрѣтенное получило надлежащій ходъ и что, слѣдовательно, сила его для всѣхъ обязательна. Вы знаете эти камни, господа. Вы сами обладаете собственностью, сами имѣете семейства, чтите начальство, ходите въ храмъ Божій, такъ что если-бъ вы не были урядниками, то я сказалъ бы вамъ: идите, добрые люди, съ миромъ, и Богъ да поддержитъ васъ въ вашихъ похвальныхъ начинаніяхъ! Но въ качествѣ урядниковъ вы не имѣете права довольствоваться личнымъ выполненіемъ предписаній долга, но обязываетесь требовать, чтобъ и другіе съ тою же мужественною непоколебимостью шли по стезѣ добродѣтели. Потому я приглашаю васъ, а въ крайнемъ случаѣ даже приказываю дѣйствовать въ этомъ смыслѣ съ неукоснительностью и неуклонностью. Само собою, однако-жъ, разумѣется, что если бы въ районѣ вашихъ дѣйствій находились лица, не имѣющія собственности, то нѣтъ нужды заставлять ихъ пріобрѣтать земли или дома, но вы можете и даже должны требовать, чтобы лица эти, взамѣнъ обладанія собственностью, утѣшали себя уваженіемъ таковой.

«Въ-четвертыхъ, я желалъ бы, чтобъ вы какъ можно дѣятельнѣе сносились между собой и сообщали другъ другу результаты вашихъ личныхъ наблюденій. А еще лучше бы, если бы вы, хотя разъ въ мѣсяцъ, собирались здѣсь, у меня, для совмѣстнаго обсужденія возникающихъ въ вашей практикѣ вопросовъ и для полученія отъ меня обязательныхъ для васъ разрѣшеній и наставленій. Господа! я самъ ничего больше, какъ первый урядникъ ввѣреннаго мнѣ стана, и хотя въ качествѣ станового пристава стою во главѣ вашей дружины, но пользуюсь моимъ титуломъ лишь для того, чтобы, подобно недавно встрѣтившемуся со мной на станціи генералу Фарафонтьеву, объявить вамъ: и я, и вы—одна семья! Всѣ мы подъ Богомъ ходимъ, всѣ тщетно спрашиваемъ себя: что сей сонъ значитъ? Будемъ же дѣйствовать единодушно и единомысленно и встанемъ грудью противъ общаго врага!

«За симъ, что касается до прочихъ обывателей, то прошу васъ дать мнѣ время осмотрѣться, прежде нежели я рѣшу, какъ съ ними поступить. Теперь же скажу кратко: есть обыватели *благо*намѣренные и есть *неблаго*намѣренные, есть *благо*надежные и есть *неблаго*надежные. Подобно тому, какъ и государства: бываютъ государства *благо*устроенныя,

но бываютъ и совсѣмъ разстроенныя. Все это, конечно, выяснится по мѣрѣ ознакомленія моего съ мѣстностью; а до тѣхъ поръ предлагаю вамъ одно: дѣйствуйте неукоснительно, но приберегите рѣшительный натискъ, покуда я, обнаживъ мечъ, не встану передъ вами съ кличемъ: горе строптивымъ!

«Вотъ все, что я имѣлъ вамъ сказать для перваго знакомства. Кажется, не забылъ ничего. Но если бы вы встрѣтили въ моихъ словахъ поводъ для превратныхъ толкованій, то прошу обращаться ко мнѣ за разъясненіями: двери моей квартиры всегда будутъ открыты для васъ. Мнѣ даже пріятно будетъ васъ видѣть сколь возможно чаще, потому что урядникъ, въ ожиданіи разъясненій, можетъ помочь моей прислугѣ нарубить дровъ, поносить воды и вообще оказать услугу по домашнему обиходу.

«Прощайте, господа! Передайте мой привѣтъ сотскимъ, и да благословитъ Богъ наши общія начинанія!

«Господа разсыльные! покажите примѣръ!»

По этому слову произошло нѣчто умилительное. Разсыльные, въ числѣ шести человѣкъ, взялись за руки и стройно запѣли «ура»; урядники подхватили. Мы (я, батюшка и трое кабатчиковъ), стоявшіе тутъ въ качествѣ постороннихъ зрителей, тоже увлеклись, и, взявши другъ друга за руки, съ пѣніемъ «ура», три раза прошлись взадъ и впередъ по селу.

Въ этотъ день кабатчикъ Прохоровъ безвозмездно угощалъ урядниковъ огурцами и квасомъ.

Замѣчательно, что тотъ же Прохоровъ, разставаясь со мною и намекая на то мѣсто въ рѣчи станового пристава, гдѣ говорилось о троякаго рода содѣйствіи, сказалъ:

— А васъ, господинъ, по второму нумеру зачислили!

— А можетъ случиться, что и по третьему!—не безъ ехидства присовокупилъ присутствовавшій при этомъ другой кабатчикъ, купецъ Колупаевъ.

Хотя мнѣнія кабатчиковъ и не имѣли въ данномъ случаѣ офиціальнаго характера, но нервы мои были до того возбуждены, что мнѣ почудилась въ нихъ цѣлая программа. «Въ самомъ дѣлѣ,—думалось мнѣ:—по какому нумеру зачислилъ меня Граціановъ: по второму или по третьему?» На первый нумеръ я, конечно, и самъ не претендовалъ—куда ужъ мнѣ за кабатчиками гнаться,—но вотъ во второй... ахъ, хорошо, кабы во второй попасть! И вдругъ—въ третій!!!

Правда, онъ самъ далъ мнѣ слово, что жизнь моя не будетъ неожиданнымъ образомъ прервана, но вѣдь не даромъ гласитъ исторія, что по нуждѣ и закону перемѣна бываетъ— кто же можетъ поручиться, что и относительно меня не представится такой нужды?

Подъ вліяніемъ этой горькой мысли я началъ задумываться и хирѣть, и все чаще и чаще обращалъ взоры въ ту сторону, гдѣ благоденствовалъ безпечальный купецъ Разуваевъ. Вотъ кабы сбыть ему Монрепо и со всѣми потрохами: и съ земскимъ цензомъ, и съ политическимъ будущимъ, и съ перспективою пользоваться дружескимъ расположеніемъ станового пристава! Вотъ такъ бы штука была!

Между тѣмъ Граціановъ не только не лишалъ меня своего покровительства, но все больше и больше сближался со мною. Обыкновенно онъ приходилъ ко мнѣ обѣдать и въ это время обмѣнивался со мной мыслями по всѣмъ отраслямъ сердцевѣдѣнія, при чемъ каждый разъ обнадеживалъ, что я могу смѣло быть съ нимъ откровеннымъ и что вообще, покуда онъ тутъ, я не имѣю никакого основанія трепетать за свое будущее.

Я долженъ сказать правду, что собесѣдникъ онъ былъ вообще чрезвычайно пріятный. Не вдругъ раскрылъ онъ мнѣ свою душу, но все-таки сразу далъ понять, что онъ либералъ, а иногда даже обнаруживалъ такое пареніе, что я подлинно изумлялся смѣлости его мыслей. Такъ, напримѣръ, однажды онъ спросилъ меня, какъ я думаю, не пора ли переименованіе квартальныхъ надзирателей въ околоточные распространить на всѣ вообще города и мѣстечки имперіи, и когда я отвѣтилъ, что нахожу эту мѣру преждевременною, то онъ съ большою силою и настойчивостью возразилъ: «а я такъ думаю, что теперь именно самая пора». Въ другой разъ онъ какъ бы мимоходомъ спросилъ меня, какого мнѣнія я насчетъ фаланстеровъ, и когда я выразился, что опытъ военныхъ поселеній достаточно доказалъ непригодность этой формы общежитія, то онъ даже не далъ мнѣ развить до конца мою мысль и воскликнулъ:

— А я, напротивъ того, полагаю, что если бы военныя поселенія и связанныя съ ними школы военныхъ кантонистовъ не были упразднены, такъ сказать, на разсвѣтѣ дней своихъ, то Россія давно ужъ была бы покрыта цѣлою сѣтью фаланстеровъ, и мы были бы и счастливы, и богаты! Да-съ!

Разумѣется, я слышалъ эти разсужденія и радостно из-

умлялся. Не потому радовался, чтобы самыя мысли, высказанныя Грацiановымъ, были мнѣ сочувственны—я такъ себя, страха ради іудейска, вышколилъ, что мнѣ теперь на все наплевать,—а потому, что онѣ исходили отъ станового пристава. Но по временамъ меня вдругъ осѣняла мысль: «зачѣмъ однако-жъ онъ предлагаетъ мнѣ столь несвойственные своему званію вопросы?»—и, признаюсь, эта назойливая мысль прожигала меня насквозь.

Однажды онъ засидѣлся у меня послѣ обѣда дольше обыкновеннаго и, начавъ съ утопическихъ мечтаній о томъ, какъ было бы хорошо, если бы въ обществѣ не существовало раздѣленія на богатыхъ и бѣдныхъ, кончилъ, разумѣется, тѣмъ, что далъ полный ходъ своей искренности.

— Скажу вамъ откровенно,—сознался онъ:—терпѣть не могу я этихъ буржуа, хотя по обязанностямъ службы и долженъ ихъ поддерживать. Деньжищъ у нихъ пропасть—это правда, но ни благородныхъ манеръ, ни благородныхъ чувствъ, ни порядочныхъ привычекъ—ничего! Даже ѣдятъ безобразно. Зазвалъ меня, напримѣръ, на-дняхъ къ себѣ кабатчикъ Колупаевъ обѣдать и, представьте, чѣмъ угостилъ! Во-первыхъ, подали щи съ солониной, во-вторыхъ—лапшу, въ-третьихъ—ушнóе изъ баранины, потомъ крошево изъ огурцовъ и кусочковъ коренной рыбы съ квасомъ и наконецъ пáпушникъ съ медомъ... И въ довершеніе всего—ни вилокъ, ни ножей. Согласитесь, что если они даже начальство такъ угощаютъ, то можно себѣ вообразить, какъ они ѣдятъ, когда у нихъ нѣтъ гостей! И что всего прискорбнѣе, нашъ милый батюшка, который тоже присутствовалъ на этомъ обѣдѣ, не только ѣлъ за обѣ щеки, но даже, какъ мнѣ кажется, спряталъ кусокъ пáпушника за пазуху.

Не скрою, что и на меня перечисленіе сейчасъ приведеннаго обѣденнаго меню подѣйствовало болѣзненно; но такъ какъ при этомъ, очевидно, не безъ преднамѣренности, проводилась связь между кушаньями и представленіемъ о политической роли буржуазіи, то обстоятельство это невольно налагало на меня извѣстную осторожность.

— Съ своей стороны, я нахожу, что обѣдъ былъ хотя и простой, но сытный,—сказалъ я:—и это, по моему мнѣнію, главное. Единственный серьезный недостатокъ, въ которомъ можно упрекнуть перечисленное вами меню—это обиліе суповъ, сообщающее трапезѣ однообразіе и даже нѣкоторую унылость. Но недостатокъ этотъ вовсе не присущъ бур-

жуазіи, а зависитъ преимущественно отъ того, что Колупаевъ живетъ въ захолустьѣ, гдѣ не имѣется въ виду образцовъ.

— Но вы? вы сами? вѣдь вы въ томъ же захолустьѣ живете, а между тѣмъ...

— Я... что-жъ я? Не забудьте, Милій Васильичъ, что я получилъ воспитаніе въ высшемъ учебномъ заведеніи. Поэтому я, конечно, понимаю, что супъ обязателенъ только въ единственномъ числѣ, и что затѣмъ существуютъ еще соусы, жаркія, пирожныя и т. д. Но можно надѣяться, что въ недальнемъ будущемъ всѣ эти представленія будутъ не чужды и буржуазіи. Я даже думаю, что и нынѣ, по мѣрѣ приближенія къ центрамъ цивилизаціи, буржуазія ведетъ себя нѣсколько иначе, нежели Колупаевъ. Такъ что, напримѣръ, Поляковъ, Кокоревъ, Губонинъ—ну, я готовъ держать пари, что Поляковъ сморкается не въ горсть, а въ платокъ, и притомъ не въ клѣтчатый бумажный, а въ настоящій батистовый, быть-можетъ, даже вспрыснутый духами!

— Можетъ-быть... можетъ-быть-съ!—сказалъ онъ задумчиво, но потомъ съ живостью продолжалъ:—нѣтъ! далеко кулику до Петрова дня, купчинѣ до дворянина! Дворянинъ и маленькую рыбку подастъ, такъ сердце не нарадуется, а купчина тридцатипудовую бѣлугу на столъ выволочетъ—смотрѣть омерзительно! Да-съ, обидѣли! обидѣли въ ту пору господъ дворянъ!

Увы! при этомъ воспоминаніи я чуть-чуть не выдалъ себя. Есть у меня зіяющая рана, прикосновеніе къ которой всегда находитъ меня чувствительнымъ и отзывчивымъ. Эта рана—воспоминаніе о дворянской обидѣ.

— Ахъ, какъ обидѣли!—воскликнулъ я, простирая руки... Но, взглянувъ на него, опомнился: по всему его лицу бродила какая-то сомнительная улыбка.

— То-есть, лучше сказать, не обидѣли,—продолжалъ я уже спокойнѣе:—а каждому воздали должное. Прежде у насъ была одна опора—дворяне, нынче двѣ опоры—дворяне и буржуа. Стало-быть, мы не потеряли, а пріобрѣли.

— А про мужичка-то и позабыли?

— И мужичокъ—тоже опора,—согласился я.

— Нѣтъ-съ, не «тоже опора», а самая настоящая опора—вотъ какъ-съ! Потому что мужичка въ какую сторону хочешь, туда и поверни.

— И съ этимъ согласенъ.

— По секрету скажу вамъ, хоть это и не входитъ въ кругъ моихъ обязанностей, но по убѣжденіямъ моимъ я— декократъ! А вы?

— Что касается до меня, то я никогда объ этомъ не думалъ. Вообще я живу не думаючи—такъ по нынѣшнему времени удобнѣе. Но ежели начальству угодно...

— Начальству! Но развѣ начальство гдѣ-нибудь когда-нибудь сознавало свои истинныя пользы?!

Это было уже слишкомъ. Я почувствовалъ, что еще минута—и мы вступимъ на такую покатость, съ которой легко можно спуститься въ самую преисподнюю. Поэтому я разомъ пресѣкъ недостойный разговоръ, съ силой воскликнувъ:

— Нѣтъ! Съ этимъ я никогда не соглашусь! Слышите, Граціановъ! Никогда! Никогда!

Я помню, послѣ этого разговора я цѣлый вечеръ былъ безпокоенъ и все испытывалъ себя, не проврался ли я въ чемъ-нибудь. И хотя совѣсть моя оказалась совсѣмъ чистою, но все-таки я долго ночью ворочался съ боку на бокъ, прежде нежели сонъ смежилъ мои очи.

Но—увы!—чѣмъ чаще мы сходились, тѣмъ скабрезнѣе и скабрезнѣе дѣлались наши собесѣдованія. Ни одного краеугольнаго камня не оставилъ онъ безъ изслѣдованія и обо всѣхъ отозвался съ одинаковымъ ехидствомъ. О бракѣ, согласно съ опредѣленіемъ присяжнаго повѣреннаго Иржевальскаго, выразился, что это могила любви; о собственности сказалъ, что область ея «въ настоящее время» слишкомъ сужена, что надо расширить ея предѣлы, допустивъ притокъ свѣжихъ элементовъ, хотя бы, напримѣръ, казнокрадства, при чемъ указывалъ на купца Разуваева, который поставкою гнилыхъ сухарей пріобрѣлъ себѣ блаженство, и т. д. О религіи пробормоталъ что-то такое, отъ чего у меня уши разомъ завяли, а о начальствѣ...

Хотя мое положеніе, во время этихъ разговоровъ, было очень выгодное, потому что мнѣ приходилось только защищать, но наконецъ мнѣ такъ наскучило постоянно выслушивать это бюрократическое сквернословіе, что я рѣшился, въ свою очередь, испытать его.

— Скажите, пожалуйста, Милій Васильичъ,—обратился я къ нему:—отчего же вы въ рѣчи, обращенной къ урядникамъ, утверждали совершенно противное?

— Странный вопросъ! — отвѣтилъ онъ мнѣ, нимало не смущаясь:—но развѣ я имѣю право быть откровеннымъ съ урядниками? Я откровененъ съ начальствомъ—потому что

оно пойметъ меня; я откровененъ съ вами—потому что вы благородный человѣкъ... Но съ урядниками... Извините меня, я даже удивляюсь вашему вопросу...

— Хорошо-съ. А помните, когда я исповѣдывался передъ вами при батюшкѣ?..

— И тогда существовали тѣ же самыя причины. «При батюшкѣ»! Но что̀ такое батюшка?

— Извольте, согласенъ и съ этимъ. Но надѣюсь, что теперь вы убѣдились, что я совсѣмъ не раздѣляю тѣхъ воззрѣній, которыя, повидимому, исповѣдуете вы?

— Да-съ, убѣдился-съ... хотя и съ болью въ сердцѣ... но убѣдился-съ!

— Ахъ, Милій Васильичъ! Какъ хотите, голубчикъ, а вы для меня сфинксъ!

— Къ сожалѣнію, я совсѣмъ не сфинксъ, а только становой приставъ!—отвѣчалъ онъ печально, какъ бы подразумѣвая при этомъ: «будь я сфинксъ, давно бы ты узналъ, какъ Кузькину мать зовутъ!»

— Но заклинаю васъ именемъ всего священнаго! Отвѣтьте мнѣ откровенно: врете вы или нѣтъ?—воскликнулъ я, почти не помня себя отъ страха.

— Вы меня оскорбляете наконецъ!—отвѣтилъ онъ, взвиваясь во всю длину своего роста:—хоть я и не что иное, какъ становой приставъ, но скажу вамъ отъ души: для благороднаго человѣка это даже больно... «Врете вы или нѣтъ»!.. Ахъ!

Нѣсколько дней онъ какъ будто будировалъ и не ходилъ ко мнѣ. Въ это время изъ кухни начали долетать до меня звуки гармоники, и я не безъ удивленія узналъ, что они извлекаются какимъ-то вольнопрактикующимъ незнакомцемъ, Увы! Этотъ загадочный для меня человѣкъ настолько коротко сошелся съ моей прислугой, что не только ѣлъ и пилъ, но даже по временамъ ночевалъ у меня на кухнѣ... И я ничего не зналъ объ этомъ! Разумѣется, это меня встревожило, и я несказанно обрадовался, когда Грацiановъ, послѣ недѣльной разлуки, опять, въ обѣденный часъ, явился въ моей столовой.

— Слушайте!—обратился я къ нему:—у меня въ кухнѣ поселился какой-то незнакомецъ... Скажите, могу ли я, по крайней мѣрѣ, запретить ему играть на гармоникѣ? Я не выношу этого инструмента.

— Кто же это?!—удивился онъ.

— Вѣроятно, вы очень хорошо знаете, и кто, и зачѣмъ.

— Зачѣмъ?—повторилъ онъ за мной и вслѣдъ затѣмъ залился добродушнымъ смѣхомъ:—да очень понятно, зачѣмъ? Навѣрное у васъ на кухнѣ лишніе куски остаются, такъ вотъ... Ахъ, всѣ мы говядину любимъ! — прибавилъ онъ со вздохомъ:—но, разумѣется, ежели вы протестуете...

— Нѣтъ, я не протестую. Говядина и даже телятина... не въ томъ дѣло! Но я желаю уяснить себѣ слѣдующее: не долженъ ли я считать пребываніе посторонняго человѣка въ моей кухнѣ за нарушеніе неприкосновенности моего очага?

— Нисколько.

— Очень радъ, что таково ваше мнѣніе. Садитесь, пожалуйста, и будемъ обѣдать.

— Но, можетъ-быть, вы еще сомнѣваетесь?—успокаивалъ онъ меня:—въ такомъ случаѣ скажу вамъ слѣдующее: человѣкъ, о которомъ вы говорите, есть не что иное, какъ простодушнѣйшее дитя природы. Если вы его попросите, то онъ самъ будетъ бдительно ограждать неприкосновенность вашего очага. Испытайте его! Потребуйте отъ него какой-нибудь послуги, и вы увидите, съ какимъ удовольствіемъ онъ выполнитъ всякое ваше приказаніе!

Однимъ словомъ, онъ вновь успокоилъ меня. Наши отношенія возобновились, и я тѣмъ скорѣе забылъ недавнія недоразумѣнія, что по части краеугольныхъ камней я, въ сущности, не уступилъ бы самому правовѣрному изъ становыхъ приставовъ. Въ одномъ только я опять не остерегся—это по вопросу о дворянской обидѣ.

— Обидѣли!—восклицалъ я:—такъ обидѣли, что даже въ исторіи не бывало примѣровъ болѣе горькой обиды! Въ исторіи—понимаете?—въ исторіи, которая потому только и признается поучительною, что она сплошь изъ однѣхъ обидъ состоитъ!

Затѣмъ я закусывалъ удила и начиналъ доказывать. Доказывалъ горячо, съ огонькомъ и въ то же время основательно. Во-первыхъ, насъ не спросили; во-вторыхъ, насъ не вознаградили за самое главное... за наше право! въ-третьихъ, насъ поставили на одну доску... съ кѣмъ!!! въ-четвертыхъ, намъ любезно предоставили ликвидировать наши обязательства; въ-пятыхъ, насъ живьемъ отдали въ руки Колупаевымъ и Разуваевымъ; въ-шестыхъ...

Хорошо однако-жъ, что я, въ пылу доказательствъ, имѣю привычку отъ времени до времени взглядывать на моего

собесѣдника. И вотъ, однажды, поднявъ глаза на Граціанова, я увидѣлъ, что все лицо его свѣтится улыбкою.

— Чему вы смѣетесь?—воскликнулъ я на этотъ разъ довольно грубо, потому что рѣшился наконецъ вывести эти улыбки на свѣжую воду.

Однако онъ и тутъ очень ловко вывернулся.

— Тому и смѣюсь, что наконецъ-то и вы убѣдились!—сказалъ онъ.—Помните нашъ недавній разговоръ? Я говорилъ, что обидѣли господъ дворянъ, а вы утверждали, что не обидѣли, а только воздали каждому должное... Радуюсь, что, по крайней мѣрѣ, хоть теперь...

Но я уже не вѣрилъ коварнымъ оправданіямъ и съ запальчивостью отвѣтилъ:

— Нѣтъ, нѣтъ! Не тому вы смѣялись, а совсѣмъ другому... Вы думаете, что я наконецъ проговорился... Ну, такъ что-жъ? Ну, обидѣли! Допустимъ даже, что я сказалъ это! Ну, и сказалъ. Ну, и теперь повторяю: обидѣли!.. что-жъ дальше? Это мое личное мнѣніе—понимаете! Мнѣніе, а не поступокъ—и ничего больше! Надѣюсь, что мнѣнія... не наказуемы... чортъ побери! Развѣ я протестую? Развѣ я не доказалъ всею своею жизнью... Вонъ незнакомецъ какой-то ко мнѣ въ кухню влѣзъ, а я и то ни слова не говорю.. живи!

Однимъ словомъ, неумѣстною своею горячностью я чуть-было не довелъ дѣло до размолвки. Къ счастію онъ выказывалъ въ этомъ случаѣ замѣчательное самообладаніе и вмѣсто того, чтобъ обидѣться моими подозрѣніями, началъ очень мило и ловко меня урезонивать. Говорилъ ласковыя слова, и притомъ не на дьячковскій манеръ, — безъ знаковъ препинанія, а тепло, сердечно, съ очевиднымъ участіемъ. Просилъ довѣриться ему, убѣждалъ, что хотя лично и не имѣетъ чести называться дворяниномъ, но всегда сочувствовалъ дворянской обидѣ... И вдругъ, въ то самое время, когда сердце мое уже начало раскрываться навстрѣчу его рѣчамъ, онъ совершенно неожиданно присовокупилъ:

— А что, попротестовать-то, чай, все-таки хочется?

Это ужъ было такое явное подстрекательство, что я не выдержалъ.

— Никогда!—отвѣтилъ я рѣшительно и холодно.

— Чего ужъ тамъ: никогда!—по глазамъ вижу, что хочется! хочется! хочется!

— Повторяю вамъ: никогда!!!

— Но почему же наконецъ?

— Потому, во-первыхъ, что протестъ несочувственъ для меня лично, а во-вторыхъ, потому, что онъ не согласуется съ нашими традиціями. Знайте, сударь, что наши предки могли сварiться другъ съ другомъ, могли выщипывать другъ у друга бороды по волоску, но протестовать... не могли! нѣтъ! никогда!

Я не безъ достоинства всталъ изъ-за стола и удалился въ кабинетъ, оставивъ его на досугѣ размыслить, насколько имѣла успѣха, по отношенію ко мнѣ, его пресловутая «система вопрошенія».

И вотъ, однажды, онъ пришелъ ко мнѣ утромъ и, не говоря худого слова... поцѣловалъ меня!

— Давно ужъ я выжидаю этого момента и наконецъ теперь могу исполнить мое давнишнее и искреннее желаніе!—воскликнулъ онъ, облизывая губы.

Разумѣется, я смотрѣлъ на него испуганными глазами.

— Не удивляйтесь,—продолжалъ онъ: — и выслушайте меня. При самомъ вступленіи моемъ въ должность, услышавъ отъ батюшки о вашихъ опасеніяхъ, я сразу принялъ въ васъ самое горячее участіе. Послѣ того вы лично подтвердили мнѣ эти опасенія, причемъ чистосердечно во всемъ сознались, и это еще больше меня тронуло. Я рѣшился устроить вашу жизнь настолько прочно, чтобъ вы не могли имѣть никакихъ сомнѣній насчетъ ея непрекратимости. Но, разумѣется, по долгу службы, я долженъ былъ предварительно убѣдиться, что вы дѣйствительно этого заслуживаете. Съ этою цѣлью я, по обыкновенію, прибѣгнулъ къ системѣ вопрошенія и теперь, послѣ мѣсячнаго испытанія, могу, положа руку на сердце, свидѣтельствовать: вы не только удовлетворили всѣмъ моимъ требованіямъ, но даже предъявили нѣсколько болѣе, чѣмъ я ожидалъ. Я прикидывался ненавистникомъ буржуазіи, но вы доказали мнѣ, что послѣдняя имѣетъ несомнѣнныя права на существованіе. Я облыжно называлъ себя демократомъ, но вы благородно мнѣ отказали въ вашемъ сочувствіи по этому предмету. Я кощунственно утверждалъ, что начальство само не сознаётъ своихъ пользъ, но вы съ негодованіемъ отвергли самое предположеніе о таковомъ несознаніи. Когда же я съ притворнымъ участіемъ отнесся къ дворянской обидѣ, то вы хотя и не отрицали таковой, но при этомъ выказывали такую беззавѣтную покорность судьбѣ, которая неоднократно вызывала на мои глаза слезы умиленія. Наконецъ—со-

знаться ли до конца?—я командировалъ къ вамъ на кухню особаго довѣреннаго человѣка, съ тѣмъ, чтобы онъ собралъ подъ рукой вѣрнѣйшія о васъ свѣдѣнія, и добытый этимъ изслѣдованіемъ результатъ представляется въ слѣдующемъ видѣ: никогда, въ цѣломъ околоткѣ, не видали столь твердаго въ бѣдствіяхъ землевладѣльца, какъ вы! Самые кабатчики—и тѣ о томъ съ умиленіемъ засвидѣтельствовали. Итакъ, отнынѣ всѣ недоразумѣнія кончены. Вы—нашъ, и мы—ваши!

Высказавши это, онъ, конечно, ожидалъ, что я брошусь въ его объятія: но я молчалъ. Тогда онъ продолжалъ:

— Забылъ. Вы даже мнѣ лично оказали неоцѣненную услугу, разъяснивъ разницу, которая существуетъ между помышленіями обывателей и ихъ поступками. Это въ значительной степени упрощаетъ задачи внутренней политики, хотя, съ другой стороны, въ такой же степени умаляетъ ихъ блескъ. Во всякомъ случаѣ... благодарю!

Онъ протянулъ ко мнѣ обѣ руки, но я съ самаго начала этой сцены до того растерялся, что руки эти такъ и остались протянутыми въ пространствѣ. Тогда онъ фамильярно потрепалъ меня по плечу и произнесъ:

— Привыкнете, мой другъ, привыкнете!

Въ тотъ же день кабатчикъ Колупаевъ пригласилъ меня къ себѣ на вечёрку, предупредивъ, что у него соберется вся наша сельская интеллигенція для игры въ стуколку.

И я былъ тамъ, игралъ съ Граціановымъ и другими гостями въ стуколку, проигралъ цѣлую уйму пятаковъ, говорилъ комплименты кабатчицѣ Колупаевой, ухаживалъ за ея дочкой, пилъ водку, закусывалъ рыжей икрой и за ужиномъ ѣлъ говяжій студень съ хрѣномъ. Вообще, по оказанному мнѣ радушному пріему, я убѣдился, что кабатчики наконецъ примирились со мной и допустили меня въ свою среду. Нѣтъ сомнѣнія, что я былъ обязанъ этимъ Граціанову.

Послѣ этого у насъ началось настоящее веселье, и Граціановъ оказался истиннымъ мастеромъ по части соединенія общества. Вечера слѣдовали за вечерами, сначала у кабатчика Прохорова, потомъ у другого кабатчика, Осьмушникова, а наконецъ я и самъ задалъ пиръ на весь міръ. Мало того: когда Граціановъ, по секрету, сообщилъ мнѣ, что ему нравится дочка Колупаева, то я охотно принялъ участіе въ сватовствѣ и очень ловко вывѣдалъ у родите-

лей, что за невѣстой будетъ дано пятьсотъ рублей деньгами и, кромѣ всякаго платья, лисій «монтонъ» четыре перины, два самовара и мериносовый платокъ.

Но жизнь моя уже была надломлена: я каждый день ожидалъ, что Граціановъ опять поцѣлуетъ меня. Не то, чтобы мнѣ были антипатичны собственно административные поцѣлуи, но, будучи характера нелюдимаго и малообщительнаго, я вообще не имѣю къ поцѣлуямъ пристрастія.

И вотъ я вспомнилъ, что въ губерніи служитъ, въ качествѣ очень авторитетнаго лица, одинъ изъ моихъ товарищей по школѣ, и отправился въ городъ съ цѣлью, во что бы то ни стало, разъяснить себѣ вопросъ: имѣетъ ли право Граціановъ цѣловать меня по своему усмотрѣнію? Мой старый другъ очень благосклонно выслушалъ всю исторію моихъ сношеній съ Граціановымъ и всѣ дѣйствія послѣдняго нашелъ въ высшей степени легкомысленными. Во-первыхъ, онъ не имѣлъ права принимать мою исповѣдь и, во-вторыхъ, еще меньшее право имѣлъ подвергать меня испытанію. Онъ просто-на-просто долженъ былъ ожидать поступковъ.

— Что же касается до поцѣлуевъ, — прибавилъ мой другъ:—то я ничему другому не могу приписать это, какъ дурной привычкѣ, пріобрѣтенной имъ, вѣроятно, еще въ училищѣ для дѣтей канцелярскихъ служителей.

Но этого мало: онъ убѣдилъ меня, что въ настоящее время порядочный человѣкъ не только не имѣетъ причинъ опасаться внезапныхъ жизненныхъ метаморфозъ, но даже обязывается жить для славы своего отечества.

— Ты самъ виноватъ, душа моя, — сказалъ онъ: — съ одной стороны ты слишкомъ мрачно смотришь на вещи, а съ другой—черезчуръ ужъ смиренъ и не выказываешь ни малѣйшей самостоятельности. Будь тверже, голубчикъ, и живи! Живи, потому что и твоя жизнь еще можетъ быть полезною.

И я живу.

III.—Монрепо-усыпальница.

Мало-по-малу тревога, возбужденная во мнѣ появленіемъ на нашемъ сельскомъ горизонтѣ Граціанова, улеглась. Да ежели говорить по правдѣ, и тревожнаго тутъ ничего не

было, и только исключительныя условія, составляющія мою личную особенность, могли содѣйствовать возведенію такого пустого факта на степень переполоха. Дѣло въ томъ, что у меня съ малыхъ лѣтъ напугано воображеніе, и напугано, надо сказать правду, начальствомъ. Всю жизнь я ничего другого не видѣлъ передъ собою, кромѣ начальниковъ; всю жизнь мнѣ твердили: тупа ариѳметика, косноязычна грамматика, ежели нѣтъ въ сердцѣ спасительнаго начальственнаго трепета. Сначала я смотрѣлъ на родителей, какъ на начальство; потомъ поступилъ въ завѣдываніе воспитателей, которые тоже надувались и говорили: «мы — ваше начальство», а наконецъ и вправду попалъ начальству въ руки. Ну, натурально, испугался. Напослѣдяхъ спрятался въ Монрепо и думалъ: ужъ тутъ-то меня не настигнетъ начальственный взоръ, — и вдругъ Граціановъ!..

Lui, toujours lui!

Но въ сущности, повторяю, всѣ эти тревоги — фальшивыя. И ежели отрѣшиться отъ мысли о начальствѣ, ежели побѣдить въ себѣ потребность каяться, признаваться и снимать шапку, ежели сказать себѣ: за что же начальство съ меня будетъ взыскивать, коли *я ничего не дѣлаю*, и ежели наконецъ разъ навсегда сознать, что и становые, и урядники, — все это нѣчто эфемерное, скоропреходящее, на пескѣ построенное (особливо, коли есть кому пожаловаться въ губерніи), то, право, жить можно. Умирать же и подавно ни отъ кого запрета нѣтъ...

А умирать—пора. Не умереть, а именно умирать, освобождаться отъ жизни постепенно, непостыдно, сладко. Среди царящей суматохи, гдѣ слышатся голоса только безчисленнаго множества темпераментовъ, гдѣ пападающіе не знаютъ, на кого они нападаютъ, а защищающіеся — отъ кого они обороняются, гдѣ нѣтъ рѣчи объ идеалѣ, а мечется въ глаза только обнаженный фактъ борьбы — въ такой суматохѣ ничего лучшаго не придумаешь, какъ схорониться въ укромномъ мѣстѣ и тамъ — начать умирать.

«Тамъ», то-есть въ Монрепо. Нигдѣ не найдется для самаго прихотливаго умиранія такого простора, такой тишины, такой безусловной изолированности; нигдѣ нельзя такъ незамѣтно и естественно окунуться въ область неизвѣстнаго. И ежели я говорю, что въ качествѣ усыпальницы Монрепо представляетъ собою нѣчто ни съ чѣмъ несравнимое и исключительное, то говорю это именно по сущей

совѣсти, а совсѣмъ не въ видѣ рекламы. Мало того: я вполнѣ искренно утверждаю, что наши фрондирующіе помѣщики слишкомъ мало принимаютъ въ разсчетъ это свойство принадлежащихъ имъ Монрепо и только поэтому такъ дешево сбываютъ ихъ всевозможнымъ хищникамъ новѣйшей формаціи, которые спѣшатъ обратить ихъ въ кабаки.

Прежде всего, какъ на отличнѣйшую особенность Монрепо, я могу указать на полнѣйшее отсутствіе утѣшеній медицины. Я не отрицаю заслугъ врачебной науки и ея служителей, но мнѣ кажется, что ежели разъ человѣкъ рѣшилъ, что жить довольно, то при извѣстной дозѣ порядочности даже не совсѣмъ прилично обороняться отъ смерти. Пускай люди, исполненные цвѣтенія и силъ, мечтаютъ о жизни — это ихъ право; человѣкъ умирающій, въ видахъ собственнаго огражденія, долженъ забыть и о цвѣтеніи, и о силѣ, и вообще о какихъ бы то ни было правахъ на жизнь. Единственное баловство, которое ему разрѣшается, — это по возможности устроить удобную обстановку для предстоящаго умиранія. А въ этомъ смыслѣ, опять-таки повторяю, Монрепо неоцѣненно. Въ городѣ никакъ не выдержишь, непремѣнно начнешь обороняться. Обратишься къ человѣку науки, который затормозитъ естественный процессъ умиранія, подольетъ въ лампаду чего-то не настоящаго, а «замѣняющаго», и заставитъ ее лишній срокъ чадить. Въ Монрепо подобное малодушіе уже по тому одному немыслимо, что тамъ нѣтъ ни мужей науки, ни «замѣняющихъ» снадобьевъ. Обитатель Монрепо потухаетъ самъ собой, естественно, неизбѣжно. Потухаетъ съ отраднымъ убѣжденіемъ, что послѣднія его мерцанія не отравили окрестности запахомъ злоуханной гари, которая, при другихъ, менѣе благопріятныхъ условіяхъ, непремѣнно въ концѣ измучила бы человѣка, замѣнивъ подлинную жизнедѣятельность искусственнымъ калѣчествомъ.

Но, сверхъ того, истинно «сладкое» умираніе возможно только подъ условіемъ полной и невозмутимой тишины. И этого условія ни въ городѣ, ни даже въ деревнѣ не добудешь, а найдешь въ одномъ Монрепо. Вездѣ царитъ либо рабочая суета, либо разгулъ; наконецъ вездѣ отыщутся друзья, люди, принимающіе участіе, любопытные. Только въ Монрепо нѣтъ ни работы, ни разгула, ни друзей, ни любопытныхъ — развѣ это не блаженство? Ничто не шелохнется кругомъ, ни одинъ звукъ не помѣшаетъ есте-

ственному потуханію. Особливо зимой. Монрепо. потонувшее въ сугробахъ снѣга—да это земной рай!

Природа оцѣпенѣла; домъ со всѣхъ сторонъ сторожитъ садъ, погруженный въ непробудный сонъ; прислуга забралась на кухню, и только смутный гулъ напоминаетъ, что гдѣ-то далеко происходитъ галдѣніе, выдающее себя за жизнь; въ барскихъ покояхъ ни шороха; даже мыши — и тѣ беззвучно перебѣгаютъ изъ одного угла комнаты въ другой. Сидишь себѣ въ креслѣ одинъ-одинёшенекъ, или бродишь усталыми ногами взадъ и впередъ по запустѣлой анфиладѣ — и чувствуешь, ясно чувствуешь, какъ постепенно внутри у тебя таетъ и погасаетъ. По совѣсти говорю: слаще этого чувства нѣтъ. Къ нему можно пристраститься до упоенія, съ нимъ можно возвыситься до одичалости. Даже пропинаціонная привилегія — и та не можетъ идти въ сравненіе съ этой прекраснѣйшей привилегіей постепеннаго умиранія среди сладчайшей тишины.

Намъ, людямъ тридцатыхъ, сороковыхъ и иныхъ годовъ, это въ особенности понятно, потому что съ нами въ послѣднее время случилось нѣчто не совсѣмъ обыкновенное. Все-то мы жили да жили и вдругъ потеряли что-то самое нужное и разомъ сдѣлались неспособными принимать участіе въ дѣлахъ и вещахъ современности. Я знаю, что и между нами найдутся личности, которыя не прочь еще похорохориться, устроить недоразумѣніе и погарцовать передъ застигнутой врасплохъ толпой, въ качествѣ заправскихъ дѣятелей; но большинство отлично понимаетъ, что являться въ публику съ запасомъ забытыхъ словъ—именно значитъ только длить безплодныя недоразумѣнія. Положимъ, что эти выцвѣвшія слова въ былое время были полны содержанія и освѣщали жизнь, но какое дѣло до нихъ современности? Въ былое время они были и хороши, и необходимы, а теперь...

Когда я начинаю думать о современности, то, признаюсь, она представляется мнѣ не иначе, какъ въ видѣ ящика съ двойнымъ дномъ. Въ которомъ днѣ обрѣтается «настоящая штука»—поди, угадай! Да и какая еще «штука»—можетъ-быть, райская птица, можетъ-быть, крокодилъ? И помоложе, половчѣе насъ люди—и тѣ не угадываютъ, а только поневолѣ какъ-нибудь изворачиваются, наудачу хватаются за первое, что подъ руку попадетъ. Именно поневолѣ, потому что эти люди уже фаталистически «обречены» жить, а стало-быть и изворачиваться. А мы обре-

чены умирать и слѣдовательно отъ угадываній свободны. Но, по-моему, это-то именно и есть настоящее благо. Это тѣмъ болѣе благо, что, всмотрѣвшись пристальнѣе въ проносящуюся мимо насъ сутолоку современности, по совѣсти нельзя не воскликнуть: ахъ, какъ безконечно-мучительна должна быть роль дѣятеля среди этой жизни съ двойнымъ дномъ!

Да, такая жизнь болѣе нежели мучительна — она постыдна. Передъ глазами мечется какая-то безконечно-фантастическая сказка: не разберешь, что тутъ дѣйствительность и что—сонное видѣніе. Нереальнѣйшіе съ перваго взгляда факты — и тѣ являются въ сопровожденіи такихъ подозрительныхъ околичностей, которыя отнимаютъ у нихъ всѣ признаки подлинной реальности. Все окружающее, вся жизнь — все служитъ источникомъ самыхъ язвительныхъ вопросовъ, и что всего мучительнѣе — ни на одинъ изъ этихъ вопросовъ вы не найдете нигдѣ вполнѣ вразумительнаго отвѣта. Я могъ бы назвать здѣсь цѣлую свиту вполнѣ несомнѣнныхъ и доказательныхъ фактовъ, которые несомнѣнно подтвердили бы и объяснили мою мысль, и тѣмъ не менѣе не называю ихъ. Почему же я не называю ихъ? А потому именно, что всечасно и всеминутно ощущаю себя защемленнымъ между двойнымъ дномъ. Вѣдь все равно, — говорю я себѣ: — изъ моихъ указаній ничего не выйдетъ, такъ лучше ужъ я... ахъ, какая масса тутъ малодушія, предательства, лганья!

Но ежели немыслимы опредѣленные отвѣты, то очевидно, что не мыслимы ни правильныя наблюденія, ни вполнѣ твердыя обобщенія. Ни жить, стало-быть, нельзя, ни наблюдать жизнь, ни понимать ее. Вездѣ — двойное дно, въ виду котораго именно только изворачиваться можно или идти невѣдомо куда съ завязанными глазами. Представьте себѣ, что вы нечаянно попали въ комнату, наполненную баснописцами. Собралось множество Эзоповъ, которые ведутъ оживленный разговоръ — и все притчами! Ясно, что тутъ можно сойти съ ума.

И вотъ, для того, чтобы не быть обязаннымъ ни жить, ни понимать жизнь, ни говорить притчами, самое лучшее дѣло — это затвориться въ Монренò. А если при этомъ и самая охота къ жизни пропала, то это ужъ и совсѣмъ хорошо. Правда, что есть у насъ, культурныхъ людей, слабость баловаться журналами и газетами, которые все-таки болѣе или менѣе препятствуютъ полному забвенію жизни;

но тутъ уже необходимо принять героическія мѣры. А именно: разомъ прекратить доступъ для всего, что̀ напоминаетъ о книгопечатаніи и сопряженныхъ съ нимъ учрежденіяхъ. Въ противномъ случаѣ двойное дно проникнетъ и въ Монрепо̀.

Ибо у жизни, снабженной двойнымъ дномъ, и литература не можетъ быть иная, какъ тоже съ двойнымъ дномъ. Газеты, напримѣръ, положительно могутъ измучить. Помѣщая на столбцахъ своихъ факты, повидимому, самые обыденные, онѣ будутъ ежедневно пробуждать въ отшельникѣ цѣлый рой томительныхъ сновидѣній. Произвели, напримѣръ, коллежскаго совѣтника Растопырю за отличіе въ слѣдующій чинъ—кажется, что̀ можетъ быть проще, обыденнѣе этого извѣстія? А между тѣмъ вдумайтесь въ него, и вы удивитесь, какой безконечный рядъ томительнѣйшихъ вопросовъ поднимется передъ вами по его поводу! Во-первыхъ, вопросы высшаго порядка. Подлинно ли Растопыря заслужилъ производство въ слѣдующій чинъ? Не было ли тутъ интриги, непотизма, лакомства, не скрывается ли за этимъ фактомъ ходатайство Гулакъ-Артемовской? Все это—вопросы важные, существенные, ибо при утвердительномъ отвѣтѣ на нихъ («да, по ходатайству Гулакъ-Артемовской») воображенію представляется картина развращенія нравовъ, а при отвѣтѣ отрицательномъ—картина чистоты нравовъ. Согласитесь, что для патріота своего отечества это далеко не безразлично. Затѣмъ опять вопросы: сумѣетъ ли Растопыря въ новомъ чинѣ заслужить то довѣріе начальства, которое онъ умѣлъ заслужить въ старомъ чинѣ? какихъ облегченій вправѣ ожидать отъ него отечество, буде онъ и впредь съ такою же неуклонностью будетъ подвигаться по лѣстницѣ почестей и отличій? А наконецъ и вопросы порядка низшаго, личнаго. Какимъ о̀комъ, милостивымъ или немилостивымъ, взглянетъ Растопыря на Монрепо̀ и скрывающагося въ немъ отшельника? не найдетъ ли онъ, что самый фактъ отшельничества есть фактъ подозрительный, влекущій за собой лишеніе хотя и не всѣхъ,—у Растопыри доброе сердце, — то хотя нѣкоторыхъ правъ состоянія? И ежели это фактъ подозрительный и влекущій, то... И такъ далѣе, и такъ далѣе.

Какіе отвѣты я найду на эти вопросы въ газетахъ? положительно никакихъ! Такъ зачѣмъ же мнѣ знать объ этомъ производствѣ? зачѣмъ я буду заставлять мою мысль опускаться куда-то на второе дно, гдѣ этотъ скромно вы-

глядывающій съ газетнаго столбца Растопыря, быть-можетъ, явится въ такомъ угрожающемъ видѣ, который все мое существо наполнитъ испугомъ? И что̀ всего важнѣе—испугомъ напраснымъ, ибо я знаю навѣрное, что Растопыря—малый доброжелательный, который если и позволитъ себѣ лишить мѣня нѣкоторыхъ правъ состоянія, то не иначе, какъ въ видахъ моей же собственной пользы.

А потомъ пойдутъ газетные «слухи»... ахъ, эти слухи! Ни подать руку помощи друзьямъ, ни летѣть навстрѣчу врагамъ — нѣтъ крыльевъ! Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! Сиди въ Монренò и понимай, что ничто человѣческое тебѣ не чуждо и, стало-быть, ничто до тебя не касается. И не только до тебя, но и вообще не касается (въ Монренò, вслѣдствіе изобилія досуга, это чувство некасаемости какъ-то особенно обостряется, дѣлается до болѣзненности чуткимъ). А ежели не касается, то изъ-за чего же терзать себя?

Нѣтъ, все это надобно прекратить. Не нужно ни журналовъ, ни газетъ,—тѣмъ больше не нужно, что нынче въ любомъ деревенскомъ кабакѣ, въ любой «портерной» найдется эта отрава, такъ что совсѣмъ отъ жизни все-таки не убѣжишь. Пойдетъ въ кабакъ кто-нибудь изъ присныхъ и непремѣнно или самъ что-нибудь вычитаетъ, или вдоволь наслушается. Потомъ разскажетъ въ людской, а напослѣдокъ проберется въ комнаты и тамъ начадитъ. По мнѣнію моему, этимъ путемъ получать вѣсти изъ міра живыхъ, во всякомъ случаѣ, менѣе мучительно, нежели сообщаться съ нимъ посредствомъ книгопечатанія. Ибо, слушая, какъ сынъ природы несетъ ахинею, вы все-таки имѣете возможность хоть тѣмъ утѣшить себя, что, можетъ-быть, онъ и перевралъ.

Именно такъ я прошлой зимой и поступилъ. Еще 31-го декабря я чувствовалъ себя въ компаніи баснописцевъ, и вдругъ съ 1-го января наступила невозмутимая тишина. Все это взбаломученное море, которое еще вчера съ такимъ безцѣльнымъ гвалтомъ бушевало въ берегахъ, сегодня улеглось какъ бы по манію волшебства. Картины, волновавшія кровь, начали сокращаться, таять и исчезать. Сначала исчезли болгары, потомъ Афганистанъ и Зулу, потомъ ветлянская интрига, потомъ еще интрига, а наконецъ и слухи о предстоящемъ финансовомъ возрожденіи... Послѣдніе, впрочемъ, держались нѣсколько упорнѣе, потому что вѣдь и умирать не совсѣмъ ловко, когда не умѣешь ясно отвѣтить на вопросъ: что̀ такое рубль? Стало-быть, съ этой

стороны, то-есть со стороны міра живыхъ, я совсѣмъ квитъ. Мнѣ скажутъ, можетъ-быть, что отсутствіе памятниковъ книгопечатанія представляетъ очень важный пробѣлъ въ человѣческомъ существованіи, потому что и т. д. Но, во-первыхъ, газета «И шило бреетъ»—развѣ это памятникъ? а во-вторыхъ, я вѣдь не о «существованіи» и рѣчь повелъ. Я говорю объ умираніи, объ одномъ умираніи; а съ этой точки зрѣнія, право, лучше не надо.

Вмѣстѣ съ прочими, отравляющими жизнь, представленіями постепенно начало сглаживаться и представленіе о Граціановѣ. Очевидно, моя поѣздка въ губернію смутила его... Онъ сдѣлался сдержаннѣе, при встрѣчахъ не дѣлалъ мнѣ ручкой, но молча прикладывался подъ козырекъ, при чемъ съ явно-утрированною почтительностью выгибалъ шею и откидывалъ назадъ поясницу. А главное, не только пересталъ меня испытывать, но даже совсѣмъ ко мнѣ не приходилъ. Только отъ времени до времени я примѣчалъ изъ окна, что онъ меланхолически бродилъ по моему парку, напѣвая какой-то романсъ, — вѣроятно, «Черный цвѣтъ». Очевидно, онъ хотѣлъ дать мнѣ почувствовать этимъ, какъ онъ могъ бы любить, если бы я только захотѣлъ, и какъ много я потерялъ, устранившись отъ его ласкъ... Я это очень хорошо понималъ и, грѣшный человѣкъ, иногда даже готовъ былъ выслать ему рюмку водки, но, къ счастію, голосъ разсудка и соблазнительная картина непостыднаго умиранія восторжествовали надъ легкомысленными угрызеніями совѣсти.

Кабатчики выказали себя нѣсколько упорнѣе и не такъ-то легко предоставили меня моей судьбѣ. Благодаря Граціанову, въ періодъ моего легкомысленнаго переполоха, я завязалъ съ ними очень крѣпкія связи. У всѣхъ вообще—пилъ водку, игралъ въ стуколку и закусывалъ студнемъ, а въ частности, съ нѣкоторыми вступилъ даже въ духовное родство. У Осьмушникова крестилъ дочку, у Колупаева разыгрывалъ роль свата, у Прохорова — едва не свелъ со двора жену (разумѣется, этого на дѣлѣ не было, а были «насмѣшки», въ которыхъ я фигурировалъ въ качествѣ соблазнителя). Не могу сказать, чтобы я чувствовалъ себя особенно пріятно, когда, бывало, Осьмушниковъ, еще гдѣ завидѣвъ меня, крикнетъ: «здорово, кумъ!» или Прохоровъ: «здорово, своякъ!»—но покуда для меня было неясно, имѣетъ или не имѣетъ Граціановъ право читать въ моемъ сердцѣ,

я крѣпился и молчалъ. Теперь, когда начальство меня разувѣрило, и когда мои отношенія къ Граціанову опредѣлились вполнѣ, я, конечно, счелъ первымъ долгомъ дать отпоръ всѣмъ кумовьямъ и своякамъ. Но они уже сами не соглашались ретироваться. Въ особенности же Прохоровъ долго донималъ меня своими дружескими «насмѣшками». Только-что, бывало, я расположусь «умирать», только-что сомкнутся мои вѣжды и слухъ начнетъ наполняться тихими шопотами непостыднаго угасанія, какъ онъ ужъ тутъ какъ тутъ, словно изъ-подъ земли выросъ. Сначала наполнитъ домъ звуками одышки, потомъ грузно сядетъ въ кресло, расправитъ пятерней кудри, оботретъ клѣтчатымъ платкомъ потное лицо, запалитъ папироску, дохнетъ сивухой и начнетъ шутки шутить.

— Усталъ, — скажетъ: — пида задохся. Туковъ много внутри скопилось. Ну, а ты, своякъ, что̀ носъ повѣсилъ?

— Да такъ...

— Чего «такъ»! Чай, все по чужимъ женамъ тоскуешь? а?

— Когда же это...

— Нѣтъ, погоди! постой! надо правду говорить! кто у меня жену хотѣлъ со двора свести? а?

— Но послушайте же наконецъ...

— Нѣтъ, ты постой! погоди! ты вотъ мнѣ на что̀ отвѣть: развѣ это резонъ? Резонъ ли мужнюю жену на любовь съ собою склонять? Какъ эти поступки въ заповѣдяхъ называются? слыхалъ? а?

— Слушайте, если вы не прекратите этого разговора, то я...

— То-то «я»! Ну, ты!! Ты!!. знаю я, что ты—ты! Ты бы вотъ радъ-радостью въ чужомъ саду яблочко съѣсть, даже и сейчасъ у тебя отъ одного воображенія глаза враскосъ пошли—да на тотъ грѣхъ я самъ при семъ состою! Ну, миръ, что ли! пошутилъ! давай руку—будетъ съ тебя!

Но въ ту минуту, когда я мнилъ, что онъ серьезно подаетъ мнѣ руку, онъ совершенно неожиданно показывалъ мнѣ шишъ, а иногда и просто бралъ подъ-мышки и, будучи вчетверо сильнѣе меня, увлекалъ въ непроизвольный галопъ, при чемъ задыхался, хрипѣлъ и свистѣлъ на весь домъ.

Это было ужасно мучительно, но я долго терпѣлъ и ни на что не рѣшался. Наконецъ однако-жъ рѣшился и однажды, когда онъ приблизился, чтобъ взять меня подъ-мышки, я совершенно серьезно плюнулъ ему въ самую лахань.

Только тогда онъ понялъ, что я — человѣкъ солидный и «независимый». Онъ скромно вытеръ платкомъ лицо, произнесъ: «однако!»—и съ тѣхъ поръ ко мнѣ ни ногой.

Я сознаюсь, что это былъ съ моей стороны очень дурной и наглый поступокъ, но клянусь, что въ ту минуту онъ вышелъ самъ собой. Защита какъ-то невольно приняла ту самую форму, въ которую съ давнихъ поръ облекалось нападеніе. Прохоровъ насильственно водворялся въ моемъ домѣ, насильственно заставлялъ меня выслушивать свои «насмѣшки», насильственно хваталъ меня подъ-мышки и увлекалъ въ галопъ—и вотъ я въ той же насильственной формѣ далъ ему отпоръ. Сверхъ того, я позволяю себѣ думать, что поступокъ этотъ скорѣе свидѣтельствуетъ о моей деликатности (съ большою, впрочемъ, примѣсью робости и слабохарактерности), нежели о прямой грубости. Люди деликатные обыкновенно бываютъ очень и даже черезчуръ выносливы. Они долго терпятъ, допускаютъ и даже поддакиваютъ именно изъ опасенія обидѣть, задѣть чужое самолюбіе. Поддакиваютъ даже тогда, когда уже началось хватаніе подъ-мышки. И вдругъ глаза открываются, и какое-то ужасно подлое и гадкое чувство начинаетъ пронизывать все существо. Но, къ сожалѣнію, все это обнаруживается лишь тогда, когда дѣло уже мучительно обострилось. И вотъ...

Во всякомъ случаѣ, я отнюдь не оправдываюсь, а только констатирую, какъ непріятно и ненадежно положеніе русскаго культурнаго человѣка, который помнитъ, что когда-то онъ занимался «филантропіями», и понимаетъ, что по нынѣшнему времени это составляетъ неизбываемый грѣхъ. Онъ помнитъ, понимаетъ и боится. Чего именно боится—онъ самъ опредѣленно сказать не можетъ; но вѣдь чѣмъ неопредѣленнѣе подобное чувство, тѣмъ оно тяжелѣе. Главнымъ образомъ однако-жъ онъ боится своей беззащитности, неприкрытости, и вслѣдствіе этого совершенно искренно вѣритъ, что и Граціановъ, и Осьмушниковъ, и Прохоровъ могутъ во всякое время свободно войти къ нему въ домъ и полюбопытствовать: а что, молъ, ты тамъ въ одиночку каверзничаешь? И вотъ, когда сумма этихъ унизительныхъ страховъ накопится до nec plus ultra, когда чаша до того переполнится, что новой каплѣ ужъ помѣститься негдѣ, и когда среди невыносимо подлой тоски вдругъ голову освѣтитъ мысль: а вѣдь, собственно говоря, ни Граціановъ, ни Колупаевъ залѣзть ко мнѣ въ душу ни отъ кого не упол-

номочены — вотъ тогда-то и является на выручку дикая реакція, то-есть сквернословіе, мордобитіе, плеваніе въ лахань, однимъ словомъ — все то, что̀ при спокойномъ, хоть сколько-нибудь нормальномъ теченіи жизни мирному гражданину даже на мысль не придетъ.

Какъ бы то ни было, но я безмѣрно обрадовался, что наконецъ меня охватила со всѣхъ сторонъ безконечная тишина. Подъ вліяніемъ этой радости я совсѣмъ утерялъ изъ вида, что эти люди необходимо должны злобствовать на меня. Главная цѣль была достигнута: я очутился одинъ— это было самое существенное. Но этого мало: я сдѣлался почти безстрашенъ. Не только позабылъ, что подъ бокомъ у меня сидитъ Граціановъ, но опять вспомнилъ старое и бросился въ филантропію. Началъ мечтать, сочинять «промежду себя» реформы, и все такія, чтобы всѣ разомъ почувствовали и въ то же время никто ничего не ощутилъ. Сначала, разумѣется, мечталъ робко, но чѣмъ дальше, тѣмъ смѣлѣе, и наконецъ, «въ надеждѣ славы и добра», пустилъ такими букетами, что даже стѣны, слушавшія меня—и тѣ смекнули, чѣмъ пахнетъ.

Ничто такъ не увлекаетъ, не втягиваетъ человѣка, какъ мечтанія. Сначала заведется въ мозгахъ не больше горошины, а потомъ начнетъ расти и расти, и наконецъ вырастетъ цѣлый дремучій лѣсъ. Вырастетъ, станетъ передъ глазами, зашумитъ, загудитъ, и вотъ тутъ-то именно и начнется настоящая работа. Всего здѣсь найдется: и величіе Россіи, и конституціонное будущее Болгаріи, и Якубъ-ханъ, достославно шествующій по стопамъ Ширъ-Али, и, ужъ само собой разумѣется, выигрышъ въ двѣсти тысячъ рублей. Что̀ понравилось, то̀ и выбирай. Ежели загорѣлось сердце величіемъ Россіи — займись; ежели величіе Россіи прискучило — переходи къ болгарамъ или къ Якубъ-хану. Мечтай безпрепятственно, сочиняй цѣлыя передовыя статьи—все равно ничего не будетъ. Если хочешь критиковать—критикуй; если хочешь требовать — требуй. Требуй смѣло, такъ прямо и говори: долго ли, молъ, ждать? И если тебѣ внимаютъ туго, или совсѣмъ не внимаютъ, то пригрозись: объ этомъ, дескать, мы поговоримъ въ слѣдующій разъ...

Ужасно! ужасно! ужасно!

Говорю по совѣсти: возможность удовлетворять потребности мечтанія составляетъ едва ли не самую сладкую принадлежность умиранія. Мечта отуманиваетъ и слѣдова-

тельно устраняетъ изъ процесса умиранія все, что̀ могло бы встревожить паціента слишкомъ назойливою ясностью. Мечта не ставитъ въ упоръ именно *такой-то* вопросъ, но всегда хранитъ въ запасѣ цѣлую свиту быстро мелькающихъ вопросовъ, такъ что мысль, нѐ связанная обязательнымъ сосредоточеніемъ, скользитъ отъ одного къ другому совершенно незамѣтно. Даже послѣдовательности въ работѣ ея не замѣчается, хотя связь несомнѣнно существуетъ. Но она скрывается въ тѣхъ моментахъ забытья, въ которое человѣкъ непроизвольно погружается подъ вліяніемъ мысленныхъ мельканій. Это забытье совсѣмъ не пустопорожнее, какъ можно было бы предполагать, и въ то же время очень пріятное. Мелькнетъ одинъ предметъ, остановитъ на себѣ минутное вниманіе и почти вслѣдъ затѣмъ погрузитъ мысль въ какую-то массу полудремотныхъ ощущеній, которыя невозможно уловить—до такой степени они быстро смѣняются одно другимъ. Затѣмъ вынырнетъ другой предметъ, и непремѣнно вынырнетъ въ послѣдовательномъ порядкѣ, но такъ какъ этому появленію предшествовало «забытье», то опредѣлить, въ чемъ заключается «порядокъ» и что̀ именно обусловило перемѣну декорацій, представляется невозможнымъ. Повторяю: ужасно это пріятно. Ходишь, думаешь, навѣрное знаешь, что нѣчто думаешь, но что̀ именно — не скажешь. Какая открывается при этомъ безграничная перспектива приволья, свободы, безотвѣтственности не только передъ самимъ собой (это-то не штука), но и передъ начальствомъ! Поймите, какъ это хорошо! Тяжело вѣдь вѣчно такъ жить, чтобы за все и про все отвѣтъ держать; нужно хоть немного и такъ пожить, чтобы ни за что и ни передъ кѣмъ себя виновнымъ не считать. Хочу — умныя мысли мыслю, хочу — легкомысленничаю... кому какое дѣло!

Тѣмъ не менѣе, какъ ни мало опредѣленны были мои зимнія мечтанія, я все-таки нѣкоторые пункты могу здѣсь намѣтить. Чаще и упорнѣе всего, какъ и слѣдуетъ ожидать, появлялся вопросъ о выигрышѣ двухсотъ тысячъ, но такъ какъ вслухъ сознаваться въ такихъ пустякахъ почему-то не принято (право, ужъ и не знаю, почему; по-моему, самое это культурное мечтаніе), то я упоминаю объ этомъ лишь для того, чтобы не быть въ противорѣчіи съ истиной. Затѣмъ выступали и вопросы серьезные, между которыми первое мѣсто, разумѣется, принадлежало величію Россіи. Я считаю нелишнимъ изложить здѣсь главные тезисы моихъ

мечтаній по этому вопросу, заранѣе, впрочемъ, извиняясь передъ читателемъ въ той неудовлетворительности, которую онъ навѣрное примѣтитъ въ моемъ изложеніи. Увы!—я и до сихъ поръ не могу вмѣстить свободы книгопечатанія и вслѣдствіе этого иногда черезчуръ храбрюсь, но въ большей части случаевъ—черезчуръ робѣю.

Я знаю, есть люди, которые въ скромныхъ моихъ писаніяхъ усматриваютъ не только пагубный индифферентизмъ, но даже значительную долю злорадства, въ смыслѣ патріотизма. По совѣсти объявляю, что это—самая наглая ложь. Я уже не говорю о томъ, что обвиненіе это очень тяжелое и даже гнусное, но утверждаю положительно, что я всего менѣе въ этомъ виноватъ. Я люблю Россію до боли сердечной и даже не могу помыслить себя гдѣ-либо, кромѣ Россіи. Только разъ въ жизни мнѣ пришлось выжить довольно долгій срокъ въ благорастворенныхъ заграничныхъ мѣстахъ, и я не упомню минуты, въ которую сердце мое не рвалось бы къ Россіи. Хорошо тамъ, а у насъ... положимъ, у насъ хоть и не такъ хорошо... но, представьте себѣ, все-таки выходитъ, что у насъ лучше. Лучше, потому что больнѣй. Это совсѣмъ особенная логика, но все-таки, и именно—логика любви. Вотъ этотъ-то культъ, въ основаніи котораго лежитъ сердечная боль, и есть истинно-русскій культъ. Болитъ сердце, болитъ, но и за всѣмъ тѣмъ всеминутно къ источнику своей боли устремляется...

Но этотъ же культъ, вѣроятно, и служитъ предлогомъ для обвиненій, о которыхъ идетъ рѣчь. Есть люди (въ послѣднее время ихъ даже много развелось), которые мертвыми дланями стучатъ въ мертвыя перси, которые суконнымъ языкомъ выкликаютъ: «звонъ побѣды раздавайся!» и зіяющими впадинами, вмѣсто глазъ, выглядываютъ окрестъ: кто не стучитъ въ перси и не выкликаетъ вмѣстѣ съ ними? Это—цѣлое постыдное ремесло. По моему мнѣнію, люди, занимающіеся этимъ ремесломъ, суть іезуиты. Разумѣется, іезуиты русскіе, лыкомъ шитые, вскормленные на почвѣ крѣпостного права и сопряженныхъ съ нимъ: лганья, двоедушія, коварства и проч. Это—люди необыкновенно злые, мстительные, снабженные вопіющимъ самолюбіемъ и злою, долго задерживающею памятью, люди, отъ которыхъ можно тогда лишь спастись, когда они вмѣстѣ съ безконечною злобой соединяютъ и безконечную алчность къ ловленію рыбы въ мутной водѣ. Тогда можно отъ нихъ откупиться, можно бросить имъ кость въ глотку. Но если они съ ад-

ской злобой соединяютъ и адское безкорыстіе, и ежели при этомъ свою адскую ограниченность возводятъ на степень адскаго убѣжденія—тогда это уже совершенныя исчадія сатаны. Они настроятъ мертвыми руками безчисленные ряды костровъ и будутъ безсмысленными, *пустыми* глазами слѣдить за предсмертными конвульсіями жертвы, которая, подобно имъ, не стучала въ *пустыя* перси...

Но отвратимъ лицо наше отъ лицемѣровъ и клеветниковъ и возвратимся къ Монрепо и навѣваемымъ имъ мечтаніямъ.

Я желалъ видѣть мое отечество не столько славнымъ, сколько счастливымъ—вотъ существенное содержаніе моихъ мечтаній на тему о величіи Россіи, и если я въ чемъ-нибудь виноватъ, то именно только въ этомъ. По моему мнѣнію, слава, поставленная въ качествѣ главной цѣли, къ которой должна стремиться страна, очень многимъ стоитъ слезъ; счастье же для всѣхъ одинаково желательно и въ то же время само по себѣ составляетъ прочную и немеркнущую славу. Какой вѣнецъ можетъ быть болѣе лучезарнымъ, какъ не тотъ, который сотканъ изъ лучей счастія? Какой народъ можетъ съ бо́льшимъ правомъ назвать себя подлинно славнымъ, какъ не тотъ, который сознаетъ себя подлинно счастливымъ? Мнѣ скажутъ, быть-можетъ, что общее счастіе на землѣ недостижимо, и что вотъ именно для того, чтобы восполнить этотъ недостатокъ и сдѣлать его менѣе замѣтнымъ и горькимъ, и придумана, въ качествѣ подспорья, слава. Слава, то-есть «насъ возвышающій обманъ». Но я—человѣкъ скромный; я не дипломатъ и даже не публицистъ, и потому просто не понимаю, для чего нужны обманы, и кого собственно они обманываютъ. Я думаю, что это пустое и вредное кляузничество—и ничего больше. Ужели человѣкъ, смотрящій на міръ трезвыми глазами и чувствующій себя менѣе счастливымъ, нежели онъ этого желаетъ—ужели этотъ человѣкъ утѣшится тѣмъ только, что начнетъ обманывать себя чѣмъ-то замѣняющимъ, не подлиннымъ? Нѣтъ, онъ не сдѣлаетъ этого. Онъ просто скажетъ себѣ: ежели я въ данную минуту не столь счастливъ (а сталобыть, и не столь славенъ), то это значитъ, что необходимо употребить извѣстную сумму усилій, дабы законнымъ путемъ добыть ту сумму счастія и славы, которая, по условіямъ времени, достижима. Вотъ и все. А насколько будутъ плодотворны или безплодны эти усилія—это ужъ другой вопросъ.

Руководясь этими скромными соображеніями, я и въ

мечтаніяхъ никому не объявилъ войны и не предпринялъ ни малѣйшей дипломатической кампаніи. А слѣдовательно не одержалъ ни одной побѣды и никого не огорошилъ дипломатическимъ сюрпризомъ. Вообще моя мысль не задерживалась ни на арміяхъ, ни на флотахъ, ни на подрядахъ и поставкахъ, и даже къ представленіямъ о гражданскомъ мундирномъ шитьѣ прибѣгала лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда, по издревле установленнымъ условіямъ русской жизни, безъ этого ужъ ни подъ какимъ видомъ нельзя было обойтись. Ибо мы и благополучны не можемъ быть безъ того, чтобы при этомъ самъ собой не возникъ вопросъ: а какъ же въ семъ случаѣ поступали господа чиновники? Но тутъ-то именно и выяснилась полная доброкачественность моихъ мечтаній. «Что дѣлали господа чиновники?» спрашивалъ я самъ себя и тутъ же, послѣ кратковременнаго «забытья», отвѣтствовалъ: «ходили въ мундирахъ— и больше ничего». Этимъ простымъ отвѣтомъ, мнѣ кажется, исчерпывалось все. И идея необходимости чиновниковъ (ибо благополучіе на ихъ глазахъ созидалось, и они благосклонно допустили его), и идея не-необходимости чиновниковъ, ибо, говоря по сущей совѣсти, благополучіе могло бы совершиться и безъ нихъ. Впрочемъ, по скромности моей, я болѣе склонялся на сторону первой идеи. Да и картина выходила совсѣмъ особенная, русская. Ходятъ люди въ мундирахъ, ничего не созидаютъ, не оплодотворяютъ, а только не препятствуютъ — а на повѣрку оказывается, что этимъ-то именно они и оплодотворяютъ... Какое занятіе можетъ быть легче и какой удѣлъ—слаще?

Но ежели разъ воинственныя и присоединительныя упраженія устранены, то картина благополучія начертывалась уже сама собой. Въ самомъ дѣлѣ, что нужно нашей дорогой родинѣ, чтобы быть вполнѣ счастливой? На мой взглядъ, нужно очень немногое, а именно: чтобы мужикъ русскій, говоря стихомъ Державина, «ѣлъ добры щи и пиво пилъ». Затѣмъ все остальное приложится.

Если это есть—значитъ, у мужика земля приноситъ плодъ сторицею. Если это есть—значитъ, страна кипитъ млекомъ и медомъ и вездѣ чувствуется благорастворѐніе воздуховъ и изобиліе плодовъ земныхъ. Если это есть—значитъ, деревни въ изобиліи снабжены школами, и мужикъ воистину позналъ, что ученье—свѣтъ, а неученье — тьма. Если это есть—значитъ, казна государева ломится подъ тяжестью сребра и злата, и нѣтъ надобности ни въ «выбиваніяхъ»,

ни въ экзекуціяхъ для пополненія казенныхъ сборовъ. Если это есть—значитъ, въ массахъ господствуетъ трудолюбіе, любовь къ законности, потребность тихаго житія; значитъ, массы дѣйствительно повинуются не токмо за страхъ, но и за совѣсть. Если это есть—значитъ, за границу везутся заправскіе избытки, а не то, что̀ приходится сбывать во что бы то ни стало, вслѣдствіе горькой нужды: вынь да положь.

Если это есть—значитъ, у мужика есть досугъ; значитъ, онъ ведетъ не прекратительную жизнь подъяремнаго животнаго, а здоровое существованіе разумнаго существа; значитъ, онъ плодится и множится. Если это есть — значитъ, курное логовище уступило мѣсто подлинному жилищу, согласованному съ человѣческими потребностями. Если это есть—значитъ, правда и милость царствуютъ въ судахъ; значитъ, нечего и судить, такъ что адвокаты щелкаютъ зубами, а судьи являются въ мѣста служенія лишь для полученія присвоеннаго имъ содержанія. Если это есть—значитъ, монополія не впивается когтями въ беззащитную жертву и не рветъ ея внутренностей. Если это есть—значитъ, государственная казна не расточается, а государственное имущество охраняется и процвѣтаетъ. Если это есть—значитъ, рубль равенъ рублю.

Вотъ сколько отличнѣйшихъ представленій заключаетъ въ себѣ такой простой фактъ, какъ общедоступность «добрыхъ щей»! Спрашивается: ужели въ цѣломъ мірѣ найдется народъ, болѣе достойный названія «славнаго», нежели этотъ, вкушающій «добры щи» народъ?

Кажется, что мечтать на эту тему — ничего? Даже Граціановъ—и тотъ, думается мнѣ, не найдетъ тутъ «возбужденія пагубныхъ страстей»? Пагубныхъ страстей—къ чему? Къ «добрымъ щамъ»?

Итакъ, я мечталъ на тему о величіи Россіи. Я всѣмъ желалъ всего добраго, всего лучшаго. Чиновнику — чиновъ и крестовъ съ надписью: «за вдохновеніе»; купцу — хорошихъ торговъ и медалей; культурному человѣку — бутылку шампанскаго и вышедшее въ тиражъ выкупное свидѣтельство; мужику — «добрыхъ щей». И при этомъ, какъ человѣкъ, одаренный художественными инстинктами, я такъ живо представлялъ себѣ благополучіе этихъ людей, что они метались передъ моими глазами, какъ живые. Всѣ были поперекъ себя толще, у всѣхъ лица лоснились подъ вліяніемъ хорошаго житья и внутренняго ликованія. Но въ

особенности хорошъ былъ мужикъ, такъ хорошъ, что я по цѣлымъ часамъ велъ съ нимъ мысленную бесѣду.

— Ну что, милый человѣкъ,—спрашивалъ я:—бунтовать больше не будешь?

— Помилуйте, вашескородіе,—отвѣчалъ онъ:—ужъ ежели мы во время сѣкуціевъ — и то, значитъ, со всѣмъ нашимъ удовольствіемъ, такъ теперича и подавно насъ за эти самые бунты...

При этихъ словахъ обыкновенно наступало «забытье» (зри выше), и дальнѣйшія слова мужика стушовывались, но когда мысленная дѣятельность вновь вступала въ свои права, то я видѣлъ передъ собою такое довольное и добродушное лицо, что невольно говорилъ себѣ: да, этому парню не бунтовать, а именно только славословить впору! Недоимки всѣ съ него сложены, подушная подать предана забвенію... чего еще нужно! И онъ славословитъ во истину; не такъ, какъ культурные люди, когда получатъ подачку—съ расшаркиваніемъ и цѣлованіемъ въ плечико,—а скромно и истово, а именно: ѣстъ «добры щи» во свидѣтельство, что сердце въ немъ играетъ подъ бременемъ благодарности и ликованія.

Положительно я утверждаю, что мечтать на эту тему—ничего!

Даже свое Монрепо — и его я какъ-то сумѣлъ пристегнуть къ мечтаніямъ о величіи Россіи. Представьте себѣ, что вдругъ, по щучьему велѣнью, по моему хотѣнью, случился такой анекдотъ. Мой лѣсъ изъ дровяного неожиданно сдѣлался строевымъ; мои болота внезапно осушились и начали производить не мохъ, а настоящую съѣдобную траву, мои пески я утилизировалъ и обработалъ подъ картофельныя плантаціи, а небольшая запашка словно взбѣсилась—начала родить самъ-двадцатъ *). (Увы!—въ мечтахъ и не такія метаморфозы возможны!). Развѣ это «не величіе Рос-

*) Одинъ екатеринославскій землевладѣлецъ увѣрялъ меня, что у него пшеница постоянно родитъ самъ-двадцатъ, и, въ виду моего удивленія по этому поводу, присовокупилъ, что это происходитъ отъ того, что у нихъ въ Екатеринославлѣ не земля, а все цѣлина. Замѣчательно, что этотъ самый землевладѣлецъ эту самую землю уже лично двадцать лѣтъ пашетъ, но и за всѣмъ тѣмъ не только въ объявленіяхъ газетныхъ пишетъ: продается столько-то десятинъ «цѣлины», но и самъ, повидимому, вѣритъ въ подлинность этой «цѣлины»! Точь-въ-точь какъ та легендарная дѣвица, дочь бѣдныхъ, но благородныхъ родителей, которая будто бы въ одно и то же время и сокровище сохранила, и капиталъ пріобрѣла. Но развѣ это правдоподобно?

сіи»? И къ довершенію всей этой чертовщины, въ какихъ-нибудь ста шагахъ отъ моего крыльца прошла желѣзная дорога, которая возитъ—не вывезетъ произведенія Монрепо. Капуста, которую ѣдятъ петербургскіе чиновники,—это все моя; бѣлоснѣжная телятина, которою щеголяетъ англійскій клубъ по субботамъ,—тоже моя. Огурцы, морковь, рѣпа, прессованное сѣно, молочные скопы, кормныя индѣйки—всего пропасть и все мое. А дрова? а рыба, въ изобиліи извлекаемая изъ Финскаго залива? а прочія произведенія природы, ихъ же имена Ты, Господи, вѣси? Что, если и во всѣхъ другихъ Монрепо идетъ такая же волшебно-производительная галиматья, какъ и въ моемъ? что, если вдругъ воспрянули отъ сна всѣ Проплёванныя, всѣ Погорѣловки, Ненаѣдовки, всѣ взапуски принялись рожать, и нѣтъ на дорогахъ проѣзда отъ массы капусты, огурцовъ, рѣдьки и проч.?!

Возгордимся мы или не возгордимся тогда? вотъ вопросъ! Я думаю однако-жъ, что не возгордимся, потому что, во-первыхъ, вѣдь ничего этого на дѣлѣ нѣтъ, а ежели нѣтъ ничего, то, стало-быть, и во-вторыхъ, и въ-третьихъ, все-таки ничего нѣтъ.

Во всякомъ случаѣ, повторяю вновь: мечтать на эту тему—ей-Богу ничего!

Ничего? но кто же сказалъ это? Кто же удостовѣрилъ, что «ничего?» А можетъ-быть, это-то и есть самое оно... А можетъ-быть, тутъ-то, въ этихъ безпардонныхъ мечтахъ, и кроется «возбужденіе пагубныхъ страстей»! Кто сказалъ: ничего? Тяпкинъ-Ляпкинъ сказалъ? А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! Вы, Тяпкинъ-Ляпкинъ, сказали: «ничего»? И такъ далѣе.

Прекрасно. Стало-быть, это — не ничего? Такъ и запишемъ. Нельзя мечтать о величіи Россіи — будемъ на другія темы мечтать, тѣмъ болѣе, что по культурному нашему званію намъ это ничего не значитъ. Напримѣръ, конституціонное будущее Болгаріи — чѣмъ не благодарнѣйшая изъ темъ? А при обиліи досуга даже тѣмъ болѣе благодарная, что для развитія ея необходимо прибѣгать къ посредничеству телеграфа, то-есть посылать вопросныя телеграммы и получать отвѣтныя. Анъ время-то, смотришь, и пройдетъ.

Сказано-сдѣлано. Посылаю телеграмму № 1-й: «Митрополиту Аноиму. Настоятельно прошу отвѣтить: будетъ ли у васъ конституція?» Черезъ четверть часа полученъ отвѣтъ:

«Братолюбивому господину Монрепо. Конституція, сирѣчь уставъ о предупрежденіи и пресѣченіи—будетъ. Анонимъ».

Не удовольствовавшись этимъ объясненіемъ, посылаю телеграмму № 2-й: «Благородному господину Балабанову. Экзархъ Анонимъ увѣдомляетъ, будетъ-де у васъ конституція, сирѣчь исправительный уставъ. Правда ли?» Черезъ четверть часа отвѣтъ: «Благородному господину Монрепо. На то похоже. Коллежскій ассессоръ Балабановъ».

Тогда, чтобъ убѣдиться окончательно, посылаю телеграмму № 3-й: «Благородному господину Занкову. Что же наконецъ у васъ будетъ?» И черезъ новыя четверть часа получаю новый отвѣтъ: «Будетъ, что Богъ дастъ. Губернскій секретарь Занковъ».

Сличивши эти три телеграммы, я нахожу вопросъ о конституціонномъ будущемъ Болгаріи исчерпаннымъ и посылаю четвертую, общую телеграмму: «Митрополиту Анониму. Пью за болгарскій народъ!» А черезъ четверть часа получаю отвѣтъ: «Братолюбивому господину Монрепо. Не находимъ словъ выразить, сколь для болгарскаго народа сіе лестно. Анонимъ».

И такимъ образомъ въ какой-нибудь часъ времени—все кончено.

Кажется, что на эту тему мечтать—ничего?

Но если бы и тутъ оказалось не «ничего», то, дѣлать нечего, возьмемъ за бока Афганистанъ. Ужасно меня съ нѣкоторыхъ поръ интригуетъ Якубъ-ханъ. Коваренъ, какъ всякій восточный человѣкъ, и въ то же время, подобно знаменитому своему отцу, склоненъ къ присвоенію государственной африканской казны. Пойдетъ онъ или не пойдетъ по слѣдамъ Ширъ-Али относительно коварнаго Альбіона? Ежели пойдетъ, то рано или поздно быть ему водвореннымъ въ губернскомъ городѣ Рязани. Ежели не пойдетъ, то и тутъ Рязани ему не миновать. Въ первомъ случаѣ—въ знакъ гостепріимства, во второмъ—въ знакъ забвенія бунтовъ. Но во всякомъ разѣ онъ предварительно вывезетъ изъ своего мѣста безчисленное множество лаковъ рупій и доставитъ ихъ въ то мѣсто, которое ему будетъ назначено для гостепріимства. Рязань украсится, оплодотворится и въ нѣсколько мѣсяцевъ сдѣлается неузнаваемою. Въ соборѣ заблаговѣститъ новый колоколъ, на пожарномъ дворѣ явится новая пожарная труба, а что касается до дамочекъ, то онѣ изобрѣтутъ, въ пользу Якубъ-хана, такое декольтѐ, отъ котораго содрогнутся въ гробѣ кости Ширъ-

Али. Словомъ-сказать, весь обрядъ гостепріимства будетъ выполненъ въ точности. Но что же затѣмъ? Затѣмъ, разумѣется, все пойдетъ обычнымъ порядкомъ. Сначала явится разбитной малый изъ мѣстныхъ культурныхъ людей и дастъ рупіямъ приличествующее назначеніе; потомъ начнется по этому случаю судоговореніе, и въ Рязань прибудетъ адвокатъ и проклянетъ часъ своего рожденія, доказывая, что назначеніе рупіямъ дано вполнѣ правильное и согласное съ волей самого истца; а наконецъ Якубъ-хану, въ знакъ окончательнаго гостепріимства, будетъ дозволено переѣхать въ Петербургъ, гдѣ онъ и поступитъ въ ресторанъ Бореля, въ качествѣ служителя...

Нечего и прибавлять, конечно, что русскіе интересы будутъ при этомъ такъ строго соблюдены, что даже «Московскія Вѣдомости»—и тѣ останутся довольны...

Кажется, что на эту тему мечтать—ничего?

Но ежели и это не «ничего», то къ услугамъ мечтателя найдется въ Монрепо не мало и другихъ темъ, столь же интересныхъ и ужъ до такой степени безопасныхъ, что даже покойный цензоръ Красовскій — и тотъ съ удовольствіемъ подписалъ бы подъ ними: «мечтать дозволяется». Во-первыхъ, есть цѣлая область исторіи, которая представляетъ такой неисчерпаемый источникъ всякаго рода комбинацій, сопряженныхъ съ забытьемъ, что самъ мечтательный Погодинъ — и тотъ не могъ вычерпать его до дна. Возьмите, напримѣръ, хоть слѣдующія темы:

Что было бы, если-бъ древніе новгородцы не послѣдовали совѣту Гостомысла и не пригласили варяговъ?

Гдѣ былъ бы центръ тяжести, если-бъ вѣщій Олегъ взялъ Константинополь и оставилъ его за собой?

Какими государственными соображеніями руководились удѣльные князья, ведя другъ съ другомъ безпрерывныя войны?

На какой степени гражданскаго и политическаго величія стояла бы въ настоящее время Россія, если-бъ она не была остановлена въ своемъ развитіи татарскимъ нашествіемъ?

Кто былъ первый Лжедмитрій?

Если-бъ Петръ Великій не основалъ Петербурга, въ какомъ положеніи находилась бы теперь мѣстность при впаденіи Невы въ Финскій заливъ, и имѣла ли бы Москва основаніе завидовать Петербургу (извѣстно, что зависть къ Петербургу составляетъ историческую миссію Москвы въ теченіе болѣе полутора вѣковъ)?

Почему, несмотря на сравнительно мѣньшую численность населенія, въ Москвѣ больше трактировъ и питейныхъ домовъ, нежели въ Петербургѣ? Почему въ Петербургѣ немыслимъ трактиръ Тѣстова?

Попробуйте заняться хоть однимъ изъ этихъ вопросовъ, и вы увидите, что и ваше существо, и Монрепо, и вся природа—все разомъ переполнится привидѣніями. Со всѣхъ сторонъ поползутъ шѡноты, таинственныя дуновенія, мельканія, словомъ сказать, вся процедура серьезнаго историческаго, истинно-погодинскаго изслѣдованія. И въ заключеніе тѣнь Красовскаго произнесетъ: «мечтать дозволяется».

О, тѣнь возлюбленная! не ошибкой ли однако высказала ты разрѣшительную формулу? повтори!

Во-вторыхъ, имѣется другая, не менѣе обширная область—кулинарная. Еще Владиміръ Великій сказалъ: «веселіе Руси пити и ясти» и въ этихъ немногихъ словахъ до такой степени вѣрно очертилъ русскую подоплёку, что даже и донынѣ русскій человѣкъ ни на чемъ съ такимъ удовольствіемъ не останавливаетъ свою мысль, какъ на ѣдѣ. А такъ какъ объектомъ для ѣды служитъ все разнообразіе природы, то не трудно себѣ представить, какое безчисленное количество механическихъ и химическихъ метаморфозъ можетъ произойти въ этомъ безграничномъ мірѣ чудесъ, если хозяиномъ въ немъ явится мечтатель, охотникъ пожрать!

Въ-третьихъ, въ-четвертыхъ, въ-пятыхъ... я, конечно, не буду утомлять читателя дальнѣйшимъ перечисленіемъ подходящихъ сюжетовъ и темъ. Скажу огуломъ: міръ мечтаній такъ великъ и допускаетъ такое безграничное разнообразіе сочетаній, что нѣтъ той навозной кучи, которая не представляла бы повода для интереснѣйшихъ сопоставленій.

Итакъ, я мечталъ. Мечталъ и чувствовалъ, какъ я умираю, естественно и непостыдно умираю. Въ первый разъ въ жизни я наслаждался сознаніемъ, что ничто не нарушитъ моего вольнаго умиранія, что никто не призоветъ меня къ отвѣту и не напомнитъ о какихъ-то обязанностяхъ, что ни одна душа не потребуетъ отъ меня ни совѣта, ни помощи, что мнѣ не предстоитъ никуда спѣшить, объ чемъ-то бесѣдовать и что-то предпринимать, что ни одинъ органъ книгопечатанія не обольетъ меня помоями сквернословія. Однимъ словомъ, что я забытъ, совсѣмъ забытъ.

Внутри дома царила пустота, тишина и одиночество. Внѣ дома—то же одиночество и та же пустота. По временамъ паркъ заволакивался, словно сѣтью, падающими хлопьями снѣга; по временамъ деревья какъ бы сбрасывали съ себя иго оцѣпенѣнія и, колеблемыя вѣтромъ, оживали и шевелились; по временамъ изъ лѣсной чащи даже доносился грозный гулъ. Но взоръ и слухъ скоро привыкали и къ этимъ картинамъ, и къ этимъ звукамъ. Зимняя природа даже и въ гнѣвѣ какъ-то безоружна,—разумѣется, для тѣхъ, которыхъ нужда не выгоняетъ изъ теплой комнаты. Вотъ въ полѣ, въ лѣсу—тамъ, должно-быть, страшно. Можно сбиться съ дороги, подвергнуться нападенію волковъ, замерзнуть. Но въ комнатѣ, гдѣ градусникъ показываетъ всегда одинъ и тотъ же уровень температуры, гдѣ и тепло, и свѣтло, и уютно, всѣ эти морозы и вьюги могутъ даже подать поводъ для благодарныхъ сопоставленій.

И не только для благодарныхъ, но и для поучительныхъ сопоставленій. Ибо если хорошо быть совсѣмъ обезпеченнымъ отъ морозовъ и вьюгъ, то еще бо́льшее наслажденіе долженъ ощущать тотъ, кто, испытавъ морозъ и вьюгу, кто, проплутавъ до истощенія силъ по сугробамъ, вдругъ совсѣмъ неожиданно обрѣтаетъ спасеніе въ видѣ жилья. Представьте себѣ этотъ почти волшебный переходъ отъ холода къ теплу, отъ мрака къ свѣту, отъ смерти къ жизни; представьте себѣ эту радость возрожденія, радость до того глубокую и яркую, что для нея дѣлаются уже тѣсными предѣлы случая, ее породившаго. Да, это—радость совсѣмъ особенная, лучезарная, ни съ чѣмъ несравнимая. Не одинъ *этотъ* случай освѣтила она своими лучами, но разомъ втянула въ себя цѣлую жизнь и на все прошлое, на все будущее наложила печать избавленія. Въ эту блаженную минуту нѣтъ мѣста ни для опасенія, ни для тревогъ. *Всѣ* опасности миновали, *всѣ* тревоги улеглись; *все* больное, щемящее упразднилось—навсегда. Во всемъ существѣ разлилась горячая струя жизни, во всѣхъ мысляхъ царитъ убѣжденіе, что отнынѣ жизнь уже пойдетъ не старою горькою колеей, а совсѣмъ новымъ, радостнымъ порядкомъ. Конечно, все это волшебство длится какую-нибудь одну минуту, но зато какая это минута... Боже, какая минута!

Истинно говорю, это—наслажденіе великое, и съ теоретической точки зрѣнія отсутствіе его въ жизни людей, проводящихъ время въ теплыхъ и свѣтлыхъ комнатахъ, представляетъ даже очень значительный пробѣлъ.

Между прочимъ, я мечталъ и объ этомъ, и это были мечтанія поистинѣ отрадныя. Сначала я душевно скорбѣлъ, рисуя себѣ картину путника, выбивающагося изъ силъ; но такъ какъ я человѣкъ добрый, то, разумѣется, не оставлялъ его до конца погибнуть и въ критическую минуту поспѣшалъ на помощь и предоставлялъ въ его распоряженіе неприхотливое, но вполнѣ удовлетворительное жилье. И глубока была моя радость, когда вслѣдъ затѣмъ передъ моими глазами постепенно развертывалась картина возрожденія...

Однимъ словомъ, я мечталъ, мечталъ безъ конца, мечталъ обо всемъ: о прошломъ, настоящемъ и будущемъ, мечталъ смѣло, въ сладкой увѣренности, что никто объ моихъ мечтахъ не узнаетъ и слѣдовательно никто меня не подкузьмитъ. И, проводя время въ этихъ мечтаніяхъ, чувствовалъ себя удивительно хорошо. До усталости ходилъ по комнатѣ и ни на минуту не уличилъ свою мысль въ бездѣятельности; потомъ садился въ кресло, закрывалъ глаза и опять начиналъ мысленную работу. Даже такъ-называемыя «хозяйственныя распоряженія»—и тѣ вскорѣ приняли у меня мечтательный характеръ. Придетъ вечеромъ, передъ спаньемъ, въ комнаты старикъ Лукьянычъ и молвитъ:

— Ну, нынче—зима!

— Ты говоришь: зима?

— Да, зима нынче. И ежели теперича лѣто съ примѣтами сойдется, такъ, кажется, конца-краю урожаю не будетъ!

— Ты думаешь?

— Вотъ увидите. Въ прошломъ году мы одну только сторону сѣномъ набили, а въ нынѣшнемъ придется, пожалуй, и на чердаки на скотномъ сѣно таскать.

— Гм!.. это бы...

— Увидите сами, коли ежели я не правду говорю. Такая-то зима у меня на памятяхъ всего разъ случилась, когда мнѣ еще пятнадцать лѣтъ было. И что въ ту пору хлѣба нажали, что сѣна накосили—страсть!

— Богъ, братецъ...

— Само собой, Богъ! захочетъ Богъ—полны сусѣки хлѣба насыплетъ, не захочетъ—ни пера земля не родитъ! это что говорить!

Молчаніе.

— Распоряженіевъ насчетъ завтрашняго дня не будетъ?

— Нѣтъ, что̀ ужъ...

— Покойной ночи-съ!

И все въ домѣ окончательно стихаетъ. Сперва на скотномъ дворѣ потухаютъ огни, потомъ на кухнѣ замираетъ послѣдній звукъ гармоники, потомъ сторожъ въ послѣдній разъ стукнулъ палкой въ стѣну и забрался въ сѣни спать, а наконецъ ложусь въ постель и я самъ...

Но и сонъ приходитъ какой-то особенный. Мечтанія канувшаго дня не прерываются, а только быстрѣе и отрывочнѣе слѣдуютъ одни за другими. Вотъ и опять «величіе Россіи», вотъ «Якубъ-ханъ», вотъ «историческіе вопросы», а вотъ и «ну, ужъ нынче зима!..» Не разберешь, гдѣ кончилось бодрствованіе, и гдѣ начался сонъ...

Но въ этой-то невозможности что-нибудь «разобрать» именно и заключается та обаятельная сила, которая заставляетъ умирающаго человѣка стремиться въ Монренò, чтобы тамъ обрѣсти для себя усыпальницу.

Но въ первыхъ числахъ марта въ мое сердце начали вкрадываться смутныя опасенія. Прилетѣли грачи и наполнили паркъ гамомъ; почернѣла дорога. На большомъ трактѣ, отдѣляющемся отъ моего дома лишь небольшимъ клочкомъ парка, появились тройки съ катающимися, которыхъ, благодаря отсутствію листвы, я могъ видѣть совершенно отчетливо. Это были наши портерныя и питейныя дамы, для которыхъ катанье на тройкахъ составляетъ, по изстари заведенному обычаю, единственное великопостное развлеченіе. Повидимому, имъ было очень весело, также какъ и Граціанову, неизмѣнно сопровождавшему дамъ на бѣговыхъ санкахъ. Но въ особенности шумнымъ дѣлалось это веселіе противъ моей усадьбы. Тройки замедляли ходъ; дамы, обративши лицо въ сторону моего дома, хохотали такъ громко, что даже черезъ двойныя оконныя рамы до меня долетали ихъ ликующіе голоса; при этомъ Граціановъ объяснялъ имъ, должно-быть, нѣчто очень уморительное. Можетъ-быть, онъ въ смѣшномъ видѣ пересказывалъ испытаніе, которому меня подвергалъ; можетъ-быть, подмѣтилъ кое-что изъ моихъ привычекъ и тоже возводилъ въ перлъ созданія.

Конечно, все это трогало меня очень мало и ничуть не служило помѣхой для моего умиранія. Но однажды я замѣтилъ нѣчто не совсѣмъ обыкновенное. Между знакомыми тройками появилась тройка совсѣмъ особенная, охотниц-

кая. На пошевняхъ, покрытыхъ ковромъ. сидѣлъ купецъ Разуваевъ, самъ правилъ лошадьми и завивалъ пристяжныхъ въ кольца. Какъ только показалась эта тройка, Граціановъ передалъ свою одиночку близъ-стоящему сотскому и пересѣлъ въ Разуваевскія пошевни. Затѣмъ, пропустивши мимо дамскій поѣздъ, друзья остановились прямо противъ оконъ моего дома. Разуваевъ жестикулировалъ, Граціановъ что-то доказывалъ; оба отъ времени до времени хохотали. Я видѣлъ, какъ Разуваевъ поманилъ пальцемъ стараго Лукьяныча, сидѣвшаго на лавкѣ у воротъ, какъ послѣдній неторопко подошелъ и, что-то выслушавъ, сплюнулъ въ сторону, и затѣмъ оба друга опять захохотали. Черезъ четверть часа улица опустѣла, и гуляющіе, очевидно, разошлись по кабакамъ. Но, когда начали спускаться сумерки, Разуваевская тройка съ двумя сѣдоками, по крайней мѣрѣ, разъ десять, съ гамомъ и свистомъ, пронеслась взадъ и впередъ мимо моего дома, посылая по сторонамъ комья грязи и рыхлаго снѣга и взбудораживая угомонившихся въ гнѣздахъ грачей.

Передъ спаньемъ Лукьянычъ имѣлъ по этому поводу со мной объясненіе.

— Разуваевъ мимо насъ сегодня озоровалъ.

— Видѣлъ.

— Стало-быть, ему можно?

— Стало-быть.

— Стало-быть, ежели онъ почью... испугаетъ, навѣкъ уродомъ сдѣлаетъ... и это можно?

— Вѣроятно, можно.

Лукьянычъ только головой мотнулъ на мой отвѣтъ.

— Давеча меня поманилъ: «правда ли, говоритъ, что Матрена-скотница (Матрена — почтенная женщина лѣтъ подъ шестьдесятъ) въ грѣхѣ состоитъ?»

— Съ кѣмъ? сказывалъ?

— Извѣстно, съ кѣмъ.

— Со мной?

— Стало-быть.

Молчаніе.

— А потомъ опять подъѣхалъ. «Коли, говоритъ, Матрена не виновата, такъ чѣмъ же твой баринъ питается?» И это, значитъ, можно?

— Должно-быть. Вотъ ты и самъ съ нимъ разговариваешь...

— А я что же могу! Я думалъ, онъ объ дѣлѣ хочетъ

говорить, а онъ вонъ что! По-моему, ему бы за это въ шею накласть—вотъ и все.

— А ты его спроси сначала, согласится ли онъ?

— Это, чай, и безъ спросу можно. При папенькѣ при вашемъ, царство небесное, коли бы такой случай вышелъ...

— То было при папенькѣ, а то теперь.

— Такъ, значитъ, и пущай озоруютъ?

— И пущай!

— Покойной ночи-съ!

Нѣсколько дней сряду повторялось это дикое гиканье, и однажды даже, какъ предсказалъ Лукьянычъ, Разуваевъ угостилъ меня имъ въ глухую ночь. Проскакалъ несчетное число разъ мимо моей усадьбы во весь опоръ, крича: «караулъ! рѣжутъ! пожаръ!» И во всѣхъ этихъ parties de plaisir неизмѣнно участвовалъ Граціановъ. Я понялъ, что противъ меня затѣяна интрига.

Очевидно, меня хотятъ выжить. Вездѣ кругомъ кабаки, вездѣ веселье идетъ, одинъ я заперся отъ всѣхъ и умираю. И при этомъ какъ-то странно и неестественно себя веду, такъ что и приноровиться ко мнѣ невозможно. Сперва не «якшался» и задиралъ носъ, потомъ смалодушничалъ и началъ «якшаться», и вотъ, въ ту самую минуту, когда всѣ сердца понеслись мнѣ навстрѣчу, когда всѣ начали надѣяться, что я буду приглашать деревенскихъ дѣвокъ водить хороводы у себя передъ домомъ и одѣлять ихъ пряниками, я вдругъ опять заперся и пересталъ «якшаться». Даже батюшка скандализировался моимъ поведеніемъ и, дабы не преогорчить своихъ прочихъ духовныхъ дѣтей, сталъ избѣгать свиданій со мною. Ясно, что Разуваевъ былъ въ этомъ мѣстѣ гораздо болѣе ко двору, нежели я.

Разуваевъ жилъ отъ меня верстахъ въ пяти, снималъ рощи и отправлялъ въ городъ барки съ дровами. Сверхъ того, онъ занимался и другими операціями, объектомъ которыхъ обыкновенно служилъ мужикъ. И онъ былъ веселый, и жена у него была веселая. Домъ ихъ, небольшой и невзрачный, стоялъ у лѣсной опушки, такъ что изъ оконъ никакого другого вида не было, кромѣ громаднаго пространства, сплошь усѣяннаго пнями. Но хозяева были гостепріимные, и пированье шло въ этомъ домишкѣ великое.

Ко времени, о которомъ идетъ рѣчь, доходилъ срокъ арендуемымъ Разуваемымъ рощамъ. И вотъ онъ началъ задумываться. Капиталъ свободный есть, торговыя связи

тоже заведены, а главное, мѣсто наспжено и облюбовано Ѣдетъ онъ по селу улицей—всѣ шапки снимаютъ; пріѣдетъ въ церковь къ обѣднѣ—станетъ съ супругой впереди у крылоса, подтягиваетъ дьячку и любуется на пожертвованное имъ паникадило; послѣ обѣдни подойдетъ ко кресту первымъ послѣ Граціанова и получитъ отъ батюшки заздравную просвиру. Всѣмъ съ нимъ повадно, всѣмъ по себѣ, потому что онъ на всѣ руки: и выпить не дуракъ, и пошутить охочъ, и сплясать можетъ. Поставитъ на голову стаканъ съ пивомъ и спляшетъ. Батюшка сколько разъ мнѣ говорилъ: «Вотъ у Разуваева икру подаютъ—бѣлужью, настоящую! А однажды изъ города копченую стерлядь привезъ—даже и до часа сего забыть не могу!» А матушка, вздохнувъ, прибавляла: «По здѣшнему мѣсту, только и полакомиться, что у Разуваевыхъ!» Даже такъ-называемая чернядь—и та какъ полоумная сбѣгалась со всѣхъ сторонъ, когда на село пріѣзжалъ Разуваевъ. Потому что онъ вдругъ, того и гляди, велитъ пѣсни пѣть и начнетъ въ народъ гривенники на драку бросать!

Однимъ словомъ, всѣми онъ былъ любимъ, для всѣхъ желателенъ. Мужикъ онъ былъ не то чтобы молодой, но въ порѣ, статный, широкоплечій, лицо имѣлъ русское, круглое, румяное, глаза веселые, бороду пушистую, свѣтлорусую. И жена у него была такая же, русская: круглолицая, бѣлотѣлая, полногрудая, румяная, съ веселыми, слегка безстыжими глазами на выкатѣ. Охотники были оба пѣсни попѣть и пѣли мастерски, особенно хоровыя, подблюдныя.

Давно уже до меня доходили слухи, что Разуваевъ ищетъ купить себѣ усадьбу, но только чтобы непремѣнно за грошъ. Думалъ-было онъ сначала на порожнемъ участкѣ новый домъ взбороздить, но разсчиталъ, что за грошъ новаго заведенья никакъ устроить нельзя. Да поди еще жди, когда еще оно въ настоящій видъ придетъ, а до тѣхъ поръ торчи на тычкѣ, жарься лѣтомъ на припекѣ, а зимой слушай, какъ вѣтеръ воетъ. Начнешь парки разводить, сады сажать—смотришь, анъ изъ десяти деревъ одно принялось, а прочія посохли. Хорошо было этими парками тогда заниматься, когда крѣпостные были. Тогда ни одно дерево не пропадало, а шло все въ высь и въ ширь, словно по щучьему велѣнью. Тогда-то и было положено начало всѣмъ паркамъ и садамъ, которые мы видимъ, а теперь не до парковъ. Такъ вотъ этакую бы готовую старинную усадьбу подыскать, чтобы и парки при ней были, и пруды

бы въ паркахъ, и караси бы въ прудахъ водились, и плодовый садъ чтобы тутъ же находился, а въ бочкѣ бы харчевенку съ продажей распивочно и на выносъ поставить. Да за грошъ бы, непремѣнно за грошъ.

Сколько тутъ пота мужичьяго пролилось, сколько бабьихъ слезъ эти парки видѣли—Разуваевъ объ этомъ не хочетъ и знать. До сихъ поръ старики поминаютъ: «вонъ въ этомъ мѣстѣ трясина была, такъ мы мѣшками землю таскали—смотри, какъ горѣшу взбодрили!»—но Разуваеву и до этого дѣла нѣтъ. Онъ знаетъ только, что современному помѣщику все это не къ рукамъ, да и самъ помѣщикъ, по нынѣшнему времени, тутъ не ко двору. Помѣщикъ—онъ человѣкъ невѣрный, а нужны люди постоянные, вѣроятные, то-есть либо кабатчики, либо оголтѣлые мужики. А сверхъ того, Разуваевъ имѣетъ простодушно-наглое убѣжденіе, что стоитъ только помахать у помѣщика подъ носомъ ассигнаціей, чтобъ онъ сейчасъ же, отъ одного ассигнаціоннаго запаха, впалъ въ изнеможеніе.

И вотъ, благодаря этой наглости съ одной стороны и сознанію беззащитности съ другой, мое сладкое умираніе было самымъ нахальнымъ образомъ прервано. Уже съ самаго начала открытія непріязненныхъ дѣйствій, съ появленіемъ первыхъ гиканій, я смутно почувствовалъ, что мое дѣло не выгоритъ, что, такъ или иначе, я долженъ буду уступить силѣ обстоятельствъ. Въ самомъ дѣлѣ, что я могъ предпринять, чтобы оградить себя отъ Разуваева? Жаловаться на него—куда? И притомъ что-нибудь одно: или умирать, или утруждать начальство просьбами, а одновременно заниматься и тѣмъ, и другимъ—развѣ это съ чѣмъ-нибудь согласно? Если же прибѣгнуть къ партикулярнымъ мѣрамъ взысканія, то и тутъ ничего не подѣлаешь. Плюнешь Разуваеву въ лицо—онъ утрется, своротишь ему скулу—онъ въ баню сходитъ и опять ее на старое мѣсто вправитъ. Словомъ сказать, съ какой стороны къ нему ни приступись—онъ неуязвимъ. Пожалуй, еще заноситъ: «Веселися, храбрый россъ!» и заставитъ слушать себя стоя...

Въ одно прекрасное утро, взглянувъ въ окно, обращенное въ паркъ, я увидѣлъ, что въ одной изъ расчищенныхъ для моихъ прогулокъ аллей ходятъ двое мужчинъ, посматриваютъ кругомъ хозяйскимъ глазомъ, мѣряютъ шагами пространство и даже деревья пересчитываютъ. Вглядѣвшись пристальнѣе, я узналъ въ посѣтителяхъ Разуваева

и Граціанова. Вотъ они скрылись въ чащѣ, вотъ опять выглянули, подошли къ пруду, при чемъ Разуваевъ сплюнулъ на посинѣвшій ледъ; вотъ подошли къ рѣшеткѣ, отдѣляющей огородъ отъ сада, и что-то высчитываютъ— должно-быть, сколько тутъ грядъ можно обработать, и съ чѣмъ именно. Вотъ наконецъ они возвращаются, опять останавливаются и толкуютъ, вотъ подходятъ къ дому.

Черезъ минуту въ передней у меня раздался звонокъ...

IV.—Finis Монрепо.

Когда продавецъ недвижимаго имущества входитъ въ сношенія съ покупателемъ, то совѣтуемъ первому не только не утаивать недостатковъ продаваемаго имѣнія, но объяснять оные съ полною откровенностью. Само собою, впрочемъ, разумѣется, что умный продавецъ никогда не скажетъ, что имѣніе его ничего не стоитъ, но сошлется или на недостатокъ капиталовъ, или на собственныя свои, владѣльца, невѣжество и нерадивость. Такая откровенность почти всегда удается, ибо всякій покупатель непремѣнно мнитъ себя агрономомъ, а ежели у него, вдобавокъ, есть нѣсколько лишнихъ тысячъ рублей, то къ таковому самомнѣнію обыкновенно присоединяется увѣренность, что, по мѣрѣ размѣна крупныхъ ассигнацій на мелкія, негодное имущество будетъ постепенно превращаться въ золотое дно. Одинъ нашъ знакомый, напримѣръ, такъ рекомендовалъ свое Монрепо лицу, интересовавшемуся пріобрѣтеніемъ онаго:

«Земля у меня,—писалъ онъ:—отчасти худородная, отчасти изъ песковъ состоящая, но ежели приложить трудъ, умѣніе и капиталъ, то... Баженовъ пишетъ: извѣстно, что даже зыбучіе пески, ежели... Совѣтовъ повѣствуетъ: ежели зыбучіе пески... Но въ особенности рекомендую нѣкоторыя подозрительнаго свойства залежи, которыхъ въ имѣніи очень достаточно и которыя, по недостатку капиталовъ, не были, къ сожалѣнію, подвергнуты изслѣдованію. Судя, однако-жъ, по ржавчинѣ, покрывающей воды и растущіе злаки, можно предположить..»

И что же! откровенность эта имѣла самый полный успѣхъ! Прошло очень немного времени, какъ въ Монрепо уже разгуливалъ новый владѣлецъ и, въ свою очередь, обдумывалъ наилучшую для онаго рекомендацію!

Изъ неизданнаго сочиненія: «Совѣты благоразумія при продажѣ земельныхъ недвижимыхъ имуществъ».

Разуваевъ предсталъ передо мной радостный, румяный, свѣтлый. Онъ увѣренно протянулъ мнѣ руку, держа ее ладонью вверхъ.

— Ну, баринъ, по рукамъ!—воскликнулъ онъ, повиди-

мому, не питая ни малѣйшаго сомнѣнія, что именно эти самыя слова ему сказать надлежитъ.

— По какому случаю?

— Да такъ ужъ, хлопай! въ накладѣ не будешь! Хорошее слово услышишь!

— Покуда что̀ услышу, а до тѣхъ поръ лучше было бы, кабы вы безцеремонность-то посократили.

Разуваевъ взглянулъ на меня, слегка подбоченился и грустно покачалъ головой.

— Ахъ, баринъ вы, баринъ! Погляжу я на васъ, баръ,— все-то вы артачитесь!

И затѣмъ, вынувъ изъ кармана большой и туго набитый бумажникъ, присовокупилъ:

— Вотъ!

Приводя эту сцену, я отнюдь не преувеличиваю. Въ послѣднее время русское общество выдѣлило изъ себя нѣчто на манеръ буржуазіи, то-есть новый культурный слой, состоящій изъ кабатчиковъ, процентщиковъ, желѣзнодорожниковъ, банковыхъ дѣльцовъ и прочихъ казнокрадовъ и міроѣдовъ. Въ короткій срокъ эта праздношатающаяся тля успѣла опутать всѣ наши палестины, въ каждомъ углу она сосетъ, точитъ, разоряетъ и. вдобавокъ, нахальничаетъ. Въ большихъ центрахъ она теряется въ массѣ прочихъ праздношатающихся и потому не слишкомъ бьетъ въ глаза, но въ малыхъ городахъ и въ особенности въ деревняхъ она положительно подла и невыносима. Это — ублюдки крѣпостного права, выбивающіеся изъ всѣхъ силъ, чтобы возстановить оное въ свою пользу, въ формѣ менѣе разбойнической, но несомнѣнно болѣе воровской.

Помѣщикъ, еще недавній и полновластный обладатель сихъ мѣстъ, исчезъ почти совершенно. Онъ захудалъ, струсилъ и потому или бѣжалъ, или сидитъ, спрятавшись, въ ожиданіи, что вотъ-вотъ сейчасъ побѣжитъ. Мужикъ ничего отъ него не ждетъ; буржуа-міроѣдъ смотритъ такъ, что только не говоритъ: а вотъ я тебя сейчасъ слопаю; даже попъ—и тотъ не идетъ къ нему славить по праздникамъ, ни о чемъ не докучаетъ, а при встрѣчахъ впадаетъ въ учительный тонъ.

Оставшись съ клочками земли, которые самъ облюбовалъ при составленіи уставныхъ грамотъ и не безъ грѣха утянулъ отъ крестьянскихъ надѣловъ, помѣщикъ не знаетъ, что̀ съ ними дѣлать, какъ ихъ сберечь. Видитъ самъ, что онъ къ дѣлу не приготовленъ, на выдумки не гораздъ, да

притомъ и лѣнивъ, и что, слѣдовательно, что бы онъ ни предпринялъ—ничего у него не выйдетъ. Между тѣмъ надо жить. И жить не власть имѣющимъ, не привилегированнымъ, а заурядным партикулярнымъ человѣкомъ. И прежде былъ онъ негораздъ и неретивъ, но прежде у него былъ подъ руками «вѣрный человѣкъ», который и распоряжался и присматривался за него, а ему только денежки на столъ выкладывалъ: пей, ѣшь и веселись! Увы! скоро исполнится двадцать лѣтъ, какъ «вѣрнаго человѣка» и слѣдъ простылъ. «Нѣтъ вѣрныхъ людей! пропалъ, изворовался вѣрный человѣкъ!»—вопіютъ во всѣхъ концахъ разсѣянные остатки стариннаго барства, и вопіютъ не напрасно, ибо каждому изъ нихъ предстоитъ ухитить разрушающееся гнѣздо, да и въ домашнемъ обиходѣ дворянскій обычай соблюсти, то-есть имѣть чай, сахаръ, водку, табакъ. На все это потребенъ рубль, рубль и рубль; а откуда его добыть тому, кто «вѣрнаго человѣка» лишился и не успѣлъ проникнуть ни въ земство, ни въ мировыя учрежденія?

А «вѣрный человѣкъ» притаился тутъ же подъ бокомъ и обрастаетъ да обрастаетъ себѣ полегоньку. Помѣщикъ, Сидоръ Кондратьичъ Прогорѣловъ, нѣкогда звалъ его Егоркой, потомъ сталъ звать Егоромъ Ивановымъ, потомъ—Егоромъ Иванычемъ, а теперь уже и прямо произноситъ полный титулъ: Егоръ Иванычъ господинъ Груздёвъ. Егорка прижалъ въ свое время у Сидора Кондратьича нѣсколько сотенъ рублей; Егоръ Ивановъ—опуталъ ими деревню; Егоръ Иванычъ съѣздилъ въ городъ, узналъ, гдѣ раки зимуютъ, и открылъ кабакъ, а при оном и лавку, въ качествѣ подспорья къ кабаку; а господинъ Груздёвъ ужъ о томъ мечтаетъ, какъ бы ему «банку» устроить и въ конецъ родную палестину слопать. Тщетно Сидоръ Кондратьичъ изъ глубины взволнованной души вопіетъ: «давно ли Егорка при мнѣ въ прохвостахъ состоялъ!»—на эти вопли Егорка совершенно резонно ему возражаетъ: «одни это съ вашей стороны, Сидоръ Кондратьичъ, нестоящія слова!»

Однако-жъ и Егорка выступаетъ на арену дѣятельности не Богъ знаетъ съ какимъ запасомъ. И онъ негораздъ и невѣжественъ, и онъ ретивъ только галдѣть да зубы заговаривать. Но у него есть готовность кровопійствовать—и это значительно помогаетъ ему. Готовность эту онъ выработалъ еще въ то время, когда въ «подломъ видѣ» состоялъ, но тогда онъ употреблялъ се за счетъ своего патрона, и

за это-то именно и получилъ титулъ «вѣрнаго человѣка». Теперь онъ пользуется ею ужъ «гля себя» и пользуется, разумѣется, шире, рискованнѣе. Но, сверхъ того, у него есть и еще подспорье: онъ совсѣмъ не думаетъ о томъ, что̀ ожидаетъ его впереди. Можетъ-быть, изъ него выйдетъ *господинъ* Груздёвъ, а, можетъ-быть, онъ угодитъ въ острогъ. Разумѣется, лучше сдѣлаться *господиномъ* Груздёвымъ, но, съ другой стороны, и въ Сибири люди живутъ. Не выгорѣло—только и всего; а чтобы совѣстно было или больно—ни капельки. Понятно, что, заручившись двумя столь драгоцѣнными качествами, онъ всякую мышь, всякую букашку, въ травѣ ползущую—все видитъ.

И вотъ наконецъ совершилось. Миновавши чудеснымъ образомъ каторгу, Егорка откуда-то добываетъ себѣ шитый мундиръ и окончательно дѣлается Егоромъ Иванычемъ господиномъ Груздёвымъ. Онъ пьетъ кровь уже въявь и въ то же время сознаетъ себя «столпомъ». Все кругомъ «подражаетъ» ему, заискиваетъ, льститъ. Уѣздныя власти заѣзжаютъ къ нему и по пути, и безъ пути пьютъ въ его домѣ, закусываютъ и, въ случаѣ административныхъ затрудненій, прибѣгаютъ къ его помощи. Кто купитъ недоимщицкій скотъ?—Егоръ Иванычъ. Къ кому обратиться съ приглашеніемъ о пожертвованіи?—къ Егору Иванычу. А глядя на властей, и помельче сошка чувствуетъ, какъ раскипается у нея сердце усердіемъ къ Егору Иванычу. Батюшка обѣдни не начинаетъ до пріѣзда его въ храмъ; волостной старшина совмѣстно съ писаремъ контракты для него сочиняютъ, коими закрѣпляютъ въ пользу его степенства всю волость, а сотскіе и десятскіе всѣ глаза проглядѣли, не покажется ли гдѣ Егоръ Иванычъ, чтобы броситься впередъ и разгонять на пути его чернядь.

Видя такое общее «подражаніе», Егорка начинаетъ больше и больше входить въ азартъ. Онъ уже не разъ видѣлъ себя въ мечтахъ перебравшимся въ Петербургъ и оттуда дѣлающимъ экскурсіи «для дебаширства» въ Парижъ, Ниццу, Баденъ-Баденъ и проч.; но покуда это—еще идеалъ болѣе или менѣе отдаленнаго будущаго. Покамѣстъ ему и дома жить хорошо. Только вотъ Сидоръ Кондратьичъ, словно бѣльмо на глазу, у него торчитъ. Струсилъ онъ, захудалъ, а все-таки помнитъ, что Егорка въ прохвостахъ у него состоялъ. Да и гнѣздо у него такое насижено, какъ будто бы именно тутъ, а не въ иномъ

мѣстѣ «господину» быть надлежитъ. Знаетъ Егорка, что все это, въ сущности, пустяки, что не въ преданіяхъ прошлаго сила — и все-таки кипятится: какъ-ни-какъ, а надо Сидора Кондратьича изъ здѣшняго мѣста выкурить, надо гнѣздомъ его завладѣть. Ибо тогда и только тогда онъ воистину *господинъ* Груздёвъ будетъ.

Сказано—сдѣлано. Предпринимается цѣлый рядъ подвоховъ. Еще будучи въ «подломъ видѣ», Егорка-вѣрный человѣкъ до тонкости вызналъ Сидора Кондратьича и очень хорошо понимаетъ, на какой струнѣ надлежитъ играть, чтобъ его заставить лѣзть на стѣну или ввергнуть въ уныніе. И вотъ не проходитъ и нѣсколькихъ мѣсяцевъ, какъ бывшій властелинъ сихъ мѣстъ видитъ себя лишеннымъ огня и воды и дѣлается притчей во языцѣхъ. Рабочіе къ нему не идутъ, поля у него не родятъ, коровы его не доятъ, овцы чихаютъ... дурррракъ! Даже чернядь, которая спеціально рождена для того, чтобы слезы лить, и та весело гогочетъ, слушая анекдоты объ егоркиныхъ подвохахъ и прогорѣловскомъ простодушіи. А ежели не донимаютъ простые подвохи, то пускаются въ ходъ подвохи сложные, какъ-то: доносы, нашептыванья, раздаются слова: «книжки читаетъ», «народъ смущаетъ», «соблазнъ заводитъ». Долго не вѣритъ Сидоръ Кондратьичъ ушамъ и глазамъ своимъ, но наконецъ убѣждается, что надо бѣжать, бѣжать безъ оглядки, сейчасъ...

Я не утверждаю, разумѣется, что все написанное выше составляетъ общее правило. Есть и тутъ исключенія, но ихъ такъ мало и они такъ своеобразны, что большинству, состоящему изъ простыхъ смертныхъ, трудно и мечтать о томъ, чтобъ попасть въ ряды счастливцевъ. Вотъ эти исключенія. Во-первыхъ, дѣятели земскихъ и мировыхъ учрежденій, потому что они сами всегда могутъ притѣснить; во-вторыхъ, землевладѣльцы изъ числа крупныхъ петербургскихъ чиновниковъ, потому что они могутъ содѣйствовать груздёвскимъ предпріятіямъ и, сверхъ того, служить украшеніемъ груздёвскихъ семейныхъ торжествъ, какъ-то: крестинъ, свадебъ и проч.; въ-третьихъ, землевладѣльцы изъ ряду вонъ богатые, считающіе за собой земли десятками тысячъ десятинъ, которые покуда еще игнорируютъ Груздёвыхъ и отсылаютъ ихъ для объясненій въ конторы; и въ-четвертыхъ, землевладѣльцы не особенно вліятельные, но обладающіе атлетическимъ тѣлосложеніемъ и способные произвести ручную расправу. Вотъ единствен-

ныя лица, передъ которыми новоявленный русскій буржуа до поры до времени не нахальствуетъ.

Повторяю. это совсѣмъ не тотъ буржуа, которому удалось неслыханнымъ трудолюбіемъ и пристальнымъ изученіемъ профессіи (хотя и не безъ участія кровопивства) завоевать себѣ положеніе въ обществѣ: это—просто праздный, невѣжественный и притомъ лѣнивѣйшій забулдыга, которому, благодаря слѣпой случайности, удалось уйти отъ каторги и затѣмъ слопать кишащія вокругъ него массы «рохлей», «ротозѣевъ» и «дураковъ».

Хотя Разуваевъ еще мелко плавалъ, но уже былъ, такъ сказать, на линіи Груздёвыхъ. По крайней мѣрѣ идея грабежа была ужъ вполнѣ имъ усвоена. Я зналъ его очень давно, еще въ то время, когда онъ состоялъ дворовымъ человѣкомъ моего сосѣда по прежнему имѣнію, корнета Отлетаева. Тогда Анатошка Разуваевъ, молодой и красивый парень, пользовался довѣріемъ корнетши Отлетаевой, а камеристка послѣдней, Аннушка, тоже молодая и красивая дѣвица, пользовалась таковымъ же довѣріемъ со стороны самого корнета. Года два или три эти люди жили безмятежно, довольные собой, какъ вдругъ эмансипація все это счастье перевернула вверхъ дномъ. И Анатолій, и Аннушка тотчасъ же наотрѣзъ отказались отъ наперсничества, хотя корнетъ и корнетша доказывали, что имѣютъ право еще въ теченіе двухъ лѣтъ пользоваться ихъ услугами. Дѣло не обошлось безъ формальнаго разбирательства, но по тогдашнему либеральному времени кончилось тѣмъ, что возмутившимся «хамамъ» выданы были увольнительныя свидѣтельства. Немедленно послѣ этого молодая чета вступила въ законный бракъ, а затѣмъ и навсегда исчезла изъ родовыхъ палестинъ. И вотъ, спустя пятнадцать лѣтъ, я вновь встрѣтился съ ними, и встрѣтился какъ чужой, потому что Разуваевъ ни словомъ, ни движеніемъ не выдалъ, что когда-то зналъ меня.

Какъ бы то ни было, но въ эту минуту нахальство Разуваева какъ-то непріятно на меня подѣйствовало. Къ сожалѣнію, ежели я способенъ понимать (а стало-быть, и оправдывать) извѣстныя жизненныя явленія, то не всегда имѣю достаточно выдержки, чтобы относиться къ нимъ объективно, когда они становятся ко мнѣ лицомъ къ лицу. Поэтому я вмѣсто отвѣта указалъ Разуваеву на дверь, и онъ былъ такъ любезенъ, что сейчасъ же послѣдовалъ моему молчаливому приглашенію.

Но тутъ-то именно и начались для меня глупѣйшія испытанія. Вечеромъ того же дня явился Лукьянычъ и вмѣсто того, чтобы, по обычаю, повздыхать да помолчать, вступилъ въ собесѣдованіе.

— Разуваева-то вы давеча прогнали?

— Я его къ себѣ не приглашалъ, а стало-быть, и отъ себя не прогонялъ. А такъ какъ онъ ворвался ко мнѣ нахаломъ, то, разумѣется, я...

— Про то я и говорю, что прогнали.

Лукьянычъ помолчалъ съ минуту, потомъ крякнулъ, переступилъ съ ноги на ногу и какъ-то особенно пошевелилъ плечами. Значитъ, будетъ продолженіе.

— А онъ къ вамъ за дѣломъ пріѣзжалъ.

— Да. показывалъ бумажникъ; вотъ за это-то я и указалъ ему на дверь.

— Угоду онъ у васъ купить охотится—оттого и бумажникъ показывалъ. Чтобъ, значитъ, сумлѣнія вы не имѣли.

— А коли дѣло хочетъ дѣлать, такъ долженъ говорить по-человѣчьему, а не махать бумажникомъ у меня передъ глазами.

— Такъ-то оно такъ.

Опять минута молчанія и опять переступаніе съ ноги на ногу.

— Нехорошо въ здѣшнемъ мѣстѣ, нескладно.

— Что такъ?

— Народу настоящаго нѣтъ. Мелкій народъ, гадёнокъ. Глаза бѣлые, лопочутъ по-своему, не разберешь. Ни ему приказанье отдать, ни отъ него резонъ выслушать... право!

— Такъ вѣдь это не со вчерашняго дня.

— То-то, говорю: нехорошо здѣсь. Сидишь, молчишь—того гляди, остатній умъ промолчишь.

— Да ты сказывай прямо: съ Разуваевымъ, что ли, разговаривалъ?

— А хоть бы и съ Разуваевымъ... Разуваевъ самъ по себѣ, а я самъ по себѣ.

— Ну, хорошо; продать такъ продать. А куда потомъ дѣваться? надо же гдѣ-нибудь помирать?

— Я въ свое мѣсто уйду, къ Успенью-матушкѣ.

— А я куда уйду?

— Неужто-жъ мѣстовъ не найдется!

— То-то вотъ и есть, что нынче нигдѣ притаиться нельзя. Только-что затворишься — смотришь, анъ кто-нибудь и заглянулъ.

— Кабы вы меня слушали, этого бы не было. Говорилъ я тогда: не нужно мужикамъ Свѣтлички отдавать—нѣтъ, отдали. А пустошоночка-то какая! кругленькая, весленькая, двадцать десятинокъ — въ самую могуту! И лѣсокъ березовый по ней, грибовъ сколько, все бѣлые. Все село туда за грибами ходитъ. Выстроили бы тамъ домокъ, въ препорцію; какъ захотѣли, такъ и жили бы.

— Да ты къ чему это говоришь? уйти, что ли, отъ меня хочешь?

— Уйти мнѣ отъ васъ никакъ невозможно. Я покойному вашему папенькѣ образъ снималъ, чтобы быть, значитъ, завсегда при васъ. А только я по мужицкому своему разуму говорю: нехорошо здѣсь.

— Стало-быть, продать?

— Это какъ вамъ будетъ угодно

— И опять искать?

— И опять сыскать можно. Только ужъ надо съ умомъ. Чтобъ Разуваевыхъ, значитъ, не было. Вонъ онъ и теперь свищетъ да гамитъ по ночамъ, а лѣтомъ, пожалуй, и вовсе въ трубу трубить будетъ... Попрежнему, по-старинному, въ шею бы ему за это накласть, а нынче, вишь, не дозволено.

— Чудакъ! да вѣдь и тамъ, и во всякомъ мѣстѣ свой Разуваевъ найдется!

— На что такое мѣсто выбирать? Надо такое избрать, чтобы никѣмъ-никого опричь своихъ. Живемъ, значитъ, одни, ни мы никого не замаемъ, ни насъ никто не замай. Этъ какое мѣсто искать нужно.

— Ну, прощай покуда.

— Спокойной ночи-съ.

Всю ночь я не могъ заснуть. Все мнѣ представлялся вопросъ: въ самомъ дѣлѣ, что я буду дѣлать, если Разуваеву вздумается по ночамъ въ трубу трубить? Да и не одному Разуваеву, а вообще всякому. Должно-быть, ужъ это судьба такая: насчетъ чтеніевъ строго, а въ трубу трубить у сосѣда подъ ухомъ—можно. Весь арсеналъ воздѣйствій, кажется, во всякое время налицо: и ежовыя рукавицы, и бараній рогъ, и злачныя мѣста—а кому они служатъ защитой? Хорошо еще, что не всѣ знаютъ, что озорничать свободно — иначе всѣ, у кого мало-мальски досугъ есть, непремѣнно затрубили бы въ трубы. Какъ тутъ быть? неужто приносить жалобы, подавать прошенія, нанимать адвоката, ходатайствовать? неужто наконецъ бѣжать?

И на другой день утромъ голова моя была полна этими мыслями. Уныло бродилъ я по комнатамъ и отъ времени до времени посматривалъ въ окно, словно желая удостовѣриться: все ли стоитъ на старомъ мѣстѣ и не бѣжало ли къ Разуваеву? Мартъ подходилъ уже къ концу, время стояло хмурое, хотя въ воздухѣ все-таки чуялась близость весны. Деревья въ паркѣ стояли обнаженныя, мокрыя; на цвѣтникѣ, передъ домомъ, снѣгъ посинѣлъ и, весь источенный, долеживалъ послѣдній срокъ; дорожки по мѣстамъ пестрѣли желтыми пятнами; нѣсколько поодаль, на огородѣ виднѣлись совсѣмъ черныя гряды, а около парниковъ шла усиленная дѣятельность. За зиму рабочій людъ отдохнулъ и приготовлялся къ серьезному труду. Вотъ и я за зиму отдохнулъ и приготовляюсь продолжать отдыхать и лѣтомъ. Какой отдыхъ пріятнѣе: зимній или лѣтній?—оба въ своемъ родѣ хороши! Зимой хорошо отдыхать, переходя въ туфляхъ изъ комнаты въ комнату; лѣтомъ хорошо отдыхать, бродя по аллеямъ и внимая пѣнію зябликовъ и чижей. Но ежели все сложилось такъ хорошо—зачѣмъ же я буду уступать это хорошее какому-то Разуваеву? И какое право онъ имѣетъ прямо или косвенно заявлять, что я кому-то мѣшаю и что вообще я здѣсь не ко двору?

Среди этихъ сѣтованій явился давно небывалый гость: батюшка. На вопросъ: чѣмъ потчивать? онъ только горько усмѣхнулся, какъ бы вопрошая: а какіе теперь дни? забылъ?

— Не полагается?

— То-то, что не полагается. И изъ мірянъ благочестивые—и тѣ ни вина, ни елея не дерзаютъ.

Мы оба нѣсколько минутъ помолчали, слегка удрученные.

— Былъ я у васъ на мельницѣ,—началъ батюшка:—полезное заведеньице!

— Выгоды мало приноситъ, батюшка.

— И выгода будетъ, ежели къ рукамъ. Коли помольцевъ мало, самимъ по осени, въ дешевое время, зерно можно скупать, а весной, въ дорогое время, мукой продавать — убытка не будетъ. Вотъ тоже огородъ у васъ. Мѣсто обширное: сколько одной овощи насадить можно, окромя ягодъ и всего прочаго!

— И сажаемъ, батюшка, да тоже безъ особенной выгоды. Сами, должно-быть, потребляемъ, а на сторону мало продаемъ.

— И на сторону можно бы продавать, коли съ разумѣ-

піемъ. Возьмемъ хотя бы ягоды: земляница, малина, смородина,—на все покупщикъ найдется.

— Кабы былъ покупщикъ—отчего бы не продать!

— Искать, сударь, надо—и найдется. Толцыте и отверзется. По здѣшнему мѣсту да покупщика не сыскать! Да тутъ на одномъ огурцѣ фортуну сдѣлать можно.

Однако-жъ воспоминаніе объ овощахъ (особенно ежели съ елеемъ), повидимому, подѣйствовало на батюшку раздражительно. Онъ слегка повернулся, провелъ рукою по волосамъ, какъ бы отгоняя «мечтаніе», потомъ вздохнулъ и перешелъ къ злакамъ.

— Вотъ тоже луга у васъ. Мѣсто здѣсь потное, доброе, только ума требуетъ. А вы сѣете-сѣете, и все у васъ кислица замѣсто тимоѳеевки родится.

— Такъ, стало-быть, Богу угодно, батюшка.

— Знаю, что безъ Бога нельзя. Прогнѣвлять Его не слѣдуетъ—вотъ что̀ главнѣе всего. А затѣмъ и самому необходимо заботу прилагать, дабы Богъ на наши благополезные труды благосерднымъ окомъ взиралъ. Вотъ тогда будетъ родиться не кислица, а тимоѳеева трава.

— Что-жъ, батюшка, кажется, я ничего такого не дѣлаю, за что̀ бы Богу гнѣваться на меня.

— То-то и есть, что «не дѣлать»-то мы всѣ мастера, а нужно «дѣлать», да только такъ «дѣлать», чтобъ Богу пріятно было. Тогда у насъ будетъ кормовъ изобиліе: и сами будемъ сыты, и скотины не изобидимъ. Скажемъ, напримѣръ, о картофелѣ. Плантаціи вы завели значительныя, картофелю прошлой осенью нарыли достаточно, а между прочимъ добрую половину свиньямъ скормили. Свиньи же, по неимѣнію борова, плода не принесли.

Послѣднее замѣчаніе поразило меня. Въ самомъ дѣлѣ, меня преслѣдуетъ неудача особаго рода. На скотномъ дворѣ у меня мужской плодъ положительно не въ авантажѣ. Третій годъ, напримѣръ, мы ищемъ селезня для утокъ, и что̀ ни купимъ—опять окажется утка. И вотъ, вслѣдствіе этого преобладанія женскаго элемента надъ мужскимъ, куры не несутся, коровы доятъ мало и телятся не каждогодно. А одна корова такъ положительно добродѣтельная. Въ теченіе четырехъ лѣтъ всего одинъ разъ телилась, да и то самымъ необыкновеннымъ образомъ. Никто ничего не подозрѣвалъ, а она между тѣмъ однажды вечеромъ не пришла со стадомъ домой, а на утро, только солнышко встало, слышимъ: мычитъ, умница, у воротъ, а за нею теленочекъ. Радо-

стямъ и изумленіямъ не было конца. «Вотъ умница, вотъ красавица! и гдѣ это она?» сыпалось на нее со всѣхъ сторонъ, и всякій спѣшилъ чѣмъ-нибудь порадовать умную коровку. Радовался и я, и подарилъ «Умницѣ» «Домашнюю Бесѣду» за цѣлый годъ. Но съ тѣхъ поръ «Умница»—ни гугу. Покушаетъ, ляжетъ, взглянетъ на небо, зажмуритъ глаза—и только. Не разъ я спрашивалъ у Лукьяныча, что̀ за причина такая? Но у него всегда одинъ отвѣтъ: либо—«стало-быть, нѣтухи свово дѣла не понимаютъ», либо—«стало-быть, быкъ не солоцъ попался». Прекрасно; но кто же долженъ за этимъ наблюдать?!

Разумѣется, въ виду этихъ фактовъ я ничего дѣльнаго на укоризны батюшки возразить не могъ.

— Опять же лѣсъ, — продолжалъ между тѣмъ батюшка:—съ тѣхъ поръ, какъ имѣніе къ вамъ перешло, онъ даже въ ростѣ прибавляться пересталъ. Мужики въ немъ жердинкъ рубятъ, бабы — вѣшники рѣжутъ. А ежели бы этотъ самый лѣсъ да въ надежныя руки—онъ бы процентъ принесъ!

Я молчалъ, потому что сознавалъ батюшкину правду, какъ она ни была для меня обидна. А батюшка все больше и больше хмурилъ брови и началъ даже разжизаться.

— Куры не несутся,—говорилъ онъ негодующимъ голосомъ:—коровы молока не даютъ, поля не родятъ, мельница издержекъ не окупаетъ, лѣсъ надлежащаго прироста не даетъ—по-вашему, какъ это называется?

Я такъ и ждалъ, что онъ вынетъ изъ кармана листокъ «Московскихъ Вѣдомостей» и закричитъ: «измѣна!»

— А по-моему, — продолжалъ онъ: — это и для правительства прямой ущербъ. Правительство источниковъ новыхъ не видитъ, а стало-быть, и въ обложеніяхъ препону находитъ. Въ случаѣ, напримѣръ, войны—какъ тутъ быть? А окромѣ того и мѣстность здѣшняя терпитъ. Сколькимъ сирымъ и неимущимъ было бы существованіе обезпечено, если-бъ съ вашей стороны приличное направленіе сельскохозяйственной дѣятельности было дано! А вѣдь и по христіанству, сударь, грѣшно сирыхъ не призирать.

Батюшка опять-таки былъ правъ; но такъ какъ онъ разсердился, то, по закону возмездія, счелъ нужнымъ разсердиться и я.

— Ну-ну, батя! — сказалъ я: — увѣщевать, отчего не увѣщевать, да не до седьмого пота! Куры яицъ не несутъ, а онъ правительство приплелъ... ишь вѣдь! Вотъ я

намеднись въ газетахъ читалъ: такой же батя, какъ и вы, опасеніе выражалъ, дабы добрыя сѣмена не были хищными птицами позобаны. Хоть я и не приравниваю себя къ «добрымъ сѣменамъ»—гдѣ ужъ!—а сдается, будто вы съ Разуваевымъ сзбать меня собрались.

— Что вы! Христосъ съ вами!—смягчился батюшка:— я вѣдь для вашей же пользы! Вижу, что ни въ чемъ благопоспѣшенія нѣтъ, думаю: кому же, какъ не пастырю, о семъ предстательствовать!

— Нѣтъ, вы лучше прямо скажите: Разуваевъ васъ ко мнѣ подослалъ?

Батюшка слегка крякнулъ и ужъ совсѣмъ было сконфузился, но сейчасъ же, впрочемъ, оправился.

— А хоть бы и Разуваевъ? отчего же бы и отъ него препорученія не принять, ежели изъ того обоюдная польза произойти должна? Въ сихъ случаяхъ пастырю даже въ обязанность вмѣняется...

— Позвольте, да развѣ я въ газетахъ публиковалъ или кому сказывалъ, что дачу продаю?

— Объ этомъ, конечно, не слыхалъ, а только для всѣхъ видимо. Призору настоящаго нѣтъ, предпріятій тоже не видится — вотъ и сдается, словно бы дѣло къ недальнему концу приближается.

— Вы такъ полагаете?

— Вмѣстѣ съ прочими и я. Нерѣдко мы съ попадьей про васъ поминаемъ: совсѣмъ не такъ господинъ устроился, какъ ему надлежитъ! Да вѣдь и въ самомъ дѣлѣ, гдѣ, сударь, вамъ за экой угодой самимъ вездѣ усмотрѣть?

— А какъ бы, по-вашему, мнѣ устроиться надлежало?

— Да такъ думается: десятинки двѣ-три, не больше; домичекъ небольшой, садикъ при немъ, аллейка для прохладности... чисто, аккуратно! А изъ живности: курочекъ съ пятокъ, ну, коровка, чтобъ молочко свое было.

— За этимъ, значитъ, я буду въ состояніи усмотрѣть?

— Гдѣ и сами присмотрите, а гдѣ и Лукьянычъ поможетъ. Женщину тоже хорошую подыскать можно, чтобъ за курами да за коровой ходила.

Именно это самое говорилъ мнѣ вчера Лукьянычъ. Да я и самъ—развѣ я, въ сущности, когда-нибудь мечталъ о другомъ! Пять курочекъ и одна коровка — вотъ все, что мнѣ нужно, съ чѣмъ я могу справиться! Да и это нужно совсѣмъ не для того, что оно въ самомъ дѣлѣ «нужно», а только для того, чтобъ около дома не было ужъ через-

чуръ безмолвно, чтобы что-нибудь по близости мычало, кудахтало. Взялъ бы я въ товарищи Лукьяныча и скотницу Матрену, слушалъ бы, какъ они, съ утра прикончивъ съ дѣлами, взапуски зѣваютъ и чешутся спинами объ дверные косяки. И мнѣ было бы хорошо, и всѣмъ было бы хорошо. Правительство находило бы новые источники, а Разуваевъ призиралъ бы сирыхъ и неимущихъ, предоставляя имъ пахать землю, полоть гряды въ огородѣ и проч. Тѣмъ не менѣе я не рѣшился въ эту минуту сознаться передъ батюшкой, что онъ отгадалъ мои тайныя помышленія!

— Благодарю за предпку,—сказалъ я: — но откровенно сознаюсь, что таковыя бываютъ пріятны лишь во благовременіи. Такъ и Разуваеву передайте.

На этотъ разъ батюшка взаправду огорчился и даже слегка побѣлѣлъ въ лицѣ. Онъ поспѣшно засучилъ рукава своей ряски, взялъ шляпу и сталъ искать глазами образа.

— Образокъ-то маленькій! — сказалъ онъ: — сразу и не отыщешь!

Онъ произнесъ это съ улыбочкой, что, впрочемъ, не мѣшало мнѣ прочесть на его лицѣ: «МАТЕРІАЛЫ!!! Правительству новыхъ источниковъ дохода не предоставляетъ — первое; пастырей духовныхъ не чтитъ и совѣтами ихъ не-брежетъ —второе».

— Говѣть-то будете? — спросилъ онъ уже совсѣмъ умиленнымъ голосомъ.

— Я, батюшка, въ городѣ...

Онъ радушно пожалъ мнѣ руку на прощанье, но увѣренію моему вѣры не далъ, и на лицѣ его я прочиталъ новый «матеріалъ»: «утверждаетъ, якобы говѣлъ въ городѣ, но наврядъ ли—третье».

Распростившись съ батюшкой, я вышелъ изъ дому и направился въ огородъ. Тамъ, около парниковъ, сидѣлъ садовникъ Артемій, порядочно навеселѣ, и ронталъ.

— Какой это навозъ? — вопіялъ онъ: — развѣ на такомъ навозѣ можетъ настоящая обонь вырасти?

Съ этими словами онъ нагнулся, зачерпнулъ изъ парника рукой и поднесъ горсть къ самому моему лицу.

— Вотъ, сударь, извольте смотрѣть!

И затѣмъ, не выжидая моего отвѣта, продолжалъ:

— Навозъ для парниковъ долженъ быть конскій, чистый... одно чтобы кало! А у насъ какъ? Я говорю: давай мнѣ навозу чистаго, чтобы, значитъ, все одно, какъ печь, а Лукьянычъ: «ступай въ свиной хлѣвъ, тамъ

про тебя много припасено!» Развѣ такъ возможно... ахъ-ахъ-ахъ!

— Ну, старикъ, какъ-нибудь...

— Позвольте вамъ, господинъ, доложить: и васъ за эти самыя слова похвалить нельзя. Потому я — садовникъ, и всякій, значитъ, беретъ это въ разсужденіе. Теперича вы, напримѣръ, усадьбу свою продавать вздумали... хорошо! Приходитъ, значитъ, покупатель, и первымъ дѣломъ: садовникъ! кажи парники! Что я ему покажу? А почему, скажетъ, въ парникахъ у тебя ничего не растетъ? А?

Но я уже шелъ дальше, на скотный, и только слышалъ, какъ въ догонку мнѣ укоризненно раздавалось:

— Я вышлъ: это дѣйствительно! да вѣдь не на ваши, а на свои... ахъ, господинъ, господинъ!

На скотномъ меня ждала радость: «Умница» опять отелилась.

— Телочку принесла... пестренькую, — радовалась старуха Матрена, но вдругъ словно спохватилась, вздохнула и прибавила:—а по настоящему, лучше, кабы бычка принесла!

— Отчего такъ?

— Все равно рѣзать велите: бычка не такъ бы жалко.

— Почему же ты думаешь, что я рѣзать велю?

— Такъ неужто-жъ Разуваеву отдавать? будетъ съ него, толстомясаго, и старыхъ коровъ. Вонъ и Машка поросится собралась — стало-быть, и поросять для Разуваева беречи будете?

Рѣшительно, даже кругомъ меня, и въ домѣ, и во дворѣ, все въ заговорѣ. Положимъ, это не злостный заговоръ, а, напротивъ, унылый, жалѣющій, но все-таки заговоръ. Никто въ меня не вѣритъ, никто отъ меня ничего солиднаго не ждетъ. Вотъ Разуваевъ—другое дѣло! Этотъ подтянетъ! Онъ свиной навозъ въ конскій обратитъ! онъ заставитъ коровъ доить! онъ такого пѣтуха предоставитъ, что куры только ахнутъ!

Всѣ боятся Разуваева, никто не любитъ его, и въ то же время всѣ сознаютъ, что Разуваева имъ не миновать. Вотъ ужъ полгода, какъ рабочіе мои предчувствуютъ это и въ моихъ глазахъ самымъ заискивающимъ образомъ снимаютъ шапки передъ нимъ.

Продолжая мою экскурсію, прихожу къ сѣнному сараю; тамъ работники: первый Иванъ да другой Иванъ прошлогоднее сѣно перебиваютъ и для чего-то съ одной стороны на другую его перетаскиваютъ.

— Что это вамъ вздумалось?

— Ѳедотъ Лукьянычъ велѣлъ.

— Зачѣмъ?

— У насъ спереди-то съ гнильцой сѣно лежало, а сзади зеленое, вѣдренное; такъ теперь похуже-то сѣно къ стѣнѣ переложимъ, а хорошее будетъ впереди.

— Сами себя, стало-быть, тѣшить хотите?

— Нѣтъ, а на случай ежели примѣрно покупатель...

Я прекращаю разговоръ и спрашиваю:

— Гдѣ Лукьянычъ?

— Съ Андреемъ за рѣку въ лѣсъ пошелъ.

— Зачѣмъ же Андрея взялъ?

— У насъ въ прошломъ году за рѣкой порубочка была, такъ хворостку пошли на это мѣсто покидать, чтобъ покупателю, значитъ...

Я поворачиваюсь и быстро заканчиваю свой осмотръ. «Неужто же я въ самомъ дѣлѣ продаю? — спрашиваю я себя.—Ежели продаю, то какимъ же образомъ я какъ-будто не сознаю этого? ежели же не продаю, такъ вѣдь это просто разоренье: никто никакой работы не дѣлаетъ, а всѣ только дыры замазываютъ да приготовляются кому-то показать товаръ лицомъ».

— Стакнулись, что-ли, вы съ Разуваевымъ?—накинулся я на Лукьяныча, какъ только увидѣлъ его.

— Зачѣмъ съ Разуваевымъ! Свѣтъ не клиномъ сошелся; можетъ, и окромя покупатель сыщется!

Онъ высказалъ это съ такою невозмутимой увѣренностью, что мнѣ ничего другого не оставалось, какъ замолчать.

Разумѣется, молчать — самое лучшее. Но какъ молчать, когда булавки со всѣхъ сторонъ такъ и впиваются въ васъ? какъ молчать, ежели комнаты не топлены, ежели вы ежечасно рискуете остаться въ положеніи человѣка, выброшеннаго на необитаемый островъ, ежели самыя обыкновенныя жизненныя удобства ежеминутно грозятъ сдѣлаться для васъ недоступными?

Я знаю, что мой личный казусъ ничтоженъ, но развѣ я одинъ? Развѣ такія руины, какъ я, не считаются тысячами, десятками тысячъ? руины, жалобно вымирающія по своимъ угламъ? руины, питающіяся крупицами, остающимися отъ трапезы міроѣдовъ? руины, ежеминутно готовыя превратиться въ червоточныхъ валетовъ?

Предположите, что я представляю собой типъ старокультурнаго человѣка средняго пошиба, не обладающаго

сильными матеріальными средствами, но и не совсѣмъ обдѣленнаго; человѣка, помнящаго крѣпостное право съ его привольями; человѣка, смолоду выработавшаго себѣ потребность извѣстныхъ удобствъ: человѣка, ни къ какому дѣлу не приготовленнаго (ибо и дѣла въ то время не предвидѣлось), и—что̀ важнѣе всего—человѣка, совершенно неспособнаго къ физическому труду. Сей человѣкъ ни въ чемъ не можетъ лично помочь себѣ: онъ не можетъ сдѣлать шагу въ жизни безъ того, чтобы не потребовать чьей-нибудь услуги. Для него одного нужно нѣсколько человѣкъ, которые постоянно заботились бы о томъ, чтобы онъ былъ накормленъ, одѣтъ, обутъ, не задохся отъ собственныхъ міазмовъ, не закоченѣлъ отъ холода. Чтобы связать эти постороннія существованія съ своимъ, онъ долженъ имѣть наготовѣ приманку, то-есть деньги, и эти деньги, въ большинствѣ случаевъ, опять-таки добыть при помощи постороннихъ людей. Но развѣ эти люди, которыхъ онъ заманиваетъ деньгою, не понимаютъ, что они существуютъ не для себя? развѣ есть возможность устроить такой миражъ, который заставлялъ бы ихъ думать, что, соблюдая мою выгоду, хо̀ля и покоя меня, они не мою выгоду соблюдаютъ, а свою, не меня покоятъ и холятъ, а себя?

Даже при крѣпостномъ правѣ такого миража нельзя было устроить, а теперь уже стало и совсѣмъ ясно, что только нужда можетъ заставить посторонняго человѣка принять участіе въ холеніи другого человѣка, хотя бы и «барина». А ежели нужда, то, стало-быть, надлежитъ удовлетворять ей вотъ до этой черты и ни на волосъ больше. И вотъ затѣвается борьба или, лучше сказать, какая-то безтолковая игра въ прятки, въ неохоту, въ нехотѣніе. Допустимъ, что подневольный человѣкъ въ этой борьбѣ ничего не выиграетъ, что онъ все-таки и впередъ останется прежнимъ подневольнымъ человѣкомъ: но вѣдь онъ и безъ того никогда ничего не выигрываетъ, и безъ того онъ осужденъ «слезы лить» — стало-быть, какой же ему все-таки резонъ усердствовать и потрафлять? А культурный человѣкъ проигрываетъ положительно. Не говоря уже о матеріальныхъ ущербахъ, чего стоятъ нравственныя страданія, причиняемыя вѣчно-присущимъ страхомъ безпомощности?

Сапоги не чищены, комнаты не топлены, обѣдъ не готовленъ — вотъ случайности, среди которыхъ живетъ культурный обитатель Монрепо̀. Случайности унизительныя и глупыя, но для человѣка, не могущаго ни въ чемъ себѣ

помочь, очень и очень чувствительныя. И что всего мучительнѣе—это сознаніе, что только благодаря тому, что подневольный человѣкъ еще не вполнѣ уяснилъ себѣ идею своего превосходства, случайности эти не повторяются ежедневно.

Затѣмъ, какъ человѣкъ, возлежавшій на лонѣ крѣпостного права и питавшійся его благостынями, я помню, что у меня были «права», и притомъ въ такихъ безграничныхъ размѣрахъ, въ какихъ никогда самая свободная страна въ мірѣ не можетъ надѣлить излюбленнѣйшихъ дѣтей своихъ. Ибо что можетъ быть существеннѣе, въ смыслѣ экономическомъ, права распоряжаться трудомъ посторонняго человѣка, распоряжаться легко, безъ преднамѣренныхъ подвоховъ, просто: «подойди и сработай то-то!» Или что можетъ быть дѣйствительнѣе, въ смыслѣ политическомъ, какъ право распоряжаться судьбой постороннаго человѣка, право по усмотрѣнію воздѣйствовать на его физическую и нравственную личность? Насколько подобныя «права» нравственны — это вопросъ особый, который я охотно разрѣшаю въ отрицательномъ смыслѣ, но несомнѣнно, что права существовали и что ими пользовались. Вопросы о нравственности или безнравственности извѣстнаго жизненнаго строя суть вопросы высшаго порядка, которые и натурамъ свойственны высшимъ. Только абсолютно-чистыя и высоко-нравственныя личности могли, въ пылу «пользованія», волноваться такими вопросами и разрѣшать ихъ радикально. Средній же культурный человѣкъ, даже въ томъ случаѣ, ежели чувствовалъ себя кругомъ виноватымъ, считалъ дѣло удовлетворительно разрѣшеннымъ, если ему удавалось въ свои отношенія къ подневольнымъ людямъ ввести такъ-называемый патріархальный элементъ и за это заслужить кличку «добраго барина». Онъ никогда не былъ героемъ и ясно понималъ только одно, что за предѣлами крѣпостного права его ожидаетъ неумѣлость и безпомощность. И потому старался отвѣчать на запросы совѣсти не прямыми разрѣшеніями, а лукавыми поддѣлками. Поддѣлки эти отнюдь не обѣляли его, а скорѣе обнаруживали безхарактерность и слабость: но даже и за эту безхарактерность онъ держался цѣпко, какъ за что-то оправдывающее или, по малой мѣрѣ, смягчающее. И съ этою же безхарактерностью остался и теперь, когда на практикѣ увидѣлъ свою безпомощность, неумѣлость и спротливость.

Мнѣ скажутъ, что это типъ вымирающій — это правда,

но—увы!—онъ еще не вымеръ. И еще скажутъ, что это типъ несимпатичный—и это правда, но и это не мѣшаетъ ему существовать. Притомъ же онъ далъ отпрыскъ. Я надѣюсь, что этотъ отпрыскъ будетъ нѣсколько иного характера, но покуда онъ еще не настолько опредѣлился, чтобы заключать объ его пригодности къ жизни въ тѣхъ хищническихъ формахъ, въ какихъ она сложилась въ послѣднее время. Мнѣ кажется даже, что то характеристическое условіе, которое мы привыкли связывать съ представленіемъ о культурности, то-есть отсутствіе возможности обойтись безъ посторонней услуги, существуетъ и для отпрыска въ той же силѣ, какъ и для стараго, отживающаго дерева.

Не знаю, какъ кому, а на мой взглядъ, ежели по обстоятельствамъ нѣтъ другого выбора, какъ или быть «рохлей», или быть «кровопивцемъ», то я все-таки роль «рохли» нахожу болѣе приличною.

Какъ культурный человѣкъ средняго пошиба, я мирно доживаю свой вѣкъ въ деревнѣ. Я выбралъ деревню, во-первыхъ, потому, что городская жизнь для меня несподручна, во-вторыхъ, потому, что я имѣю привязанность къ «своему мѣсту», и, въ-третьихъ, потому, что я имѣю наклонность къ унынію и нигдѣ такъ полно не могу удовлетворить этой потребности, какъ въ деревнѣ. Затѣмъ, какъ человѣкъ старокультурный, я никому не нуженъ и даже ни для кого не понятенъ. Я не имѣю достаточно денегъ, чтобы призирать сирыхъ и неимущихъ, и тѣмъ менѣе — чтобы веселить сердца Осьмушниковыхъ и Колупаевыхъ, забирая у нихъ на книжку водку и колоніальный товаръ. Я не имѣю достаточно знаній, чтобы подѣлиться ими и выказать свое превосходство и полезность. Наконецъ я говорю совсѣмъ другимъ языкомъ и, вдобавокъ, оказался даже недостойнымъ принять участіе въ земскихъ и мировыхъ учрежденіяхъ. Все это ставитъ меня въ совершенную невозможность что-нибудь предпринять и въ какомъ бы то ни было смыслѣ играть дѣятельную роль. И я, дѣйствительно, не только не «дѣйствую», а просто-напросто сижу и ничего не дѣлаю. Имѣю ли я право на это?

Въ глазахъ закона я это право имѣю. Я знаю, что было бы очень некрасиво, если-бъ вдругъ всѣ стали ничего не дѣлать; но такъ какъ мнѣ достовѣрно извѣстно, что существуютъ на свѣтѣ такіе неусыпающіе черви, которымъ никакъ нельзя «ничего не дѣлать», то я и позволяю себѣ маленькую льготу: съ утра до ночи отдыхаю одѣтымъ, а

съ ночи до утра отдыхаю въ одномъ нижнемъ бѣльѣ. Повидимому, и закону все это отлично извѣстно, потому что и онъ съ меня за мое отдыханіе никакого взыска не полагаетъ.

Оказывается однако-жъ, что и ничегонедѣланіе представляетъ своего рода угрозу. «Ничего-то не дѣлать всѣ мы мастера,—говоритъ батюшка:—а надобно дѣлать, и притомъ такъ, чтобы Богу было пріятно». И при этомъ умиленнымъ гласомъ вопрошаетъ: «а говѣть будете?» Ахъ, батюшка, батюшка! да какъ же мнѣ быть, ежели я иначе жить не умѣю, ежели съ пеленокъ все говорило мнѣ о ничегонедѣланіи, ежели это единственный грузъ, которымъ я успѣлъ запастись въ жизни и съ которымъ добрелъ до старости? И не сами ли вы, батюшка, при крѣпостномъ правѣ возглашали: «рабы, господамъ повинуйтеся и послужите имъ въ веселіи сердца вашего»? Да наконецъ съ которыхъ же поръ нищіе духомъ, ротозѣи, рохли, простофили, дураки начали стоять на счету враговъ отечества?

А Граціановъ такъ даже положительно подозрѣваетъ, что если я «ничего не дѣлаю», то это значитъ, что я фрондирую. Или, въ переводѣ на русскій языкъ: фордыбачу, артачусь, фыркаю, хорохорюсь, пѣтушусь, кажу кукишъ въ карманѣ (вотъ какое богатство синонимовъ!). И все это, какъ истинно лукавый и опасный человѣкъ, дѣлаю «промежду себя». Допустимъ, что я дѣйствительно «недоволенъ» и съ своей личной точки зрѣнія, и съ болѣе общей, философской. Допустимъ, что я, возлежа на одрѣ, читаю Кабе, Маркса, Прудона и даже—horrībile dictu!—такую заразу, какъ «Впередъ» или «Набатъ». Но развѣ быть недовольнымъ «промежду себя» воспрещено? Развѣ гдѣ-нибудь написано: вмѣняется въ обязанность быть во что бы то ни стало довольнымъ? Наконецъ развѣ погибнутъ государство, общество, религія оттого, что я... кажу кукишъ въ карманѣ?

Граціановъ думаетъ, что погибнутъ, а вслѣдъ за нимъ такъ же думаютъ: Осьмушниковъ, Колупаевъ, Разуваевъ. Всѣ они, вмѣстѣ взятые, не понимаютъ, что̀ значатъ слова: государство, общество, религія, но трепетать готовы. И вотъ они бродятъ около меня, киваютъ на меня головами, шепчутся и только-что не въ глаза мнѣ говорятъ: уйди!

Да, трудно себѣ представить, какая существуетъ масса людей средняго пошиба, людей, ничѣмъ не прославившихся, но и ни въ чемъ не проштрафившихся, которымъ жить тошно. Къ прирожденной безпомощности, неумѣлости

и строптивости въ послѣднее время присоединились еще намеки и покиванія. Можно ли предоставить себѣ существованіе менѣе защищенное? Конечно, можно, скажутъ мнѣ—и укажутъ на мужика. Но, по моему мнѣнію, мужикъ уже до того незащищенъ, что тутъ самая незащищенность почти равняется защищенности. А вѣдь культурному человѣку сызмала говорили: «ты—краса вселенной, ты—соль земли!»—и вдругъ является какой-нибудь уроженецъ ретироднаго мѣста и безъ околичностей говоритъ: «уйди... сочувствователь!»

«Сочувствователь»—это новое модное слово, которое стремится затмить «нигилистовъ» и которое исключительно имѣетъ въ виду людей культуры. Вмѣсто обвиненія въ фактѣ является обвиненіе въ сочувствіи—и дешево, и сердито. Обвиненіе въ фактѣ можно опровергнуть, но какъ опровергнуть обвиненіе въ «сочувствіи»? Желаніе понять и выяснить извѣстное явленіе въ ряду условій, среди которыхъ оно народилось—сочувствіе ли это? Да, выискиваются люди, которые утверждаютъ во всеуслышаніе, что все это—сочувствіе. Кто же эти люди?—это граждане ретироднаго мѣстъ, которые, благодаря смутѣ, вышли изъ первобытнаго заключенія и, всѣ пропитанные вонью его, стремятся заразить ею вселенную. Это люди, которымъ необходимо поддерживать смуту и питать пламя человѣконенавистничества, ибо они знаютъ, что не будь смуты, умолкни ненависть—и имъ вновь придется сдѣлаться гражданами ретироднаго мѣстъ.

Я очень хорошо понимаю, что волна жизни должна идти мимо вымирающихъ людей старокультурнаго закала. Я знаю, что жизнь сосредоточивается теперь въ окрестностяхъ питейнаго дома, въ области объегориванья, среди Осьмушниковыхъ, Колупаевыхъ и прочихъ столповъ; я знаю, что на нихъ покоятся всѣ упованія, что съ ними дружитъ все, что не хочетъ знать иной почвы, кромѣ непосредственно дѣловой. Я знаю все это и не протестую. Я недостоинъ жить и умираю. Но я еще не умеръ—какъ же съ этимъ быть?

Есть у меня одна претензія: безъ утѣсненія прожить послѣдніе дни. Конечно, я не могу въ точности опредѣлить, сколько осталось этихъ дней счетомъ, но неужто-жъ нельзя имѣть сколько-нибудь терпѣнія? И что же! оказывается, что даже для осуществленія этой скромнѣйшей претензіи необходима «протекція». Я долженъ припомнить

старинныя связи, долженъ утруждать напоминаніемъ о своемъ забытомъ существованіи, долженъ обращаться къ просвѣщенному содѣйствію. Конечно, въ этомъ содѣйствіи мнѣ не будетъ отказано, и въ концѣ концовъ я получу-таки право безнаказанно «артачиться» и «показывать кукишъ въ карманѣ», но ради Бога, развѣ нельзя отъ одной мысли объ этой предварительной процедурѣ сойти съ ума?!

Свѣтлая недѣля прошла на селѣ очень весело. Много было пѣсенъ, довольно и дракъ. Колупаевъ, Осьмушниковъ и Прохоровъ давно такъ бойко не торговали: батюшка ходилъ по избамъ, поздравлялъ хозяевъ съ праздникомъ и собиралъ крутыя яйца; даже въ мое уединеніе доносились клики ликованія, хотя по случаю праздниковъ Монрепо было пустыннѣе, нежели въ обыкновенные дни. Вся прислуга точно съ цѣпи сорвалась: появлялась въ домъ лишь на минуту, словно для того только, чтобы узнать, живъ ли я, и затѣмъ вновь бѣжала бѣгомъ на село принять участіе въ общемъ веселіи. Даже Лукьяныча я никакъ не могъ дозваться, хотя и слышалъ, что гдѣ-то недалеко кто-то зѣвастъ: потомъ оказалось, что и онъ, по-своему, соблюдалъ праздничный обрядъ, то-есть сидѣлъ, пока свѣтло, за воротами на лавкѣ и смотрѣлъ, какъ пьяные, проходящіе мимо усадьбы, теряли равновѣсіе, падали и барахтались въ грязи посередь дороги.

Всѣ сельскіе нотабли посѣтили меня, пили водку, ѣли ветчину и крутыя яйца. И, какъ мнѣ казалось, съ какимъ-то напряженнымъ любопытствомъ вглядывались въ обстановку моего дома—точно старались запомнить, гдѣ что стоитъ. Колупаевъ даже провелъ рукой по обоямъ залы и сказалъ:

— Обои-то, кажется, новенькіе поставить собирались?

— Собирался.

— И купили, сударь?

— Купилъ.

— Такъ-съ. Въ сохранности, стало-быть, лежатъ?

— Лежатъ.

Однимъ словомъ, повидимому, начали ужъ подозрѣвать, не замышляю ли я, чего добраго, что-нибудь утаить или въ другое мѣсто потихоньку перевезти.

Въ началѣ недѣли Граціанова не было дома: онъ ѣздилъ въ городъ христосоваться съ полицейскимъ управленіемъ. Въ серединѣ недѣли однако-жъ вернулся и привезъ свѣжія

политическія новости. Новости эти, впрочемъ, заключались единственно въ томъ, что отнынѣ никому ужъ спуску не будетъ (помнится однако-жъ, что и послѣ новогодней поѣздки онъ эту же новость привезъ). Баловства этого чтобъ ни-ни! Особливо ежели кто книжки читаетъ или неприлично званію себя ведетъ—сейчасъ въ кутузку и... фюить! Въ концѣ недѣли посѣтилъ и меня, и при этомъ выказалъ такой величественный видъ, что я даже удивился, какъ это онъ меня удостоилъ.

— Откровенно вамъ скажу,—началъ онъ послѣ обычныхъ пасхальныхъ привѣтствій:—очень меня моя нынѣшняя поѣздка въ городъ порадовала.

— Награду получили?

— Насчетъ награды: исправникъ поцѣловалъ—только и всего. А главное: наконецъ-то за умъ взялись!

— Новенькое что-нибудь?

— Да-съ; теперь, доложу вамъ, спуску не будетъ! И нашему брату приходится ухо востро держать, а что касается до иныхъ прочихъ...

— Ну, слава Богу!

Повидимому, однако-жъ, онъ не ожидалъ съ моей стороны такого восклицанія. По крайней мѣрѣ онъ взглянулъ на меня и чуть замѣтно ухмыльнулся.

— Что вы улыбаетесь?—полюбопытствовалъ я.

— Да такъ, знаете... А впрочемъ...

— То-то «впрочемъ!» А я вамъ на это скажу: иногда мы ищемъ, думая осиное гнѣздо обрѣсти, а вмѣсто того обрѣтаемъ сокровище! Имѣйте это въ виду.

— Превосходно-съ!

Мы оба на минуту замолчали и, кажется, оба мысленно воскликнули: «однако!»

— Вы, я слышалъ, имѣніе-то продавать хотите?—началъ онъ вновь.

— И я со стороны слыхалъ объ этомъ, но самъ ничего не знаю.

— Отчего бы и не продать?

— А отчего бы продать?

— Выгоды для васъ держать въ здѣшнемъ мѣстѣ имѣніе нѣтъ—вотъ что. Сами вы занимаетесь мало, Лукьянычъ—старъ. На вашемъ мѣстѣ я совсѣмъ бы не такъ поступилъ.

— А какъ, напримѣръ?

— Да купилъ бы рощицу десятинки въ двѣ, въ три, выстроилъ бы домичекъ, садикъ бы развелъ, коровку,

курочекъ съ пятокъ... Все передъ глазами — любезное дѣло!

— Представьте себѣ, что ужъ цѣлый мѣсяцъ я эти совѣты выслушиваю.

— А, по-моему, благіе совѣты всегда выслушивать пріятно. Да-съ. Пора господамъ-дворянамъ за умъ взяться, давно пора! А все гордость путаетъ: мы, дескать, интеллигенція—а гдѣ ужъ!

— Однако вы и резонерствомъ заниматься стали?

— Нельзя: всѣмъ заниматься приходится, наша должность такая. Вотъ въ «Вѣдомостяхъ» справедливо пишутъ: вся наша интеллигенція—фальшь одна, а настоящій-то государственный смыслъ въ Москвѣ, въ Охотномъ ряду обрѣтается. Тамъ, дескать, съ основанія Россіи не чищено, такъ сколько одной благонадежности накопилось! Разумѣется, не буквально такъ выражаются, своими словами я пересказываю.

— Вѣрно, что своими словами.

— Такъ вотъ и дѣльнѣе бы было въ виду этого себя ограничивать. Собственность-то подъ силу, значитъ, выбирать, да и вообще... Ну, скажите на милость: можете ли вы за всей этой машиной усмотрѣть?

— Да я и не претендую на это.

— А найдись ловкій человѣкъ—тотъ усмотритъ. Надъ тѣмъ и мужики не подумаютъ озоровать. Это чтобы луга травить или лѣсъ рубить—сохрани Богъ.

— Кто-жъ этотъ «ловкій»? Разуваевъ, что ли?

— А хоть бы и Разуваевъ.

— Надоѣлъ онъ мнѣ—вотъ что!

— Первымъ дѣломъ, устроилъ бы онъ въ здѣшнемъ паркѣ гулянье, а между прочимъ вотъ тамъ на уголку торговлю бы прохладительными напитками открылъ...

— Да, хорошо это... Гм!.. такъ вы думаете, что отнынѣ спуску ужъ не будетъ?

— Да-съ, не дадутъ-съ, подтянутъ-съ!

— Слава Богу! а то совсѣмъ было распустили!

— Теперь—конецъ!

— Всему вѣнецъ! Вонъ изъ Москвы пишутъ:. «умниковъ»-де въ рѣкѣ топить надо...

— Тсс...

— Да! Такъ вы, кажется, объ Разуваевѣ начали что-то говорить?

— Просилъ онъ узнать, не примете ли вы его?

— Былъ вѣдь онъ у меня... И такой странный: вынулъ изъ кармана бумажникъ и началъ передъ глазами махать имъ. А, впрочемъ, день-на-день не приходится. Я вообще трудно рѣшаюсь, все думаю: можетъ, и еще Богъ грѣхамъ потерпитъ! И вдругъ выдастся часъ: возьми все и отстань!

— Значитъ, такъ ему и сказать?

— Да, пусть придетъ. Такъ и скажите: вѣрнаго, молъ, еще нѣтъ, а на то похоже!

— А какъ бы для васъ-то было хорошо!

Наконецъ Граціановъ ушелъ; я же, по обыкновенію, началъ терзать себя размышленіями. «Умникъ» я или «неумникъ»? спрашивалъ я себя. Самолюбіе говорило: умникъ; скромность и чувство самосохраненія подсказывали: нѣтъ, неумникъ. А что, ежели въ самомъ дѣлѣ умникъ?—вѣдь здѣсь не токмо рѣка, но и море, пожалуй, не далеко! Долго ли умника утопить?

Какая однако-жъ странная эта московская топительная программа! Какъ понимать ее? Кто будетъ разсортировывать умниковъ отъ неумниковъ, первыхъ ставить ошуйю, а вторыхъ—одесную? Вотъ, я думаю, одесную-то видимо-невидимо наберется! Нагалдятъ, насмердятъ — не продохнешь!

Въ прежнія времена процедура разсортировки умниковъ отъ неумниковъ происходила очень просто. Явится, бывало, кто-нибудь изъ лицъ, на заставахъ команду имѣющихъ, выстроитъ всѣхъ въ шеренгу и кликнетъ: «зачинщики (по нынѣшнему—«умники»), впередъ!» Сейчасъ это выйдутъ впередъ зачинщики, каждый получитъ, что̀ ему по расчисленію полагается—и правъ. Всякій знаетъ, что, получивъ надлежащее, онъ спокойно можетъ смѣшаться съ массою заурядныхъ смертныхъ, и что до слѣдующаго раза его тревожить не будутъ; въ слѣдующій же разъ, можетъ-быть, и совсѣмъ Богъ помилуетъ.

Нынче, съ упраздненіемъ заставъ, распорядиться такимъ образомъ некому. Некому выкликать кличъ, некому дѣлать расчисленія, некому воздавать надлежащее: сталобыть, поневолѣ разсортировка «умниковъ» и «неумниковъ» должна быть предоставлена молодцамъ изъ Охотнаго ряда, а гдѣ такового не имѣется—Осьмушниковымъ, Колупаевымъ, Разуваевымъ и молодцамъ, на персяхъ у нихъ возлежащимъ. Какой же возможенъ для нихъ критеріумъ для расцѣнки! Критеріумъ этотъ одинъ: кто въ книжку читаетъ, кто чисто ходитъ, въ кабаки не заглядываетъ (но

къ Донону), подходя не сквернословитъ (но потихоньку и по-французски), кто не накладываетъ, не наяриваетъ— тотъ и «умникъ!» Но вѣдь и московскіе сочинители топительныхъ программъ тоже и въ книжку читаютъ, и даже иеромъ балуютъ—стало-быть, и они «умники»? Или быть-можетъ, они только полуумники?

И еще: немного говорилъ Граціановъ, да много сказалъ. Пишь вѣдь: «ведетъ себя несвойственно званію»—какъ это понимать? Напримѣръ, хоть бы я. Земли я лично не пашу, ремесломъ никакимъ не занимаюсь, просто сижу и совсѣмъ ничего не дѣлаю—кажется, что это званію моему не несвойственно? А между тѣмъ несомнѣнно, что, говоря свои жестокія слова, онъ имѣлъ въ виду именно меня. Ужъ не унылость ли моя ввела его въ заблужденіе? Имѣетъ, дескать, постоянно унылый видъ и этимъ другихъ не только отъ дѣла, но даже отъ пищи отбиваетъ... Господи помилуй! Да послѣ того какъ меня «обидѣли», какой же видъ болѣе приличествуетъ моему званію, какъ не унылый! Меня «обижаютъ», а я буду суетиться, предлагать услуги и ликовать... Ни за что! На зло буду слезы лить—гляди!.. Однако и это вещь поправимая, если умненько со мной поступить. Я унылъ, но могу и паки возвеселиться. Куплю гитару и «Самоновѣйшій пѣсенникъ», и когда Колупаевъ, въ сопровожденіи подносчиковъ и иныхъ кабацкихъ чиновъ, придутъ топить меня, яко «умника», я предъявлю ему вещественныя доказательства и возглашу: я совсѣмъ не «умникъ», но такой же курицынъ сынъ, какъ и вы всѣ! И при этомъ, пожалуй, такое еще слово вымолвлю, что они шапки передо мной снимутъ! Что нужно, чтобы произвести во мнѣ подобное превращеніе?—нужно очень немногое: приказать. Прикажите унылый видъ прекратить—и я прекращу.

Вообще я не понимаю, изъ чего Граціановъ тревожитъ себя и хлопочетъ. Вмѣсто того, чтобъ гнѣваться, полемизировать, ссылаться на свидѣтельство гражданъ ретрадныхъ мѣстъ и даже «подъ рукой» скрежетать зубами, объявилъ бы прямо: «веселися, храбрый россъ!»—давнымъ бы давно я трепака отхватывалъ. Да и этого не надо, совсѣмъ ничего не надо. Просто надлежитъ отставить меня въ жертву унылости—только и всего. Ибо повторяю: ежели бы и въ самомъ дѣлѣ унылостью моею я хотѣлъ намекнуть, что «хорохорюсь», «кажу кукишъ въ карманѣ»—эка важность! Кажу такъ кажу, хорохорюсь такъ хорохорюсь — пущай!

Изъ всего вышеписаннаго всякій можетъ заключить, что я и самъ не весьма отличнаго о себѣ мнѣнія. Ибо что же можетъ быть менѣе лестно: человѣкъ «артачится», «фордыбачитъ», а его не токмо за это не бьютъ, но даже и вниманія никакого на это не обращаютъ? Однако-жъ и тутъ загвоздка есть. Говорятъ, будто бы это «не-отличное мнѣніе» касается не столько самого меня, сколько тѣхъ тенетъ, въ которыхъ я отъ рожденія путаюсь. Вотъ, молъ, какая тутъ затаенная мысль. Но ежели это и такъ—эка важность! Были бы тенета, а тамъ, какъ я о нихъ «промежду себя» полагаю—это потомъ какъ-нибудь на досугѣ разберется. А покуда: «веселися, храбрый россъ!» — и шабашъ.

До меня даже такіе слухи доходятъ, какъ будто бы Граціановъ ночей изъ-за меня не спитъ. Говорятъ, будто онъ такъ выражается:—Кабы у меня въ стану все такіе «граждане» жили, какъ Колупаевъ да Разуваевъ—я былъ бы поперекъ себя толще, а то вотъ принесла нелегкая эту «заразу»... И при послѣднихъ словахъ будто бы заводитъ глаза въ сторону Монрепо...

А я, признаюсь, на его мѣстѣ все бы спалъ. Спалъ бы да тучнѣлъ, да во снѣ отъ времени до времени бредилъ: «веселися, храбрый россъ!» И достаточно.

Самъ себя человѣкъ изнуряетъ, самъ развращаетъ свою фантазію до того, что она начинаетъ творить неизглаголемая, самъ сны наяву видитъ—да еще жалобы приноситъ! Ахъ, ты... Вотъ и сказалъ бы, кто ты таковъ, и нужно бы сказать, а боюсь—какихъ еще доказательствъ нужно для безпрепятственности спанья?

Ничтожный я! ничтожный! ничтожный! Ваше благородіе! господинъ Граціановъ! какъ вы полагаете, легко ли съ этакимъ эпитетомъ на свѣтѣ жить?

«Ничтожный» — это подлежащее. А сказуемое — фюить! Связки—не полагается. Вѣдь вонъ онъ, мой синтаксисъ-то, каковъ! А ваше благородіе еще почивать не изволите! Изволите говорить: зараза! Ахъ-ахъ-ахъ!

Нѣтъ, лучше бѣжать. Но вопросъ: куда бѣжать? Желалъ бы я быть «птичкой вольной», какъ говоритъ Катерина въ «Грозѣ» у Островскаго, да вѣдь Граціановъ, того гляди, и канарейку слопаетъ! А кромѣ какъ «птички вольной», у меня и воображенія не хватаетъ, кѣмъ бы другимъ быть пожелать. Ежели конемъ степнымъ, такъ Граціановъ заарканитъ и начнетъ подъ верхъ муштровать. Ежели буй-ту-

Присяжный Повѣренный

ромъ, такъ Граціаповъ будетъ для бифштексовъ воспитывать. Но что всего замѣчательнѣе — животнымъ еще все-таки вообразить себя можно, но человѣкомъ — никогда.

Человѣкъ — это общипанный пѣтухъ. Такъ гласитъ анекдотъ о человѣкѣ Платона, и этотъ анекдотъ, возведенный въ идеалъ, преподанъ, яко руководство, и въ наши дни.

Но бѣжать все-таки надо. Какая бы метаморфоза ни приключилась, во что бы ни обратиться, хотя въ червя ползучаго, все-таки надо бѣжать. Двѣ-три десятинки, коровка, пять курочекъ — всѣ въ одинъ голосъ такъ говорятъ! Мнѣ—двѣ десятинки; Осьмушниковымъ и Разуваевымъ — вселенная! Такова внутренняя политика. Ежели старые столбы подгнили, надо искать новыхъ столбовъ. Да вѣдь новые-то столбы и вовсе гнилые... ахъ, господинъ Граціановъ!

Не малодушіе ли это однако-жъ съ моей стороны, не преувеличеніе ли?—Вѣдь жилъ же я до сихъ поръ—живъ есмь и жива душа моя!—вѣроятно, ежели и впредь буду жить—и впредь никто меня не съѣстъ. Допустимъ, что все это такъ. Но, во-первыхъ, развѣ такъ живутъ люди, какъ я до сихъ поръ жилъ? А во-вторыхъ, какой горькій искусъ нужно вынести на своихъ плечахъ, чтобы дойти до подобнаго малодушія, до подобныхъ преувеличеній. Вѣдь и малодушіе не по произволу является, но сходственно съ обстоятельствами дѣла. Легко указывать на человѣка и воскликать: «вотъ рабъ лукавый!» — но что же ему дѣлать, если у него, кромѣ лукавства, услады иной въ жизни нѣтъ?

Чуть ли не съ Кантемира начиная, мы только и дѣлаемъ, что жалуемся на «дурныя привычки». Распущенность, разнузданность, равнодушіе, лѣность, малодушіе, лукавство, лицемѣріе, лганье — вотъ каковъ багажъ. Конечно, обладающее подобными привычками общество едва ли можетъ чѣмъ-либо заявить себя со стороны производительности, а скорѣе обязывается жить со дня на день, пугливо озираясь по сторонамъ. Но для того, чтобъ дурныя привычки исчезли, надобно прежде всего, чтобъ онѣ сдѣлались невыгодны. Рамки такія нужны, въ которыхъ даже невзначай не представилось бы повода для проявленія этихъ привычекъ. А гдѣ эти рамки взять?

Обратить строгое вниманіе на выборъ подчиненныхъ—

отлично. Строжайше соблюдать законъ—превосходно. Не менѣе строго соблюдать экономію—лучше придумать нельзя. Судя по всему, все это такъ и будетъ. И вотъ, когда это случится, тогда и я утрачу дурную привычку преувеличивать. А до тѣхъ поръ—и радъ бы, да не могу.

Впрочемъ, я однажды ужъ оговорился, что мой личный казусъ ничтоженъ. Повторяю это и теперь. Что я такое—«нхѣ»! Одно только утѣшительно: вѣдь и всѣ остальные—нхѣ, всѣ до единаго. Но какое странное утѣшеніе!

Разуваевъ явился ко мнѣ на другой день и на этотъ разъ былъ удивительно милъ. Расчесалъ кудри, тщательно вымылся, надѣлъ новый сюртукъ и штаны на-выпускъ. Вообще, повидимому, понялъ, что пришелъ не въ харчевню. Даже про старинное наше знакомство помянулъ и съ благодарностью отозвался при этомъ о корнетшѣ Отлетаевой.

— Кабы онѣ въ тѣ поры не зачинали суда, а честью попросили,—сказалъ онъ: — я, можетъ, и посейчасъ бы вѣрный слуга для нихъ былъ.

— Ну, гдѣ ужъ!—усомнился я.

— Вѣрное слово, вашескородіе, говорю; даже и теперича завсегда помню, что я ихній рабъ состоялъ.

— Что ужъ о старыхъ дѣлахъ вспоминать, лучше о нынѣшнихъ потолкуемъ. Торгуете?

— И нынче дѣла нельзя похулить, надо правду сказать. Народъ нынче очень ужъ оплошалъ, такъ, значитъ, только случая опускать не слѣдуетъ.

— Частенько-таки я въ послѣднее время такія слова слышу, но, признаюсь, удивляюсь. По-моему, ежели народъ оплошалъ, да еще вы случаевъ упускать не будете—вѣдь этакъ онъ, чего добраго, и вовсе оплошаетъ. Откуда вы тогда барыши-то свои выбирать надѣетесь?

— Ахъ, вашескородіе! йѣнъ доста-а-нетъ!

Онъ сказалъ это съ такой невозмутимой увѣренностью, что мнѣ невольно пришло на мысль: что же такое однако-жъ намъ въ дѣтствѣ твердили о курицѣ, несшей золотыя яйца? Какъ извѣстно, владѣлецъ этой курицы, наскучивъ получать по одному яйцу въ день и желая заразъ воспользоваться всѣми будущими яйцами, зарѣзалъ курицу и, разумѣется, не только обманулся въ своихъ мечтаніяхъ, но утратилъ и прежній скромный доходъ. Легенда эта (въ смыслѣ результата) всегда казалась мнѣ достойною вѣроятія, и я вполнѣ искренно думалъ, что человѣкъ, зарѣ-

завшій драгоцѣнную курицу, былъ глупый человѣкъ и совершенно правильно за свою глупость пострадалъ.

И вотъ теперь Разуваевъ объявляетъ прямо, что все это вздоръ. Судя по его словамъ, курица не перестаетъ нести золотыя яйца, даже если она съѣдена. Это какая-то вѣчная, дважды-волшебная курица, которую ничто не беретъ, ничто доканать не можетъ. Это—курица-миѳъ, курица-безсмыслица, но въ то же время курица, подлинное существованіе которой можетъ подтвердить такой несомнѣнный экспертъ куриныхъ дѣлъ, какъ Разуваевъ. И мнѣ кажется, что наши экономисты и финансисты недостаточно оцѣниваютъ этотъ фактъ, ибо въ противномъ случаѣ они не разглагольствовали бы ни о сокровищахъ, въ нѣдрахъ земли скрывающихся, ни о сокровищахъ, издаваемыхъ экспедиціей заготовленія бумагъ, а просто-на-просто объявили бы: ежели въ одномъ карманѣ пусто, въ другомъ ничего, то распори курицѣ брюхо, выпотроши, свари, съѣшь, и пускай она продолжаетъ нести золотыя яйца попрежнему. И она будетъ нестись—въ этомъ порукою Разуваевъ.

«Нѣтъ доста-а-нетъ!» Просто, глупо—и между тѣмъ изумительно глубоко. Эту фразу слѣдовало бы золотыми буквами начертать на всѣхъ пантеонахъ, ибо, въ сущности, на ней одной издревле всѣ экономисты и финансисты висятъ.

— Однако вы, какъ я вижу, и финансистъ!—похвалилъ я.

— Я-то-съ? — помилуйте, вашескородіе! такъ маленько мерекаемъ *), а чтобы настоящимъ манеромъ произойти—такого разума отъ Бога еще не удостоены-съ.

— Ахъ, Анатолій Иванычъ, Анатолій Иванычъ! да вѣдь и всѣ мы, голубчикъ, только мерекаемъ!

— Нѣтъ-съ, вашескородіе,—слыхалъ я, что бываютъ и настоящіе по этой части ходаки. Прожженые, значитъ. Взглянетъ—и сразу все нутро высмотритъ.

— Это только такъ издали кажется, мой почтенный, что онъ нутро видитъ, а въ дѣйствительности онъ то же самое усматриваетъ, что и мы съ вами. Только мы съ вами мерекаемъ кратко, а онъ пространно. Знать не знаю, вѣдать не вѣдаю, а намерекать могу съ три короба—вотъ и разгадка вся.

---

*) Для незнакомыхъ съ этимъ выраженіемъ считаю нелишнимъ пояснить, что «мерекать» значитъ кое-что понимать, на бобахъ разводить. Первоначальнымъ корнемъ этого выраженія былъ, очевидно глаголъ «мерещиться». Мерещится знаніе, а настоящаго нѣтъ.

— Это такъ точно-съ.

— Одинъ придетъ, померекаетъ; другого завидки возьмутъ—придетъ и наизново перемерекаетъ. И все одно и то же выходитъ. А мы, простецы, смотримъ издали, какъ они сами себѣ хвалы слагаютъ, и думаемъ, что и нивѣсть какой свѣтъ ихъ осіялъ.

— И это истинная правда-съ.

— И ежели по правдѣ говорить, такъ вы ужъ черезчуръ скромнаго о себѣ мнѣнія. Именно вы-то и не мерекаете, а самое нутро видите. «Пёнъ достанетъ!» Ахъ, голубчикъ! неужто же вы не понимаете, что вы финансистъ?

Не знаю, насколько понялъ меня Разуваевъ, но знаю, что онъ остался польщенъ и доволенъ. Разумѣется, онъ воспользовался моею словоохотливостью, чтобы при первой же возможности перейти къ дѣйствительному предмету своего посѣщенія.

— Главная причина,—сказалъ онъ:—время теперь самое подходящее. Весна на дворѣ, огородъ работать пора, къ посѣву приготовляться. Ежели теперь время опустилъ—послѣ его ужъ не наверстать.

— Но почему же вы думаете, что я упущу?

— Вашескородіе! позвольте вамъ доложить! Ну, какая же есть возможность вамъ за всѣмъ усмотрѣть-съ!

— Однако шло же какъ-нибудь до сихъ поръ.

— Какъ-нибудь—это такъ точно-съ. А намъ надо не какъ-нибудь, а чтобы настоящимъ манеромъ. Вашескородіе! позвольте вамъ доложить! Совсѣмъ бы я на вашемъ мѣслѣ... ну, просто совсѣмъ бы не такъ я эту линію повелъ!

— Что же бы вы сдѣлали?

— Оченно просто-съ. Купилъ бы двѣ-три десятинки-съ, выстроилъ бы домичекъ по препорціи, садичекъ для прохладности бы развелъ, коровку, курочекъ съ пятокъ... Мило, благородно!

Стало-быть, и онъ. Всѣ какъ одинъ, почти слово въ слово: должно-быть, однако-жъ, частенько-таки они обо мнѣ бесѣдуютъ. Вотъ онъ, vox populi—теперь только я понимаю, что не покориться ему нельзя. Ежели люди такъ увѣренно ждутъ—стало-быть, они имѣютъ къ тому основаніе; ежели они съ такою тщательною подробностью опредѣляютъ, что для меня нужно, стало-быть, они положительно знаютъ, что я сижу не на своемъ мѣстѣ, что здѣсь я помѣха и безобразіе, а вонъ тамъ, на двухъ десятинкахъ, я придусь какъ разъ въ самую мѣру. И что всего важнѣе—это же са-

мое сознавалъ я и самъ. Давно ужъ сознавалъ, да самолюбіе, должно-быть, мѣшало вступить на новый путь, а можетъ-быть, и просто лѣнь...

Вѣроятно, эта же самая причина существовала и теперь. Я очень радушно побесѣдовалъ съ Разуваевымъ, но ни своей цѣны ему не объявилъ, ни объ его цѣнѣ не спросилъ. Словомъ-сказать, ни на чемъ не покончилъ. Однако-жъ видимо было, что Разуваевъ, уходя отъ меня, былъ значительно ободренъ. Онъ быстрымъ окомъ окинулъ мою обстановку, какъ бы желая запечатлѣть ее въ своей памяти, и на прощанье долго и умильно смотрѣлъ мнѣ въ глаза. Онъ понялъ, что я все еще «артачусь», и былъ такъ любезенъ, что взглянулъ на эту слабость снисходительно. Въ самомъ дѣлѣ, не Богъ же знаетъ что̀ съѣстъ человѣкъ, ежели и подождать двѣ-три недѣли, а онъ между тѣмъ жалованье рабочимъ за мѣсяцъ заплатитъ... Во всякомъ случаѣ я почти убѣжденъ, что отъ меня онъ побѣжалъ къ своимъ единомышленникамъ, и что тамъ все единогласно уже рѣшено и скомпоновано. Можетъ-быть, и Лукьянычъ тамъ, вмѣстѣ со всѣми, совѣты подаетъ...

— Лукьянычъ! А Лукьянычъ! гдѣ ты?—испугался я.

— Здѣсь я,—отозвался голосъ изъ передней.

— Разуваевъ-то вѣдь въ сурьезъ покупать приходилъ.

— Неужто-жъ въ шутку!

— Истинный ты Езопъ! никакъ съ тобой говорить настоящимъ манеромъ невозможно.

— Чего «настоящимъ манеромъ»! Апрѣль въ половинѣ, пахать пора, а гдѣ у насъ навозъ-то?

— Такъ неужто за зиму не накопилось?

— Спросите у садовника, куда онъ его дѣвалъ.

— Такъ, значитъ, продать?

— Это какъ вамъ будетъ угодно.

— Да ты-то, ты-то что̀ думаешь! Чай, не цѣпями у тебя языкъ скованъ—шевели!

— И то умаялся, еще при папенькѣ при вашемъ шевеливши. Говорилъ въ то время: не покупайте, зачѣмъ вамъ!—нѣтъ, купили...

— Ну, ступай!

Но прошла Святая, прошла Ѳомина недѣля, а я все еще артачился и недоумѣвалъ. Вонъ выѣхалъ Иванъ старшій съ сохой на полосу противъ усадьбы, перекрестился и пошелъ ковырять. Ишь ковыряетъ! даже изъ оконъ видно, какъ онъ на каждомъ шагу пропашку за пропашкой дѣлаетъ... такъ

бы и налетѣлъ! Смотрю, анъ и Разуваевъ стоитъ на дорогѣ и тожъ на пашню любуется: только понапрасну, молъ, землю болтаютъ! Наконецъ онъ не вытерпѣлъ, крикнулъ: «а ты бы, Иванъ, сохой-то не все нàпусто, а и въ землю бы попадалъ!» И Иванъ понялъ, что это не напрасный окрикъ, что когда-нибудь онъ отзовется на немъ, и началъ въ землю сохой попадать. «Но-но, милякъ! Нно... стерво!» слышатся мнѣ черезъ полуотворенное окно поощренія, посылаемыя имъ рыжему мерину.

Главное препятствіе для окончательной развязки представляла, повидимому, мысль: наступаетъ лѣто — куда дѣваться? Ежели въ Петербургъ или въ Москву ѣхать—упаси Богъ! Тамъ теперь такіе фундаменты закладываются и такія созидаются зданія, что того и гляди задавятъ. Ежели за границу ѣхать—не лежитъ у меня сердце къ этой «заграницѣ». Во-первыхъ, англичанъ на каждомъ шагу встрѣчаешь: ходятъ прямо, надменно, и у каждаго на лицѣ: «Afghanistan — jamais!» Это, то-есть, насъ, русскихъ, они такъ дразнятъ. Ахъ, господа, господа! Съ которыхъ уже поръ вы твердите: jamais да jamais, а мы между тѣмъ, не торопясь да Богу помолясь, смотрите-ка, куда забрались! Одно нехорошо: объяснить имъ это прямо нельзя — того гляди, проштрафишься. Онъ говоритъ: jamais! а я отвѣтить ему не могу. Почемъ я знаю, что̀ по обстоятельствамъ дѣла и въ согласность съ высшими соображеніями слѣдуетъ въ данную минуту говорить? Можетъ-быть: pour sûr, а можетъ-быть, и — jamais. Такъ ужъ лучше пусть онъ одинъ дразнится, а мы помолчимъ — вотъ оно, положеніе-то, каково! Во-вторыхъ, настоящей прислуги за границей нѣтъ. Коли хотите, цѣлые города (курòрты) существуютъ, гдѣ, кромѣ лакеевъ, и людей другихъ не найдешь, а все-таки подлиннаго, «своего» лакея нѣтъ. Тамошній лакей жадный, прожженый, онъ всякому служить готовъ, а потому ни настоящей сноровки, ни преданности съ него спросить нельзя. А намъ нуженъ лакей постоянный, чтобъ съ утра до вечера все одного и того же человѣка шпынять. Въ-третьихъ, за границей очень ужъ чисто. Вычистятъ съ утра и хотятъ, чтобы цѣлый день чисто было. А намъ это невозможно. Помню, я въ прошломъ году людскія помѣщенія на скотномъ дворѣ вычистить собрался; нанялъ поденщицъ (на свою-то прислугу не понадѣялся), самъ за чисткой наблюдалъ, чистилъ день, чистилъ другой, одного убѣеннаго и опшареннаго клопа цѣлый ворохъ на полосу вывезъ — и

вдругъ вижу, смотритъ на мои хлопоты старшій Иванъ и только-что не въявь говоритъ: дай срокъ! я завтра же всю твою чистоту въ лучшемъ видѣ загажу. Такъ-то и всѣ. Нельзя намъ чисто жить, недосугъ. Да и приспособленій у насъ не заведено. За границей машинами улицы поливаютъ, а мы—ковшичкомъ! за границей громадными щетками грязь вычищаютъ, а мы—метелками. И не то чтобъ мы не понимали, что̀ хорошо, что̀ худо; спросите у перваго встрѣчнаго: что̀ лучше, въ чистотѣ ли жить, или въ грязи барахтаться—навѣрное всякій скажетъ: «какъ можно: въ грязи или въ чистотѣ?» Но черезъ минуту непремѣнно прибавитъ: «ахъ, баринъ, баринъ!»

Словомъ сказать, ни въ столицѣ, ни за границей—нигдѣ жить охоты нѣтъ. Купить бы гдѣ-нибудь въ Проплёванскомъ уѣздѣ, на берегу рѣки Гнилушки, двѣ-три десятинки—именно такъ, ни больше, ни меньше—да вѣдь, пожалуй, въ поискахъ за этимъ эльдорадо все лѣто пройдетъ...

Очень возможно, что я долго бы такимъ образомъ недоумѣвалъ, если-бъ не пришелъ ко мнѣ на помощь неожиданный случай и не ускорилъ развязку.

Сейчасъ послѣ Ѳоминой я получилъ письмо отъ стариннаго моего пріятеля и школьнаго товарища, Ивана Косушкина (есть такая фамилія и очень древняя: и въ Смоленскѣ Косушкины сидѣли, и въ Тушино бѣгали, но нигдѣ «косушки» не забывали и тѣмъ прославились). Письмо гласило слѣдующее:

«Соломенное Городище, 26-го апрѣля.

«Ау, дружище! гдѣ ты и какъ живешь? Ежели въ Монрепо̀ унываешь, то брось все, продавай за грошъ и кати сюда! Ибо лѣта наши приходятъ преклонныя, и слѣдовательно закатъ дней своихъ намъ не унывающе, но веселящеся провести надлежитъ.

«Скоро будетъ два года, какъ я поселился здѣсь, поселился, повидимому, случайно, а на повѣрку выходитъ, что навсегда. Вотъ краткая повѣсть о моемъ переселеніи.

«И я родился въ Аркадіи, и у меня было свое Монрепо̀; но въ послѣднее время такъ оно мнѣ опостылѣло, что я, какъ помѣшанный, слонялся изъ угла въ уголъ. Дѣло въ томъ, что покуда были налицо разные Евдокимычи, да Климычи, да Аксиньюшки, жилось хоть и не особенно сладко, но все-таки жилось. Жилъ и я. Никто не тревожилъ меня, никто «распоряженіями» не донималъ.

Придетъ кто-нибудь насчетъ покосца переговорить—ступай къ Евдокимычу; дровецъ не продадите ли—ступай къ Климычу; маслица нѣтъ ли залишняго—ступай къ Аксиньюшкѣ. Какъ ужъ они тамъ ладились—не знаю, но денегъ на расходы не требовали и даже меня отъ времени до времени кушиками побаловывали. Но что важнѣе всего — я былъ увѣренъ (да и теперь вѣрю), что дѣло у насъ идетъ среднимъ ходомъ, безъ грабежа, но и безъ мотовства, смирно, честно, благородно... И вдругъ, среди этакой-то тишины и во всемъ благого поспѣшенія, налетѣлъ на насъ вихрь: стали старики помирать. Сначала умеръ Евдокимычъ, потомъ Климычъ, а наконецъ и Аксиньюшка.

«Умирали по очереди, безмолвно, точные младенцы. Сначала недѣли двѣ морщится, скучный ходитъ (Евдокимычъ говорилъ: «въ первую холеру я съ покойнымъ папенькой вашимъ въ ростепель въ Москву ѣздилъ—съ тѣхъ самыхъ поръ ноги ломкатъ), потомъ влѣзаетъ на печку и ужъ не слѣзаетъ оттуда: значитъ, смерть идетъ. И дѣйствительно, не пройдетъ и мѣсяца — смотришь, плютъ за священникомъ. Причастится, особорується и совсѣмъ ужъ притихнетъ. А къ вечеру икнетъ—и нѣтъ его. Тяжелѣе другихъ умирала Аксиньюшка: все каялась мнѣ, что «еще при покойницѣ матушкѣ башей новинку утаила», и просила простить. Точно ли она утаила новинку, или въ порывѣ предсмертнаго самобичеванья наклепала на себя — сказать не могу; но, вспоминаючи матушкинъ «глазокъ-смотрокъ», сдается мнѣ, что врядъ ли отъ ея вниманія могла укрыться цѣлая недостающая новина.

«Не думай однако-жъ, что я пишу идиллію, и тѣмъ паче, что любуюсь ею. Отлично я понимаю, какимъ образомъ сложился типъ крѣпостного пѣстуна, и почему всѣ эти Евдокимычи до конца оставались у меня. Прежде всего у нихъ ногъ ужъ не было, чтобъ бѣжать, а во-вторыхъ, отъ отца съ матерью они навѣрное и безъ ногъ бы ушли, потому что тѣ были господа настоящіе и хотя особенно блестящихъ хозяйственныхъ подвиговъ не совершали, но любили игру «въ каторгу», то-есть съ утра до вечера суетились, пороли горячку, гоношили, а, стало-быть, сумѣли бы и со стариковъ «спросить». Ну, а мнѣ все равно: живите, только меня не трогайте!

«Когда всѣ перемерли, я остался одинъ лицомъ къ лицу съ Монрепо. Ужасно это тяжелое чувство; въ первый разъ въ жизни напалъ на меня страхъ. Спать по ночамъ не

могъ; все чудилось: зачѣмъ же Монрепо-то не умерло? и кто меня теперь успокоитъ? кто добро мое сбережетъ? Пришлось нанимать чужака.

«Явился чужеяинъ и говоритъ: «Филаретъ Семеновъ Перебѣжчиковъ, здѣшняго города мѣщанинъ; надѣюсь вашей милости заслужить». Что-жъ, очень радъ; вотъ ключи, вотъ планы; съ остальнымъ сами постепенно познакомитесь. Но на первыхъ же порахъ началъ меня этотъ человѣкъ огорчать. Прежде всего охаялъ распоряженія Евдокимыча и даже попытался набросить на нихъ неблаговидную тѣнь. Потомъ сталъ каждый вечеръ ходить, спрашивать, какое на завтрашній день распоряженіе будетъ (да еще цѣлыхъ два ему выложи: одно на случай, коли ежели вёдро, а другое на случай, коли ежели Богъ дождичка пошлетъ). А я почемъ знаю? Кому видѣе, какъ по обстоятельствамъ дѣла поступать надлежитъ, мнѣ или ему? Но ты, конечно, понимаешь, что нельзя же прямо человѣку сказать: отстань, потому что я ничего не знаю и ничѣмъ распорядиться не могу... Вотъ я распоряжался, распоряжался, да и затосковалъ.

«А къ этому вскорѣ присоединилось и еще обстоятельство: прислали къ намъ въ уѣздъ новаго начальника. Глаза какъ плошки, усы какъ у таракана, изъ устъ пахнетъ «Московскими Вѣдомостями». Стараго-то—отличный былъ, царство небесное!—смѣнили за то, что все въ городѣ сиднемъ сидѣлъ (кстати, онъ мнѣ потомъ жаловался: «вѣдь и Илья-Муромецъ, говоритъ, сколько лѣтъ сиднемъ сидѣлъ, однако когда понадобилось»...). Такъ новый, какъ дорвался до мѣста, такъ и поѣхалъ. Ѣздитъ, братецъ, по проселкамъ и все людей выдергиваетъ да въ плѣнъ уводитъ. Завелся, видишь ли, «духъ» какой-то въ нашихъ палестинахъ, такъ вотъ по этому случаю. У меня не былъ, а проѣхалъ мимо не разъ. Смотрѣлъ я на него изъ окна въ бинокль: сидитъ въ телѣгѣ, оберется лицомъ къ усадьбѣ и вытаращитъ глаза. Думалъ я, думалъ: никогда у насъ никакого «духа» не бывало, и вдругъ завелся... Кого ни спросишь: что, молъ, за духъ такой? — никто ничего не знаетъ, только говорятъ: строгость пошла. Разумѣется, затосковалъ еще пуще. А ну, какъ и во мнѣ этотъ «духъ» есть? и меня, въ преклонныхъ моихъ лѣтахъ, въ плѣнъ уведутъ!

«Взялъ и вдругъ все продалъ. Трактирщикъ тутъ у насъ поблизости на пристани процвѣлъ — онъ и купилъ. Въ немъ ужъ навѣрное никакого «духу», кромѣ грабительства

нѣтъ, стало-быть, ему честь и мѣсто. И сейчасъ, на моихъ глазахъ, покуда я пожитки собиралъ, онъ и распоряжаться началъ: птицу на скотномъ перерѣзалъ, карасей въ прудѣ выловилъ, скотъ угналъ... «А потомъ, говоритъ, начну домъ распродавать, лѣсъ рубить, въ два года выручу два капитала, а наконецъ и пустое мѣсто за-дешево продамъ».

«Признаюсь однако-жъ, что на первыхъ порахъ тоскливо было. Во-первыхъ, странно съ непривычки такія фразы слышать: «а подсвѣчничекъ-то вы, кажется, съ собой нашъ уложили?» или: «тутъ полотенчико прежде висѣло, такъ какъ прикажете, ваше оно или наше будетъ?» А во-вторыхъ, продать-то я продалъ, а какъ съ собой поступить— не знаю. На всякій случай однако-жъ отправился въ «губернію», думаю: тамъ моя невинность виднѣе будетъ. Проѣзжаю мимо Соломеннаго Городища, смотрю и не вѣрю глазамъ: волшебство! При самомъ въѣздѣ въ городъ, безъ конца тянется заборъ, а за заборомъ зелени, зелени—цѣлое море! И домъ большой, и развалины какія-то въ сторонѣ. Спрашиваю на станціи: что за штука?—отвѣчаютъ: жилъ-былъ здѣсь откупщикъ, и водочный заводъ у него былъ (это развалины-то), а теперь, дескать, домъ съ землей продаются. Сейчасъ же побѣжалъ смотрѣть. Мѣсто — двѣ десятины: въ самый разъ, значитъ, и то, пожалуй, за всѣмъ не усмотришь: заборъ — подгнилъ, а мѣстами даже повалился, надо новый строить; домъ, ежели маленько его поправить, то хватитъ надолго; и мебель есть, а въ одной комнатѣ даже ванна мраморная стоитъ, въ которой жидовинъ-откупщикъ свое тѣло бѣлое нѣжилъ; руина... ну, это, пожалуй, «питорескъ» и больше ничего; однако существуетъ легенда, будто по ночамъ здѣсь собираются сирые и неимущіе, лижутъ кирпичи, нѣкогда обагрявшіеся сивухой, и бываютъ пьяны. Но садъ—волшебство! Ни цвѣтниковъ, ни аллей, а все вишни, вишни, вишни, смородина, смородина, смородина! Это «онъ» все на «предметъ настоекъ» разводилъ! И все запущено, разрослось, переплелось... Словомъ сказать, такъ мнѣ вдругъ захотѣлось тутъ умереть, что сейчасъ же я поскакалъ въ Москву и въ два дня кончилъ.

«И ко всему этому—здѣшній начальникъ оказался смирный. Любознательный, но смирный. Пріѣхалъ ко мнѣ на новоселье, посидѣлъ, побесѣдовалъ и вдругъ задумался. «Такъ вы.—говоритъ, — къ намъ...» — Совсѣмъ, говорю. — «Аттестатъ у васъ есть?»—Вотъ онъ.—Посмотрѣлъ, пере-

листовалъ: служилъ тамъ-то и тамъ-то, аттестовался способнымъ и достойнымъ, въ походахъ не бывалъ, подъ судомъ и слѣдствіемъ не состоялъ... Вздохнулъ.—«А знаете ли,—говоритъ:—я, воля ваша, этого не понимаю: къ вамъ... совсѣмъ... что такое значитъ?»—Да просто значитъ, что къ вамъ совсѣмъ—и больше ничего.—«Помилуйте... что же такое у насъ?.. никто къ намъ... никто, никогда... и вдругъ!»—Да вѣдь надо же гдѣ-нибудь жить?—«Такъ-то такъ... а все-таки... ну, какую вы здѣсь прелесть нашли! городишко самый пустой, бѣлаго хлѣба не сыщешь... никто къ намъ никогда... и вдругъ вздумалось!..» Это было такъ мило, что я не выдержалъ и расцѣловалъ его. И вотъ съ тѣхъ поръ мы друзья. Чтобъ окончательно его успокоить, я отвелъ въ домѣ квартиру для полицейскаго чина, истребилъ всѣ книги, вмѣсто газетъ выписалъ «Московскія Вѣдомости» и купилъ гитару. Все прошлое лѣто, днемъ и ночью, я держалъ окна настежъ: приди и вижь!

«Итакъ, бросай свое Монрепо и пріѣзжай сюда. Ничего кромѣ пошеннаго платья не привози, но гитарой запасись непремѣнно: это придастъ шикъ благонамѣренности. Ежели есть прислуга, особенно ежели ветхая, въ родѣ моего Евдокимыча, то также привози, потому что это придастъ нашему сожительству шикъ респектабельности: авторитеты, значитъ, признаемъ. По исполненіи сего, заживемъ отлично. Будемъ вдвоемъ сидѣть у открытаго окна, брящать на струнахъ и пѣть:

Ахъ, что кому до насъ!
Когда праздничекъ у насъ,
Мы зароемся въ соломку,
И никто не найдетъ насъ!
Тирушь! тирушь! тирушь!

«Помнишь?

«Затѣмъ жму твою руку и жду. Vale.

Иванъ Косушкинъ.

«P. S. Забылъ сказать: при домѣ есть сажалка и въ ней караси. Караси, да ежели въ сметанѣ... это что же такое!!»

Первою мыслію по прочтеніи этого письма было: такъ вотъ онѣ, двѣ десятины, о которыхъ мнѣ цѣлый мѣсяцъ твердятъ! Зачѣмъ, черезъ часъ я уже былъ у Разуваева, и мы въ два слова кончили. Finis Монрепо!

V. — Предостереженіе.

Посвящается кабатчикамъ, мѣняламъ, подрядчикамъ, желѣзнодорожникамъ и прочихъ міроѣдскихъ дѣлъ мастерамъ.

Я, отставной корнетъ Прогорѣловъ, нѣкогда крѣпостныхъ дѣлъ мастеръ, впослѣдствіи оголтѣлый землевладѣлецъ, а нынѣ пропащій человѣкъ — я обращаю къ вамъ рѣчь мою!

Вся цивилизованная природа свидѣтельствуетъ о скоромъ пришествіи вашемъ. Улица ликуетъ, дома терпимости прихорашиваются, половые и гарсоны въ трактирахъ и ресторанахъ въ ожиданіи млѣютъ, даже стерляди въ трактирныхъ бассейнахъ — и тѣ рѣзвѣе играютъ въ водѣ, словно говорятъ: слава Богу! кажется, скоро начнутъ ѣсть и насъ! По всей веселой Руси, отъ Мѣщанскихъ до Кунавина включительно, раздается одинъ кличъ: идетъ чумазый! Идетъ и на вопросъ: «что̀ есть истина?» твердо и неукоснительно отвѣтитъ: «распивочно и на вынось!»

Присутствуя при этихъ шумныхъ предвкушеніяхъ будущаго распивочнаго торжества, пропащіе люди жмутся и ждутъ... Они понимаютъ, что «чумазый» придетъ совсѣмъ не для того, чтобы «новое слово» сказать, а для того единственно, чтобъ показать, гдѣ раки зимуютъ. Они знаютъ также, что именно на нихъ-то онъ прежде всего и обрушится, дабы впослѣдствіи уже безъ помѣхи производить опыты упрощеннаго кровопійства; но неотразимость факта до того ясна, что имъ даже на мысль не приходитъ обороняться отъ него. Придетъ «чумазый», придетъ съ ногъ до головы наглый, съ цѣпкими руками, съ несытой утробой—придетъ и слопаетъ! Только и всего.

И не одна безсознательная кунавинская природа привѣтствуетъ ваше пришествіе; нѣтъ, слухи о васъ проникли даже въ ту среду, которая уже привыкла формулировать свои предвидѣнія и чаянія. И эта среда вмѣстѣ съ Кунавинымъ спѣшитъ всѣмъ возвѣстить ваше пришествіе, какъ вѣрнѣйшій залогъ грядущаго обновленія.

Прежде всего васъ привѣтствуютъ наши «охранители». Пропащіе люди, которыхъ они когда-то изъ всѣхъ силъ старались пристроить, нынѣ до смерти надоѣли имъ. Сентиментальничаютъ, ропщутъ, не то просятъ прощенья, не то грубятъ. Что-то невнятное происходитъ; не поймешь, гдѣ тутъ слава и гдѣ стыдъ. И въ довершеніе всего, до того обнажились, что даже на табакъ подчаску не изъ чего

дать. И это люди, которые когда-то не только сами называли себя столпами, но даже и были оными! Какимъ чудомъ случилось, что, обнажаясь все больше и больше, они постепенно выродились въ пропащихъ людей?

Исторія этого превращенія для охранителей представляетъ какую-то неисповѣдимую загадку. Но еще болѣе загадочнымъ кажется то, что, несмотря ни на какія умертвія, пропащій человѣкъ все-таки еще живъ состоитъ. Жизнь съ пассивнымъ упорствомъ держится въ этомъ расшатанномъ организмѣ, держится наряду съ явнымъ оголтѣніемъ... И кто знаетъ? можетъ-быть, именно благодаря этому упорству, была одна минута, когда казалось, что вотъ-вотъ все русское общество вступитъ на стезю абсолютнаго и безповоротнаго безстолбія... Да, было и такое время, было! все въ русской жизни было! Такое было время, когда все смѣшалось, когда самые несомнѣнные столпы, казалось, потонули въ зіяющей безднѣ, чтобы не вынырнуть изъ нея никогда! Хорошо, что Богъ пронесъ мимо эту дурную фантасмагорію; но охранители и донынѣ не могутъ забыть о краткомъ періодѣ этого «чуть-чуть не безстолбія» и, разумѣется, вспоминаютъ о немъ не только съ тоскою, но и съ омерзѣніемъ... Было такое время... га!

Да, слово «столпъ» не пустой звукъ, но одна изъ тѣхъ живыхъ и несомнѣнныхъ конкретностей, временное исчезновеніе которыхъ производитъ замѣтную пустоту въ кодексѣ благоустройства и благочинія. Столпы — это выдающіеся пункты, около которыхъ ютится мелкота, иногда роптущая, но въ большинствѣ случаевъ безнадежно изнемогающая. Столпы даютъ тонъ этой мелкотѣ, держатъ ее въ изумленіи, не допускаютъ обрасти. Однимъ своимъ присутствіемъ они съ бо́льшимъ успѣхомъ устраняютъ вредныя мечтанія, нежели самыя дѣятельныя разслѣдованія корней и нитей. Разслѣдованіе налетитъ и исчезнетъ; столпы же всегда тутъ, безотлучно... вплоть до изгноя. Мелкота съ суевѣрнымъ страхомъ взираетъ на ихъ незыблемость и инстинктивно понимаетъ, что совмѣстное существованіе незыблемости и мечтаній—дѣло не только немыслимое, но и прямо противоестественное. Едва рожденныя, вредныя мечтанія тутъ же немедленно и умираютъ. Или, лучше сказать, они даже не рождаются, а только отъ времени до времени заносятся въ видѣ эффектнаго слуха со стороны, не поселяя въ столпахъ ни малѣйшей тревоги своимъ эфемернымъ появленіемъ...

Вотъ почему столпы считаются существеннѣйшимъ подспорьемъ, и вотъ почему, когда наступаетъ моментъ изгиба, благоразумные охранители заранѣе подстерегаютъ этотъ моментъ и дѣлаютъ нужныя приспособленія, дабы старые, подгнившіе столпы были немедленно замѣнены новыми...

Нынѣ, къ безмѣрной радости охранителей, пробѣлъ, причиненный кратковременнымъ безстолбіемъ, пополненъ. «Чумазый человѣкъ»—въ виду у всѣхъ: человѣкъ свѣжій, непреклонный и расторопный, который навѣрное освободитъ охранителей отъ половины гнетущей ихъ обузы. Нѣтъ нужды, что онъ еще недостаточно поскоблился, что онъ не тронутъ наукой и равнодушенъ къ памятникамъ искусства, что на знамени его только одна надпись читается явственно: распивочно и на вынось... Охранитель видитъ въ этомъ не препятствіе, но залогъ. Чѣмъ меньше бродитъ въ обществѣ превыспренностей, тѣмъ прочнѣе оно стоитъ—это истина, которая нынѣ бьетъ въ глаза даже будочникамъ. Что такое «общество»? — это фикція и больше ничего. Объ этой фикціи отъ времени до времени упоминается, потому что совсѣмъ забыть о ней какъ-то совѣстно, но въ сущности... Ахъ, тѣмъ-то вѣдь и дорогъ «чумазый человѣкъ», что, имѣя его подъ рукой, о всѣхъ вообще фикціяхъ навсегда можно забыть, и нисколько не будетъ совѣстно. Ему ни «общество», ни «отечество», ни «правда», ни «свобода»—ничто ему доподлинно неизвѣстно! Ему извѣстенъ только грошъ — ну, и пускай онъ надѣлаетъ изъ него пятаковъ!

Слѣдомъ за охранителями привѣтствуютъ чумазаго человѣка и публицисты. Никогда не было потрачено столько усилій на разъясненіе принциповъ собственности, семейственности и государственности, никогда съ такою настойчивостью, съ такими угрозами не было говорено о необходимости огражденія этихъ принциповъ. Знаете ли, ради чего поднялась эта суматоха? ради чего такъ усиленно понадобилось ограждать огражденное и разъяснять разъясненное?—все ради васъ, кабатчики и мѣнялы! все ради того, чтобъ для васъ соотвѣтствующую обстановку устроить и ваше пришествіе приличнымъ образомъ объяснить.

Въ старое время и въ обществѣ, и въ литературѣ было насчетъ этого болѣе нежели просто. Люди наиболѣе заинтересованные столь же мало думали о вопросахъ собственности, семейственности и государственности, какъ мало

думаетъ человѣкъ, которому приходится періодически совершать одинъ и тотъ же путь, о домахъ и заборахъ, стоящихъ по обѣимъ сторонамъ этого пути. Зачѣмъ мнѣ, крѣпостныхъ дѣлъ мастеру, было напоминать о существованіи какихъ-то «принциповъ» собственности, семейственности и государственности, когда я самъ былъ ходячимъ гимномъ этимъ принципамъ? Зачѣмъ мнѣ было подстрекать самого себя на постиженіе какихъ-то усложненій, когда стоило только протянуть руку, чтобъ безъ всякаго постиженія получить желаемое? Всѣ эти «принципы» я не имѣлъ надобности ни расчленять, ни смаковать, ни ограждать ихъ, потому что они представляли собой стихію до такой степени мнѣ родную, что я только весело плавалъ въ ней, какъ рыба въ водѣ. Мнѣ и на мысль не приходило, что я могу захлебнуться или потонуть въ ней (знаю, что подъ конецъ я захлебнулся-таки, но вѣдь зато и наплавался же!). Ничѣмъ она не угрожала мнѣ, а только ласкала и нѣжила.

И вдругъ все измѣнилось. По волѣ судебъ, насталъ періодъ безстолбія и всѣхъ напугалъ. Начали рыться, доискиваться причинъ, и наконецъ пришли къ такому заключенію, что даже и въ родной стихіи нельзя безсрочно плавать, не вникая, что дѣлаешь. Умозаключеніе это прямо противорѣчило исторической практикѣ, побѣдоносно доказавшей, что столпы именно до тѣхъ поръ и стоятъ крѣпко, пока крѣпко стоитъ безсознательности; но такъ какъ безстолбіе одолѣвало, то приходилось довольствоваться хотя какимъ-нибудь выходомъ, чтобы такъ или иначе освободиться отъ ненавистнаго явленія. Понадобилось уяснить составныя части стихіи, указать наилучшіе способы управленія ею. Вотъ эту-то задачу и приняла на себя публицистика. Она объяснила, что жизнь совсѣмъ не такъ проста, какъ это казалось намъ, крѣпостныхъ дѣлъ мастерамъ, что, напротивъ того, она представляетъ сплошную цѣпь большихъ и малыхъ «принциповъ», которые постоянно и ревниво надлежитъ держать передъ глазами, дабы благополучно провести свою ладью къ желанной пристани.

Но коль скоро однажды объявилась необходимость «принциповъ», то, само собой разумѣется, потребовались и знаменосцы для нихъ. Мы, крѣпостныхъ дѣлъ мастера, не могли быть таковыми, во-первыхъ, потому, что людей, однажды уже ославленныхъ въ качествѣ выслужившихъ вонъ, было бы странно вновь привлекать къ дѣятельному

столпослуженію, а во-вторыхъ, и потому, что, какъ я уже сказалъ выше, надъ всей нашей крѣпостной жизнью тяготѣлъ только одинъ рѣшительный принципъ: какъ только допущены будутъ разъясненія, расчлененія и разслѣдованія, такъ тотчасъ же всѣ мы пропали! Требовались люди болѣе подходящіе, такіе, которые зубами вцѣплялись бы въ врученныя имъ знамена и всечасно памятовали, что плошать въ дѣлѣ держанія знаменъ — отнюдь не допускается. Такими людьми оказались—вы, кабатчики, желѣзнодорожники, мѣнялы и прочіе міроѣдскихъ дѣлъ мастера! Публицисты отлично угадали, что цѣнче васъ въ настоящее время людей не найти, и въ восторгѣ отъ этой находки воскликнули: «долой безстолбіе! вотъ они, новоявленные наши столпы!»

И точно: безстолбіе какъ-то вдругъ кануло, и ежели о немъ изрѣдка вспоминаютъ и теперь, то для того лишь, чтобы съ пылающими отъ стыда щеками воскликнуть: «ужели когда-нибудь былъ этотъ позоръ?» Отнынѣ на васъ, кабатчики и мѣнялы, покоятся всѣ упованія. Вы совершите то, что не сумѣли свершить даже мы, ваши достославные предшественники: вы съ неумолимою логикою проведете принципъ умиротворенія посредствомъ обездоленія. Мы, крѣпостныхъ дѣлъ мастера, какъ-то задумывались передъ громадностью этой задачи. Не скажу, чтобы насъ останавливали на этомъ пути какія-нибудь соображенія высшаго порядка, но мы все-таки понимали, что если начать обездоливать вплотную, то изъ этого, чего добраго, въ концѣ концовъ произойдетъ обездоленіе нашей собственной утробы. Вы и въ этомъ отношеніи поставлены гораздо выгоднѣе, нежели мы. Арена вашего обездоленія такъ безконечна и такъ загадочна, что даже при самой неисповѣдимой наглости всегда будетъ казаться, что еще не все вычерпано, что затерялся еще гдѣ-то уголокъ, въ которомъ процессъ обездоленія не совершилъ всего своего круга.

Въ виду столь несомнѣнныхъ свидѣтельствъ и я, Прогорѣловъ, не имѣю возможности сомнѣваться: да, вы грядете — это не тайна и для меня. Но, признаюсь откровенно, увѣренность эта не наполняетъ моего сердца сладкой надеждой, но, напротивъ, заставляетъ меня съ нѣкоторымъ трепетомъ приподнимать завѣсу будущаго и отыскивать тамъ совсѣмъ не тѣ ликующіе тоны, которые обѣщаютъ наши охранители и наши публицисты.

Не думайте однако-жъ, кабатчики и мѣнялы, что я сгораю къ вамъ завистью, и что именно это дурное чувство препятствуетъ мнѣ привѣтствовать васъ. Нѣтъ, тутъ совсѣмъ не то. Вотъ ужъ двадцать лѣтъ сряду, какъ я состою въ званіи пропащаго человѣка, и мнѣ кажется, что этого періода времени вполнѣ достаточно, чтобы пролить бальзамъ забвенія на какіе угодно сердечные ропоты. На первыхъ порахъ я дѣйствительно волновался и представлялъ изъ себя не то невинно-падшаго, который успѣлъ-таки припрятать въ укромномъ мѣстѣ кой-какія уцѣлѣвшія крохи, не то человѣка, приведеннаго въ восторженное состояніе отъ безпрерывной молотьбы по головѣ. Подъ вліяніемъ свѣже-нанесенной обиды я или ехидствовалъ, или извергалъ цѣлые потоки ропотовъ, при чемъ такъ безтолково кричалъ, что не только не вникалъ въ смыслъ собственныхъ рѣчей, но, въ большинствѣ случаевъ, за гвалтомъ не умѣлъ даже хорошенько разслышать ихъ. Но вдругъ промелькнула свѣтлая минута. Я вслушался, вникъ и... покраснѣлъ. Я понялъ, что мой ропотъ былъ чѣмъ-то нелѣпымъ по существу и безконечно неуклюжимъ по формѣ; что по существу я обнаруживалъ только голую алчность, а по формѣ — только беззавѣтнѣйшую невѣжественность. Съ тѣхъ поръ я смирился и замолчалъ. Изрѣдка, правда, и теперь кое-что сболтну въ одномъ изъ тѣхъ тихихъ пріютовъ, которые извѣстны подъ именемъ земскихъ учрежденій, но сболтну неувѣренно и какъ-то невнятно, съ пропусками. Точь-въ-точь какъ органчикъ, котораго валъ, отъ времени и жестокаго обращенія, утратилъ три четверти своихъ колышковъ.

И знаете ли что̀ еще! Съ тѣхъ поръ, какъ я покраснѣлъ и сознался, что титулъ пропащаго человѣка прикрѣпленъ за мной безповоротно, — я полюбилъ это скромное званіе. Иногда мнѣ даже сдается, что оно близко граничитъ съ званіемъ человѣка вообще, что въ этомъ качествѣ ему предстоитъ хорошая и прочная будущность, и что ежели для увѣковѣченія родовъ пропащихъ людей не будетъ заведено бархатныхъ и иныхъ книгъ, то не потому, чтобы люди сіи не были того достойны, а потому, что, разъ испытавъ тщету увѣковѣченій, они и сами едва ли пожелаютъ ихъ возобновленія. Повторяю: я до того примирился съ мыслью, что я пропащій человѣкъ, что воспоминанія минувшей славы уже не пробуждаютъ во мнѣ ни безплодной горечи, ни несбыточныхъ надеждъ. Я знаю, что исторія

назадъ не возвращается, что даже гнусное не повторяется въ ней въ однѣхъ и тѣхъ же формахъ, но или развивается въ формы гнуснѣйшія, или навсегда прекращается, и что, стало-быть, Прогорѣловымъ — какъ бы они ни вопіяли — повториться въ прежнихъ формахъ (а новыхъ они сами не выдержатъ) не суждено. Одно меня заботитъ въ моемъ новомъ положеніи: сумѣю ли я настолько совладать съ собою и съ своимъ прошлымъ, чтобы сдѣлаться воистину порядочнымъ пропащимъ человѣкомъ, то-есть человѣкомъ долга, добра, чести и труда?

Итакъ, не по чувству зависти я воздерживаюсь отъ поздравленія васъ съ пріѣздомъ, а просто потому, что меня беретъ оторопь. И не за себя я боюсь — чего ужъ! изъ меня все, даже страхъ вынули!—но за отечество.

Какъ ни безшабашно прошла моя жизнь, однако помаялся-таки я на своемъ вѣку, а тѣмъ временемъ кое-что и попристало ко мнѣ. Я, Прогорѣловъ, грамотенъ — вотъ въ чемъ суть. Преимущество ли это мое, или злосчастіе— всяко можно судить. Это преимущество, потому что грамота помогла мнѣ непостыдно и безболѣзненно (по крайней мѣрѣ относительно) перекочевать изъ категоріи столповъ въ категорію пропащихъ людей; это злосчастіе — потому что грамота же помѣшала мнѣ всецѣло отдаться восторгамъ возрожденія и этимъ самымъ уподобила мое существованіе ладьѣ, плавающей по волнамъ житейскаго моря безъ кормила и весла.

Правда, что моя грамота—нельзя сказать, чтобъ черезчуръ ужъ сложная, но важно ужъ то, что она потревожила мой почивавшій внутренній міръ и въ то же время внушила мнѣ вкусъ къ нѣкоторымъ нелишнимъ наблюденіямъ и оцѣнкамъ.

Благодаря этимъ наблюденіямъ, я знаю, напримѣръ, что независимо отъ клейменыхъ русскихъ словарей въ нашей жизни выработался свой собственный подоплечный словарь, имѣющій очень мало сходства съ клейменными. И представь себѣ, Разуваевъ, что когда рѣчь идетъ о выраженіяхъ еще не утвердившихся, новоявленныхъ, каковы, напримѣръ: интеллигенція, культура, дирижирующіе классы и проч., то я положительно предпочитаю послѣдній первымъ. Я инстинктивно чувствую, что клейменые словари фаталистически обречены на повтореніе задовъ. Ихъ міросозерцаніе—мое міросозерцаніе: условности, которыя связываютъ ихъ, суть тѣ же, которыя связываютъ и меня;

словомъ-сказать, словари эти несомнѣнно сочинены самимъ мной, еще въ ту эпоху, когда я какъ сыръ въ маслѣ катался. Такъ что если-бъ я руководствовался только ими, то положительно все сомнительное и неясное такъ навсегда и осталось бы для меня сомнительнымъ и неяснымъ. Но, по счастью, рядомъ съ клейменными словарями существуетъ толковый интимно-обывательскій словарь, который проливаетъ и отлично объясняетъ смыслъ даже такихъ выраженій, передъ которыми клейменый словарь стоитъ, уставясь лбомъ въ стѣну. Вотъ къ этому-то неизданному, но превосходнѣйшему словарю я всегда и обращаюсь, когда мнѣ нужно вложить персты въ язвы.

Возьмемъ хоть бы данный случай. Вездѣ кругомъ говорятъ: грядутъ кабатчики, мѣнялы, желѣзнодорожники и прочіе міроѣдскихъ дѣлъ мастера. Желая объяснить себѣ это явленіе, я прежде всего обращаюсь къ обывательскимъ наблюдательнымъ реестрамъ и вижу, что вы значитесь въ нихъ такъ:

«*Разувaевъ*, Анатолій, бывшій халуй (понимаю). Занимается кабаками, а нынѣ, сверхъ того, и *интеллигенціей* (не понимаю).

«*Губошлеповъ*, Іона, бывшій цѣловальникъ (понимаю). Занимается поставкой для арміи и флотовъ гнилыхъ сухарей (еще бы не понимать!), а нынѣ, сверхъ того, *дирижирующій классъ*» (не понимаю). И т. д., и т. д.

Очень возможно, что для публицистовъ, подчасковъ и прочихъ экспертовъ науки подчеркнутыя мною опредѣленія вполнѣ ясны, но для меня—человѣка только потревоженнаго наукой—нѣтъ. Поэтому я по старой привычкѣ беру сначала клейменый словарь и спѣшу справиться въ немъ: что сей сонъ значитъ? Но—увы!—никакихъ утѣшеній въ немъ не обрѣтаю, кромѣ того, что интеллигенція есть интеллигенція, а правящій классъ есть тотъ, который правитъ. Тогда я припоминаю, что у насъ есть еще неизданный интимно-обывательскій толковый словарь, мысленно развертываю его и читаю слѣдующее:

«*Интеллигенція*, или кровопійство...

«*Правящій классъ*, или шайка людей, втихомолку отъ начальства объегоривающая...»

Дальше я уже не читаю: съ меня довольно. Искомая язва глядитъ мнѣ прямо въ глаза, сіяющая, обнаженная, вполнѣ достовѣрная. Нѣтъ нужды, что прочитанныя опредѣленія противорѣчатъ безсознательной номенклатурѣ, усвоен-

ной мною съ пеленокъ: то, что открылось передъ мной, такъ прозрачно-ясно, что я забываю всѣ пеленки, заподозрѣваю всѣ клейменые словари и вѣрю только ему одному, нашему единственно правдивому и единственно прозорливому подоплечному толковому русскому словарю!

И затѣмъ цѣлый рядъ мыслей, самаго внезапнаго свойства, такъ и роится въ моей головѣ.

Горе—думается мнѣ—тому граду, въ которомъ и улица, и кабаки безнужно скулятъ о томъ, что собственность священна! Навѣрное въ градѣ семъ имѣетъ произойти неслыханнѣйшее воровство!

Горе той веси, въ которой публицисты безнужно и настоятельно вопіютъ, что семейство — святыня! Навѣрное надъ этой весью невдолгѣ разразится колоссальнѣйшее прелюбодѣйство!

Горе той странѣ, въ которой шайка шалопаевъ во всѣ трубы трубитъ: «государство, mon cher!—c'est sacrrrré!» Навѣрное въ этой странѣ государство въ скоромъ времени превратится въ расхожій пирогъ!

А работа воображенія не только не отстаетъ отъ работы мысли, но, по обыкновенію, даже опережаетъ ее. Картины слѣдуютъ за картинами... ужасъ! Представьте себѣ эту неусыпающую свару, въ которой отнятіе перемѣшано съ прелюбодѣяніемъ и терзаніемъ пирога! Осуществите ее въ цѣлой массѣ лицъ, искаженныхъ жаждой любостяжанія и любострастія; заставьте этихъ людей метаться, рвать другъ друга зубами, срамословить, свальничать, убивать и, въ довершеніе всего, киньте куда-нибудь въ уголъ или на хоры горсть шутовъ-публицистовъ, умиленно поющихъ гимны собственности, семейственности и государственности! Ужели возможна картина болѣе потрясающая? Бѣжать отъ нихъ! бѣжать! бѣжать!—вотъ единственная мысль, которая угнетаетъ мозгъ при видѣ этихъ озлобленныхъ, бѣсноватыхъ существъ. Но куда бѣжать?

Вотъ чего я, Прогорѣловъ, страшусь и чего—увы!—я не могу не провидѣть въ ближайшемъ будущемъ. Воистину говорю: никогда ничего подобнаго не бывало. Ужасно было крѣпостное мучительство, но оно имѣло опредѣленный районъ (каждый мучительствовалъ въ предѣлахъ своего гнѣзда) и потому было доступно для надзора. Ваше же мучительство, о міроѣды и кровопійственныхъ дѣлъ мастера, есть мучительство вселенское, неуличимое, не знающее ни границъ, ни даже ясныхъ опредѣленій! Ужели это про-

грессъ, а не наглое вырожденіе гнусности меньшей въ гнусность сугубую?

Интеллигенція! дирижирующіе классы! И при семъ въ скобкахъ: «сюжетъ заимствованъ съ французскаго»! Слыханное ли это дѣло! И какъ отвѣтъ на эти запросы—«Разуваевъ, бывшій халуй»! Разуваевъ, заспанный и пахучій, буйный, безшабашный, безвременно оплывшій, съ отяжелѣвшею отъ виннаго угара головой и съ хмельною улыбкою на устахъ. Подумайте! да онъ—въ ту самую минуту, какъ вы, публицисты, призываете его: «иди и володѣй нами!»—даже въ эту торжественную минуту онъ пущаетъ враскосъ глаза, высматривая, не лежитъ ли гдѣ плохо!

Знаетъ ли онъ, что такое отечество? слыхалъ ли онъ когда-нибудь это слово? Ахъ, это отечество! Но настоящему-то вѣдь это нестерпимѣйшая сердечная боль, непереставшая, гложущая, гнетущая, въ конецъ изводящая человѣка—вотъ какое значеніе имѣетъ это слово! А Разуваевъ думаетъ, что это надаль, брошенная на расклеваніе ему и прочимъ кровопійственныхъ дѣлъ мастерамъ.

. . . . . .

Но да свершится. Исторія имѣетъ свои повороты, которые невозможно измѣнить, а тѣмъ менѣе устранить. Это, конечно, не слѣпой фатализмъ, передъ которымъ не остается ничего другого, какъ преклониться, и не произволъ, которому люди подчиняются, потому что за нимъ стоитъ цѣлый легіонъ темныхъ силъ; но все-таки это законъ, и именно законъ послѣдовательнаго развитія однихъ явленій изъ другихъ. Явленія приходятъ на арену исторіи какъ бы крадучись и почти не обнаруживая своей внутренней подготовки—вотъ почему они, въ большинствѣ случаевъ, кажутся намъ внезапными или произвольными. Но подготовка эта несомнѣнно существовала—только мы, ошеломленные исконной репутаціей несмѣняемости, которою пользовались явленія предшествующія, проглядѣли ее. Такъ что когда новыя вѣянія, новые порядки и новыя дѣла являются во всеоружіи совершившагося факта, то мы видимъ себя безсильными не только для борьбы съ ними, но и для смягченія безполезныхъ наглостей подкравшагося торжества.

Увы! міроѣдскій періодъ, очевидно, еще не исчерпалъ всего своего содержанія. Ему еще предстоитъ сказать рѣшительное слово, и чѣмъ ближе къ концу будетъ приходить его рѣчь, тѣмъ жестче и неумолимѣе выскажется это послѣднее слово. Жизнь выработала извѣстную сумму при-

манокъ, имѣющихъ несомнѣнно кровопійственный характеръ, и покуда эти приманки носятъ названіе утѣхъ, къ нимъ все-таки не перестанутъ устремляться завистливые взоры тѣхъ, кто не боится рисковать или кто суевѣрно надѣется на свою счастливую звѣзду. Покуда мудрость текущей минуты будетъ учить, что въ виду устраненія жизненныхъ огорченій человѣческое естество необходимо упразднить, а на мѣсто его водворить и утвердить естество волчье, до тѣхъ поръ всякій могущій вмѣстить будетъ прямо или косвенно черпать изъ кладезя этой мудрости. Принципъ утѣхъ — великій принципъ, которому суждено вѣчно плѣнять человѣческія сердца, и ежели тутъ есть бѣда, то не въ томъ, что люди желаютъ наслаждаться утѣхами, а въ томъ, что по обстоятельствамъ эти утѣхи нерѣдко получаютъ характеръ звѣриный и человѣконенавистническій. Вотъ когда жизнь выработаетъ новаго сорта утѣхи, тогда самъ собою изноетъ и міроѣдскій періодъ. А покуда, повторяю, придется еще много услышать жестокихъ и безчеловѣчныхъ словъ и долго оставаться безмолвнымъ свидѣтелемъ всякаго рода безстыжествъ и неключимостей.

Какъ бы то ни было, но я взялся за перо совсѣмъ не съ тѣмъ, чтобы протестовать. Я только намѣренъ высказать нѣсколько благожелательныхъ соображеній, которыя, по мнѣнію моему, вамъ, новоявленнымъ столпамъ, въ видахъ собственной пользы, нелишне было бы принять къ свѣдѣнію.

Я самъ, пропащій человѣкъ Прогорѣловъ, былъ въ свое время столпомъ и самъ безчисленно прегрѣшалъ. Я былъ и отнимателемъ, и прелюбодѣемъ, и измѣнникомъ казеннаго интереса, и не только не полагалъ въ томъ грѣха, но и вполнѣ искренно былъ убѣжденъ, что именно на этихъ трехъ китахъ міръ стоитъ. Только теперь, когда меня безповоротно произвели въ чинъ пропащаго человѣка, я понялъ, что никакихъ тутъ китовъ нѣтъ. Во всякомъ случаѣ то, что мнѣ предстоитъ сказать по этому поводу, будетъ плодомъ моего собственнаго опыта и моей собственной долголѣтней міроѣдской практики. Стало-быть, вѣрно.

Начнемъ съ отечества. Отвѣть, Разуваевъ! знаешь ли ты, что̀ такое отечество?

Сдѣлавши этотъ вопросъ, я натурально стараюсь уловить, какое онъ произвелъ на тебя впечатлѣніе. И долженъ сказать, что впечатлѣніе это, на мой взглядъ, не весьма удовлетворительное. Прежде всего ты изумленъ и таращишь

глаза, словно спрашиваешь: и зачѣмъ ему это слово понадобилось? Нельзя даже поручиться, что ты не думаешь, что это слово бунтовское, заключающее въ себѣ «филантропію»... Потомъ однако-жъ ты начинаешь шутки шутить, зубы заговаривать: «кто же, молъ, такого пустяка (ты употребляешь не это слово, а другое, но я изъ учтивости о немъ умалчиваю) не знаетъ!» Но наконецъ, прижатый къ стѣнѣ, ты какъ-то загадочно киваешь въ ту сторону, гдѣ имѣетъ квартиру становой приставъ Граціановъ.

Твой кивокъ въ сторону Граціанова убѣждаетъ меня, что ты смѣшиваешь отечество съ начальствомъ, или, по малой мѣрѣ, ставишь представленіе о первомъ въ зависимость отъ представленія о послѣднемъ. Исполнять приказанія начальства—вотъ, по-твоему, что̀ значитъ быть истиннымъ сыномъ отечества. Ясно, что ты ровно ничего не понимаешь.

Тогда я за тѣми же разъясненіями обращаюсь къ твоему публицисту (онъ тебя провидѣлъ, облюбовалъ, онъ же, стало-быть, обязывается и отвѣчать за тебя), въ чаяніи, что этотъ шустрый малый сумѣетъ яснѣе формулировать то̀, что̀ ты въ столповой своей необрѣзанности только бормочешь. Но—увы!—и отъ него ничего, кромѣ бормотанія, въ отвѣтъ не слышу. Онъ легкомысленно перебѣгаетъ отъ одного признака къ другому; онъ упоминаетъ и о географическихъ границахъ, и о расовыхъ отличіяхъ, и о равной для всѣхъ обязанности законовъ, и о присягѣ, и объ окраинахъ, и о необходимости обязательнаго употребленія въ присутственныхъ мѣстахъ русскаго языка, и о господствующей религіи, и объ арміи и флотахъ, и въ концѣ концовъ все-таки сводитъ вопросъ къ Граціанову. Словомъ сказать, онъ тоже смѣшиваетъ отечество съ государствомъ и правительствомъ, подчиняя представленіе о первомъ представленію о двухъ послѣднихъ.

Смѣю тебя увѣрить однако-жъ, что представленія эти совершенно различныя, и что смѣшеніе ихъ можетъ привести къ такимъ запутанностямъ, которыя на практикѣ бываютъ равносильны бѣдствіямъ.

Итакъ, въ чемъ же тутъ различіе?

Прежде всего отечество—привлекаетъ: государство—обязываетъ; начальство—приказываетъ. Все это функціи, конечно, очень почтенныя, но и за всѣмъ тѣмъ совершенно различныя. Дальше. Представленію объ отечествѣ соотвѣтствуетъ представленіе о правахъ и обычаяхъ, объ играхъ,

пѣсняхъ и пляскахъ, о примѣтахъ и суевѣріяхъ, о пословицахъ, поговоркахъ, притчахъ и сказкахъ и наконецъ о томъ неклейменомъ, но несомнѣнно ходячемъ словарѣ, о которомъ я упомянулъ уже выше. Представленію о государствѣ соотвѣтствуетъ представленіе о законахъ, о комиссіяхъ, издающихъ сто одинъ томъ трудовъ, о географическихъ границахъ, объ арміяхъ и флотахъ, о податяхъ и повинностяхъ, о казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ, о дипломатическихъ нотахъ и о клейменыхъ словаряхъ. Представленію о начальствѣ соотвѣтствуетъ представленіе о департаментахъ, канцеляріяхъ и штабахъ, о предписаніяхъ, подтвержденіяхъ и о тщетныхъ ожиданіяхъ на сіи предписанія отвѣтовъ, о маршировкахъ и обмундировкахъ, о наградахъ, повышеніяхъ, увольненіяхъ и перемѣщеніяхъ и наконецъ паки о предписаніяхъ и подтвержденіяхъ.

Отечество говоритъ тебѣ кратко: «живи!» даже не прибавляя при этомъ: играй, пой пѣсни, пляши, сказывай сказки и проч. Оно знаетъ, что и безъ его напоминанія все сіе тебѣ свойственно. Государство тоже говоритъ: «живи!» но прибавляетъ: «и повинуйся закону». Начальство выражается такъ: «живи, но ожидай предписаній и подтвержденій!»

Ужели и теперь не ясно, что это функціи совершенно другъ отъ друга отличныя?

Но будемъ продолжать наши сравненія.

Отечество есть тотъ таинственный, но живой организмъ, очертанія котораго ты не можешь отчетливо для себя опредѣлить, но котораго прикосновеніе къ себѣ ты непрерывно чувствуешь, ибо ты связанъ съ этимъ организмомъ непрерывною пуповиной. Онъ, этотъ таинственный организмъ, былъ свидѣтелемъ и источникомъ первыхъ впечатлѣній твоего бытія; онъ надѣлилъ тебя способностью мыслить и чувствовать; онъ создалъ твои привычки, далъ тебѣ языкъ, вѣрованія, литературу, онъ обогрѣлъ и пріютилъ тебя, словомъ сказать, сдѣлалъ изъ тебя существо, способное жить. И всего этого онъ достигъ безъ малѣйшаго насилія, однимъ теплымъ и безконечно любовнымъ къ тебѣ прикосновеніемъ. Онъ сдѣлалъ больше того: неусыпно обнимая тебя своею любовью, онъ и въ тебѣ зажегъ священную искру любви, такъ что и тебѣ нигдѣ не живется такою полною, горячею жизнью, какъ подъ сѣнью твоего отечества. Ты слово скажешь — въ отечествѣ тебя понимаютъ; сжели это слово умное—возвеличатъ и воздвигнутъ

монументъ; ежели оно глупое—забранятъ и простятъ. Ты сдѣлаешь движеніе—въ отечествѣ сразу угадываютъ, куда оно клонится; ежели это движеніе осмысленное—скажутъ: «даже жестъ у него умный и благородный!»: ежели оно нелѣпое и противоестественное—опредѣлятъ въ актеры въ Александринскій театръ: играй съ Повиковымъ и Петипа! Всякій поступокъ твой въ отечествѣ оцѣнятъ, не прикидывая къ нему абсолютныхъ критеріумовъ, а довольствуясь правиломъ: «по здѣшнему мѣсту и такъ сойдетъ». Самый плохой человѣкъ—и тотъ найдетъ въ своемъ отечествѣ массу такихъ же плохихъ людей, которые будутъ вмѣстѣ съ нимъ на бобахъ разводить, вмѣстѣ ѣсть печатные пряники, вмѣстѣ горевать и радоваться. Даже мерзавецъ—и тотъ обрящетъ цѣлую уйму сомерзавцевъ, съ которыми можетъ по душѣ поговорить. Нигдѣ на чужбинѣ ты ничего подобнаго не найдешь: ни сочувствія, ни снисходительности, ни даже порицаній. Вездѣ, кромѣ своего отечества, ты чужой; ни тебя никто въ земскія учрежденія не выберетъ, ни ты никого въ земскія учрежденія не выберешь. Только въ отечествѣ тебѣ до всего дѣло, даже въ такомъ отечествѣ, гдѣ на каждомъ шагу тебѣ говорятъ: «не суйся! не лѣзь впередъ! не твое дѣло!» Пускай говорятъ! ты все-таки всѣмъ существомъ своимъ сознаешь, что дѣла у тебя по горло, и что, если-бъ ты даже желалъ послѣдовать совѣту о несованіи носа, никакъ это невозможно выполнить, потому что дѣло само такъ и подступаетъ къ твоему носу. Словомъ сказать, только тутъ, только охваченный волнами родного воздуха, ты чувствуешь себя способнымъ къ жизни существомъ, хозяиномъ «своего дѣла», человѣкомъ, котораго понимаютъ и который въ то же время самъ понимаетъ.

Всѣ эти блага наполняютъ твое существо такою полнотою довольства, какой ничто другое не можетъ тебѣ дать. А довольство, въ свою очередь, полагаетъ начало другому не менѣе сладкому чувству—чувству признательности и солидарности. Не довольствуясь отвлеченной идеей отечества, ты ищешь олицетворить его въ чемъ-нибудь конкретномъ и въ этихъ поискахъ прежде всего наталкиваешься на своихъ соотечественниковъ. Кто далъ тебѣ это чувство довольства? кто далъ тебѣ славу, ежели ты силенъ, и снисхожденіе, ежели ты слабъ? Кто окружилъ тебя почетомъ или накрылъ покровомъ забвенія, смотря по тому, что ты заслужилъ? Кто сказалъ тебѣ: вотъ въ чемъ твоя заслуга и вотъ въ чемъ твой стыдъ? Все это дали и сказали тебѣ

твои соотечественники. Во всякомъ другомъ мѣстѣ, отъ всѣхъ другихъ людей ты слышалъ только одинъ разговоръ: столько-то франковъ и столько-то сантимовъ; только здѣсь, въ отечествѣ, съ тобой разговаривали по-человѣчьему, только здѣсь признали въ тебѣ существо, которое можно хвалить или порицать и котораго дѣйствія во всякомъ случаѣ слѣдуетъ считать обязательно-вмѣняемыми. Какъ же тебѣ не быть безконечно признательнымъ этимъ людямъ, которые ни разу не проглядѣли въ тебѣ человѣка, которые могли любить, ненавидѣть, даже презирать тебя, но одного не могли: остаться къ тебѣ равнодушными? Какъ тебѣ не считать себя солидарнымъ съ ними, какъ всеминутно отъ глубины благодарнаго сердца не восклицать: о, плоть отъ плоти моей и кость отъ костей моихъ! — когда и у нихъ при видѣ твоемъ дыханіе спирается въ зобу? Какъ не броситься въ огонь и въ воду ради присныхъ твоихъ? какъ не принять смерть, мучительство, позоръ ради друговъ твоихъ? О, Разуваевъ! сдѣлай милость, пойми меня! вѣдь они, они одни признали въ тебѣ подлиннаго человѣка, одни они напоили тебя и радостью, и мучительствомъ, и позоромъ—какой же высшей награды можно желать?

Вотъ отчего говорится, что нѣтъ отечества краше собственнаго отечества: вотъ отчего ни о чемъ не болитъ сердце такою острою болью, какъ объ отечествѣ. Люди изнываютъ подъ непосильнымъ бременемъ этой боли, сходятъ съ ума, рѣшаются на самоубійство. Стоитъ одинокій человѣкъ гдѣ-нибудь на берегу Средиземнаго моря, среди залитой лучами солнца природы, и чувствуетъ, какъ капля по каплѣ истекаетъ его сердце кровью. Ахъ, что-то тамъ дѣлается, въ этихъ дорогихъ сердцу палестинахъ, гдѣ «С.-Петербургскія» и «Московскія Вѣдомости» издаются (wo die Citronen blühen)? Чай, Ѳеденька Неугодовъ закусываетъ, Петръ Толстолобовъ цыркаетъ... ахъ, такъ бы и летѣлъ туда! хоть невидимкой посидѣлъ бы въ томъ засѣданіи комиссіи, когда она, издавъ сто одинъ томъ трудовъ, сама наконецъ приходитъ къ заключенію, что все земное ею свершено, и что затѣмъ ей ничего другого не остается, какъ разойтись! Да, хочется и туда! не для смѣха хочется, а потому что нутро горитъ по присным и другамъ, потому что память о нихъ даже въ лучахъ этого горящаго солнца не можетъ до конца потонуть.

До какой степени живуче это чувство неразрывности съ отечествомъ даже въ плохихъ людяхъ, доказательствомъ

тому можетъ служить слѣдующій, правда, довольно банальный примѣръ. Колеситъ гулящій русскій человѣкъ по бѣлу свѣту, сыплетъ марками и франками, уплачиваетъ тринкгельды и пурбуары — и все ему почета ни отъ кого нѣтъ. Наконецъ наступаетъ рѣшительный моментъ: жизнь въ обществѣ кельнеровъ, гарсоновъ и метрдотелей наскучила, франки приходятъ къ концу—айда домой! Начинаются разсчеты: столько-то на разставанье съ Парижемъ, столько-то— на ознакомленіе по пути съ садомъ Кроля, столько-то—на дорогу... И представь себѣ, Разуваевъ! такова сила инстинктивной вѣры въ привѣчающія свойства отечества, что ежели нѣтъ совсѣмъ заваляющихъ денегъ, то гулящій человѣкъ въ своихъ путевыхъ разсчетахъ какъ-то совсѣмъ забываетъ Россію. Только бы до Эйдкунена доѣхать, а тамъ какъ-нибудь... вѣдь тамъ ужъ Россія! И дѣйствительно, доѣхали до Вержболова, а здѣсь ужъ давно ждутъ: пожалуйте по этапу! Ну, что-жъ! по этапу, такъ по этапу! Бывали! видали!

Я знаю, Разуваевъ, что разъясненія эти утомили тебя, но я остановился на нихъ потому, что надо же тебѣ знать, что̀ такое отечество и почему такъ естественно его любить. Вѣдь ты грядешь съ тѣмъ, чтобъ играть роль, ты даже въ обывательскихъ книгахъ въ графѣ «чѣмъ занимается» отмѣченъ: «дережирующій классъ» — надо же, чтобъ ты понималъ, что̀ именно разумѣли наши предки, говоря: земля наша велика и обильна, но порядку въ ней нѣтъ. Но, сверхъ того, я и не для тебя одного пишу. Помимо тебя, на свѣтѣ существуютъ легіоны вертопраховъ, которые слишкомъ охотно говорятъ о прекращеніяхъ и вовсе не думаютъ о томъ, что отечество не прекращать, а любить надлежитъ. Пускай и они тронутся моими стенаньями, пускай скажутъ себѣ: «да, онъ правъ! если мы присныхъ своихъ предадимъ расточенію, то съ кѣмъ же сами останемся? кто будетъ насъ красавцами называть?»

Идея отечества одинаково для всѣхъ плодотворна. Честнымъ она внушаетъ мысль о подвигѣ, безчестныхъ—предостерегаетъ отъ множества гнусностей, которыя безъ нея несомнѣнно были бы совершены. Есть еще и другая идея, въ томъ же смыслѣ плодотворная—это идея о судѣ потомства; но такъ какъ она непосредственнаго дѣйствія не оказываетъ, то и доступна лишь людямъ, не чуждымъ обобщеній,—тогда какъ мысль о томъ, какъ будетъ принятъ тотъ или другой поступокъ въ средѣ соотечественниковъ, бьетъ прямо въ чувствительное мѣсто и отчасти имѣетъ даже угро-

жающій характеръ. Ибо нѣтъ презрѣнія существеннѣе того презрѣнія, которымъ пользуется человѣкъ отъ своихъ согражданъ.

Но, можетъ-быть, ты скажешь на это: «вѣдь самъ же ты, за нѣсколько страницъ выше, утверждалъ, что и мерзавцу въ своемъ отечествѣ веселѣе, потому что онъ найдетъ тамъ массу вполнѣ однородныхъ сомерзавцевъ, съ которыми ему можно душу отвести: стало-быть, дескать, и я: подберу подходящую компанію, и будемъ мы вкупѣ сомерзавствовать, а до прочаго намъ дѣла нѣтъ». Прекрасно; дѣйствительно, ты можешь такую компанію обрѣсти. Но вѣдь ежели я рисовалъ тебѣ подобную перспективу, то, право, не для того, чтобъ ты непремѣнно въ ней искалъ себѣ успокоенія, а только на случай крайности. Не спорю, можно такъ искусно нырнуть въ шайку спеціалистовъ, что ею, такъ-сказать, отъ всего остального свѣта себя загородить; но не забывай, что въ такой шайкѣ тебѣ предстоитъ только бражничать да по душѣ калякать, а вѣдь тебѣ, главнѣйшимъ образомъ, надо объегоривать и дѣла дѣлать. Вотъ эти-то послѣднія функціи и вынудятъ тебя отъ времени до времени выбѣгать изъ шайки и обращаться къ прочимъ партикулярнымъ людямъ. Теперь представь себѣ слѣдующее. Допустимъ, что въ виду засилія, которое ты взялъ, партикулярные люди не посмѣютъ совершенно уклониться отъ сношеній съ тобой; но такъ какъ имъ извѣстно, что ты несомнѣнный кровопивецъ, то они непремѣнно хоть частицу сокровища да утаятъ отъ тебя. Если же имъ о кровопивствѣ твоемъ неизвѣстно, если ты сумѣлъ—не скажу: сдѣлаться честнымъ человѣкомъ, но по крайней мѣрѣ прикинуться таковымъ, то они не только *все* свое сокровище, но и тѣла, и души—все полностью тебѣ препоручатъ. Не ясно ли, что даже въ такомъ дѣлѣ, какъ облапошиванье, быть кровопивцемъ загадочнымъ выгоднѣе, нежели неприкрытымъ нахаломъ, который всей своей физіономіей только-что не говоритъ: что-жъ ты задумался, не плюешь на меня? плюй!

Осторожность и загадочность — вотъ школа, которую ты обязываешься пройти, если хочешь, чтобы въ тебѣ воистину видѣли «дирижирующій классъ». Ибо обыватель простодушенъ, и ежели видитъ, что на него наступаютъ съ тѣмъ, чтобы горло ему перекусить, то уклоняется. Но когда его потихоньку невѣдомо гдѣ сосутъ, онъ только перевертывается.

Теперь—о государствѣ. Эта идея тоже плодотворная, но только въ другомъ родѣ и въ другой степени. Но ты и ее смѣшиваешь съ Граціановымъ, а публицисты твои—съ цензурнымъ вѣдомствомъ; а потому надо и въ данномъ случаѣ кое-что тебѣ пояснить. Скажемъ такъ: отечество—отъ Бога, государство—дѣло изобрѣтательности человѣческаго ума. Вотъ главное и существенное различіе между отечествомъ и государствомъ; остальныя подробности ты можешь сообразить самъ по тому же масштабу. Необходимо, впрочемъ, помнить еще слѣдующее: въ представленіи о государствѣ ты не встрѣтишься ни съ подблюдными, ни съ свадебными пѣснями, ни съ сказками, ни съ былинами, ни съ пословицами, словомъ-сказать—ни съ чѣмъ изъ всего цикла тѣхъ пѣвящихъ явленій, которыя обдаютъ тебя тепломъ, когда ты мыслишь себя лицомъ къ лицу съ отечествомъ. Ничего подобнаго государство тебѣ не дастъ, но у него имѣется въ рукахъ громадная привилегія: оно властно обезпечить или не обезпечить твоему отечеству спокойное пользованіе этими благами. Это обстоятельство очень важно, и ты отнюдь не долженъ упускать его изъ вида, если хочешь умненько вести дѣла свои. Такъ что ежели, напримѣръ, ты сдуру будешь молить Бога, чтобъ государство не обезпечивало хороводовъ и игръ, но воспрещало и преслѣдовало оные, то, во-первыхъ, молитва твоя не будетъ угодна Богу, а во-вторыхъ, ты самъ же первый почувствуешь на себѣ ея неблагопріятныя послѣдствія, если Провидѣніе допуститъ осуществленіе ея. Знай, Разуваевъ, что только народы веселые и хороводолюбивые къ объегориванію ласковы; народы же угрюмые, узаконеніями непосильно изнуряемые, даже для самыхъ изобрѣтательныхъ кровопивцевъ даютъ мало пищи. Отданные въ жертву унылости, они безмолвно изнемогаютъ безъ малѣйшей надежды когда-нибудь нагулять приличное тѣло. Кости да кожа—поистинѣ съ такого одра больше двугривеннаго и ожидать нельзя! Это не я говорю, а исторія.

Не менѣе плодотворна и идея о начальствѣ. Идея эта тебѣ небезызвѣстна—этого отрицать нельзя, но все-таки скажу, даже и ее ты какъ-то неблагородно представляешь себѣ. Начальство представляется тебѣ чѣмъ-то такимъ, что наполняетъ крикомъ вселенную, а въ свободное отъ криковъ время принимаетъ барашка въ бумажкѣ. Нѣтъ, это не такъ; это идеалъ, уже вышедшій изъ употребленія, и притомъ такой, который не за что было бы любить. Но не

любить начальства нельзя, такъ какъ и оно, совмѣстно съ государствомъ, для того установлено, дабы наидѣйствительнѣйше обезпечивать неприкосновенность хороводовъ и игръ. А потому, ежели ты будешь въ молитвахъ своихъ упоминать о начальствѣ (это полезно: «да тихое житіе поживемъ»), то проси Бога такъ, чтобы въ начальственныхъ распоряженіяхъ было больше снисходительности и менѣе настоятельности, и чтобы, не теряя изъ вида спасительной строгости, начальство въ то же время памятовало, что и оно, яко изъ человѣковъ состоящее, прегрѣшать можетъ. Именно такъ и молись, ибо въ противномъ случаѣ результатъ одинъ: кости да кожа, съ его неизбѣжнымъ послѣдствіемъ въ формѣ постепеннаго закрытія заведеній, глящихъ: распивочно и на выносъ.

Итакъ, три главныхъ объекта предстоятъ для твоей, Разуваевъ, любви:

Во-первыхъ, отечество, которое ты обязываешься любить—будемъ говорить кратко—за то, что оно твое отечество и его тебѣ далъ Богъ.

Во-вторыхъ, государство, которое ты долженъ любить ради отечества, дабы послѣднее не впало въ уныніе и свойственные ему нравы и смѣхи неповрежденными схоронило.

Въ-третьихъ, начальство, которое ты долженъ любить тоже ради отечества и по той же причинѣ.

Какъ видите, во всѣхъ трехъ случаяхъ отечество стоитъ на первомъ планѣ. Я знаю, что для себя это суцій сюрпризъ, но что же дѣлать, мой другъ! я бы и самъ радъ всѣхъ поровнять, но такъ ужъ выходитъ.

Повторяю: все сейчасъ изложенное я высказалъ по собственному опыту. Когда я былъ столпомъ, то такъ же, какъ и ты, Разуваевъ, ровно ничего не понималъ. Для меня это было еще постыднѣе, потому что я грамотенъ. Грановскаго слушалъ, Бѣлинскаго читалъ, восторгался, трепеталъ отъ умиленія—и, представь себѣ, всѣ эти восторги и умиленія я словно во снѣ или въ фантастическомъ представленіи продѣлывалъ! Отслушаешь, бывало, Грановскаго, а черезъ часъ, какъ ни въ чемъ не бывало, думаешь: «а что, кабы кто у меня душу купилъ!» Какимъ образомъ происходилъ чудодѣйственный процессъ этого жизненнаго двоегласія—объ этомъ цѣлые томы психологическихъ изслѣдованій можно написать; но онъ происходилъ несомнѣнно, и я былъ въ немъ дѣйствующимъ лицомъ. Я безъ умолку болталъ о любви къ отечеству — и въ годину опасности

жертвовалъ на алтарь отечества чужія тѣла; я требовалъ, чтобъ отечественный культъ былъ объявленъ обязательнымъ, но лично на встрѣчу врагу не шелъ, а нанималъ за себя пропойца. И въ довершеніе всего я снабжалъ пожертвованныхъ и нанятыхъ мною «защитниковъ» сапогами на картонныхъ подошвахъ и, прося у Бога побѣдъ и одолѣній, нимало не думалъ о томъ, далеко ли уйдутъ на картонныхъ подошвахъ мои ратнички... И вотъ за это теперь я—пропащій человѣкъ.

Я говорилъ себѣ: отечество — святыня! объ этомъ во всѣхъ стихотвореніяхъ упоминается. Но ежели мое личное процвѣтаніе не поставлено въ прямую зависимость отъ процвѣтанія отечества, то пускай оно остается святыней, а я буду процвѣтать особо. Правда, въ моей головѣ иногда мелькала мысль, что этотъ выводъ лукавый и постыдный, что, слѣдуя Грановскому и Бѣлинскому, его надлежало бы какъ разъ выворотѝть наизнанку, то-есть сказать: ежели мое личное процвѣтаніе не поставлено въ зависимость отъ процвѣтанія отечества, то я самъ, по совѣсти, обязанъ устроить эту зависимость; но я какъ-то ухитрялся обходить эту назойливую мысль и предпочиталъ оставаться при первоначальной редакціи. Я срывалъ цвѣты удовольствія, а соотечественники мои унывали; я праздновалъ, а соотечественники мои повинны бѣша работѣ; я былъ изъятъ отъ тѣлесныхъ наказаній, а соотечественники мои были изъяты отъ наградъ. И въ то же время я слушалъ Грановскаго, восторгался, восклицалъ: «отечество — святыня!» И вотъ за это теперь я — пропащій человѣкъ.

Прорывались однако-жъ минуты, когда мнѣ думалось: а вѣдь, несмотря на процвѣтаніе, все-таки въ моемъ существованіи есть что-то непрочное и какъ бы неблаговонное. Куда бы я ни сунулъ свой носъ, вездѣ навстрѣчу мнѣ раздавался окрикъ: «чего съ жиру бѣсишься! твое дѣло не лѣзть, а другимъ примѣръ подавать!» «Подавать примѣръ» — это, по тогдашнему времени, значило: собственнымъ тѣломъ такую филантропію пропагандировать, чтобы никто своего носа отнюдь никуда не совалъ. И что же! перваго окрика было вполнѣ достаточно, чтобъ я убѣдился. Мнѣ какъ-то сразу сдѣлалось ясно, что дѣйствительно я съ жиру бѣшусь, а не по настоятельной внутренней нуждѣ дѣйствую, что, въ сущности, для меня даже выгоднѣе не совать носа, потому что тогда и въ мою мурью никто носа не сунетъ. И, заручившись этою столповою мудро-

стью, я ни за себя, ни за другихъ—ни за кого пальцемъ не шевельнулъ. Ни за кого не заступился, никого не загородилъ грудью, и въ то же время умилялся и восклицалъ: «отечество — святыня!» И вотъ за это теперь я — пропащій человѣкъ.

Какъ въ былое время мнѣ ни до кого не было дѣла, такъ теперь никому нѣтъ дѣла до меня. Никто ко мнѣ не устремляется, никто отъ меня ничего не ждетъ, никто даже въ толкъ не можетъ взять, хочу ли я чего-нибудь, или просто блажу. А я между тѣмъ... понялъ! Я понялъ, что̀ такое отечество, понялъ, почему оно вправѣ требовать отъ сыновъ своихъ жертвъ и даже самоотверженія, и—увы!—понялъ даже и то, почему отъ меня лично оно ни жертвъ, ни самоотверженія не требуетъ: оно лучше меня самого знаетъ, что я дать ему ничего не могу. Оставленный всѣми, отжившій, выдохшійся, я обязываюсь изпывать въ отчужденіи, услаждая себя лишь надеждой, что когда-нибудь мой сынъ или внукъ утопятъ званіе пропащаго человѣка въ званіе человѣка вообще и сына отечества въ особенности. То-есть тогда, когда даже потроховъ моихъ въ поминѣ не будетъ. Скажи, можно ли представить себѣ боль, горшую этой!

Вотъ отъ этой-то боли я и желаю предостеречь тебя, Разуваевъ. Не иди по стопамъ моимъ, и ежели достигнешь производства въ столпы, то не понимай этого званія въ черезчуръ буквальномъ смыслѣ, но потщись изъ недвижимаго имущества превратиться въ движимое. Люби отечество свое, люби! Служи ему собственнымъ лицомъ, а не чрезъ посредство наемниковъ; не процвѣтай особо, совмѣстно съ твоими соотечественниками, не утопай въ бездѣльничествѣ и равнодушіи, но стой грудью за други своя, жертвуй своими интересами, своею личностью, самоотвергайся! Ежели тебѣ жалко поступиться рублемъ, то поступись хоть двугривеннымъ. Все это для тебя даже необходимѣе, нежели для меня. Мы, Прогорѣловы, столповали въ такое тугое время, когда люди больше глазами хлопали, нежели понимали: тебѣ, Разуваевъ, предстоитъ столповать въ такое время, когда даже и мелкотѣ приходитъ на умъ: «а что̀, ежели этотъ самый кусъ, который онъ къ устамъ подноситъ, взять да вырвать у него?» И вырвутъ — не сомнѣвайся, а тебя произведутъ въ пропащіе люди, и все это произойдетъ тѣмъ легче, что на твое мѣсто давно ужъ самъ себя намѣтилъ новый столпъ: содержатель дома тер-

нимости Ротозѣевъ... Вотъ сколько васъ тамъ, въ щеляхъ, притаилось... столповъ!

Однимъ словомъ, люби отечество — и вѣрь, что убытка не будетъ. А затѣмъ мнѣ остается условиться еще насчетъ нѣкоторыхъ подробностей, и задача моя будетъ кончена.

По поводу вашего появленія было поднято много разнаго принципіальнаго разговора. Собственность, семейство, государство—вотъ тріада, которую, по мнѣнію охранителей и публицистовъ, вы призваны защитить и навсегда утвердить. Прекрасно: постараемся же сговориться, въ какой мѣрѣ и какъ ловчѣе все это осуществить.

«Собственность» — ты понимаешь достаточно, то-есть всѣмъ своимъ нутромъ. «Все,—говоришь ты:—что я успѣлъ опустить въ *свой* карманъ, помѣстить въ *своей* квартирѣ, запереть въ *свою* шкатулку, все, что я могу, по личному усмотрѣнію, перенести въ другое мѣсто и въ случаѣ банкротства спрятать—все это есть собственность движимая. Дома же и земли, которые я не могу ни перенести, ни спрятать, но могу: первые, застраховавъ въ двойной цѣнности, поджечь, а вторыя, исхлопотавъ отъ установленныхъ баснописцевъ залоговыя свидѣтельства (съ виньетками и картинками), заложить въ кредитномъ учрежденіи—это собственность недвижимая». То же самое говорятъ и твои юристы и публицисты, только съ несравненно меньшей ясностью, что, впрочемъ, и вполнѣ естественно, ибо на неясности почіетъ ихъ право на полученіе гонорара.

Все это однако-жъ относится къ собственности уже осуществившейся, то-есть опущенной въ карманъ, запертой въ шкатулку или получившей отъ нотаріуса надлежащую санкцію. О томъ же, какимъ образомъ произошелъ процессъ этого осуществленія, тутъ вовсе умалчивается, а мнѣ сдается, что съ точки зрѣнія принципіальностей это-то именно и важно. Какимъ образомъ запутался въ твоемъ карманѣ рубль? какъ случилось, что, постепенно перекладывая запутавшіеся рубли изъ кармана въ шкатулку, ты наконецъ воскликнулъ: «а теперь пойдемъ къ нотаріусу и постараемся опредѣлить, что слѣдуетъ разумѣть подъ именемъ недвижимаго имущества?»

Ежели ты дѣйствительный поборникъ принциповъ, ежели ты воистину призванъ оградить и утвердить оные, то ты поймешь мое безпокойство. Прямо тебѣ говорю: какъ насадитель и оградитель принципа собственности, ты дол-

женъ такимъ образомъ вести свои дѣла, чтобы во всякое время дать отчетъ относительно способовъ пріобрѣтенія. По крайней мѣрѣ я, Прогорѣловъ, былъ въ старые годы вполнѣ на этотъ счетъ чистосердеченъ. «Все, что вы видите—говорилъ я:—все это перешло ко мнѣ отъ папеньки и маменьки (были и исключенія, но очень немного), я же только одно усовершенствованіе въ дошедшемъ имуществѣ допустилъ: заложилъ оное въ опекунскомъ совѣтѣ». По моему мнѣнію, не меньшее чистосердечіе въ этомъ смыслѣ обязываешься выказать, Разуваевъ, и ты.

Но тутъ-то именно ты и начинаешь увертываться. На одно набрасываешь покровъ давности (тоже, братъ, принципъ!), на другое—покровъ коммерческой тайны. А юристы и публицисты твои, такъ тѣ даже прямо говорятъ, что такъ какъ въ данномъ случаѣ истцовъ въ виду не имѣется, то и надлежитъ въ требованіи чистосердечнаго отчета отказать. И отказываютъ—что будешь дѣлать! И даже правильно отказываютъ, потому что допусти васъ подноготную разворачивать, вы и сами искляузничаетесь, и другихъ до смерти закляузничаете.

Однако для партикулярнаго человѣка это не резонъ, ибо онъ не юристъ и не публицистъ, а простой сынъ отечества. Какъ только онъ замѣчаетъ, что отвѣтчикъ начинаетъ ссылаться на отсутствіе истцовъ, такъ тотчасъ начинаетъ подозрѣвать: а вѣдь отсутствующій-то истецъ, пожалуй, и есть именно я, партикулярный человѣкъ!

Допустить, чтобъ эта мысль утвердилась въ немъ—очень невыгодно, потому что, развивая, провѣряя и дополняя ее, онъ можетъ придти къ выводамъ поистинѣ поразительнымъ. Какъ юристъ, ты ясно понимаешь, чѣмъ ты вправѣ «воспользоваться», что вотъ это ты можешь «оттягать», а вотъ это—просто «отнять»; но партикулярный человѣкъ, какъ сынъ отечества, во всемъ этомъ сомнѣвается. Какъ юристъ, ты говоришь: «какъ взялъ, такъ и отдай!»—а онъ, какъ сынъ отечества, возражаетъ: «и все-таки ты поступай по-божески!» Какъ юристъ, ты говоришь: «своими ли глазами ты смотрѣлъ? своими ли руками бралъ?...»—а онъ, какъ сынъ отечества, возражаетъ: «и все-таки ты меня обманулъ, зубы мнѣ заговорилъ!» Какъ юристъ, ты его убѣждаешь: «ты пропустилъ всѣ сроки, не жаловался, не апеллировалъ, на кассацію не подалъ, кто-жъ виноватъ, что ты прозѣвалъ?»—а онъ, какъ сынъ отечества, возражаетъ: «гдѣ же это видано, чтобъ изъ-за какихъ-то кляузъ

у меня мое отнимать?» Какъ юристъ, ты говоришь: «я за своей собственностью блюду, а ты за своей блюди!» а онъ, сынъ отечества, возражаетъ на это: «воръ!»

Конечно, всѣ эти возраженія ничтожны и будутъ оставлены безъ послѣдствій; но когда живешь среди сыновъ отечества, то надобно заранѣе приготовиться къ тому, чтобы и ничтожныя возраженія выслушивать. Сыны отечества простодушны и неразвиты, и въ довершеніе всего каждый изъ нихъ наивно думаетъ: своего-то вѣдь жалко. Очень можетъ быть, что это и предразсудокъ; но что же дѣлать, мой другъ! онъ настолько живучъ, что не принять его къ свѣдѣнію—просто нельзя.

Я думаю, впрочемъ, что ты до извѣстной степени удовлетворишь этому предразсудку, если признаешь совмѣстное существованіе своей собственности и чужой. Это будетъ и просто, и благородно. Неусыпно стеречь свою шкатулку и въ то же время не подбирать ключа къ шкатулкѣ сосѣда; держаться обѣими руками за рубль, запутавшійся въ карманѣ, и въ то же время не роптать, ежели видишь такой же рубль въ карманѣ пріѣзжаго... что̀ можетъ быть величественнѣе этого зрѣлища! Вотъ задачи, которыя предстоитъ осуществить истинному радѣтелю принципа собственности, и, по-моему, это задачи очень хорошія, особливо ежели выраженіе о подбираніи ключа не принимать въ исключительно буквальномъ смыслѣ, но стараться какъ можно шире распространять его дѣйствіе. Не пренебрегай ими, Разуваевъ! Не разоряй, не грабь и на вопросъ: кого же ты будешь допекать послѣ того, какъ въ концѣ допечешь обывателя?—не отвѣчай съ нахальствомъ: «йенъ доста-а-нетъ!» Нѣтъ, когда-нибудь наступитъ минута, что и онъ не достанетъ, ибо всякому доставанію положенъ предѣлъ, а слѣдовательно положенъ предѣлъ и твоимъ допеканьямъ.

Человѣкъ ни къ чему не относится съ такою чувствительностью, ничего такъ ревниво не оберегаетъ, какъ ту совокупность матеріальныхъ удобствъ, которыми онъ успѣлъ обставить свою жизнь. Малѣйшій ущербъ, приводящій къ стѣсненію этой обстановки, заставляетъ его роптать и искать глазами, гдѣ обидчикъ? И такъ какъ обидчика имя рекъ никогда налицо не оказывается, то онъ невольно приходитъ къ необходимости обобщать и распространять...

Ужели ты не боишься тѣхъ горькихъ послѣдствій, ко-

торыя неизбѣжно должны произойти изъ подобныхъ обобщеній?

Итакъ, будь умѣренъ и помни, что титулъ дирижирующаго класса, который ты стремишься восхитить, влечетъ за собой не одни права, но и обязанности. Обязанности эти, въ томъ, что̀ касается принципа собственности, гласятъ такъ: «не укради!» А такъ какъ по обстоятельствамъ времени такая редакція представляется черезчуръ уже строгою, то мы можемъ смягчить ее такъ: не до конца обездоливай, но непремѣнно оставляй обывателю столько, чтобы изобрѣтательность его и впредь находила для себя поводъ изощряться. Ежели ты изъ рубля отнимешь половину—это, я полагаю, будетъ вполнѣ прилично; ежели ты отнимешь изъ рубля восемь гривенниковъ, то это будетъ уже кровопійственно, но все-таки выносимо. Остального не отнимай: пускай опять разживается!

Затѣмъ на очереди стоитъ принципъ семейственности, который тоже обязываешься ты оградить. Сознаюсь откровенно: мы, Прогорѣловы, достаточно-таки порасшатали этотъ принципъ, или, лучше сказать, до того его обнажили, что въ концѣ концовъ въ немъ ничего не осталось, кромѣ въѣзжаго салона, въ которомъ во всякое время происходили разговоры объ улучшеніи быта милой бездѣлицы. И вотъ, когда дѣти перестали поздравлять родителей съ добрымъ утромъ и цѣлованіемъ родительскихъ ручекъ выражать волнующія ихъ чувства по поводу съѣденнаго обѣда, когда самоваръ, около котораго когда-то ютилась семья, исчезъ изъ столовой куда-то въ буфетную, откуда чай, разлитый рукою наемника, разносился по закоулкамъ квартиры, когда дни именинъ и рожденій сдѣлались пустою формальностью, служащею лишь поводомъ для выпивки, — только тогда прозорливые люди догадались, что семейству угрожаетъ дѣйствительная опасность. Начали думать, соображать, какъ этому дѣлу помочь, и, разумѣется, прежде всего бросились за справками. Оказалось, что вездѣ было такъ. Во всѣхъ странахъ цивилизованнаго міра, гдѣ Прогорѣловы завѣдывали дѣлами культуры, вездѣ они низвели семейный вопросъ до уровня милой бездѣлицы. Изъ драмы сдѣлали оперетку, изъ совмѣстнаго скитанія—изъ спальной въ дѣтскую, изъ дѣтской на кухню, потомъ въ столовую, гостиную и обратно черезъ всѣ инстанціи въ спальню — вольное катанье на тройкахъ въ трактиръ «Самаркандъ». И вездѣ же на смѣну ослабѣ-

вшимъ Прогорѣловымъ явились люди свѣжіе, неиспорченные, которые тѣмъ съ большей готовностью подняли брошенныя въ грязь знамена, что въ совершенствѣ поняли, какую службу они могутъ сослужить. У всѣхъ на памяти, какъ ловко подняла, въ тридцатыхъ годахъ, знамя семейственности и домашняго очага западно-европейская буржуазія и какъ крѣпко она держалась за него, пока вѣчно достойныя памяти Наполеонъ III, при содѣйствіи Оффенбаха, Шнейдерши и нынѣшней неутѣшной вдовы, не увлекъ ее въ сторону милой бездѣлицы.

Въ виду столь рѣшительныхъ справокъ предполагалось, что то же самое произойдетъ и у насъ. Сначала Прогорѣловы распатаютъ, а потомъ кабатчики и мѣнялы утвердятъ. Первая часть этой программы уже выполнена, но будетъ ли выполнена послѣдняя — это еще вопросъ.

Мнѣ кажется, что наболѣе существеннымъ препятствіемъ въ этомъ смыслѣ явится родъ вашихъ занятій. Вы, кабатчики, желѣзнодорожники и мѣнялы, не имѣете занятій осѣдлыхъ и производительныхъ, но исключительно отдаетесь подсиживаньямъ и сводничествамъ. Въ согласность этому и жизнь ваша получила характеръ кочевой, такъ что бо́льшую ея часть вы проводите внѣ домовъ своихъ, въ Кунавинѣ. Но о какихъ же принципахъ можетъ быть рѣчь въ Кунавинѣ?

Очевидно, что публицисты, возложившіе на васъ обязанность утвердить принципъ семейственности, совсѣмъ проглядѣли эту обстановку. Ихъ ввела въ заблужденіе ваша грубость, которую они приняли за патріархальность. Въ то время, когда у западно-европейскаго буржуа наполеоновскаго образца «l'eau vient à la bouche»—у васъ «текутъ слюни»; въ то время, какъ у того же буржуа изъ устъ вылетаетъ цѣлый фейерверкъ милыхъ мерзостей—изъ вашей утробы извергается какое-нибудь односложное паскудство: въ то время, какъ западный буржуа разговариваетъ, убѣждаетъ, умоляетъ,—вы, «глядя по товару», выкладываете болѣе или менѣе крупную ассигнацію, кратко присовокупляя: «Машка, пошевеливайся!» Не спорю, съ точки зрѣнія ясности намѣреній, ваши «слюни» сравнительно менѣе паскудны, нежели французское «l'eau à la bouche», но спрашивается: что́ же однако общаго между кунавинскими «слюнями» и семейственностью? О какомъ тутъ «утвержденіи» можетъ идти рѣчь?

Поэтому, въ смыслѣ семейственности, я не надѣюсь на тебя, Разуваевъ! Ничего ты не утвердишь. Но такъ какъ на тебя обращены всѣ взоры, и такъ какъ, въ качествѣ новоявленной «интеллигенціи», чаша сія ни въ какомъ случаѣ не минетъ тебя, то, по мнѣнію моему, ты только тогда успѣешь... ну, хоть притвориться поборникомъ чистоты семейнаго очага, когда радикально измѣнишь родъ своихъ занятій. Перестань заниматься кабаками, не подсиживай, не сводничай, сократи до минимума экскурсіи въ Кунавино, производи, а не маклери—это до извѣстной степени осадитъ тебя, утретъ твои «слюни» и приведетъ въ порядокъ твои утробныя урчанія. Но будетъ ли и за всѣмъ тѣмъ принципъ семейственности тобой утвержденъ — на это, я полагаю, и прозорливѣйшій изъ публицистовъ утвердительнаго отвѣта не дастъ. Да и отвѣтить тутъ можно только одно: не будетъ, навѣрное не будетъ — вотъ и все.

Въ заключеніе еще одинъ вопросъ: о неоставленіи присныхъ безъ заступленія, или же — что то же самое—о непримѣненіи къ нимъ принципа предательства.

Я, Прогорѣловъ, совершенно некомпетентенъ по этому вопросу. Всю жизнь я столповалъ за свой собственный счетъ, а о присныхъ слышалъ только за обѣдней въ церкви. Тѣмъ не менѣе, возобновляя въ памяти процессъ моего переименованія изъ столповъ въ пропащіе люди, я долженъ сознаться, что въ числѣ причинъ этого превращенія немаловажную роль играло и то, что я процвѣталъ независимо отъ процвѣтанія моихъ соотечественниковъ, что я ни за кого не поревновалъ, никого своей грудью не заслонилъ. Стало-быть, ежели ты желаешь столповать продолжительно и благополучно, то не только не долженъ брать примѣровъ съ меня (къ чему ты, мимоходомъ сказать, черезчуръ наклоненъ), но, напротивъ, обязываешься поступать совершенно наоборотъ. Я равнодушествовалъ—ты сострадай; я бездѣйствовалъ — ты хлопочи; я держался правила: носа изъ мурьи не совать—ты выбѣгай изъ мурьи какъ можно чаще, суй свой носъ, суй! Хлопочи о концессіяхъ, но не забывай и о соотечественникахъ. Это хорошо зарекомендуетъ тебя въ ихъ глазахъ и ихъ самихъ заставитъ надѣяться и вѣрить въ лучшіе дни. Выйдетъ ли что-нибудь изъ этихъ хлопотъ, надеждъ и вѣрованій—это вопросъ другой, и ежели ты хочешь, чтобъ я отвѣтилъ на него по совѣсти, то изволь, отвѣчу! не выйдетъ ничего, потому что

у тебя и на умѣ ничего такого—чтобъ что-нибудь вышло—нѣтъ. Но все-таки старайся, радѣй, хлопочи!

За симъ моя рѣчь кончена. Вкратцѣ она можетъ быть резюмирована такъ:

Люби отечество, чти государство, повинуйся начальникамъ.

Блюди свою собственность, но не отказывай и присному твоему въ правѣ имѣть таковую.

О Купавинѣ по возможности позабудь.

А главное все-таки: люби, люби и люби свое отечество! Ибо любовь эта дастъ тебѣ силу и все остальное безъ труда совершить.

Оглавленіе

VI ТОМА.

стр.

Пестрыя письма.

(1884—1886 гг.)

Письмо первое 5
Письмо второе 13
Письмо третье 26
Письмо четвертое 50
Письмо пятое 83
Письмо шестое 109
Письмо седьмое 132
Письмо восьмое 150
Письмо девятое 172

Недоконченныя бесѣды. (1873—1884 гг.) 187

Убѣжище Монрепо.

(1878—1879 гг.).

I. Общій обзоръ 341
II. Тревоги и радости въ Монрепо 372
III. Монрепо-усыпальница 407
IV. Finis Монрепо 435
V. Предостереженіе 472

PG
3361
S3
1905
v.6

Saltykov, Mikhail Evgrafovich
Polnoe sobranie sochineniĭ.
v. 6

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Заявленъ Отдѣлу Промышленности

Переплетная „НИВЫ", СПБ.